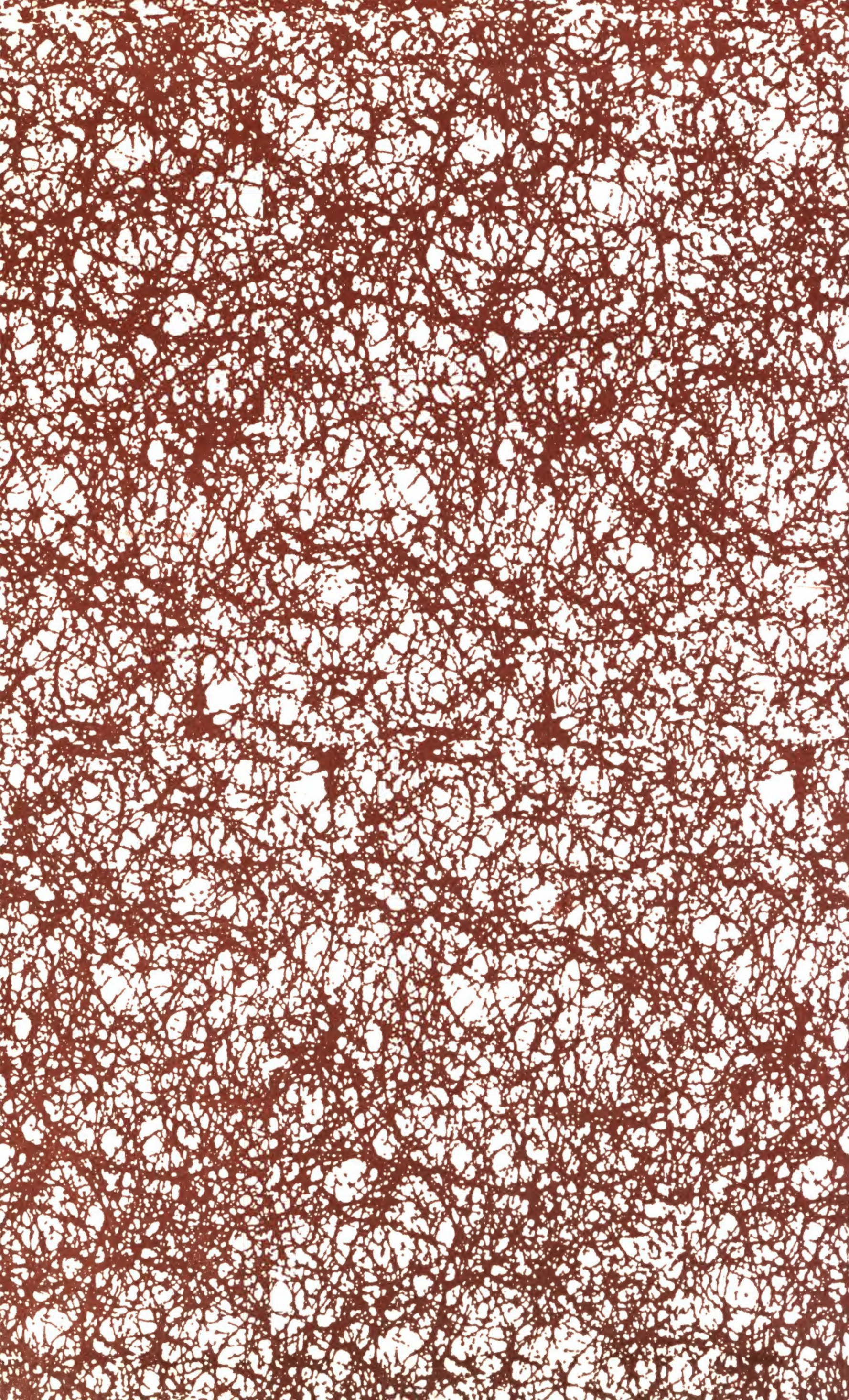
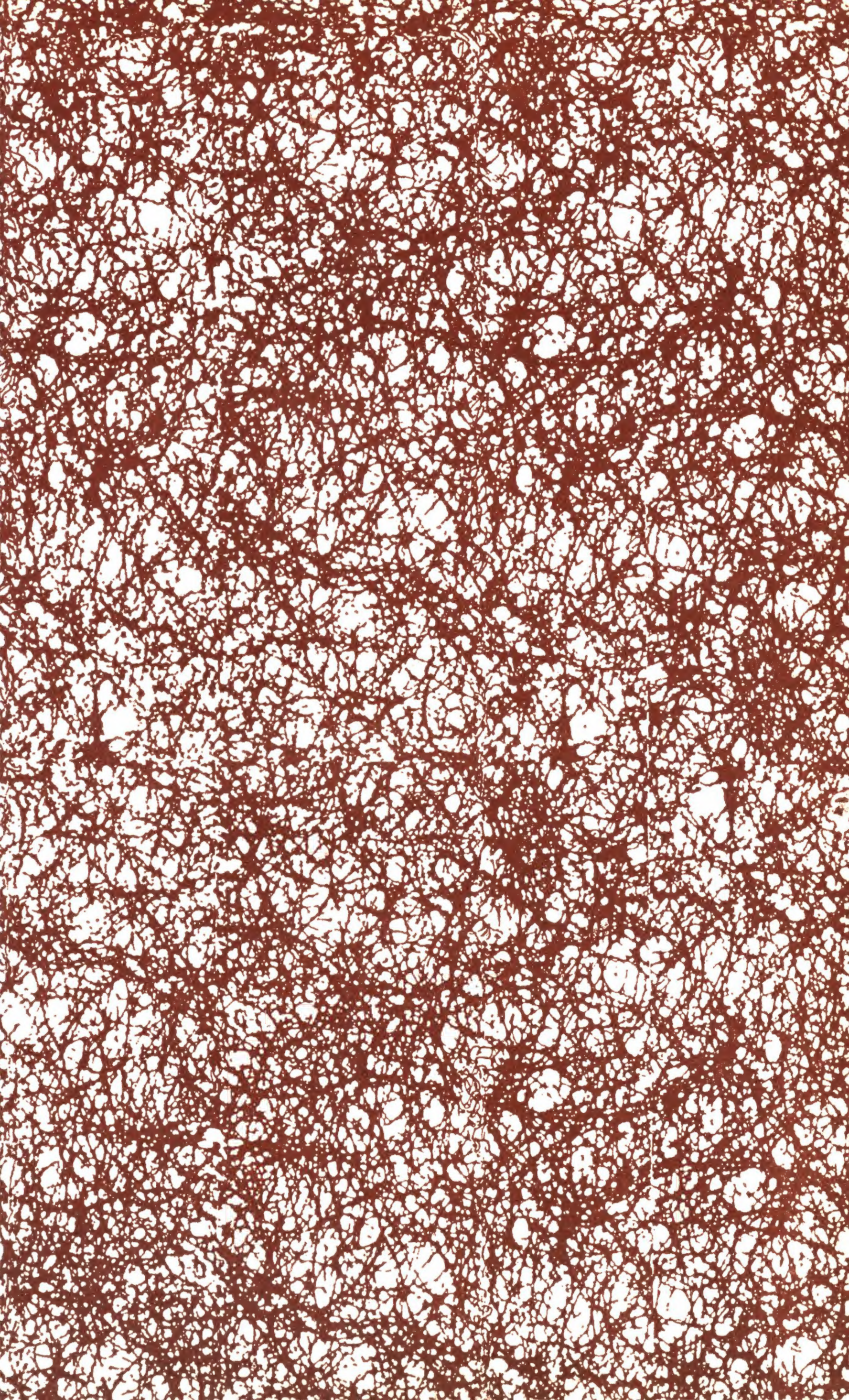
В. Личутин

ПОВЕСТИ





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1981

Художник М. ПОПКОВ

Л $\frac{70302-010}{074(02)-81}$ 435—81 подписное



В. Личутин



ВДОВА НЮРА

ИЗ ХРОНИКИ ПОМОРСКОЙ ДЕРЕВНИ

Не та мать, которая родила,
а та, которая взрастила.

Кинь добро назад, а оно
очутится попереди.

Поморские присловья

1

Речку Нюра Питерка прошла разгонисто, по-мужски размахивая руками. С горушки понесло далеко, и снег, подбитый морозом, похрустывал и неровно прогибался под кундами, но совсем не крошился, и оттого скользить было легко, а лыжня, неясно продавленная в насте, быстро стекленела. Было уже далеко не утро, но день под мглистым низким небом так и не ожил по-настоящему и едва теплился, до краев наполненный безрадостной морозной тишиной. Ресницы у Нюры заиндевели, даже веки ломило от ледяной навеси, и, когда обтаивала голой рукой наморозь на лице, сразу услышала пальцами стужу и скорее сунула ладонь в шубную рукавицу. Тут же вскользь подумала: «На весну повернуло, а вон как садит. Зима свое возьмет. Дровам-то опять расход».

Деревня уже показалась лицом, едва видная из-за сугробов, вся обметанная куржаком, и навалы снега свисали прямо с крыш над верхними оконницами, и только черные сажные вытайки вокруг печных труб говорили, что Вазица еще жива и не осиротела вовсе. Тут опахнуло дымом и легкой навозной киселью, наверное, на скотном только что выметали наружу из-под коров. Нюра

эти запахи сразу впитала в себя, и душа ее, невольно обрадованная близкому жилью, чуть оживилась.

Близ домашнего берега виднелось затулье, слаженное из снежных кирпичей основательно, порой сбоку сновала большая запеленатая в платы голова, знать, у майны сидела баба и удила наважку. Нюра вот так же три вечера сидела с фонарем и промыслила довольно, не меньше трех чунок, если насыпать внавал, и только ради любопытства единого она сейчас сломала лыжню и покатила к затулью, потому что женский интерес и с самим чертом обвенчает: захотелось Нюре узнать, кто же такой настырный колотится здесь в осатанелый мороз, когда хороший хозяин и собаку не высунет на двор, когда самое время, ей-богу, лежать на печи и калить поясницу.

А эту женку, видать, мороз не долил: она сопела порывисто и натужно и, накренившись над майной спеленатой головой, настырно водила удой вверх-вниз, и вода, мгновенно схваченная стужей и густая, как сироп, тяжело и стеклянно намерзала на леске. Наверное, завидев чужие ноги, женка запоздало подняла лицо, до багровости опаленное стужей, и по зорево сочным щекам, по яркой зелени глаз и горбатому вислому носу признала Нюра первую на Вазице рыбачку Польку Таранину по прозвищу Наважья смерть. Около нее у растоптанных каменных валенок лежали впаянные в лед три невзрачные наважки, больше похожие на рыбьи тени, которыми бы и кот побрезговал, столь они были постны, невзрачны и большеголовы в своей мгновенной скрюченной смерти.

— Клев на уду, Полюшка,— хрипло сказала Нюра Питерка застуженными губами и толстую шаль сразу потянула повыше, закрывая рот. «Сироте самой надо поопасаться, сироте самой надо спасаться, одинокую никто не пригреет».

— Хрен на блюде. Не стой надо мной, проходи стороной. Это не ты, бабушка Питерка? Ой-ой, в кои веки! Думали, с медведем обручилась.— Наважья смерть бросила снасть поперек проруби, рукоять уды была вырезана в виде ладони, пальцы сложены в истинный православный знак и, крашенные белилами, походили на замороженную и странно жуткую человеческую кисть.— Не признала разве? Креня уды-ти, еговы. Как бабка помирала, дак я откупила. С истинным крестом. Ой-ой. С этой лешовой рыбкой вся соплями обмерзла.

— Кто и неволит. От жадности боле...

— Да никто не неволит, но охота пуще неволи. Такой задор берет. Зашла бы когда, слышь, баба Нюра? Тебя-то я хочу видеть. Потерла бы меня в баньке, у тебя руки-ти стары, да ласковы. Ты заходи, рыбки красной дам. Много не дам, а на зуб положу.

— Зубов нету, все съела...

— Ой, баба Нюра! Я тебя хочу видеть. А ты небось все сохатинку поедаешь. Бывало, я коклеты в Архангельском из сохатинки ела, порато скусны-ы. Ты заходи, это я Аниську вашу не могу видеть, сразу трясет всю, век не прощу, заразе, как на первого мужика глаз положила, да и за Гришенькой тоже юбкой порато трясла. Рожа-то бесстыдна. Ты заходи, баба Нюра, слышь, что ли? — кричала Наважья смерть уже вдогон, голос ее был пронзителен и тонок и, казалось, позванивал от мороза, готовый заледенеть. Но Питерка не оборачивалась, а, низко сутулясь и подмаргивая слепнущими от наморози глазами, присматривалась к реке, чтобы не наткнуться лыжами на ледяные торчки. «И чего ревет, глупа, запалит горло,— вяло думала Питерка, безо всякой на то связи вспоминая прошлую Полькину жизнь.— Со вторым уж двадцать лет постель делит, а все первого поминает. Гришка тоже хорош, кобелина. Чужу бабу не упустит, изгильник».

Нюра поднялась в деревню, избы обметало февральскими снеговеями, и потому дорога местами наросла выше нижнего жила, и можно было даже заглянуть через окна в верхние горницы, запущенные на зиму, в которых стужа долит сильнее, чем на воле, и потому стекла не обмерзали, а как бы слегка запотели и залысели. Единственная дорога, посыпанная сенной трухой, зальдилась: недавно были оттайки, а нынче вот прощально грянуло. Колея взгорбилась, заморщинела и пожелтела. Питерке стало жаль лыж, покрытых лосиными камусами, и она сошла в сторону. Была середка дня, и бабы, постукивая подшитыми катанками о череп дороги, помахивали дерматиновыми сумками, спешили в лавку, порой они оборачивались, словно их кто толкал в спину, ширили ноги и долго и любопытно приглядывались к Нюре, и чудилось, что по всей деревенской улице от бабы к бабе перекатывалось глухо: «Питерка катит». Тут из-за угла вывернулась Симка, средняя Аниськина девка, вся опухшая и зареванная; она шла, спотыкаясь валенками, и фанерный чемоданчик колотился о неровно обрезанные голяшки.

— Ты-то пошто не в школе, невеста? — спросила Нюра, раскутав рот. Посреди деревни было куда теплее, и от шали стало потно до мокроты, а может, и надышала она в плат, и оттого потекло на подбородок.— Зареванная вся, утекла ведь. Аль случилось што?

— Спустили нас... Товарищ Сталин умер... Как жить-то теперь будем? — по-взрослому рыдая, обкусывала слова Симка и тут снова вся утонула в слезах.

«Царствие ему. Мертвого не похулю»,— отрешенно подумала Питерка.

— Как жить-то теперь будем, баба Нюра? — повторила Симка, кусая опухшие губы, и взрослая печаль была в оплывших глазах.

— Поди давай, глупая. Всю красоту выревешь. Как жили, так и дале... Поди давай, глупая,— растерянно хрипела Нюра и уже потянулась всем телом к девке, чтобы приголубить ее и осушить слезы, но Симка вдруг гневно фушкнула, отшатнулась, сухо и недоверчиво вглядываясь в старуху, а потом озлобленным, пересыхающим голосом выплеснула:

— Ты... как можно... ты ничего не понимаешь, вот... в лесу своем сидишь, как Баба Яга.

— Христос с тобой, чего мелешь-то, Серафима? — пробовала притушить Нюра этот горький задышливый выкрик, в котором уже не было слезы, да только где там, живо взыграла девка, развернулась на стоптанных пятках и ускочила прочь, только пальтушка завилась меж ног.

«Царствие ему. Мертвого не похулю»,— снова отрешенно подумала Нюра, провожая взглядом надломленную Симкину спину.

Около магазина она сняла лыжи-кунды, воткнула их стоймя в сугроб напротив крыльца, потом как-то ласково и бережно смахнула с голубенького ящика зальдившийся снег и, словно в капкан, сунула под козырек письмо.

Какая-то бабенка в цветастом полушалке стояла невдалеке, любопытно наблюдая за Питеркой, и сразу же неловко и словно бы безразлично отвернулась, поймав Нюрин прицениваюшийся взгляд. «Видела ведь, сорока. Разнесет по деревне. Ну и пусть»,— решила Нюра, забираясь по крутым ступенькам в магазин. И только она скрипнула набухшей дверью и переступила порог, каменно топая исполинскими валенками с загнутыми носами,

как сразу все повернулись от прилавка в ее сторону и ожидающе замолчали, цепко схватывая глазами все Нюрино обличье.

Была Питерка высока даже в старости, и квадратная оленная шапка с длинными, по пояс, ушками высила еще больше, да и пол-то в лавке был покатым от дверей, и потому женки, что пересуживали в магазине и жались вдоль прилавка, выглядели совсем коротышками.

Магазин был полон застоявшихся запахов дегтя, звериных шкур и всякого кованого железа, которые в выстуженной комнатенке казались еще гуще; на окнах висели ставенки, и сквозь щели едва сочился грязный зимний свет. Потому дубленое, с тяжелыми складками Нюрино лицо казалось азиатски черным, а светлые глаза поблескивали в глубоких провалах нелюдимо и сурово.

Питерка прошлась взглядом, буркнула что-то под нос, передернула плечами, на которых висела старенькая, неровно подбитая по подолу малица. Среди ящиков и кулей старуха разыскала толстую от одежд продавщицу Тоську с красными гусиными руками и отдельно ей поклонилась, и Тоська, розовея туго набитыми щеками, сразу потянулась и засветила подле весов керосиновую лампешку. Видимо, старый разговор поднадоел, все было обговорено, а с новым человеком появился и свежий интерес, потому продавщица оживилась более всех, огладила гусиными ладонями выдающиеся бедра, покрытые несвежим фартуком, и зачем-то оправила на грудях плюшевую жакетку. Так готовилась продавщица Тоська, словно завидела незнакомого фартового мужчину, да и остальные бабенки как-то по-куриному оправляли на себе одежды, охорашиваясь, чтобы выглядеть пригляднее, и вся эта процедура случалась каждый раз, когда Питерка навещала магазин. Сегодня это ощипывание особенно бросилось в глаза, и старуха невольно подумала, сердясь и волнуясь: «Что я, чудо-юдо, чтобы так на меня таращиться? Иль глупа я, проказа?»

— Вождь помер, а вы тут стенки отираете,— сказала Питерка грубо, сняла с головы оленную шапку, и снежные, как куропачье крыло, волосы с легкой желтизной на висках так и остались лежать косицами на просторном черепе и морщинистой шее. Голова у Питерки была посадки гордой и с затылка выглядела совсем девчоночьей, только глубокие морщины на бурой шее выдавали преклонный возраст.

— Вождь помер, а вы колоколите,— повторила Нюра, оценивающе подступая взглядом к полкам с товаром.

— А мы уж наревелись. Господи, как и жить тепере,— откликнулась продавщица Тоська, готовно шмыгая напудренным носиком. Бабы тоже завздыхали следом, притуляясь к прилавку; горестной печалью повеяло, и стало тут совсем зябко и скорбно.

Митя Нечаев сидел у печки на корточках, подпирал остывшую стенку, смолил махру, высвечивая огнем диковатое свое лицо, и неряшливо гундосил, контуженно захлебываясь словами и разбавляя их частым матюгом: «Зелезо в огне, зелезо кругом... одно зелезо в огне. А мы вперед, за Родину, за товарища Сталина... ура. Во как все было. Кто не уцелел, дак там и остался».

Он засмеялся странно и болезненно, в груди у него заикало, и Митя Нечаев не мог остановиться, а бабы участливо и досадливо, мучаясь, что не могут помочь мужику, долго пережидали горловой клекот и молчали. Потом Митя затянулся покрепче махрой, наверное, подавил икоту и спокойно засипел, снова уйдя в себя.

— При ем-то завсе снижения. Так и норовишь, как весна, так и снижение. А радости-то сколько, а радости!

— И хлеб-то свободно. Наголодались, кажись. А давно ли житничка не каждый день замесишь, да с травкой-то. По нужде-то сходишь, дак будто зверь сходил.

— У Анисьи-то Селиверстовой, бат, рылся медведь в подорожниках. Страдали когда на сенокосе. Порылся медведко, а ести не стал. Даже зверь не тронул наших сухариков, во какая еда была! А нынче пошто бы не жить?

— Да...

— Всё думали, вековечный человек. На какой ведь вышины числился, осподи, а его старуха с косой и подобрала. Знать, чужого века не заберешь. Помнишь, Дуня, как пели: «За товарища за Сталина не страшно умереть».

— Кого-то дак и смерть не долит,— вдруг сказала Дуня, встряхивая завитой головой: мужика война прибрала, осталась бездетная Авдотья на двадцать пятом году ни бабой, ни мужней женой, а колотухой-сиротой. Но жизнь-то манит, тревожит жизнь, весь прошлый вечер на каленый гвоздь крутила отросший волос, потом

до полуночи в голос ревела, а нынче была полна горького раздражения.— Кому надо жить, дак те головы положили...

«Эй, сиротеюшка, поплакать тебе еще, пореветь. Не завидуй моим годам, когда сам себе предоставлен,— подумала Питерка, легко угадав, в чей огород закинут камешек, но ни капельки не огорчилась.— Кто какой есть, так для себя. Всех бог дал, да не всех уравнял».

...«А Екимушке сегодня поминка, двадцать четыре годика, как нетути сыночка моего. Екимушка-то порато грамотный был, памятный такой, много всего знал, а я-то глупа и стара, и почто же бог меня не призывает. Эта-то жизнь временна, а там бесконечна,— неспешно думала Нюра, заталкивая в пестерь ковриги хлеба, да сахар глызами, да пикши солененькой два хвоста — вечерком надо будет сварить да осолониться, вот жаль только трещечки не завезено, у той мяско-то белое да волокнистое, как-то лучше желудок к себе допускает...»

Так сама с собою толковала Нюра, а цепкими глазами снова и снова обшаривала магазинные полки с бедными деревенскими обзаведениями, все вспоминала, не забыла ли чего, чтобы лишний раз не торить в деревню лыжню; несколько раз ее взгляд споткнулся о толпу запотевших «злодеек», и Нюра, задоря себя и зажимая душу, чтобы не расплакаться, мысленно прикинула мятые рублевки. Потом крикнула смущенно:

— А ну-ка, девка, подай-ко вон ту голубушку-сугревушку. Да не ту, эка ты неловка, а в беленькой посуденке, вроде бы она приглядистей.

— Никак, сватов ждешь, баба Нюра? — не преминула уколоть Дуня, напирая на Питерку литой грудью, натуго обхваченной застиранной фуфайкой.

— Ну и привязка же ты, Дуняха. Чего старую старуху травишь? Делать тебе нечего? — пробовали бабы усовестить и оттереть в сторону заводную женщину.— Сами-то эки же будем, того не минем. Ой, не дай, господи, до старости сиротой дожить.

— Не, эки-то не будем, не-е... Какая она старая, вы что? Да она любому мужику салазки загнет. Ты чего, глуха, баба Нюра? Про тебя ведь говорим.

А Нюра только скользнула по усталому Дунину лицу светлым равнодушным взглядом и, отвыкшая за годы одинокого лесового сидения не то отругиваться, а даже лишнее слово бросить громко, смолчала опять.

— Баба Нюра, как лиса-лисавета поживает? Дружно с курами-то? — перевела продавщица разговор на другое.— Ты бы ее раздела, хитровановну. Мне на воротник.

Еще бы неделю назад при этих словах Питерка замахала бы испуганно рукой: «Мол, поди ты прочь, господь с тобой, какие слова извергаешь! С патрикеевной мы в ладу живем, она кур моих отличает, не пакостит, она у меня послушливая, голубеюшка. Только захочет сбаловать, а я ей: не станешь слушать, то уеду от вас. И давай котомку собирать. Лесовая душа, а понимание имеет. Как кошачка, давай у ног виться, уж такая хитровановна...»

Но нынче Питерка промолчала, и на тяжелое лицо набежала хмурость. Питерка сделала вид, что не расслышала Тоську, задрала подол малицы, потом полу пиджака отогнула и откуда-то из ватных штанов выудила узелок, тут же распотрошила его неловкими пальцами. Рублевки она перебирала долго, словно боясь промахнуться и передать лишку, или пожаливала денег, достающихся тяжело. Помощи Питерке ждать неоткуда, всю жизнь на охотничьей тропе, а лесовикам пенсия не полагалась, и потому не столько от старческого скопидомства, обычного в эти годы, как от неотвязного страха — а как далее-то жить,— и от суеверного уважения к каждому грошу тряслась над узелком Питерка.

— Это что, сударушка? У тебя глаза молодые,— хитрила Нюра, протягивая бумажку и цепко держась за нее железными пальцами.— Не хватит, еще надо?

— Ой, баба Нюра. Лишнего не возьму.

— Да кто вас знает, баловных.

— А про лису-то как? На воротник бы...

— Отвяжись, чего пристала. Боле не зайду тогда.— Нюра натянула шапку, пестерь закинула и, тяжело ступая пудовыми валенками, на которых отпечатались белые рубцы от лыжных ремней, пошла на выход. Набухшая дверь хлюпнула, и в зыбком полумраке, едва разбавленном жидким светом семилинейки, еще долго стояла грустная тишина, которая обычно живет в доме после покойника. Наверное, каждый в эту минуту судьбу Нюры Питерки примерил к своей: кто-то вспомнил войну, кто-то — близкую старость, кто-то — вдовье, неприкаянное одиночество, потому так и стояли, вздыхая, пока чей-то голос не спугнул морозную тишину.

— Двух журавлей Питерка всю зиму держала. Печ-

ку выклевали ей да мох из пазов вытаскали. Подобрала где-то. А потом зайца опять выхаживала, тот не с год ли жил, все стекла начисто высадил. А ныне вот опять лиса...

— Одинокий человек любой животинке рад.

— Да...

— А пошто в сиротский дом не пойти? Устроили бы.

— «Не пойду,— говорит.— На своей местности лучше помру...»

— А она еще потянет, долго протянет.

— Кто знает? Своего веку никто не мерял. Вон какой человек был товарищ Сталин, на самой вышине числился, уж все, наверное, кушал, чего хотел, а и тот...

— С нервов, наверное. Говорят, все с нервов.

А Тоська завернула рукав плюшевой жакетки, ближе к лампе потянула кисть руки, чтобы взглянуть на часики, а больше всего — показать обновку бабам: время было час, и продавщица задула лампу. В щели ставен пробился неожиданный радостный свет, слепящий глаза, и оказалось, что в магазине не так уж и мрачно.

2

В Поморье каждый час другую погоду родит. Только что от промозглой стыни воротило душу, жить не хотелось, и вдруг дернуло материковым ветром, с русской стороны потянуло весной, и небо густой синевы сразу отшатнулось от земли, слегка рябоватое от белых покойных облаков, и на солнце, еще пронзительно холодное до рези в глазах, хотелось глядеть и держать на нем блаженный взгляд. И сугробы кругом зажелтели, словно полили их луковым отваром. От изб опрокинулись синие тени, и чувствовалось, что в застрехах уже рождалась первая весенняя слеза, и снег на крышах с исподу, куда парило избяное тепло, начинал куржаветь и тончился, готовясь к апрельской потоке. И деревня-то сразу ожила, словно столкнули ее с полатей, мол, хватит сонничать. Из-за угла вытянулся длинный обоз, вспотевшие лошади махали длинными волосатыми мордами, и мужики переваливались подле, сбив кожаные шапки на сопревших волосах, и в напряженных глазах плавились ожидание отдыха и легкая весенняя захмелка.

Нюра проводила взглядом обоз, пока он не споткнулся возле колхозных амбаров, мужики сразу пота-

щили в полые черные ворота рюжи и прочую наважью снасть, а лошади стали шумно облегчаться. Все это движение жизни вдруг взволновало Питерку, и она слегка позавидовала, что не живет в Вазице, но тут ребятня заползла на крышу избы и затеяла прыгать вниз, в сугроб. На поветь выскочила полураздетая бабенка и стала визгливо поносить огольцов на всю деревню, и легкое наваждение, посетившее Питерку, тут же схлынуло, и она подумала облегченно, что у нее в лесу спокой дорогой. В охотку чайку спроворишь — водица родниковая, что твоя Христова слеза; в охотку на каленых кирпичах бока повялишь; в охотку и путик лесовой навестишь, пока здоровье есть, и никто не кинется на тебя с покриком и потычкой.

Похожее на монашеский колпак радио, пришпиленное к сельсовету, разносило тягучую грустную музыку, скорбную, словно церковная панихида, но от этой печальной музыки небо не замутилось хмарью, а, наоборот, развиднелось, освободив багровое ярило, и наполнились синью отроги сугробов. Оказывается, музыка жила сама по себе, и воспаленное от морозного жара солнце скатывалось за сопку, следуя своим привычкам, и баба, стороной обежавшая Нюру, была занята своей избой, сиротской вдовьей житухой и ордой ребятишек. «Значит, не бог был, раз ничего не случилось. А то бог... бог,— подумала Питерка, надевая кунды.— Наверное, его отпевают, панихиду без попа правят».

Нюра никогда не называла вождя по имени: он жил в ее памяти, как ОН, как что-то вознесенное, ну вроде кучемской горы, и далекое, словно город, в котором она лишь однажды бывала, да и то не по своей воле. В тридцать шестом Нюра Питерка не пошла голосовать, она не хотела глядеть на щучье обличье Вани Соска, тогдашнего председателя сельсовета, а не то еще отдать за него свой голос. «Глупости какие-то, разве можно свой голос отдать? Куда я без голосу тогда». Но за ее голосом приехали в розвальнях три дюжих мужика, и она встретила посыльных с ухватом: «Не пойду за антихриста голос отдавать». Тогда Нюру и увезли в Архангельск.

Через неделю Нюру Питерку высунули из города, иди, куда хочешь, только глупостей вслух не мели и береги язык при себе. Постояла баба около ворот, почесалась о стену, крашенную липкой известкой, одиноко ей стало и страшно, куда податься в чужом городе, где

голову приклонить, вот и стала стучаться в дверку с дыркой, обратно проситься: «Куда я попаду, мне ведь далеко. Забирайте не то обратно. Откуда взяли, туда и привезите». А наутро ее посадили в сани, запихнули в охранный просторный тулуп и отвезли назад в Вазицу.

...От пронзительного голубого и белого сияния слегка подбило глаза, они набухли слезой; корявыми пальцами, стянутыми к ладоням вечными мозолями, она пробовала протереть веки и вдруг почему-то всплакнула, часто промокая ноющие глаза углом шалевого плата. «Вот глупа тетерка, чего реву-то? — бормотала Нюра, поднимаясь в верх деревни к Аниськиному дому.— Как корова разревелась дак».

Анисья вместе с дочерью Симкой сидела в переднем углу, у них были набрякшие, потухшие лица и вяло опущенные рты. Симка увидела Нюру, сразу вскочила, дернув плечиком, и укатилась в горницу, плотно прихлопнув за собой дверь. Зырянского покроя Аниськино лицо с далеко выпирающими скулами было сегодня заревано: обычно его красила непотухающая улыбка, а нынче тонкая щель рта плотно сомкнута, и что-то застывшее и птичье проступило во всем облике невестки.

— Разоболакайся, чего встала? — встретила она тусклым голосом.— Малицу-то скинывай в углу. Господи, слыхала, нет?

— Чего слыхать-то?..

— Серафима моя белугой ревет, успокоить не могу. И у самой как икнет, так и покатит. Чужой вроде бы, а пуще родного. Не ждали, не думали, а помер, вроде отца был. Как жить будем?..

— Куда денешься, природой постановлено. А свято место пусто не бывает.

Нюра сбросила в угол малицу, сверху шапку, тут же оставила великаньи валенки с загнутыми носами, но пошла в передний угол с пестерем и громоздко поставила берестяной кузов на лавку.

Была Питерка плоскогрудой и высокой, головой под самый воронец, даже пришлось пригнуть куропачьей белизны голову, сухие мослы выпирали из-под мужского пиджака, обвалянного оленьей шерстью, мужские же ватные штаны, заправленные в своевязанные носки, пузырились в коленях и засалились.

Анисья молча потащилась к шкапику, сразу взялась за самовар, что поменьше, загремела ковшом и словно

бы забыла Нюру, оставила в одиночестве. Старуха обежала взглядом знакомое жилье, приметив чисто намытый крашеный пол и тесаные стены, оклеенные газетой, и медную посуду, видно, недавно натертую песком: она уловила всю скромную радетельную чистоту и осталась довольна, что племяннику Мартыну Петенбургу досталась такая рачительная, пусть и с приплодом, женка.

— Где сам-то? — спросила Нюра, отмечая некоторую грузноту Анисьи, ее утиную походку. «Неужто понесла? — подумала сразу, схватывая знакомые приметы.— Мартыну бы радость».

— На работы сам-от...

— Ну да. Тоже надо,— согласно качнула головой Питерка и опять уселась прямо и строго, сложив изработанные руки на колени.— Вчерась сон видела, будто бежит корова в рыжих копейках. А потом будто и платок утеряла и думаю умом: что-то голова зябнуть стала. Нынче все чего ли привидится. А когда сполнится, тогда и сбудется.

— Плохо лежала, дак приток крови.

— А нынче каждое место болит...— Нюра стала озираться вокруг, отдохнувшими глазами проглядела семейный иконостас, нащупывая одну, давно знакомую фотографию. Первый муж Анисьи сидел на венском стуле, широко расставив ноги в бахилах, крупные ладони, повитые жилами, словно бы отдельно от тела отдыхают на коленях, лицо у Клавдия бугристое, квадратное, тонкая прядка волос начесана к узким застывшим глазам. Подумала: экий же и всамделе был простофиля, последнее отдаст. Везет Аниське на мужиков. Рядом с Клавдием стоял он, Семейко Нечаев, рыбацкие бродни до самых рассох, ладонь на плече приятеля, брови строгие, в упор заведены, на голове шапка зимняя пирожком, над верхней губой щетинка усов... «Любый ты мой, господи. Поминал ли когда, или не было словно».

— Слышь, Анисья, это когда заснимывались? — не поднимаясь с лавки, ткнула в коричневую деревянную рамку, источенную жучком.

— Уж какой раз спрашиваешь. Влюбилась, что ли? — Анисья ладонью обмахнула фотографию, близоруко всмотрелась, словно что заново хотела разглядеть, не узнанное ранее.— Не пил, не курил Клавдеюшка. А ушел на войну, и более все. Это он после гражданской где ли,

со зверобойки шли и в Архангельском отметились. Тоже форсуны были.

— А я Семейку-то знала, того, в стоячку который. Бывало, на первую мировую походил, так в нашем доме ночевал. У свекра тогда народу какого-то дивно собралось, избу забили, диво ли, всех-то девок восемь штук, да парней трое, да отец с матерью, да бабка с печи не слезала. Семейку-то ночевать в запечье повалили, а бабка-то ворочалась, видно, и квашню во сне спехнула. Тот и вылетел, орет, мы понять ничего не можем, Семейко весь в тесте, давай с него соскребать. Ой, смеху-то было, так до утра и не спали боле. Теперь уж где ли тоже старик...

— Как не старик-то.

— Моему Екимушке бы нынче пятьдесят три... Семейко-то зажал было в сенях, дак платье в подмышках лопнуло, дьявол такой. Клятвы-то еговой век не забыть.

— А все они для одного дела клянутся,— усмехнулась Анисья.

— Тебе-то грешно такое наговаривать. На мужиков-то ты повезенка: что первый, Клавдейко, такой уж тихоня был, то и племяш мой, уж не похулишь, пальцем не задиет... А я, как было провожала Семейку, на крыльцо вышла, греховодница.— Нюра снова небрежно ткнула скрюченным пальцем в выцветший снимок и попала бывшему ухажеру в лоб.— Вышла на крыльцо да плачу, а громко-то реветь нельзя, грех велик, я уж тогда вдовела, дак будто соринка в глаз посунулась. Я эдак-то пальцем ковыряю, а слез и пригоршней обрать не могу: «Ой, Семеюшка, ты Семеюшка, тебя боле не видать». И как в воду глядела. А он на заулке-то стоит и тоже будто плачет.

— Раньше почто-то не сказывала. Ну, Анна Ивановна, когда все открываться стало,— шутливо погрозила пальцем Анисья и как-то порывисто и неровно расцвела вся, обливаясь румянцем, засуетилась на стуле, сбивая коричневым гребнем мелкие кудряшки. Потом убежала в запечье, словно скрывая свою нечаянную радость: многим ли так на Вазице повезло, многим ли, и помоложе бабоньки сиротеют с войны. Уже из запечья, не показываясь, спросила глухо, горловым голосом, будто бы плакала там:

— Каково нынче бе́лки-то?

— Белки-то много, дивья зверя нынче, да у бабы

Нюры глаза боле плохи,— сказала Питерка о себе в третьем лице.— У бабы Нюры глаза вовсе пропали, на живодерню бы свезти, как худу кобылу.

— Да как ты живешь там одна? И неуж страх не долит? Переходила бы не то к нам,— сказала Анисья дрогнувшим голосом.— Изба наверху порозная...

— А вот так и живу, голубеюшка,— сказала Нюра, оставив без внимания последние невесткины слова... «До меня ли тут, прости господи. Своих-то дитешей полна лавка, да брюхата ходит, а я еще тут, ремочница старая, досадить буду».— Так подумала Нюра, а вслух откликнулась: — Парно-то, Анисьюшка, люди никогда жить не будут. Один живет — красуется, другой — позорится, не живет, а существует. Родитель-то мой — безотцова сирота, и мати — безотцова сирота, и я тешона не бывала, ремков шелковых не нашивала.

— Ну полно тебе, баба Нюра...

— Дак ты, голубеюшка, посмотри, как стары-ти бабы, сыроежки трухлявые, живут, которы в одиночестве. Всю жизнь горб ломили, все изломались, мужевьев война позабирала, так кому они нынче нужны? Полена дров никто не привезет, ни что другое. Как себя обиходишь да оприютишь, так и живешь. Хорошо, я пока в силах, сама управляюсь, а не замогу боле? Вот дожили до чести, головы боле некуда пришатить. Много детей — худо и мало — худо.

Намолчалась в одиночестве Нюра, а сегодня набухла ее старая душа, переполнилась всем передуманным, и хлынула горечь через край: хоть бы успеть высказать все, хоть бы не забылось, что в затайках, припомнить сразу да выплеснуть, тогда легче будет жить-доживать. Пока не видела Анисья, старуха подтянула к себе пестерь и добыла из него бутылку водки, с пристуком установила посередке стола.

— Смерть придет и дома, наверное, не застанет. Где ни то застанет в кабаке, и бутылочка в руке. Ты слышь, Анисья, как в песне поется.

Анисья высунула голову из запечья, увидела бутылку, только ахнула, руками всплеснула:

— Ты на что тратишься, баба Нюра? И неуж деньги лишние завелись?

— Лишних денег веком не бывало. Но день-то какой, Анисьюшка, и неуж забыла-а,— всхлипнула Нюра, некрасиво скривившись залубеневшим от ветров лицом.—

Эх-эх, Аниська, едри твою палку. Ты уж не помнишь, какой я была. Головой-то под матицу, и десять чашек вина кряду выпивала по госьбе, и пьяной не была. Анисько-о... Голубенюшка-то стоит на фотке и брови насуровил, ишь насторожился, как жандарм. Ну поди-поди, Аниська, хватит там возиться, подавай стакашки.

Анисья принесла картошки отварной да ладку жареных наваг, миску студня, хлеба нарезала, не скупясь, занесла фырчащий самовар. Нюра налила на донышко водки, выплеснула в застолье, что-то бормоча оперханными от мороза губами, потом наполнила стакашки вровень с бортиком, в прогиб, без пролива не поднести ко рту. Так и несла дрожащей рукой, расплескивая по столешне, и разом вылила в себя, как заправский питух, и не сморгнула, не скуксилась, только протяжно приложилась к залатанному рукаву.

— Скус-на, зараза...— Крохотная слезинка вылилась из тусклого глаза и так осталась висеть на рыжеватой ресничке. Анисья пила мелкими глотками, поджимая губы и удивленно вглядываясь в стакашек.

— Каково наваги-то взяла? — спросила Нюра, подслеповато вглядываясь в ладку.— Крупна нынче навага-то.

— Да много тоже не взяла, с такой семьей разве чего уловишь? Дак мы за что выпили, баба Нюра? — вдруг спохватилась Анисья, придя в себя и сразу пламенея лицом.

— За Екимушку, за него. Годовщинка...

— Так и не нашли тогда.

— Где найдешь,— пряча глаза, глухо сказала Нюра и локтями прикрыла лицо.— Где найдешь,— повторила она, раскачивая куропачьей головой. Ну давай, Аниська, лени-ко еще... Теперь за Него выпьем.

— За товарища Сталина?

— За Него,— согласно кивнула Нюра и, не открывая лица, куда-то под локоть протащила стакашек, выпила и опять закачала крупной головой, словно усмиряла в себе рвущееся на волю горе.— Ну вот и все,— вдруг сказала она и открыла бледное отечное лицо с порозовевшими глазами.— Ты ведь Кренева рода, ну да. Племянница Федьке Креню, который сожегся...

— Племянница...

— Вот-вот,—сказала Нюра, напрягаясь костистым телом и подаваясь вперед, словно получше стараясь

выглядеть невестку.— Ах, что я, стара-старуха,— вдруг воскликнула высоко и пронзительно.— Сказано-завязано, записано — не затрешь.— Широкой ладонью обмахнула край стола, словно подавила в себе что-то отчаянное и злое.— Иду я нынче через реку, и Наважья смерть попалась, у иордана наважку достает. Заколела вся. Говорит, заходи ко мне, а Аниську Селиверстову век не прощу. Она на моего первого мужа глаз положила.

— Она мне все смерти молит, зараза такая,— согласилась Анисья.— А я ее не боюсь. Я ей говорю: я тебе добра желаю, я тебе худо не молю, дак ты почему на меня так? «А не прощу,— говорит,— за Афоню. Ты на него глаз положила, он через тебя и погиб». Ой, баба Нюра, через Афоню Путко я и наревелась тогда.

— Знавала, чего объяснять. Кобелина такой, молодой, а седатый, поперечный такой, с Екимушкой моим вечно мир не брал.

— Вот-вот... Клавдеюшка мой с гражданской-то пришел на коне дареном да с красным флагом. На том коне и лесу на избу навозили. Я за Клавдеюшку-то шестнадцати лет пошла, невдолге перед колхозами, и рано у нас дети зародились, он детишек-то хорошо сеял, а я мастерица рожать. Как строились-то, день едим да день не едим, деньги надо было работникам. А тогда какие-то исполнители были, каждый двор пятидневку в сельсовете дежурил. Путко был председателем, это еще до твоего Акима было дело...

— Помню его, такой кобелина,— кивнула Нюра, осоловело взглядывая на невестку.

Сзади дверь в горенку была полуоткрыта, и оттуда нет-нет да и показывалась Симка, строго зыркала глазищами на старуху, словно окрикивала: у-у, Баба Яга — и снова скрывалась за ободвериной, а Нюра жалостливо и туманно подсматривала за девкой, вроде бы умоляла простить ее в чем. Но и нить разговора не выпускала она и, слушая Анисью, представляла в ее положении саму себя и потому согласно жалела невестку.

— У меня уж пятидневка кончалась, я пришла дела сдавать да домой скорей, муж-то в лесу. Тихой был, дак завсе в лес гоняли, все красный ударник. Путко кобелина был, ко мне пристраивался, но я ему на отпор, так он и злился. Веди, говорит, рестанта. А сменщик мой, Сашка-сосед, и говорит: «Давай я отвезу, у меня лошадь наготове. Куда баба поведет рестанта, ведь лесом

пятнадцать верст». Но Афоня: нет и нет, уперся, на своем стоит. Я богу так не молилась, как ему, на коленях перед ним пала. Дал он бумажку-сопроводиловку и даже час поставил, в котором мы должны в Рыболово прийти. Плакала я, умоляла, но куда денесся. Лошади нету, лошадь в лесу с хозяином. Домой заскочила, а старшей девчонке было годика три, померла после, а Володьке восьмой месяц. В рог налила молока, девке сказала, когда заревет парень, накорми, а на печном засторонке карасинничек стоит, такая пиликалка. Только, говорю, ради бога, Зинка, не трогай, а то спалите себя и дом. А мы отстроились в стороне от деревни, уж загорится, никто не спасет. Вот и побежала. Привела рестанта в Рыболово, не убоялась, сдала по этапу, отметилась в сопроводиловке и обратно пятнадцать верст среди-то ночи. Прибежала домой, запалилась вся, а пиликалка светит, девка мала на полу спит, парнишка рядом, обоссялся до грудей. На другой день пошла к Афоне, сказала, что сходила. А он фартовый был мужик, большой местом да красивый, спрашивает: «Как твои дети?» Я тут разгорячилась и понесла его по кочкам: «А, де-ти! — говорю.— Если бы чего сделалось? У меня двое ребят маленьких. Вот как ты надо мной поизгилялся. Как бы тебе умереть,— говорю, а сама больше ничего не боялась. Пусть, думаю, сволочь, тут и застрелит меня на месте.— Да пропади ты стоя,—говорю,— а не лежа. Пусть жена твоя так наплачется, как я перед тобой наревелась...»

И вот надо же так случиться, вскоре и увезли его. Увезли, да так до сих пор и возят. Говорят, вредитель какой был, тогда каких-то вредителей порато много было, винных и безвинных. Пальцем тык, вот тебе и вредитель. Разве не так твоего свекра погубили? А этот-то всех виноватей, изгильник, дрын бы ему на егово место. Прости, господи, о покойнике плохо сказать. Жена, Полька-то, до сих пор простить мне не может, все говорит, это ты намолила моему мужу смерти. Это ты намолила, глаз наложила. Вот тоже какая вредина. А чего вредничать, спрашивается? Сейчас за Гришкой живет, красуется, и детишек много зародилось, семя крапивное. А зло держит, держит зло-то...

Вдруг из горенки позвала дочь Симка, перебила Анисью на слове: «Ма, иди-ко сюда, чего ли скажу тебе».

— А от тоже девка, поговорить с гостями не даст,—

заворчала Анисья, еще не в силах отойти от воспоминаний, разгорелась вся, лицо пошло крапивными пятнами.— Леший тебе надо? — закричала на девку, но все же в горенку пошла. Через полуоткрытую дверь было слышно, как Симка выговаривала матери:

— Стыдно ведь, мама, Сталин умер, а к каждому слову бога приплетаешь...

— А тебе што?

— Да так...

— Если бога нету, церкви нашто открывать. Говорят, вон даже академия церковная существует. Чего ли, значит, есть?

— Выдумки все,— настаивала Симка.

— И откуда ты все только знаешь, дочка? После войны-то сколько открыли. Велят вспоминать...

— А кто велит, ну скажи, кто?

— Да отстань ты, привязка. Ты матери рот не затыкай, слышишь,— совсем не строжаясь, каким-то довольным голосом прикрикнула Анисья и вышла на кухню.— Про старое-то рассказываю дочке, дак не верит. Говорит, вру все.

Нюра отмолчалась, и доверие, протянувшееся совсем недавно между двумя бабьими душами, не то чтобы лопнуло внезапно, но как-то ослабело, чтобы когда-то вновь нежданно всплыть и натянуть сокрытые боли. Из бутылки старуха отлила в чайную чашку: «Это для Мартына, пусть причастится», а бутылку с одонками заткнула бумажной скруткой и поставила в пестерь. Потом неожиданно сказала деревянным, натянутым голосом:

— Аниська, ты отдай мне фотку с образами...

— Ты что, баба Нюра, там же Клавдеюшка мой.

— А ты отдай,— настаивала Питерка, тыкая кривым пальцем в коричневую деревянную рамку, та шаталась на крохотном гвоздике и готова была свалиться.— Ты отдай, может, молиться на нее хочу,— скрипуче засмеялась старуха, все так же не глядя в сторону невестки, брови круто сошлись к переносице и прикрыли выцветшие глаза.

— Н-не, чего хочешь другое, а это нет. Памятка ведь,— наотрез отказала Анисья.

Нюра в сердцах забурела лицом, отодвинула чашку от себя, расплескивая чай по столешне, и было совсем намерилась встать, но вдруг предложила, ошарашивая хозяйку и сбивая с толку ее простодушное сердце.

— Тогда продай, Аниська,— сказала Питерка, теребя засаленные лямки пестеря, потом отмахнула крышку и выметнула из берестяного нутра огненную лисью шкурку с дымчатой искрой по иглистому ворсу и скользящим махом руки накинула ее на край столешни. Лиса, словно бы живая, колыхнулась, и легкое пламя, вернее, отблеск сумеречного льдистого света прощально заструился по шкуре.

— Неуж нынче добыла? — удивленно спросила Анисья. Но Питерка молчала, обиженно склоня голову, и крупные вены на лбу вспухли кровью.— Ты уж старая ведь, баба Нюра, а все как девочка. Ну не пообидься, прошу тебя. Нам ли с тобой друг на друга обидеться?

— Так, может, я глупа? — в упор спросила Нюра.— Ты скажи, может, я глупа?

— Да нет, вроде ты ничего глупого не делаешь,— согласилась Анисья.

— Тогда ты из меня глупую не строй,— и, больше не спрашивая дозволения, Нюра потянулась и сдернула с гвоздика деревянную рамку. Анисья только махнула рукой, подумала: «У старых всегда винтик за винтик, когда ли я такой же буду».

— Лису-то забери обратно, денег за нее получишь...

— Симке на воротник. Не заметили, как и выросла. Уже меня Бабой Ягой кличет.

— Она скажет, уховертка. Не-не, баба Нюра, таких подарков нам не надо.

— Ну, Аниська, с тобой нельзя по-людски говорить. Все круть-верть. Я ли об вас не греюсь? А на эту зверину я все злюсь, такая пакость.— И Нюра оттолкнула лису от себя. Шкура неслышно свалилась на пол, Анисья торопливо нагнулась, потом набросила на одно плечо, ласкаясь щекою о скользкий рыжий мех.

— Это не та ли, баба Нюра, лиса-хитровановна, что у тебя росла?

— Тьфу, пакость,— сплюнула Питерка.— На прошлой неделе всех кур распотрошила, оставила меня без яичек. В дом-то захожу, на́ тебе, побоище мамаево, один петух на воронце дрожит, да и тот без хвоста. Зараза такая, обвела старуху вокруг пальцев, все лисонькой, все лисонькой!

— Так она и есть лиса,— сказала Анисья, спешно убегая в запечье, чтобы не увидела старуха, как распи-

рает ее смех: в темном закутке женщина долго откашливалась, словно бы в горле застряло что, и промокала фартуком слезу.

— Знаю, что не корова,— горячилась Нюра, играя порывисто бровями, и только застуженные жизнью глаза не оживали никак, в них уже напостоянно заселилась зима, и потому они были бесстрастны и тоскливы.— Думала, душа у нее, у собаки дикой. Не я ли ее с соски выходила, а она со мной чего утворила? Думала, поживет, дак спущу на волю. А зверь, он зверь и есть. Послушлива была, уж такая кисанька, только баловать начнет, я сразу котомку собираю и строжу: слушаться не будешь, дак насовсем уйду. Да нет, не нами сказано: что взято — еще не свое, а не свое, дак не удержишь, меж пальцей вытечет.

— Это у них порода такая, лисовая,— утещила Анисья, сливая в ведерко молоко.— Недаром говорят, лисой обовьется...

— Вот уж не терплю пакостливых. Қасть такая. Нет хуже на свете пакостливых да завидных. Бабкиным курам позавидовала. В доме-то жила дак как своя. Ты прибери шкуру-то, не томи меня.

3

Еще вся дорога была впереди, и Нюра заторопилась. Теперь она спускалась по деревне чуть внаклонку, стараясь не качнуть ведерко с молоком. Настояла Аниська взять с собой, да, по правде говоря, Нюра не особенно и отказывалась: своей коровы не держит, сил нет на нее, а парного молочка в охотку попить.

Небо уже позеленело, а дальний лес, куда предстояло войти, был по-вечернему мрачен и окутан кисеей сумерек, выплывающих из суземов. Тени у изб загрубели и, казалось, жили отдельными черными существами на снегу, кое-где наледь окон затеплилась ранним светом, видно, керосином в тех домах жили богато. Деревня настаивалась тишиной, сонно смирела и потому становилась особенно домовитой и желанной.

Нюра скользила по улице, догоняя свою легкую, едва прояснившуюся тень, и Вазица теперь не казалась ей такой чужой и своенравной, как утром. Душа была согрета и ублажена недавним застольем, и старуха сейчас подробно вспоминала, что пила-ела да какие разго-

воры вела, и была особенно радая, что, одарив Симку лисой, хоть как-то услужила Анисье добром за постоянную приветливость. А ведь что может быть дороже совестливой и отзывчивой доброты?

Нюра прокатила мимо отцовского дома: и хотелось бы задержаться подле, перекинуться с родичами словом-другим, но пустой ныне стояла изба, сиротски чернели небольшие оконца, и крыльцо в две ступешки перемело снежным сугробом. Значит, племянница Юлия Парамоновна этой зимой не навестит свое поместье, а ему бы поддержка нужна: двор-то провалился, по-собачьи скалился, не диво, если завалит кого, ведь постоянно подле ребятишки толкутся, свою войну ведут. Ох, Юлька-Юлька, зря ты свое хозяйство зоришь, где-то на дальней местности головушку пришатила, да чужая-то сторона пуще неволи. Еще не знаешь, где до веку своего насидишься да пластом належишься.

Потом была школа, чуть дальше — интернат, напротив — сельсовет. «И поныне живут в бывших кулацких хоромах,— подумала Нюра,—хозяева-то давно погинули, а избам износу нет».

Еще ниже, подле самой реки накренился бывший дом свекра Осипа Усана: уж тоже худенек стал двор, седлом крыша прогнулась. Наверху теплился свет керосиновой лампы, там поместилась почта; боковушку в три окна занимал медпункт; в нижней половине расположилась заготпушнина, окна наглухо придавлены ставнями да окованы кузнечным железом; а зимнюю избу занимала последняя из живых Усанов, золовка Калиства. С войны вдовеет она, муж в обозе до Берлина дошел, а там порезали его конокрады уже после замирения. Сыновья тоже на чужой стороне легли в братских могилах — земля большая, всех приняла, и незаметно стало, а одна дочка в городе устроилась, тоже семья, ей не до мамки ныне, своими детьми живет, ими и дышит. И Калиства в будний ли день, в праздник ли сидит на облюбованном месте подле оконца в газетный листок и все чего-то высматривает на улице. Может, чудится вдове, что вот сейчас, охлапывая катанки и кренясь на плоховатую левую ногу, раздвинет запоры в ограде ее благоверный муженек Василист, лошадь нахраписто, почуяв жилье, вдернет в заулок розвальни, а в них в охапку с гармошкой врастяжку хмельно лежат ее парни-погодки...

Кто ее знает, что высматривает золовка Калиства в

своем заулке, какие картины, одна чуднее другой, рисуются в переменчивом просвете окон, и Нюра, невольно заметив размытое сумерками лицо, даже затормозила лыжи, словно бы намерилась завернуть к вдовице, но потом вспомнила позднее время, и дальнюю дорогу, да свои семьдесят два года, потому отмахнулась от Калиствы и ее одиночества шубной рукавицей. «В другой раз как ли зайду,— решила Нюра, осторожно накатываясь на реку.— Ведь в двух домах зараз не гостят».

...Ой-ой, восемь девок было у свекра Осипа да три парня, а из живых осталась одна средняя, Калиства. Люди, как вода, текут, и не видно их. По ранешней-то глупости пела, бывало: «Умерла свекровушка, не болит головушка. Как бы свекра уморить, я бы знала, как прожить».

Осип-свекор век вина не пивал, а бывало, бутылку воды нальет, ходит по деревне да плачет. Его спрашивают: «Почто, Осип, ревешь?» — «А восемь девок дак».

Тоже остался сиротой, без отца, без матери трех лет, а повыше столешни поднялся, уже в работники ушел к ненцам в чум. Потом восемь лет в армии, а как вернулся, усы длинные, за уши закладывал, так и звали на деревне — Осип Усан. Не высокий он был мужик, но ядреный и зараженный на работу. Так и стоит он в Нюриной памяти: идет он по чищенице прокосом, а за поясом топор, где куст на пути, тут и ссекет его. Он уж земледел был, он ни на озера, ни в море, ни на реку, никуда. Такой уж был земледел. Работал — и лошадь сменная была. Кобыла устанет, мерина в соху запряжет. Три избы срубил сам: одна в Вазице, другую сыну отдал, где ныне век свой коротает Нюра, а третью еще за десять верст оттуда поставил, правда, та изба под старость была накатана, и не успел старик толком утеплить ее, так сам в бане жил, когда пожоги под пашню делал. А в тридцатом-то году уже перевалило Осипу Усану за восемьдесят, в колхоз вошел, и больше его никто не мог за день вспахать. В газете писали, портрет был рисованный, и назвали там Осипа «красным пахарем».

Но в колхозе поперввости не было настоящего хозяина, каждый сам по себе тянул да кто во что горазд, то и вытворял. А был председателем татарин из Казани: грамоты не знал вовсе, даже считать не умел, так деньги переводил на трешки, чтобы ловчее было итожить. Осипу такая бестолковщина не по душе стала, и однаж-

ды он отказал председателю, не дал саней и водовозной бочки. Тот стал на старика держать злой умысел и определил его в кулаки. Тогда уже Осип один с женой в избе оставался, дети каждый своей семьей жили, так дочерям-сыновьям запретили к отцу в дом заходить. Ваня Сосок, тогдашний милиционер, сам сторожил. И, бывало, Нюра напечет шанег, колобов житних да, пока горячие, накладет в малицу, да опоясается потуже, чтобы не выпали, и понесет в деревню тайком. Так через навозное окно украдкой свекрови колобы подавала, чтобы Ваня Сосок не уличил. А как повезли Осипа Уса на лес валить, пришел он к снохе на заимку и заплакал, и пока за поля провожала его Нюра, все ревел голосом. Но не успела спровадить старика, как уже встречать надо: вернули Осипа из леса да еще и посмеялись, что у вас, в Вазице, постарше мужиков не нашлось?..

А свекровь уж после умерла. Ладони сложила лодочкой, дует, словно холодно ей. Нюра и спрашивает: «Мама, что с тобой?»

«Пойду скорей. Пойду скорей».

Потом и говорит вдруг: «Нюрку-то жалко, нескладна у нее жизнь». А уж и не признает невестку.

«Мама, дак ведь тут я».

«Нюрку-то жалко, сиротея она».

Как раз баню топили, сходила Нюра проведать, вернулась, а свекровь уже умерла.

«...Осподи,— подумала Нюра, подслеповато всматриваясь под ноги,— жили как не были. Куда-то все девается, куда-то все уходит».

Вспомнилась опять золовка Калиства, ее похожий на икону лик, впаянный в проталинку оконного света... Уж родной дочке невдомек матерь родную приютить, дак до нее ли чужим людям: у каждого своя забота да своя беда. На хороших-то людей и в урожайный год недород, хорошие-то люди нужны позарезу, да худые-то пошто лезут. Екимушка был бы, дак и я не эдак бы жила.

— Ой, Нюрка, Нюрка, киснешь ты пошто,— сказала Питерка вслух.— Раз киснешь, видать, худовата твоя вата, не годится на пальто. Не-не, я еще слава богу, мне бы только из сил не выбиться. Я-то еще завидно живу.

Нюра поднялась на противный берег реки. Кунды, подбитые лосиными камусами, несли хорошо, не поддавали назад. Рядом лежала сенная дорога, она так и струилась на виду у моря и отворачивала в сторону не-

вдали от Нюриного зимовища. В молодые годы, когда Питерка побаивалась суземов, она бегала этим путем, где каждый случайный человек виден издалека и к нему можно было успеть привыкнуть настороженной душой.

Еще как переходить в новую избу, которую срубил свекор Осип Усан у черта на куличках на новых чищеницах, приснилось Лешке, Нюриному мужу, что-то суеверное, божье. Будто икона божьей Казанской матери и говорит ему из красного угла: «Не позабудь меня, возьми с собой, иначе житье не падется». Наутро Лешка и рассказал сон, и с собою эту икону увезли. Но только счастье не заселилось в новой избе, стороной миновало, той же зимой окаянно, не по-человечьи помер Лешка. Теперь-то для Нюры все это как во сне, уж более полувека прокатилось с того дня. А первое время Питерка и спать не могла в проклятой избе, ушла к брату и неделю там горевала. Пусть плох муженек, да свой, незаймованный, мужскую работу сам вел, со стороны людей не надо было звать.

Но, правда, до питья жадный был человек, как отец Осип — до работы, так сын его — до хмельного. Бывало-то поровенки скажут: «Где гриб вырос, там и погинет. А замуж выходить хоть за батожок, да на свой бережок». Вот и выскочила за пьяницу, можно сказать, дня счастливо не жила.

Лешка и сам толком не пожил, и ей пожить не дал, не дал ведь, варнак, пожить, и Казанская матерь божья ничего пособить не могла. В гостях было напился, налился винищем, глаза уж больше не видят, да из-за стола в сенцы выполз, такая уж была мода у человека: ослепнет с хмельного, опухнет весь, а потом прячется, ползет подале с глаз чужих долой, чтобы отоспаться, в себя прийти. Пели-пили, да сколько можно, на ночь глядя и собираться стали по домам, не век в гостях быть: сидят-сидят, да и ходят. Тут и мужик вспомнился: лежит, голубеюшко, в сенях, а морозина калит, спасу нет, а ему хоть бы какой черт в бок кольнул, лежит-полеживает. Позлилась, а душа не взыграла. Ой бы ей тогда встрепенуться, а она его в бок тычет, чтобы пробудить, да выпевает: «Сколь ты не боров окаянный, опять нализался, тащи его на горбу, и почто на меня этака морока навязалась».

А тетя Дуня: «Ты, Нюра, останься, да ты, Нюра, ос-

танься, куда вы на ночь глядя попретесь, хороший хозяин собаку на двор не выгонит».

А знать, судьба была, судьба. Зло такое взяло, году не живут, а мужик вон какие коленца выкидывает. Закатила Лешку на чунку да веревками примотала, а гости пьяновато расхохатывают: «Ну, Лешка, сегодня ты досыта винца напился».

Посмеялись и обратно в избу, в тепло, а ей везти: потащила мужика на саночках, тянет да приговаривает, честит молодую голову: «Вот свергну с чунки да начну слегой по бачинам охаживать, больно хорошо тогда будет». А Лешка молчит-помалкивает. Притянула его к избе: «Ну, вставай, доколе барином лежать, ему стыд пошто-то и глаза не выест». Но Лешка колодой лежит, рукой-ногой не дрогнет.

Ой, как всполошилось тогда сердчишко, так больно ударилось в грудях, упала Нюра в снег, кулем повалилась, заголосила на весь зимний лес: «Лешенька, да не помер ли ты, голубеюшко?» А уж помер он, как не помер, ежели сосулькой замерз...

Не раз за жизнь вспоминалась та ночь, не раз, и ныне вспыхнула, до самой малой подробности высветлилась, но не обожгла горем и страхом душу, уже поминки эти не были пронизаны заполошной болью, отворяющей по обыкновению бесконечные слезы. С какой-то тупой холодностью родились видения, совсем чужие, будто с кем другим все и случилось, и не дрогнуло, не качнулось старое сердце. Пристально вгляделась Нюра в себя, словно в притворе дверей подкараулила свое прошлое, но различила лишь бесплотную тень мужа, лишь напоминание, что это он, а не другой, и не узнала ни глаз его, ни губ, ни подробностей тела, и только вспомнились зряшные мелочи; вот саночки были без двух передних копыльев, обросли только наледью, видно, у тетки Дуни воду из проруби на них в ушате возили; потом веревка узловатая вспомнилась, едва развязала ее, все ногти обломала... Но отчего, подскажите, люди добрые, отчего забылось самое близкое: мужнее лицо пропало, его руки, тело, вроде бы и не обнимала, не ласкала в первые, полные желанного узнавания ночи, вот и походка забылась, и привычки, и только застряло в Нюриной памяти раздражающим узелком, что уж больно много вина употреблял ее муж Лешка Губан.

...Небо из зеленого стало свинцово-мглистым, слегка

осыпанным белой пылью, из которой должны были, наверное, народиться потом звезды. Заря плавилась тускло и холодно, вся пронизанная перьями густой синевы, и от этой всеобщей угрюмости чудилось, что мир вокруг опасливо затаился, готовый залить бесконечным мраком и захолодевшие поля, и крохотную деревеньку в распадке меж песчаных грив, едва роняющую слабые желтые тени в путаницу сугробов и тропин. Перед тем как зайти в лес, Нюра еще раз оглянулась назад и на месте моря, что начиналось сразу за Вазицей, увидела лишь зыбкое непроницаемое марево, которое слегка искрило и вроде бы жило, густо покачиваясь: знать, был прилив, прибылая морская вода взломала припай и, корежа льды, ставила их торчком, гнала на берег и тут же неряшливо замораживала их. Последний дневной свет скользил по остывающим ребрам ропаков, и потому чудилось, что море сверкает и дышит. В полной тишине еще слышался мерный шорох наступающей воды, порой льдины стеклянно лопались, и этот звук висел в воздухе прозрачно и долго.

Куда забрались люди? Куда? Какой злой рок приманил сюда и, словно бы окружив красными флажками засады, не истребил их, а оставил умирать, но они вот выжили, а привыкнув, уже полюбили все, что их окружало, не ропща на судьбу, порою радуясь, что именно им достались такие пространства и такая большая воля. Как безрассуден и сколь уживчив человек, пускающий семя порой на самой бесплодной пашне! Но перед разлившимся половодьем глухой черноты, куда должна была вступить Нюра Питерка, россыпь слабых керосиновых огоньков позади нее становилась с каждым шагом все радостней и желанней.

Нюра взглянула на небо, привычно приметила время — было где-то около четырех. От тайги несло навстречу стылостью, словно из давно не топленной избы. Лес встретил настороженно, молчаливо, и ни одна птица не снялась с поникшей ветви, и только где-то далеко, в сквозняке замершего ольховника, пронзительно скрипнуло остывающее к ночи дерево. Нюра пробежала вырубки, стараясь не зацепить ведерком за случайный сук, потом пересекла болотце, поднялась на взгорок, и еловый нетронутый бор, уходящий черными куполами в самое небо, подхватил ее и поглотил сразу. Отсюда до хутора было рукой подать, версты две, более никак

не наберется, лыжня наторена за долгую зиму, даже снегопады не смогли захоронить ее совсем, и кунды сами, будто по своей воле, податливо скользили по извилинам подмерзшего следа. Нюра нынче не боялась тайги, как бывало в молодости, и шла лесом, словно та хозяйка, что привычно и легко бродит в потемках по вечернему подворью, порой по скорой нужде ленясь запалить фонарь.

«...Припозднилась вот. Котофеюшко где-то там. Одинокий человек и животинке рад,— отрешенно думала Нюра вслух, по старой привычке от постоянной одинокости своей шевеля губами.— Небось вопит Василейко, на всю избу рев поднял. Осподи, был бы сын в живых, разве бы пришлось по тайболе лешевицей бродить? Слава богу, Катька когда вспоминает, то письмо кинет, сто рублей подарком пошлет. Хоть бы девке счастье палось, сейчас вроде бы мир меж има идет, а то еще два года назад наотрез, говорит, не хочу видеть своего мужика Степку Ардеева, не хочу с ним в чуме жить, прибери меня, мамушка, к себе. Вот тоже, чужая девка-лопата, самоядь, а к Нюре только «мамушка и мамушка», больше иного слова нету».

Семнадцать лет назад приютила Нюра Питерка трехлетнюю сиротину Катьку. Отец у нее, ненец-единоличник Прошка Явтысый, за жизнь свою восемь жен имел, а молодая Марина уже девятой была по счету. Прошка ревнив, в чуме прорех нарезал: куда идет жена, в дыры за ней подглядывает. А сам характером темен, не угодить ему, хоть оленьей полостью расстелись, пади ему в ноги. Сколько-то пожили вместе, а однажды приревновал Прошка жену свою к пню еловому, хотел было зарубить, да нечаянно качнулся и обвалился на раскаленную плитку: схватил Марину за смоляную жесткую косу и давай ее головой о свое колено лупить, потом выволок на волю и ногами затоптал ее в снег. Так тут и бросил ее совсем, ушел вместе с оленями из вазицких боров куда-то за Урал. Марина похворала, сколько могла, побродила еще по земле, а потом слегла совсем и больше не встала: с того раза до последнего часа смертно гудела у нее голова, и чудилось бабе, что за чумом кто-то хохочет и пьяные песни поет. Забегается Марина вокруг чума до горячки, запалится вся, потом в снег падет и лежит, пока в себя не придет. Так и не оправилась Марина, умерла под весну, а девку ее трех-

летнюю приютила у себя Нюра Питерка. Первое время еще подумывала, что злодей Прошка Явтысый хватится своей дочери, вернется и заберет, а потом так прижалела девку, что оставила у себя. Выросла Катька, как своя дочь была, а восемнадцать стало, посватался Степка Ардеев и увез к себе в чум на Канин.

Однажды, через полгода наверное, приезжают вдруг, в малицах вваливаются в избу. Нюра — ой да ой, скорее самовар наставлять, чай пить садит, а Катька за стол не присаживается, сидит в сторонке на лавке, ни слова не молвит и глаз не подымает. Нюра ей: «Катя, скинывайся давай, хватит монничать, придвигайся к столу». А Катька горбится и глаз не подымет.

— Ты чего, Катька, не заболело чего? Сидишь, голову склонила,— все не отступается Нюра. И мужик ее, Степка Ардеев, тоже обидно молчит, а потом и говорит:

— Нюра Питерка, твой Катька со мной спать не хочит.

— Ты что, Катька, срамница такая, сдурела совсем? Я ли тебе не мати была, так пошто меня позоришь? Я ведь тебя силком не отдавала, сама пожелала. А вышла, так и жить нать,— сказала Нюра, но видит уже, что приемную дочь никакое слово неймет, крепится девка, чтобы не зареветь, губу накрепко закусила.

Отвела тогда Степку в сторону.

— Чего не поделили. Небось бил?

Тот глаза ночные обидчиво в сторону спрятал.

— Забижал небось?

— Не-не, пальцей не задел, а она пошто...

— Поезжай-ко к Марье Задориной, горбатенькой, привези сюда. Скажи, я просила шибко.

Слетал на оленях Степка, привез Марью Задорину. Подала ей Нюра острый нож да вина немного в чашке, провела в запечье и занавеску задернула. Чего-то в потемках плевала-шептала Марья, вдруг зовет: «Катя, поди сюда, касатушка». Прошла Катька в запечье, вино нашептанное выпила. Марья ей из кадки еще холодной воды зачерпнула, и девка из того ковша пригубила. Потом явилась на середину избы, склонилась поясно и говорит вдруг ясным голосом: «Степа, любимый, поедем домой».

«...А тепере живут, как гусли,— думала Нюра, довольно вспоминая приемную дочь.— И ко мне-то все —

мама да мама, уж худого слова не обронит. И Степка-то для нее шелковый, готов ноги мыть бабе да ту воду пить. Это уж промеж ненцев редкость, на удивленье. Вот и сына принесла Катька, а этой осенью и другого: ну-ко, на-ко, приехала к Нюре рожать да на Нюриной кровати и принесла парничка. «Счастливая,— говорит,— я теперь, мама».

Вот как Марья Задорина девку мою поставила. А тепере и самой в живых нет, уж полгода, как умерла, и все плевки с собой в землю унесла».

Только раз, в конце пути, Нюра остановилась передохнуть, оправила шалевый плат, которым прикрывала рот, оглянулась, озирая тусклую лыжню, размытую сумерками. Тут и луна пробудилась, легко и туманно протаяла на кромке неба, окутанная серебристым облачком света. Проклюнулась, словно сырой цыпленок, и пробудила мир. Снег вокруг налился сочностью и вздыбился неровно, четко разрезанный тенями, но там, где скрещивались убегающие потоки деревьев, родилась ночная чернильная темь, настороженно скрытая еловой завесью и путаницей березняка: там сразу ожили какие-то шорохи и тонкие вскрики, словно бы кто маялся сейчас в тоске и страхе.

У Нюры сердце не спохватилось, не вздрогнуло, она лишь безразлично и устало оглянулась, направляя дыхание, потуже схватилась за дужку ведерка с молоком и хрустко скользнула по лыжне. Лес сразу отшатнулся, в прогале, добытая топором и пóтом Осипа Усана, показалась просторная чищеница с одинокой креневой елью посередке, а на дальней опушке, где опадала бережина в чуть приметный овражек лесной реки, подобно неряшливо сметанным зародам, сутулилось Нюрино житье: изба, амбар, банька на задах.

Поляна была облита тусклым неживым светом, снег лежал округло, словно бы вспухая и выбраживая в огромной квашне, готовый пролиться, и даже чудилось, что он зыбко дрожит, насквозь пронзенный широкой лыжней. Глухо, как сквозь вату, забасила собака: Нюра ее держала в сенях, чтобы ненароком не заели волки. Егарма была тонконогая вихлястая сука с развесистыми ушами, какая-то странная помесь лайки с уродливой дворнягой, но исключительно лаяла она белку и боровую птицу. Собака, смиряя радостную упругую дрожь, ткнулась в подол хозяйкиной малицы, скользну-

ла короткошерстным боком, едва различимая в немощном пятне света, просочившемся в проем двери.

— Ну, поди прочь, Егарма,— ласково отпехнула коленом суку. Нюра держала собаку в строгости, не поваживала водиться у стола и выпрашивать куски и только в редкие запальные морозы запускала на ночь к порогу. Но, услышав в голосе хозяйки теплое участие, Егарма тонко подала голос, напоминая, что оголодала уже и не прочь бы перед сном согреть нутро едой. К распахнутой двери в избу сука не кинулась, почуяв обжитое тепло, а понарошке словно бы отвернулась, просунув в проем уличных ворот острую морду и принюхиваясь к завечеревшей тайге, полной смутных шорохов и запахов. Шерсть на загривке тревожно вздыбилась, когда что-то нервное и злое почувствовала Егарма в потоке морозного воздуха, пронизанного только ей слышными запахами; и тогда она завыла вдруг пугающе, навзлет, радуясь тайно всем существом, что хозяйка наконец вернулась, а тесный мрак сеней уютен и знаком.

Нюра запалила на засторонке печи сальничек, крохотную пиликалку, и, не раздеваясь сразу, еще посидела на лавке, как бы заново оглядывая избу и привыкая к ней: но все было обжито и неизменно тут, как десять, тридцать, пятьдесят лет назад. Та же битая из глины осадистая печь, густо расписанная пышными цветами; около дощатая загородка, на которой тускло проступали желто-красные звериные лики; гладко тесанные топором стены, крашенные охрой; связки куропачьих крыльев над дверями; а еще выше пучки подсохших вересовых веток, источающих слабый лесовой запах, изводящий из избы всякую заразу; в переднем простенке длинный стол, в левом углу шкаф-поставец с посудой и наблюдник с медными тазами и подсвечниками; в красном углу подслеповато дрожала лампадка, и в скупом ее свете едва проступал стертый лик Казанской божьей матери; вдоль боковой стены стояла деревянная своедельная кровать, накрытая пестрым одеялом. По неряшливой пыльности углов и застарелому запаху избы чувствовалось, что здесь живет старая одинокая женщина, уставшая от долгой жизни и работы, и которой уже не хочется что-то делать, крутиться, чтобы как-то еще скрасить житье.

Поняв, что в избе все неизменно, и поникнув душой, Нюра вдруг сразу устала: захотелось упасть на кровать

и забыться, но и этого нельзя было сделать ей, ведь оставались свои, бабьи заботы, и потому, превозмогая вялость, старуха забродила по избе путано и бестолково. Головою Нюра была повыше воронца, и оттого приходилось нагибаться, когда слонялась из переднего угла к порогу, чтобы забросить на печь малицу и пудовые катанки. Тут с полатей спрыгнул кот, и Нюра, занятая своими мыслями, неожиданно вздрогнула.

— А-а, штоб тебя понеси леший,— досадливо прикрикнула она, ведерко с молоком поставила на шкапик, рядом — сверток с двумя солеными рыбинами, кисловатый дух которых скоро пробился сквозь оберточную бумагу, на столешню выкатила караваи и к ним прислонила деревянную рамочку с фотографией. Но зрение было уже немолодое, свет от пиликалки едва струился с засторонка печи, и Нюра сняла сальницу на стол. Потом обтерла ладони об ватные брюки и кривым пальцем обмахнула и суровые брови Семейки, и тяжелые скулы, и твердые, испуганно сжатые губы.

— Ишь, фартовый какой, любушко мой, голубанюшка. Небось и вовсе забыл Нюру? Как не забыть-то, осподи, век прожит,— шептала старуха, подслеповато вглядываясь в выцветшее, едва заметное лицо. Тут котофей вспрыгнул на шкапик, почуяв рыбный запах, жадно вскричал и, цепляясь за ведерко, потянулся когтистой лапой к свертку.

— Кыш, я тебя,— отвлеклась Нюра от котовьей возни, но то ли встать уж сил не было, то ли не разглядела, что вытворяет животина, только не поспешила к шкапику.— У, голодай, дай бабке прийти в себя. Сейчас молочка лену, благодари Анисью, что не забывает она бабу Нюру.

Ободренный мерным, покойным голосом, кот рванул бумагу посильней и, опьянившись рыбьим духом, окатываясь лапами по нахолодевшей посудине, вдруг столкнул ее со шкапика. Словно бы взорвалось что, такой внезапно раздался грохот, кот пулей метнулся к порогу, отчаянно тыкаясь мордой в дверь, потом живо убрался на печь, оттуда зажег зеленые глазищи.

— Ах ты, зараза, ах ты, кастъ, брюшина ненаедная,— вскричала Нюра, бросилась поднимать ведерко — так мечталось о молоке, просто душа горела — да только какая польза от ее запоздалых стараний, если молоко синевато расплылось по полу, мешаясь с мусором,

и с шорохом побежало в щель под печку. Еще раз всплеснула Нюра руками, охлопывая бедра, кинулась к печи, чтобы хорошенько отучить котищу, а в гневе забыла приклонить голову, и тут глухо припечаталась лбом о воронец, как-то скользом зацепилась, потом ошарашенно опустилась на кровать, очумело поводя глазами.

— Сирота я, сиротея... И никто меня не приголубит, не прижа-лет,— причитала Нюра, ощупывая на лбу быстро созревшую шишку.— Вот и сон в руку, вот и корова в рыжих копейках. Қасть ночная, три литры молока ведь опружил, теперь сиди голодом, крохи ситной не дам, не то другого жорева. Ой, не зря во снах плат с головы потеряла, вон какой волдырь нажила!

Совсем обессилев, поднялась Нюра с кровати, прибрала на полу, собаке кинула в сенцы кусок зайчатины, а сама уж крошки хлебной в рот не взяла, так голодной и пришибленной свалилась в кровать, чуя душой и телом, как все хвори и слабости разом накатываются на нее.

4

Третью ночь подряд видела Нюра один и тот же сон, и кончался он так до жути явственно, что, вспоминая его после, старуха поначалу мучилась и холодела до морозных мурашек. А снилось Нюре что-то греховное до бесстыдства, до сладостного томления, до откровенного изнывающего стона, снилось давнее, полузабытое, мимолетно испытанное в коротком замужестве, а может, и вовсе не испытанное, разве все упомнишь, но о чем втайне желала и мечтала в те годы, когда была наполнена здоровьем ее плоть. И сейчас, боже ты мой, восстав из ночи, Питерка мучилась и страдала, вспоминая в подробностях дьявольские сны и не зная, бывало ли когда это в яви или нынче блазнило лишь...

Где-то средь ночи вдруг снилось Нюре, будто она еще в той наивно-любопытной поре, когда девки уже вкрутую дролятся с парнями, позволяя на вечерке сидеть ухажеру на их коленях, жадно проверять, все ли у хваленки на месте, и от этих скорых украдчивых объятий вместе сладко млеть. Вот будто Нюра как раз в той поре, и у нее с ухажером сговор, будто ее замуж за

нелюбимого отдают, и хочет девка уйти из дома «самоходкой», без родительского благословения, и обвенчаться в мегорской церкви у тамошнего попа. И будто уж лопотина кое-какая спешно собрана в узел и на повети припрятана, и лежит Нюрка в постели, едва притормаживая сердце, а подле сестра Клавка пышет теплом, и Нюрка от сестры все подалее, все подалее отваливается, чтобы только не слышать ее назревших грудей и горячих круглых коленок. Давно ли будто жались — водой не разлить, обе на выданье, разом поспели, секретов за вечер не высказать, а нынче вот, только за час жданки, вдруг неприятной стала Клавка, вся неприятной — от рыжей, распущенной по изголовью волосни до крутых бесцветных ресниц и литого плеча, выбившегося из-под сорочки. Отворит Нюра глаза, свет в оконных стеколках зыбится, дрожит, чуть разбавленный сиянием восходящей зари; скосит девка лицо набок, и чудится, что ресницы у Клавки шмыг-шмыг: ведь не спит, ведьма, и душою настороже.

А ждать невтерпеж более, до первых бы петухов скрыться надо, хоть бы за деревенские поля перебежать до лесной тропы, а там уж сам черт не угонит. И, не сводя сторожкого взгляда с сестреницы, Нюрка выстала из кровати и попятилась за порог, боясь скрипнуть невзначай половицей, потом так же воровски спустилась из горенки, страшась отцовского окрика. Пробежала поветь, дверь будто сама отпахнулась бесшумно: ловит-ловит Нюрка ускользающую щеколду, чтобы затворить за собой, и не может поймать чугунное с насечкой кольцо, словно бы вот оно, и нет его, потому торопливо отмахнулась, но сердце вздрогнуло. Ой, зачем отмахнулась, не надо бы так, домовой-хозяинушко тебе не простит. Но и молодец-то жмется на задах избы, но почему-то в броднях до рассох, словно в море собрался, на кудрявом пшеничном волосе фуражечка набекрень, и лаковый козырек солнечно отблескивает, и потому лица у миленка совсем не видать. Вроде бы и Семейко по обличью, по всем статьям, а вроде бы опять же и не он. Спешит девка, а за спиной из полых ночных ворот словно кто-то нашептывает: «Андели-андели, Нюрка-то Питеркина самоходкой пошла. Не падет девке счастье, грех-то... грех-от ой».

«Ты почему тут? — вдруг спросила Нюрка, испугавшись во сне, что у нее все сдвинулось в памяти.—

Я ведь тебя куда после узнаю, уж когда вдоветь буду. Ты пошто меня крадешь-то?»

И на душе стало так тяжко, не вздохнуть. Ой, что-то не то, ой, что-то не то.

«Ты что, Нюра, напутала все. Не с той ноги встала, не с той ноги встала»,— пришептывает парень, а сам влекет куда-то за руку. Вглядывается Нюрка в своего дружка, а лица не признать, свет глаза застит.

«А может, так и было. Только Семеюшку и любила. С кем же еще бежать? Только бы не застигли, а там все хорошо. И всё слава богу»,— уговаривала себя Нюра, а дышать отчего-то столь тяжело, словно жернов на грудь закатили. И вдруг опахнуло хлебным настоем, пробежали сквозь богатые креневские пашни, выскочили на замежек, а вот и он, березовый лесок, такой сугревушка, аж парит весь и словно дымится под ранним солнцем. Птаха какая-то зачивкала. «Погоди, дай вздохнуть, запышкалась боле. Ты постой, оглянись на свою голубеюшку. Што-то вроде ты не такой сёдни».— Взмолилась и упала на замежек, в отсыревшую от утренней росы траву, словно утонула в ней, и небо, еще заголубевшее, отмахнулось куда-то ввысь и круто прогнулось. «Осподи, как благословенно. Ну иди, ну поди ко мне». А дружок уж рядом вроде, хотя отчего-то и не видать его, только шепчет беспамятно: «Успеем еще, успеем»,— но сам дрожмя дрожит, а тут и с Нюрой случилось хмельное кружение, стало отчаянно весело: только слушала парня и податливо прогибалась вся навстречу, когда он нетерпеливо полез ей за пазуху. И девка засмеялась неожиданно, уже ослабевшая и готовая к любви: «Ой, чекотно, ой, чекотно».

И тут, вся пронизанная мгновенной болью, Нюра дернулась и проснулась. «Осподи, что это со мной?» Она ошалело, но, не в силах прийти в себя, приподнялась на локте, всмотрелась в темь избы до цветных кругов в глазах и еще долго так полулежала, привыкая к ночи и трезвея от сна, пока не отерпла рука. «Уж котору ночь блазнит»,— подумала Нюра, заново припоминая сон; болела грудь, и старуха, отвлекаясь на эту щемящую боль, никак не могла вспомнить конец сна и оттого мучилась еще больше. «Согрешила ли я, согрешила ли?» — спрашивала себя Нюра, напрягая остывавшую память и вспоминая все снова, но навязчивый сон, как назло, каждый раз кончался внезапным

возбужденным смехом и мгновенной пронзительной болью. «Доглядеть бы надо, доглядеть».

Посреди темноты Нюра лежала, словно в могиле, и даже шорохи и звуки, которые окружали ее, были постоянные, из ночи в ночь, и не заставляли отвлекаться. Ширя глаза, Нюра вглядывалась в настуженный избяной мрак, пропахший кислыми шкурами и старой заношенной одеждой, и вспоминала свое девичество, потом короткое замужество. Пришел в память Филипп, длинный такой, носатый парень, с ним Нюра раза два целовалась на семужьей тоне, а на вечерках пела: «Не пойду я за Филиппа, от Филиппа буду бита». Хотя за Филькой-то побежала бы в угон, но жил парень в избе, лабазом крытой, да с земляным полом, едва себя да мать кормил. «Ему ли нищету плодить?» — решил Иван Петенбург и отдал дочь за Леху Губана, и фамилию даже менять не пришлось: половина деревни Селиверстовых. На том девичество и кончилось. «Так было, так»,— вспоминала Нюра, перетряхивая свою жизнь, но душа, растревоженная греховным сном, противилась тусклой памяти. Не ведала Нюра, что невдолге перед смертью она видела в горячих снах то, о чем мечталось в девью пору, но не хватило смелости ей тогда, кто знает, а может, и любви. И сейчас не могла старуха смириться со своей памятью: «Ой, Нюра, такое зазря не приснится. Такое только взаболь бывает».

И стала вдова примерять носатого Фильку к ночному видению, поставила его под фуражечку с лаковым козырьком, но вот грех-то, лицо парня не просочилось в памяти, и помнилось лишь что-то носатое, и вроде бы он волосом смоляной был, а этот с рыжа и в колечко кудёрки. Ой ты, боже мой, ой ты, боже мой! Кто же выкрал тогда? А кто-то ведь взаболь крал, раз приснится такое.

И сегодня словно на что решилась Нюра, потому не встала, как обычно, посреди ночи, не засветила пиликалку, чтобы потом одиноко горбиться на лавке, а натянула повыше к подбородку одеяло и сказала себе вслух: «Все так и было дак. Только запамятовала я». Старуха покойно закрыла глаза и уже до рассвета спала блаженно, пока собака не зацапалась в дверь.

Обычно долго разламывалась, приходила Нюра в себя, с кряхтением пролезая в полдюжину просторных юбок, защипывала каждую на большую костяную пу-

говицу, похожую на леденец, потом садилась на лавку и, тупо раскачиваясь, чесала настуженную голову. А нынче снялась с кровати, будто молодая, не глядя, нашла ногами меховые пимы и в одной посконной рубахе, не боясь стужи, сразу кинулась во двор за полешками и растопила печь, раскопав на загнетке в золе полуживой уголек.

Сон еще крохотно теплился в Нюриной душе, освещая очередное утро, нелепые подробности как-то притухли, а осталась лишь спокойная радость и терпеливое ожидание перемен, которые должны были вот-вот постучаться. Потом, обмахнув ладонью и подышав на рамку, Нюра повесила ее в передний простенок, вглядéлась в тусклый снимок отдохнувшими глазами: «Письмо-то написала, да неуж не ответит? Вроде бы свои мы тепере, такое тут положение. Небось уж весточку получил, как не получить-то, нынче, быват, не старое время, почта на живых ногах ходит».

Потом, словно застыдившись чего, а вернее, озябнув вдруг плоско усохшими грудями, Нюра вздрогнула и стала торопливо кутать себя в ватные брюки с засаленными коленями и меховую телогрею, густо пахнущую зверем, уже решив в душе, что нынче надобно путик лесовой навестить. Куропоть уж должон быть, как не должон, только бы лиса-зараза не погрызла, бога вот не боится, повадилась по сильям шастать и не столько птицы сожрет, сколько выпотрошит, перья натрясет. Надо будет на нее кулемку насторожить, может, и увязнет, падина.

Потерянно ходила Нюра по избе, куда-то неслышно пропал утренний задор, мослы рук устало опали вдоль тела, и тяжелые кисти набрякли, чугунно посинели. По привычке только обряжалась старая: сунула в печь чугунок с картошкой, отварила пикшу, одно мясистое звено отделила в миску, залила подсолнечным маслом да из самовара добавила водички, потом сбоку примостилась и, подперев голову рукой, задумчиво и степенно, с особой крестьянской благоговейностью вымакала рыбу и каждую кость обсосала, коротким движением отбрасывая ее к запечку, где жадно вился котофей. Еще давно ли там и лиса крутилась, хватала кота за жирный загривок и лениво заваливалась на спину, вся раскладываясь на полу и вздрагивая сивым животом. Пришлось прибить заразу; касть такая, оставила бабу Нюру без

яичек. Не свое — не удержишь, сквозь пальцы протечет и не уловишь. Жить не хотела, дак Симке на воротник, Симка выносит, хоть Бабу Ягу когда вспомнит нито...

Порой Нюра, отвлекаясь от беспорядочных вольных мыслей, взглядывала на фотографию в переднем простенке. В избе еще было по-зимнему сумрачно, и углы прятались в подвижном мраке, и оттого лица в коричневой рамке просматривались едва. «Небось уж получил писемушко,— подумала Нюра, глазея на гордоватое лицо Семейки.— Читает, поди, до дыр зачитал, а может, и в какое другое место снес. Скажет, дура какая-то написала, нечего делать дак. Ну и пусть, ну и пусть, ежели совести нету, поймет — дак поймет, а не поймет, дак не его ума дело, значит... Ой, спасибо сыночку Екимушке, научил писать мамку, палки на бумаге городить. Все, бывало, присказку скажет: бабы не рабы, рабы не бабы. Пока не напишешь, не отстану. И не отстанет, ведь такой уж был настырный да памятливый, весь в наш род».

Тут коротко и больно толкнуло сердце, словно бы стало оно поперек груди, и сразу туманно ожил навязчивый сон, и Нюра, опираясь на столешню, снова потянулась всем телом к снимку, разглядывая Семейкино лицо. Но оно было неизменно самодовольным, с грозными бровями и твердыми припухлыми губами. «Наверное, от вина,— подумала вдруг,— на берег-то сошли с ледокола, дак, думаешь, мало вина выжорали, такие жорева на вино-то». Вспомнила, как прощались с Семейкой: на германскую походил, так в сенях придавил, аж в грудях ойкнуло. Но пошто-то лицо не показалось во сне, вроде бы и Семейко был, а вроде бы и не он. «Еще чикнусь на старости лет. Охолонуться надо, охолонуться...»

Уже с испугом оглядела избу, подумала, что пора в лес собираться, но еще прошла в красный угол и достала за божницей закапанный свечкой листок бумаги, косо исписанный карандашом. Еще в тридцать втором по какому-то делу, то ли огневого припаса просила достать, иль в охотничьей снасти была нужда, но только писала Нюра в Долгую Щелью, и тогда от Семейки Нечаева ответ не задержался:

«Здравствуйте вы наша дорогая Анна Ивановна,— по слогам читала Нюра, поднеся письмо к самому сальничку и близоруко щурясь. Порой она вздыхала, и

жидкое пламя светильника пугливо завивалось, качая на потолке густую тень.— Шлем мы и вся наша семья вкупе понискому поклону и желаем тебе всего хорошего а главное в жизни здоровия и счастия. Теперь спешим сообщить письмо ваше получили но извини что так долго не писал я все время находился в транспорте помесяцу дома не был вот почему и не писал. Пишу о своей жизьни. Живем не совсем, корову зимой продал под мясо и не купил, а внастоящее время коровы порато дороги да и продажных нету итак живу без коровы продукции ни какой нет, живем на капусты и на репы. Жить не важно хлеба из лавки недавают на своей мякине живем...»

«Ну-ну, все так и было. А уж ничего не спросил, каково мне, сиротее»,— кивала простоволосой головой Нюра, смутно и горько сожалея, что ничего нового не вычитала в давнем письме. Егарма цапала дверь, просительно взвизгивала, видно, желала еды и воли: в узкое смотровое оконце в полтора бревна, неровно закрытое волочильной доской, проникал пронзительный, как лезвие ножа, свет, он слепил и будоражил суку и заставлял нервно проситься в избу. От коротких собачьих всхлипов Нюра опомнилась, пришла в себя, в углу на лавке заметила вчерашнюю бутылку с остатками водки, заткнутую бумажной закруткой, горестно всплеснула руками, уже страшась своей забывчивости. «Осподи, Акимушку-то вчера не навестила, сыночка-то моего,— поясно склонилась перед божницей, потом торопливо засветила лампадку.— Осподи, иго твое — благо мое. Только не дай упасть, потерять разум, дай-ко мне дожить в чести. На тебя, отец родимый, вся надея. Лучше наголодаться и нахолодаться, чем глупой, беспамятной быть да людей смешить. Боженька, ты кроток и смирен сердцем, доброта твоя велика, и свет, воссиянный над тобою, греет нас, сирых и убогих. Так дай же благости и покоя душе моей, не поскупись...»

Льдистые оконца заголубели, морошечный свет потек из верхних стеколок наискосок и дрожаще разлился по полу. Пламя от светильника потускнело, и как-то сразу и резко в избе запахло горелым салом. Нюра задула пиликалку, прижав острый огонек в щепоти и совсем не чувствуя боли в задубелых пальцах. Потом стянула с печи пиджак, малицу и заботливо оделась, через голову продела лузан, холщовый мешок, уж потом

только туже подпоясалась кушаком, за плечо закинула дробовку и сразу стала мужик мужиком, длинная, мешковатая, с широкими плечами. Бутылку Нюра сунула за пазуху, еще проверив перед уходом, устойчиво ли приткнулась она там, взяла небольшой узелок и деревянную лопатку. Собака вилась в ногах, мешала выйти на крыльцо, и Нюра оттолкнула ее коленом: «Поди ты прочь, развратная ты девка».

А на воле уже стоял день-деньской, весь до нетерпимости в глазах синий и радостный. Легко потрескивали под ногами ступеньки, мартовский мороз сразу сбил дыхание. Неба словно не было, а из синей купели с тонким стеклянным звоном лились воздушные потоки: они ослепили Нюру и выдавили из глаз слезу. Влага на ресницах скоро зальдилась и покрылась куржаком. «Благословенно-то как»,— невольно подумала охотница.

Снег крупитчато разваливался под лыжами, с тихим шорохом осыпался на целине, вспыхивал и слепил, и потому Нюра почти затворила глаза, больше ощущая путь, чем видя его. Егарма сразу откинулась в сторону, прошила наискосок поляну, и уже откуда-то издалека, из елового суземья просочилось ее грубое лайканье. Охотница обошла свое подворье и возле черной закоптелой баньки с желтым куржаком над дверью выкатилась к ущелью речки. Берега круто сбегали вниз, отороченные сверху снежными коварными гребнями, и, чтобы не обвалиться вниз, Нюра не рискнула подъехать ближе, а потянулась вдоль речки Ежуги, повторяя ее скрытые извивы, на дальний мысок. Легкий низовой ветер толкал Нюру в спину и курил вокруг ног легкой снежной пылью, похожей на дым. Собака уже выметнулась перед нею и наметом пошла вверх по склону, широко разбрасывая кривые лапы.

Раньше у Нюры был Пегаш, зверной, свирепый пес с волчьим жадным прикусом, нёбо у пасти черное, и задние рубцы у нёба будто вырваны клочьями: такая уж от роду была собака. Бывало, лося гонит, достать не может, так стороной обойдет, вынырнет перед самой звериной мордой и вперед хода не даст лесному быку. Лось и рогами кокает, и лбом норовит, а Пегаш грубо лает, голос жесткий был. И на медведя шел, садил его смело, шерсть на ягодицах в клочья вырвет, уж страху в душе не держал. А пропал совсем по глупости: заманили обманом волки вдаль от житья и там кончили его.

А эту, Егарму, Нюра случайно подобрала в деревне. Жмется сучонка у хлебной лавки, ждет, кто подаст, а сама урод уродом, в глазах слезы, уши лопухами, ноги кривые. Только и глянула раз всего Нюра на сучонку, и как-то вскользь пожалела в душе собаку, и подивилась ее страхолюдию, но, знать, что-то участливое скользнуло в бабьем лице, потому что сучонка потянулась мордой, жалостливо заморгала и до конца деревни не отставала от старухи — ну как тут было не приютить сиротину. А сучонка, Егарма эта, исключительно пошла на белку и на птицу, лучше требовать не надо, словно кто натаскивал ее. С первого подхода облает белку и птицу так повернет, так наладит, чтобы в грудь стрелять ей или в бок. И если улетит глухарь-подранок, уйдет Егарма следом в лес, по воздуху словно бы чуя его лет и след (такая верхочуйка), и разыщет ведь, куда падет птица, и обратно вернется к Нюре, начнет ластиться, у ног жаться и вилять хвостом, значит, просит хозяйку катиться следом и подобрать добычу.

Плоская бережина походила на столешню, застланную льняной скатертью. Ни одной заструги, где бы затаилась синяя тень, ни одной овражинки и пня, вкруг которого вырос бы сумет, так ровно была забита эта луговина искрящимся солнечным снегом, и только на краю ее, на срезе лесной чищеницы и речного провала, едва просматривался православный крест, так похожий снизу на тень распятого человека. (Прохожий кто нет-нет и спросит ненароком, дескать, кому память? «А вот сына потеряла, канул сынок-от во мраке лет, дак ему оветный крест воздвигла»,— кротко скажет Нюра, а больше того и слова от нее не добиться.) По глубокой снежной заводи собака проплыла, оставляя за собой вспоротую борозду, и остановилась возле безымянного креста, вывалив из пасти дымящийся язык. Сука понурила острую морду, и глаза ее наполнились мглистой сиротской печалью, словно бы Егарма понимала все, глубоко и верно переживая Нюрино горе.

А старуха потопталась вокруг креста, смахнула с верхней перекладины снежную кухту. Крест от времени светло позеленел и расслоился продольными трещинами, единственная корявая надпись «ИНЦИ» уже потеряла свою глубину и оплыла.

— Ну, здравствуй, сынок,— глухо сказала Питерка и пристально вгляделась в целинный снег, будто прони-

кая взглядом сквозь него и даже дальше. Нюре вспомнился Акимко еще совсем малым; лобастый такой был, белоголовый, щекастый. Однажды дальнюю пожню чистили, пора бы и чаевать, послала Нюра сына за водой к ручью, а парень вскоре бежит и вопит: «Ой, мама, поди-ко сюда, тут котятки черненькие!» Нюра сразу спохватилась, знать, выдра с детьми пасется. Схватила ружье, поспешила к ручью. Так и есть: на угорышке выдра с детьми. Услыхала человека, в омут увела семью. Всплеснула Нюра руками, да поздно: «Ой ты, Акимушко, да это же не котятки, а выдра с выдриными ребятами. Уж коли не сумел подобрать себе на штаны да мамке на сарафан, дак уж не осуди». Столько потом поминали, смеху было, как на ум тот случай придет: «Мама, мама, там на ручье котятки черные».

«А может, и судьба то и была? Котятки черные...» — запоздало и суеверно подумала Нюра. Привычно отгребла от креста снег, получилось что-то вроде озерца с крутыми берегами, туда насыпала пшена глубокую пригоршню для мелкой лесной птицы, водку из бутылки выплеснула наотмашку, но посудину прибрала — в хозяйстве сгодится, сунула ее в лузан и, встав лицом к востоку, троекратно отбила поклон. «Котятки черные... Вон как повернулось все,— назойливо подумалось вновь.— Паньке Юрьевой на свадьбу тож собачку черную подарили. Я и говорю, осподи, не с ума ли посходили люди, где это видано, чтобы собаку на свадьбу давали, ведь век будут собачиться. По-моему и вышло. Три раза разбегались да сбегались, а ныне и вовсе через суд разошлись. А Кланьке Палагиной козла глиняного подарили, ума тоже нету. Все на раскорячку и вышло: она его в тюрьму через три года посадила да по новой замуж выскочила, наставила, значит, рога».

— И пошто бы тебе не жить, Акимушко? Чем не угодил миру? Сам-то уж сколькой год полеживаешь, прости господи, а меня сиротишь...

Егарма услышала собачьей душой долгую Нюрину кручину и тонко подвыла. Кровь нынче уже тихо струилась в Нюрином теле и грела плохо.

— Вот ты-то не живешь, а я пошто живу, век коптю? И вижу нынь плохо, зверя-то добывать совсем незамогла. Белки мало взяла и птицы по чернотропью не набродила. Плохо мне нынче, сынок, уж так плохо.—



Нюра замолчала, поглубже натянула на знобящую голову оленью шапку-поморку.— Ну ты лежи, а я пошла дак,— добавила бесстрастно, и горе ничем не отпечаталось на каменно застывшем лице. Питерка еще раз обмахнула шубной рукавицей перекладину креста и, обогнув его стороной, неторопливо покатила через речку.

А день уже разгулялся, рассветился весь, небо пролилось на землю синим радостным светом, и зверь лесовой, забыв постоянные страхи, прислушивался к за-

кипающей в нем весенней крови, и самки, чувствуя томление и беспокойство, ловили запахи любви и, делая путаные наброды, стекались к таежным ручьям и опушкам. На вырубках блуждал горностай, он всю ночь без устали сорил двоеглазки следов и, оставив черное дульце норы, хитро ушел под снег, чтобы затаиться и вздремнуть там. Прямо над речкой в чащиннике, забыв осторожность, натропил заяц, наверное, готовясь к свадьбе и подбирая для той поры светлую поляну, а потом сделал отчаянную скидку в сторону и уснул в кусту, завалившись головою на ветер. Словно на ходулях, реку перешла лиса. Глубокий неторопливый след ее был до краев налит синевой, и выбросы пороши по краям словно бы еще затаили запах зверя. Егарма сразу заскулила и растерянно засуетилась, ожидая хозяйского слова.

Но Нюра уже не зажглась, как случалось это несколькими годами ранее, вся путаница следов тускло скользила по ее сознанию, не оставляя в душе четких законченных представлений и желаний. Охотница каменно молчала, и льдистые глаза слепо затаились в морщинистых обвисших веках. Нюра слышала скулящий шепот Егармы, понимала закипающее в страсти собачье сердце, но без длинных раздумий и трезво она представляла свои силы и знала, что по свежему наброду лису ей нынче не взять, не та сноровка и горячка, чтобы вот так, безудержно ошалев, броситься в суземье по еще теплому следу и гнать зверя до полного запала: было-было и такое на ее памяти, когда в охотничьем угаре забывается время. «Ой, на охоту-то задор нужен. День пойдешь — ничего и другим днем — ничего. А потом разом подвезет и за все вывезет».

Охотница просквозила просторный березнячок, перевалила через кряж, обросший молодым зацветающим сосняком, и выкатилась на край безмерного болота; а там, куда доставал глаз, лежала безмерная пустынная выпуклость тундрового болота, полная пронзительного сияния, шорохов и легких воздушных токов, которые, играя и сталкиваясь меж собой, рождали сотни прозрачных тонкоголовых воздушных змеев и ставили их на зыбкие хвосты, натягивая в небо. Здесь Нюрина лыжня как бы споткнулась, не кинулась наперерез, а круто обогнула мысок чахлого ельника и скользнула в длинный распадок, окаймленный жидким чернолесьем.

Охотник — торитель и сочинитель своей тропы. Он творит ее по своему подобию и характеру.

Трудный, угрюмый человек торит тропу в мглистой чащобе, незаметную постороннему глазу, а охотник, душою светлый, обязательно выведет свой след в тихий сосновый бор, на игристую речку, около нее оставит курилку-завалинку, у него и в избушке можно найти, пусть и колотое, но зеркальце, чтобы не зачуметь совсем; печка-каменица сбита из валунов аккуратно и чисто; деревянные нары заправлены одеялом, а под потолком в любую проголодь хранится спасительный мешочек пшенки иль сухарей.

Только сверху тайга знобко-пустынна и в вечерней сумеречности, когда тени скрыли неровности, кажется залитой весенним половодьем. Только постороннему человеку тайга остужающе тиха: так тихо бывает лишь на покинутом сельском кладбище, когда каждый шорох то ли еловой шишки, катящейся по мохнатому склону дерева в снег, то ли резкий всплеск глухариных крыл кажутся громоподобными, и этот шум сразу студит спину. Но Питерка приходит в лес как на работу, вернее, охота — ее работа. Нюрина лыжня, присыпанная ночной порошей, столь же обжита и постоянна, как и та тропинка, что плетется в сугробной деревне от избы к избе. Нюрин лесовой путик столь же длинен, как пугливый ход куницы, и столь же хитер, как след горностая. И только в конце путика наткнется лыжня на избушку: срублены в Поморье они не столь часто, но верно — вдоль речек. И пусть прохудилась крыша, и печь-каменка пришла в разор, потому как хозяин, быть может, давно и умер, и все-таки это приют. Охапка сена под бок, кусок мороженого мяса запарить в кипящей воде, и тогда можно в заветрии раскинуть гудящие ноги, и благословенный сон опьянит разом и бесповоротно. Труден и зыбок хлеб охотника: все надежды в его крепких ногах, завидном здоровье, тонком чутье, метком глазе и настырном характере, который любая неудача не сбивает с промысла, а еще пуще задорят.

Была Нюра раньше легкой на ногу бабой, светлоглазой и повелительной, лучшей в низовьях Вазицы, а то и по всему Поморью добытчицей. Еще три года назад, когда Катька, приемная дочь, жила подле, за сезон добыла Нюра восемьсот белок, ту зиму и все лето они жили сытно, хорошо отоварились, муки взяли в рыб-

коопе три мешка и сахар в чай клали — не жалели. А нынче вот и собака зверная, и белка в гайне есть — прошлый год урожайный на шишку, но стрелять Нюра стала совсем неспособной, рука дрожит, и глаз затекает слезой, а после крещения уж и вовсе не брала Нюра в лес винтовочку, ибо мажет она пулькой по зверю.

Здесь, в распадке, наверное, все утро жировал куропоть: набродов было так много, что снег казался истоптанным и заледеневшим, словно бы птица вела свой базар, и помет, похожий на ольховые сережки, еще не успел закаменеть, а значит, куропти иль только что снялись, заслышав снежный скрип под ногой человека, иль, подкусывая березовые почки, скатились по низине на гривку болота, где у Нюры были натыканы силья. Нюра приметила птичий падеж и сразу решила, что этот куропоть не местный, не жировой, видно, недавними ветрами и обильными снеговеями его натянуло с Канинской тундры, а кормежка здесь, о край болота, сытная, и птица осела в чернолесье, среди бородавчатого березняка и узловатой ивовой розвести.

Неожиданно Нюрину тропу рассек лисовый след. И по выбросам следа, по напряженному тянущемуся шагу старуха поняла сразу, что зверь скрадывает куропачью стаю. Потому мысленно представила, как лиса мечется сейчас от сила к силу, выгрызая птичьи загривки, разметывая по снегу брусничник крови и еще теплое перо, и от этих представлений душа накалилась и застонала: «Ой ты, осподи, касть окаянная, повадилась по сильям шастать и старуху зорить». Нюра заторопила лыжи, насколько терпел дух, напрягла обмерзшие глаза, грудь сразу вспотела и пошла ходуном под опревающей душегреей, а сучонка Егарма, чуя хозяйкину досаду, скользнула с лыжни в ольховник и пошла наискосок лисьему следу, раскидывая кривые ноги и напрягая понятливое сердчишко.

Но еще не выкатилась Нюра на край лощины, как на дальней стороне березняка растрепанным снежным облаком вспучилась богатая куропачья стая и, резко запрокинувшись по крутой дуге, опала скоро за Куртяевским ручьем. А следом из ближних ивняков вскидывались белыми хлопьями запоздавшие птицы и, словно бы пущенные из пращи, не летели даже, а пронизывали воздух, и частый напряженный перебор крыльев походил на усердное хлопанье загрубелых ладоней.

Все было понятно Нюре, все понятно, и потому она снова ускорила шаг, сдирая через голову ремень ружьишка и шаря дрожащим стволом по кустам, но как ни ожидала она лису, разыскивая ее взглядом, а все-таки по старости своей нашла запоздало, когда та полыхнула меж стволов и струисто уплыла в кочкарник. Там же звонко и надсадливо залилась Егарма, и злобный стон ее долго угасал в Куртяевском бору. То тут, то там меж кустов неожиданно выбрасывались куропти, и сразу вспыхивал заполошный перебор крыл — это птица норовила уйти в небо, но петля, туго скрученная из конского волоса, резала гибкую податливую шею и намертво возвращала в снега.

Нюра еще издали окинула взглядом путик и поняла, что рыжая лесовая собака не успела пробежаться по нему и напроказить, может, погрызла двух-трех тундровых птиц, никак не больше. Наверное, куропти жировали здесь всю последнюю неделю, пока Нюра не навещала лес, потому что попавшие в силья днями раньше были уже присыпаны порошей и лежали мертвыми сугробиками, спрятав маленькую головку под крыло и прикрыв остекленелые глаза голым выпуклым веком. Стылых птиц Нюра не выпутывала из петель — слишком хлопотное на морозе дело, а складывала в лузан вместе с сильями. Улов был щедрый, даже слишком богатый, второй такой за нынешнюю зиму, потому хотелось собрать его до сумерек, не оставляя на проказу лисам, и вернуться в дом. Но самые удачливые тропы Нюра не сиротила и, несмотря на нытье в пояснице и колотье под лопаткой, поправляла стенки из березовых веток, настораживала в воротцах новые петли и скрадывала свежим снегом бурые россыпи мерзлой крови. Живым куроптям Нюра сдавливала на шее позвонок, и птица сразу затихала, разметав крылья, и как-то ласково было слышать, когда по закоченевшей ладони струилось затихающее живое тепло. Питерка жила посреди природы, охота была ее буднем и праздником, поильцем и кормильцем, тяжкой работой и весельем, потому и шла старуха по путику мерно и расчетливо, чтобы так просто не расплескать силы в застывшем сонном лесу, где ты один на один с жестоко-суровым и незримым духом тайги. Потому заполошные восторги, давно забытые ею, нынче не нарушали спокоя, и старческие пальцы не дрожали возбужденно, нащупывая на

пульсирующей куропачьей шее тот особый неприметный бугорок, на который и требовалось несильно и спокойно надавить, чтобы лишить птицу жизни. Нюра, по ее разумению, не творила тем самым греха, ибо всевышним разумным желанием поставлено помимо нас и навечно, чтобы каждый имел свой смертный предел и свою особую смерть: домашней скотине от топора пасть, птице боровой удавлену быть иль застрелену — но в свой час, а человеку положено кончиться на домашнем одре под косой костлявой старухи. Это и есть величайшая справедливость. И лишь тот человек, уподобившись зверю, совершает непростимый грех, когда все живое вокруг себя лишает любви во время любви, когда мертвит живое ранее положенного всевышним срока, сиротя детей и род его обрубая в изначалии пути.

Многое за вдовьи годы было обдумано Нюрой, мысли ее выжгли в памяти черные глубокие борозды и схоронились там, уже более не вызывая тревожных чувств: они залегли там и закаменели, посыпанные прахом более поздних житейских переживаний, которым несть числа и которые неотрывны от человека до его самого последнего срока. Многое было обдумано Нюрой возвышенно и смиренно, и то отступая от бога, то вновь подступаясь к нему душою, она успокоилась от мысли, что раз жива, то и доживать надо, не гневя судьбу, ибо ничего нет на свете выше жизни, и все, что вокруг нее — в лесу ли, в воде ли, иль в воздухе,— только назначено для ее укрепления и продления. Вот почему Нюрино сердце билось ровно, добыча не взволновала и не изумила ее, душа не заметалась от тоски до восторга, и только от вполне понятного удовольствия сейчас дышалось как-то спокойней, да голова в меховом куколе отпотела, и волос не так покалывал и знобил всегда стынущую на затылке кожу. Сколько лосей загнала Нюра за свою охотничью жизнь, пластая их ножом на дымящемся от крови снегу, сколько освежевала куниц и лис, распяливая на вешалах чулком, сколько взяла боровой птицы с ружья и петлей, чтобы продлить свою и людскую жизнь, и ни разу ее дух не замутился скорбью и печальными мыслями, и призраки звериных душ ни разу не навестили ее во вдовьих снах, ибо брала Нюра в природе, по ее разумению, лишь то, что отмеряно было ей для питания бренной плоти и поддержания гаснуще-

го духа. «Чудно как-то, ей-богу, чудно,— подумала однажды Нюра, встряхивая кунью шелковистую полость и ощущая ладонью ее живое теплое скольжение. Мимолетная жалость и неясная грусть родились в расплывчатом сознании, поскорбела Нюра о ком-то, вроде бы близком ей человеке — сыне иль брате, и тут же забылось все.— Душу загубила, а скорби нет». Но, может, по этой причине вспомнилась чернавушка, по двенадцатому году корова, как подавилась она рыбьей костью, и, лежа на застойном опухшем боку, влажно мерцала выпученным карим глазом, подернутым розовой слизью. Корова давилась, роняла тягучую пену и задышливо напрягала бок, а Нюра обвалилась подле, не чуя склизкого, напитанного мочой и навозом пола, и все гладила кормилицу и уговаривала подняться, хотя задним умом понимала, что корове конец, забивать ее надо, нынче же под топор класть, иначе попусту в землю срывать придется, ой ты, ой осподи. Но и привычная к ружью и ножу рука не подымалась, чтобы ударить чернавушку под круто завитые рога, в эти добрые, омытые жаром глаза, и Нюра с нерастворимым камнем в груди кинулась в деревню к племяннику Мартыну Петенбургу. И досель помнится, как пришел он, и сронил корову обухом, и ободрал, и, краснея голыми подмороженными ляжками, она еще долго висела по повети, и Нюра первое время куска мяса не могла принять в себя, а уж после, исподволь как-то, разрубила тушу, да и разнесла ее по деревне гостинцем...

5

Из двух сотен сильев, расставленных вдоль болота в чахлом березняке, Нюра осмотрела чуть более половины, но уже забила лузан, большой охотничий мешок на две стороны, и, по ее разумению, в него вместилось куроптей полста. Нюра как бы огорбатела с двух сторон сразу, получалось, что ее вроде бы поглотил другой человек, и того, другого, бесформенно оплывшего, она и таскала на себе, чувствуя, как постанывает и поддает книзу ее хрупкий ныне костяной остов: даже нагибаться стало неловко, и голова едва просовывалась сверху, не видя ничего под ногою. Надо было скинуть лузан, и собрать остальной улов, да подвесить связку куроптей подальше от лисьего нюха, но силы угасали

как-то быстро и были на самом остатке. Нюре подумалось, что следует выкатиться на Куртяевский ручей, где стоит не то старинная часовенка, не то промышленная изба, в которой можно бы освободиться от груза, а то и заночевать, не надеясь на старые ноги. И Нюра как постановила, так и сделала: не обращая внимания на беспомощное куропачье бормотание, на внезапные выстрелы взлохмаченных крыл под ее ногами и удивленно выкаченные черемушины глаз, налитых страхом, она прокатилась мимо остальных петель — благо скользить было тут ловко под незримый постоянный уклон — и задержалась на бережине, сокрытой развесистой бородавчатой ивой.

Куртяевку мало было назвать ручьем, скорее всего в красных каменистых берегах стремилась вниз, к морю, упругая речка, полная завитых мутных струй, волнистого пара и чавканья воды. Здесь на мысу, еще полном тихого солнечного света, Нюра беспомощно закаменела и остыла, привалившись спиной к одинокой сушине. Напротив был перекат. Вода с шумом взрывалась на обкатанных позеленевших валунах, подгрызала, подтачивала их исподволь и, не в силах одолеть, взлетала в небо, вся пронизанная желтым и сиреневым светом. Здесь, меж берегами, низко висел туман, он клубился и переливался, порой наполняясь багровым сияньем, и вот сквозь эти кровавые облаки и прорывались водяные пурпуровые вспышки, сея вокруг мелкую дождевую пыль и окрашивая ближние снега в темные охряные тона. Ивняки над берегами закуржавели и огрузли, и было чудно глядеть Нюре каждый раз, как посреди замороженного безмолвия непонятные силы подтачивали землю и яростно выбрасывали из продушин дурно пахнущую воду. А чуть ниже, саженях в трехстах от перекатов, где дно как бы провалилось в преисподнюю и где, по сказам мужиков, не доставали дна даже три вместе связанные жердины, и стояла крохотная куртяевская часовенка.

Когда-то напротив стояла церковка Алексею, человеку божьему, но ее в тридцатых годах порушили, раскатали по бревнышку, а часовенку загадили самым диким образом, и много сил после ухлопала Нюра, чтобы привести ее в потребный вид. А ведь было время, что из дальних мест, невообразимых и неподвластных глазу и мысли, стекались в Вазицу толпы страждущих и

уж потом брели сюда, за пятнадцать верст, чтобы окунуть в целебную воду свербящие и гноящиеся раны, чтобы пожить посреди и наедине с природой, где даже сам воздух был полезен для томящегося нутра. А в часовенке была полка, которую грызли паломники, и им, погруженным в неясные предчувствия и страдания, помогало это дерево от зубной боли. Прокопий, сторож, тайно бранился, но гнать не гнал, а полки, которые он мастерил заново, все изгрызали подчистую, так что надоело строгать их.

Напротив часовенки над рекой воздух едва переливался, словно бы кто невидимый курил сам благовония, снег над омутом вспухал и зыбился, облитый нездоровой, чахоточной желтизной, знать, вода точила лед с исподу, облизывая его до тайной предательской ломкости, и даже зверь, чуя западню, старался обойти это коварное место. Нюра толкнулась в избушку, полную прелых запахов и сырости, тут же опала на лавку и освободилась от лузана, потом так посидела еще, косо привалившись к стене и устало поглядывая в оконце. Солнце уже оплыло, обтаяло с краев, полное багрового тревожного мрака, мартовский день умирал грустно, без той утренней новизны и радости, и речонку располосовали настоянные синевой неспокойные глубокие тени. Одна из них отслоилась от часовенки и легла наискосок через Куртяевку, словно обманчивая зазывная тропина. «Тут ведь тогда Мишка Крень и погинул,— вспомнилось снова.— Осподи, осподи, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Во всем дух и воля. Не свое — не удержишь». Еще что-то бормотала Нюра, облизывая пересохшие губы и не сводя мутного взгляда с этой заманной тропины, что пролегла меж берегов и тревожно шевелилась, стекая вверх, к перекатам.

«...Все она, все жадность людская и зависть,— подумала Нюра.— Через нее погибель. Забыли душу, забыли, сами себя забыли, откровение свое забыли. Ох те мне, куда стремимся, во имя чего страдания сеем и жнем, такую войну вынесли, осиротели так. Ради хлеба насущного иль заради смысла какого? А я одна-одинешенька, сирота-сиротея посреди воли, и мне благостно... Ой ты, баба Нюра, плетня ты лешева, чего мелешь? Расселась, как чурка березова. У тебя свои дела, у тебя своя неволя, кто от нее освободил?.. А захочу, и не пой-

ду, а захочу, дак сяду и не сдвинусь, и никто меня не толкнет — не задиет.

...Глупа, ой глупа баба, ведь лиса-хитровановна проглядит силышки и напакостит, всех куроптей растеребит, по снегу истреплет, тебе же в убыток... Но устала я, опристала, как худа скотина, и ничего мне более не нать. От жизни устала да от работы бесконечной. Одной-то мне много ли надо, кусочонка хлебушка да глоточка водички. А никуда не пойду, не пойду — и все, лягу вот тут и буду лежать, к лешему весь промысел, пропади он пропадом! Не свое — не ухватишь, не свое — не удержишь, а что мое, то со мной и во мне пребудет. И бутылочка сгодилась, в самую пору пришлась посудинка, не зря ее перла с собой: и сыночка помянула, и самой в хозяйстве прибыток. Пойду сейчас и животворной водицы из Куртяевки наберу, буду на полке полеживать да попивать целительную влагу, быть может, душа моя оживет и загорится вновь. Ой побегу тогда на деревню, еще какого-ли мужика завалящего окручу-захомутаю. Вот Семеюшку-то и посватаю, отобью от старой женки, скажу, Семеюшко-Семеюшко, не позабыл ли, как целовались-миловались, бросай ты свою бабу-старуху, корову комолую, да ступай со мной, каждый день коклетами из сохатины кормить буду. Ой, заживем, да сладимся, да и слюбимся!.. Бабка Нюрка, бабка Нюрка, ты пошто эту околесицу несешь, знать, уродова дочь-знобея забирает тебя: каждая косточка тоскнет, отдыха просит. Ой, плохо-то мне-е-е...»

Помотала головой охотница, неожиданно тонким голосом подвыла. Потом опомнилась, пересилила себя, затопила каменицу и куроптя опалила, навела густой синий чад в зимовейке, а опустошив птичью брюшину и зоб, туго набитый березовой почкой, опустила тушку в закипающую воду: вот, Нюра, и варево тебе, вот и пропитание. Какие-то неясные предчувствия томили Питерку, и так померещилось ей и решилось тайно, что вот и смерть настигла в самом неподходящем месте; кто-то когда еще хватится, через какие времена. Тут и ворону не подлететь, и лисе не словчиться, разве только мышь-норушка тихо-тихо выточит ей глаза. Но, пересиливая натуру и свои мысли, подчинясь зову стонущей плоти, еще сходила Нюра к перекату, окунулась в дурно пахнущий туман — лицо сразу отсырело и заслезилось — и зачерпнула бутылку живительной воды.

Откуда-то вдруг выметнулась собака, виновато виляя хвостом, ткнулась в ноги, чуть не сронила старуху в кипящий на морозе ручей. Нюра вздрогнула, осердясь, пнула Егарму: «У, падина, ослепла, што ли? Лезет тоже... лезет, куда не просят».

Договорила уже спокойно, почти виновато, погасив голос до шепота и виня себя за нечаянный тычок. «Зверь областился к ней, а она его пинком. Тоже дура баба, вовсе с ума сошла».

В зимовейке Нюра располовинила вареную куропатку, собачью долю вынесла на мороз остыть. Егарма проводила старуху согласным взглядом и не шевельнулась, тонким подвизгом выказывая любовь и преданность. Потом Нюра сидела под оконцем и косо стертыми до самых десен зубами вяло жевала дичину, вернее, не жевала, а перетирала каждое волоконце, не чувствуя сытного и горячего вкуса еды. Язык был шершавый, как терка, и саднил. «Прохватило где ни то»,— подумала опустошенно, оглядываясь в полумрак, едва разбавленный жидким березовым светом. Лучина, воткнутая в паз, горела неровно и трещала, порой вспыхивала, роняя искры, и в этом сумраке Нюре все казалось зыбким и ненадежным. «Хоть бы завтре до избы попасть, не свалиться тут. Вот где угораздило заболеть». Потом она, кряхтя, полезла на высокий полок, который сама же и срубила еще в тридцатых годах, когда прибрала пустующую часовенку. Каменица нагрелась, наверху было особенно душно, а может, Нюру уже долил жар, и она сняла с себя меховую душегрею, сунула ее для мягкости под выпирающие лопатки и хребтину.

В углу собака доедала куропатку, сочно хрумкая и постанывая, вверху, в проеме старого купола, кряхтели и гулькали лесные дикие птицы, отходя ко сну. Свет лучины не проникал в пустоту деревянной луковки, и оттого чудилось, что крыша равномерно сбегается в одну круглую сквозную пустоту, которая уходит куда-то в тягучий мрак и засасывает в себя. И женщина вдруг ощутила свое худое угловатое тело, распростертое на жестком ложе. Ей показалось, что она распята и оголена для всеобщего посмотрения, потом неисповедимая сила подъяла примост с ее худосочной плотью и понесла. Нюре стало страшно этого полета, и она вскрикнула. Тут лучина вспыхнула прощально и, пуская горелую вонь, умерла. Старуха всмотрелась в тень до призрачных

кругов в глазах, тело куда-то пропало, растворилось, осталась лишь распухшая гудящая голова с черными ускользающими провалами да вихревые белые круги, которые никак было не удержать, и тут ей померещилось, что она уже мертва, и отовсюду из зальдившихся пор земли течет в нее замораживающий могильный холод. Преодолевая слабость, Нюра напрягла разум и поняла, что ее знобит и зуб не попадает на зуб от дрожи, которая долит и бессилит плоть. Больно стукаясь локтями, Питерка достала из-под себя малицу и укрылась ею, стараясь согреться дыханием, потом голова ее безвольно откачнулась набок, и на переносье скатилась холодная слеза.

Впервые за многие годы Нюре стало по-сиротски одиноко, она вдруг поняла, как стара уже, и так захотелось помутившимся разумом, чтобы кто-то пришел сейчас и утешил, сказал на ухо несколько негромких добрых слов, от которых бы душа ее окрепла и возмутилась смерти.

Раньше охотница жила всегда сиротой посреди людей и, навещая деревню, постоянно замечала по тем посторонним настороженным взглядам, какими провожали ее, что людям не до вдовицы, у них свое незабываемое горе, свои неиссякаемые заботы, и собственным присутствием она, Нюра, как бы мешает однодеревенцам проникнуться полностью своими думами и делами; и потому, переживая за близких ее сердцу печищан, она стремилась уйти от них, чтобы собственное несчастье и сиротство каким-то боком случайно не переложить на них.

Нюра убегала от людей, чувствуя себя сиротой средь них, она скрывалась в своей зимовейке иль надолго уходила в леса, на Лебяжьи озера, где сосны вставали церковными куполами и посреди белых хрупких мхов было жарко и распаренно дышать. И там, посреди покойного дыхания бора, назойливого комариного гуда и тяжелого плесканья разморившихся сигов на расплавленной глади озера, сердце ее замирало, и плоть растекалась и растворялась посреди успокоенно дышащей природы. И все тогда было куда как тихо, благостно и хорошо. Объяснимо ли было в словах такое ее состояние, Нюра не знала и не пробовала никогда выразить его голосом, но только где-то в самой глубине души она чувствовала постоянное тепло и свет крохотной свечечки, не дающей затемниться жизни, погрузиться ей в мрак того отчаяния,

которое даже людей сильных лишает твердости разума.

Уходя от людей, Нюра каждый раз согревала себя тайной надеждой, что она может в любое время вернуться к ним и они ее примут: и от того только, что она могла это исполнить, жизнь обретала иной смысл. Но сегодня Нюра впервые, пожалуй, почувствовала полную старость, свои семьдесят два года и всю полную безысходность житья. И потому она так по-сиротски и беспомощно плакала ныне, так желала увидеть подле себя живую душу, что, словно бы наяву, услышала, как скрипуче заговорили ступени крылечка, заходила под шальной ногой промерзшая дверь, кто-то пьяно матерился и икал. «Осподи, кого это несет на ночь глядя?» — спросила себя Нюра, потуже запахнулась в полушалок и вышла в сенцы.

— Кто там, на ночь глядя да в стороне от дороги? С худым умыслом иль заблудший какой? — крикнула в потемки, напрягая слух.

— Это я, слышь, Питерка, это я. Чай, не признала-те Мишку Креня?

— Ну-ну, не шуткуй... Михайло Крень, царствие ему, злодею, еще в двадцать девятом погинул, чуть опосля моего сына.

— А ты не боись, ты дверь-то отпахни да глянь...

— Чего мне бояться-то, осподи, добра не нажито, а сама из возраста вышла, чтобы чего пугаться. На доброго гостя, дак хлеб-соль, а на нечистую силу — крест да святая молитва.

И легко, с какой-то надеждой и неясным любопытством откинула Нюра щеколду. В проеме двери стоял сутулый мужик с закуржавевшей бородой и чугунными глазами на покойницком лике. «А и взаболь ты, Михайло. Ну заходи, коли с добром». Хозяйка повернулась к гостю спиной и прошла в избу, слыша за собой дурное надсадистое дыхание.

...И в горячечном темном сне Нюра Питерка заново пережила тот давний вечер и ночь, так внезапно осиротившую ее.

Еще перед смертью Парамон Петенбург уговаривал сестреницу: «Переезжай ко мне, Нюрка, две головешки рядом ярче горят. Да и сын будет под боком». И Нюра дальним умом соглашалась, что хватит себя сиротить, жить на хуторе у черта на куличках, но в ту же пору,

заглядывая на подросшую племянницу Юльку, думала тайком, заранее осторожничая (береженого и бог бережет), вот девка на выданье, скоро и мужика в дом приведет, а Парамон, братушка дорогой, долго не протянет, все животом мается, помрет, дак я куда денусь, вроде бы и лишней окажусь. «Перебирайся, хватит куковать на отшибе,— настаивал брат.— Хоть сына обиходишь, приберешь к рукам, да и море рядом».— «Нет уж, Парамоша, страшновато как-то. И житье свое зорить не хочу. Легко говорится, да трудно наживается. Как строилась, думала, пуповина развяжется»,— отговаривалась Нюра. «А и мы тебе не чужие, одного помеса. Отцов дом-от,— обижался Парамон, быстро воспламеняясь восприимчивым сердцем, и вдруг тоскливо добавлял, пряча выцветшие от боли глаза: — Помру, вишь, скоро. Душа моя ныне еду не примат».

Нюре было жалко брата, она понимала его одиночество, но словно бы предчувствие какое томило ее изо дня в день, и она ворчливо отказывалась: «Не-не, в своем-то доме и худое к добру, а в чужом житье и добро к худу. Не неволь, Парамонушко. У тебя своя девка на выданье, обиходит».— «Ну как знаешь, было бы предложено. У вас, у баб, и пятница-то в субботу»,— последнее слово оставил за собой Парамон. И больше после того разговора не виделась Нюра с братом, лишь мертвого осенила истинным православным крестом и поцеловала в усохший ледяной лоб.

Вот как все повернулось, как повернулось... Осподи, и пожил-то, не вздохнувши ладом, покуда тотамка германьска война шла, газами травился да в плену всякое на себе испытал, а как замирились, тут вскорости и революцию сделали, да еще сколько после воевал, шашки из рук не выпускал, шашка-то от чужой крови заржавела, а жизни не видал. Порассказывал-то всего, не приведи осподь пережить человеку, ради чего мучения примают, за какой грех: такое короткое житье — с воробьиный скок, а толком и его не могут скоротать, друг дружку убивают да хвалятся, кто больше крови прольет, тот и ерой, а дома небось мати ждет, горючая слеза не просыхает, женка в молодых годах сохнет, деточки малы сиротеют без отцовского догляда. Кругом одно худо. Осподи, сколь злы и ненасытны люди, от зависти избравшие такую забаву, хуже любого злыдня и оборотня лесного. С той войны-то и люди дичают по-худому, теряют

свое истинное обличье. Рассказывал было Парамон, как приятель его все с госпитальной койки на волю убегал. Украдет ли чего в палате, продаст и пропьет. А у самого рот был наглухо зашит, кожу на щеку — тоже страх божий — приживляли с лобка сначала на руку, а уж с руки на щеку. Он украдет чего, дак продаст, водку вольет через дыру в щеке: «До места дойдет»,— а как напьется, осатанеет в горячке и оторвет кожу со щеки. И опять начинай все лечение по новой...

Вот и сынок, Акимушко, через то сражение прошел и окаменел, поди: чует-нет людское страдание, когда вершит суд. Как тут распознать, где найти меру, осподи, чтобы добро на добро и зло на добро. В евангелии же сказано: и предаст брат брата на смерть, и отец — сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их.

Ведь как говорила: «Акимушка, брось ты сельсоветскую работу, всем мил никогда не будешь, сладкое разлижут, горькое расплюют. Нам ли с тобой бы в лесу не житье: белки нынь сколько, косача, марюху не переловить». Но он все одно карандашом тычет в руку, пиши, мать, пиши: «Бабы не рабы, рабы не бабы. Царство разума впереди, ни горя, ни слез, а по текущему моменту — даешь мировой коммунизм. Иль не так, а?» А я ему: «Не-е-е, сыночек, как велишь — напишу, правда, огороду городить я не мастерица, но только одинаково-то люди никогда жить не будут. Уж такая это природа. Один живет — красуется, другой — позорится. Не нами поставлено, не нам и менять то. Разве всех уравняешь? Звери разны, дерева в лесу разны, а тут люди... Осподи, хоть бы чего не случилось с парничком, уж котору неделю не видела. Один у меня свет в окне».

Так коротала вечер Нюра Питерка, подгадывая сына, а вдруг сегодня заявится навестить мать, как снег на голову свалится, и когда расслышала на заулке мокрый храп оленей, то сразу обрадованно всполошилась: вот и он, Акимушко, легок на помине, боле некому в такой час, небось с попутьем каким и завернул домой. Накинула на плечи полушубок, выскочила в сенцы и, откинув щеколду, готовно распахнула дверь. «Акимушко, ты чего поздно?» — спросила счастливо, и тут сердце вроде бы оборвалось. Кто-то чужой вырос в проеме дверей и громоздко шагнул навстречу, обдавая лесовой морозной стужей. «Пойдем, хозяйка, в избу. Это я... Крень Михайло... Не боись... Примай гостя».

Нюра отрешенно провела гостя в избу, еще не в силах понять сердцем, что случилось, ибо так внезапно кончились ее надежда и радость, и внутри осталась одна пустота, тягучая, горестная, которая сразу же залилась слезливой обидой на сына. «Свою мать на чужих людей променял. Не мог минуточку найти, чтобы проведать...» Но тут встрепенулось сердце, обрело себя, и Нюра с новой надеждой взглянула на дверь, словно поджидала кого-то еще. Только никто не вошел больше, и в притвор меж соломенных обвязок кудрявым дымком сочился морозный пар. Мишка Крень стоял у порога, широко и прочно распялив ноги, словно побаивался опрокинуться на бок, и закоченелыми пальцами выдирал из бороды снежную наморозь. Гнедые, узко поставленные глаза выглядывали из-под оленьей шапки настороженно и угрюмо, отыскивали в лице хозяйки что-то согласное своим мыслям и желаниям.

— Ехал мимо, дак дай, думаю, ужо... заеду. Крюк не ахти. Принимай гостя, Питерка.— Последние слова Крень почти выкрикнул вопросительно и зло. Говорил он трудно, мыча и заикаясь, словно с великим трудом управлял закоченевшим языком, а глаза шарили по Нюриному лицу, будто целились в него, приноравливались, куда ловчее и больнее ударить.

— И не стареешь... хотя молодуха ведь... В бабы ко мне хошь? Я слободен, ха-ха... Баба Яга. Ну-ко встань, я к тебе примерюсь.

— В постели ровня будем, чего мериться. Языком-то чеши да приноравливайся,— ровным голосом оборвала Нюра, не обижаясь на Мишку.— Коли гость, дак проходи, ты мне зла не делал. Мы гостям завсегда рады,— пригласила Нюра, сама поднимаясь навстречу, костистая, большеголовая, с прямыми плечами. Направилась к печи, чтобы наставить самовар.

— Отец-то каков?

— Бог смерти не дает...

Нюра взглянула изумленно на гостя, но промолчала, зная крутой креневский нрав.

Мужик прошел в передний угол, сел, выкинув на столешню пудовые, синие от мороза кулачищи с глубокими, закровеневшими рубцами на кистях. Он так и сидел, побычьи склонив покатый широкий лоб, разрезанный рыхлыми морщинами, и тупо разглядывал на руке следы от кожаного аркана-тынзея. О чем думал он в эти минуты?

Может, заново переживал пронзительные и жутко-радостные, неповторимые мгновения, когда, махнувши на все рукой, полный безрассудства и злого отчаяния, гнал по Вазице застоявшихся оленей, настигая идущего к дому председателя сельсовета... Метр, еще метр заснеженной улицы, теперь самый момент, взмах напруженной руки, холодящий свист тынзея, короткий придушенный вскрик, и вот уже безмолвное тело волочится за нартами, оставляя в снежном бездорожье глубокую борозду, и тынзей с хрустом вминается в каменеющую руку. Потом недолгая и странная дорога сюда. Зачем, зачем она? И мозг свербит и саднит упрямая мысль, сейчас потерявшая свою ясность: «Я тебе иделаю уравниловку...»

А Нюра, направив самовар, так и осталась стоять возле запечья, держа в руке лучинник — обломок косы. Она всматривалась в гостя и пугалась его застывшей на лице неживой улыбки. «Медведь медведем... Такой налезет, только управляйся. Сотворил же господь человека». Нюра не испугалась Креня, но в душе ее ожила тревога, которая обычно холодила душу, когда охотница шла на лося и медведя: и задор есть, и отступать поздно, а все-таки разум невольно страшится этой дикой лесовой силы, которую нужно облукавить и одолеть.

— Так и живешь? — вдруг спросил Мишка, поднимая на Нюру угрюмый, давящий взгляд.

— Так и живу, Михайло Федорович...

— Значит, так и живешь. Да-а...

— Как видишь. Без утайки, все на виду.

Нюра занесла на стол пузатый с погнутым краником самовар, заварила крутой чай.

— Водки хочу,— хриплым голосом выдохнул Крень.— Вод-ки-и... Та-щи,— тупо повторил он и внезапно вспыхнул весь, побагровел лицом, морщины налились и рубцами вспухли на просторном лбу.

— В житье водки не держим, Михайло Федорович. Пропусти чайком-то через себя, обогрей нутро,— предложила Нюра.

— Ограбили, разорили... Твой выродок пустил по свету! — выкрикнул Мишка и вздрогнул всем телом, словно опомнился от застойного долгого сна, пристально взглянул на дверь, которая в жидком свете сальника зыбилась и словно бы шевелилась размытым черным пятном. Почудилось внезапно, что сейчас где-то погоня хватилась его и мчится сюда, а он, Мишка, по необъяснимой при-

хоти иль чужой воле вдруг оказался в Питеркиной избе и, будто завороженный, сидит в застолье, не в силах шевельнуться околдованным, налитым беспомощностью телом... Ворвутся, заарестуют, погонят этапом и сронят голову. И нажился, нажился...

Очнулся, обвел пристальным взглядом избу, обшарил глазами Питерку, высокую, по-мужски скроенную, сверкнула в голове безумная мысль: такую топором только да по виску. И это безумье продолжилось — захотелось мстительно насладиться чужим горем: «Смерть ей легкота, раз — и нету... А пусть волчицей взвоет над Акимкой. Воем меня проводит, воем. Ищи после Мишку Креня, ищи. В тундре, как в море, легко затеряться».

Думалось теперь ровно и холодно, и постоянно помнилось, что на заулке, запорошенный снегом, лежит Акимко Селиверстов —сын Питерки.

— Ты на Акимушку зря эдак,— сказала запоздало Нюра, придвигая к гостю кружку с чаем.— Не им постановлено... Разве один бы решился?

— Кто это постанавливал кусок изо рта вырывать? Не им наживалось, не им. Рты раззявили, сами не свои на готовенькое. Сволочи, руки поотрываю... Ты меня, Нюрка, знаешь.

— Как тебя не знать-то, осподи, еще беспорточного знавала, такой был пакостник,— вдруг обиделась за сына Нюра, внутренне сжимаясь от Мишкиных угроз: «Святая богоматерь, хоть бы што не натворил, ирод». Сразу покопалась в памяти, и как-то скоро, на удивление скоро, нашелся подходящий случай.— Твой-то папаша тоже хорек. Забыл небось, а при тебе же было, как в двадцать первом надо мной посмеялся он. Я ему пушнину, а Крень за кунью шкуру четыре фунта муки дает. И лыбится еще: никто не неволит, мол. А голод был, куда кинешься? Я и говорю: лучше порежу, на ветер пущу, такое зло меня взяло. И давай шкуры ножом пластать. А он руки в боки и хохочет, дьявол: Нюрка Питерка ндравна, Нюрка в нашем краю всех богаче.

— Сама же дура, кого тут винить...

— Да как не дура-то, но такая досада взяла. Думала, гад ты эдакий, ведь на хлебе сидишь.

— Сволочи, што ему хлеб-то задарма доставался? — спросил Мишка, тут же срываясь на визгливый крик, рукавом совика смахнул со стола кружку.— Пошто на чужое-то... Может, мы тогда сами кору жрали... Пошто

не подавитесь-то,— вопил мужик, грозно приподнимаясь над Нюрой, и нервная судорога трепала темное обмороженное лицо.— По копейке сбирали... Пальцы от весел к ладоням приросли.. Ты гли... гли, какие руки-ти.

— Ну буде, ну ладно. На глотку-то что... В гостях находишься. Я ведь тебя не держу, голубчик, ишь, руками размахался, за посуду-то деньги плочены,— сурово оборвала Нюра, стараясь не повышать голоса и подавляя внутреннюю дрожь.— Ты лучше скажи мне, как там мой Екимушко поживает, жив-здоров? Матерь родную совсем боле забыл.

— А что он, он ничего,— ровно, отмечая каждое слово, сказал Крень, снова настороженно взглядывая на дверь.— Он-то власть ныне, ни лешего с ним не сдеется. Да...

И Крень опять нехорошо улыбнулся, с легким оскалом, и непроницаемо загустели, закаменели гнедые глаза. «Может, сальничек пригорел и свет померк?» — подумала Нюра, уже с неотступной тревогой наблюдая за Мишкой. Кровь туго забилась в висках, стало потно, и холщовая исподняя рубаха приклеилась к спине... «Все неспроста, ой, неспроста он здесе-ка»,— отчетливо проступила в сознании мысль, она как бы взорвалась в голове и заставила на мгновение задохнуться, а потом кинулась в душу, затопила ее, и Нюра, унимая встрепенувшееся сердце, едва совладала с собой, чтобы не закричать. И тут снова холодно показалось в избе, и женщина замерзла, туже запахиваясь в полушалок.

Крень заметил эти перемены в бабьем лице, потому что поджидал их и готовился к ним. «Сучка, вскормила падленыша, а теперь повой-ко, повой»,— травил Мишка себя, сознавая, что нужно пересилить себя и уходить, ведь времени в обрез, но вялое опустошение словно бы связало руки-ноги, выпило, выжало все нутро, и кровь, и мозг, и оттого даже мысли казались плоскими и ненатуральными. Они вспыхивали сами собой и сами собой пропадали, оставляя ощущение темного провала.

— Дак ты видал его, нет? Толком скажи, чего крутишь? — настаивала Нюра, уже подозрительно отмечая каждое движение Креня. Но гость отрешенно молчал, и лишь нехорошая улыбка блуждала по лицу. Потом он трудно, по-стариковски кряхтя, поднялся и побрел к дверям, и Нюра крикнула вослед, в размякшую спину: — Ты, Михайло Федорович, шибко-то не разоряйся! Слышь.

што я говорю тебе? Ты хоть на человека руку не подыми, слышь меня? Господь тебе то не простит.— Быстро зашлепала следом, словно готовилась перехватить Креня у порога, и снова мельком, но с особой пристальностью оглядела и обвисшие плечи, осыпанные сенной трухой, и толстую багровую шею, и курчавую голову с выпуклой лысинкой на темени.— Слышь, ты на плохое чего не осмелься.

Но Крень, постояв спиною к бабе, так же молча хлопнул дверью, и слышно было, как заскрипели и отпахнулись уличные ворота. Нюра подбежала к окну, словно могла что разглядеть там, прильнула к черному зальдившемуся стеклу, но ничего не высмотрела, кроме ночного мрака, правда, сквозь пазы в подоконье каждый звук на дворе был хорошо разборчив. Вот под ругань и пинки поднялись олени, на развороте певуче вскрикнули нарты, полоснули полозом о подмерзший снег. «Слава богу, отчалил, охальник»,— облегченно подумала Нюра, и тут в стену у самого окна гулко брякнул хорей.

— Эй, гостя прибери тут, сомлел весь! — каким-то чужим голосом крикнул с улицы Крень, и отсюда, из избы, Нюре почудилось, будто позвали ее лешачьим голосом из темной глуби колодца. Еще помялась у окна, решила, что ослышалась, сразу торопливо перебрала услышанные слова: какой-то там гость на улице и сомлел весь; небось чего кудесит Крень, не натворил бы беды напоследок. Накинула на плечи пальтюху и на крылечко вытаилась украдкой, готовая в любую минуту отступить, но тут же уловила охотничьим отработанным слухом, как, пробивая наст клешнятыми лапами, мерно бегут олени. Вздрагивая зябко и благодаря бога, что все хорошо обошлось, Нюра по-птичьи повертела головой, обшарила взглядом погруженное во тьму подворье. И намерилась было вернуться в избу, как в желтой проталинке света увидела не то рогожный куль, наполовину набитый, не то олений совик. Нюра сначала подумала, что с великого горя все растерял Мишка, последнее добро посеял, наверное, выронил с нарт одежонку, когда разворачивал олешек. «Надо прибрать,— готовно решила,— пусть на повети лежит, места не унесет, а хозяин хватится и вернется в обрат да еще и спасибо скажет. Только куда же он на ночь глядя торит дорогу, злой и уросливый, да в сторону от деревни, от жилья?»

И двух шагов не сделала Нюра, как различила, что

лежит человек. Осподи, осподи, захолонуло, захлебнулось сердце: по развороту тела, по хрусткой кожаной тужурке, тускло и особенно отблескивающей, сразу признала сына, но еще сама себя утешала, самой себе не верила, вслух наговаривала: «Ой, кто же там лежит? Беда ли с кем?.. Не лежи на снегу, застудишься. Эй, кто там?» — крикнула в сторону окна, а ноги уже торопились, неслись, и душа обвалилась куда-то, оставив в груди пустоту, готовую переполниться отчаянием.

Аким лежал деревянно, распластав в стороны ноги, словно бы его приковали гвоздями, русые волосы колтуном и, пересыпанные снегом, в темноте казались седыми, а лицо было чугунной удушливой синевы. «Осподи, ты ли это?» — встала на колени, тронула сыновью щеку и тут же отдернула ладонь, услышав мертвый знакомый холод. «Сынушка, родненький, как же так, а? Осиротил ведь мамку... Сынушка, родненький...» Нюра словно бы пугалась снова дотронуться до Акима и тупо теребила пальтуху. В таком беспамятном состоянии, постарев сразу на добрый десяток лет, отправилась обратно в избу, запалила дворовый фонарь, открыла летнюю горенку по другую сторону сенец. В комнатке, чисто обихоженной и завешенной пучками высохших трав, было застужено за зиму, как в леднике. В сонном оцепенении Нюра жила и дальше, только руки ее, привыкшие за трудную сиротскую жизнь к любому заделью, будто сами вели свою работу. Отодвинула от стены широкую белую скамью, застелила цветным лоскутным одеялом, потом, скоро подумав, положила маленькую подушечку, набитую куропачьим пером, еще постояла у порога, подробно осматривая горенку. Аким словно бы закаменел иль налился свинцом, и даже Нюре, от рождения кроенной на мужика, затащить его в горницу было неловко и трудно: тело упрямилось и цеплялось за каждую ступеньку, за любой порожек. Но она заволокла сына, поместила на лавке, под голову подложила подушечку, набитую куропачьим пером. Ноги топырились в стороны, и пришлось связать их шерстяным кушаком. Фонарь Питерка поставила подле лавки и при его неярком свете, стоя на коленях, подробно рассмотрела лицо покойного, такое чужое и старое ныне, покрытое ссадинами и бурыми пятнами, и шею, насквозь перехваченную арканом-тынзеем. Туманно и вскользь подумалось, что надо бы обмыть сына, обиходить, приготовить его в последний путь, но не было сил

подниматься, куда-то идти, что-то делать. Нюра так и сидела возле сына, а когда утренне прояснились оконца и свет фонаря померк, закрыла горенку на большой висячий замок, зарядила ружье самодельной пулей и направилась в лес.

Часа два Питерка катилась по следу упряжки, и ее охотничий взгляд по частому поскоку оленей, по тем пробежкам, которые то и дело повторял Крень, уловил, что вчерашний гость торопился как можно дальше убраться от избы. Но Питерка не ускорила шаг, не испугалась, что вот злодей может закатиться в глубину тундры и затаиться где-нибудь в приречной лощине, густо обросшей ельником, а потом из тусклого свинцового неба повалит сонный, размеренный снег и замутит, скроет следы. А может, потаенно думалось ей, умудренной, тертой лесовой бабе, что от нее не уйти Креню, никуда не деться, и даже запеленатый снегами след его невольно проступит под ее горестным взглядом? Нюра скользила размеренно и тупо, слезы застоялись в груди иль закаменели, но только розовые от бессонницы глаза оставались сухими. След упряжки повернул к Куртяевской часовенке, вывел к речке, и Нюра сразу насторожилась, изготовила ружье. Канувшая ночь была безлунной, Крень, наверное, торопился, потому что не остался на ночлег в часовенке, а, как обнаружила Питерка, ощупью спустился к перекату, окутанному кисло пахнущим паром. Мишка Крень хорошо знал море, его повадки, но плохо понимал норов леса, коварство петлистых таежных речушек, потому клубящийся, воняющий пар над полой мартовской водой смутил его. Видно было, как он неожиданно провалился у закройки, едва схваченной поверху иглистым ледком, с трудом вытянул из бурой жижи ноги и торопливо полез обратно в гору, к оленям, оставляя грязные следы. Потом Крень повернул упряжку вниз по речке, рассчитывая, видимо, что вскоре вода успокоится и накроется пластью льда, но, знать, спешил очень, хотел выгадать время и поторопился, направив упряжку на самые омута, обманчиво присыпанные снегом. И сейчас там парил черный бездонный провал...

6

Только на третий день Нюра пришла в себя и почувствовала, как словно бы выгорела вся, и плоть ее стала невесомой, растеряв нажитую ранее грузность и нелов-

кость. И почудилось Питерке, что нет сейчас ничего в ней, кроме пустой оболочки и огромной души, которой необычно легко и вновь хочется жить. Старуха протянула исхудавшую руку за изголовье и нашарила в углу примоста бутылку с куртяевской водой. В горле пекло невыносимо, и нахолодевшая влага показалась невыразимо вкусной и благословенной. Нюра пила мелкими глотками, сдерживая жадность, и с каждой минутой приходила в себя: дряблая кожа наполнялась плотью, проявились ноющие кости, стонали бока, намятые за долгое лежанье жестким ложем, и душа постепенно уменьшилась, обтаяла и стала обыкновенной, но зато голова была теперь просветленной и готовно открытой для мыслей.

Собаке, наверное, надоело охранять хозяйку и голодать у порога, и она ушла в лес, лапами приоткрыв дверь. Выздоравливающим телом старуха почувствовала холод в зимовке и туманно решила, что пора вставать... Поболела, повалялась, как барыня, сказала Нюра себе, а раз не околела, то и жить надо, шевелиться, что-то делать, а если сил достанет, то и отправляться домой. Знать, время не пришло еще отходить на тот свет, где музыку райскую играют ангелы, а в дивных садах зреют исцеляющие яблочки. Видно, не вступила еще на тот смертный порог, откуда уходят в вечный покой и где никто уж тебе не поможет: туда отплывают в сиротском одиночестве даже самые большие люди, что на вышине у всего мира числятся, и никто из посторонних не знает, как это случается, пока сами не повторят последний шаг, и, знать, лишь в эти минуты крайнего одиночества все равны, когда отринуто прошедшее и будущее уже не страшит...

Еще день Нюра провела в избушке, ела вареных куропаток и окрепла, а следующим утром вернулась на хутор. Вокруг избы все было свежо и чисто от снега, и Нюрин лыжный след на поляне едва просвечивал. Значит, никто не хватился старухи, и ничья душа не заныла от неясных предчувствий и тоски. Вступила Питерка в свое жилье, и прежние мысли вернулись к ней. Они кружились неторопливой чередой, но переживались Нюрой каждый раз столь же сильно и глубоко, как и впервые, когда рождались. Женщина жила так неторопливо, как может жить человек лишь посреди природы, и даже порой чудилось, что она разменивает чей-то чужой век.



Когда Питерка вспоминала тех знакомых и родных, кто погиб или умер в молодых годах, то порой чувствовала себя очень старой и зажившейся на этой земле...

Мартовский снег не таял, но он как бы вымерзал, усыхал, незаметно садился, и теперь, подходя к оконцу, Нюра видела на дальнем мысу в прогале голых деревьев крохотный отсюда крест под двускатным тесовым навесом.

В простенке, еще свежая для глаза, висела фотография в коричневой рамке, и Питерка за день-то не раз и не два подходила к ней вплотную, приклеивалась взгля-

дом. Старухе никто не мешал, домашние дела были постоянны, они вершились помимо ее сознания, как бы сами собой, а потому и думалось неторопливо и обстоятельно. Она вглядывалась в Семейку Нечаева, в его остолбенелые глаза под сурово заломленными бровями, на стрелки усиков, на детские еще губы без горестных морщинок в углах и невольно оттаивала. С недавних пор, все плотнее приближаясь к тому молодому времени и соприкасаясь в мыслях с Семейкой, Нюра не чувствовала себя обделенной счастьем и обрадованно думала, что и у нее тоже была своя необыкновенная любовь, о которой мечталось и рассказывалось еще в девичестве на посиделках. Нет-нет, ведь не могло же так случиться, что ее жизнь прошла без любви, чем же она, Нюра Питерка, хуже тех вазицких баб, которые, проводив мужей на войну, после в доверчивом вдовьем кругу гордо и горько хвалились ими, мертвыми.

Теперь в ее воспоминаниях Семейко Нечаев из вдовьих лет, когда она впервые повстречалась с ним, вдруг переместился в девичью пору, и будто бы она крутила с ним до самой свадьбы шальную греховную любовь, а за Лешку Губана по отцовской воле пошла уже распечатанной, и потому будто бы свекровь после первой брачной ночи испекла пустой пирог, без рыбы, и при всех гостях разломила его, трясла над застольем и позорила невестку.

Нюра повесила крохотный снимок Акима, где он был запечатлен в командирской шинели и островерхом шлеме, над фотографией Семейки Нечаева, стала зачем-то сравнивать их обличье, и надо же, ведь все-все сошлось: и нос чуть вздернутый, гордоватый, и круто взведенные брови, и слегка раздвоенный тяжелый подбородок.

Она помнила хорошо, что рожала лишь однажды и трудно. Вазицкая знахарка долго водила ее по натопленной баньке, а ребенок не шел, и бабка заставляла тужиться, потряхиваться: ну разве забудешь ту боль, чудилось, что она навечно застряла в крестце. Но, странное дело, минуло время, и все забылось, а от той внутренней боли остался словно бы послед, и роды в воспоминаниях уже не казались столь тяжкими, и настойчиво захотелось повторить те ощущения, обновить угасающую от одиночества плоть. Ведь овдовела так рано, еще и восемнадцати не исполнилось, не раскусив и не выпив всех радостей любви, а лишь неловко прикоснувшись к ним. С мужем и

полугода не прожила, как по дурости погиб он. Потом сразу не нашлось трезвого подходящего мужика, и, поджидая, присматривая его на миру, старела незаметно Нюра. И согрешить боялась, хотя и подворачивался случай, вернее сказать, не то чтобы пугалась, а как-то странно было ей кого-то любить украдкой, мимоходом, распахивая всю себя первому встречному, чтобы тот взял ее небрежно и бросил тут же, разомлевшую, никогда не вспомнив больше. Ведь не звери же, осподи, сбежались — разбежались. И лишь через много-много лет, на самом краю жизни Питерка однажды пожалела, что не согрешила ни разу, и с того времени стала тужить и придумывать для себя сказку...

Нюра хорошо помнила, что на свет принесла одного, но грудью кормила двоих: один помер вскоре (рыженький и маломощный), сорвав от крика животик, а другой кусался попервости, когда брал титьку, и оттого грудь болела и трескалась в соске. Молоко у Нюры долго жило в грудях, и парня она кормила до четырех лет.

Это случилось так давно, и разве можно все воспринимать по-прежнему, и чтобы ничего не переменилось в душе, не переставилось местами в ней: так не бывает с человечьей жизнью, когда заново припоминаешь ее и как бы снова проживаешь в мыслях.

Тогда, летом девятисотого года, брат Парамон Петенбург заявился на хутор нежданно, встал у порога, длинный, худой, с младенческими голубыми глазами, в которых жила настороженная просьба. Нюра как раз стирку развела: сын всю ночь ревел, глаз не дал сомкнуть и только сейчас затих в зыбке — подумала, хоть это свободное время ухватить, просто вся извелась с парнем. А Парамон без слов вдруг тряпошный куль протягивает, а в нем дитя синюшное на последнем вздохе. Нюра только ой да ой, сразу осыпала пуговки на кофте, сунула ребенку грудь, туго налитую молоком, без слов, без расспросов принялась хлопотать, изредка охая и кругля рано потускневшие глаза. Ее бы саму кто пожалел сейчас, восемнадцать лет девке, ей бы под приглядом отца-матери жить, не ведая печали, а тут одна-одинешенька на лесном хуторе посреди тайги...

Уж после, когда накормила мальчонку, как бы готовно усыновила его, положив в зыбку рядом со своим, тогда и выяснилось со слов брата, откуда крохотный человече взялся тут. Марья Задорина, монашенка из Келий,

согрешила с Федькой Кренем и сколотного родила, ославила перед миром святую обитель. И сама нынче при смерти, греховодница, до вечера доживет ли, одному богу известно, а ребенка приказала манатейная монахиня отнести в лес на погибель, на съедение зверю и птице и этим возвысить дух свой, очиститься от скверны. А в ту пору и привелся там Парамоша Петенбург, на охоте в тех местах был, волею случая привелся иль провидения, и вот он у сестры с богоданным на руках... А Нюрка-то, Нюрка, вы гляньте на нее, ни слова против, только и попросила Парамона: «О робеночке-то не толкуй на деревне, завяжи язычок, а то пойдут разговоры: вот, мол, не успела Нюрка благоверного схоронить, как нагуляла сколотыша. А в нашем роду веком гулящих не было. Пусть в честь дедка нашего Акимом будет. Долгожданный, значит, удачливый, счастливый. Хорошее имечко». Сказала так и тут же тайно подумала: заживется ли парничок, синюшний весь, недоношенный?

Но не зажился-то у Нюры свой, рыжеватенький, а этот, приемыш лобастенький, с жадным стоном за титьку брался и выжил. И когда принималась кормить его, сама горя странным нетерпением, словно готовилась к облегчению всего естества, то всякий раз любопытно присматривалась к обличью парнишки, и по обширному лбу, далеко вырезанным глазам постоянно узнавала Креня. Но шли годы, Акимко оброс костями и мясом, вытянулся и заматерел, рано становясь мужиком, и, натирая ему спину в бане иль подсматривая на охоте, теперь Нюра сравнивала его с собой и находила похожие черты. Душою и плотью она уже давно приняла Акимку в себя. Это его так трудно принесла в баньке, надолго сохранив в утробе остаток родовой боли, ведь еще в животе он был ширококостный и своевольный, все ширился, толкался, мучая мамку, и норовил куда-то сбежать: это он жадно тянул грудь, и то давнее томление так и живет в ней.

Но в трезвом разуме ревниво теснились обидчивые мысли, порой до безумного страха пугающие ее: все чудилось, что в один черный день тайное станет явным, привернет на хутор Федор Крень и заберет сына. При свете сальника посреди ночи вглядывалась Нюра в спящего мальчишку и молилась богу, чтобы он не осиротил ее, оставив рядом сына... «Мой он, мой,— шептала она.— Не та мать, что родила, а та мать, которая поставила на ноги. Скажи, о боже, разумный и пресветлый, что это

мой ребенок, а тот, приемыш, маломощный и синюшный, на второй неделе помер». Но бог молчал, а страх порою был невыносим, и, чтобы успокоиться, Нюра забирала сына с собой и надолго уходила в далекие суземы, где и за год может не встретиться живая душа. Там жизнь ее становилась спокойнее, устойчивее и значительней, все в ней наполнялось смыслом и законченностью. Да и Акимку лесовой сытый воздух и долгая ходьба быстро выгнали вверх и налили силой...

А теперь в душе у Нюры родилось новое желание. Она затеяла с собой и своей памятью неожиданную игру, которая утешала нынешнюю старую жизнь и в правдивости которой с каждым днем оставалось все меньше сомнений. Управляясь по хозяйству, еще с трудом таская слабое от болезни тело, Нюра не однажды застывала у простенка и смотрела на фотографии, сравнивая их. «Так и есть,— шептала она, задерживая на губах слабенькую улыбку, это неяркое отражение внутреннего волнения,— и глаза долгие, евонные, и подбородок-то гордоватый, егов, с продавлинкой, знать, до баб влюбчивый,— имела в виду Семейку Нечаева,— и у сына таковский же подбородок, с вмятинкой, но вот не замечала, чтобы Акимко за девками бегал. Все уговаривала: «Акимушко, доколь будешь себя старить и детушек малить, ведь скоро ни одна девка за тебя не пойдет, так и повянешь на корню». А он все: «Не ко времени, маманя, не ко времени, с делами управимся, тогда и свадьбу справим».— «Эх, Акимушка, дак этих дел горы. Их разве перевернешь, они меньше-то и не становятся, а все больше да круче, совсем невпроворот»,— вздыхала Нюра, наблюдая похудевшего сына, редко улыбающегося ныне. А теперь никаких делов не надо, лежит-полеживает во спокое под мамушкиным взглядом. Всех по справедливости равнял, а люди-то не больно охочи равняться, чтобы под одну гребенку состригали, каждый человек да с норовом, ой-ой, вот и забыли тебя, сынушка, забыли, уж редко кто, из стариков разве, вспомнит: это в тотамком году было, когда Акимко Питеркин Федора Креня зорил. А молодые уж и не вспомнят, у молодых свои заботы, такую войну перенести надо было, выстоять, сто лет икаться будет да на детях отзываться.

...И от Семейки тоже писёмушка нет, не заболел ли ненароком иль за что озлился: долго ли две строчки черкнуть — жив, мол, здоров, Нюра, чего и тебе желаю

во многих цветущих летах. Если бы написал, дак всяко Тамарка-письмоноска запопутьем занесла бы, мимо же в Инцы едет, далече ли тут от моря, совсем рядом, а раз не тащит письма, значит, нету. А я вот возьму да и напишу другорядь, подожду денек-два, погожу, не буду горячиться и напишу по новой, мол, ты, кабыть, и не знаешь, а по мущинской линии ты не сплоховал тогда, и я от тебя бабой стала, парничка принесла. Нет-нет, еще подумает, мне чего надо от него. А мне и хочется только, чтобы не забывали люди друг дружку, на памяти нашей житье стоит... Не буду пугать, как-то еще воспримет: время делает человека, строгает его по-всякому. Другого так изуделает, прости ты, осподи, не признать, словно наново переменит. Искрутится весь, изжадится, не знаешь, с какого боку и подступиться к нему.

Вон Гришка Таранин в молодости сколь любый парничок был, беленький, хорошенький, уважливый, а куда все подевалось? Пошли артелью лесовать, еще с осени в тайгу заходили, он лису линялую затравил, собаке бросил, потом и медведя в жаркий день сронил в глухомани, откуда не достать, да тут и бросил, только когти обрезал детишкам на забаву да кусок мяса на варю прихватил. Я ему сначала по-хорошему: «Гриша,— говорю,— ты пошто рушишь-то все походя, што на глаз попадет, душу лесовую не щадишь, житья ей не даешь?» А он одним ответом: «Ой, не могу, когда в лесу живое вижу, сразу возгораюсь». У него, у паразита, нутро горит, дак все и клади под свинец? Так и сказала ему, что на другой год боле с тобой не ходок, ищи другого напарника, а то закопаю где ли в тайге, за себя не поручусь. Дак до сих пор зуб на меня точит, так и ждет, что старуха к нему на поклон придет, уж никогда лошади колхозной не даст, чтобы зверя из тайги достать — такая сволочь выросла.

Может, и Семейко-то экий же нынче, и не подступись к нему? Осподи, прокатилось времечко, вроде и не живали.

В этих раздумьях снова день прожит, отгорела неяркая золотушная заря, слегка позолотив оконца, разбавив желтой водицей ледяную накипь на стеклах. Потом на воле воздух загустел, налился настороженной темью, спрятал поляну под замлевшие снега, и тайга вплотную набежала на избу, силясь окончательно застудить ее и покорить. Волки пришли к хутору, вились кругами, под

весну они оголодали и выбрались поближе к жилью, для свадеб нужна была сила, и они искали горячей крови и свежатины, чтобы разжечь похоть. Егарма лежала в сенцах и, слыша это порывистое дыхание и волчьи запахи, тоскливо робела и тихо скулила, боясь темени и одиночества. Видно, наступает в жизни природы такое мгновение, когда каждая тварь пугается сиротства, изнемогает от него, ей хочется тепла и любви. И потому даже уродливой сучке, рожденной под забором, тоже снился добропорядочный пес с лохматым загривком и сильной мужской грудью, о которую можно лукаво и зазывно потереться мордой. И эта пора настигает всех независимо от возраста, и только у старых зверей она перерождается в теплые, слегка волнующие кровь воспоминания. И кто его знает, что лучше в жизни: сама ли любовь иль представления о ней, ибо любовь преходяща и требует новизны ощущений, и лишь воспоминания и представления становятся со временем все ярче и раздражительней. А потому, как ни убегай от мира, ни сторонись его, но порой только за голос живой готов отдать все нажитое...

Так же не спеша Нюра наставила пузатый медный самоварчик с погнутым краном. В свое время самовар достался мужу, когда делились братовья. Кому телка, кому корова в хлев, а всем не хватило по животине, и младшему, Лешке, достался самовар, который по тем временам был редкостью и приравнивался по цене к доброй молодой корове. Нюре помнится, что первое время, невдолге после свадьбы, они часто разъезжали по гостям и самовар брали с собой, чтобы там, куда едут, напиться чаю из самовара, а не из закопченного чугунка.

Нюра самовар берегла, драила его песком от зелени, чтобы посудина обретала прежний солнечный цвет, а внутри скребла от накипи щеткой. Самоваром Нюра хвалилась в Вазице, всех знакомых зазывала на чай.

Так вот этот самовар сын Акимко однажды разорил. Под осень было, как сейчас помнится, обложники шли, так занепогодило, хоть из избы не выкуркивай.

«Так и было, будто сегодня случилось. А вот не забыла, поди ж ты»,— шептала Нюра, тупо вглядываясь в пузатенький самоварчик, гордовато стоявший на подставке и пыхающий огнем в прогоревшей жестяной трубе. Знать, к вечеру подморозило, и тяга была хоро-

шей. Самовар сразу отпотел, стал из желтого белым и готовно зафырчал.

Тогда, помнится, пересилила себя, накинула балахон из дерюги, превратилась в рыжий неповоротливый куль, еще из этой берлоги показала красное обветренное лицо: «Я только до речки, рюжу посмотрю. А ты самовар, Акимушко, наставь да смотри без воды не согрей». Не больше часа и ходила, в избу вбежала: «Ой, в самую охотку чайку-то с холода. Эй, Акимушко?», а в избе пусто, и самовар расклеился весь, кран отпал, синий чад под потолком. Так и есть, без воды наставил... Раскипелась Нюра, зашарила по избе, на поветь сбегала, в баньку, бормотала ошарашенно, с готовной слезой на глазах: «Такой самоварчик разорил. Ну, растутыра, я тебе покажу, как по окнам глазеть. Шкуру спущу... Ну куда ты подевался? Эй, Акимко, куда затаился? Шкуру спущу, покажись-ко только».

Но сына нет, как сквозь землю провалился, сразу подумала на плохое, когда опомнилась, сердце шалить стало, и чего только на ум не пришло. Заметалась Питерка: «Значит, прозевал самовар, испугался и в лес сбежал. Ну куда же он в такой-то дождь, осподи, хоть бы чего не случилось с ним. И самовар-то пропади пропадом. Наверное, в деревню к Парамону убег, знает несыть, что там его не трону, поостерегусь. Но я все равно тебя достану. А будто когда и трогала, пальцем не задела, может, то и плохо, что не задела, вот и разбаловала».

Сбегала в Вазицу, там про Акимку не слыхали, уже в пóтемни, разбрызгивая грязь, воротилась на хутор. Еще издали, с тропы высматривала с надеждой, что Акимко вернулся в избу, сейчас запалил светильничек, и окна живут светом. Но мрачно таилась изба, и от этой всеобщей тьмы, от гудящего после дождя леса, низко плывущих туч над головой, похожих на мокрую мешковину, так стало Нюре одиноко и горько, что впору было завыть волчицей. Вот все и сбылось, как думалось... Вот и исполнилось то, чего страшилась. Не свое — не удержишь.

Вбежала в избу, запалила сальничек и сразу поймала охотничьим взглядом, что рушник на хлебнице сбит в сторону и доброй краюхи нет в ней. И отлегло от сердца, заулыбалась, стала думать и предполагать, куда скрылся этот вертопрах. С фонарем полезла на подво-

лок, даже не окликая и скрадывая свет рукавом пальтюхи. И сразу услыхала, как в дальний угол, где хранились прошлогодние веники, метнулся кто-то, тяжело прогибая половицы.

В тот вечер Нюра впервые отлупцевала сына, ревела в голос, как белуга, от слез опухла, но и крестила Акимку кожаной опояской, не щадя: «Пошто таишься, ты скажи, пошто от мамки таишься? Не смей боле так... Ты слышь, крапивно семя?» Потом обжала сына коленями, пригнула его ушастую большую голову к груди, гладила ершистые волосы, чувствуя, как отмякает сердце, а страх утекает, просачивается в самую глубь души и затаивается в ней до следующего раза. «Ты не прячься больше, Акимушко, ладно? Не вводи мамку в горе. Больно попало, да? Вот видишь, нельзя мамку обижать. Затаишься так, а леший тебя и не отдаст мне. Самовар, он что, бог с ним, с самоваром-то, из чугунка напьемся, правда? Ну вот, не реви, голубеюшко, свет ты мой единственный, глупый ты мой, от мамки таишься. Разве можно так от мамки таиться...»

А уж в другой раз чуть сама не погубила парня. «Каждому своя судьба поставлена, от судьбы не спрячешься, а он, знать, чуял что»,— задним числом размышляла Нюра, когда и эта история припомнилась. В начале ноября, когда снегу еще не надуло и промышляли с сыном без лыж, случайно наткнулись на лесного быка. Нюра рассмотрела его в прогале меж ветвей в невысоком подлеске, зарядила ружье пулей, обошла с подветренной стороны и выстрелила, но, видно, дрогнула рука, и пришлась пуля зверю под лопатку. Матерый лось, роняя кровавую пену с губ, почему-то не кинулся на Нюру, а двинулся к мальчишке, угрозливо креня рогатую голову. Парень вжался спиной в осину, нож выдернул из-за голенища, сам тонкий, как ивовая ветвь. Нюра в кожаный мешочек полезла торопливо, где хранился огневой припас, а там пусто: к дому шли с долгого промысла.

Разве можно забыть тот день? Пока бог не даст смерти, не выкинуть те мгновения из памяти, когда Питерка поначалу вроде бы закаменела, зальдилась, а потом страх за сына из глубин души прорвался в сознание и захлестнул его: этот страх сорвал охотницу с места и погнал к обезумевшему лосю. Так схлестнулись две судьбы, две жизни. Запаленный любовью лось еще мгновение назад отдыхал в осиннике, уставший от страсти, и в гла-

зах его мерцала горячая краснина уплывающего желания, но кровь, наверное, уже вспыхивала заново, и лось, подзывая подругу томительными стонами, повернул лобастую голову. Бык только на мгновение потерял осторожность и тут же получил под лопатку пулю.

Впереди себя лось увидал другого маломощного самца и, подозревая в нем соперника, который хочет отнять у него подругу и запоздалую любовь, двинулся навстречу, горячась от боли. Перед быком стоял жалкий двуногий зверь, от которого исходил неприятный, пугающий и озлобляющий запах, а для Нюры же там, под деревом, собрался в решительный комок ее сын, двенадцатилетний мальчишка с ножом в руке, ее отросток, ее боль, ее единственный жизненный смысл. И, замахиваясь топором, Нюра завыла что-то дикое, завопила на самом пределе голоса, не слыша его, а лось, нацеленный лопастью рога на жертву, от внезапного крика словно бы очнулся и, встав на дыбы, прянул в сторону. Потом еще раздался запоздалый топот и хруст кустов: это уходила следом лосиха.

Тем же вечером, еще полностью не придя в себя, Нюра скатала новые пули и наутро с сыном пошла по следу лося. Питерка была тогда молода и потому не все понимала в природе, посреди которой жила, но по опыту минувшей жизни чувствовала, что тайга любит милосердных людей, и сама, от рода своего добрая и совестливая по натуре, сейчас нещадно винила себя за этот грех. Но сыну Питерка не признавалась в своей ошибке и бормотала вполголоса: «Чтой-то поздно залюбил, лешак сохатый. Нет бы куда подале деться, так встал на дороге».

К исходу предзимнего дня они нашли лося, он уже не мог стоять и потому неловко обвалился на колени. Нюра еще издали увидела, как устало повернул лось тяжелую вислогубую голову и даже не попробовал подняться. Зверь умирал, и, чтобы кончить его страдания, охотница добила пулей, и, может, тогда впервые в ней проснулась суеверная мысль: «Бог упредил за жадность. Не наказал, но упредил...»

А сейчас, на исходе жизни, было время продумать пережитое, и Нюра с болью размышляла: «Неужели человек создан только едоком? Но зачем тогда ему голова дадена? У волка нету разума, заяц — тот вовсе глупый, и только человеку положено все. Знать, природа, мати

наша всеобщая, породила поначалу зверя всякого и рыбу, потом мошку и пакость да птицу, а после уж человека. Но ежели первые детки для всего миру строятся, то последний — для матери, для сохранения ее покоя. Может, и задуманы были люди как хранители матери единой, а получились едоки-дармоеды. Ошибка вышла?.. Если по жадности, так все можно переесть, разом скушать, ведь эстолько людей на миру, каждого прокормить надо, да каждый только больше давай, все разом потребить хотят — и лес, и зверя, и воду, осподи! Через ту жадность и войнам нет числа. Ведь когда сын за матерью не приглядывает, говорят про него, он нехристь, сукин сын он, и люди плюют в его след... Разве люди сами на себя плюнут? Ежели плюнешь, то и оттираться надо, тут-то и увидишь, сколь черен и грешен внутри, а соскребать эту грязь — и веком не соскрести... Многое мне открылось нынче, многое. А доверься людям, скажи — засмеют: Нюра Питерка глупа, совсем оглупела в своем лесу. Может, и глупа Нюра, только многое открылось. Они-то колготятся в суете да все спешат куда-то, им некогда посидеть, подумать во спокое...»

Самоварчик скипел, дал о себе знать тонким посвистом, затащила его Нюра на стол, села подле: одна-одинешенька, вроде и привыкла к сиротству, а все кажется, что будто ранее, когда с сыном жила, то и чай куда вкуснее был. Самоварчику что, его и время не берет, сияет тремя медалями, выставил на Нюру свой желтый пузень, нахохлился краником. Помнится старой: немного погодя стащила посудину в деревню ко Клавдейке Заручейному, тот и направил самовар, правда, краник неловко встал на место. Самоварчику-то жизнь наново вдохнул мужик, а я вот сыночка не уберегла...

Тогда она тупо посмотрела на черный иордан, в котором плавал битый лед, и повернула лыжи обратно в хутор. Душа ее не растопилась от увиденного, нет, но куда-то отодвинулось постороннее беспокойство, которое мешало думать о сыне: все-таки Нюре было неуютно при мысли, что придется поднимать ружье на человека, пусть и зверину, тать разбойную, и сейчас, когда все свершилось само собой, ее мстительное удовольствие даже чуть смягчило внутреннюю закаменелую боль.

Внезапно представилось, что сейчас сына хватились на деревне, его разыскивают, значит, должны вот-вот

подкатить на хутор. Потому она деловито поторопилась прибежать к дому и, словно бы сомневаясь в смерти сына, открыла горенку и, не входя в нее, заглянула в постоянный студеный мрак: Аким лежал на лавке ногами к двери, и новые черные валенки мешали смотреть на его лицо, казались непомерно большими. Тут спокойно подумалось, что сейчас придут люди, закатят сына в розвальни и, покрыв с головою оленьей полостью, увезут от Нюры в деревню, повалят в избе-читальне на казенном столе и будут толпиться около, глазеть на удушенное черное лицо, молоть вздор, и она, мать, окажется лишней там и ненужной. Но куда денешься, решила покорно, отдать придется, все-таки на вышине числился, над людьми верховодил, пусть простятся, но и в таком виде стыдно выказывать, обмыть бы поспеть да приодеть.

Питерка закрыла горенку на висячий замок и вернулась в избу, там опустилась на пол подле громоздкого сундука, покрытого цинковой жестью. И только приготовилась открыть пахнущее нафталином и киселью застарелое житье с немудрящим обзаведением, как на заулке загремело, забрякало, кто-то хохотал, пиная мерзлые ступеньки заколелыми валенками, потом тут же, сбоку, приткнувшись к ободверине, освобождался от застоявшейся лишней воды. Нюра живо вскочила, сбивая на плечи шапку, продышала в боковом стеколке глазок и того, кто мочился, узнала по городской пальтюхе с каракулевым воротником и кривым ногам, засунутым в бурки. «Не мог Афоня Путко за угол-то встать, жеребец такой. Двери-то мне приморозит»,— отрешенно подумала она про Афанасия Мишукова, которого на деревне и не звали иначе, как Афоня Путко.

Он вошел, у порога смял в кулак пыжиковую шапку, и болотного цвета глаза сразу настороженно прошлись по избе: по их назойливому вниманию и легкому шальному блеску поняла Нюра, что Путко уже под хмельком. «Дня не пройдет, зараза, чтобы не выпить. Недаром по деревне поют: «До чего ты, Путко, допил, до чего ты догулял, посреди широкой улицы магазин обо...ал».

Следом вошел милиционер Ваня Тяпуев, бровастый, носатый парнишка с детским румянцем на квадратном лице, в овчинной белой шубе до пят. В дверях, наверное, ему стоять было неловко, качнулся вперед, предупредительно касаясь рукой спины Мишукова и подталкивая

его в передний угол: «Афанасий Иванович, присядем на данный момент времени».

Мишуков прошел в передний угол и сел под образа, оглаживая седые виски, а милиционер прислонился к ободверине да так и остался там, похлестывая по шубе витой ременкой. Гости ни о чем не спрашивали, и Нюра отчего-то помалкивала, таилась, полуотвернувшись к оконцу, оскребая ногтем наледь.

— Вот так, значит, ишь ты,— протянул Мишуков и снова ничего не спросил, а Нюре было душно и тяжело, так томительно тяжело, словно впервые подумалось, что сына нет насовсем — не вышел на двор или в лес на путик и даже не уехал на жуткую войну — он каменно лежит в боковушке под замком, и его вовсе, навсегда не стало. «Спрашивали бы, что ли, да и забирали Екимушку, чего мучить меня»,— подумала сдавленно, испуганно озираясь. «Осподи, ведь все, и жить-то закоим, а?»

Но Нюра сдержала вопль и ничем не выдала своего горя.

— Да, вот так-то,— снова подозрительно процедил Афоня, устало разминая ладонью затекшее лицо... Вспомнилось: только Мишка Крень выметнулся озверелый из чума Прошки Явтысого, угнал упряжку в деревню, так и пошло-покатилось гулеванье: пили до озверения, до бесстыдства, полного обнажения и освобождения души.

«Ловко я, а?.. Затравил сволочугу. Как он живца-то моего хап. «Из-бу за-бра-ли, а я жениться хо-чу»,— передразнил Мишуков Мишку Креня.— Сволочь, змеенышей плодить. Под корень их».

«Ты, Афоня, мудрая. Лиса ты,— соглашался ненец.— Хошь моя женка? Э-э-э... Моя женка скусней теленка, хах-хых. К тебе приеду, твой баба — мой баба».

«Сволочь ты, Прошка, сволочь. И все вы сволочи,— вдруг заплакал Афоня Мишуков слезой откровенной и горькой, по-ребячьи облизывая губы.— Как они батьку моего секли, хамло, вылюдье. Посреди улицы секли, голышом раздели и секли крапивой... А ты, Проша, человек, хоть и самоедина косоглазая, лопата и век не моешься, но человек, дай я тебя расцелую. Тьфу, зараза, табачину жрешь, што ли? — сплюнул Афоня, на миг трезвея.— Я их всех... У-у-у, я им такую кузькину мать устрою за батю моего согласно текущего момента».

Потом уж мало чего осталось в памяти у Афони: помнилось лишь смутно, как хозяин чума таскал молодую

жену за косы, вдруг приревновал к гостю, а Мишуков отнимал, хватая Прошку за руки, отыскивал горло...

— Мишка Крень не проезжал тут? — спросил Нюру от порога милиционер.

— Нет, а чего?

— Да так, согласно политического момента, значится, контра он...

— Нет, нет, никого не было,— внезапно соврала Нюра. Напротив сидел Афоня Мишуков и сквозил ее налитыми розовыми глазами, и порой, отрывисто, мельком взглядывая на мужика, Питерка наполнялась новым, идущим из угла страхом. Ей стало жутко лишь от мысли, что Путко начнет разбираться во всем, что случилось, щупать холодными рыбьими глазищами, а потом и обвинит, долго ли ему, а у Нюры свидетелей нет, докажи поди, если Мишка Крень на дне Куртяевки. «И выйдет так, что я своими руками да сына своего Екимушку, вот где изгиление будет, сколько позору-то на мою голову да на весь наш род».

«...Ну чего, чего глазами зыришь?» — подумала с нарастающим злом и, чтобы не выдать своих чувств, вскочила, побежала к запечью, так же молча потащила на подставку самовар... «Вот этот толстомордый Путко, все он, оборотень. И отец таков же был, хотел на людской слезе нажиться, думал честной народ облукавить. В будню и поганить можно нашего брата, и на шее сидеть, а в праздню, как душа взыграла, тут уж не тронь — из собственной шкуры наизнанку, только дай забыться. А Ваня Путко всю водку скупил в монопольке и решил на съезжем празднике нажиться, думал, знать, мужики загуляют, им тогда и море по колено, а я у их денежку и высосу. Мужики с пьяного гнева да про все узнавши и всыпали крапивой по голой заднице, да прилюдно, на площади, напротив хлебной лавки уделали, заголили и всыпали. Вот и поделом, вот и поделом... Так от великого бесчестья и умер мужик.

...У-у, толста харя, расселся, еще и ворота мне приморозил кастью своей. Не откроюсь, не знаю ништо. Пусть думают, што хотят, а не отдам им сына на изгиление. Не откроюсь — и все, мой он и ничей боле».

— А мы вот запопутьем зашли проведать,— нарушил молчание Мишуков.— Поехали в Инцы, подумали, как тут наша тетя Нюра поживает?.. Сына-то еще не было?

— Нет-нет,— торопливо отказалась Питерка, зами-



рая и холодея нутром. Мелькнуло в голове: «Вот и допрос, вот и началось. Осподи, дай силы выстоять».

— Будет скоро. Он-то поране нас выфурнул на лыжах, только снег завился,— сказал, отворотясь, Мишуков.— С нами на лошадке не захотел,— добавил он, заминая разговор.

Гости двинулись к выходу, еще потоптались в сумеречных сенцах, Мишуков пошарил взглядом и даже потрогал на двери увесистый замок. «Амбарная сучка...» — зачем-то сказал он и дохнул на Нюру вонью хмельного перегара и махры.

Потом Питерка еще недолго стояла в сенцах, слышала кряхтенье ступенек под грузным телом Мишукова, по-мальчишески звонко, не тая голоса, спросил милиционер Ваня Тяпуев: «Куда начальство подевалось? Слышьте, Афанасий Иванович?..»

Нюра насторожилась, но ответа не расслышала, видно, мужики вышли со двора.

Вечером она обмыла сына, надела на него красную косоворотку и суконный пиджак, сложила руки на груди, перевязала ниточкой пряжи, вставила восковую свечу. Мрак, нет, скорее черный провал поглотил горенку, и чудилось, что мертвый Аким и мать его стоят на деревянном примосте посреди пустоты. Куда вознесет их, куда, в какую благодать? Слез не было, и не было облегчения. Однажды Нюра поймала себя на жуткой мысли, что словно бы постоянно ждала сыновней смерти. Она так боялась за него в течение стольких лет, что невольно ждала беды. «Осподи, чужое не удержишь. Сквозь пальцы протечет. Крень дал — Крень взял... Нет-нет,— тут же возмутилась ее душа.— Мой это сын».

Нюра читала псалтырь тупо, не слыша и не понимая своих слов. Свеча обтаивала на скрещенные кисти рук, и ей все казалось, что сыну больно от плавленого воска...

— Мама, почему промеж людей радости мало? — спросил он однажды, еще до германской войны.

— Заботы о хлебе насущном гнетут, сынушка...

— Тогда бы хорошо долго не ись. Раз поел, а потом бы играй все да играй.

— Глупенький...

— Я в море хочу с дядей Парамоном. Там светло, а тут дико. Что ты нашла в своем лесу?

— Глупенький, утонешь там. Тут земля под ногами. На земле-то и веры больше.

— А меня завидки берут. По морю куда хошь уедешь, на людей поглянешь.

— Не мели ерунды...

— Чего не мели, чего не мели?

— Сказала, не пущу к морю...

— А я с дядей Парамоном попрошусь.

— Уймись, с тобой говорить, что решетом воду носить.

А он подбежал вдруг, ластиться стал:

— Матушка, не бранись. Смехом ведь я. Ну охолонь.

Едва развиднелось, Нюра взяла лопату и пошла копать могилу. Она обрыла снег на дальнем мыску, на окраине речного наволока, хорошо видного из окон, приволокла на чунке дров и развела костер. Женщине все чудилось, что кто-то сейчас придет и заберет сына, потому она торопилась, жалея каждую минуту, а может, и душа ее, уставшая от непосильной тягости, заставляла лихорадиться и спешить, чтобы вместе с пóтом угнать неспокойные мысли и расплавить в груди горький ком. К вечеру Нюра вырыла могилу и, завернув сына в холстину, привезла на санках и предала земле. Вместо креста воткнула березовую тычку и с покойной, тупой заботой закидала снегом неровный следок земли.

В избе, скинув черный плат, подошла к зеркальцу, увидала желтое, словно бы костяное лицо с заостренным носом и синими пятаками под глазами, белую, как куропачье крыло, голову. Это была не легкая проседь стареющей одинокой женщины и не первые сивые прядки на висках, которые рождаются от переживаний: Нюрина голова была словно облита молоком. Питерка тупо и удивленно вглядывалась в чужие, будто и не свои волосы, которые еще вчера отсвечивали тусклой медью.

Тут и пришло на память, как сын, давно ли будто, в прошлом месяце сказал: «Ну, матушка, ты у меня все словно молодая. Тебя и старость-то не долит».

— Вот тебе и не долит,— прошептала Нюра, осторожно касаясь ладонью волос.— Вот тебе и не долит, сынушка. За одну ночь сбелела, как молодой снежок.

И тут спасительные слезы прорвались и затопили Нюру, она повалилась на лавку и, стукаясь головой о белую скамью, запричитала в голос:

Охти мнечушки тошнехонько!
Похожу, горе злосчастное я,
По своей да светлой горнице,
По крестьянской-то избушечке,
Загляну на кирпичну жарку печеньку,
На скрыпучу-то полаточку,
На тесову-то кроваточку,
Во заборну нову шолнышу,
Уж не ходит ли мой сыночек там,
Он по-старому да по-прежнему...

7

Так и не дождалась Нюра весточки от любви своей негасимой, от Семейки Нечаева, и через неделю, наверное, не сдержалась более и написала в Долгую Щелью новое письмо. Наскребла в печи на загнетке сажи, развела водой и долго корябала на бумаге загустевшим пером, оставшимся еще от Акима:

«Дорогой Семеюшко да жена твоя Паладья да все чады. С поклоном низким и по привету Нюра Питерка с Вазицы, забыл нека? Пошто тогда молчишь, дьявол эдакий? У миня все хорошо промысел тоже хороший. Птицы-зверя нынче дивно да плоха я стала на глаза зренье вовсе подводить стало. Помнишь ли ты меня Семеюшко как мы с тобой гуляли миловались. Женке-то не сказывай чего ли на худое подумат да и в глаза-то нахаркает, наше племя тако. Осподи, Семеюшко, жисть прошла, а будто и не живали. Я то нынь совсем плоха развалюха от ветра поносит. А ты в очию у меня так и стоишь, все молодой старопрежний и часто помню тебя...»

Писала Нюра на какой-то накладной, где в столбик было красивым почерком завито: мука аржаная — четыре пуд, пороху — две пачки, кастрюля малирована — одна, капканы первого нумера — десять штук — и еще чего-то по хозяйству, что брала когда-то охотница в рыбкоопе еще перед войной.

Старые сиреневые чернила выцвели, и Нюра по ним сажей навела свою огороду, развела писемушко на весь лист.

Потом в деревню стала собираться, задумала родню навестить, а заодно и весточку кинуть в почтовый ящик. В лузан пехнула шесть куропаток: три птицы невестке Анисье да три — золовке Калистве. Подумала, кинь добро назад, оно попереди очутится. Добро-то сделаешь, дак всем сладко, все когда ли помянут мирным словом...

В деревню Питерка заявилась ближе к полудню. Побережник принес с моря мелкую порошу, и Вазица сразу омрачилась ликом, огрузла в сугробы. Война прошла где-то далеко, за тридевять земель отсюда, но деревня так осиротилась, словно мор великий прошел по ней: редкий человек спешил своей дорогой, зябко запах-

нувшись в пальтюху, и, будто испугавшись простора и вольного воздуха, тут же юркал в избу.

Что и говорить, многих мужиков, почитай что и всех (за малым исключением), подкосил германец, а девки, что постарше, спасаясь от стародевья и голодухи, разъехались по всей России искать счастья и уцелевших погодков, как-то мигом разбежались, покинув вдовых матерей и совсем запустошив родные гнездовья. Они, правда, еще не рушились, даже были приглядны внешне, и ситцевые занавесочки в синий горошек красили подслеповатые оконца: но по тому, как осунулись поветные ворота, а заулок не истоптан лошадиной ногой, и тропка-то завязана сиротски узенькая, на скромную бабью ногу, видно было, что печищан одолевало запустение. Но пока сражалась деревенька, обороняласъ от запустения, как могла, словно стыдно было ей перед мужиками, павшими на чужбине, еще оконца глядели без дощатых повязок — крест-накрест — и в главном уличном порядке светился лишь один прогал, заметный пустырь, закиданный снегами.

Здесь когда-то стояла хоромина Федора Креня, огромная изба на два жила с тремя летними горенками поверху. Когда раскулачили Креня, то первое время внизу была сетевязка, а примерно через год перебрался в избу интернат. Нюра помнила этот дом до мельчайшей подробности. Когда Аким вдруг негаданно погиб, свекор Осип Усан увез сноху в свое житье, ведь Нюра, пожалуй, года два была словно бы не в своем уме. Она изо дня в день бездумно ходила сюда, к креневской избе, становилась напротив окон и смотрела стеклянными глазами, тупо распахнув рот. Знакомые бабы проходили мимо, окликивали Нюру, но, погруженная в себя, она не слышала посторонних голосов. Женки жалели Питерку, судачили меж собой: «Вовсе оглупела Нюра. Свезли бы не то куда в малишенный дом. А то и ей не житье, и свекру-то позора одна».

Нюра навязчиво, до туманного кружения в голове вглядывалась в верхние стеколки, где часто показывались детские головенки, и по цвету волос, по неясному пятну лица угадывала, который ее там сын. Ей все мерещилось, что Акимка еще ребенок и посещает школу, чтобы набраться грамоте, а сейчас он вымчит на улицу, к своей мамке, уткнется головенкой в подол, а Нюра

будет гладить его непослушный вихор на затылке и томиться от радости. «Пойдем»,— скажет она сыну, и, встав на лыжи, они быстро закатятся в просторный, ровно гудящий лес и растворятся в нем.

Нюра так явственно представляла все, что, когда приходила золовка Калиства, чтобы увести горемычную домой, и трогала за рукав, Питерка пугливо вздрагивала и нехотя пробуждалась от сна, покорно шла следом, но еще долго крутила головой, высматривала сына. А однажды, где-то в середине сентября тридцать второго года, деревню разбудил пожар: горел интернат. Дети прыгали со второго этажа в уличную грязь, учитель Ланин бегал вокруг с воспаленным от пожара лицом. Один мальчишка сломал ногу, и учитель унес его на руках в дом Парамона Петенбурга. В нижнем жиле выломали окна, кто-то из смельчаков забрался в избу и вытолкнул на улицу сомлевшую хозяйку Пелагею Креневу, но самого Федора Креня там не нашли.

Пока горело в самой избе и огонь не вымахнул наружу длинным языкатым пламенем, на улице было поосеннему темно, и только в провалы окон выливался в черные лужи багровый живой свет. Мужики суетились с ведрами и топорами, но больше поглядывали на свои дома, толкая друг друга, пробовали подступиться к жилью и что-то спасти из добра. Но тут старинный сруб вспыхнул свечой, и гудящее пламя завилось в небе, раскидывая головни и искры: сразу стало так светло, что поначалу все ослепли, потом в стороне пронесся нелепый пугающий крик: «Федор по-весил-ся...»

Будто сегодня и случилось все, так явственно представила Нюра Федора Креня, его запрокинутую слегка голову с хмурой усмешкой на костяном лице, напряженные вытянутые ноги, обутые в рыбацкие бродни. Мужик висел в проеме дверей своей баньки лицом к избе. На лице шевелились малиновые отсветы пожара, и оно казалось живым, глаза в темных провалах устрашающе вспучились и пристально разглядывали людей, толпящихся на расстоянии.

Ваня Тяпуев обрезал веревку, и тело сползло на порожек. «У-у, кулацкий потрох»,— сказал он громко и ненавидяще.

— И Палагу-то чуть не сожег,— говорили в толпе.— Ведь детишка малая наверху, осподи. Все порушить хотел.— Эти слова пуще всякой агитации воспламенили

толпу, она загорячилась, окружая распростертое мертвое тело.

— Че он, че он? — домогалась какая-то бабенка, прискочившая слишком поздно.— Во-во, довели старика. Не снес насилья, во гневе душа не ведает, что руки творят...

— Загунь,— оборвал кто-то.— Палагу-то под замок посадил да сожегчи хотел. Это-то как подвести под хорошее поведение?

Нюра слушала людские речи и не понимала их. Она глядела на желтый костяной череп Креня с налипшими банными листьями, на крохотное его личико и удивлялась, как такой маломощный и невзрачный человек мог выпустить на свет громадного и красивого парня... Еще минутами назад она с больным и надорванным сердцем в груди суетилась меж всеми, кого-то толкала, чего-то тащила и плескала в огонь, глаза ее, расширенные страхом, замечали только спасенных ребятишек. Нюра поочередно хватала их, тискала у груди, нервно оглаживала, пока посторонние руки, наверное, учителя Ланина, не вырывали от нее затисканного, очумевшего от пожара и криков мальчишку.

А сейчас она стояла возле Федора Креня, вернее, возле того, что было когда-то натуристым, диким по нраву человеком, глядела на его костяную голову, заляпанную пеплом и палыми банными листьями, и мучительно соображала что-то, и унимала беспокойство лихорадочной мысли.

Изба догорела и осыпалась золотыми угольями. Только тут заметили люди, что уже светает.

— Нет предела людскому гневу, но есть мера зла и отмщения, которую переступит лишь сатана,— сказал церковный староста Антипа Заозеров и ушел домой. И, оставив караульного выборщика возле пожарища, чтобы уголек случаем не упорхнул на соседнее жилье, разбрелись и остальные, замученно зевая.

Золовка Калиства пробовала увести Нюру, но та, на голову выше родственницы, раза два толкнула молчаливо, и женщина отступилась, ушла обряжаться по хозяйству. Остались еще племянница покойного — Лидка, скуластая безгрудая девчонка, да Ваня Тяпуев. Избач достал где-то грязную рогожу, завернул старика. Он еще не забыл недавнюю милицейскую должность и не знал, как решить: то ли отступиться от кулацкого пот-

роха, то ли по старому служебному положению составить акт, а тело предать земле, ведь гад не гад, но по верху земли не кинешь. Ваня и злился на свое рвение — вон другие-то спят себе, от сна пухнут, а он тут уродуйся, как собака,— но и уйти не мог, вот так просто взять и уйти, завалиться на полати и прикорнуть до третьих петухов. Какая-то человечья пружинка иль совестливость удерживали его возле удавленника, а может, был Ваня просто человеком порядка... Но только он матерился про себя и, размахивая руками, то и дело бегал к дороге и обратно. Все чудилось, что сейчас кто-то явится всевластный и освободит его от мучений.

И пока Ваня Тяпуев размышлял, как поступить, Нюра примерилась к рогожному кулю и, легко взвалив на плечо, пошла по грядам, путаясь в картофельной ботве. Лидка, словно привязанная, не спросила ничего, послушно поплелась следом, роняя крупные слезы: ей вспомнилось, как Федор, бывало, приходил к ним, качал на коленях и одаривал гостинцами. У него тогда была пушистая поясная борода, и Лидка любила искаться в ней и гладить, а дядя щурился и повторял только: «Ну и лиса, ну и патрикеевна...» А нынче отец был на промысле, и мачеха не хватилась Лидки, видно, угорела на пожаре, и девчонка, опухшая от слез, все больше и больше жалела Федора Креня и почему-то себя.

Ваня Тяпуев ошалело заморгал глазами и, крича: «Эй ты, погоди-ко, вот глупа»,— побежал следом за Нюрой, пробовал остановить ее, хватаясь за хлястик пальтюхи. «Чего тебе, ну?» — коротко спросила Питерка.

— Давай хоть лошадь возьмем,— ответил парень вяло, тут же заминая в горле последнее слово, потому что представил вдруг, как придется идти в колхоз и выпрашивать эту лошадь да что-то объяснять, а тогда и вовсе станет светло, деревня проснется, и ему, избачу Ивану Тяпуеву, будет стыдно и невозможно ехать на телеге рядом с кулацким потрохом. И снова парень накалился душой, шепотом разбранил людей, которые разбежались по избам, хотя и сознавал, что такому удавленнику нет на деревне чести, ведь даже родственники отвернулись от него, а сын, Мишка Крень, пропал где-то, так и не сыскали, и жена Палага лежит в бесчувствии, не приходя в себя.

Ваня повернул к своему хлеву и взял заступ, а догнал странную похоронную процессию уже на затяжном

подъеме к деревенскому кладбищу. На самый верх, в покойницкий городок заходить не стали; а решили копать яму обочь, под вересовым кустом. Избач ковырялся лопатой нехотя и ярился уже открыто.

— Кулацкий потрох,— повторял он любимое словечко,— зараза фараоновская, нечистая сила, возись тут с ним. Спустить бы куда с камнем на шее, чтобы не портил наш советский воздух...

— Уймись, щенок... Добро творишь, дак не касти пропащего человека,— прикрикнула Нюра и отобрала у Вани заступ. Парень пробовал хорохориться и выставлять узкую грудь, но женщина его не слушала, а стала мерно углубляться в землю, словно зарывала себя. Ваня сел поодаль, сплевывал под ноги и ревниво следил за Питеркой.

— Ну хватит, не генерал... Сойдет и так.

Они опустили рогожу с Федором Кренем в яму и зарыли ее, оставив под вересовым кустом крохотный холмик, который вскоре порастет мхом и ягодником и станет обыкновенной болотной кочкой.

Лидка упала на могилу и заревела навзрыд, по-щенячьи царапая землю. Нюра еще постояла возле, сказала только негромко: «Ну вот и все»,— оторвала девчонку с торфяного холмика и повела за собой.

Ваня Тяпуев очистил лопату от земли и направился сначала следом за бабой и девчонкой, но потом словно бы устыдился чего и свернул наискосок к реке, а уж оттуда берегом выбрался к своей избе.

«Ну вот и все»,— повторяла Нюра облегченно, прижимая девчонку к себе и чувствуя ее хрупкое плечико. Ей хотелось бы поплакать, но она стеснялась Лидки, а может, не осмелилась бередить ее и потому крепила слезу в себе. В тот же день Питерка ушла в лес на свой хутор, чтобы теперь лишь изредка появляться в деревне...

«Напасть какая заведется, ведь выточит всю семью,— подумала Нюра, вспоминая Креней.— Будто громовержец прокатил тогда. Многих выкосил, а род не выкосил. Такой род разве сполна выведешь? Было, остерегались друг к дружке поститься, а нынь как повернулось... Аниська-то племянница будет Федору Креневу, а за моим племянником Мартыном теперь — и живут, как го-

лубки, не разлей вода. Разве род человеческий выкосишь? Где ли да отзовется...»

Нюра опустила письмо в почтовый ящик. В хлебную лавку хотелось бы заодно, но уж не попала, опоздала, закрылась та на обед, и потому решила старуха привернуть за мяконьким хлебцем на обратном пути. Еще помялась нерешительно посреди дороги, примеряясь мысленно, куда ловчее двинуть: то ли к невестке Анисье, то ли на низ улицы к золовке Калистве. Но лыжи все-таки повернула по льдистому склону улицы и покатилась к золовке.

Калиства, как всегда, сидела у окна и навстречу не поднялась, а только повернула рыхлое водянистое лицо, размытое серыми сумерками. Лампадка у божницы горела тускло и едва проясняла пыльные иконы, забранные в дешевые жестяные оклады. Не ожидая приглашения, Нюра прошла в передний угол и села подле Калиствы, сердобольно вглядываясь в тусклое лицо.

— Больна, што ли? — спросила, однако, резко, тая жалость в душе и не выказывая ее. Золовка только пожала широкими оплывшими плечами.

— Опустилась-то вся... Ты, девка, прибери себя к рукам. Ишо не старая ведь. Ты што это, а? — накаляя голос, внушала Нюра.— Войне уж когда замирение, а ты все будто тамотки.

— А за коим теперь и жить? — тускло спросила Калиства, вернее, сказала вяло, но с настойчивым и решенным в душе желанием.— По жизни, дак будто век прожит.

— Это не тебе решать, да... Ты што это постановила? Ну сказывай,— гремела Нюра, но добиться чего-то разумного было трудно теперь от золовки, и невольно понизила голос: — Уф, парко у тебя. Я тоже намедни едва не околела. Да не суждено, знать, не мое время.

— Ни мужика, ни деточек, всех война забрала... Ну а ты-то как там? — равнодушно спросила Калиства, насильно отвлекаясь от постоянных раздумий.— И не скучно тебе в леси да одной?

— Какая, к лешему, скука? Летом травку сбираю, осенью ягоды, грибы ломаю, зимою опять зверя-птицу добываю. Из лесу-то и не вышел бы, так хорошо в ем.

— А без людей все одно не можешь,— раздраженно уколола Калиства, желая хоть чем-то ущемить Нюру, чтобы она горемычно заслезилась.

— Не могу,— согласно кивнула Питерка.— Раньше могла, а нынче не могу. Люди-то всё в мыслях нынь, и никак не отвяжешься.

— Осподи, каждый надрывается. Товарищ-то Сталин небось с войны надорвался. Тоже женочонка, детишки есть, ревут, татку всем жалко... Ой, Нюрушка, хоть бы одного сыночка бог сохранил мне! — Калиства заплаказа неожиданно, но тут же засморкалась в передник и снова померкла, остыла, ушла в себя, что-то шевеля губами и забывая мгновенные слезы.

— А на што тебе Сталин-то дался? — снова вернулась Нюра к прежнему разговору, чтобы вывести золовку из забытья.

— Я об том, что детишки-то небось остались, ревут. Да-а... Сына твоего, Акимку, в том годе так и не нашли? Поди, сбег куда, сокрылся? — тускло спросила Калиства.

— Ты что, Каля... Ты чего мелешь-то? — растерялась Питерка. Недоуменная обида охватила старуху, но она сдержалась, не высказала затаенное, сломала гнев, только длинное лицо ее напряглось, и дольные морщины на щеках нервно заглубились. «Ой дура, ну и дура Калька»,— подумала Нюра, не зная от растерянности, какое слово схватить, чтобы оно к месту пришлось и пристыдило золовку. Но ничего не придумала и корить не стала Калиству, но пристально вгляделась в нее долгим запоминающим взглядом.

— Я тебе тут куроптя принесла. Поешь дичинки...

Достала из лузана три птицы, мерзлые, с угольно-черными полуоткрытыми глазами, глядящими из-за поджатого крыла, кинула на стол, и куропти каменно стукнулись о доски. Потом, не прощаясь, пошла на выход, а Калиства вдруг кинулась следом, захватила подол малицы, запричитала жалобно и просяще:

— Прости меня, Нюрушка. Сглупа на худое мелю. Не кидай меня. Одна ты у меня надея. Ты придешь еще? Ну скажи чего ли, не томи...

— Ну буде, буде, ну што ты. Прибери себя к рукам. Как не навестить-то, осподи.— Порылась в лузане, достала еще трех куропаток, положила на табурет возле порога.— Аниське метила, хотела угостить, ну да ладно. У ей самой мужик охотник.

Сказала сурово, неотмякшим голосом и пошла прочь из избы.

8

Письмоноска доставила весточку в конце марта, а запопутьем еще передала просьбу Тони Капшаковой: та слезно просила Питерку прийти и помять в бане спину, скрючило так, что ни встать, ни сесть. Нюра пообещала навестить Тоньку, на слова письмоноски, рябой басовитой девки, только кивала согласно головой и поддакивала, а сама неотступно крутила треугольник из серой оберточной бумаги, залепленный хлебным мякишем, и не могла понять, откуда письмо, потому что обратного адреса не было. Когда почтальонка ушла, Нюра вскрыла треугольник, глянула сразу в дальний конец бумаги и прочитала надпись: Нечаевы...

Письмо было накарябано химическим карандашом на плохой бумаге, и потому Нюра проглядела его с трудом, по слогам, часто запинаясь и мучительно морщась, пока не доходя до смысла:

«...Ты ведь старая старуха, дак не сходи с ума людей не смеши. Ведь когда овдовела ты мужику моему тринадцатый годок шел. А ты чего пишешь, чего пишешь, страшна кокора. Ежели рехнулась дак лечиться надо вот какие мои слова будут. К фершалу сходить надо он припарки поставит на одно место или в сумашедший дом, вот. Мужика отбивать а мужик уж скolькой месяц с постели не встает...»

Нюра одолела письмо и сначала засмеялась тоненько, а потом всхлипнула и заплакала, часто повторяя: «Ой глупа же баба, чего надумала. Мужика отбивать... Эко про меня подумала. А мне то и нать, что весточку, доброе слово получить откуда из далеких краев. А может, и взаболь я чего не так написала?»

Долго сидела Питерка, качая большой седой головой, вспоминала с натугой свое письмо к Семейке Нечаеву, но оно забылось начисто и никак не приходило на ум. Весь вечер старуха горевала, что поступила неладно и теперь люди держат на нее сердце. Несколько раз Нюра приглядывалась к снимку в коричневой рамке, испятнанной жучком-древоточцем, но Семейка не менялся, все так же пучил и строжил глаза, но становился вроде бы чужее и чужее.

«...А чего было-то, осподи, ничего и не было,— оправдывалась Нюра, словно испугавшись письма.— Ну прижал к груди, что истомно стало; свой мужик, Лешка Гу-

бан, так вот ни разу не приласкал, все будто дрова колол, когда любить начнет, всю истреплет до синяков. А тут и дела-то всего, что словно бы ненароком притиснул Семейко в темных сенях, побаловался, а у нее и сердце сначала захолонуло, потом расперло его от счастья во всю грудь, и, словно глупая овечка, побежала бы без привязки следом куда угодно. Только и радости еще было, что с крылечка махнула вдогон. Он-то и забыл сразу, на телегу сел, хмельной да пьяный, заорал что-то под гармошку, все закрутилось тут. И забыл он Нюру, а ей вот и поныне помнится. Столько-то, значит, и отпущено любви, осподи-осподи. Ой, глупа баба была: уж вдовела, а еще хранила себя, совестилась. От своей любви не взяла...»

Весь вечер сама не своя бродила по избе Нюра. А к самой ночи вдруг холодно показалось — затопила наново печь и чугунок с картошкой сунула на огонь. И сразу из глубины памяти просочилась крохотная подробность о сыне: где-то застряла она в дальних закрайках и никогда не вспоминалась раньше, а тут вот, пока мыла картошку, шершавя ладони, готовно и выпятилась памятка, словно специально хранилась для такого случая, чтобы смягчить чуть Нюрино одиночество.

В семнадцатом году было: уехал Аким с дядей на осеннюю маргаритинскую ярмарку в Архангельское. Уж как не хотела отпускать сына, но не смогла удержать, и вот вернулся Парамон один. Спросила сначала легко, без душевной тревоги: «Утерял сына моего?» Думала, тот где-то затаился на повети, чтобы насмешить. А брат и сказал: «В моряки Акимко записался, к прибегищу посуду водоплавающую пристегивать».

«Не мели глупостей, слышь?» Все думала — шутит, сердцем не слышала сыновней измены.

А вернулся сын уже в двадцать втором году, заматерелый, головой под притолку, широконосый и глазастый, плечи обтянуты кожаной курткой... Так и не снял с себя, пока не сгинул, эту шкуру, осподи, было бы чем красоваться. Молчаливый вернулся, уж лишнего слова не обронит. Спросила только, мол, Акимушко, а как дале-то жить будем, народ боле весь оголодал. А он: «Голодно, матерь, верю, что голодно, надо еще поясок потуже затянуть и работать. Только бы эти годы пережить, а там и на хорошее потянет».

Так и погинул, осподи, хорошего не дождался. Спать-то ложился в тотамкий раз, как приехал, то говорит: мама, свари мне картошки в мундире. Веком этого не слыхала, что за картоха в мундире, всю ночь мучилась. Переживала, хотела Акиму угодить. А может, и не столько из-за картохи этой, сколько из-за сына: все молчит, будто воды в рот набрал.

Помнится: нет-нет да и прянет она с кровати, на ступешку привстанет, чтобы на сына глянуть. Тот распластался на полатях на медвежьей шкуре, лицом вниз спит, будто мертвый. На голом плече яма от пули, ей ли, охотнице, не знать, от чего случаются такие рваные метины. И на ногу что-то хромает, небось и там яма от пули...

Медведя-то этого вместях и добыли. Сыну, поди, годков тринадцать было, ну да, ну да, около этого, уж в баню стеснялся со мной ходить: совсем оформился. Пошли-то на белку, а Вопко, задорный такой песик был, выглядел берлогу у речки Волтомы. А Нюра тогда суеверная была: «Кышь,— сказала,— Вопко, нету здесь медведя, и ничего нету»,— и отогнала собаку, чтобы не пахло от нее.

Сыну дробовку дала с пулей. Свалила дерево поодаль и устье-то закрестила здоровенными еловыми чураками, потом Акимко залез на берлог и свод-то прободал вицей да и стал, значит, шерсть зверине на вицу наматывать да дергать, наматывать да дергать. Вот внутрях-то и запоуркивало, заходил зверь ходуном. Сама-то к устью стала, с топором изготовилась. Медведко, такой живот, ой-ой, полез только, она и тяпнула его по башке со всего разворота. Только хресть... А медведко лезет, потом на подочвы встал, страх божий — такая колокольня, но сын хорошо его стрельнул, догнал пулей. Так и стряслась земля, как плашмя-то пал.

Акимко еще дурачок был, только ростиком велик, а ум-то детский совсем. Говорит: «Мама, хочу берлог глянуть, как они там житье обустраивают». На карачки-то встал, дак только и успела едва отдернуть мальчишку, как взревело тяжко, и фуфырнул еще один пестун. Да так дунул в тайгу, только сгрохотало. Вот, говорю, сынок, впредь наука: не суйся, куда не велено, в каждую щель нос не пехай — отдавят... Сколько уж годов прошло с того дня, уж и шкуру-то больно хорошо моль поела, а выбрасывать жалко, такая она памятная.

Всю ночь тогда маялась: на шкуру посмотрит — прослезится, на сына глянет — того пуще реветь. Так и не сомкнула глаз, потом и печь разживила, сварила чугун картошки в кожуре, как каждодневно в этих местах готовят, на стол подала. Сказала, робея: «Уж не обессудь, сынок, я по-простому картоху сварила, с кожухой, а в мундире не знаю как». Уж посмеялся тогда сын, так ли посмеялся: «Это и есть в мундире. Ой, мамка, отчудила».

Такая житейская подробность всплыла из забытых уголков памяти и заново высветлила сына. Подумала: «Ой уж смелой и честён был, чужого кусочка изо рта не выдрал. Боженька, и пошто такому-то парню житья не дал? Ведь таким бы и жить только да красоваться». Спала Нюра хлопотно, все куда-то бежала и спешила, порой в самом сне вдруг пугалась, вспоминая, что под самую ночь топила печь и как бы не угореть-не захалеть ей, вот надо бы пересилить себя и встать, открыть трубу, а потом это опасение сменялось другим видением: будто она на берегу лесного ручья, и видно ей с берега, как живо и плавно колеблют хвостами большие серебряные харюса. Нюра хватает одного, другого за жабры, чувствуя упругое прикосновение рыбы, но она незаметно и таинственно пропадает вдруг, и в ладонях остается лишь холодная паутина водорослей. Нюре страшно, тут и лес начинает реветь и раскачиваться гулко, какие-то чудища кругом выстали, вместо глаз уголья. Она бросилась бежать, запинаясь о замоховевшие колодины и едва унимая сердце. И вдруг очутилась в какой-то избе, полной народа. Нюра приглядывается к древним старухам в черных платках и никого не может признать. Кто-то шепчет в самое ухо: «Семейко Нечаев помер, Семейко Нечаев помер. Иди поцелуй в остатный раз».

И вот Питерка уже у гроба, но ей отчего-то видна лишь маленькая безволосая голова с желтым костяным черепом. И она, узнавая эту голову, хотела крикнуть, чтобы раскрыть обман: «Федька Крень, сотона!» — как тут же Нюру толкнули в плечо, она опрокинулась в черную гудящую бездну, закружилась, словно подбитая глухарка, с ужасом ожидая каменистого дна провала.

Тут Нюра пересилила себя и проснулась вся в поту, с гулко клокочущим сердцем. Всполошилась: «Свят, свят... Ой, не к добру видение. Знать, с Семейкой на

плохое. Не зря баба евонная пишет, что сколькой уж месяц не встает». Тут Нюре сделалось невозможным лежать, лихорадка случилась с нею, но старуха, одолевая пока душевную трясуницу, еще полежала в кровати, уже представляя, как будет добираться до Семейкиной деревни, и, как знать, не ее ли позвал нынче ночью старинный друг, а раз окликнул, явился во сне, то нельзя Питерке больше медлить. Значит, до Вазицы на лыжах скоротает, а от нее до Долгой Щельи чуть ли не каждый божий день обозы. Прихватят сироту, не кинут на полдороге.

Босиком по настывшему полу пробежала к сундуку, тут все Нюрино приданое, почти не надеванное, да и перед кем было хвастаться ей, все в лесу, а там нужно что потеплей да пострашней, чтобы о сучья не жалко было рвать да у кострищ палить. Уж не помнила, сколько раз распахивала Нюра дубовый сундук: вот разве как сына-покойника обряжала, потом в Мезень два раза возили на ударный слет, а последний раз — в День Победы. Считай, что четыре раза приставала к нарядам: тогда была полна-полнюща, а сейчас одно косье, да кожа тряпошная вовсе от позвонка отстала. Куда только все и девается...

Выбросила из сундука жакетку плюшевую, да сарафан старинного шелку, да рубашку плакальную тонкого льна с красными намышниками и долгими рукавами, да шаль с кистями и лазоревыми цветами по полю. Оделась, глянула на себя в зеркало, показалось оттуда черное морщинистое лицо с белыми водянистыми глазами. «Эко пугало,— подумала про себя,— теперь в таком-то наряде никто не выйдет в люди, собаки задерут. Недаром Аниськина девка меня Бабой Ягой кличет. Баба Яга, костяная нога...» — Запела хрипло, усмехнулась. Посмотрела на ворох обыденной одежды — рубаха холщовая до пят, брюки ватные с наколенниками да душегрея из собачины, шерсть клоками повылезла — и жалко стало привычного одеяния, словно бы кожу с себя сняла и кинула подле, а новая еще не пристала к костям, не прилегла. Тут жмет, там трет, здесь давит...

Но сердце томило Нюру и торопило ее. «Вдруг приеду и не застану, а он звал меня. Иль, может, обидела чем, вон какое письмо ругательное послали...» Собрала в дорогу харч, чтобы у людей не занимать, не ущемлять своими просьбами, потом две лисьи шкуры взяла, по-

следнего нынешнего промысла, а в заготпушнину не сдала — не успела, подумала и еще достала с десяток куроптей, показалось, что скромный гостинец везет. О себе не вспомнила, как жить ей, может, еще сколько годов протянет, а лисья шкура денег стоит, тем более что нынче у Нюры каждая копеечка на счету. Какая была подкоплена денежка, вот так же по ветру ушла.

«Живой, дак выхожу... Ты только подожди меня, Семеюшко. Я доброе слово знаю, заговорное,— шептала Нюра, накидывая через голову поверх плюшевой жакетки старенькую малицу.— Ты не помирай только...»

1973 г.

ОБРАБОТНО — ВРЕМЯ СВАДЕБ

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ

Приходит и в Поморье самая красивая пора, когда зароды завершены и луга покрыты серебристой отавой; когда убран хлеб и пахнут поля спелой землей; когда срублена капуста и в зеленых бросовых листьях копится прозрачная дождевая вода; когда выкопан картофель и вкусно засолились в бочонке маслянистые грузди... Это неповторимая пора конца сентября, и зовут ее в Поморье обработным.

Значит, отработались, свою должность хлеборобческую на земле исполнили. И тогда начинают варить брагу, играть свадьбы и петь песни.

1

Только однажды Нечаева Параскева Осиповна попыталась ужиться в городе. Собиралась-то долго, всяких солений-варений упаковала, рыбы сушеной корзину увязала да кадушку харюзов кисленьких, ведь с пустыми руками суеверно ехать, не иждивенка какая, не параличная.

В общем, собиралась долго, а пожила мало. Показался ей в Архангельске и чай невкусный, вода больно пахучая, медициной отдает, и бани-то грязные, склизкие, словно век не моют, да и народу набивается туда, как на венике листьев.

Но еще печальнее — Параскева везде боялась опоздать: то казалось, что трамвай убежит из-под самого носа, а потому она толкалась в дверях железными своими руками, в магазине же ей чудилось, будто продукт нужный обязательно кончится перед нею, вон город какой, на всех не напасешься. На улицах пугали машины: поди залезь шоферу в голову, может, он чумной какой.

Не ужилась Параскева в Архангельске и вернулась в свою Кучему. Но хоть и не пришелся город по сердцу, однако в свое время девок из деревни всех вытолкала, мол, «закисните, засидитесь в перестарках, бабий век куриный, а в Архангельском-то парни со всей Расеи-матушки, только не теряйся, да и работа какая хошь».

Вот и сыновья, пусть не на другом конце земли, но тоже при деле, в поселке, на заводе, со своими семьями. Отрезанный, значит, ломоть. Ну и пусть живут, где судьба постановила, куда государство затребовало. И только Степушку-«заскребыша», последнего сына, пожаливала и все зазывала домой, потому как одной скучно, одной и ломтя хлеба вкусно не съесть.

Правда, за стеной, в боковой горенке, жил брат Михаил, бобыль он и на фронте контуженный, потому какое от него веселье.

А Степушка после армии в родимом гнезде не остался, уехал в город, и Параскева в письмах выспрашивала, мол, что сладкого нашел он в архангельской жизни, а сын отвечал: «Весело, ой как весело». Параскева читала письма и ругалась до икоты, до матюгов, мол, какое, к лешему, веселье, если на четверых мужиков один угол в общежитии, а потом Любу-постойщицу просила отписать сыну и все соблазняла того широкими родовыми покоями. Не могла поверить она в сыновью измену, от обиды и слез зрение потеряла, пришлось толстые очки выписать. Может, запуку тайную, заговор какой знает город, так рассуждала Параскева, может, и там есть колдуны, которые тайный умысел ведут, неизвестный ей. Кучемских-то колдунов Параскева насквозь видела, от нее не утаиться, у нее ореховый глаз, не любят колдуны орехового глаза.

Случилось это сразу после революции, когда Паранька была маленькой. Тогда голод стоял, мох ели да кору молодую мололи на лепешки, оттого пухли, животом мучились и помирали. Съездил отец в Жердь, мешок муки достал, пока дома чай пил (устал с дороги), тут дед Никифор кричит, мол, Васька Антонович замок на амбаре сломал да и мешок муки воровски тащит. Горячий был Осип, Параньkин отец, выскочил вдогонку да Антоновича на землю бросил и кулаком по лицу, а тот поднял кровавое лицо и кричит: «Ну, Крохаль, какой рукой стеганул меня, ту и не подымешь боле».

А наутро Осип и не поднял руку, с печи не слез,

словно огонь в теле зажегся, столь муторно стало мужику, хоть отрубай руку напрочь. Пошла жена к Антоновичу на поклон, а потом еще три раза наведывалась, но не забывал Антонович обиды, даже и разговаривать не захотел. Вот тогда и послали Параньку: девка в три года уже песни пела, по дворам ходила: «Я гребу, гребу, гребу, лодочка ни с места. Я Ванюшу подожду, я его невеста». Жалели Параньку соседи, шаньгами подавали, а за радостный язык прозвали Параня Москва.

Пришла девчонка к Антоновичу, посмотрела на него ореховыми глазами, только и сказал колдун: «Пусть матка четверть водки ставит. Приду». А тогда в Кучеме известна была его колдовская сила, и никто запуки Антоновича побороть не мог. Пришел колдун в избу, попросил крынку масла свежего, ушел с ним в запечье, говорил на масло тайные слова и кресты чертил, потом, горбатясь, залез на приступок и Осипу спину и руку тем маслом натер, и полезла тут из кожи всякая дрянь. Потом уж Паранька отцову руку с неделю, наверное, натирала маслом, и перестала она сохнуть.

В общем, свои-то колдуны Параскеве понятны были, но чем же город заманил ее Степушку, уразуметь не могла и не хотела. По своей одинокой сиротливости зазывала она сына, ведь и самой к шестидесяти идет, а если первые дети для людей строятся, то последний — для своей старости.

Старшие-то разлетелись быстро, ведь на сиротских хлебах рощены. Степан, как с фронта пришел, так и не зажился, от ран помер, только и оставил Степушку.

Он рано заговорил, весь беленький, как молодой снежок. У матери от горя волосы сбелели. Были смоляной черноты, как у вороны, потому и еще одно прозвище пристало — Воронка... А у Степушки снеговые волосы были и глаза зеленые, крапчатые, значит, счастливому быть. Рано он заговорил, еще года не было. Пришла однажды соседка и спрашивает, мол, как тебя, мальчик, зовут, ведь так всегда у малых ребят спрашивают, так заведено, но обычно деревенские несмелые, все голову на сторону воротят. А тут мальчишка свои мокрые лупалки вытаращил и счастливо крикнул: «Степуська». Так и пошло по деревне — Степушка да Степушка. Нынче парню за двадцать, а иначе и не зовут.

Значит, Степушка рано заговорил и каждое слово вы-

певал чисто, а тогда они в Совполье бедовали и еще муж жив был, на скотном сторожил, но уже сильно кашлял. Однажды утром и говорит Степушка:

— Тата, мама, не ходите на работу, приедет сейчас большой конь и повезет вас домой, дедо умер, хоронить надо.

— У ты, турья голова, чего мелешь,— оборвал отец.

— Деда-то хоронить поедете, а я, мама, как титьку сосать буду? — встал Степушка у порога, ручонки раскинул и не пускает мать с отцом к дверям.— Уже по заулку шарчит, сейчас большой конь будет.

А в тот год снег долго не выпадал, потом пришли большие морозы, все улицы заколели от холода и льдом покрылись, стали словно зеркальце. Вот по этому льду и запоступывало, и что же, въехал во двор конь, а тут и брат Спиря зашел, от порога говорит:

— Собирайся, Параня, отца хоронить поедем. Только шибко не плакай, как приедешь.

День ехали, а к вечеру и в родной дом зашли, отец уже умытый на столе лежит. Младшие сестры, как глухарки весенние, фукают, говорят Параскеве ревниво: «Вот, Панька, и в смертный час тебя отец поминал, будто одна ты у него дочь». Параскева походила на отца, и тот любил, бывало, говаривать, мол, одна ты у меня дочь. А тут, как увидала чужое лицо, совсем маленькое и желтое, будто из старой березы рублено, так и ополоумела совсем, отцовы слова в сердце пришли. Завыла, запричитала Параскева, и кинулось у нее молоко в голову, изо рта потекло. Брат Мишка стал грудь сосать да выплевывать, чтобы от молока освободить.

Может, от этого плача, но только загоркло у Параскевы молоко. Поел Степушка только раз, отказался от груди, потом реветь стал, и с тех пор речь будто отбило, замолчал парень. Знать, от жалости так залюбился меньшенький. Ведь молоко материнское — последнее, да и с горчинкой; еды хорошей не видывал — одна рыба; одежды приличной не нашивал — все обноски да последки, так ведется в больших семьях, рубашки носятся с плеч на плечи, пока совсем не истаскаются. А старший захотел учиться в институте, отрывала копейки, потом средняя поступила на учительницу в педагогический, как не поможешь, да и предпоследний пошел в институт. Инженером стал, «диплон получил по машинам», а умер от сердца. Пошел на работу, запнулся на зимней дороге,

упал и больше не встал. В тот же год и с девятым, Степушкой, беда случилась.

Брат Михаил в боковушке пьяный валялся, а был праздник, Октябрьские, напиться ему дозволено было Параскевой. А сама она на ферму ушла — телят непоеных не оставишь. Степушка прихватил ружье и снялся в Заречье за рябыми в одной ситцевой рубахе. А мороз был, высветлило. Пришла Параскева домой, хватилась парня — нет его. По соседним избам побегала, поспрашивала знакомых, никто ничего толком не знает. Только Ванька, дружок, сказал, что Степушка вроде бы на Заречье за рябыми побег.

Помчалась Параскева по избам, собрала мужиков, кто стоять еще мог, пошла за реку искать парня. А следы уже порошей закатало, так и вернулись ни с чем искальщики. Морозина был, изба только крякает да садится на все четыре угла. Встала Параскева посреди горницы, руками фартук шарит, бегают пальцы по груди — жжет сердце. Поискала глазами по углам, но пусто в избе. Муж Степанушко последнюю выкинул иконку из комнат, когда стены клеили после войны, и только в кухне вместо Николы Поморского с тех пор висит портрет Семена Михайловича Буденного: едет командарм на коне и сабля у него наголо. Упала Параскева на колени, стукнулась лбом об пол перед Семеном Михайловичем, а молитвы все забыты. Только и сказала: «Боже милостивый, пощади и пожалей мово сыночка. Ничего мне не жаль для тебя, праведный, самолучшее шелковое платье отдам».

А наутро мужики отмякли, отрезвели, председатель Радюшин повел их на поиски. Но и на второй день, как стемнело, вернулись ни с чем, только Радюшин в лесу остался, решил по лесу побродить. И рассказывал потом, что Степушка уже калачом свернулся под кустышком, но не плакал, все папу-маму звал.

Четыре часа тащил председатель мальчишку на себе, а ноги у Радюшина еще с войны плохие. Потом обоих в больницу положили рядышком на койки. Хотели Степушке ноги укоротить, уж слишком они обморожены были, но врач хороший попался, спас. Параскева сходила в часовенку и плат цветной на крест повесила: жив сын-то, жив Степушка. А платье, оно единственное, жалко стало Параскеве шелкового платья. Если бог праведный, он должен понять ее.

...Длинные ныне у Параскевы вечера, все можно припомнить. Днем-то еще куда ни шло, пока за овцами присмотришь — последний год решила держать, тяжело стало — да пока в магазин сходишь, а там часом не обойдешься, да пока по дому чистоту наведешь, тут и последний самовар пора ставить. А на улице светло, не уснуть, хоть зашивай глаза, и время будто остановилось.

Есть у Параскевы на комоде маленький Степушкин снимок, не больше детской ладошки, любительский, с желтыми разводами от проявителя, не разберешь, где нос, где глаза. Еще солдатский снимок, всего один и послал. Обижалась Параскева, говорила сыну, что вон друзья-товарищи по-всякому наснимались, а он матери и одного путевого снимка не мог прислать. Но та обида была недолгой, потому что сын был весь в ее памяти и Параскева могла видеть Степушку с закрытыми глазами.

— Ишь, как пополнел, небось в армии хорошо кушают,— шептала Параскева, обтирая фотографию шершавой ладонью.— Вон и волосы-то по-новому начал таскать. Раньше, бывало, распустит лохмы, ходит да запинается, бела света не видит. Тоже мне мода...

Еще с неделю помаялась Параскева, поджидая сына хоть бы в отпуск, потом села в лодку, завела мотор и уплыла на дальние покосы кашеварить — председатель упросил.

Воздух над Кучемой да и над всей тайгой был нынче жестким и колючим, словно годовалое сено. Пахло горечью, потому как горела тайга. Она пылала далеко, где-то за Кепинскими озерами, пешим туда не попасть, а вертолетов, видно, не хватало, сказывали, что горит ныне везде, не по всей ли области, так по радио сообщали.

Большой дым оседал по пути на Кучему, но, когда ветер шел с той, западной стороны, небо серело и солнце становилось надолго смутным. Такое ныне было лето, горячее, палючее, лето, какого и самые старые старики не припоминали. Трава высохла и шуршала бумажно, утренние вялые росы едва могли смочить ее и тут же высыхали под первым солнцем. Косить было трудно, да и нечего, едва подросла трава до коровьего жевка.

Параскева вместе со всеми жила на лугах, кашеварила, тут же и рыбу промышляла, потому что из рыбацкой Параскева семьи, их род даже корову по-настоящему не держивал, все дети одной рыбой на ноги подняты. Но, глядя на желтую траву, и Параскева горевала вместе со всеми и даже поговаривала, что на бога надея плохая и природа-мать свое возьмет, но жаль, вывелись на деревне колдуны, вон и Марфа Семеновна, последняя из кучемских, померла недавно в Северодвинске. Сильна она была на запуки, небось с самим чертом насчет дождя сговорилась бы.

Откашеварив, накормив тоскливых людей — тут и есть-то по-настоящему не хочется, все время комок в горле стоит,— Параскева садилась на свое хозяйкино бревнышко. Становилось под самый вечер уже тихо, только комарье вело постоянный гомон, приглаживала Параскева Осиповна голову, щурила ореховые глаза и шептала постоянно: «Осподи, хоть бы дождь пошел, хоть бы уродился продукт на земле на матери».

Всей душой обращалась Параскева к небу, но было оно безмолвно и зловеще, даже вороны не летали над жухлыми кустами. Какое-то багровое пламя, будто недальний пожар, пласталось совсем рядом, но не было похоже оно на вечереющую мягкую зарю, отсветы которой легко и прозрачно ложатся алой тенью на сонную реку и на длинные песчаные отмели, сотворяя прекрасный мир.

Вечер и два просила Параскева Осиповна большого дождя. И в этой тиши однажды совсем осмелела она, озлившись на небо. Встала она у своего почетного бревнышка и, даже не осмотревшись кругом, а мало ли кто может подслушать, запрокинула голову, волосы, как одуванчик, распушились по плечам, короткие опухшие ноги сильно уперлись в закаменевшую землю, и казалось, что и трактором не столкнуть сейчас с места задорную женку. Крепкой кости и широка в плечах Параскева, шестипудовики с мукой легко таскала с баржи на длинный угор, с двенадцати лет стояла на неводе, на нижнем крыле, с того времени и закостенела, пошла в ширину. Даже родную сестру Александру, что за Ионой слепым замужем в Белогоре, обошла, хотя и та вроде бы не тонка талией.

Белое круглое лицо Параскевы налилось румянцем,

словно кто-то жестоко обидел ее, и хриплый шепот, наливаясь силой, выкатился из круглого рта:

— Так-перетак, бога мать твою...

Здесь Параскева запнулась, словно кто-то остерегающе толкнул в плечо, а может, еще больше хлебнула она воздуха после нерешительного зачина, но сейчас совсем осмелела и начала отчаянно костерить бога. Матерщинница Параскева, вся в отца, но так еще никогда не старалась, вспоминая самые отборные триста тридцать проклятий и посылая их богу. По старинному кучемскому поверию, озлившись на деревню, пошлет бог ветер-запад, а с ним и дождь. Ругалась Параскева, и невольно вставала в памяти вся ее трудная жизнь: длинная рыбацкая дорога и холодные ночи, горькие от кострового дыма, и отцова смерть, и пять сестер вспомнились, которые в один месяц от холеры умерли, и трое сынков-погодков, что в реке утонули. Все помянула Параскева и тут сбилась со счета, хрипя голосом, пошла на попятную, как бы не сказать лишнего. И вдруг расслышала за спиной:

— Триста двадцать два, триста двадцать три...

Параскева вздрогнула всем телом, будто лешего увидела, сразу захолодела и поникла. Сзади Азиат стоит, Николай Степанович Радюшин, кучемский председатель. Глаза черные, аспидные, скулы, как два кирпича, волосы жесткие, седина явная, будто прошита голова белыми нитками десятого номера. За эти скулы да за темные глаза был прозван Радюшин еще в детские годы Азиатом.

Поговаривали в деревне, что еще прапрадед председателя был насильно увезен ненцами в тундру, а там мягким характером ублажил похитителя и даже его дочь себе в жены взял и не тридцать ли только лет прожил в чуме, настроив много детей. Может, та дальняя, языческая кровь проснулась через много лет, в четвертом колене, потому что крут характером нынешний председатель.

Радюшин, знать, вышел из балагана до ветра, а рассмотрев Параскеву, неслышно, по-кошачьи мягко ступая, придвинулся к поварихе, да так и застыл, зажмурив глаза. Они и сейчас полностью не раскрылись, тяжелые веки каменно навалились сверху.

Параскева стояла, робко опустив широкие плечи, и больше ни слова не могла сказать, а Радюшин, гукая,

сдерживая напористый смех, рвущийся из квадратной груди, подхватил обращение к небу и, только закончив его, покатился по сухой сенной греби, смеясь и икая. А на Параскевиных глазах родились внезапные слезы. Они быстро и щекотно бежали по лицу, и душа от этих слез слабела, освобождалась от непонятной постоянной тяжести. Потом и пугливая улыбка скользнула из влажных ореховых глаз.

Параскева толком не знала, что ей делать сейчас, как поступить: то ли ругнуть председателя за больной испуг, то ли предаться легкому плачу, то ли самой подхватить смех? Но только и смогла сказать:

— Не вини, батюшка Николай Степанович. От роду я матюжница.

И заплакала все же, опустилась на колкое горячее сено, даже ночь не могла остудить и выпить сладкую жару.

А председатель, словно спохватившись, проглотил икоту, отряхнул брюки от сенной пыли, сзади ворохнул Параскеву за плечо.

— Академик ты, Параскева Осиповна.

Сказал Радюшин хрипло, потому что смех, булькая и переливаясь, еще успокаивался и не мог улечься в широком его нутре.

— Беда тут большая пришла. Читал я в журнале, что шестьсот лет назад такая же сушь стояла. И солнце было таким же багровым, как и нынче, и будто гвоздями протыкано. Все, значит, повторяется. Через шесть сотен лет, а повторилось. Правда, мы-то уже нынче не те.

Председатель потер литые, совсем темные в серебряной ночи голые плечи, и непонятный зябкий холод заставил его вздрогнуть. Но только не мог и предположить Радюшин, что влажный воздушный поток, родившись где-то за тысячи километров, докатился до таежной Кучемы и, как первая волна могучего прилива, расплылся в таежной пади, качнув устоявшуюся жару.

Радюшин пошел в балаган, только досказав Параскеве:

— Ты уж потише причащайся, не учи мальцов такой политграмоте.

Председатель широко лег на солдатское кусачее одеяло, сразу согрелся, длинно зевнул, и внезапный сон вдруг настиг его и увлек за собой. И не знал еще Ра-

дюшин, что успокаивающий душу вольный дождь катится по всей России и в эту ночь особенно хорошо спалось людям.

А Параскева, поворочавшись в своем полотняном закутке среди мешков и ящиков, долго не могла найти покоя стареющему телу, а потом внезапно разворчалась: «Азия — Азия и есть. Ишь ли, ему матюги мои помешали, а сами других слов и не знают».

У нее заныли коленки, тягучая боль покатилась по голеням, застуженным озерной сыростью. Но и мысли не было в голове у Параскевы, что эту боль принес ей будущий дождь. Оттолкнувшись от моря и народившись с новой силой, он уже полоскал во всю моченьку у Пинежского озера и длинной подковой зажимал кучемские пожни. Да и откуда было знать, если три недели безвыездно сидели на дальних речных покосах, так и ставили сено, убегая от всяких вестей, до половины августа.

Дождь пошел под самое утро. Сначала первые робкие капли, будто орехи щелкали, упали дробно на тугую парусину балаганов. Люди заворочались в настоявшейся духоте и не проснулись. Потом все чаще посыпались дробины, внезапно помутнел утренний свет, откуда-то с дальних бугров навалился желтый мрак, ветер тугим полотнищем накрыл сверху, потом все перемешалось — темь, ветер и влага,— и это неистовое булькающее крошево неудержимо пролилось сверху, полоснуло по тугому брезенту, по жухлым ивнякам, по железным травам и все пригнуло, втоптало в мертвую пока землю.

Первыми под дождь вылетели ребятишки-коногоны. В одних трусиках, лохматые от сна и еще недоверчивые, толкаясь и дичая, выбегали под косую крутую влагу, подставляли коричневые ладошки, поливали лица. Уже кто-то запел, дурашливо раскидывая ногами и хлюпая по жидкой грязи:

— Дождик, лей-лей-лей на меня и на людей, на меня по ложке, на людей по крошке.

Потом и Радюшин вылез из своего балаганчика, горбатя спину. Дождь хлестанул по крутым плечам и покрыл смуглую кожу бронзовым румянцем, черные волосы осели и расползлись по лбу. Председатель приставил ладонь к бровям, чтобы не секло глаза, осмотрелся кругом, потом и в теплый ливень взглянул, но ничего не разглядел, потому что миллионы косых дождинок впи-

лись в лицо, и кожа сразу согрелась, и тепло поплыло по щекам.

— Давно ждали гостя,— сказал он громко и весело, но сквозь дождь никто не расслышал его голоса, хотя мужики, стоя на коленях, высовывали головы из балаганов, мочили волосы и спины, пар поднимался от влажных тел, когда они ложились снова на сено головами вокруг центрового опорного кола.

Параскева последней расслышала дождь. Она откинула полог, но вся не показалась дождю, а подставила только гудящие опухшие ноги, и будто сотни жадных муравьев впились в кожу. Водяные пузыри, как грибы, вырастали и лопались вокруг ног, обдавая теплой грязью. И, странное дело, ноющая боль, мгновенно окрепнув, вдруг стала отступать к пяткам и совсем растворилась, оставив на коже лишь легкое жжение, будто настегали молодой крапивой. Тепло стало ногам, а Параскева, машинально нагибаясь и подставляя белую голову дождю, загребала пригоршнями липкую грязь, намазывала обветренные ноги и повторяла:

— Слава те, осподи, дождь. Знать, не зря материла. Теперь уродится продукт на земле на матери.

А потом в зеленой болонье — подарок дочери,— похожая на кургузого жука, она зашлепала босыми широкими ступнями по сверкающим лужам, по серебряной молодой траве, и дождь быстро замывал за нею седой длинный след. Лошади-гнедухи, совсем черные от дождя, сиротливо жались под ивовый куст, воробьи, нахохленные, похожие на кусочки бросовой шерсти, прятались в дурманном смородиновом листу, сияли мокрым лаком ножи косилок, меж красных берегов кипела и пузырилась река, и похоже было, что лилось там молоко. Все это разглядела Параскева сквозь спокойную уже дождевую прозрачную шаль.

Не успела она дойти до травяного озерца, где вчера под вечер поставила сетку, как промокла насквозь. Плащ-болонья съежился, и дождь стекал на лодыжки, приятно щекотал сонную кожу. Дождь катился по глазам и щекам, попадал в рот, Параскева захлебывалась, но лицо не сторонила, а только фыркала, как довольная сытая лошадь, сдувая в сторону водяные нахальные струи.

Вот поди ж ты, чему может радоваться человек. В прошлом году от дождей горевали, их кляли и поно-

сили на чем свет стоит. Дожди тогда закабалили Кучему, не дали копешку сена сухого поставить, так на корню и погнило, а нынче вдруг замучила жара и трава встала не выше карандаша — и это опять горе. Вот и приноровись к природе, поймай ее нрав и пойми капризы.

Параскева была сегодня рада дождю, как завтра нестерпимо захочет солнца, ведь свое желание, как отблеск бегучей воды. А сейчас Параскева, работая локтями, сдирая с мокрых щек липкие душистые паутины, спотыкаясь о скользкие корневища, сразу по колено провалилась в илистое озеро. Трудно выдирая ступни, она прошла осоту, потянула за кол и только коснулась рукой веревки, как сердце дрогнуло, пронизанное мгновенной новой радостью.

Не оглядываясь, волоча за собой сетку, Параскева уже знала, что улов хороший, какой славный улов, а ведь закинула сеточку так, между делом, чтобы проверить озерцо. Так себе озерцо, хорошей лошади раз напиться. И вот в сетке, зевая ртами, лежали караси. Дождь промывал их темные каменные глаза и оживлял заново. Рыба толпилась в тесном закутке, и, когда Параскева закинула сетку за плечи, пуда полтора было в ней, не меньше, она тяжело затолкалась в спину.

Любила Параскева карасей. Семужью уху не ела, тошнило с нее, казалось, что на ворвань отдает, и леща не могла переносить, мол, больно костлявый он, а вот карасем баловалась, хотя больше карася илом никакая рыба, наверное, не пахнет, а кости, как волос, тонки и коварны. Но поди ж пойми человека, его слабости и странности. Сейчас карасей этих в молочко да луку кружочками, попарит в жаровне, картошечки сверху положит — всей бригаде намакаться хватит.

Рыбу Параскева так и бросила под дождь у своей палатки, пусть люди смотрят, какой она рыбак: у нее сам Азиат совета просит, она реку Кучему на тысячи шагов вышагала, ей каждый порожек знаком, каждый камушек и озерная травина подсчитаны... А эта рыба так, для забавы, отдых от кострища. Бросила Параскева карасей, сама под брезент заползла, отсырела, хоть выжимай, нитки сухой на теле нет.

Плащ, словно змею, она отбросила в угол, кофтенку туда же, и платье, и рубашку нижнюю, осталась в одних розовых штанах, волосы, словно мокрую пряжу, выжала в две руки и тогда повалилась на сухое горячее

сено, откинув ногой одеяла. Легла, раскинув полные белые руки, и сказала громко и неожиданно:

— Осподи, хорошо-то как. Будто двадцать лет с себя сбросила.

Потом легкое забытье вместе с клеверным густым запахом накатилось на Параскеву, а за ним следом пришел радостный короткий сон. Уже засыпая окончательно, еще подумала: «Что же я растелешилась, вдруг кто зайдет... Ну и леший с ними. Что, бабы старой не видали?» Уже тяжко и истомно было шевельнуть отрадно усталым телом.

А по балагану мягкими детскими руками хлопал и хлопал смирный дождь.

2

Сын Степушка приехал неожиданно, словно с луны свалился, даже телеграмму не подал. Хорошо, Параскева вернулась в Кучему за хлебами. На складе продукты получила, по дому управилась, письма всем разослала, а до вечера еще далеко. Параскева сидела у низенького окна. Несколько дождей хорошо смягчили землю, соки хлынули в корни и погнали травы добрые и сорные в рост. Такая зелень густая пошла — ножи косилочные не берут. Вот и под окошками иван-чай поздно зацвел, а теперь качал ватные шапки, и легкая пена, касаясь стекла, оставалась на нем клочками. Вечерело уже рано, август кончался, но дни стояли ровные, хоть и жаркие, но не потные, и легкий холодок гасил дневное солнце.

Параскева сидела у окна и раздумывала, что рано утром надо снова ехать на пожни, а она вот от поварни устала, шестой десяток закругляется, а попробуй бригаду в двадцать мужиков накормить, да досыта, чтобы животы от еды трескались, а не поедят до горла, тут и работы с них не проси. Так председатель и сказал Параскеве, когда просил поварить на пожне. Сейчас бы замениться кем, но пусто в деревне, правда, отпускные есть, но те, как на курорт, на родину едут, их на луг и трактором не затолкнешь. Женки нынче по строгому учету, даже на хлевы доярок не хватает. Смехота, и только...

Бывало, после войны девки мужиками наряжались да этим блазнились да утешались: через каждый дом вдова или девчушка на подросте. Все женихи в чужую



землю легли. Разве бы Параскева своих гнала в город, разве бы на своем дворе тесно было? А ныне смехота... Парни до тридцати лет по деревне бродят, не женятся. Двадцать пять бобылей — видано ли дело. А невесты-то в няньках по городам. И неужли дома хуже, на земле на матери, да своих кровных нянчить-баюкать.

Вечером стало совсем тихо, и Параскева, усталая от мыслей, пошла на угор, на лавку — всеобщую сплетню и говорильню, но и тут посудачить не с кем было. Только бабка Морошина провела на поводке собаку и даже

лица не повернула. Параскева плюнула вослед, уселась поудобнее, коротковатые ноги уплыли от земли и качнулись. Красный каменистый угор круто уходил вниз, и Параскеве однажды даже показалось, что она от лавки поднимается и летит вниз. Она вздрогнула, поерзала на скамье, чтобы прочнее укрепиться на ней.

Река была прозрачная, и даже отсюда, с вечереющего верха, где свет оставался дольше и чище, виден был на дне каждый камушек, и длинные мохнатые водоросли, словно зеленые волосы, волновались по течению. Громко плесканула семга, она, круто выгнув спину, кинулась вбок, в самый берег, где Маруська Шаньгина стирала простыню. Рыба пугнулась белого, как облако, надутого полотна и еще метнулась вверх. Днем, Параскева знала это, семги стояли на перекатах, шевелили хвостами, водили крючковатыми носами, береглись солнца, а в вечерние сумерки они поднимались вверх, в дальние родовые ямы, чтобы потом, оставив потомство, едва утащить дряблое раненое тело обратно в море.

Сейчас, под самый сентябрь, идет матерая, черноспинная, самая жирная рыба. Ее бы на блесенку, да на куски порезать, да на недельку в хороший тузлук, а потом подать к горячей картошке на вечерний чай.

Правда, нынешнюю рыбу не едят, дорогая она — штраф пятьдесят рубликов да снасти заберут и еще тюрьмой пристрожат,— значит, не едят ныне семгу. Но есть еще, есть отпетые мужички, которых страх не долит, те и нынче с уловом. Бывало, и она, Параскева, без рыбы не сидела, не для себя доставала, сама Параскева к семге глухая, но колхозу на блесенку доставала. Ее блесенку семга любила, скрывать нечего.

И опять Степушка вспомнился, как из-за семги едва не потонул он. Параскева своих блесен не дала, только посоветовала сходить к деду Геласию, у того должен быть старый рукомойник из настоящей красной меди, и если дед даст, то блесенку можно отковать заманную. Правда, дед Геласий хитрил, нет, говорит, у меня рукомойника, но потом пожалел мальчонку и отковать блесенку помог. Большой он мастер на всякие рыболовные штуки, потому как сам всю жизнь на озерах и реках прожил, никогда порты у него от воды не просыхали, оттого и прозвище получил — Мокрое Огузье.

Пока Параскева на берегу балаган ставила да костер разводила, решил Степушка ту блесенку покидать. Сел

он на лодку, вертучая посудина, пустил мотор на малых оборотах, на корму сел, а бечеву с блесной к ноге привязал. Далеко ли от берега отъехал, как схватила семга. Повернуться лицом к рыбе нельзя, а сноровки, чтобы на себя тащить, нет еще, да и силенок маловато. Велики ли в пятнадцать лет силы. Рванулась семга, знать, велика ульнула на крюк, и повернула Степушку вместе с лодкой. Только и успел парень крикнуть, как в воде очутился. А бечева за ногу тянет, нога немеет, семга на блесне дичает, руками за лодку держаться уже терпения не хватает. Хорошо, крючок сломался, ушла рыба.

Вспомнила Параскева эту историю и снова за Степушку забеспокоилась, как бы не обидел его кто в городе. Ладошку ко лбу приставила, словно сына рассмотреть готовилась, вгляделась в спокойную зарю, в дальнюю синюю гору, поросшую лесом, Дивью гору, куда в давние года хаживала с отцом собирать на чай толстокоренную богородскую траву. Взойти бы ныне да посмотреть на родную землю сверху, тут и, пожалуй, успокоиться можно. Вот и жизнь была, как та Дивья гора, казалось, что и не забраться вовек, а как взошла да вниз глянула, вроде и не ползла, не карабкалась, совсем рядом детство.

Потом Дивья гора окрасилась розовым светом и смотреть на нее стало трудно, легкий прохладный ветер прошумел над головой, и тут народился туман. Он, словно дым, поплыл по реке, скрывая бегучую воду, а потом и вовсе заровнял берега заодно с лугом и лесом, и родилось под ногами Параскевы сплошное молочное поле. Но небо вверху было еще совершенно чистым, синева казалась густой и близкой, а звезды столь ясными, что можно было их считать счетом. Но вот одна звездочка сдвинулась и потекла вниз. «Чья-то жизнь скатилась»,— подумалось Параскеве и стало жалко кого-то.

Но звезда лишь сдвинулась и не погасла, следом раздался легкий гул, потом густой льющийся звук разбудил деревню. Знать, прилетел поздний самолет. Заскрипели двери, в проемах показались белые лица, ожили и словно зашевелились избы.

Говорят, сердце вещун. И действительно, заныло оно у Параскевы, шевельнулось: самолет-то не наш, не кучемский, в эти-то поздние поры и не летывал в деревню, а вдруг и Степушка на нем припожаловал? Сразу за-

хлопотала Параскева, заторопилась домой, уголья по пути с повети занесла, неосторожно плечом корыто деревянное задела — на стене висело,— плечо ушибла и впопыхах подумала еще, что выбросить нужно это барахло, ведь семья сам-один и капусту на зиму ныне шинковать не для кого.

И только самовар разживила, углей побольше наспускала в трубу, чтобы дольше фурчал, и вознамерилась поспешить к самолету, как по мосткам под самыми окнами столь знакомо забрякали раздельные шаги, что Параскева сразу подумала: «Однако, сынок приехал».

Она успела только защелку открыть, как дверное кольцо по-хозяйски требовательно заверещало, тут дверь распахнулась и порог перешагнул сын. Степушка запнулся глазами о полумрак — в сенях было темновато, ведь середина августа, а свет электрический провести здесь было некому. Мать он разглядел сразу. Она обхватила мягкими руками, пригнула шею, прохладными губами затыкалась в Степушкино лицо, а парень невольно замешкался и только прислонил свое лицо к матушкиной щеке и поспешил отодвинуться. Что поделаешь, в эти годы охотнее целуют девушек, а мать приласкать долит мужской стыд. Степушка чувствовал внезапную мужскую неловкость и от матери отодвинулся, а та еще теребила пальцами радостно и суматошливо на сыновней груди, зачем-то ощупывала пуговицы и обласкивала еще не заматерелую спину и худые бока. Всего-всего встречала и осматривала Параскева сына, словно убеждалась, ее ли кровный, не спутала ли с кем.

А Степушка сел у стола, маленький красный чемоданчик поставил у печи, ноги в фасонных ботинках широко раздвинул на чистых крашеных половицах. Было ему неловко в этой избе, словно чужим и незнакомым был дом, и только по странной случайности Степушка оказался тут. Он посмотрел на часы, было только семь вечера, спать еще рано, а в клубе в будний день пусто, значит, до одиннадцати надо дома коротать.

Сразу захотелось выпить, потом пройтись по соседям, показаться самому и на людей посмотреть, и как-то легче стало от мысли, что впереди еще столько давножданных встреч. На мать Степушка глянул коротко, он еще стеснялся ее совсем по-детски, вернее, побаивался, а потому дичился и напускал на себя нахальство и строил баламута. Параскева же глаз от Степушки не отрывала,

только изредка поворачивалась к самовару, спускала уголья, потом резала хлеб да харюзов кисленьких наложила тарелку, картошки холодной начистила, ведь к гостю не готовилась, нежданный он.

Смотрела неотрывно Параскева и отмечала про себя, что вроде бы совсем не изменился сын: и глаза те же, как кора молодая ивовая, а нос-то отцов, длинненький и острый, а волосы, господи, опять патлы отрастил, ведь какой хорошенький был, когда из армии пришел. Небось хорошо-то не поживешь в городе, там присмотреть некому. А курить так и не бросил, не успел ноги за порог занести, уж зубы папиросой заткнул, а значит, весь вечер промолчит, да и спать молчком ляжет.

Горькая эта мысль чуть-чуть замутила Параскевину радость. Молчун сын, сама виновата, запоила парня горестным молоком, а ведь какой был говорун, слова-то так и лились.

Параскева затащила на стол самовар, чай по чашкам разлила, придвинула к сыну и масло, и рыбу, и молока парного литровую банку: ешь, сынок, ешь. Все потчевала, а Степушка сидел к столу боком, нога на ногу, большие гамаши, отцова нога-то, сорок третий размер, и походочка отцова. Он выкурил одну папиросу, потянулся за другой, пыхтел табаком прямо матери в лицо, а та запаха табачного переносить не может, задыхается сразу. Тут и еще на капельку замутилась Параскевина радость. Подумала уже, легко расстраиваясь: «Хоть бы мати пожалел, фукаешь табачиной».

Тень набежала на шадроватое, побитое оспой лицо, пригладила Параскева седую голову, но вслух сына не укорила, смирила гордыню, а как подняла взгляд, так сразу поймала Степушкин лик с голубыми подглазьями.

— Ты ешь, не сиди, да брось курево-то. Никуда не убежит,— сказала тихо, но настойчиво.— Вон как замер, одни глаза да нос.

— Ну ладно, не с голодного же острова приехал. Захочу, так поем,— вяло ответил сын и совсем напусто, даже сахара кусочек не съел, выпил стакан чая.

— Да как знаешь, было бы предложено,— уже обидчиво сказала Параскева, закипая нутром и подавляя в себе желание раскричаться. Знала Параскева свой характер, отцово наследство. Чуть не по нраву, сразу накричит, наругает, обкастит с ног до головы, а через

полчаса уже глаза опущены, ходит по избе, к рукам ничего не льнет, каждая работа вываливается, ноги не носят, на ровном месте спотыкаются — ищет Параскева примирения.

— Поди поспи, ведь устал с дороги. Ложись, я тебе пуховую перину застелю. Небось у матери-то — не в общежитье под солдатским одеялом.

А сын не ответил, пошел в горницу, косолапо ступая длинными ногами на всю ступню — отцова поступочка, от всех отлична. Степушка еще вытянулся вверх и, видно, роста своего стеснялся, потому что стал сутулиться, чего мать раньше не подмечала, угловатые плечи задираются к голове, и руки неловко болтаются вдоль тела, вылезают из короткого свитера. Старенький свитерок — Палька, сестра, подарила еще два года назад, как из армии пришел. Так и сгорел на парне, вон и дырочки на локтях, а зашить-то уж некому...

Параскеве опять стало грустно, и теплая волна жалости и любви настигла ее душу на самом распутье, когда не знала уже она, как себя повести и как подойти к сыну. Параскеве уже хорошо стало. Она разогрелась, чашку пододвинула под краник и, наливая чай, прислушивалась, что делает в горнице Степушка. Потом подумала, что, наверное, обидела сына. В кои-то веки, один раз на год, приедет домой, а мать даже привальную стопочку не поставила. Может, брата Михаила пригласить, а где-то в буфете есть бутылка водки, начатая еще в Майские, так пусть разговеются мужики.

И уже хотела подняться к буфету да кликнуть в стенку брата, но заметила, что напачкал Степушка на полу. В родной дом пришел, а обувку у порога не скинул. Надо вот тряпку брать да подтирать. А тут еще вспомнилось, что в пять утра на пожню ехать, значит, сына одного в деревне придется оставить, но как его бросишь, если долгожданный он, но опять же и бригаду на лугах голодной не оставишь.

Параскева выглянула в низенькое окно. Свет в правлении уже не горел, значит, председатель домой отбыл, накинула на плечи плат и отправилась уговаривать Радюшина, чтобы тот освободил от поварни и дал посидеть около сына. Вернулась она быстро. Вышло все, как мечталось. Радюшин за крестника своего порадовался и даже обещал навестить.

Параскева расправила Степушке пуховую перину,

постель была прохладной, простыни, никем не тронутые, вылежались, чуть попахивали сыростью, нафталином и синькой. Обычно постель стояла убранная, под ярким розовым одеялом, с горой сдобных подушек и разбиралась только для детей. Сама Параскева спала на кухне на широкой деревянной кровати, перебралась на нее после смерти мужа. Постоянное тепло от печных каленых камней, что струилось по кухне, согревало простыни, и ложиться в них было не так дрожко.

Параскева скинула платье и еще долго ходила босая по кухне: крашеные скользкие полы таили в себе нежную прохладу и вытягивали жар из слабых ног. Потом крикнула через стенку, затевая длинный разговор, ведь Параскеве так хотелось устроить Степушкину жизнь.

— Милку-то в Архангельском не видал? Она на трикотажке работает.

В горнице настороженно скрипнула койка, наверное, Степушка повернулся лицом к стене, но ответа мать не дождалась. Тогда, не отставая, Параскева спросила снова:

— Степушка, ты пошто не женисся? Вон девок в городе сколько.

— Что, мешаю вам? — ответил Степушка, кровать опять длинно скрипнула, босые ноги мягко прошлепали по полу, прошелестела спичка, значит, опять закурил парень. «Хоть бы сонный-то не баловался,— подумала Параскева.— Не дай бог, заронит куда спичку, ночью все сгорим».

— С ней-то не видался? — опять спросила вслух.— Как там поживает? Мать-то в Архангельск ездила, дак даве в потребиловке хвастала, мол, Милка деньги большие зашибат. Врет опять, чего ле? Они, Крапивины, порато врали.

Параскева вся напружинилась, затаила в себе воздух, даже забоялась вздохнуть громко, чтобы не упустить ответа.

— Ложись спи, чего пристала,— донеслось из горницы. По голосу Параскева поняла, что злодейка-широкоглазка Милка парня затравила и потому дурь из его головы не идет. Надо скорее Степушку оженить. Параскева лежала на широкой кровати, было уже темно, как в черной бане, спать не хотелось, самое время для раздумий.

...И что за Милкой потянулся? У нее и мати-то трясоголова, с моим старшим братом на угоре за магазином лежала, костила Параскева соседку Нюрку, да и дочь такова же, трясет головой, как сторублевый конь. Этот ей не гож да тот не подходящий, видно, ремнем мало пороли, вся в мати. Ведь в прошлом годе снюхались: она в отпуск, да и Степушка привелся на Кучеме о ту пору, вот и запоходили неделю да другую. Вдруг однажды заявляет, мол, не могу больше, пойдем, мать, Милку сватать. Пошла, как к порядочным, все старое забыла, все сплетни за воротами оставила. А поговаривали в Кучеме, что Милка с парнями в городе хорошо юбкой трясет, да уж если парню в ум запала девка, теперь поздно перебивать.

Пришла на петров день сватать Милку Крапивину. Те суп хлебали, к обеду Параскева привелась. Встала на кухне, матицу не перешла, в пояс склонилась.

— Я пришла не стоять, не сидеть, а за добрым словом, за добрым делом, за сватосьвом. У вас есть дочи Милия-княгиня, у нас парничок Степан — князь родимый. Нельзя ли их вместе свести, род завести?

А что в Милке хорошего? Рыжая, зубастая, а тоже высоко себя ставит: закривлялась перед Параскевой, попросила жениха привести, это чтобы его больнее обидеть. Так Параскева задним умом ныне понимает. Ну, Степушка пришел, склонил голову. Параскева повторила:

— Дуть ли на ложку, хлебать ли уху? — Мол, согласна ли ты, девка, замуж пойти да совместную жизнь завести себе на радость, людям на посмотрение. А невеста отрезала вдруг:

— Не дуть, не хлебать...

У Параскевы от радости, что не сговорились, уж больно не люба ей Милка, даже спина вспотела, но виду не подала, острым языком подрезала хозяйский норов:

— Бедна невеста, нас, сватовьев, и чаем не напоила и за стол не посадила.

А дома Степушку руганью оглушила, рожи корчила, представляла, сколь уродлива Милка, страшна, как лошадь, и блудлива, как мати. Но Степушка сидел бледный и молчал, а потом заплакал, не стесняясь Параскевы. Наверное, в последний раз плакал он и еще больше уходил в себя, мучая ослабшую душу горькой обидой.

— Люблю ее.

— Выбрось из головы рыжую лягушку.

— Не могу без нее, люблю, и все.

— Ты посмотри, сколь она страшна, околдовала тебя, у нее и ноги-то кривы. Неужто другой, покрасивше не найдешь?

— Што ли с собой поделаю, не могу я без нее.

— Ну и дурень. Поди на поветь, там веревок много, выбирай любую и на моих глазах давись,— кулаком об стол приложилась Параскева, кровь ударила в лицо, стекла затетенькали мелко от хлесткой ругани, совсем потеряла себя Параскева.— На моих глазах и давись.— Побежала на поветь, вожжи с крюка сдернула, бросила на пол в ноги сыну.— Попили вы из меня кровушки. Ночей не досыпала, куска не доедала, вам оставляла, все думала, в люди выйдете.

Потом заплакала, завыла громко, по-бабьи. Степушка испугался, легко материны плечи погладил, холодно погладил.

— Ну ладно. Ты чего. Ты не реви.

— Ты думаешь, я стара старуха, дак и ничего не понимаю в любви?

...Сейчас Параскева вспомнила неудачное сватовство. Подумала, наверное, с того дня обижается сын. А чего таиться, будто мать чужой человек. Ведь когда-то и к ней ходили сваты наперебой.

Всем отвод давала Паранька Москва. Любила одного Филю. Тихий парень был, курчавый, любила в русых кудрях ласкаться, чудные были волосы, все дымом пахли. От пастушьих костров задымел Филя, только лицо не брали ни ветер, ни солнце, белое лицо, как льняное полотенце.

Договорилась однажды с Филей, что врозь жить уже невозможно, грех рядом, боялась Паранька не совладать с собой. Подарил Филя колечко золотое, спрятала его Параня в потаенное место на груди, а жениху платочек вышила: «Кого полюблю сердечно, тому подарю платочек навечно».

Вот и пришла в троицу мать женихова сватать, а отец отрубил: «Брать-то — не кобылу в стайке поймать. От лета коров не продают и девок не венчают». Параня пять раз отцу в ноги становилась, но тот наотрез: «Все равно за сколотного не отдам».

Потом еще три раза сватал Филя, но так и не до-

бился Парани, а время идет, засватал другую девку. Идут они от венца, а Параня на повети в дырку в воротах подглядывает, от слез глохнет.

А уж встретились снова через пятнадцать лет, Филя отыскал. На душе тошнехонько стало, но прежнего не вернешь, не воротишь, от мужа и четверых детей не побежишь. Достала Параскева колечко давнее, золотое, обручальное из потаенного места и вернула Филе. Зачем теперь колечко хранить, раз не судьба была вместе жить, но приказала и платочек отдать, где ее руками ласковыми было вышито: «Кого полюблю сердечно, тому подарю платочек навечно». Вернул Филя платочек тот, пятнадцать лет на груди хранил. С тем и расстались.

Не пришлось Паране выйти за любимого, но и в отцовском доме не житье — по лавкам четырнадцать, а Паранька по годам пятая, значит, быть ей за няньку, да постирушку, да повариху. Все здоровье суждено ухлопать на меньших братовьев.

А жил в Кучеме Ефимко, форсистый парень, все-то волосы слюнявил да набок ладонью приглаживал, оттого и прозвище заимел — Ефимко Пробор. Ходил парень в хромовых сапогах бутылками, часы на груди на толстой серебряной цепи, за спиной гармонь врастяжку. У самого пальцы короткие и толстые, играть не умел, другие на посиделках играли.

Шесть раз сватался Ефим к Паране, а та наотрез: «Не бывать тебе в моих мужевьях». А парень только фасонисто приосанится, глазами гневно заиграет: «И норовистую кобылу объезжают». Пришла однажды Параня на посиделки к Феколке Морошине, а там Ефимка уже всем конфеты в цветных бумажках дарит, из Архангельска присланы. И Паране две конфеты достались, но будто бы, а может, показалось только, одарил ее Ефимко в особицу, чуть ли не тайно в руки сунул. Ну, а на конфеты не смотрят, их едят, тем более что в Кучеме эта сладость редкая, после гражданской уж который год и сахара не видали, а тут на тебе, сразу две конфеты. Съела их Параня, и будто бы что-то в душе стронулось. Как домой пошла, вроде бы за платье кто придерживает, идти не дает, а ноги в одиночку не несут. Замедлила девка поступочку: вдруг так захотелось ей, чтобы догнал Ефимко да за плечи горячо обнял. А тот сзади сапогами редко перебирает, но вровень не идет и девку за плечи ласково и больно не берет.

Зашла Параня домой, в горницу проскочила, на сундук у окна повалилась и все в окно вечереющее смотрела, как удаляется вниз по длинной улице ее, уже ее Ефимко. И до того стало вдруг грустно, что всю ночь проплакала, Ефимко из ума не шел.

Будто сейчас и случилось, так ясно лежит на памяти то утро. Встала, рассказала брату Саньке всю печаль, а тот и рассудил: «Беги, Панька, из дому, быть тут тебе в няньках». У девки сразу голова заработала, стала она думу думать, как бы из дому сбежать, а это нелегко было сделать, потому что в прошлом году наезжая цыганка нагадала, мол, помрет отцова любимая дочь не своею смертью.

Пошли с ушатом за водой, Параня и говорит брату: «Как ушат занесем, я коромысло у печи поставлю и на тебя ругнусь, мол, и коромысло-то из избы лень вынести, а ты в ответ и скажи, мол, сама не барыня, не разорвессе от этой тяжести. Я коромысло на двор понесу и совсем не вернусь».

Как сговорились, так Параня и сделала: понесла коромысло на двор, в материно лицо не глянула, та как раз тесто из квашни на стол вываливала, хлебы стряпала. А потом огородами прибежала в избу к Ефимке. Тот утренний чай пил. Так и оторопел парень. А на девку словно помутнение иль отрава какая нашла, сразу с порога бухнула: «Бери меня, Ефимко, в жены».

Тот недолго терялся, сразу побежал за Паранькиным дядей, чтобы он обережь сделал от порчи колдуна. Ведь дядя Паренькин тоже крепкие запуки знал, но, конечно, против Антоновича Васьки устоять не мог.

И вот будто сегодня то случилось, как дядя поставил Параню под матицу в Ефимкиной избе да кусочком стали порезал палец девице и омочил ту сталь в крови, а потом очертил вкруг Паранькиного тела и страшные заклятья шептал. И знать, совсем окрутил ее, если и к вечеру не охолонула, а назавтра и под венец пошли, свадьбу сыграли. Там и дети народились один за другим вдогонку, а Ефим-муж после свадьбы как запил, так более и не просыпался. Чуть за сорок было, когда сгорел от вина.

Будто намучилась под самую завязку от семейной жизни, нахлебалась горюшка и радости вроде не видела, но перед самой войной Степан вдовый к себе позвал, и не отказалась, пошла, своих шестерых к его троим

привела, а с фронта вернулся муж весь покалеченный. Тихий он был, мухи со щеки не сгонит, а как Степушка народился, был уж совсем плох, а через три года и все... помер.

Параскева от длинных мыслей заснула поздно, еще не однажды вставала, пила из ушата студеную воду, и только когда свет замерещился, вроде прикорнула немного на одно ухо, как птица крохаль: отцова повадка. Тот, бывало, тоже больше часа и не спал. А разбудил Параскеву неожиданный дождь. Она сначала, открыв глаза и уловив взглядом серое утро, не могла понять, откуда этот шум: то ли мыши в запечье шуршат, то ли в стены кто скребется. Потом вода сильно пролилась из желоба, и Параскева поняла, что на улице дождь. Сквозь старую бревенчатую стену, сквозь порыжелые обои было слышно, как колотил он по крыше, потом накапливался в желобе и скатывался звонко в жестяную детскую ванну.

Степушку тоже разбудил дождь. Он неожиданно выплыл из сна, как выходят из леса на дорогу. В пуховой перине лежать было благостно, словно и не было твоего тела, оно все растворилось в бесконечной доброй мягкости. Будто не было и забот, и расстройств, они все забыты в далеком городе и уже не вернутся сюда, в эту избу, где каждая вещь стоит на своем месте с детства, будто и не уезжал отсюда, где каждая комната пахнет неистребимыми запахами паутины, печного тепла, шалфея и кислых харюзов.

Из сонного забытья Степушка долго и непонятливо смотрел на низкий щелястый потолок в голубых разводах от синьки, потом повернул голову влево, увидал небольшое оконце. Шел дождь, он звонко и особенно уютно в этот ранний час падал на стекла. Потом Степушка перевел взгляд и вдруг увидел мать. Она стояла у простенка перед крохотным зеркальцем в одной ситцевой рубахе до пят и прибирала большим костяным гребнем жидкие волосы, и вся она была сонная и добрая, и морщины еще не высеклись от новых забот.

Чувство неожиданной мужской доброты навестило Степушку, и услышал он в себе любовь к матери. А дождь все так же ровно стукался о стекла и шуршал в пожухлой траве, серый свет едва пробивался сквозь заплаканные окна, в комнате было по-утреннему прохладно, и уличный воздух тонкой влажной струйкой

сквозил в щели наличника над самой головой. Степушка потянулся длинным молодым телом, качнулся в пуховой перине, уплыл под стеганое одеяло до самых глаз и уснул заново с большим желанием.

Радость от знакомства с домом не покинула Степушку и утром, когда босой бегал он по крашеному полу, а потом сидел в переднем простенке, где висел все тот же Буденный на коне, и с наслаждением и фурканьем отхлебывал чай из блюдца. Степушка крутил головой, обегая глазами обои в коричневых цветочках, и широкую добрую печь в пол-избы, и медную посуду на наблюднике, и уже хотелось сидеть в этом простенке долго-долго, так просто шевелить босыми ногами в больших кусачих катанцах и бездумно глазеть в окна.

А дождь все не переставал, сиротский занудный дождь. Мостки матово блестели, будто был утренник и белая снежная пыль еще не успела истаять. Если кто-то бежал по мосткам, то вода хлюпала из-под половиц фонтанчиками, брызгала по ногам и оставляла на икрах некрасивые, чужие черные пятна. Трава в заулке намокла, поникла, была какой-то бесприютной и непричесанной. Потока стекала с крыш в черные от влаги бочки.

Вот по мосткам прошла длинная старуха в фуфайке и черном платке, сбитом на глаза. Ноги в блестящих калошах скользили по матовым мосткам и плохо держали женщину.

— Девушка Морошина опять куда-то сбродила,— сказал громко и радостно Степушка. Он сразу узнал старуху и готов был над ней смеяться.

— Вот уж воистину была Морошина. Большая, краснющая. Однажды на посиделки пришла, а Манька Афониха так и вскричит: «Девки, Морошина пришла».— Параскева Осиповна так и выпялилась в окошке, долго рассматривая Феколку, будто век не видала.— Сама-то на каменьях голых на печи лежит да в ремках-рванье ходит, а собаку на кровати держит. О дура баба, с печи-то кричит: «Альма, положи голову на подушку да растяни ноги». Господи, чего только время не делает с человеком: оно его родит, оно и уродит.

Параскева опустилась на скамейку, пришлепистый нос подрагивал, значит, мать думала и нервничала. Кудель вилась в ее скорых, не загрубевших пальцах, нитка шла ровно, без узелков, не макаронина, а соломинка

ровнехонькая. Параскева поплевала на пальцы, тоненько запела, высоко повела голосом:

— Во лузях да во лузях, во зеленых во лузях выросла да выросла, вырастала трава шелковая...

И неожиданно песню оборвала, скомкала, на диван деревянный коленями вскочила, запрыгала, руками замахала. Мать и в старости не менялась.

— У бабы ведь так: у одной искра, у другой огонь, а у этой адское пламя. Королевой идет. В шестьдесят лет надо саван шить, а она сорокалетнего мужика от семьи да четверых детей отбила и к себе приворожила. Я от нее отреклась, я от нашего роду ее выкинула, Феколку девушку.

Тут из боковушки вышел дядя Михаил. С племянником еще не видался, а потому поздоровались за руку. Была ладонь у дяди Михаила тверда, как еловая доска, и пальцы с толстыми костяшками почти не гнулись, так что Степушке самому пришлось жать дядину руку. У дяди было худое желтое лицо с глубокими дольными морщинами, и оттого казалось, что разделено оно на четыре ровные части, глаза были небольшие и ореховые, как у матери, но тусклые и печальные.

Дядя поворошил Степушкины жесткие волосы и спросил:

— Каково в городе живут? — а не дождавшись ответа, ускочил к порогу, сел на табурет. Новые шерстяные головки, наверное, кусали, потому дядя Михаил гладил носки, поочередно задирая ноги на колена. А когда Параскева ушла в горницу, подмигнул Степушке толстой седой бровью и показал из кармана пиджака зеленое горлышко.— Пойду успенье направлю. Им, бабам, добро сделаю, молодое бабье лето на жару наведу. А то наскрозь промокли. Может, ты того, за компанию, а?

Но Степушке уж больно хорошо было сейчас и без выпивки, и он без сожаления отказался.

— Вам тут и самим нечего делать, пачкаться только.

— Ну как знаешь. Вольному воля, было бы предложено.

...А пока Степушка раздумывал, чем бы заняться в этот длинный день, как на взвозе сгрохотало, заревело, покатилось, сгремели ведра, заблеяли овцы на заулке. Но Параскева не шевельнулась, не поспешила сразу на взвоз, только волосы будто ветром обдуло, так торчком поднялись они.

— Значит, Мишка заявился, уже на бровях ползет, кат заморский.

А Степушка вдруг с тоской подумал: «Еще две недели отпуска впереди».

Параскева натянула на голову шапку с кожаным верхом, берегла она голову, давление высокое, и пошла на спасение брата. Степушка выскочил следом, чтобы поглазеть и при случае подсобить матери. Дядя Михаил не мог покорить взвоз, он был пьянехонек и кричал:

— Вот за-жгли-ся лю-стры и на-чал-ся бал...

— Будет тебе бал, кат заморский,— грозно воскликнула Параскева и, приподняв сухонького брата, хорошенько шлепнула его по заднице, словно напроказившего ребенка.— И долго ты будешь мои нервы мотать, сколько тебе говорено было, чтобы за рюмку не брался, раз пить не можешь,— орала Параскева Осиповна на всю улицу безо всякого стеснения. А дождь, заново набрав силу, хвостал по лицу, мешаясь со слезами. Потом вместе со Степушкой занесла брата на кухню, поставила средь пола, чтобы не за что было ухватиться, а пока того мотало, как осиновый куст, Параскева взяла в углу большую жестяную банку из-под монпансье, надела брату на голову и громко забрякала по днищу.— Сейчас тебе смирно будет, сейчас тебе полюбовно будет.

Михаил Осипович махал руками, что-то кричал еще, но гулкий бряк затуманил контуженую голову. С помощью сына Параскева подняла брата на печь, потом сбросила на пол валенки, и фуфайку, и поленья, что сушились для растопки, и паровой утюг сняла.

— Вот, сынок, мати твоя нынче только банкой и спасается.

Не прошло и десяти минут, как печь будто сдвинулась с места, это очнулся Михаил Осипович. Жара расшевелила и без того крепкий хмель, все обиды внезапно всплыли из мутной памяти и закружили мужика с лютой силой. Он стал искать под боком что-либо тяжелое, но Параскева, наученная горьким опытом, уже очистила лежанку. А Михаил начал длинную речь с яростной ругани, поминая всех родственников и суля им всякие страхи. Степушка заметил, что мать как-то опала телом, сделалась маленькой и совсем старой, отвернулась к окну. Плечи ее вздрогнули то ли от холода, то ли от плача. Она постоянно водила мягкой ладонью по белой

голове, словно снимала с нее липкую паутину. Потом не выдержала, подошла к печке.

— Господь с тобой, Михайлушко, чего ты мне сулишь? Опомнись.

Степушка сидел в простенке и с тоской думал, что до конца отпуска еще две недели.

Михаил Осипович замолчал, потом заворочался на печи, опуская вниз поочередно больные ноги и нащупывая приступок, но спускаться было высоковато, и пьяная сила окончательно свалила его набок. Дядя выбрал для себя сучок на потолке и стал плеваться:

— По Паньке, сучке-хахальке, огонь!

Досыта наплевавшись, он уснул, а часа через два сошел с печи, разморенный и жалкий, влажные грязные струйки пота бежали по морщинистым щекам. Михаил Осипович вытерся полотенцем, потом долго пил квас, не решаясь взглянуть на сестру, наконец спросил негромко:

— Хулиганил?

Параскева промолчала, только обидчиво пожала плечами, налила брату тарелку жирного супа, но есть Михаил Осипович не стал, пока сестра не принесла стопку вина. Он благодарно улыбнулся одними глазами, погрел граненый стакашек в деревянных ладонях и, мучительно кашляя, выпил. Потом так же молча надел фуфайку, ушел на поветь и там ровно застучал топором. Параскева, прислушавшись к звонкому стальному бряку, сказала, словно перед чужими оправдывая брата:

— Он ведь не запойный. Тверезый-то он мастер. У него контузия головой выходит. Он ведь с войны совсем дикой пришел, думала, и не заживется.

Параскева скомкала братневы штаны, заляпанные грязью, и новые шерстяные головки, которые успел увозить в лужах, бросила в таз, надела зимнюю шапку с кожаным верхом и пошла стирать-полоскать на взвоз. Степушка, захватив плащ и косолапо ступая длинными ногами, пошел следом.

Мать уже стояла на взвозе, круто выгнув спину и жамкая штаны с какой-то жадной яростью. Ветер налетел сзади, высоко задирая ситчик платья, ноги покрылись пупырышками, и холод насквозь пробирал открытое тело, потому как Параскева дома много одежки не любила.

— Насквозь ведь продерет. Да и все наружу лезет,— сказал Степушка матери, пряча в сторону глаза,

но тут ветер, как назло, рванул еще жестче, заворотив рубаху на спину и оголив кожу.

— А ты, сынок, не смотри,— равнодушно сказала мать.— Лишь бы шапка на голове была, голова у меня ветра боится.

Степушка застыдился матери, промолчал, скорее спустился со взвоза, чтобы не надерзить. К обеду посветлело, земля набухла и уже не пропускала влагу, и дождь свинцово переливался в лужах. В сиротливом заулке Феколка управлялась со своей Альмой: она пыталась пристегнуть поводок, обрывок грязной бельевой веревки, но собака не слушалась, ей хотелось играть, и она лизала старуху в щеку. Феколка смеялась, и ругалась, и отплевывалась, отталкивая горячую собачью голову, но в ее смехе было что-то свободное и мягкое. Увидев Степушку, Феколка выпрямилась, вытерла руки о фуфайку, словно приготовила для рукопожатия, и кольнула розоватыми выпуклыми глазами. Небо было гнетуще низким и серым от обложника, а у Феколки в глазах был непонятный больной огонь.

— Пошла прочь, дуреха,— сказала Феколка, отталкивая собаку ногой, и еще долго чувствовал Степушка на своей спине ее подозрительный взгляд.

Лес обступил парня внезапно, потому что рос прямоствольный сосняк сразу за деревней. Белый ягельник не шуршал бумажно под сапогами, а податливо пружинил, и ступни уплывали вниз, словно в вату. Шаги были бесшумны в тихом мокром сосняке, темное небо осело на самые деревья, и верхних веток стало совсем не видать, только слышно было, как скрипели они, сталкиваясь с ветром. А здесь, внизу, тихо и душно, как в натопленной избе. Степушка не выбирал дорогу, серые изгороди изредка проглядывали слева белыми свежими затесами — кто-то недавно прошелся по ним топором — потому заблудиться было негде.

Степушка шел, наслаждаясь одиночеством, и воспоминания о городе тихо меркли в памяти, и опять легкое удовольствие жизнью настигло его, и деревня заново всплывала в душе. Степушка шел, пробираясь разлапистым можжевельником, и теплая мокреть вязала по рукам-ногам. Иногда душистые капли падали на нос, приятно холодили и щекотали кожу. Степушка морщился и улыбался самому себе.

Внезапно борок кончился, слева тихо и серо сколь-

знула река, а прямо перед глазами, обрываясь каменисто и красно, стояла гора Великая — здесь раньше была нечаевская родовая чищеница,— а на этой горе, вернее, на половине ее, как большой лесной гриб, проросла часовенка. Она была как чудо, как наваждение, вся белая и легкая, с крохотной луковичкой, и что-то пугающе-таинственное и необъяснимо-привлекательное было во всем ее смутном на расстоянии облике.

Степушка подошел ближе, из пустых окон пахнуло сыростью и странным шумом, кто-то был внутри и плакал, чудились шепот, нервные стоны. Степушка робко отворил дверь, она пронзительно запела, старинные петли заржавели, а в сумрачной темноте снова кто-то закашлял и зашелестел одеждами. Степушка не выдержал, отступил назад, на скользкий порог, липкий страх омыл холодом спину, но тут на крыше булькнула сизая дикарка-голубица, из-под застрехи вынырнул еще один голубь и уставился круглым черным глазом на Степушку. Птицы о чем-то побулькали хлопотливо меж собой, всхлипнули и взмыли над Великой.

А внутри часовенки было грязно и убого. Прямо над воротами в придел вырублено топором: «Мы шли в Берлин с боями и богами. Взято все». Степушка пробежал взглядом стены, покрытые плесенью и паутиной, и рассмотрел свою корявую надпись десятилетней давности: «Я, Степушка Нечаев, пас здесь телят».

Степушка вспомнил, что тот, шестидесятый, год был жарким и диким от слепней. Оводы мучили телят, те жалобно плакали и худели на глазах. Степушка с первым солнцем загонял их в часовню и до мягких вечерних лучей носил телятам свежую кошенину. Круглые лепешки навоза ныне засохли и походили на оспу.

Степушка словно вернулся в детство, присел на подоконник. Корявая надпись «Мы шли в Берлин с боями и богами. Взято все» была столь же ясной и чистой. Лиственница чернела от времени, и оттого слова выступали из дерева еще зримее. Степушка помнил, что уже тогда эта надпись была, но, когда и кем оставлена, никто не знал. Она внушала ребятишкам чувство смутного страха, недоумения и уважения к тому человеку, что оставил надпись, и вообще к тому громадному и злому, что когда-то происходило далеко от деревни.

Вспоминая это, прошел Степушка в главный придел, где стоял раскрашенный трехметровый крест «Исус

Назарет царь Иудейский». На перекладинах висели пестрые шелка и ситцы, на полу среди назьма валялись клоки шерсти с желтой подпалиной, листы бумаги и газет с отпечатками коленей. Среди лоскутов и цветных тряпиц сохранился и платок матери, он его узнал сразу, любимый, в розах по черному.

Тут мгновенная тень перечеркнула проем окна, Степушка всмотрелся и увидел Феколку, которая, склонив глаза, крестилась и что-то шептала. Нежданная встреча смутила парня, ему так не хотелось быть увиденным, и, ступая неслышно по дряхлым половицам, он выскользнул за дверь и встал за угол.

Пахло паленым деревом и сыростью, над головой мирно булькали голуби, у двери зашаркали Феколкины ноги, в притвор было видно, как вытирала она солнечные от дождя калоши о жесткую траву. Скрипнула дверь, и все на миг стихло. Пятясь, Степушка шагнул к реке, но тут любопытство остановило его, вспомнились слова матери: «Одинокий человек и собачке рад. От дикой любви у Феколки горе».

Степушка обогнул часовню и скользнул взглядом в пустой проем окна. Феколка стояла прямо, руки собраны на груди, голова запрокинута вверх. Казалось, старуха разглядывает потолок. Собака лежала рядом, она потянулась головой навстречу Степушке, хотела, наверное, залаять, но узнала его. А Феколка достала из-за пазухи старинного тяжелого шелка платье. Видно было, как обвисло оно, цветасто струясь. С силой, которую нельзя было ожидать от старых рук, рванула его, и так на три части: «Это для Феди, это по Ванюшке, это для Николки. Вам по моей любви».

Феколка повесила обрывки на крест и повалилась на колени.

3

Хотя обработно еще было впереди, вон и поля на корню, к уборке не приступали, однако нынче по всей деревне то и дело вспыхивали манящие песни, стихийно рождались и разгорались застолья. Председатель Радюшин в своем правлении кривился от этих песен, как от зубной боли, однако поделать с внезапным весельем ничего не мог, да и что греха таить, сам бы не прочь посидеть за столом. С Атлантики с большой рыбой пришел

колхозный траулер, значит, нынче в кассе большие деньги — да и парни привезли с собой тысячи по четыре, а кто и больше, тут от пая зависит.

Параскева Осиповна, постирав братневы штаны, от передних окон так и не отошла, все выглядывала сына, как бы, не дай бог, не забрел к дружкам: ведь страшно только начать, а там поведется на всю неделю, тем и отдых кончится. Но Степушка желанно обрадовал мать, ни в чьем дворе не заблудился, а вернулся домой светлый и радостно возбужденный. Он уже не чувствовал себя гостем, и сейчас казалось ему, что и не покидал Кучему, столь оказалась она прежней, когда разглядел ее пристально.

Прямо с порога, не раздеваясь, выпросил у матери ведра. Та, правда, поначалу для видимости сопротивлялась, говорила, мол, сиди давай, отдыхай, в доме-то вон как тепло, и без тебя воду наносят, хотя про себя радовалась сыновнему вниманию. А Степушка ласковых возражений не принимал и даже сердиться стал на мать, потом все-таки ведра выпросил, принесла Параскева из запечья, поставила перед сыном.

Степушка спустился с угора, вернее, скатился по мокрому красному камню-арешнику вниз, едва затормозил на самом берегу и тут же подумал, что матери, пожалуй, эта вода не по годам.

Прежде чем зачерпнуть, он опустился на колени и сунул руку в прозрачную воду, и показалась ему ладонь узкой розовой рыбой. Степушка попытался поймать зеленую мохнатую водоросль, но та, вспугнутая живым движением руки, круто изогнулась в сторону, черные стремительные тени, похожие на тонких жестких рыб, побежали следом по дну. Степушка отпил из пригоршни августовской воды, и была она студеная, как из родника, аж застонали зубы, а капли, словно живые существа, щекотно скользнули меж пальцев, падая в речное стекло.

Степушка зашел на валкую лодку и с кормы зачерпнул ведра, но эти два длинных всплеска не нарушили гладкого стремительного течения. Река была сиротски грустной и пустынной, черные от дождей лодки лежали на зеркальной няше-глине, и ни один рыбий толчок не нарушал хрупкого, живого стекла. Но Степушка знал, что у того, дальнего берега сейчас скатывается к морю самая усталая семга.

Похожая на акулу, промчала мимо черная рыбнадзоровская лодка. Два мужика в серых плащах одновременно посмотрели на берег, на Степушку, и тот, что сидел у мотора, показал на деревню рукой, второй жевал и кивал головой. Мотор пел ровно на низких тонах, вода за винтом распадалась на две ровные струи, и пока волна докатилась до Степушки, качая зеленые водоросли, и пока плескалась и тыкалась в сапоги, лодка уже завернула за крутой мыс, пропала в осоте, и звук еще долго оседал и снова наплывал на берег, утончаясь до комариного писка.

Степушка как-то обрадованно смотрел на длинную волну, и ему смертельно вдруг также захотелось ехать по реке, уплыть в верховья, и сразу вспомнилась старая рыбацкая страсть, которая, оказывается, и не затихала в нем, а лишь ждала своего времени. С этой мыслью он раза три спускался еще к реке за водой, натаскал матери жестяной бачок и все ведра заполнил и решил в ближайшие дни попытать счастья, а заодно и сена овцам приплавить.

Параскева видела, как оттаивал, привыкал сын, и радостная бегала по дому, все находя какие-то дела, а потом достала из сундука темно-коричневое шерстяное платье, долго прихорашивалась у зеркала, воткнула в волосы крутой костяной гребень и повела Степушку к двоюродному деду Геласию.

У деда Геласия нынче тоже гости: две дочери в годах и широкотелая внучка с мужем. Те приехали только на выходные, уже в понедельник собирались обратно, потому сидели за столом и пили вино, порядком уставшие от долгого пированья.

С уличного света в кухне Степушке совсем показалось темно. Потолок из широких плах, крашенный белилами, пожелтел от печного дыма и, казалось, совсем осел над головами, давя всей тяжестью на матичное бревно.

Стены были рублены из вековых лиственниц, гладко струганы, в этом доме обоев не признавали, потому как от них одна зараза водится.

Дед Геласий сидел в переднем углу, очки висели под божницей и болтались над головой.

Параскева только переступила порог, как по своему обыкновению сразу навела шум:

— Хлеб да соль.

— Едим да свой,— откликнулась морщинистая женщина, железные зубы тускло блеснули, и длинные паутинки-трещинки побежали вдоль щек.— Проходите, гостюшки дорогие,— зачастила она,— а это не Степушка ли, крестник мой, господи, сколь большой.

Все сразу зашевелились, завставали из-за стола, дед Геласий потянулся к божнице за очками, потом разглядел гостей и забасил, легкая борода едва шевелилась, не показывая рта, и казалось, что слова рождались и умирали где-то в его животе, столь глух был голос.

— Давно не бывали, все обходом идете. Ну, Степка, когда домой?

Тетка Ма́трена быстро смахнула в горсть крохи, чашку дикого лука подала, и сразу запахло лугом, потом ладку жареных сигов поставила, и сразу повеяло рекой, потом стакашки принесла из толстого зеленого стекла.

В дальнем углу на деревянном диванчике с легкой резной спинкой лежала бабка Пелагея. Она была года на три моложе мужа, но не столь крепкая, уже никого не понимала, но к столу поднималась еще и под руки шла. Она лежала низко, и голова была незаметной на плоской, коричневой подушечке, толстое ватное одеяло из лоскутов, наверное, не согревало ее, хотя в кухне было жарко и накурено, не продохнуть. Пелагея мелко дрожала и покряхтывала. Вторая дочь, Ксения, возилась у кухонного стола у самовара. Сухопарая, длинная и одноглазая, она сурово глянула на пришедших, но, разглядев, тоже заулыбалась, только единственный серый глаз не смягчился приветливо.

Пока, не обращая внимания на гостей, она наливала в чашку чай, потом подошла к диванчику и потащила мать за руку. Той встать было уже тяжело, она кряхтела, качала головой, а дочь раздраженно тянула, почти волочила за руку и вдруг со стоном выкрикнула:

— Хоть бы померла скорей. О господи,— и еще злее дернула мать, та мелко дрожала головой и едва дошагала до табуретки. Ксения оставила ее, подсела к столу, обвела глазом застолье, остановилась на Степушке.— Ты, мужик, чего не жениссе?

Степушка к этому времени уже выпил стопку, разогрелся, ерошил длинные белые волосы, заглядывая всем в лица. Ему вдруг захотелось говорить, и потому на теткин вопрос ответил быстро и развязно:

— Что, мешаю вам?

Тетка Ксения рассмеялась и сказала с явным восторгом:

— Ну и гопник,— потом оглянулась на мать. Та пергаментными руками наклоняла чашку с песком, перепутав все на свете. Ксения выскочила из-за стола, вырвала сахарный песок, подтолкнула чай, расплескивая по клеенке.— На, пей.— Потом стояла над матерью, зло дрожа, а когда та попросила и вторую чашку налить, потянула на диван.— Хватит, там напьессе.

Дед Геласий, прямой и строгий, только один раз глянул в дальний угол и сам себе громко сказал:

— Нажились мы. И что смерть не идет?

Застолье замолчало, и каким-то холодным ветром повеяло по кухне, словно впустили в дверь зимний уличный воздух.

Дед Геласий был глуховат и не слышал, о чем говорилось за столом.

— Вот так через месяц ездим из города,— сказала Матрена.— Сейчас Ксения на пересменку приехала дежурить. И пятый год так, как мать на койку легла. Ведь говорю, поедем ко мне жить, дак разве упросишь, твердолобые. Смучились мы. Ведь и у нас уже внучата, не молоденькие мы девочки, чтобы каждый месяц сюда на самолете летать.

— Дом свой жалеют, было бы чего беречь, гнилье,— откровенно зло сказала тетка Ксения.— Ой, и плохо, когда заживессе, хоть бы меня это зло не настигло.

— А дед-от наш еще политикой интересуется,— наклонилась к Степушке Матренина толстоногая дочь, прижимая к широкой коленке мужнюю ладонь.— Еще про Китай все выспрашивает. Дедушка, как там, в Китае-то, положение? — крикнула она старику.

— Че? — приставил дед Геласий к бледному уху ладонь.

— А ну тебя, совсем глухой,— махнула на него рукой внучка и опять погладила мужа по спине. Тот пьяновато улыбался, и жмурилось в желании белобрысое незаметное лицо.

— Он глухой стал,— тоже обратился к Степушке.— А так еще центральные газеты читает.

— Шустрый он,— добавила толстоногая жена.— Было намерились в другой дом переселять, так он куда там... Говорит, если и на руках унесете и избу по брев-

нышку раскатаете, и тогда койку приволоку на родное пепелище и тут спать буду,— восторженно говорила она, успевая заедать слова терпким зеленым луком.

— Не посмеют,— сказал белобрысый муж.— И ничего тут не сделать.

— Я и говорю, не посмеют, я и в райисполком тогда ходила, сказали, нет такого закона, чтобы в другой дом переселять. Так три года председатель выкручивался, мол, по генплану тут клуб положен. А кто его знает, где положено, природы много. Построили на другом месте, и ничего не случилось...

— Прихиляется он.

— Мстит. А чего мстить, ведь и время прошло. Будто бы наш дед отца у председателя убил. А не доказано.

Старик сидел каменно, ушедший в себя, и мягко посверкивали электрическим светом толстые стекла очков. Он ничего не ел, а только выпил стопку водки, и сейчас сухие щеки наливались пламенем.

— Крест из сухой елины срублен, на повети стоит, и доски выструганы на гроб, все готово, а смерти нет,— вдруг вмешался в разговор дед Геласий.

— Ну, завели, будто на поминках, до ста лет жить нашему деду, давай за него стопки допьем,— перебила отца Матрена.

А Ксения добавила:

— Так ты чего, Степушка, не жениссе?

— Лошади-то моего возраста все подохли, вот я и не женился.

— Ну и гопник,— с явным восторгом опять сказала тетка Ксения.

А Параскева за стол так и не села, хотя устали ее приглашать и затаскивать.

— Не-не, не сяду. Вы вино пьете, а оно уж мне даром не нать.

Параскева так и осталась в сторонке, как сиротина, не сводя за весь вечер со Степушки глаз, и думала, что город ничего хорошего сыну не дал, только разве на плохое наставил, вон как рюмку пригибает, а ведь ране столько не пил, да и говорит что-то непутное.

А когда разносили чай, уже Матрена стала упрашивать:

— Неуж, Параня, и чашечку не выпьешь? К тебе как ни зайдешь, все самовар на столе, уж манеры мы не имеем такой, чтобы отказаться. Садись давай.

— Не-не, я даве пила, как к вам пойти, Степушка не даст соврать,— отбояривалась Параскева.

— Ну, то даве, а то сейчас... Вода дырку завсегда найдет,— наступала Матрена, но так и не уговорила Параскеву, потому что та побаивалась за своего Степушку. Был он на самом заводе, а если еще за чай сесть, то время затянется и будет сын совсем хорош, а тогда и домой до кровати не дотянуть его.

Параскева встала, оправила платье, поклонилась в пояс.

— Спасибо, хозяюшки, за хлеб-соль.

Подошла в угол к больной, на ухо громко сказала:

— Баба, до свиданья.

Больная слабо протянула сухую маленькую ладошку, погладила по коричневому рукаву, узнала Параскеву, но сказать что-то уже не хватило разума. А Матрена, оглядывая Параскеву, вдруг сказала:

— Ты, Параскева Осиповна, и не стареешь, будто годы тебя стороной обходят.

— А чего стареть-то? Вина я не пью, не табашница, мясного не ем; живу во спокое дорогом, пензия от государства идет. Я только жить по-настоящему начинаю,— сказала Параскева, поманила пальцем Степушку, и что-то властное было в этот миг в ее большой белой голове.— Ну, хватит, сынок. Всего вина не перепьешь, всех девок не перецалуешь, пора когда ле и конец знать. У тебя и дом есть.

— Ну, что ты, Паранюшка, сына из-за стола гонишь,— нарочно возмутились хозяева.— Тут ли ему не дом. В отпуске он, пусть погуляет во свободу. А то в городе на производстве все по дисциплине, утром не поспишь и с работы раньше не уйдешь.

— Сынок, долго ле тебя еще ждать? — повторила Параскева и, когда Степушка, сыто пошатываясь, вышел на травянистый заулок, сказала ему сердито, оглянувшись на желтые окна с веселыми тенями: — Вот уж за што людей не уважаю... Не знают они меры.— Помолчала, прислушалась к деревенскому гомону.— И это посреди страды такое гулеванье.

Степушке отвечать было лениво. Правильно угадала сердцем Параскева — научился сын пить. Эта пара стакашков ему, как волку дробина, а раз не допил Степушка, не ублажил окончательно душу хотя бы до песенного состояния, то было ему сейчас ужасно тоскливо.

Он шел срединой водянистой дороги, разбрызгивая модельными туфлями жидкую грязь, а мыслями был в Архангельске, на улице Попова: там на пятом этаже Милкино окно.

Сейчас она пришла с работы, и, если долго смотреть на зеленую штору, можно почти очутиться в ее комнате, куда не пускает вахтер, ну хотя бы знать, что она сейчас делает. Наверное, жарит картошку, потому что высунулась ее длинная белая рука, а за окошком лежат маргарин и колбаса, потом запляшут тени — это пришли подружки и сейчас, наверное, обсуждают женихов. Вот кто-то подошел и совсем украл желтую полоску стекла, задернув наглухо штору. А в соседних комнатах уже гаснет свет, все ложатся спать, утром на работу на самом первом автобусе. И только в Милкиной комнате все играют тени, даже с улицы видно, как весело в ее комнате. Но вот и здесь тает во мраке зеленая штора, тонко звякает стекло, чей-то возбужденный голос вырывается на улицу: «Хватит, девчонки, давайте спать». Потом ее, Милкина, голова нависает над пропастью улицы, и Степушке слышно, ему сейчас все слышно, как шелестят вниз ее рыжие теплые волосы...

Степушкино сердце заныло тонко и больно от горестных видений, хмельные слезы закипели, и в какой-то миг ему даже хотелось, чтобы его слезы видели все, и Степушка всхлипнул громко, но тут же шагнул в коварную темную лужу и зачерпнул полные ботинки.

Параскева шла мостками, она аккуратно щупала ногами предательские половицы, боясь упасть, и потому отстала от сына, ей вдруг захотелось чаю, крепкого, своей заварки, и она мыслями была уже в своей избе и наставляла самовар.

— Где ни хорошо, а дома лучше, — сказала с видимым удовольствием Параскева, отряхивая белую голову от мелкой водяной пыли, потом с таким же удовольствием стянула с себя коричневое платье, положила его в комод, а надела постоянное, ситцевое. Потом завозилась с самоваром, а Степушка сидел под портретом Буденного, и сплошная пустота и безразличие полонили его, связав по рукам и ногам. Первый водочный азарт прошел, не хотелось ни шевелиться, ни думать.

Тут неожиданно в двери коротко постучали, освобо-

див Степушку от бездумья. Кто-то долго нашаривал в темноте дверную ручку, шуршал ладонью по войлоку и громко ворчал, пока Параскева не толкнула дверь.

Председатель Радюшин, а это был он, долго стоял у порога, сминая в ладонях кепку и щуря и без того узкие темные глаза. Он стоял и смотрел на Степушку, а Параскева не трогала его вопросами и тоже молчала, зная повадки Азиата. Скажи ему сейчас: «Милости просим к столу»,— так заупрямится, обязательно найдет неотложные дела и от порога уйдет, не посидев в гостях. Нельзя тревожить председателя в его мыслях, а какие думы у него в эти минуты, Параскева вроде бы догадывалась: того, маленького Степушку вспоминал он.

Радюшин скоро очнулся от раздумий, зашаркал ногами на половике, кряхтя, стал развязывать шнурки на ботинках, а Параскева подскочила и стала за руки оттягивать, мол, что вы, Николай Степанович, да проходите в ботинках, у нас и без того не прибрано и пол со вчерашнего дня не мыт. Такие поклепы возводила на себя Параскева, хотя на ярком клюквенном полу и пылинки не найти.

— Параскева Осиповна, не принуждайте,— густым голосом сказал Радюшин, топчась на зеркальном полу и рассматривая полосатые носки.— Пальцы отекать стали, они у меня на крашеном полу отходят. Ну, крестник, как дела?

Степушка не сводил взгляда с Радюшина, быстро теряя хмель, и невольная улыбка распирала его. Он старался спрятать глаза, уводил их в сторону, почему-то хотелось смеяться, и Степушка действительно радостно и глупо засмеялся, ибо вспомнил тот давний зимний день, когда он лежал под кустом, уже окончательно замерзая, и звал маму, и вдруг, будто сквозь туман, проступило это скуластое лицо. И, боясь, что оно исчезнет, борясь с теплым и желанным сном, Степушка закричал, раздвигая непослушные губы: «Это я, Степушка».

Но нынче Степушке уже было за двадцать, он и в армии отслужил, потому подавил в себе детскую радость и сказал безразлично и неискренне:

— Хорошо, дядя Коля. Все как в аптеке.

Потом, мельком взглядывая на Радюшина, парень отмечал, что председатель все такой же: желтый загар на лице, тяжелые веки над глазами, и эта щелка в передних зубах, куда Радюшин обычно вставляет папи-

росу, и ногти на руках сбитые, в черных кляксах застоявшейся крови, значит, и ныне не забрасывает слесарный инструмент.

А Радюшин все разглядывал Степушку и молчал, и тонкая понимающая усмешка не таяла в азиатских глазах.

— Мать, ты чего на нас тоску нагоняешь? — прервал тягостное молчание Степушка и выразительно глянул на Параскеву уже трезвыми глазами, словно испрашивал совета, как повести себя дальше. Параскева Осиповна заторопилась к буфету, у нее была начата бутылка, которую не пожелала подать вчера сыну, но сейчас доставала из шкафа с большой охотой: «Вот, пришел Николай Степанович, он на плохое не наставит. Пусть посидят, выпьют, и разговор у них дельный пойдет».

Степушка поспешил разлить вино по рюмкам и первый выпил, а выпив, стал хвастать, какие у него друзья в Архангельске, да сколько «башлей» зашибает на станке, да как калымят вечерами, когда есть халтура, а она случается часто, да и вообще город с заморной Кучемой на одну доску не поставишь, и как тут только люди живут, с тоски зеленой подохнуть можно. Степушка злился на себя, что говорит совсем не то и Радюшин понимает это. Ведь ему одиноко в городе, и ничего у него не ладится, фрезерный станок — развалюха, тридцать пятого года рождения, а заказы дают самые паршивые, и заработок восемьдесят рублей, а в общаге каждый вечер дым коромыслом, да к тому же еще рыжая Милка дала полный отбой.

— Значит, заработок, говоришь, приличный, а вид-то у тебя, как у мартовского кота. Голодовку, что ли, устроил иль учебу тянешь? — спросил Радюшин. И подумал вдруг, что Степушка вроде и не вырос из детских рубашонок и взгляд-то у него жалобно-щенячий, какой был тогда, в зимнюю пуганую ночь, когда тащил замерзающего мальчишку из тайги. Словно оставили однажды парня на распутье, а дорогу сказать забыли. И еще Радюшин подумал, что он совершенно не знает, о чем говорить с крестником, и слова-то куда все затерялись, вроде и не бирюк Николай Степанович и веское слово ко времени сказать может.

Такое же чувство испытывал председатель, когда минувшей весной вдруг явился в Кучему на короткую солдатскую побывку сын и они вот так же сидели за сто-

лом друг против друга. Старший Радюшин пытался заговорить о новом клубе, вот есть думка траулер заиметь, если бы сын в механики пошел учиться, было бы совсем здорово. Но Петька засмеялся тогда, мол нечего семейственность в колхозе разводить, и они окончательно замолчали, нет, говорили, правда, о всяких пустяках. Помнится, что побыл сын в клубе, домой вернулся рано и тоскливо вздыхал у светлого окна: «Ну и тоска». И Радюшин почему-то считал себя виновным за кучемскую тоску.

— Степаныч, ты поучи моего сына, безотцовщина растет,— сказала Параскева, направляя на стол чай.— Ведь я-то только рыбачить повезенка. На девятом году пошла в работы, в школе ни одного года не была и расписаться не умею, только огородное клеймо — две палки — черкну.

— Параскева Осиповна, Параскева Осиповна, какой из меня учитель. Я и своих-то, кажется, проглядел. Все малы были, не больше валенка, думал, успею главные слова сказать. Мы их всегда откладываем напоследок. А сейчас вот думаю, что и сам не знаю этих слов,— угрюмовато ответил председатель, вспоминая при этом Петьку.

— Обещаете вы много,— вдруг выпалил Степушка.— Помню, пока в школе учились, золотые горы наобещали. А потом оказалось: вкалывай, трудись, брат, и никакого тебе веселья.

— А какое тебе веселье нужно? — усмехнулся Радюшин.— Ты работой веселись.

— А, глупости все это. Разговоры одни,— небрежно рассмеялся Степушка.— Сейчас начнете говорить, что человек рождается для работы. Труд превратил обезьяну в человека. Но что-то должно же быть после работы?

— Работа, крестник. Ты еще ее не попробовал, ты по русски-то и плакать не умеешь...

— Зато я видал, как лошади от работы плачут.

— Ну что ж, и это бывает. И люди помирают раньше времени...

Параскева Осиповна сидела у самовара и гладила ладонью одуванчиковые волосы, значит, успокаивала себя, чтобы в сердцах не выругать всех по очереди.

— Просто диву даюсь, пошто нынче народ ни во што не верит. Все чего-то недовольны жизнью, злятся друг на дружку. Говорят, прежде годы были реже, а теперь

порато часты. Но ведь я замуж выходила в мешочной рубахе, а теперь-то как. Нынче в шмудочный магазин мебели-то завезли не на пять ли тысяч, так в один день всю раскупили, вон нынче сколь народ богатый. А только, скажу, нету веселья того. И раньше тоже пили, не покривлю душой, много пили и батогами колотили друг дружку, как сойдутся в престольный праздник. Но все как-то разово, а потом и отдох давали. А нынче у нас как повелось: день за днем, и никак не поймешь, какой у мужиков распорядок.— Параскева нервно взмахнула полотенцем, протерла стаканы, на свет взглянула, нет ли на дне пылинки, чистюля Параскева.— Пили? Да!.. Но зато, как праздник, веселья сколько. Девки-то хороводом на угоре, парни в пляс под гармошку и всю-то белу ноченьку выпляшут.

А нынче глаза нальют да в клубе стенки протирают, а девок-то по счету — пальцы лишние остаются, дак и те, как сиротины, друг с дружкой танцуют. Ведь двадцать пять холостых на деревне, это если по одному ребятеночку, так двадцать пять дитешей за один год не народилось — вот какая арифметика. А ты, Николай Степанович, говоришь, пошто нашу школу закрывать собираются. Нынче у наших парней даже в любовь-то веры нет, даже обнять девку боятся, в трезвом-то виде.— Параскева завелась, сейчас она не сдерживала себя, бегала по кухне, кричала на весь дом, и на улице, наверно, было слышно. Кровь пришла в белое широкое лицо и уже не отходила.— А ро́бят-то как, Николаюшко? На часу пять перекуров. Я диву даюсь, как вы десять годков назад от дикой нашей Кучемы не сбегли. Ведь на трудодень была лежачая палочка, плюнуть да растереть — был трудодень, а ныне што, как баре ныне. Наша Кучема — уголок Москвы. А еще чего-то ширятся, на председателя мусор метут, а сами, прости господи, кучу... из-под себя не выгребут.

Вот мой кобелина сидит, волосы распустил, стыда у него нет. Думаешь, у него чего путное на уме? Одна пьянка в голове.

— Ну, вы зря так-то, Параскева Осиповна,— смущенно перебил председатель.— Парень как парень, волосы пообстрижет, лишь бы голова соответствовала, точно, Степушка?

— Моя голова твердая, хоть гвозди ею забивай. Это она от материных речей задубела. Ведь как пила, дядя

Коля, ей-богу,— ответил Степушка.— Пилит и пилит, хоть бы отдохнула а, мать? Ты отдохни... А то мастер пилит, завком пилит, комсомол пилит, пенсионеры пилят, газеты пилят. Тошниловка. Хоть вы-то, дядя Коля, мне моралей не читайте.

— Во как научился говорить, слышь, Параскева Осиповна. А ты говоришь, дурак. Плохо только, что к делу путевому по-настоящему не пристал, а думать начал. А у наших-то парней все наоборот.

— Всех по матушке кроют,— поддакнула Параскева.— Родителя пошлют подале, не то что чужого.

— У наших-то парней вроде дело ведется, но думает за них пусть дядя. Кто остается ныне в деревне? У кого грамота не идет. Мы своих-то грамотеев по городам женим да расселяем, а их бы нужно в Кучему ворачивать... Хозяюшка, а постойщица ваша где?

— Сей год запаздывает,— сказала Параскева.

— То-то и есть... Сей год опаздывает, а следующим годом скажет «ауфвидерзеен», я ваша тетя. Хотя бы кто окрутил ее. Степушка, крестник, скажу тебе по секрету, невеста — во! Сам бы ел, да звание не позволяет,— засмеялся Радюшин.

— Даже маленькая рыбка лучше штей,— тоже засмеялась понятливая Параскева, намекая, что от жены и детей в сторону сбегать каждый охоч.

— Ну, ладно, спасибо за хлеб-соль. Засиделся я у вас, пора и честь знать, да и дома, наверное, заждались, в правлении Нюра телефон уже оборвала,— сказал, поднимаясь, Радюшин, а видно, ноги отекли, и потому низко склонил он голову, и Параскева заметила, будто впервые, сколь у председателя белая голова.

— Как ты поседател, Степаныч,— жалостливо сказала она, тоже поднимаясь со стула.— Вроде все не такой был, да и годы не очень далекие.

— Под пятьдесят, Параскева Осиповна. Войну мы на себе застали, а значит, и пето было, и бито было.— Радюшин сунул ноги в туфли и не стал завязывать шнурки.

Он вышел в чернильную темноту августовской улицы, в голове от выпитой водки чуть кружило, но это теплое веселье быстро потухло от осенней вязкой сырости. Радюшин поднял воротник и ссутулился, размышляя, куда податься сейчас. На часах было десять. Для холостяка ранний вечер, для семейного человека позднее

время, и надо бы поспешить домой. Но представил себе укорливый взгляд жены, ее серые губы, которые будут печально улыбаться и чего-то раздраженно говорить, и это что-то надо будет слушать и покорно кивать головой, чтобы Нюра не заплакала, и понял, что домой идти ужасно не хочется.

В правлении в одном окне горел свет, с крыльца видна была тощая фигура бухгалтера, но председатель к нему не зашел, а отправился сразу в свой кабинет. Зажег настольную лампу, достал из стола сводки и долго сидел так, вглядываясь в серые полосатые сумерки.

Кабинет был богатый, почти министерский, так, по крайней мере, говорили все городские гости, оглядывая стены под карельскую березу, и высокие потолки, зашитые голубым пластиком, и ковровую, травяного цвета мохнатую дорожку на полу, и хорошую полированную мебель. С великой злости на прежнюю колхозную бедность выстроил Радюшин такую контору, когда завелись на счету большие рубли. Ему никогда не забыть ту контору, что называлась правлением колхоза, когда он приехал в Кучему.

В небольшой кухоньке старой деревенской избы половину занимала осадистая русская печь. Когда еще сонные мужики заваливались в контору на развод, они громоздились подковой около голубенькой щербатой печи, садились на корточки, а то и на пол, обжимая спинами председательский стол, долго накуривались и плевались в опечье. Зато сейчас, через десять лет, вокруг полированного стола толпится дюжина обитых кожей стульев, за которые Радюшину чуть не сунули строгача по партийной линии.

Когда пробовали его стыдить, мол, колхоз едва из развалин вылез, а ты барство разводишь, Радюшин непонимающе пожимал плечами, вытаскивал из нагрудного кармана клочок газеты, расправлял на разбитой, как дорога, ладони и читал:

— «В пятьдесят девятом году колхоз «Северное сияние» имел доход сорок тысяч рублей, а в семидесятом — миллион двести». Я не пойму, может, газетка ошиблась, тогда их за клевету привлечь надо. А раз верим, значит, деньги есть, а пошто мы, как казанские сироты, должны в ремках ходить? Колхозная культура начинается с нашей правленческой конторы. Я не

хочу, чтобы мужик в любом месте мог под ноги себе плевать.

...Дюжина стульев смутно чернела кожей высокого качества. Значит, есть стол под полировкой, дюжина стульев, завтра придут члены правления, и стулья займут, и годовую премию разделят, тут каждое пятнышко в биографии припомнят. А если спросить, как дальше жить, сразу головы в скатерть: ты начальство, тебе видней, а наше дело работать. А может, не их вина в этом? Ведь было время, когда учили думать, потом пришло долгое время, когда запрещали думать, а теперь, наверное, и отвыкли за дядиной спиной.

Председатель приподнял абажур лампы, показалось, что сидит кто-то в том, дальнем углу стола, но пусто было за длинной дорожкой тяжелой скатерти. Высокие черные спинки, словно плечи, квадратные, дюжие, готовые все снести, но только нет голов, все они разом склонились, что-то ищут у себя под ногами.

Одиноко стало Радюшину, не выдержал он, пошел в бухгалтерию. Бухгалтер Веня Лекало был один. Худой, кости наружу лезут. Поглядеть со стороны, будто мальчишка-недоросток сидит, столько в Вене было угловатости, хотя мужику кончался пятый десяток и уже дочь с институтом. Все у него, Лекалы, хорошие дети, а прозвище еще к деду пристало. Был тот в Кучеме портным, говорят, ужасно ловким, и все говаривал, мол, я без лекала, как плотник без топора.

У Вени нарукавники были из синего сатина, совершенно новые, наверное, шестые по счету, и Веня не раз напоминал Радюшину, что эти нарукавники последние: как придут в негодность, тут, значит, и пенсия будет.

— Чего домой-то не идешь, Вениамин Григорьевич? — спросил Радюшин.

— Считаю-думаю, — откликнулся Веня Лекало. — Этим молдаванам мы, кажется, переплатили за курятник.— Он положил ладони на арифмометр, и обнаружилось носатое лицо с узкими лысеющими висками.

— Не курятник, а птицеферма. Наши бы мужики лет десять вокруг ее хороводились. А молдаване, те ядрены на работу, они ведь деньги приехали делать.

— Ядрены они. Бабка Пелагея сказывала, в шесть утра гляну в окошко, а они уж топорами бренчат.— Бухгалтер тощими пальцами закрутил ручку арифмометра, а костлявый локоть в это время лежал на потер-

тых счетах. Веня мучительно морщился, словно схватили его печеночные колики, и разглядывал сводку, будто не веря арифмометру.— А все же много им выпадает.

Бухгалтер был страшный скопидом, и приходилось из него каждую копейку выбивать чуть ли не с боем. Много раз они ругались, и Радюшин грозился выгнать Веньку Лекало с должности, и в то же время, пожалуй, не было в колхозе таких близких людей, как эти двое. Вот почему получалось, что в самые тоскливые и досадные минуты они оказывались вместе.

Веня был честен и умело кроил, как когда-то его дед, не очень жирный колхозный бюджет, ну, а жалеть деньги ему полагалось по его давней должности. Веня был крестьянин и, кроме четырех сельских классов да курсов — он раза два ездил в Вологду,— ничего не кончал. Он, пожалуй, единственный, кто пересидел всех послевоенных председателей и дожил до того времени, когда пришлось считать за миллион, но он, Веня Лекало, не оробел, потому как был из того отчаянно смелого людского племени, которое на все имеет в душе запасливое и охранительное: «Эка невидаль».

Радюшин разглядывал бухгалтера, говорил постоянные и обидные для кучемских людей мысли:

— Поставил я дом, украшал. Вы, Вениамин Григорьевич, бывали у нас, хвалили. Думал, перенимать люди будут, вот и расцветет Кучема. Ан нет, рубят какие-то кишки в три окна... Когда-то наши поморяне по всей России бродили с пильем да топором, избы рубили, жестью крыли, фартово работали, лудили, паяли, тачали, стучали, бренчали, каждое ремесло к рукам пристало. А ныне себе кишки рубят в три окна спереди. Ныне молдаване по всей Руси ездят. Вон как время повернулось... А ты говоришь, дорого.

— А может, у наших-то азарта такого до денег нету? Всю жизнь тянули с них за копейку, может, с того и робить разучились. Не получали ничего, фигу, можно сказать, а ныне вдруг и работают меньше прежнего, а заробливают в десять раз боле...

— Ну уж, в десять.

— Как же не в десять,— защелкал бухгалтер костяшками.— Взять Николку Симиного, с рейсу пришел, удачно сплавал, на месяц вкруговую по шестьсот рублей вышло. А раньше бы за эти деньги он год уродовался. Неожиданные для наших мужиков деньги. Механизатор

много ли поробит, а двести рубликов положь и отдай. А что лет пятнадцать было?

Кто умней да посмелей, тот деру в города дал, ныне в квартирках с газом да теплой уборной, деточки в инженерах, а кто поглупей, наш-то брат с четырьмя коридорами, ныне на земле пупеет. Людей-то городу отдали, всякого народу, конечно, хорошего и плохого, а сейчас бы грамотных домой надо манить.

— Вот и я за то же,— задумчиво отозвался Радюшин.— Именно домой. Не всяких образованных, а у кого пуп здесь резан. Если есть дума поднимать деревню, тут одной техникой не пробьешь.

— Глухо тут у нас, мы привыкли, мы и живем...

— Дикая Кучема. Три года старика Нечаева из развалюхи вышибали, дом новый поставили, живи только, дак защитники нашлись, ходоки в райисполком... Сорок лет колхозной жизни, а земли все чужей.

— Наверно, так и положено. Машины нынче. Ведь парень до того трактор свой оближет, хоть в парадном пинжаке садись, но уж на борозду лишний раз не глянет, на землю-матушку не спустится. Ныне погонные метры в моде.

— Чужеет земля,— повторял Радюшин.

— Хлеб-от даровой,— тянул свою мысль бухгалтер.— На што земля ныне мужикам? В лавке хлеба — хошь, буханку бери, хошь, десять. Вот и отбывают принудиловку на земле.

— Двадцать лет от земли отучали, кричали везде: мелкобуржуазный элемент, двойственность психики. А теперь сорок лет приучать надо. Пришел даве в школу, агитировал за колхоз, чтобы оставались по весне, птицефермой манил девчат и, мол, свои помидоры будем ро̀стить. Вон и клуб новый отгрохали, пластинки какие хошь, сам за ударник сяду, танцы под трали-вали. Молчат... А на стене фотки под стеклом. Врачи есть, учителя, инженера́. Об их везде поют — почетная должность. А колхозник — это как ругань, матерщина, даже хуже матерщины. Если в городе кого обкастить хошь обидно, назови деревней или колхозником, тут тебе сразу и оплеух накладут...

— Вас в партшколе всему учили? — спросил бухгалтер.— А вот это положение как объяснить?

— Трудности роста,— буркнул Радюшин и вдруг рассмеялся шутейно, заколотил «беломориной» о пачку

папирос, вытряхивая из мундштука табак.— Куда лезем... Растем, братец, растем. У тебя, Веня, уже ноги под стол не влезают.

— Мы-то уж не растем, а доживаем, но так хочется, чтоб все по-хорошему-то было...

— А ты свою Наташку и вороти домой.

— Не, сперва ты сына. Небось теплое местечко приискал, в город-то каждый месяц летаешь.

...Странные, смешные люди: только печалились общим бедам, думали, как дальше жить, а тут на тебе, уже готовы пылко повздорить, ищут обидные слова.

Убежал Радюшин в свой кабинет, хлопнул на прощание дверью.

Господи, как одиноко человеку в этот сиротский августовский вечер, когда на окна словно надеты ставни, и как, оказывается, он похож на тот, сорокалетней давности... Тогда отца, тоже председателя в Погорельцах, притащила в стременах послушная выездная лошадь. Отец был в пыли, и не было у него лица, лишь дорожная пыль. Лохмотья одежды волочились под ногами матери, она наступала на них, и было ей трудно и неловко тащить отца. Потом они мыли его в корыте, мать тогда не могла плакать, потом одели в пальто — у отца не было другого пиджака — и положили на обеденный стол.

Мать сутуло сидела у ставен, всматриваясь в черные щели, словно выглядывая оттуда себя и свое горе. Ей нужно было заплакать, потому что у нее был Колька Азиат, сын, и надо было жить, потом жить, а сейчас повыть. Тут в ставни люто забрякали прикладом. «Азиат, выходи. Не то спалим». Они искали председателя на дороге и не нашли — послушная ездовая лошадь привезла Азиата домой. И сейчас вдова, каменно глядя в щелястые траурные ставни, спокойно крикнула на этот стук: «Нету Азиата, Азиат уехал далеко». Там, за стеной, еще матюкались и медлили, а потом зачавкали, удаляясь, копыта...

Сорок лет, и как все переплелось. Он тогда вернулся в дикую Кучему десятым послевоенным председателем. В окна подглядывали, прямо в глаза не смотрели, все считали попутные подводы, когда вещички скидает Колька Азиат и со своей Нюркой Америкой покинет Кучему. С Нюркой Америкой... Прозвище-то придумают. Выбежала однажды Нюрка на угор, мужики смолили

махру, кто-то и крикнул: «Гликось, у Сеньки Житова дитешей-то, как в Америке». С того дня и не стало Житовых, а появились Америки: Тонька, Сонька, Петруха, Владимерко, Ксюха, Нюрка и еще несчетно за подол держатся.

Да, вольно жили: сначала отца пристрелили, а через тридцать лет, в шестидесятом году, пришли сына ломом прибивать. Тогда в гостях Радюшины сидели, праздник был, Октябрьские, кликнули в окно, мол, к телефону в правлении кличут. Прибежал, только к телефону сунулся, сзади стоят Сенька да Володька... В общем, пришлось драку затеивать.

«Но ведь что-то изменилось в деревне даже за этот десяток лет, и, может, зря я виню людей, может, нет на них той вины? Тогда отца, ясно, за что порешили: как же, пришли Советы и содрали шерстяные штаны и сапоги с подковками, в общем, уравняли всех. Ну, а меня? Некоторые перемен побоялись, вольно жилось им. На яме по сотне семог черпали, бочки солили белой рыбы, медведь шастает, лось, только петли ставь... Но опять же в колхозе что было? Обещаниями сыт не станешь, из посулов суп не сваришь, из газет кулеш не сготовишь. А какая была жизнь, если ферма прогнила, в небе спутники, а здесь трактора не видали. Если озерная рыба по семь копеек килограмм, да пусть она лучше в озере киснет, а за золотую — размилую семгу — тридцать копеек. И на трудодень, еще старыми деньгами, пятьдесят шесть копеек. Это на нынешние-то сколько получится? Не пять ли целых шесть десятых копейки? Нынче пять коробков спичек можно только приобресть. Кто посмелей да посильней, тот, значит, грабил тайгу, а каково было Паране Москве с девятью детишами и каково было Нюрке Америке, если у нее отец был из партийных и от колхоза не отступался?

Дикая Кучема, так и в райцентре говорили, сюда и плеткой было не загнать даже инструктора. И оказался: по угору, словно коровий хвост, деревня, сзади шестьдесят километров болот, справа за сорок километров море и слева тайга — леший мерял да веревку порвал. Так мог ли я за десять лет такой жизни устать? Мог ли?..»

Радюшин вдруг торопливо подошел к сейфу, достал из него бутылку коньяку — для гостей берег,— налил полстакана и выпил. Ни одна жилка не дрогнула испу-

ганно на его скуластом лице. Потом выпил еще раз и еще, взболтал остатки и вылил в стакан, а бутылку сунул зачем-то в длинный карман плаща.

Где-то в уголочке мозга крохотный сторож окрикивал его, чтобы остерегся и поутих Николай Степанович, чтобы не давал себе такой воли, ведь может что и плохое случиться. Но Радюшин этого сторожа коленкой да под низ спины, в общем, отдался во власть хмеля. Он все хорошо слышал и видел сейчас, даже необыкновенно хорошо, когда стукнул в дверь собственного пятистенка с верандой и баней во дворе. Узорные наличники на окнах, крыша под красной жестью — не дом, а целые хоромы. Когда-то специально отгрохал для людской зависти, чтобы и у людей родилось желание заиметь такой. Только пусто ныне в этих стенах, разъехались сыны, темны и молчаливы окна за отглаженными занавесками, на крашеном крыльце вязаный коврик. Отпнул ногой его в сторону и еще раз бухнул кулаком в двойные створки, где каждая дощечка своей рукой оструганa и зацепиться некуда, как стекло.

Белая занавеска вздрогнула и отогнулась, мелькнула испуганная рука, в черном стекле проявилось лицо жены. Она долго всматривалась в тихую ночь, внезапно разбуженную бряком, пока-то разглядела, кто там стоит на крыльце, смутный и сердитый. Но Радюшин так и не дождался, когда выйдет жена, пьяная злость окрутила его, он еще крикнул:

— Чего глазищи выставила? — и с каким-то наслаждением высадил дверь.

Гладкие, как стекла, дверные филенки тихо посыпались в сенях. Наступая на доски, Радюшин вошел в кухню. Глаза, уже отвыкшие от света, мгновенно прикрылись. Жена Нюра стояла босая, в длинной белой рубашке, сонное лицо ее было бледно и вяло, маленькие серые губы дрожали, но в сизых птичьих глазах не отразился испуг, а плавилась материнская грустная покорность. Нюра пробовала что-то сказать, но сначала не смогла, губы ее дрогнули и не разомкнулись, рубашка покатилась с круглых плеч, обнажая полное стареющее тело. Подхватив рубашку, она так и стояла напротив бессильного Радюшина, обжимая плечи ладонями, словно согревая их. Потом все же сказала:

— Ты не проголодался? Небось все простыло. Я тут глаза не сымала с оконца, вся заждалась.

Нюра говорила тихо, на каком-то одном выдохе, не спуская с мужнего лица спокойных сизых глаз, и только прерывистые слова и голубая жилка на шее проясняли тайный Нюрин страх, и боязнь, и печаль, и гнев, и радость, что с мужем все хорошо, что он не заблудился в чужой избе и будет ночевать на своей кровати, и, просыпаясь средь ночи, как от внезапного оклика, Нюра будет желанно касаться его, своего Коляни, только на минуточку, чтобы потом скоро и блаженно вернуться в сон.

А Радюшин, ее Коляня, вдруг оторвался от спасительной ободверины и, резко шагнув навстречу жене и загребая руками ужасно душный, застойный воздух, закричал вдруг:

— Ну ударь меня, ударь! Ну, чего стоишь? Ты хоть крикни...

4

Уж которую ночь Феколка Морошина просыпалась оттого, что кто-то нашептывал ей на ухо: «Врет она, беспута, нету у ее детей. Пуста она, пуста она, пуста она».

Феколка просыпалась от этого шепота, долго приходила в себя. Печь, не выстывшая за день, калила ее старые кости, тепло пробиралось сквозь рванину фуфайки, жгло бока. Феколка уютнее устраивалась на лежанке, поднимала голову, прислушивалась к посторонним звукам и улавливала лишь хриплое сипение собаки на кровати, два кота шумно водили боками, тяжело развалившись на ее ногах.

Феколка, прежде чем снова сомкнуть глаза, долго лежала в темноте, всматриваясь в дальние углы. Что-то черное и мохнатое шевелилось там, красный язык дрожал, оплыв из косматого рта. Феколка снова испуганно приподнималась, крестила лоб, глядела в сумерки и, напрягая сонную память, потом наконец вспомнила, что там висит связка прошлогоднего сохлого лука, а, видно, легкий сквозняк идет по запечью, и старые луковицы колеблет воздухом, и они потому тихо шуршат, отплывая от стены.

Феколка успокаивалась, снова откидывала легкую голову на голяшки валенок, находя постоянную ямку для затылка и всматриваясь в темноту. Но только осмеливалась совсем закрыть глаза, как чья-то волосатая голова маячила на полатях.

— Тьфу ты, нечисть проклятая,— опять испуганно шептала Феколка, отдирая тело от горячих камней, легкий щемящий холодок продирал кожу, старуха ширила глаза, всматриваясь в страшную рожу, пока не припоминала, что висит там старое сито и обрывки сетей. Волнуемая темнотой и тревожными призраками, Феколка понимала, что уснуть не в силах, тяжело спускалась с лежанки, крестилась, чесалась, охала, поминая нечистую силу, садилась на сундук, тот самый, который видела во сне и который действительно спасли, когда сгорел отцов дом, былое ее свадебное приданое, и долго так сидела, не шевелясь, всматриваясь в светлеющее окно и дожидаясь света.

Сегодня Феколка опять сходила в часовню, еще одно платье подарила спасителю, чтобы «ослобонил разум от диавола». От дождя у нее ныла спина, и будто муравьи бегали по голове, так сильно щипало корни волос. Хотелось содрать платок и распахать ногтями кожу. Феколка ходила к фельдшеру, и тот сказал, что это от нервов. Феколка выругала фельдшера, обозвала придурком и сама определила болезнь свою, мол, у нее дурной волос растет на голове. Но, обругав фельдшера и дома намазавшись салом, Феколка облегчения не почувствовала и решила, что от дурных снов напала болезнь, и тогда захотелось снова сходить в часовню и исповедаться.

Когда еще собиралась только, обласкивая Альму, ведь одинокий человек и собачке рад, встретила взглядом племянника. Давно не видала парня, а тот, глядика, совсем мужиком стал. Сразу вспомнились и свои помершие Федя, Ванюшка и Николка и подумалось, что и они бы ныне, пожалуй, мужиками были, а она бы, Феколка, внучат нянчила, и не так бы пришлось ей жизнь коротать.

И, уже отмолившись, отплакав короткие слезы, она Степушку не забыла и шептала какие-то хорошие слова, будто бы своим парням, мол, дай тебе бог хорошую невесту, да богатый дом, да чтоб без ссор прожить и мусор за порог не выметать.

Феколка шла по Кучеме, трудно поднимаясь на крутой косогор, часто скользя калошами, потому вся распотела и даже черный монашеский платок отодвинула повыше, обнажая высокий лоб. Сальные смоляные волосы, которые и старость не брала, не облила белой краской, сбились на худое желтое лицо. Нервными, горячи-

ми глазами она сегодня не смотрела под ноги, а чувствуя в себе неожиданную свободу, выглядывала окна, словно, причастившись перед богом, имела на это большее право, хотя в обычные дни выше земли не поднимала глаз Феколка Морошина.

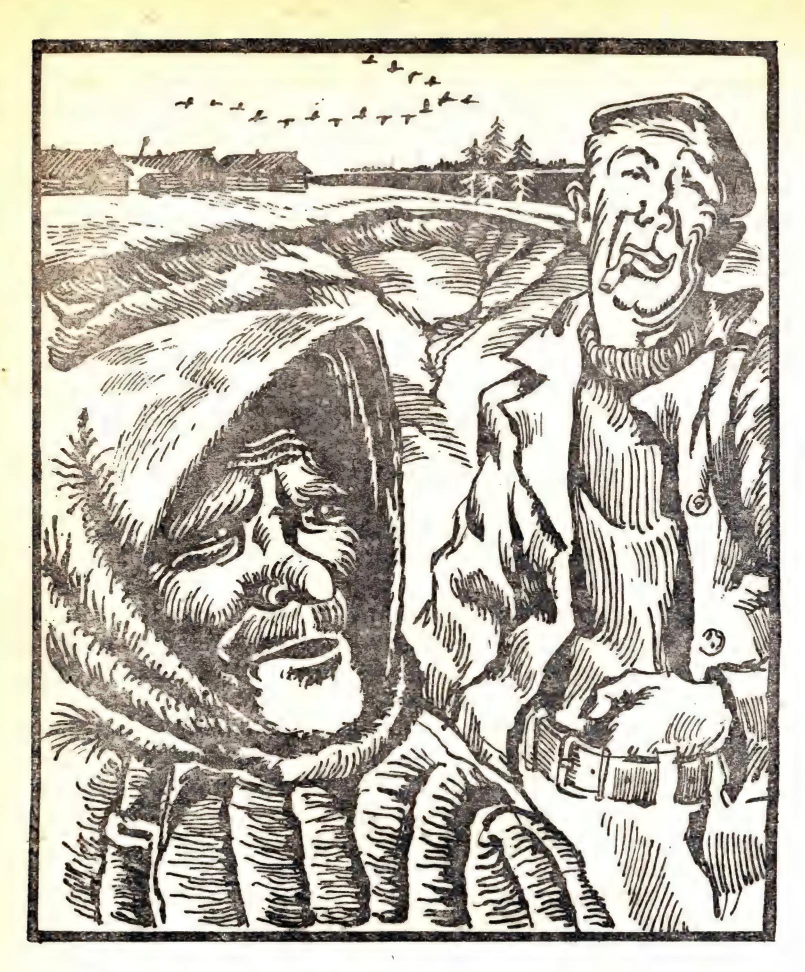
Навстречу, чуть сгорбившись, шел мужик в парусиновой куртке и долгих резиновых сапогах, он, наверное, что-то нес за плечами. Приглядевшись пристальнее, узнала вскоре Саньку Морозова. Опять в тайгу сбродил, браконьерил, семгу воровал. Ой, как ожглась на нем Феколка, до сих пор даже на пустые руки дует.

Лет пять назад постучался в ее домишко, попросился на ночлег, а у самого изба на другом конце деревни, ведь не за сто верст топать на ночь глядя. Феколка на собаку цыкнула и гостя впустила. Тот в комнате долго шевелил длинными белыми бровями и кривым латаным носом, даже плакал, кажется, и сказал, мол, в семью не вернется, совсем с женой расскандалили, а он Феколке хорошо уплатит, пусть только приютит на несколько дней.

Хорошо знала Феколка «прихильника окаянного», а тут вдруг поверила — ее счастье на пороге. Ну, молод, двадцать лет разница, эка беда. Эта мысль уже позднее пришла, когда общим столом зажили...

На деревне Феколку заплевали, двоюродница Параскева прокляла, в магазине плечами затолкали, однажды чуть в прорубь не спихнули. Кто бы в душу мог залезть да посочувствовать ее одиночеству? Небось живут, красуются, есть к кому голову приклонить. Заплевали Феколку, мол, бесстыдница она и залить бы ее адское нутро горячей смолой — и такие посулы были,— раз отбила сорокалетнего мужика от жены да четверых детей.

А Морозову что, только похохатывал на людях, да Феколку кастил по-всякому, подсмеивался над ней, рассказывал, как она к нему ластится да невинность строит в шестьдесят-то лет, будто с Марса свалилась. Люди слушали и тоже подсмеивались, когда играл он длинными белыми бровями и кошачьи круглые глаза мерцали отчаянно и злобно. Невозможно было не поддержать Морозова, черт знает, что у него на уме, может и ножом под ребро садануть, было и это однажды, за поножовщину пять лет отсидел. А в магазине Морозов отталкивал очередь плечом — худой сам, как жердь, но



кричал громко и все матом, а потом, когда начинали роптать люди, жаловался, мол, инвалид он и ему положено без очереди. И только Параскевы Осиповны побаивался он, потому как та не робела, а своим квадратным телом напирала на Морозова, сбивала его в угол и кричала в кошачьи глаза: «Какого лешего, инвалид. За двадцать километров семгу воровать ты не инвалид, от жены убегать к Феколке Морошине ты не инвалид... Бесстыжа ты харя. Да ту бабу, что народила тебя, нужно было свинцом, оловом запечатать, чтобы на свет такого ирода не выпустила».

И только Феколка надеялась на позднее счастье, всю пенсию на Морозова тратила, и наследство продала, и корову на мясо сдала. Но все по ветру пустил, без копейки Феколку оставил, ушел к Андрюшиной вдовице, у той житье больше. Сейчас ту бьет и пропивает ее житье, в синяках ходит баба да еще хвастает, мол, раз бьет, значит, любит. А Феколка с месяц, наверное, для изменщика казнь строила и наговаривала на него беды, но не брали этого человека никакие напасти.

А сейчас он шел навстречу. Остановился даже, не спрятал кошачьих зеленых глаз, кривой нос шевельнулся.

— Каково разживаетесь, Фекла Афанасьевна?

Феколка побледнела, ее серые глаза побелели от ненависти.

— Уйди с дороги, лешак окаянный. Уйди, семя крапивное.— Еще крепкими руками пыталась столкнуть Морозова с мостков, а тот кривлялся худым железным телом и насмехался:

— Ай да Морошина, ай да...

Феколка плюнула, надвинула платок на лоб и пошла своей дорогой, а Морозов весело щурился и вдогонку кричал на всю деревню:

— А как нашу-то Феколку никто замуж не берет...

«Ну, что с глупого возьмешь?»— подумала Феколка, и ее лицо еще больше пожелтело с досады. Нынче Морошине исполнилось шестьдесят пять, но телом она будто и не старела, была столь же костиста и пряма ее спина. И ныне Феколка ела за доброго мужика, знала все темные урочища за тридцать верст вокруг, и даже в самый сухой, неурожайный год она была с ягодами и грибами.

Феколка и сегодня хотела сходить на Воргу за волнушками, но испугалась дождя. Он заладил изо дня в день, непрерывный, частый и мелкий, словно туман. У Феколки сапог не было, а в калошах много не набродишься, вымокнешь до груди, еще схватишь простуду и намаешься на старости лет. Уж черт с ними, с грибами, сколько наношено, хватит, одной немного и надо — не семью кормить.

В воспоминаниях Феколка плавала, словно в широкой заводи со множеством проток. Она путалась в разных мыслях и по старости своей тут же забывала их, недолго и горюя. О недавнем друге Морозове она боль-

ше и не вспомнила, ей вдруг захотелось есть, и она принесла с повети свежепросольных грибов, залила маслом постным, накрошила луку побольше, и так, макая куском в масляный соус, Феколка съела весь кирпичик хлеба, а потом запила ковшиком холодной воды, рассуждая, что самоварчик она, пожалуй, поставит ближе ко сну.

Уже вечерело. Феколка еще посидела любопытно около низенького окна, давно немытого, закапанного дорожной грязью. Когда перед избой буксовали машины, они брызгали на всю улицу. Дождь моросил попрежнему, по мосткам никто не шел, потому на лужи смотреть было неинтересно.

— Ох-хо-хо,— зевнула широко Феколка. Глаза ее утеряли обычный злой блеск, словно бы кто мазнул по ним белой краской и затуманил их.— День да ночь, сутки прочь. Так-то оно все ближе ко краю.

Из медного умывальника капало гулко и постоянно, в переднем углу за иконой, где отстали обои, терпеливо шуршала мышь, догрызая что-то обеденное, у ног на полу лежала Альма, ласково и требовательно постукивая хвостом: хозяйка, наверное, позабыла накормить.

Тяжело шаркая шерстяными головками — они от грязи так задубели, что походили на резиновые сапоги,— Феколка сбродила в запечье, принесла оттуда горшок молока, мусор застыл и не плавал в сливках. Пену она сдула в сторону усатым ртом и, приговаривая: «На, кушай, деушка ты моя», налила в железную чашку, накрошила хлеба, а потом опустилась прямо на пол и, облокотясь о приступок, гладила черную теплую собачью спину. Альма прядала ушами, они остро прыскали в стороны, от удовольствия легкая дрожь волной проплывала под гладкой короткошерстной шкурой. Собака скользила задними лапами по полу, словно напирала грудью на стену, и сладко постанывала.

— Изголодалась вся, подруженька ты моя.

Два рыжих кота топтались неподалеку, но к молоку подступиться боялись, потому что хозяйка то и дело махала на них рукой, и, только когда Альма сыто вытянулась на полу, вылизывая живот, коты зафырчали над тарелкой, вычищая остатки.

А серый свет совсем померк. Феколка зажгла лампу, поставила на краешке стола, открыла сундук. Крышка когда-то изрядно обгорела, Феколка пробовала очи-

стить железные полосы от гари, скоблила их кирпичом, и они были словно бы побиты оспой. Дубовые доски со временем потемнели, и уже трудно было отличить горелые места. Из глубины сундука на Феколку пахнуло затхлой сыростью и нафталином, свечами и тем легким запахом тлена, который трогает давно лежалые вещи. Недаром говорят, что одежда сундуков боится, а чем больше ее носишь, тем дольше она стоит.

Легкая, как тень, скользнула из одежды моль, оставив на сарафане желтое пятнышко пыли. «У ты, оборотень»,— зло и растерянно вскрикнула Феколка и сотый, наверное, раз стала перетряхивать платья. Особенно взволновали тяжелые шелковые платы, гордость Феколки, ее состояние. Она рассыпала плат по засаленной поддевке, и он, приятно холодя шершавую шею, обтекал плечи и тело, уплывал мохнатыми бордовыми кистями к полу. Феколка поступывала широкими ногами по половицам, потряхивала плечами и воображала себя молодой: «Уж как Иванова матушка, она три часа радовалась, что сына спородила, высокошенького выростила». Потом почти девическим движением рук Феколка сбросила плат с плеч, тряхнула в воздухе перед самой лампой, белые розы, ослепительно вспыхнув, поплыли по алому нежному полю. Но будто желтая рябь проткнула плат. Феколка хлопотливо всхлипнула, всматриваясь в дыру, а там еще одна, и еще — изрядно поела моль. Каждый раз, осматривая сундук, Фекла видела, как тает ее девическое приданое: этот оборотень, серебристая и легкая бабочка, был безжалостен.

Плат выскользнул из жестких Феколкиных рук в темное жилье сундука. Какое-то отчаяние опрокинуло ее душу, словно оборотень отрезал от ее жизни лет десять, именно тех, о которых особенно мечталось. Феколка взяла со стола лампу и заспешила по комнате, осматривая все темные углы, и запечье, и наблюдник, залезла под кровать и под подушку, разыскивая ту моль с тупым наслаждением и отчаянием.

Она нашла ее на своей фуфайке, но не хлопнула сердито, оставив только желтую пыль, а, словно стеклянную, накрыла ладонью и так, собирая пальцы в пригоршню, прихватила все-таки бабочку, потом долго и с удовольствием рассматривала у лампы, говорила вслух:

— Теперича баловать со мной бросишь, ведьмино зло.

Из ватной подушечки достала иглу и приткнула моль к обоям. Потом вернулась к сундуку, чтобы продлить любование, но только ворохнула шерстяную, когда-то фасонистую юбку, как оттуда вылетело сразу два легких крылатых существа. Горе охватило старую Феколку, она опустилась на пол и заплакала от одиночества. Она плакала, словно ребенок, коротко всхлипывая маленьким острым носом, и верхняя усатая губа обидчиво подрагивала. Феколка часто сморкалась, размазывала слезы по щекам морщинистой черствой ладонью и причитала:

— Пойду к Кольке Азиату. У меня топоров много, да пилья много, да сарафанов сундук. Меня кол-хоз должен опри-ю-тить. Не мо-гу я так бо-ле жить.

Председатель Радюшин предлагал не раз и не два, мол, бабушка Фекла, одинокого человека и мышь пообидеть может, давайте я вас определю в дом престарелых; так нет, глазами сверкнет, фыркнет: «Я, да буду кусок из чужих рук глядеть? Тут хоть и плоховато, да пензия, в свое время встану, в свое время и поем. Мы у матушки, у татушки с детства неволи не видывали».

Что и говорить, был у Феколки Морошины родитель богатым оленщиком, не пятьсот ли оленей у него было, дом большой содержал, и мебель богатая по тем временам стояла: зеркала с фигурными кружевами, и стулья на венских гнутых ножках, и сервиз чайный тонкого фарфора. Феколка одна была дочь, ей потакали, а была она высокая, коса черная, смолевая, с руку толщиной, щеки круглые и словно клюквой обрызганы, оттого и прозвали ее Феколка Морошина.

Отец у нее сразу после революции умер, оставив наследство. Правда, его никто не считал и в сундуки не заглядывал, но поговаривали, что большое. Еще Сашка был, брат, но с ним тоже неприятность вскоре приключилась. Пришел однажды к Паранькиным братовьям в гости с приятелем, и тут привелось вдруг — выскочила из опечка мышь. Ее поймали да вынесли на улицу. Завозились с мышью, и Сашку нечаянно приятель о жердину толкнул, и у Сашки спина хрупнула. А тот сгоряча приятеля стеганул палкой по спине, и тоже что-то хрупнуло. Оба поболели и на одном месяце умерли. Так Феколка Морошина осталась одна в огромном доме.

Потом время пришло любить, возраст такой, когда

смутные сны тревожат ночами и томлением сладким сводит спину. Но, может, красоты ее боялись, может, наговоры злые были спущены на Феколку, только не брались провожать ее парни домой и на посиделках стороной обходили.

А она-то на вечеринке головы не клонила, спину строго держала и на коленях даже самым кавалеристым парням сидеть не позволяла, хотя принято было так,— боялась уронить себя. Но, как вернется в пустынную избу, пройдет темной поветью, боясь собственных шагов, да упадет на кровать, тут и лезут греховные мысли, тут и приходят обильные слезы. Тогда вспоминала Феколка вечеринку от первой минуты до последней, кто на нее взгляд бросил да кто руки нечаянно коснулся. Мелкие парни да веснушчатые, те не в счет, но вот Мишка Сырков сегодня по-особенному глядел: семечки сплевывал, а глазами в ее сторону так и насверкивал. Нет, не могло ошибиться Феколкино сердце, вот она, любовь. Пришла.

А на следующий вечер катались с угора на санках и Феколка будто ненароком подсела к Мишке, навалилась парню на плечи, шапку лисью долой, вцепилась в пшеничные волосы — ой, как хлебом пахнет. Но крепко сидит Мишка, только покряхтывает, сопит под Феколкиной грудью. А девка сомлела от любви, еще пуще воротит Мишку на сторону. Тот на санках не удержался, покатились в сугроб. Все перепуталось, переплелось. Да вздумалось еще Феколке толкнуть парня, пока тот собирался на ногах утвердиться.

Мишка было и сердиться начал, побежал за девкой, обжал за плечи. Жарко дышит Феколка и крепко стоит на ногах. Любила, бывало, Феколка бороться с братом, когда жив был тот, ничего ей тогда не надо, только дай побарахтаться. А с Мишкой вдвойне любо, ее тут не опрокинешь, как ни старайся. Кругом все хохочут, подзуживают, но хитро вьется девка лисой под руками, только длинная коса по глазам хлещет. Но уловила Феколка Мишкино отчаяние. Любовью своей уследила тот миг, когда может озлиться парень, и поддалась незаметно, качнулась в снег, глубоко утонула, только глаза, словно две сизые мухи, бьются. Мишка сверху лежит. Руки тонут в сугробе, а может, и вставать не спешит. Твердые щеки царапают Феколкины губы, и отдаваясь своей отчаянной радости, шепнула она Мишке: «Ты приходи вечером-то, а?»



Что было там, что было... Но только через неделю показалось Феколке вдруг, что парень к другой льнет. Ночью она ревниво плакала во сне, а утром, чуть свет, стала тесто месить, колобы тяпать. Ну и добавила туда приворотного зелья. Тут и Паранька, малая подруга, прибежала, на шею навесилась, у нее-то на уме совсем еще детство — десять лет девчонке на покров стукнуло. Поведала ей тайну Феколка и попросила Мишку позвать на чай, на колобы. А Паньке страшно стало — Мишка парень завидный, а вдруг с ним чего чудное случится,—

вот и открылась девчонка ему: «Тебя Феколка присушить хочет. Ты колобов не ешь».

Парень обещался, но на чай не пришел, подкараулил Феколку на улице, когда та на посиделки шла, и при всех стеганул кулаком в лицо, да так, что упала она в снег и долго подняться не могла, а Мишка на всю деревню кричал: «Я тебе покажу, Морошина, как отраву мешать...»

А Феколка стояла на коленях, спутанные волосы закрыли лицо, она не могла и не знала, как возразить и как сказать, а только недоуменно шептала: «За што ты меня, Мишенька, за што?»

Через месяц поняла вдруг, что затяжелела от Мишки, ходила еще темными улицами, пугливо таилась за черными банями, глотала горький березовый дым и давилась слезами, когда слышала радостный Мишкин гогот: крутил парень вторую любовь.

Феколка вдруг стала домовитой. Волосы она не собирала в косу, а вязала лентой, и, когда тихая и спокойная сидела за прялицей, тихо шуршали смоляные жесткие волосы на расцветающей груди. Феколка слушала, как в ней полнится новая жизнь, гладила тяжелый острый живот, и если Феденька толкался (а Феколка знала, что будет Феденька) под самой грудью щекотно и неловко, то ласково укоряла: «Ишь, развоевался. Знать, свою работу ведет. Мужик растет».

Феколке было хорошо ныне и в избе: сумрачные тени казались обжитыми и домашними, шорохи на повети, ветер в трубе — детским голосом. Она и родила-то легко, за работой, что-то по хозяйству в избе вершила, у печи толкалась, тут и разрешилась... Феколка только раз и вскрикнула, привалившись спиной к кровати. Потом она еще долго держала Феденьку на руках, слушала вздох и не находила его, дышала в рот, а он был нем. Только через день взяли от нее Феденьку. Феколка убежала в лес, лежала там в моховых кочках, растерзанная горем, и чуть не одичала.

Но время — лучший лекарь. Вошла в ум Феколка, смеяться стала, не век же плакать. Жить надо. Полюбила Сеньку. У него были ржаные усы. Подарила Феколка возлюбленному братневы пимы, все уговаривала: «Иди-ко ты, Сенюшка, ко мне в принятые». А парень крутил рыжие усы, водку пил, а умом поминал: говорят на Кучеме, мол, Феколка-то детей душит.

— Приду-приду,— ласкался Сенька, но убирался за порог в непонятном страхе. Уж слишком жарка и ненасытна в ласках Феколка Морошина, «как есть дьяволица». Так вот однажды ушел Сенька и стал с тех пор стороной обходить Феколкин дом да напраслины на одинокую городить.

А Морошина уже для нового сына приданое шила, обвеличать Ванюшкой готовилась. Но и второго не пришлось кормить грудью, даже разочек не куснул Ванюшка маменькин полный сосок. Тогда почернела Феколка, пить стала. Родился яростный блеск в глазах, в те дни избу по пьянке спалили. И некому было пожалеть Феколку, когда и третий парнишечка не зажился, на восьмом месяце угас.

Так получилось, что среди людей стала Феколка рада и живой собачке. Она ходила по Кучеме настороженная, с сухим блеском в немигающих глазах, черный платок низко надвинут на лоб, как есть колдунья, а сзади, в двух шагах, на коротком поясном ремешке, черная, как ночь, сука с вислыми лохматыми ушами...

Еще долго убивалась-печалилась Феколка у своего сундука, где лежало наследство Феди, Ванюшки и Николки, потом крышку захлопнула с гулким треском, самовар наставлять не стала, теперь чай в горле застрянет комом.

— Альма, поди на кровать,— крикнула Феколка, толкая ногой собаку. Та сладко потянулась на полу, и когти застучали по половицам, потом прыгнула на деревянную кровать.— Ноги-то растяни, дурья башка, да голову на подушку положь.

Альма послушно расстелила на перине длинное вихлястое тело, острая голова лежала на подушке, и одним омытым слезой глазом благодарно смотрела на хозяйку. А Феколка старательно и долго возилась на приступке, раскладывая на горячей печи фуфайку и поддевки, чтобы не снилась всякая чертовщина, потом осторожно легла на жесткую свою постель и стала загадывать сон. Она уже забыла о своей недавней беде, тут вспомнились часовня и длинная вязкая дорога туда.

В избе было темно и тихо. И, странное дело, эту теплую тишину крохотного домика не нарушали ни звонкая капель из умывальника, ни жадная возня мышей.

А Феколке приснилось вдруг, как бежит она, молодая, горячая и потная от молодости, она бежит по снегу, а догоняет ее Мишка, длинный и нескладный. Он что-то непонятное кричит, и Феколка медлит шаг, ей так жарко в плюшевой жакетке, и она расстегнулась сразу на все пуговицы.

И тут Мишка догнал ее и хотел поднять, а Феколка заупрямилась, и столько в ней было силы, и стали они ломать друг друга, тяжело шагая по снегу, и все ближе смыкались рты, опаляя дыханием ждущие губы. И тут сердце сразу провалилось куда-то...

5

Молодое бабье лето началось с тепла. А если на успенье солнце, то и до одиннадцатого сентября будет ведрено, по всем старым приметам. А ведь еще вчера сыпал сиротский дождь и позавчера, казалось, концакраю ему не будет, так доживал свое август — жнивень.

А тут вдруг солнце, сквозь стекла совсем жаркое и палючее, словно июль на дворе, а не конец августа. Но на улице это солнце при сплошном голубом небе казалось уж слишком нарядным и грело бы вроде сильно, но тепло это отдавало холодом. «Надо же так»,— вяло подумал Радюшин, сжимая плечи в фуфайке. Солнце грело глаза, но словно бы ледяной ветерок плотно окутывал и щеки, и лоб, не пуская по-настоящему тепло. А это значит, что пришло успенье, ослепительно яркое и увядающее.

Трава хрумкала под сапогами, словно обмороженная инеем. Это уже поздняя трава, отава, сейчас она жесткая, как бумага. За рекой туман не успел растаять и под утренним солнцем свивался в невесомые струи, словно табачный дым. Первые лодки, тревожа белую воду, уходили на моторах на дальние пожни, а оттуда уже спускались другие, полные сена, похожие на зеленые речные дома. Трудное в Кучеме сено, здесь каждый клочок взят с потом и комарами в длительной месячной осаде; то, что нынче уже в зародах, это еще не сено, оно только числится для сводок как заготовленный корм. Но сегодня хитрое бабье солнце, а завтра придет с моря большая вода — моряна, ей эти километры не помеха, и зальет прибрежные пожни, возьмет с собой крестьянский труд

и лихо расклеит сено по малым островам и мелям, навесит для острастки на ивняках.

Ранним утром все шумы живут сами по себе. Где-то чихнул трактор, фыркнул и затих, чуть дальше ударила колотушка в жестяной дырчатый таз — это плотники-молдаване созваны на завтрак; тележные колеса раздельно прошлись по бревенчатым мосткам, значит, начальник аэродрома Мылюев поехал с утра в свою вотчину. Даже гнусавые моторы, огибая рекой длинный мыс, говорили меж собой своими голосами. Тот, что кашлюн, мотор Сеньки Окулькиного, знать, на семужье перекрытие повез рыбаков, а тот, что басит «у-у-у», это на «вихре» рыбнадзор вверх по Кучеме помчался.

Нынче мужик без своего мотора, как безногий без костылей, на шестах и за реку, на другой берег не толкнутся, «Ветерок» из амбарушки за сто метров на плечах вынесут и бензином зальют. На все это уйдет минут двадцать, а всего плавания не больше двух минут.

Радюшин долго стоял на берегу против своего дома. Нет, он особенно не радовался погожему утру и деревню не слушал, она была постоянной. То и дело председатель взглядывал на свои окна, замечал там лицо жены и сразу вспоминал вчерашний вечер. Голова у Радюшина болела, ему было тошно, стыдно. Надо было по-настоящему выспаться, часов до двенадцати проваляться в постели, но не заставишь проклятую натуру. В шесть утра сполз с кровати, как инвалид, долго плескался водой над раковиной и стонал сквозь зубы — ломило в висках,— потом морошечного сока три кружки освободил и кое-как отошел. Сидел на табурете, почему-то чертовски ломило ноги, заголил штаны, военные рубцы белели, будто веревки.

Жена лежала, отвернувшись к стене, одеяло подрагивало и сползало с плеч, значит, Нюра не спала, но и на мужа смотреть не хотела, она всегда так сердилась. А Радюшин бросал взгляд на круглое плечо жены, на беззащитный ее затылок в завитках мелких рыжих волос и почему-то никакого раскаяния и вины не чувствовал. Стыд был, да, был стыд, тягучий, до краски в щеках, до мальчишеского сплошного румянца, и была еще злость на себя, что так позорно разнюнился вчера. У Радюшина не было желания приласкать, погладить теплые волосы, потом шептать что-то глупое и покаянное, чтобы

Нюра наконец обернулась и медленно и прощающе улыбнулась сквозь слезы.

Может, возраст был уже не тот, кто его знает, но Радюшин уже не знал даже, любил ли он Нюру, нет, кажется, любил когда-то, и это было давно. Но если бы сейчас она вдруг встала и ушла навсегда, он, пожалуй, мучился бы до конца дней своих. Ведь так не замечают воду, когда ее море, и не ценят воздух, когда его океан...

По дороге в правление Радюшин встретил Параню Москву, она стояла у магазина на самой кромке угора и, приставив ладошку к глазам, рассматривала свою Дивью гору. Была Параскева в мужских резиновых сапогах и, наверное, куда-то собралась. Радюшин торопился на развод и ничего у Параскевы не спросил.

Председатель отправил мужиков на Великую косить горох и стал ждать «начальника рыбкиной конторы». Тот звонил еще три дня назад, обещал прибыть, но задержала непогода. Парамонов сейчас насиделся на аэродроме, ожидая летной погоды, и, наверное, был зол. Радюшин даже представил, как войдет Парамонов, напирая животом вперед и сверкая серыми рачьими глазами, и еще с порога гаркнет: «Чертово семя... Им бы еще в классы ходить, а они на самолеты лезут. А в наше время, бывало...» И начнет вспоминать, как летал на «аннушках» в тундре в самую непогодь с этим самым Шубодеркиным — широкие штаны, а пуржища глаза застит, а он, Шубодеркин, как черт, летит. А потом начнет грозиться: «Я из вас кислую шерсть выбью, я вас вытащу из этого болота, заставлю работать, а не станете, штаны спущу и березовой каши задам».

А рачьи глазки гневаются и хохочут, и рыжие кустики бровей устрашающе шевелятся. «Деньги заимели, в кассу спрятали и радуются, штаны протирают. Да на вас же стыдно смотреть, до чего вы безмозглые. Думать, думать надо. Деньги что, деньги пшик, дунь, и нет. Каждый день стройте что-нибудь весомое, завидное, заманное, чтобы люди копились в вашей деревне. Кипите же, черт вас возьми...»

Радюшин потихоньку забывал вчерашний хмель, смотрел в холодное, как прорубь, небо и ловил себя на мысли, что с нетерпением поджидает «начальника рыбкиной конторы». В кабинете было тихо и чинно, уборщица поработала тут пылесосом — все, как у порядочных,—

на столе на желтеньком с цветами подносике тонкий графин с водой.

Переложил бумажки с места на место, в ящике стола порылся просто так — тоска,— а в висках черные молоточки «тук-тук», а в глазах Нюркин затылок в рыжих колечках волос. Покаяться надо.

Позвонил на аэродром, узнал, что самолет будет в десять, значит, через два часа. Вот тебе и дикая Кучема. Сюда на лошадях сутки попадал, когда в председатели направляли, едва на болоте волки не задрали, а тут, как барин, с портфельчиком и даже без завтрака в газетке, к самолету подвезут. Час в небе — и все удовольствие.

Еще поглазел на светлую от солнца улицу, словно белилами подкрасили, даже глазам больно смотреть. Мостки за ночь не просохли, видно, дождь перестал лишь под утро, когда подул обедник — ветер с юга. Опять вспомнилось вчерашнее, смутное и вздорное. Видно, копилась годами усталость и прорвалась, замутила тоскою душу; эта горькая боль пока еще стояла в горле. А ногам уже хотелось куда-то спешить, рукам что-то делать. Таково, знать, постоянство крестьянской натуры.

Дел было, конечно, множество. Важно только начать, а там хлынут заботы по самое горло, успевай только отхлебываться. И опять на время растают душевные муки, и опять все станет светлым и понятным. И ноги действительно вынесли председателя Радюшина из его знаменитого кабинета на центральную улицу, мимо новых домов, двухквартирных, обшитых шелевкой, и мимо двухэтажных косоплечих изб, которые покривило время. Теплые домашние дымы обкуривали деревню: мужики вернулись с дальних покосов, теперь они будут полдничать дома, да и сыновья наехали из Мурманска, где встал на ремонт СРТ.

Долгий крик отвлек Радюшина от раздумий. На крыльцо вышел бригадир Лагунов в нижней рубашке, наверное, пришел завтракать с поля, тут всегда поздно завтракают, уже обычно наработавшись, и, еще не заметив Радюшина, закричал в сторону другой избы, где на крыльце стояла низкорослая женщина.

— Маруська, ты пошто на скотный не вышла? Поставлю баранку, ведь прогрессивку скинут.

— А ты, бригадир, свою толстомясую поставь. Я вон

всю ночь теленка принимала, еще часу не сыпывала. А твоя благоверная болет если, так пошто вечерами сено с реки на себе, как кобыла хороша, таскает. Тут она не болет. Думаешь, мы слепые, думаешь, мы ничего не видим, думаешь, мы безмужние, дак на нас каждый ездить может?.. На-ко, выкуси,— показала фигу и ногу вперед выставила, приготовилась к долгому спору. Но тут из-за крайней избы вышел Радюшин и попался на глаза Маруське.— Вот и председатель тебе скажет. Николай Степанович, голубчик, да што же это деется, мы же не лошади, чтобы на нас денно и нощно ездить. Совсем на шею сели...

Бригадир, заметив Радюшина, сразу зашел в дом, а Маруська все продолжала что-то кричать на всю деревню, уже совсем непонятное, потому что торопилась высказаться разом. Радюшин постоял у ручья, потом махнул рукой: «Ладно, после разберемся» — и пошел на ближние покосы, а вслед еще неслось:

— Вот так всегда, в глаза открыто ничего не скажешь.

Вот уже обобщила... Ой люди-люди, усмехнулся Радюшин и тут же отвлекся. Легкий напряженный гул донесся до деревни, похоже, что по реке спешит моторка, но вот звук стал четче и гуще, вскоре накатился на деревню, полонив ее, стекла в избах звякнули, вызывая жителей на аэродром. Улицы ожили, стар и млад встали на горбатых дорожных изгибах посреди деревни, не двигаясь далее, за околицу, так уж принято здесь, приставили ладони к глазам, высматривая пока крошечные фигурки. Некоторые вдруг всплескивали хлопотливо руками, спешили к прибывшим, суетились около, отнимая чемоданы и сетки, и тогда по всей деревне из уст в уста неслось радостное и немного завистливое:

— Венька-то Окулькин опять накатил. Форсистый парень, на пароходах ходит. Матери-то счастье. Совсем одиноко живет.

Радюшин стоял на самой околице, на крутом выкошенном бугре. Здесь ветер был смелее, он чесал волосы на лоб, кидал на глаза. Радюшин до слез пристально высматривал среди пассажиров «начальника рыбкиной конторы», но того не было. Председатель еще потоптался, разглядывая деревню. Под прощальным августовским солнцем она казалась совсем новой. А вокруг цвели поздние клевера, оранжевые бабочки качались на вялых

фиолетовых цветах, отряхая желтую пыльцу, дурманно пахло диким луком и полынью.

Гнедая лошадь хитро, боком придвигалась к стогу, хрупая жесткую отаву. Круглым глазом гнедуха косилась на Радюшина, не пугаясь, а остерегаясь того. Ей хотелось терпкого сена, завяленные солнцем клеверины заманно шевелились на ветру. Радюшин пугнул лошадь, руку запустил в стог, чтобы проверить, не горит ли он. Травины, словно живые, щекотали кожу, цепляясь за волос. От этого касания становилось легко, тягость в душе мешалась с теплым пахучим воздухом и растворялась в нем. Радюшин опал боком на пологий склон, приложил ухо к кусачему сену, прислушался. Жарко и хмельно дышал оттуда, из самого сенного сердца, кто-то живой и добрый. Радюшин опустился на стог, цепляясь рукой за подпору, скатился к подножью, и тут разум его сдался, не смог противиться сну. И даже там, во сне, кто-то тепло и влажно дышал в ухо и шершаво перебирал волосы. Радюшин еще во сне пытался снять с себя надоедную тяжесть и не мог, а потому насильно выплыл из забытья, а открыв глаза, увидал бархатные сивые лошадиные губы, которые щекотно слюнявили ухо и дышали жарко прямо в лицо.

Степушка вставать не спешил, ведь если в отпуске не поспать, тогда, где и отлежаться еще можно. И пока мать не стащила с него одеяло, он бездумно глазел из глубокой перины на крашенный синькой потолок. Сквозь прищур глаз потолок казался огромной картиной, где сквозь смутную пелену проступали вдруг неожиданные лица, лошади и всякое страшное зверье. Вот так, рассматривая потолок, можно было лежать до невозможности долго, но тут пришла мать, стянула одеяло и скомандовала:

— Вставай давай, чай совсем простыгнет. И обещался мне за сеном для белеюшек съездить.— Тут же и в простенок забарабанила поленом, специально для этой цели в углу хранится.— Брательник Михайло, поди, давай чай пить, если хошь.

Самовар расшумелся — хозяйкина натура,— обнимая паром пузатый фарфоровый чайник. Из носика звонко тенькала вода на медный поднос, солнечные пятна пронзительно светло плавали и на подносе, и на самоваре,

отражая куцую кривую кухню, горбатую печь и Степушкино длинное, во весь никелированный бок, лицо. Степушка скорчил рожу, и двойник в самоварном солнечном зеркале тоже совсем по-мальчишески скривился. Бывало, в детстве Степушка страшно любил строить перед самоваром рожи, пока не получал от Параскевы по уху. А нынче Степушка был уже в женихах, мать перерос на целую голову, да и Параскеве было не до сына. Она думала какую-то свою думу, качая крупной головой и потирая ладонью седые волосы. Дядя Михаил, мешковатый и сухой, макал баранку в стакан и потом обсасывал ее, шумно запивал чаем. Сегодня он был еще тих, чувствовал недавнюю свою провинность и потому отмалчивался, чтобы не вызвать Параскевина гнева.

Степушка поел сига. Рыбу мать испекла еще с вечера, за ночь она затвердела и потеряла вкус. Да и с похмелья какая еда пойдет в рот. Степушка не был пьяницей, зря на него поругивалась мать, но, правда, когда попадало в рот, то уж потом накачивался изрядно, наутро мучался и весь день отходил кефиром. А вчера вот мать вовремя остановила, вытащила из-за стола, не дала разгуляться, и сегодня, на диво, совсем хорошо, и голова в затылке не трещит. Чего нет, того уж нет...

— Кушай, сынок. Вон сколь худой. Макай рыбу-то, не стесняйся, дома небось живешь, не на чужой стороне,— отвлеклась от своих дум Параскева. Сама еще чашечку под кран поставила, только разговелась первым чаем, у нее долгое сидение у самовара. Да и что делать — печь истоплена, скотина обряжена, полы сверкают.

— Пока мать жива, есть куда приехать, слава богу, свой угол — не чужая сторона, за порог не выметут. А уж как помру, сами знаете, как жить.— Параскева говорила сердито, видно, не с той ноги с утра встала. Степушка поморщился, раздраженно подумал: «Ну, завела пластинку на час». Хотел что-нибудь напротив сказать, но вовремя прикусил язык. Опасно гневить мать. Михаил стакан поставил в блюдце вверх донышком.

— Спасибо за угощеньице. Пойду зароды городить...

— Ты, как дюк, не работай. Давно ле из больницы. Ты остерегись, а то дорвессе до работы, тебя не остановишь,— сурово проводила Параскева брата. А Степушка, отвернувшись к окну, выглядел в это время председателя, понурого и серого на лицо.— Опять куда-то, сер-

дешный, по делам, однако. Нет-то у него минутки спокойной,— сказала Параскева, тоже усмотрев Радюшина, да и как было пропустить мимо, если вся деревня проходила ее мосточками мимо низких окон, да и не случайно сидела Параскева Осиповна спиной к двери.

Как самолет пролетал мимо, огибая деревню, они слышали. Только запели оконные стекла. Параскеве бы тоже выскочить на волглые мостки, руки в бока поджать да всмотреться в голубой конец улицы, где сразу и начиналось небо, так нет, засиделась у самовара. Да и кого было нынче встречать? Дочери все отгостились, сыновья с семьями, детишки в школу собираются, тут не до гостеваний, а меньшенький, Степушка, тут, весь перед глазами. Значит, высмотрены нынче дети, все живы-здоровы, опять зиму жить можно, пока не затоскуется, не заплачется.

Степушка сидел в переднем углу под портретом Буденного, уставший от сна и безделья, и крутил под скамейкой босыми ногами. Параскева мыла посуду, уже отмякшая душой. Пела тоненько, с подвывом, так зимний ветер ночует в трубе:

Ой, сяду под окошко да скрою край окошка...
Там озеро широко, ой, озеро широко. Да белой рыбы много.
Ой, дайте-подайте мне шелковый невод.
Ой, шелков невод кину да белу рыбу выну...

В общем, как и сына, проглядела Параскева гостью, только когда весело брякнуло дверное кольцо и дверь без спроса, без стука открылась, тогда увидала постойщицу Любу. Ахнула, всплеснула короткими руками, о фартук вытерла, губы поджала, но с венского стула не встала, не поднялась, не заспешила к двери. Постойщица Люба, розовая не то от солнца, не то от волнения, чемодан у печки оставила, сама тоненькая, совсем девочка, руки спрятала в голубенькую болонью.

— Едва попала. Самолеты худо летают. Дождь-дождь-дождь. Ну, здравствуйте, тетя Паня.

Тихо и как-то робко подошла к Параскеве, подала узкую ладошку, и только тогда встала хозяйка, а перед тоненькой постойщицей Любой оказалась она совсем кургузой, ну как есть обрубок корня.

— С бываньем вас, Любовь Владимировна. Уж ваша комнатка не трогана, ваша постелька не вымята, поду-

шек чужая голова не касалась, и по полам не ступано. С чем уехали, к тому и прибыли.

Параскева хитрила, говорила почему-то кругло и сладко, будто с чужой встретилась, хотя длинной прошлой зимой, слушая застенные шорохи, не раз подумывала: «Вот бы Степушке невеста». А сейчас вглядывалась в узкое, старого иконного письма лицо, «от староверов пошла, их корень», в туманные черные глаза, искала в них желанное и понятное и, наверное, разглядела еще девичье, скромное, сразу заволновалась.

— Ой, что я разговорами вас, Любовь Владимировна, кормлю. А мы только чаю попили. Угольков спущу, быстро зафырчит. Он у меня послушный кобелек.

Мимоходом поленом застукала в стенку, вызывая брата.

— Михайло, невеста твоя приехала. Поди полюбуйся. Дома-нет, ты, Михайло?

Дядя из боковушки почти прибежал и, уж чего не ожидал Степушка, обнял постойщицу и троекратно расцеловал. А девушка не отбивалась и лицо не воротила на сторону, а приникла лбом к морщинистой Михайловой шее.

— Соскучилась я по вас. Мама привет и благодарностей много шлет. Как вы тут живете? — застегнула пуговку на его синей рубашке, воротник оправила, а сама плащик так и не сняла, словно обвыкала заново в этом доме.

— Какое у нас нынче, у стариков, житье. Так, доживанье,— растерянно сказал дядя Михаил, и Степушка опять с удивлением заметил, как помолодел дядя, и словно морщины оправились вдоль щек, и ореховые тусклые глаза омыло легкой торжественной влагой. Да и сам Степушка вдруг забыл Милку, как будто и не знал ее, и с глубокой завистью и сожалением заметил Любину красоту. Какая-то доверчивая мягкость и характерная твердость угадывались в тонком носу, и в темных окружьях под глазами, и в коротких стремительных бровках. Лицо было нежное, с упругой и смуглой кожей, и только в маленьких плотных губах таилось еще совсем детское, чуть капризное и слабое.

Степушка, украдкой рассматривая учительницу-постойщицу, вдруг с грустью подумал и о себе, неуклюжем и некрасивом, и о том, что у Любы, наверное, есть парень, она с ним ходит в кино и поочередно ест одно мо-

роженое, потому что в зале целоваться не совсем удобно, и это, наверное, очень здорово — есть в прозрачной темноте одно мороженое, касаясь губами следов ее губ.

Девушка вроде бы и не сказала больше ничего, но возникло ощущение, что сказано удивительно много и ласково, и каждому нашлось единственное и хорошее слово, словно подарок, который обычно привозят домой.

— Ты, Любушка, все прежняя,— сказал дядя Михаил, уже будто побаиваясь учительницы и сторонясь ее. Он, видно, собрался на луг и сейчас мял в руках рыжую шапку-ушанку, все порываясь уйти, отодвигаясь к порогу, потому что внезапно разглядел Любу и удивился ее красоте... Вот есть же люди, которые с первой встречи внушают неожиданно радость и поклонение, и этому чувству отдаешься покорно и с удовольствием.

— Ну, вот, обнимались-целовались, а поговорить не об чем. Тоже мне жених. Давай поди на работу-то,— сказала, смеясь, понятливая Параскева, выпроводила брата за порог, сама за руку привела Любу к столу.— Ну, садись, невестушка, будем по новой чаи распивать,— и посмотрела на девушку, что ответит та. Люба смущенно склонила голову, и любопытство Параскевы Осиповны было умиротворено: «Значит, в деушках...» — А у меня сын в гостях. Степушка. Такой непутний, нет бы дома остаться, матери чем помочь, ведь скоро и дров самой не занести. Так нет, видишь ли, в городах его молоком поят. Вы, Любовь Владимировна, познакомьтесь, он у меня смиреной. Да за ручку, за ручку,— заметила Параскева, когда увидала нерешительные поклоны.

— Да ладно, болтаешь тут всякое,— оборвал Степушка и, неловко выбираясь из-за стола, чуть не опрокинул самовар.— Где у тебя инструмент сажу пахать! — И, уходя, еще тихо бормотал: — Останься дома, так запилит-заест. Нудит и нудит, как старая бабка.

Степушка нашел на повети веревку с обрывком сажной старой сетки, привязал еще кирпич для тяжести, потом приставил к избе лестницу, уже зыбкую, дрожащую, с зелеными лишаями на перекладинах. Крыша была высоко, и лезть было опасливо. Когда перебирался через первый этаж, увидал в окне тонкий ее профиль и вздернутый нос. Чувство неожиданной любви навестило Степушку. Ему захотелось наплюнуть на эту работу, а быть за столом и пить с Любой чай. Но Параскева увидала в окне Степушкино лицо и погрозила пальцем.

Лезть на крышу пришлось.

Как давно он не был здесь, наверное, лет шесть, да, пожалуй, с тех пор, как кончил школу. Крыша прохудилась, желтые мхи пробивались в пазах, доски потрескались и были прошиты черной слоистой паутиной старости. Изба уже не казалась такой высокой, как в детстве, правда, и прежней смелости не было. Степушка пробовал подняться во весь рост и вбежать на самый охлупень, но подвели ноги, а давно ли взлетал на самый верх, цепляясь задубевшими подошвами за гладкие доски.

А нынче поднялся медленно, хватаясь за прибитую на скате лесенку, выглянул из-за охлупня, и что-то насторожило и испугало его. Ветра не было, даже невесомые воздушные струи не волновали толстую березовую листву. Еще над самой головой висело мутноватое осеннее солнце, и небо было прохладным в своей высокой голубизне, но там, над полями, над Дивьей горой, словно кто-то огромный и косматый пахал осеннюю пашню, поворачивая голубые пласты неба черной их стороной, и тогда серая и желтая пыль длинными хвостами завивалась все выше и в стороны, густея с каждой минутой. Все было как в кино: в совершенно душной тишине менялось небо, рождая беду, и если беда имеет свой облик, то он, наверное, столь же уродлив и темен, как эта грозовая туча.

Темнота испугала Степушку, захотелось скатиться с крыши, закрыться в комнате и за белыми занавесками ждать длинных грозовых раскатов, а потом, хоронясь от белых молний, лежать на кровати и слушать освободительный дождь. Но, странное дело, чем дольше разглядывал он вырастающую над Дивьей горой тучу, тем труднее было отвести глаза, словно таинственная магнетическая сила притягивала и приказывала смотреть туда.

Вместо того чтобы спуститься с крыши, Степушка, часто оглядываясь, просунул в трубу сетку с кирпичом и стал таскать ее за веревку вверх-вниз. По кирпичам шуршали камешки, наверное, крошилась обмазка и гулко стукалась о чугунную вьюшку. Мать кричала в трубу снизу, из комнаты:

— Ты мне дымник не свороти, осторожней не можешь? Ничего прямо заставить парня нельзя сделать.

Степушка материны слова понял, но хотел крикнуть,

мол, гроза-то какая идет, страх один, и тут свет померк, солнце последний раз сверкнуло уже мутно в серых дымных хвостах и утонуло, легкий шорох, словно зажгли и погасили спичку, зашелестел над головой, туча ослепительно и неровно треснула. Но грома не было.

Едва успел Степушка спуститься по шаткой лестнице с крыши, как в дальнем конце деревни выросло желтое облако пыли, будто загнали в Кучему табун лошадей, захлопали ворота, замычали коровы на выгоне, тоскливо завыли псы, таясь под бревенчатые взвозы, а первый мутный поток воздуха осмотрел деревню до самых укромных закоулков, подобрал и унес в небо мелкий завалящий мусор и туго вогнал за Степушкой дверь.

Параскева, необычно тихая, растерянная, зашторила окна, торопливо побежала по комнатам, словно разглядела беду и сейчас искала укромный угол, чтобы схорониться от нее.

— Ой, погодушка, ой, гнев. Не дай бог нынче кому на море оказаться.

Обменялась взглядом с постойщицей, но от простенка так и не ушла, не полезла на печь, в жаркие сумерки, а отогнула краешек занавески и, словно подсматривая тайно, взглянула в неожиданно темную улицу. Напротив, у нового клуба — только полы осталос покрасить,— ветер раскидывал доски, всю щепу согнал с угора, обнажив вялую длинную траву. Двери, наверное еще без замков, вдруг с силой отмахнулись. Не слышно было, как хлопали они, но по тому, как пружинно и туго откачивались вновь и вновь, чувствовалось, что ветер разошелся не на шутку.

— Ты ворота хорошо закрыл? — крикнула Параскева сыну, но от окна так и не отошла, присела на табуретку, словно неясное желание тянуло на улицу, но она еще не знала, зачем ей идти в это светопреставление. А Степушка сидел в горнице на постели и оттуда, из комнатной глубины, любопытно и с постоянным теплым чувством все рассматривал Любу. Девушка так и осталась у стола, изредка коротко взглядывая на Параскеву, видно, грозовая тревога и еще смутная беда навеяли на нее страх. Но она была здесь в гостях и потому не могла убежать в комнату, как бы сделала у себя дома, упасть в кровать, заткнуть уши, чтобы не слышать хрипов и стонов, а может, и заплакать. Любино лицо побледнело, и смуглота его стала еще заметнее, густые ли-

хорадочные тени проступили под выпуклыми встревоженными глазами.

А ветер все нарастал, казалось, что по крыше ходят мужики, сдирают доски и бросают их наземь. Что-то с грохотом летело, сыпалось, хлопало, словно на поветь залетела старая слепая сова.

— Господи, что деется. Телегу-то по улице, будто соломину, волочит. Степка, тебе-нет говорю, поди ворота подопри, все с повети выметет.

Степушка сбегал на поветь, припер ворота железным крюком и снова сел на кровать. В горнице совсем стало темно, будто пришла ночь, только изредка и неожиданно желтые сполохи светло озаряли дом. Пугало неведение: что делать, как поступить, долго-нет будет идти ветровой шквал?

А Параскева все сидела у окна, разглядывая заулок, чисто промытый ветром, и крохотный кусочек дороги, потому что деревню закрывал клуб. Двери назойливо болтались, и это почему-то раздражало Параскеву и возмущало.

— Лешевы хозяева,— бормотала она,— все настежь отворят, кто хочешь, приходи и уноси. И что за мода такая? Неужели трудно прикрыть?

Параскевина хозяйственная душа не могла более терпеть. Параскева не знала, что на Кучему идет ураган, что рядом в тайге, будто косой снятый, ложится лес, что уже под самой деревней звонко лопаются провода и телефонные столбы ломаются, словно спички, и что после дозорных вихрей, раскидавших по берегу лодки, вот-вот придет самый главный ветер.

Параскева накинула на плечи полушалок и, как была, в ситцевом платьишке и потертой меховой безрукавке, вдруг быстро выскочила за двойные двери на улицу. Ветер сразу ослепил, стало невозможно дышать, будто в рот засунули тугую мокрую тряпку. Но Параскеву, кургузую ныне, как обрубок елового корня, трудно было опрокинуть навзничь, она покрутила галошами на изъеденных дождями мостках и устояла. А потом, будто шла через пропасть, в несколько шагов одолела заулок, попала в заветерье, где ветер не так долил и дышать можно было легко, вдоль стены прошла до крыльца, в стояк уперлась ногой и едва захлопнула дверь. Так и не отнимая руки, еще постояла, пока не затекли пальцы. Когда устала, невольно отпустила ручку, но дверь будто

приклеило, значит, ветер пошел на запад и теперь бьет в самый передок, а если чердак не закрыт наглухо, тут можно и крыши лишиться.

Параскеве хотелось свои мысли проверить, и она, дергая дверные ручки, наконец нашла ход на чердак, а там, «батюшки-светы, чего только не деелось». Это как трубу клали, так кирпич развалили по сторонам, песку кучи накиданы, обрезки досок валяются, и окно чердачное, конечно, не заделано.

Параскева подтащила к окну носилки — таскали глину, да так и не обиходили,— но это и к лучшему, потому что надежнее прикрыло чердачную дыру, когда Параскева носилки поставила стоймя, да еще досок настелила ряд и уперлась в них широкой спиной и седой головой, вернее, больным затылком. Она стояла, запыхавшись, потому что все торопилась куда-то, все спешила, а тут вдруг остановилась в совершенной темноте, и надо было сейчас просто стоять и чего-то ждать.

«Но старики же говаривали так,— думала Параскева,— если сквозняка на чердаке нет, то крышу хорошим ветром всегда подымет. Ветру бежать некуда, он туда заскочит и начнет шириться и дырку искать. Дай бог памяти, но в двадцать втором у Паньки Америки крышу с избы сняло и на огороды положило».

А тут у Параскевы совсем память отбило, что у нее в избе тоже чердак полый, ведь как средний сын в прошлом году перестилал потолки, так стекло вышиб доской, а вставить, довести дело до конца не успел, отпуск кончился, а значит, и ее крышу может начисто перешерстить. Забыла она о своем чердаке, ей-богу, забыла, ибо шальной у нее характер, в отца-папеньку, царство небесное, мягкой ему земли.

Четыре года было Паньке, никак не больше, случилось это... Надела мать на дочь все чистое, пусть не новое, но и без дырок, и на улицу спровадила с меньшим братом гулять. А весна была, у самого дома средь дороги лужа — купаться можно, но деревья еще листом не распушились. Мужики на угоре стоят, махорку курят. Тут и Санко Монах был, богатый мужик, склады имел, и лавка своя. Увидал Паньку, пальцем подманил: «Чья это егоза, не Осипа Крохаля дочь? А ну нырни в эту лужу, пятерку золотую дам. Нырни!»

И действительно достал пятирублевик, такого Нечаевы-Крохали еще век не держали в руках. «А ты сначала

дай, а то обманешь»,— сказала Панька, таращa ореховые глаза. Санко и дал пятирублевик. Девчонка зажала деньгу в кулачке и прямо в чистой одежде в весеннюю лужу бултыхнулась с головой. Мужики на угоре хохочут, а Панька в избу бежит и кричит отцу с порога: «Тять, тять, а у меня деньги. У меня много денег».

А отец, как увидел, что дочь вся грязная, с нее ручьи бегут на пол, ведь простудиться может девка, сразу ремень с гвоздя схватил. «Не бей меня, татушка. Я ведь деньги заработала, на них много можно муки купить».

А тот год голодный был, и в доме сыто давно не ели. Отец долго матерился, но пороть дочь не стал, пошел на угор выяснять, откуда у Паньки деньги, все никак не мог поверить, чтобы за просто так пятирублевиком одарили. А Панька сидела на печи голышом на каленых кирпичах и кричала на всю кухню: «Я деньги заработала, много можно муки купить».

Вечером отец принес из лавки мешок ржаной муки, мать замесила пресное тугое тесто, а отец сидел в переднем углу, жевал пока горькие от табака усы, качал Паньку на колене и повторял: «Ну и Панька, ну и Москва. Чудо какое-то».

...Ветер дул порывисто, сильно толкал в спину, галоши утопали в песке, и слабые ноги стали уставать. Параскеве казалось, что она уже век так стоит, в раскорячку, в совершенной темноте. Тут чердачная лестница заскрипела, посыпались топотко торопливые шаги, словно за кем-то гнались, только молодой так мог спешить, и Параскева подумала, что не Степушка ли хватился ее искать, и хотела уже выругать, почему так поздно явился. Она хрипло спросила в темноту:

— Степушка?..

— А ну вылазь,— закричал кто-то запаленным голосом, крик этот был столь ужасен, а может, Параскеве показалось от неожиданности, но только она вздрогнула и захолодела.

— Это я, Параня Москва,— откликнулась она просительно, уже узнавая грубый голос.— Николай Степанович, осторожней, тут можно и голову о стропила потерять.

— Слезай отсюда, старая матерщинница. Куда тебя леший занесет,— закричал Радюшин зло и нетерпеливо, его била горячая дрожь, как запаленного долгим бегом коня. Он только что был за деревней, когда начинался

ветер, и на его глазах разметало вершинные стога, как будто корова языком слизнула. И, торопясь деревней, он уже не так переживал за сено, как боялся неожиданной, еще большей беды, и тут увидал вдруг «ополоумевшую бабу», которая исчезла за дверью клуба. Этого-то только и не хватало.— А ну слазь, чертова баба. Зашибет доской, кто отвечать будет? — еще нетерпеливее закричал Радюшин в темноту. Сделал несколько шагов к чердачному окну, где сердито сопела Параскева, но к темноте глаза еще не привыкли, и председатель стукнулся головой о стропила. Морщась от боли, он завопил: — Кому говорено, слазь!

Крутой характерец у Радюшина, но и Параскеве на мозоль не становись, разнесет, как машина без тормозов; но тут от неожиданной ругани растерялась, ведь думала грешным делом, что хвалить будут.

Радюшин до Параскевы все-таки добрался, схватил ее за руку и попробовал оттащить от окна, но не тут-то было. Уперлась Параскева Осиповна, как пень, сопит, руками от себя пихает председателя:

— Отстань, чего привязался. Да отстань, тебе-нет говорено. Привязался тут, как репей.

И толкнула Радюшина с обиды посильнее. Тот вроде и мужик не слабый, а упал на спину. Параскева и про окно забыла, ведь как-никак человека обидела, бросилась поднимать его. Носилки свалились от окна, доски посыпались косо, Параскева сразу на песок шлепнулась, закрыв глаза. Но было удивительно тихо, до звона в ушах, и дом не шатался, и не улетала на огороды крыша.

Тут у Параскевы защемило левый бок от плеча и ниже, голова загудела в затылке, и стало трудно ей дышать. Но она, винясь перед Радюшиным, говорила:

— Сама не знаю, Николай Степаныч, как очутилась здесь. Сам черт меня попутал. Это стариковское поверье — при такой штормине чердачное окно закрывать, чтобы крышу не подняло.

— Ну и шальная ты баба, чуть меня не убила,— растерянно сказал Радюшин, не зная, смеяться ему сейчас или хорошенько обругать Параскеву.

— Шальная... Мне и отец, бывало, говаривал: ну и шальная ты, Панька. Не умереть тебе своей смертью. Это меня черт поманывает.

— У тебя с чертом союз, не иначе. Разве бы нор-

мальный человек полез в такую-то ветрину на чердак? Тут ведь смерть рядом.

— А я верой своей живу. Люди-то, они как? Кому во что думно, ту веру и гонят: кто в бога, кто в черта, кто и в человека. А я баба темная, так во всех понемножку верю. Без веры-то нельзя, без нее что за жизнь. Я ведь знала, что со мною ничего не приведется.

— На мужика ты была делана, ей-богу. Чуть не зашибла,— сказал Радюшин, поднимаясь. Параскева Осиповна тоже встала, голова у нее кружилась, когда она пошла прочь с чердака, зачерпывая ногами песок. Ей хотелось на улицу, на свежий воздух, а может, на кровать упасть, потому что в затылке тяжело тянуло и нужно бы голову прислонить к подушке. Параскева уже скрывалась в чердачном люке, когда председатель еще крикнул вдогонку: — Стога-то на моих глазах разметало. Чем коров кормить будем?

На улице было тихо и прохладно, только за домом (уцелел, слава богу) что-то кричали, может, спорили и, кажется, плакали. Но Параскеве сейчас было все равно, она с трудом прошла сенями, еще стукнулась больно плечом о деревянное корыто, в котором когда-то рубили капусту, а нынче оно совсем зря висело на стене, но снять все как-то не доходили руки.

Люба и Степушка так и сидели в разных комнатах, как Параскева оставила их, на столе громоздилась неубранная посуда. Параскеве казалось, что ураган длился целую вечность, но прошло только полчаса. Еще хотела сказать сыну, чтобы выкинул вон корыто, а то недалеко и до беды, потом за новыми быстрыми мыслями старые как-то растворились. Ей вдруг нетерпимо захотелось в баню, в самый сухой жар. Но ныне она не работница.

Параскева смахнула с головы плат и пластом упала на кровать, затылком к прохладной подушке. Раньше бы ее просить не надо, сама бы под гору десяток раз сбегала да баньку белую на два раза протопила и дала выстояться. Еще и вчера бы могла схлопотать, а нынче вот нет в руках силы.

— Степушка, натаскал бы ты воды в баню. Прошу я тебя, Степушка,— хрипло сказала Параскева, скосив глаза в сторону, туда, где сидел сын, но так и не разглядела его.

— Мы сейчас, Параскева Осиповна. Мы вдвоем-то

мигом воды наносим,— вдруг готовно отозвалась со стула Люба.

— Погорельски-то девки все красивы. А с лица будто и не наши, будто азиаты. Может, порода такая, всякий народ родится. Помоги-помоги, Любушка, Любовь Владимировна. Дай господь тебе хорошего жениха,— закрыв глаза, бормотала Параскева, слушая, как оттаивает голова и тело тихо теряет усталость. Ей бы полежать только, часика два полежать, а там она опять на ногах будет, тогда ее и батогами не уложить.

Она слышала, как закрылась дверь, как звенели на повети ведрами, вот засмеялась на заулке Люба, потом слышно было, как гулко пробежали мостками и недолго затихали шаги.

Степушка верхние пуговицы у фуфайки не застегнул, и длинная худая шея и лохматая белая голова походили на неряшливое воронье гнездо, коротковатые рукава высоко задрались на узких красных запястьях, да и весь-то Степушка был по-мальчишески сгорбленный и вроде бы обиженный.

«Смешной-то какой, будто воробей»,— подумала Люба, семеня за Степушкой и рассматривая его нескладную фигуру. На угоре была толпа, словно люди только и ждали случая, чтобы встретиться тут, да не было повода, а нынче пришло событие не каждодневное, и теперь было о чем поговорить. Казалось сначала, что всем довольно весело, потому что люди оживленно говорили и махали руками, рассматривая и обхаживая груду бревен — все, что осталось от избы Феколки Морошины.

— У Паньки Америки, Нюркиной матери, дом-от также, бывало, нарушило. Крышу подняло и в огороды посадило...

— Теперь без свету насидимся. Давно ли новые столбы поднимали, мотор добывали из Архангельского, ведь все начисто сняло.

— А я пироги только в печь посадила, тут как рячкнет, как фурнет в стену, думала, все. Как снарядом шибануло.

— А пироги каковы?

— Да сгорели пироги-то, будь они неладны.

— А и ляд с ними, пирогами-то. Теперь в лавке хлеба завались. Это не ранешнее дело.

Так гомонила деревня, ахала и охала вокруг Феколки, а та безучастно сидела на бревне, похожая на ста-

рую больную птицу, и тихо качалась спиной к людям. Люба краем уха слышала разговоры, разглядела и Феколку, сердце дрогнуло сразу — вспомнилась мать. Хотела подойти, сказать что-то спокойное, но Степушка торопился впереди, бренча ведрами, а отставать не хотелось. Люба потупила глаза и быстро миновала людей. Некоторые повернулись, рассматривая Любу со спины, большинство женщины.

— Учителька наша, Любовь Владимировна. Девчоночка совсем.

— Степушке невеста. Доколь ему холостяжить...

— В городе девок быват не с наше, не с деревни же красть...

— Сколь красовита на лицо. Да и поступочка какова. Погорельские девки отмениты от наших...

— А моя из школы придет, за стол сядет, у нее только и слов, что Любовь Владимировна да Любовь Владимировна. Я уж ее пристрожу: за столом-то хошь помолчи да поешь по-хорошему...

Степушка сбежал с крутого угора, а Люба спускалась тихонько, все боялась упасть на спину и опозориться перед всей деревней: она спиной чувствовала, как сплетничают о ней женщины.

Лодки раскидало ветром, иные забросило на красный склон, и они лежали, как большие черные рыбы. Другие, снятые ураганом с якорей, сейчас быстро разносило по всей реке. Мужики торопились, громоздились в уцелевшую лодку, кто-то один, верно, хозяин, спешил, рвал заводной шнур. Вода в реке была кофейная, и видно было, как кругами оседала на дно илистая муть. Степушка, качая детскую плоскодонку, зачерпнул ведра с кормы, поставил на мелкий арешник и только тогда взглянул вдруг на Любу зелеными крапчатыми глазами. Лица оказались совсем рядом, и Степушка увидал, как на виске бьется крохотный нерв, а черные выпуклые глаза вдруг растерянно дрогнули. Люба была совсем рядом, можно было ее обнять или поцеловать. Степушка даже подумал об этом и предположил: «Завопит она или нет? Будет недотрогу строить. Знаем их». И сказал сурово:

— Ну, отправились, что ли?

Степушка пошел впереди, покрасневшие большие ладони распялились на дужках ведер. Люба увидела эти руки и почему-то подумала, что Степушка, наверное,

очень сильный. Сначала ведра показались легкими, девушка даже шла след в след за парнем и чуть не запиналась о его каблуки и немного досадовала, что Степушка путается у нее под ногами. Но неожиданно руки налились тяжестью, словно воду заменили свинцом, ноги стали скользить и мелкие камешки неловко ложились под сапоги. Люба поставила ведра и уже с тоскою смотрела вдоль узкой размытой тропки вверх, в маленькую ложбинку, где и стояла Парасковина целехонькая баня. Она срублена была в небольшой ляге и отсюда походила на замшелый старинный валун. Ветер хоть и шел с реки, но не мог достать баньку и только накидал прямо на крышу всякого мусора.

Отдыхать было хорошо, вот просто так топтаться на тропинке и разглядывать недальний ивовый кустарник, и розовые косогоры, и синий зубчатый лес, над которым сейчас летали какие-то медленные большие птицы. Воздух после урагана словно высушило и подморозило, солнце было совсем бледное, старого морошечного цвета и совсем не грело, хотя был полдень. Виноватость и опустошенность была кругом. Люба взглянула наверх, где была банька, увидала Степушкину спину, совестливо подхватила ведра и, гибко клонясь вперед, медленно пошла в гору.

Степушка встретил у порога, покровительственно и уже куда смелее, словно имел на это право, подхватил из Любиных рук ведра, вылил в чугунный чан и сказал:

— Ты прибери тут, веник в углу. Параскева Осиповна грязи не любит. А воды я наношу.

Люба было несмело воспротивилась, хотела сказать, мол, что ты, Степушка, неудобно как-то, я тебе помогу, но случайным взглядом рассмотрела особенно длинную сейчас тропу, вспомнила, сколько нужно раз спуститься вниз, и сказала согласно:

— Хорошо, я подмету. Веник в углу?

Она любопытно взглянула в Степушкино лицо, и зеленые крапчатые глаза смутили ее. Степушка побежал вниз, а Люба стала угадывать, сколько может быть парню лет, и, наверное, у него есть девчонка в Архангельске, и, конечно, девушки его очень любят. «Какой же он высокий»,— Люба мысленно, как, бывало, в детстве, когда мечтала вырасти за неделю, примерила себя к Степушке и нашла, что она совсем пигалица. Потом с грустью вспомнила, что ей уже девятнадцать и она совсем

старуха и, кроме деревни, ничего не видела, а «здесь скукотища, и парни-то все охламоны, и на танцы лучше не приходи, вечно пьяные стоят в углу и матерятся». Люба пробовала нынче перевестись поближе к маме, в свою деревню, но в младших классах места все заняты, а другой бы работы ей не хотелось.

В бане пахло теплым старым дымом, видно, Параскева Осиповна недавно топила ее, но прибирать тут совершенно нечего, потому что полы чисто промыты, наверное, скоблены голиком. Люба так, скорее, для приличия подмахнула веником в углах, села на лавку, поглядывая в низкое задымленное окошко.

А в Степушку словно вселился бес. Он так и летал от реки до бани, шесть раз сбегал за водой и заполнил чан и деревянную кадушку, будто желал перемыть всю деревню. Каждый раз, выливая в кадку воду, он, будто случайно, бросал взгляд на Любу, тихо улыбался и уходил за порог. Люба незаметно для себя подхватила тайную игру и уже сама искала Степушкины глаза и тоже несмело улыбалась, испытывая непонятное смущение.

Баня пока топилась да пока выстаивалась, чтобы не было угара, время подошло к вечеру. Степушка разбудил мать. Параскева едва встала, чувствовала себя совершенно разбитой, словно на ней снопы молотили, стонала каждая жилка. Собрала бельишко, выбрала на повети веник получше, чтоб лист не так падал, попросила Степушку к ее приходу самовар наставить, а если долго не вернется, то и проведать, как бы с ней чего худого не случилось. Она еще потопталась у порога, все не решаясь уйти, как на улице раздался низкий тягучий собачий вой, так обычно собаки плачут по близкому покойнику.

— Это, наверное, Альма. У Феколки-деушки избу ветром спихнуло,— улыбнулся Степушка.— С ней, наверное, того...— И он покрутил пальцем у виска.

— Ну, опять двадцать пять. У нее все не слава богу,— ответила Параскева озадаченно, не зная, что и подумать.— А ты зубы-то не скаль. Грей самовар-то да не забудь меня проведать.

А собака все выла на тревожное красное небо и на солнце, точно налитое с краями кровью и обрезанное снизу лиловой тучей. Альма сидела около сундука, у самых Феколкиных ног, отвернувшись от старухи. Глаза собаки были в слезах. Феколка Морошина сидела на сун-

дуке недвижно, лицом к порушенному дому, а когда Параскева остановилась за ее спиной и потом постучала кулаком по эмалированному тазу, то быстро обернулась, как-то скользом, словно проводила глазами летящий камень, и не проронила ни слова.

— Господь наказал за распутство,— без всякой жалости сказала Параскева, не решаясь почему-то сразу покинуть сгорбленную старуху.

— Не трожь господа. Люди — звери сатанинские... Радуешься над глупой Феколкой? Иди давай, не стой над душой,— низким, хриплым голосом равнодушно сказала она, так и не повернувшись лицом к Параскеве. И вдруг засмеялась ехидно и страшно.— Куси ее, Альма, куси.

Собака вскочила, выгнула спину, словно потянули ее разом за хвост и голову, и перестала лаять. Ей сегодня были не понятны люди, сердитые и противные. Целый день они толпились рядом, все чего-то говорили, от них пахло хлебом и мясом, и это раздражало Альму. Ей хотелось есть, но не было над головой привычной крыши, куда-то исчез мягкий матрац, и чашку с молоком не совала под нос добрая хозяйка.

— Дура ты, дура. Засандалю чем ле по голове, так будешь знать, как собаку на добрых людей науськивать,— закричала Параскева, потом пнула резиновой галошей в сундук.— Сиди, не выводи меня из терпения.

Но Феколка и не думала вставать с сундука, наверное, было холодно, она все ниже клонила к земле голову и дрожала всей спиной.

Параскева еще постояла рядом, что-то похожее на жалость мучило ее, непонятный человеческий стыд не отпускал от Феколки. Она понимала умом, что старуху в беде не оставят, просто у председателя еще руки не дошли до нее, забегался по деревне, потому что без электричества жизнь как бы внезапно нарушилась. Молчала водокачка, коровы стояли непоеные и ревели на скотном, куда-то задевались фонари, от них уже отвыкли. Радюшину было не до Феколки, он раза три пробегал мимо, отмечая в уме, что еще заботы прибавилось и куда теперь эту старуху пристроить: насильно в любой дом не поселишь, а охочих приютить Феколку, пожалуй, трудно сыскать.

...Параскева хмыкнула, перебарывая себя, сказала вслух:

— Ну ладно,— ведь ей тоже некогда, темнело быстро, а еще надо помыться, да и Любе помочь устроиться.

А в бане действительно стало темно. Параскева бросила на каменку два ковшика воды, подождала в сенцах, когда схлынет угар. Развела в тазу квас, бросила на горячие каменья, хлебный дух пошел низом, но от пола все-таки холодило. Сыновьям не до материной бани — единственной услады, хорошо хоть потолок перекрыли. Но в бане садит полом сквозняк и доски совсем холодные, пятки жжет, столь студено. Это осенью, а каково будет зимой? Параскева без бани не может, каждую субботу с утра воду таскает и лишь к вечеру в готовую баньку идет молодеть.

Параскева забралась на полок, сначала не хвостала себя веником, а как бы оттаивала, тонко, по-старушечьи охая и вздыхая, но не было того постоянного наслаждения от этого мытья. «Значит, болезнь крутит»,— подумала она. А уж руку с веником поднять и хлестнуть по бокам — сил на это нет, лежит рука плетью.

Но вот зарозовела Параскева, ушел противный холод из тела, все же поднялась и прямо с полка плесканула на каменку сразу пару ковшичков горячей воды. Пар тугой струей ударил в стену, а отразившись от нее, поплыл по всей баньке, и сразу стало трудно дышать. Параскева стегнула себя раз-другой, горячо стало нетерпимо, но не слезла с полка, а завыла тонко:

— У-у-у,— и стала быстро махаться веником.

Полетели по сторонам зеленые пряные листья, и какая-то легкость пошла по телу от груди и выше, прямо в голову, потом словно и головы не стало, и груди, и всегда больных, ревматических ног, и оплывшего кургузого тела.

— Осподи,— воскликнула блаженно Параскева, еще раз круто выгнувшись, достала веником до самых дальних мест и тут не утерпела, скатилась на пол. Он уже не казался холодным, и не было там сквозняков, и, раскинув блаженно руки-ноги, стала приходить в себя. Тут почему-то вспомнилась Феколка, ее сгорбленная спина. Невольная жалость нахлынула и замутила душу, так умирающий тоскует, когда последний раз видит близких.

Параскева мыться не стала, да и не до мытья было ей, потому что едва поднялась с пола, а только развела теплой воды таз и опрокинула на себя. На голое тело

надела махровый халат, сверху фуфайку и пошла вон из бани.

Феколка сидела все на том же сундуке около своей избы, и председатель Радюшин, наверное, все еще не нашел времени, чтобы устроить старуху. Собака уже не выла, а лежала около ног, упрятав длинную морду в Феколкины шерстяные носки. Был вечер, и неожиданно похолодало, даже листва на деревьях свернулась.

— Феколка, давай пойдем ко мне, слышь, Феколка? — сказала вдруг Параскева.— Замерзнешь ведь тут.

— Не пойду,— хрипло ответила Феколка. Ей хотелось умереть. Она не плакала, потому что слезы выплакала еще в молодости.— Зверье вы все... Вылюдье... Я здесь лучше подохну, как собака, а не двинусь.

— Ты меня со всеми не равняй, слышь, Феколка? Не равняй со всеми. Я ведь сама по себе,— повысила голос Параскева и вдруг схватила Феколку Морошину за рукав и дернула к себе.— Пойдем, тебе-нет говорят. Не звери мы, а люди, у каждого свой норов и своя беда.

Параскеве тянуть Феколку было неудобно, эмалированный таз с бельем мешал ей, но она не отступалась и все же увела старуху за собой. Феколка плелась сзади, отворачивая в сторону голову, так идет за матерью капризный, надувшийся ребенок.

— У меня вышка пустая, зазря гниет. Там и постель застлана,— сказала уже сурово Параскева, через сенцы по широкой крашеной лестнице завела в светлицу. Потолок был низкий, из лиственничных плах, когда-то крашен белилами, и круглые сучки тускло просвечивали, словно глаза. Кроме узкой железной кровати были еще небольшой стол, два стула, а в углу печка-голландка с плитой.— Думала, что сыновья будут вместях жить, для них норовила. С огнем ладнее будь. Да чтобы псиной не пахло, собаку под взвозом держи, не вздумай на постель ее класть.— Параскева вышла за порог и договорила, закрывая дверь: — На глаза мне реже попадайся.

— А сундук-то?..— запоздало спросила Феколка. Но Параскева уже спускалась по лестнице, хрипло говорили ступени под ее тяжелым телом.

В кухню она вошла с настроением легким, будто заново перемылась в бане.

— Вы чего в потемках сидите? Чай-сахар на столе, давайте вечерять... Степка, снеси Феколке в светелку,

што ли, поесть, у нас жить будет. Устрою я тут дом пенсионеров.

— Добрая вы, Параскева Осиповна,— сказала Люба.

— Не добрая, а глупая. У меня ум-от весь в волосы вышел, вон сколь они толсты да долги.— Параскева полезла за керосиновой лампой, потом долго протирала стекло, поставила лампу на буфет и зажгла.— Привыкли к электричеству, дак и свет этот непутный. А бывало, сети вязала при лучине, день сидишь, да и вечер прихватишь. У нас отец-то норовистый был... Все этот ветер, поганец, нарушил, фашист проклятущий.

— Как это фашист, Параскева Осиповна? — спросила Люба, посмеиваясь над блюдцем.

— А как не фашист-то, налетел без спросу, не сказавшись, наломал дров, натворил бед. Мы его звали, што ли?

Параскева налила очередную чашку, затерла тряпкой поднос, она уже вспотела от чая, пот выступил на лбу тяжелыми каплями. Любит Параскева почаевничать. Вот и сейчас навалилась животом на стол, махровый халат распахнула, тяжелая грудь, вся в мелких старых морщинках, была медной от бани и чая.

Степушке было стыдно перед Любой за мать, что она такая толстая и плетет ерунду. Степушка все придумывал, что такое сказать, чтобы мать замолчала или хотя бы за собой присмотрела. Глупый, странный парень, он еще, как мальчишка, стеснялся своей матери и стыдился ее, а при встречах и расставаниях лишь торопливо жал ее твердую ладонь и по-мужски грубовато крякал, всем своим видом показывая свою самостоятельность. Но скоро, очень скоро придет тот день, когда поймет ту, единственно верную любовь матери и при встрече первый расцелует ее морщинистые щеки и будет вытирать ее глаза, полные слез. А потом случится и так, что сам будет истерично рыдать, провожая ее на сиротский погост. Все же как быстротечно время и как непостоянны люди.

...Параскева не поняла сыновьего хмыканья и ужимок, но из-за стола встала, потому что ей сделалось вдруг плохо. Она попросила Любу достать из комода резерпин, а сама прямо в халате легла в постель. Люба дала лекарство, даже в полумраке видно было, как воспалено Параскевино лицо. Девушка пододвинула стул, села рядом у кровати, подтыкая одеяло и вглядываясь

в больную, а та отвернула голову к стене, видно, на затылке было тяжело лежать, и закрыла глаза.

Степушка тоже подошел к кровати, нагнулся над матерью, будто нечаянно коснулся руками Любиных плеч, и стало ему истомно, и захотелось обнять девушку. Легкий запах духов, почти неуловимый, слабый запах источали ее волнистые черные волосы, и эти волосы тоже хотелось погладить. И будто случайно Степушка положил ладонь на узенькое Любино плечо, но не посмел шевельнуть пальцами, как не смел громко вздохнуть. Так и стоял, не шевелясь, ожидая всем телом, как Люба встанет и уйдет. Но Люба не вставала и не уходила, она сидела закаменев, ужасно неловко сидела, слушая тяжелую горячую ладонь, как она мелко подрагивает и будто говорит тайные слова, но ей, Любе, понятные.

Ей бы надо встать и что-то сказать, а может, улыбнуться и уйти в свою горенку, потому что уже поздно, а завтра надо идти на уроки, но она не решалась нарушить взаимное ожидание чего-то необыкновенного. Тут зашевелилась на кровати Параскева, громко вздохнула, и Степушка испуганно отпрянул от Любы к столу, все еще переживая случившееся и не в силах поверить, что эта красивая девчонка может... Нет-нет, черт побери, даже страшно помыслить, что это возможно...

Люба встала, пожелала спокойной ночи, попросила Степушку позвать, если что случится с Параскевой Осиповной. Говорила и на Степушку не смотрела, стояла как-то боком, теребя кончик кружевного платка, а потом пошла к порогу медленно, словно ожидая, когда наконец проснется от своей робости Степушка и проведет темными сенями в ее горенку.

Степушка так и прочитал ее неуверенность, вернее, ему хотелось, чтобы так было, и не успела закрыться за Любой дверь, как он поспешил следом. А идти-то крашеными сенцами всего три шага, но, когда дверь захлопнулась за спиной, они словно бы очутились в прохладной душной ночи, и идти им еще долго и далеко. Люба испуганно отшатнулась и стукнулась плечом о деревянное корыто, которое Степушка так и не выбросил, как просила мать. Девушка вскрикнула тихонько, и Степушка сразу нашел ее влажную теплую ладошку и трепетно сжал в своей. Любина рука сначала испуганно, а потом уже несмело рванулась и осталась в Степушкиной ладони. Было темно, и каждый шаг их был нетороплив, но



как бы долог он ни был, а только до ее двери всего несколько таких шагов. Степушка, который шел чуть впереди, выставив руку вперед, как слепой, который еще плохо знает свои комнаты, вдруг наткнулся пальцами на дверной войлок. Но расставаться с Любой не хотелось, ему казалось, что он знает и любит ее целую вечность. Степушка встал спиной к шероховатому войлоку, и дверь придала неожиданной храбрости и нахальства. Он вдруг уверовал в себя и в то, наверное, что знавал немало девушек, куда более красивых, чем эта, и они

влюблялись в него с первой встречи и вешались ему на шею.

Люба неожиданно наткнулась на Степушку и не успела отпрянуть, как его длинные угловатые руки больно обняли ее за плечи. Это прикосновение было столь внезапно, что девушка отшатнулась, уперлась ему в грудь маленькими, но неожиданно сильными ладонями и требовательно попросила:

— Не надо, Степа, пусти.

Но Степушка, захмелевший от неожиданной близости, совершенно теряя разум, еще пытался притянуть Любу к себе и поцеловать. Он искал в темноте своими сухими губами ее губы, но только шелковые, пахнущие духами волосы легко стегали по лицу. Нервное Любино дыхание волновало и дразнило еще больше, Степушка слабел, как от вина, и, когда казалось, что Люба покорилась, а ее упрямые ладони ослабли на его груди, девушка сказала вдруг устало и жалобно:

— Степушка, не надо.

Что-то горькое в ее голосе внезапно заставило Степушку опустить руки, а через мгновение он уже сожалел о случившемся. Раздражение, похожее на сильную усталость, овладело им. Степушка посторонился в темноте, Люба открыла дверь. Слышно было, как торопливо закрылась она на крючок, как роняла в темноте стулья, как шуршала спичками, зажигая огонь.

Степушка еще недолго побыл в сенях, потом в кухне посмотрел на мать — она спала неспокойно, всхлипывала и что-то говорила во сне,— потом погасил лампу и так, не раздеваясь, упал на кровать. Непонятная, тяжелая тоска нашла на него, перед глазами стояла Люба, хотелось пойти к ней, стоять на коленях, извиняться и целовать.

Он долго не мог заснуть, все вспоминались девчонки, с которыми он когда-то знакомился, вспомнилась и та, единственная странная близость. Он тогда расстался с Милкой, вернее, поссорились, это было перед Октябрьскими, и случилось так, что на самый праздник он остался без девчонки; а значит, какое веселье: все будут парами, а ему, как дураку, только сидеть в углу и хлестать водку. Тут кто-то и привел Соньку. Она тоже оказалась лишней, они оба были лишними, а потому их посадили рядом. Сонька пила водку, как парень, они тогда оба хорошо напились, потому что Степушке было ужасно

одиноко и он страдал по Милке. Потом он танцевал с Сонькой, от нее дурно пахло, и все же он танцевал, подавляя брезгливость, а потом Сонька стала казаться девчонкой ничего, почти красивой.

Расходились поздно вечером. Степушка провожал Соньку куда-то в дальние закоулки, девчонка кричала пьяно и истерично хохотала. Потом она стояла на пороге маленького домишки, шаловливо махала ему рукой и медленно открывала дверь, но в гости не приглашала, а все велела уходить и все говорила, что она не такая, что он, наверное, про нее плохо думает...

Утром он очнулся на ее кровати. Она лежала рядом в одной рубашке, у нее были толстый пористый нос и редкие белесые волосы. Сонька лежала на спине и густо всхрапывала. В комнате было пустынно и неряшливо. В низкое окно сочился грязный утренний свет. Степушке было противно, он лежал, закинув руки за голову, и вспоминал прошедшее, и какие-то неяркие обрывки ночи вставали в памяти. Он, кажется, плакал, потом рассказывал о своем детстве, а она хохотала и называла себя дурой, что связалась с этим молокососом, который не знает женщин.

Стараясь не тревожить Соньку, он тихо оделся, вышел на улицу, и ему было невыносимо стыдно, и он шел и плевался, словно его накормили гадостью. И это воспоминание еще с неделю, наверное, помнилось ему и мучило, и тогда опять хотелось плеваться...

И сейчас со жгучим стыдом он вспомнил ту ночь и даже покраснел, и стало жарко и потно ему. Степушка побродил по комнате, слушая ночные звуки. Ему казалось, что он слышит, как ходит по комнате Люба, и ей тоже не спится, а может, она клянет его... Но заснул Степушка сразу, только голова коснулась подушки, будто провалился в темный теплый омут.

А Параскева еще долго металась на постели, часто открывала глаза, ей было жарко, в ночном сумраке все было непонятно и страшно, и казалось Параскеве, что она умирает, ей хотелось кого-нибудь позвать, она пробовала крикнуть Степушку и не могла. А потом на какой-то миг снова сомкнула глаза, и приснилось ей, как с отцом взбираются они на Дивью гору, чтобы насобирать толстолистой богородской травы на чай. Над ними солнце светит, цветут всякие пахучие травы и дикие корянки, так легко дышится на этой лесной горе, куда они

влезли наконец, и отец приставил ко лбу ладонь, разглядывая весь свет, и сказал: «Осподи, как хорошо-то. Черт побери».

Параскева не слышала, что в ухо ударила кровь и сейчас льется на широкие подушки. Так тихо и сладостно вытекала из Параскевы жизнь.

...Только утром, когда Степушка внезапно проснулся, словно толкнул кто-то его в плечо, и пошел на кухню поглядеть, а какова-то мать, он заметил, что подушка насквозь промокла от крови. Степушка растерянно заметался по избе, застучал поленом в стену, разбудил дядю Михаила и Любу, потом побежал за фельдшером.

Фельдшерица тетя Настя пришла, сделала два укола, и кровь остановилась.

6

Параскева лежала в кровати три недели. Фельдшерица тетя Настя сказала, что если бы кровь не пошла ухом, то она бы обязательно ударила в голову и Параскева Осиповна, пожалуй, в ту ночь умерла бы. Степушке пришлось подавать на свой завод телеграмму, чтобы ему предоставили отпуск за свой счет, потому что мать в таком положении, как вы сами понимаете, оставлять было просто нельзя, да и ко всему прочему примешивались обстоятельства особого рода, в которых Степушка пока не признавался самому себе.

В первый день болезни готовил Степушка, и сообразил он обед не то что бы плохой, ибо картошку в мундире трудно приготовить плохо, но скудновато даже для завтрака, а Люба уже привыкла столоваться у Параскевы Осиповны, и само собой получилось, что у печи пришлось хозяйничать ей. А к тому же начались занятия в школе, появилась гора тетрадок, да нужно еще подготовиться к урокам, а тут еще домашнее хозяйство свалилось на плечи, в общем, стала Люба в этом доме совсем своей.

Со Степушкой она говорила о всяких пустяках, оба делали вид, что ничего не случилось, но только уж больно часто Степушка оказывался у нее на глазах, порой путался под ногами, правда, когда его не было или он уезжал по реке за сеном, а Люба, возвратившись из школы, садилась обедать с дядей Михаилом и Параскевой Осиповной, то ей становилось одиноко. А тут еще

подружка написала из Архангельска, что вышла замуж, ужасно счастлива и скоро у них будет ребенок; Люба подсчитала, когда подружка вышла замуж, и серьезно удивилась, почему так быстро у них будет дитя, но потом раздумалась и уже на третий день ничего особенного в этом не нашла, потому что любовь не спрашивает сроков.

Параскева обычно после обеда сразу ложилась в кровать, вставать и ходить ей было категорически запрещено; она лежала на высоких подушках и от безделья внезапно пристрастилась к чтению. Писать она не умела, расписывалась, как говорят, огородным клеймом — две палки накрест, а читать пусть трудно, но могла. Люба принесла Параскеве Осиповне «Капитанскую дочку» — книжку про любовь, больная читала по слогам и часто слезилась.

В субботу, когда матери стало лучше, Степушка засобирался в клуб на танцы; пряча от смущения глаза, пригласил Любу, а та охотно согласилась, сразу выставила Степушку за дверь, сама надела белое шерстяное платье с воланами, волосы не зачесывала, не укладывала волосок к волоску, а небрежно прихватила резиночками от аптечных банок в две волнистые косички, провела языком по пересохшим от волнения губам. Тени под глазами проступили гуще, румянец растаял, и глаза, опушенные длинными ресницами, словно кто-то подсветил изнутри.

Степушка в горнице долго примерял галстуки, хотел надеть черный с белой полосой, но тут не к месту вспомнилось, что в этом галстуке он ходил свататься к Милке, и забросил его в дальний угол шкафа, а надел широкий, в больших оранжевых цветах, нынче модный, привез приятель из Сочи. Пока возился с галстуками, Люба постучала в стенку, она сегодня почему-то застеснялась зайти к Нечаевым: представляла, как Параскева Осиповна будет разглядывать ее ореховыми глазами и еще подумает невесть что.

А Степушка еще замешкался, в кухне у порога провел по ботинкам бархатной тряпкой, наводя глянец, мать отложила в сторону книгу и внимательно пригляделась к сыну. Белые твердые волосы сегодня обильно смочены водой и одеколоном и тщательно прилизаны набок, точно так зачесывался Ефимко Пробор, первый ее муж, и это Параскеве было неприятно. Она подозвала Степушку к кровати жалобным голосом.

— Чего тебе? — отозвался смущенный Степушка, но к кровати подошел, и тут неожиданно мать приподнялась на подушках и твердой ладонью разлохматила волосы, с таким трудом и терпением зачесанные.— Чего ты? — жалобно и ошалело спросил Степушка.

— Чё-чё,— передразнила Параскева,— Корова, што ли, голову-то зализала, будто повидлой облили?

— А ну тебя,— с досадой сказал Степушка, но зачесываться заново уже времени не было, его ждала Люба, схватил с вешалки пиджак и бросился к двери.

— Поздно не ходите,— еще донеслось сзади. Низкие, басовитые нотки появились в Параскевином голосе, а значит, она выздоравливала.

Люба и Степушка разделись прямо на сцене, где стояли грудой коричневые скамейки с синими номерами. Несколько девчушек хихикали в углу, поочередно заглядывая в щелку занавеса. Люба надела черные лаковые туфли на гвоздиках и стала совсем недоступной для Степушки. Он не знал, куда девать свои тяжелые красные руки — вроде бы в карманах неудобно держать, —глупо улыбался, отвернувшись взглядом к стене. Люба была совсем рядом, она одним ловким, женственным движением поправила волосы и почему-то опять облизнула внезапно пересохшие от волнения маленькие губы и тоже в растерянности затопталась, не зная, как поступить, ведь пришла со Степушкой, а тот набычился, хоть бы слово сказал, но и одной идти в залу не совсем удобно.

Степушка хотел было бежать в противоположный угол, где в папиросном дыму толпились парни, еще неделю назад он так бы и поступил, но заиграл вальс... «Осенние листья шумят и шумят в саду, знакомой тропою я рядом с тобой иду...» И тут Люба потянула Степушку за рукав, а он все так же глупо улыбался и думал, спускаясь по лесенке в залу: «Хоть бы не упасть, вот позора будет». Но все сошло ладом, вот и шершавые половицы пола — скоро клуб на слом пойдет,— перед глазами присадистая печь, стайка ждущих девчат, независимые парни в сигаретном дыму, хохот стоит в том углу, наверное, его, Степушкины, кости перемывают... А совсем рядом, если опустить глаза, черные волнистые косички с двумя резинками от аптечных банок, острые плечики в белом платье, которые хочется обнять, а под тяжелой ладонью теплая напряженная спина. Степушка

вздыхает от волнения, ему жарко, пот стекает по спине и не впитывается в нейлон рубашки, от этого вдвойне неловко. Он наклоняется. Сегодня от Любиных волос пахнет земляникой.

А Люба не знала, как заговорить, и, порой взглядывая вверх, видела только сердитое Степушкино лицо и взъерошенные волосы. Люба поймала себя на мысли, что ей хочется эти волосы пригладить рукой, они, наверное, как солома, колючие.

Тут кончился вальс, и Степушка впервые изменил себе: он не пошел в дальний угол к парням, а остался около Любы, на самом виду, под всеобщим рассмотрением, но, правда, чуть-чуть отодвинулся в сторону, разглядывая плакат.

— Параскеве Осиповне вроде полегчало,— вдруг сказала Люба, думая о том, что вот хозяйка встанет с постели и Степушку уже ничто не удержит в деревне.

— С неделю еще поживу, а там...— Степушка махнул рукой, лицо его повеселело, зеленые крапчатые глаза стали гуще. Глаза-то у Степушки повеселели, а душа вдруг тоскливо заныла, словно тронули за больную ниточку, тронули и не отпустили.

Весь вечер они больше не проронили ни слова и не разлучались. Степушке казалось, что он никогда так много и так хорошо не танцевал.

...А потом они ушли за деревню, легко, таинственно, и будто невзначай касаясь ладонями, и от этих прикосновений было щемяще сладостно. Небо очистилось от дождя и даже немножко подмерзло, потому что ощутимый сухой холод струился сверху, и многочисленные звезды, словно угли на остывающей жаровне, едва подергивались голубым пеплом. Степушка часто и мелко дрожал, наверное, от холода, но руки в карманах почему-то потели. Он хотел что-нибудь сказать, но только сопел и оглядывался назад, словно боялся, что за ними подсматривают.

За деревней, на лысом сухом бугре стало еще прохладнее. Здесь берега были положе и ветер шел с реки. Деревня осталась позади, вернее, она чувствовалась в том направлении, потому что вроде бы слышны были ее спокойные вздохи, сонное чмоканье и неясное бормотанье. Ощутимым, живым теплом несло из этой темноты, хотя избы совсем утонули в ночной заводи, и только

редкие огни, словно играя с неведомым путником, то зазывали к себе, то путано гасли и опять загорались. Это верхний ветер слегка качал деревья и заслонял окна.

А Любе было страшновато и интересно. Таясь перед собой, она, однако, ждала Степушкиных признаний, а может, и поцелуев, но Степушка все молчал, и Любе казалось, что она безразлична парню и только из вежливости и скуки он теряет время. Стараясь сохранить равнодушие, Люба сказала:

— Ну, мне пора... Завтра рано вставать.

Степушка задрал рукав и стал в темноте всматриваться в часы, словно только и ждал этих слов. Люба пошла к деревне, но было столь темно, что оступилась, видно, камень попал под каблук, и Степушка неловко подхватил девушку, а руку отпустить позабыл.

Степушке сразу стало жарко и чудно, а Люба свою руку не тревожила, и, как уловил Степушка, ее пальцы слабо и ответно шевельнулись. Степушка повел Любу крайней тропинкой, по самому угору, и он сам не сказал бы после, как они очутились у Параскевиной бани.

Они прижались к сухим шершавым бревнам, горьковатым березовым запахом доносило из неплотного окна, ветер здесь не доставал совсем. Было слышно, как расходились с танцев парни, они что-то свистели и перекликались, и эти звуки отсюда казались смешными и тревожными. Словно кто-то опасный и неведомый разыскивал их, кружил и кружил рядом, нащупывая след, горячился и страдал, что не может отыскать, а они все это чувствовали и радовались своей безопасности.

Это ощущение родилось мгновенно и неожиданно, и Степушка, вновь хмелея от желания и грустной любви, обнял Любу, чувствуя на своей груди ее твердые решительные ладошки. Люба еще не сильно сопротивлялась, но Степушкины волосы упали на ее лицо, от них пахло житом и банным мылом. Непонятная слабость охватила ее тело, и Люба уже не могла сопротивляться своему и Степушкиному желанию и внезапно прислонилась к нему, сама отыскивая губами его лицо.

Потом качнулась и поплыла в сторону баня, и куда-то в сторону унеслись деревенские свисты и выклики, и чувство желанного томления и радости окатило и закружило их.

Степушка заявился домой под самое утро. Его покачивало, как с вина, они только что дико целовались, и от поцелуев горели губы. Люба прятала голову на Степушкиной груди и шептала: «Я тебя с первого взгляда полюбила». А Степушка гладил ее шелковые волосы и отвечал: «И я тебя...»

А сейчас он качался, как от вина. С трудом снял у порога ботинки, едва не уронил таз у рукомойника, а мимо Параскевы прошел на цыпочках. В серых утренних сумерках было видно расслабленное и счастливое лицо. Параскева по этой туманной и детской улыбке поняла все сразу и, когда Степушка собрался исчезнуть в горнице, неожиданно сказала в спину:

— Попей хоть молока, гулена.

До утра она уже не сомкнула глаз, все размышляя, как поступить, но вечером, когда Степушка опять наводил блеск на туфли, Параскева решила поторопить события, ведь Степушке скоро уезжать на работу, а они, как телята, за углом лижутся, только время тянут. А чего тянуть-проверять, если человечья душа — потемки. Поживут, притрутся.

Зашла Люба, справилась о здоровье, остановилась у кровати, а Степушка все наводил глянец на туфли. Никогда таким парень не был. И Параскева, смеясь в душе и робея, спросила сердитым низким голосом:

— Ты пошто на девке не жениссе? — Спросила, будто и не знала, что Люба стоит в изголовье. Степушка испуганно разогнул спину, глаза растерянно смотрели на мать.

— Ты чего это... Того?..

— Знаю я вас, все вы, мужики, на одну колодку деланы. Обдурите девку, да и бежать. Женись, да штоб без дуростей,— наступала Параскева.

— Чего ты мелешь, думаешь ты головой или нет? — возмутился Степушка, бросая косые взгляды на Любу. Ему казалось, что она сейчас хлопнет дверью и счастье с этой минуты кончится. А Люба стояла в изголовье, ей бы из кухни убежать в свою горенку, ей бы посердиться и поплакать, а ей хотелось смеяться. Она смотрела на Степушку, его неловкую фигуру. Весь он был жалобный, как выпавший из гнезда птенец, и Любе хотелось смеяться долго и счастливо. Но она покраснела густо, как будто красили луковым отваром, и сказала:

— Параскева Осиповна, у нас же ничего не было.

— Ну, ты, Любонька моя, не стыдись, ты скажи прямо,— не отступала Параскева.

— Ей богу, ничего, Параскева Осиповна.

— Любишь его, а? — Параскева опустила с кровати ноги, волосы у нее распушились, и походила она сейчас на большую мудрую птицу; а лицо светилось, а лукавые смешинки мелькали на лице и пропадали, прорастали и увядали. Параскева егозила широким телом, кровать жалобно скрипела.— От меня, орехового глаза, не укрыться. Степка, у меня в сельсовете секретарша племянница, она вас завтра и распишет, чтобы все по закону, чтобы все, как у людей... Ну, подите ко мне. Да подите же, не чужая быват, мати родная, у меня все тут выношено,— Параскева постучала себя по груди, встала босыми ногами на пол, чуть прикрывшись атласным одеялом, потом, роняя его и поднимая, охала от тяжести в затылке, искала то Любину, то Степушкину руку, а отпустить боялась, побагровела вся. Люба испугалась, как бы плохо не стало Параскеве, подхватила под полные руки, повалила на кровать...

— Ну, что вы, мама, ну успокойтесь...

— Ну вот, значит, и согласна, Любушка ты моя, значит, и согласна. А ты, нетопырь, чего глаза пялишь, поди к матери,— сказала Параскева Степушке жалобным голосом, а сама все гладила Любину руку.— Ну вот и вместе... А сейчас марш, Степка, на почту и телеграммы всем: Саньке, Паньке, Маришке с мужем, пусть каменские мужики едут, им тут ближе всего. А за твоими за родителями, Любушка, моторку пошлем. Ну, подите-подите, чего время зря тянуть.

Параскева раскинула поверх атласного одеяла белые руки, закрыла глаза.

Никто не ожидал, что первым приедет Саня, самый дальний, из Ленинграда. Он даже братьев-сестер не навестил в Архангельске: позавтракал дома у молодой жены — второй год пошел после свадьбы,— а к ужину прибыл в Кучему, за тысячу шестьсот километров, кисели хлебать.

Саня был весь в отца, такой же короткопалый и широколобый, мягкий, не редеющий волос он зачесывал, как и отец, Ефимко Пробор, набок, обильно смачивая водой. У Сани молодая жена была на сносях, восьмой месяц ребенка вынашивала и нынче на самолетах летать

пугалась, вдруг не так встряхнет, потому и не приехала. Но подарок свекрови послала — платье в коричневую полоску, старушечье платье. Параскева материю долго щупала, даже на свет поглядела и сказала: «Не сатин ли это»,— но по дрогнувшим губам можно было понять, что обнова ей не по нраву.

Саня пожелал выпить, Степушка сбегал за бутылкой в магазин, но сам рюмку поднимать не стал, сидел в углу на своем постоянном месте и украдкой под столом ласкал Любину руку. Саня пил без закуски и часто, чем расстроил Параскеву. Она сидела с обиженным лицом и молчала. А Саня, нагибая на себя рюмку, косо взглядывал при этом на Любу откровенно, любопытным взглядом, лицо пошло красными пятнами.

— Ну, как вы тут живете? — интересовался он уже в который раз, а после четвертой рюмки сказал: — А у тебя, Степушка, губа не дура. Все тихоней притворялся, а вон какую девку отхватил.

Потом Саня сослался на усталость и повалился спать в горнице на Степушкиной постели. А Параскева все сидела за самоваром, укоризненно качая головой. Саня заснул быстро. Параскева качала головой, слушая булькающий храп, и беспокойно гладила волосы.

— Чего пьют, спрашивается, какое горе заливают? — сказала она вдруг, почему-то обращаясь к Любе. Девушка жалобно пожала узкими плечиками и промолчала, а Параскеву словно прорвало, она говорила взахлеб, не беспокоясь, что ее может услышать Саня, и все время грозила Степушке согнутым пальцем.— Я вот сына пятнадцать лет учила, мешки ворочала, выучила на инженера, диплон у него по машинам, в заводе работал. А как женился, и пианино, и патефон, и чего только не было, а женка выгнала, в одних трусах домой приехал, а матери все надо вынести. Теперь-то пожила одна, дак обратно зовет, а он уж на новой женат.

Когда напьется да загорячится, я ему говорю, мол, всю жизнь робить будешь, так со мной не рассчитаешься. А он забыл, он забыл мои тяготы, весточки не пошлет, а у меня пензии двадцать рублей, хорошо, нынче прибавили. Он пианино заводит, а о матери не беспокоится.

Я было алименты с него стребовала, присудили восемнадцать рублей, а как женка выгнала, пришел домой оборвышем, мати же опять одела с ног до головы, и

алиментов мне еговых не нать. Не надо мне его алиментов. Дай бог ему счастья с новой женкой, кажись, все налаживается, как у порядошных людей. Только опять пошто-то пить стал? Уж все дадено, и государство-то ныне к ним всем лицом, и жена-то образованная, чего еще, спрашивается, нать?

А мне, Любушка, каково пришлось? Всяко было — и пито, и бито. Однажды в войну рыба невод унесла-утащила, а попробуй другой достать, это вам не веник в лесу вырубить. Ну, я до того с горя доматюгалась, что побелела вся. Старший-то, Колька, все уговаривал: мама, кончай ругаться, ты вся сбелела, знать, не наша была рыба. Помрешь если, да как мы-то, куда? Повались в лодку да полежи. Да, всяко пожилось... А ты мне мотри, мотри мне, чтобы не баловать,— грозно замахала Параскева на Степушку, потому как боялась она за последыша.

— Да ладно тебе, раскричишься всегда,— возразил Степушка, но тут Люба дернула его за руку.

— Помолчи, как гусь, распушился.

А Параскева сразу поймала Любины слова.

— Ты, деушка, строполи его, ты ему воли не давай. Если мужик слабину почувствует, он сразу на волю бежит.— Пожевала губами, ореховые глаза скосились, и была похожа Параскева в эту минуту на колдунью.— Но и шибко не зажимай. Ты лаской его, лаской. Лаской любого можно взять. Дай-то бог вам счастья... Ну, спать давайте, спать. Завтра небось и архангельские накатят.

На следующий день к вечеру изба Нечаевых действительно загудела, заворочалась, казалось, двери не закрывались, да и сама-то Параскева все бегом, все бегом, куда только болезнь задевалась. Вроде и не она днями раньше на кровати замирала совсем. А тут только платье взлетывает, половицы ходуном — скрип-скрип: самовар со стола не слезает, баня от воды, от мытья не просыхает, вечерами смех да смех, через дорогу с керосиновой лампой бегут то Санька, то Колька, то Васька, то Палька, то Маришка с мужем. Брякают тазами и ведрами, шалеют Параскевины дети в деревенской бане, чуть ли не нагишом бегут в избу, только прикроют стыд, ведь тут не до одежды, лишь бы живым до кровати добраться. А там опять самовары, чай с клюквой, с сушкой, с харюзами. Все не так, как в городе.

А мать-то, а мать-то ведь ни разу голоса не повыси-

ла, словно подменили Параскеву. Да и что матери надо ныне? Были бы дети в здоровье да счастии, на том и жизнь ее стоит. А тут еще подарков навезли, только успевай примерять. Степушке часы ручные, рубаху нейлоновую привезла Маришка, а Любе комбинашку иностранную и духи, но и Параскеву не обидели. Палька накинула на белую материну голову пуховый ласковый платок, откуда только и достала Палька, ох, и пробивная девка.

Вечером, как в бане намылись и от чаю животы начало пучить, Параскева снова пуховый плат примерила у зеркальца. Керосиновая лампа горела смутно, серые лешачьи тени мелькали в туманном зеркальце, когда Параскева вгляделась ореховыми глазами и вроде не узнала себя. Девица не девица, но дебелая молодица была в том зеркальце, да еще этот ласковый платок, ой, диво, ой, диво.

Красовалась Параскева Осиповна перед зеркалом и так, и этак, а сзади дочери шептались, хаханьки устроили: «Вон наша-то мать, как девочка молодая». Вертелась Параскева и все слышала, но виду не показывала, мол, шепчитесь-шепчитесь, ваше дело молодое, ваше время разовое, когда-то и я была красивой, так и без нарядов обходилась.

...Потом опять был вечер, спать ложились, кто куда мог, где привалился, там и ночуй. Давно столь людно не было в этой старинной осадистой избе. Люди шли мимо, стучали ногами по мосткам, будто лошади, медленно ступали, значит, заглядывали в низкие окна. Параскева задула керосиновую лампу, еще раз обежала взглядом сумрачные углы. Занавески на окнах светились матово, знать, пришло полнолуние, и на этих блескучих занавесках тени прохожих печатались четко и смешно.

Парни ходили по деревне, по-пустому тренькали на гитаре и что-то хрипло пели, а может, рыдали. Палька лежала на животе, подмяв под себя подушку, глядела на теплый домашний сумрак, на живые тени за окнами, на белую, в ночной рубашке мать, которая все еще шлепала босыми ногами по холодным половицам, и было Пальке хорошо и уютно.

— День да ночь — сутки прочь. Все к смерти ближе,— бормотала Параскева, тяжело села на край кровати, пружины сразу жалобно скрипнули и прогнулись под материнским телом, так что Пальку потянуло катиться

на пол. А когда мать легла, прижав дочь к самой стенке, та поворочалась, выкопала себе гнездышко поудобнее под самым Параскевиным боком. От матери несло знакомым теплом, и Палька почувствовала себя маленькой, пусть на время, и все стало, как в детстве.

Потом они начали шептаться, как шептались, когда за полночь, бывало, прибегала Палька от кавалера, хлюпала отсыревшим носом и быстро ныряла под материн бок, жалобно выпрашивая: «Я только на минутку»,— и грела свои ледышки-ноги о материны, налитые постоянным ровным жаром.

Они еще долго шептались, попеременно тяжело вздыхая, заново сближались, разжигая притухшие чувства. Палька коротко всплакнула, потом незаметно затихла и уснула, по-детски чмокая губами. А Параскева еще долго думала о своих детях, и сон бежал от нее и было жарко — дочь разомлела во сне и от нее тоже тянуло бабьим теплом.

Жаренье-варенье началось с утра раннего. Всех подняла Параскева, стащила с кроватей, не дала залеживаться, на постелях валяться, а Степушку первого разбудила и, пока все бродили по комнатам, сонно зевая, заставила брюки гладить. Правда, Палька тут же утюг отняла.

— Пока холостой, так я наглажу, а женишься, самому придется за собой ухаживать. Брюки — мужская постоянная забота...

Степушка не возражал, он сегодня сразу проснулся, хотя обычно долго приходил в себя после сна. Им овладело странное возбуждение, он не знал, чем занять себя, и потому с тоской смотрел на часы.

Только Параскева не томилась от безделья. Печь дотапливалась, и тесто подошло, пора было крутить-заворачивать рыбники. Параскева спешила и умом все подсчитывала, сколько будет гостей, как бы не ошибиться да не ударить лицом в грязь. А руки делали свое привычное дело, колотили-валяли тесто, вкусным запахом дрожжей поволокло по кухне. Параскева рыбники пекла длинные, с сигом и кисловатой свежепросольной щукой и с харюзами, в общем, на любой вкус. На противень две штуки, сразу пышное тесто мазала масляным куропаточьим крылом и совала на печь, в постоянную душистую теплоту, чтобы еще выше поднялись пироги. Потом вспомнила про холодец, побежала на поветь, где застывал он в больших

эмалированных мисках; холодец получился тугой и светлый, с белыми кляксами жира, от него тянуло чесночным и говяжьим запахом; когда коснулась чашки, он мягко вздохнул и вздрогнул, бог ты мой, не студень — вкуснятина. Прямо руками отломила кусок, растаял он, жевать не надо... Нет, насчет закусок, насчет еды Параскева не прогорит, на этом ее не поймать, тут она кой-кого и поучить может.

Потом на двух огромных чугунных сковородках натопила сала, из кладовой притащила две семги свежих. Где достала, не сказать, сама не крала, не ловила, на законные деньги куплено. Стала саламату жарить. Рыбу на щедрые куски порезала. Не рыба, а сало свиное, так жир и течет, от костей освободила семгу и на сковороду, в кипящее варево, да снова на крупные уголья. Самой Параскеве этой рыбы даром не надо, она семгу не ест, но гостей как не удивишь, если в доме свадьба, если любимый сын Степушка женится.

Потом Параскева шаньги заливные крупяные заделала, яйцом сверху полила, а на утренний завтрак, пока молодые записываться не отправились, для подкрепления сил «картовные кажноденные шаньги» испекла. Тут все отзевались, за стол сели, едва влезли. Люба со Степушкой во главе стола, не пара — картинка, любованье-загляденье. Параскева румяные «картовные» шаньги подала да две миски масла кипящего. Все ломали мягкие дрожжевые шаньги, обжигали пальцы, макали кусками в топленое масло.

...Вот он, родной дом, будто и не уезжали никуда. Кажется, чего тут мудрого, эка невидаль — картофельные шаньги, да и в городе их недолго завернуть и пекут, когда настроение найдет. Но таких не получится, как ни старайся, хоть в лепешку расшибись. Вроде и красивее, и поджаристее, и тесто лучше взойдет, а у этих и корочки жаром прихватило, и картошка плохо размята, и сметана позавчерашняя. Но здесь же дом детства, и потому тут все будет вкуснее, пока в силах готовить мать.

Потом Параскева налимью уху разлила по чашкам, а под уху по стопочке не грешно. Санька сразу в буфет сползал, там неприконченная бутылка стояла, налил по розовой тонкой рюмочке, и все стукнулись за Степино-Любино здоровье. Параскева пить не стала, только пригубила «для поверия», но ореховые глаза ее наполнились счастьем, когда осмотрела полное застолье: будто

и не минули долгие годы, снова сам-десять по лавкам, только вот мужа Степана нет, не дожил до этого счастливого дня.

— Это ныне с рыбой туго, если мужика в доме нет, а раньше у нас всегда бочки закатаны,— заговорила Параскева.— Я двенадцати лет запоходила на озера-то. Бывало, старшие пока с неводом бродят, я продольники ставлю: на крючки мясо наживлю, да и закину. На каждом крючке по налиму. Пока холодна вода, все попадает.

А однажды бечева-то, как тетива, напряглась. Отец кричит мне, держи, мол, пуще. А он и показался, теленок. Я продольник бросила, кричу: «Тата, теленок». А отец-от покойничек смеется: глупа Параня, телят-то в воде не бывает. Это налим всплыл. Осподи, отец-от вынул его, так калачом в бочку закатывали, потом всей деревней смотрели. Сколь велик он был.

Тут и Саня давний случай вспомнил:

— Мама, помнишь, как лещей ловили, а ты нас вожжами стращала?

— А как не упомнить-то,— сразу откликнулась Параскева. Румянец волнения густо и болезненно осыпал щеки, знать, кровь от воспоминаний круто пошла в голову, но только сейчас, ой, как трудно остановить мать.— Двадцать три тони тогда закинула, уже руки напрочь стали отваливаться, а тут еще ты на нервы капаешь: «Чего пустую воду качать?» Я вожжами и жиганула, чтобы замолчал. А как двадцать четвертую тоню закинула, так сразу две бочки лещей попало. Ведь надо же было вас, чертей, как-то ро́стить. Десятерых поднять — не шутка в деле. Тут одного без отца вырастят, сразу в газетке шумят, мол, мать-героиня, а попробовали бы этакую ораву на ноги поставить.

— Ты у нас молодец,— сразу подластилась Палька, чтобы остановить материны воспоминания.

— Ну ладно, Палька, ты мне зубы не заговаривай, знаю я тебя,— отмахнулась Параскева.— Ну, хватит прохлаждаться, надо приниматься за дела.

У Параскевы забот гора, и надо было до вечера перелопатить их: еще раз по деревне пройтись, созвать гостей да вино посчитать — хватило бы, да суп под вечер сварить из баранины, чтобы мужики сразу под стол не пошли, да посуду у соседей занять, да доски для лавок заготовить, ведь стульев на всех не хватит.

Девки да парни, те на машине с молодыми в загс, а там через реку до Белогоры на моторке, заодно и сестру Александру прихватят. Ихнее дело гулять, а ей, Параскеве, всю свадьбу крутить надо. Ее про здоровье не спросят, а если не так что будет, за глаза высмеют да десять лет вспоминать станут. А как всех улестить да всем умаслить, если что ни человек, то и свой норов. Если деда Геласия, к примеру, не пригласить, лютая обида до самой смерти, но и Азиата как не позвать, Степушкиного спасителя. А они ужиться не могут на одной улице, у них постоянный раздор. Казалось бы, и делить-то нечего, да память вот не затушишь, память — не головешка, водой не зальешь.

Саня с Николаем, старшие, от первого мужа дети, со Степушкой в Белогору не поехали, ведь и по дому заделье нужно справить, матери одной не под силу. И Палька осталась, она перемывала посуду. К трем часам все уладили, сыновья уже по рюмашке пропустили, не утерпели. Палька городской салат под майонезом приготовила, а теперь сидела на табуретке, грустно оглядывая кухню. Давно ли ее так же «продавали замуж», кричали «горько» и просили «подсластить», и не было тогда никого счастливее Пальки. Но куда же подевалось, куда уплыло ее счастье, только ласковое отражение его живет в душе.

А Параскеве Осиповне не сиделось. Она еще раз окинула столы прищуренным глазом. Кажется, все на месте. Печенка вареная кусками есть, грибы соленые в масле, грибы вареные в сметане, холодец, рыба жареная, щука кислая — это все холодная, самая первая еда, ее довольно наготовлено, а потом еще борщага заварен, да саламата семужья, да рыбники, да баранина с картошкой. Под такую еду только и пить. Четыре ящика водки стоят в сенях, все накопления ухайдакала.

— Кажись, все на месте,— сказала вслух Параскева, присаживаясь на кончик скамьи.

— Господи, да посиди ты, мама, убилась совсем,— откликнулась из кухни Палька.

— Убилась не убилась, а никто за меня не сделает,— сказала Параскева, заглядывая в низкие окна.— Чтой-то молодые не едут, а уж гостям время быть.

Решила, раз время есть, нужно переодеться; за шкаф платяной встала, на кровати ее наряды лежат: кофта из хорошей шерсти, спокойного серого тона —

подарок Аришки, да юбка такая же, из приятного материала. Одевалась Параскева Осиповна неторопливо, тихо напевала под нос:

— А крестьянина любить, а крестьянина любить, буду век счастливо жить,— и любовно оглядывала богатый стол. Потом вдруг дверку шкафа захлопнула, прибежала на кухню к Пальке.— Осподи, дочка, а гармониста-то забыли пригласить...

— Как забыли? — откликнулась Палька.— Оська, из клуба баянист, будет.

— А он играть-то хоть чего может? — недоверчиво спросила Параскева, и правый ореховый глаз немножко закосил к носу, так случалось, когда Параскева очень беспокоилась, но ничего предпринять сама не могла.— Мне чтобы русского играл. Мне синфонии ни к чему... Ой, господи, все проспали. Чего сидишь, не видишь, машина пришла, молодых встречай,— сразу засуетилась, замельтешила Параскева.— А я еще не прибрана, ой, ворона, ой, Параня Москва, все-то у тебя не пришей рукав,— бранила Параскева саму себя. Побежала, двери распахнула, оставила полые, на заулок выскочила, закланялась низко в пояс, но сразу взглядом поймала, что молодых в машине нет, и вместо приглашения испуганно спросила:

— А молодых где потеряли?

— По-новому свадьбу играете иль по-старому? — спросили с машины.

— По-новомодному. Кто нынче старое вспомнит? Дак где молодых оставили?

— А они насчет будущей жизни сговариваются. Чтобы быть рядком да жить ладком.

— Все опять неладно. Ты-то, Володька, дружок, шафер ты иль кто? Чего свою должность не сполняешь?! — погрозила Параскева веснушчатому очкастому парню.

— Да полно вам, Параскева Осиповна... Вон они, как голуби, воркуют.

А день выдался сухой и голубой. Лист уже опал на землю, но почернеть не успел, и тлен хватил его лишь по самой кромке, и оттого трава, покрытая березовым листом, казалась красной. Степушка в черной паре, длинный и весь торжественный, обнимал Любу за плечи, часто наклонялся и что-то ей говорил, наверное, смешное, потому что Люба закидывала голову назад.

Пара видна была вдалеке. Они шли не спеша по дальнему концу улицы, вдоль дороги, по опавшим багровым листьям и казались особенно неожиданными и радостными среди всеобщего увядания.

— Ой, хоть бы не застудились. Господи, доченька, Любонька, да она совсем легохонько одета... Вы-то куда смотрели, черти окаянные. Нельзя ничего людям доверить.

Но гости уже смеялись, толпясь на крыльце, смешались с Парасковиными детьми, а сама хозяйка очутилась на дороге, вся нетерпеливая, и уже близкие слезы покатились по лицу, а Параскева все вглядывалась сквозь этот влажный туман, и показалось ей, что сын не к ней идет, а удаляется все дальше и дальше. Параскева не выдержала, сорвалась с места, побежала неровной тропинкой, ноги скользили по влажной глине и оранжевым листьям, но молодые не торопились, они почему-то стояли, а может, ждали ее, Параскеву.

— Благословляю вас, дети мои,— тихо сказала Параскева, и сделалось ей сразу душно. Она обняла, притянула к себе Степушкину голову. «Осподи,— подумала она,— какой родимый запах, это ж сын мой, совсем мужик ныне». Потом обняла невестку, поцеловала в прохладный лоб.— Живите хорошо, не ссорьтесь и любите друг друга. Любите, прошу вас.

Потом, не зная, куда деть руки, стала гладить торопливо Степушкину сухую спину и Любины узенькие плечи, а слезы все спешили по рыхлым белым щекам, прошитым розовыми нитями больного румянца, и была мать, как показалось Степушке, в этот момент совсем старой.

— Ну, ты чего, мама, свадьба — не похороны, тут смеяться надо,— неловко сказал Степушка и так же неловко обнял мать за плечи, впервые в жизни обнял и повернул лицом к дому.— Гости же нас ждут.

— Все хорошо будет, мама,— добавила Люба и ласково подхватила Параскеву Осиповну под локоть. Тут сразу стало тесно, но Степушке невесту отпускать даже на мгновение не хотелось, потому они так и шли втроем по узкой скользкой тропинке, а Степушке то и дело приходилось косо сбегать в придорожную канаву.

Потом все шумно рассаживались за столом. Не разобрать было отдельных слов в этом гомоне, да и особо никто не прислушивался, сразу запахло табаком и едой,

хотя к тарелкам еще не прикладывались. Люба, оправляя белое шерстяное платье, наклонилась к Степушке и сказала:

— Мне страшно.

Степушка подмигнул ободряюще и тут же вежливо улыбнулся теще. Она была цыгановатая и вся седая, и длинные паутинки расписали узкое лицо. Любина мать улыбнулась печально и добро, потом быстро пожала Степушкину ладонь своей тонкой горячей рукою, и Степушке сразу стало весело и легко.

Председатель Радюшин сел напротив, был он с женой Нюрой, сам весь отглаженный и светлый, от него далеко пахло одеколоном. Когда гомон чуть поутих, когда разлили по стаканам белое вино, председатель безо всяких уговоров встал, оглядел застолье, словно оценил всех разом, но каждого в отдельности не выделил, чуть набычил большую черную голову в сторону молодых.

— В хорошее время, скажу вам, женитесь. Об эту пору, на обработно, раньше всегда на Поморье свадьбы шли. Все дела прикончены, так почему не гулять, а? Ведь это гуси паруются по весне, им немного и надо, было бы скрытное место. А люди не птицы, им устойчивость нужна, потому осень для нас — самая лучшая пора. По урожаю и свадьбу ведут. А мы уж свадьбы забыли, лет пять у нас осенних свадеб не было, закисли мы. Так ли я говорю, Параскева Осиповна?

— Да как не закисли, Николай Степанович, наши парни вовсе захолостяжились, девок-то на деревне боле совсем не стало,— откликнулась Параскева, тоже поднялась со стула, вино у нее плескалось из рюмки, щеки подрагивали, но радостно светились глаза.

— Ну, дай-то бог тебе, мой крестник, Степан Степанович, и тебе, Люба-невестушка, чтобы полон был дом углами, а углы детями.

— Во-о-о-о,— разом, едино выдохнуло застолье.— Крепко сказано.

А председатель, прежде чем выпить, еще крикнул нарочито громко:

— А мы ведь Любовь Владимировну из Кучемы не спустим. Ты как хочешь, Степушка, а не спустим.

— Тоже верно,— поддержало застолье и, не мешкая, опорожнило рюмки. Смолкли все, насыщались студнем и семужьей саламатой, рыбниками и грибами с картошкой и на какой-то миг впервые забыли молодых.

Те сидели розовые от волнения, Любина ладошка лежала в Степушкиной лопатистой руке.

— Я боюсь,— опять сказала Люба, невольно клонясь плечом к жениху, а Степушка снова только растерянно улыбнулся и опять промолчал, потому что он все еще раздумывал, а как понять председателевы слова, шутит он или говорит всерьез. Степушка снова и снова взглядывал на Любу, она сидела прямая и торжественная, сквозь смуглоту щек проливался мягкий малиновый румянец. Невеста жила в своих, недоступных Степушке мыслях.

Тетка Матрена словно угадала Любины мысли и, чтобы закруглить их, вдруг сморщилась, будто от зубной боли, ее приятное круглое лицо перекосилось, и она закричала, сияя железными зубами:

— Горько-то как, ой, как горько.

И застолье поддержало тетку Матрену, разом заподнималось, разом заглазело хмельно: это любопытный маленький человечек пробудился в каждой душе.

— Ой, подсластить надо!

— Надо так надо...— Поднялись молодые, сквозь фату Любино лицо брызгало смущением. Степушка двумя ладонями, как берут ковш с водой, чтобы напиться, обнял невестины горячие щеки, заглянул в детские еще глаза. Рот у Любы ждуще приоткрылся, шевелились пересохшие круглые губы, словно желали от чего-то предостеречь, но, как и тогда, около бани, захмелел внезапно Степушка и с жадностью и запойно поцеловал.

— Ай да Степан Степанович, ой, как сладко,— закричали довольные гости: ублажил жених. Снова забыли молодых, кто-то уже выскочил на середину горницы, замолотил каблуками тут же и на лавку сел, но сменила тетка Ксения, одним яростным глазом впилась в застолье, руки кренделем.

Дорогую рыбу ела,
В рыбе сердце видела.
За кого замуж хотела,
Маменька не выдала.

Тут и тетка Матрена вылетела, голову в половицы наставила, словно готовилась забодать сестру, и ноги так застучали топотуху, казалось, пол провалится от столь частого перебора.

Поклонишься воронушке
На чужой сторонушке.

Здравствуйте, воронушки,
С нашей ли сторонушки?

Двери распахнули, с повети топот послышался; кто за стол не зван, толпятся там, заглядывают поочередно в комнаты, перемывают-судачат, кто приглашен да что едят-пьют. Сестра Александра совсем осела на болезненных ногах, голубушка, с подносом выходила несколько раз, поднесла каждому по стопке белого да пирогов свадебных. Вино согрело смотрящих, там тоже гармошка выискалась, запели под высвист частушку:

Меня дроля разлюбил,
Вся истосковалосе.
Было сорок килограмм,
А шестьдесят осталосе...

В общем, все что-то ели, пили, пели и разговаривали. Уж как умудрялись в таком гомоне и гоготе хитроумно беседовать, трудно сказать. Только Параскева сидела, точно наседка с цыплятами, водила ореховыми глазами по застолью, прислушивалась, о чем беседы ведут. Брат Михаил уже успел «окоченеть» с вина, он ничего не мыслил, глаза остановились, и голова упала на свои готовно подставленные руки меж тарелок со студнем и рыбой. Санька с Колькой подхватили дядю и незаметно уложили в его комнате спать, для него гулянье кончилось.

Дед Геласий тоже разговелся стакашком вина, очки на тяжелых медных проволоках скатились с переносицы на самый кончик, чудом там держатся, у старика на щеках густой гипертонический румянец. Дед Геласий тычет вилкой в студень и не сводит с председателя глаз.

— Ты, Радюшин, высоко себя несешь. Но ты меня не понизишь, не... Крохали себе цену знают.

Но председатель будто и не слыхал старика, как успела заметить Параскева, он сидел одинокий, словно веселье его не касалось, он и жены не видел, хотя она была рядом и локтем касалась его руки и часто поворачивалась к мужу, видно, хотела заговорить. А Радюшин изредка, нарушив общий ритм и не дожидаясь тостов, выпивал рюмку, потом хотел было к Параскеве подсесть, но та, как птица, постоянно снималась со своего стула, если видела, что стол пустеет.

А сейчас Параскева среди всех гостей выделила взглядом Радюшина, заметила, что у него рюмка пустая, крикнула:

— Николай Степанович, вы уж сами за собой ухаживайте... Нюра, Нюра, ты за муженьком-то следи.

А дед Геласий все от Радюшина не отступался, кричал взволнованно:

— Уронить себя боиссе? Ой, смотри, председатель,— старик плохо выговаривал отдельные слова и шепелявил, но эта стопка вина не захмелила его и не сбила с мысли, а только влила храбрости.— Ой, высоко себя несешь над народом. Пришел бы ко мне, милости просим, по-человечьи нать, разве бы я не понял? А ты через кульера со мной разговор ведешь. И не поехал я в твою избу, и правильно сделал.

Тут Радюшина наконец проняли стариковские слова, сквозь пьяный разбег мыслей он ухватился за одну постоянную и крохотную ниточку, ее он уловил сразу, потому что никогда не терял далеко.

— Какой ты народ. Ты кулак. Я к тебе на поклон не пойду. Ты в колхозе ни одного дня не рабатывал. Ты моего отца убил. Забыл? Я к тебе на поклон не пойду... И так скоро помрешь. Ты нашу деревню не застопоришь,— говорил Радюшин, откусывая твердые больные слова.

— Типун тебе на язык. Ты чего мелешь? — толкнула Радюшина жена.— Время-то сколько прошло, все забылось и быльем поросло. Есть чего вспоминать.

— А ты помолчи. Если не понимаешь. Если бы твоего батю вот так, зверски.

— А если бы к тебе в дом забрались, как тати, и все подмели? — закричал тонко дед Геласий.— Какие мы были кулаки? Нас восьмеро братьев было, а три коровы да лошадь в хозяйстве. Как отделились, мне даже телки не досталось... Пошто меня прозвали Мокро Огузье, я ведь из озер не вылезал. Отец твой всех равнял, и ты под один гребень чешешь. Высоко несешь себя, да долго падать. Я-то ничего нынче не боюсь, я-то вот-вот помру.

— Если я такой плохой, зачем выбирают? Двенадцать лет горбатюсь.— Радюшин одним движением руки отодвинул в сторону тарелки, гневливая кровь вспыхнула в нем и ударила в голову.— За моей спиной прячетесь, так легче...

— Ну что вы, Николай Степанович? — уловила момент и подскочила Параскева Осиповна.— Не слушайте вы дедку, пьяный он, несет околесицу, ничего не соображает,— мелко говорила Параскева, отодвигая в сторону

грязную посуду.— Кто старое помянет, тому глаз вон. Люди ведь всякие... В людях, как в море, все есть.

Еще раз пробежала глазами по столу, зная, что вина нет, идти бы за ним надо, но и председателя так не покинешь, горяч он.

— Ты присмотри,— шепнула Нюре. Та вина не пьет, только раз пригубила и сейчас сидела печальная и озабоченная. Параскева побежала в сени с заботливыми мыслями, хоть бы свадьба не нарушилась. «Что надо людям? Как сойдутся да выпьют, так и начнут поминать да попрекать. Нет бы ели, да пели, да плясали, чего старое перемывать. У Геласия три сына на фронте пали...»

В углу в сенцах ящики с водкой стояли. В первом уже пусто было. Так что сказать, если только гостей сорок человек, такую ораву, да чтоб допьяна напоить, трудно, ох, как трудно. Из второго ящика Параскева достала пять бутылок, но из рук они норовили выпасть, пришлось взять в охапку. И только думала войти в кухню, откуда так и перло куревом, и чадом, и сивухой, как в сени, шатаясь, ступила Феколка Морошина.

Ее на свадьбу никто не приглашал. Она слышала, как внизу плясали и весело пели, и решила в одиночестве тоже отпраздновать Степушкину свадьбу, сбегала в магазин и впервые за пять последних лет купила четвертинку водки. Феколка давно не пила, и с непривычки вино сразу ударило в голову. Захотелось что-то делать, токи всеобщего возбуждения словно бы пронизывали, и ее, Феколку подмывало смеяться и плясать, и она вышла к захмелевшим зевакам. Уже пришло то время, когда все перемешались — гости и зрители со стороны.

На повети Феколке еще поднесли стопку, и она опять не закусила. Хмель ударил в голову, Феколке захотелось Степушку самолично и поцеловать, ведь от парня не убудет и Любка не будет ревновать к старушечьему поцелую. Нет, Феколка обязательно должна пожелать молодым счастья.

Феколка поспешила в горницу, но в сенцах, на свою беду, наткнулась на Параскеву Осиповну. Та остановила старуху грудью, руки были заняты бутылками.

— Куда прешь? — грозно спросила Параскева, ударив Феколку быстрым взглядом, в котором смешались страх и гнев.— Тебе говорено было, чтобы на пути не толкалась, под ногами не путалась. Давай поди домой, спи.

Но Феколка словно не слышала упреждающих слов,

желание поцеловать было выше пьяного разума, какие-то мысли путались в ее голове, явь мешалась со сном.

— Я хочу Степушку поцеловать. Я поцелую, и все...— бормотала старуха, напирая на Параскеву.

— Ты, старая лошадь, хочешь моего сына сглазить, да чтоб ему счастье не палось? Поди ты прочь,— сразу вспыхнула Параскева, потому что колдовское и страшное почудилось ей в длинных пепельных глазах Феколки. Словно бы внезапные желтые искры вспыхивали в глубоких зрачках.

— Паранюшка, христом-богом прошу, я ведь только на минутку. Я только заскочу,— настаивала Феколка, но Параскева совсем осерчала.

— Я ей про лепешки, а она мне про баню. Да поди ты прочь-то, колдовская сила,— сказала и несильно толкнула плечом, чтобы выпроводить Феколку из сеней. Но та пьяно шатнулась, не удержалась на ногах и, громко стукнувшись затылком о стену, сползла на пол под самое корыто, в котором когда-то рубили капусту.— Ну, и лежи тут, чтоб тебя нечистый забрал... Гостюшки дорогие, совсем заскучали, сейчас мы дровишек в костер подбросим, чтобы огонек разживить,— громко воскликнула Параскева гостям, успокаивая собственные нервы.

— Я, пожалуй, пойду, спасибо за угощенье,— вдруг встал Радюшин, пятна неровного румянца полыхали под глазами.

— Куда вы, Николай Степанович? — захлопотала Параскева.— Молодые, вы-то куда смотрите? Степка, гостей распускаешь, счастье упускаешь.— Она потянула Радюшина за рукав, а председатель, уже изрядно захмелевший, пробовал было отстать от стола, но пришлось смириться и сесть. Тут и жена Нюра помогла Параскеве:

— Сиди давай, чего дома-то оставил, не семеро по лавкам.

Дед Геласий сидел, как гусак, тоже весь красный, и что-то шипел, тыкая в студень вилкой. Параскева быстрехонько разлила по рюмкам.

— За здоровье молодых!

Радюшин выпил, он был зол на себя, что не сдержался и затеял ненужный разговор, но в то же время облегчение в душе чувствовал он, потому что высказал наболевшее и давнее и сейчас все стало определенным. Ему захотелось освежиться, он шепнул на ухо жене:

— Сейчас, через минутку вернусь,— и пошел на поветь.

В сенцах света не было, двери на поветь были прикрыты, и после кухни тут показалось особенно сумрачно. Радюшина качнуло, он хотел поддержаться за стенку, но руки скользнули по гладким тесаным бревнам и ухватились за корыто. Это было странное, суматошливое мгновение. Радюшин словно со стороны смотрел на себя, как скользят ладони, царапаясь о мох, как ухватился за большое деревянное корыто, которое свалилось на пол. Радюшин, не наклоняясь низко, поднял корыто, снова, даже не глядя вниз, упорно пытался повесить на гвоздь и сердился на себя, что не может сделать такой простой вещи. Корыто скользило вниз вдоль стены, и, наверное, до пола не доставало, потому что не брякало о половицы. Но повесить на гвоздь все-таки удалось, и, довольно улыбаясь и вытирая руки, Радюшин глянул вниз и рассмотрел, что у стены кто-то лежит.

Все свершилось в какие-то секунды, но они запечатлелись в сознании особенно обостренно: вот падает корыто, он его хочет поднять, на полу лежит человек, кто-то пьяный вбегает с повети в сенцы и сразу заполошно на весь дом кричит:

— Человека убили!..

Этот вопль, наверное, достиг всех уголков длинного дома, потому что, растерянно ойкнув, сразу застыла гармошка, послышался бряк-стук многих ног, возгласы:

— Где, кого убили?

Уже кто-то стоял перед Радюшиным и говорил с быстрым упреком:

— Как же вы так, Николай Степанович?

— Коленька, зачем ты ее? — кричала жена Нюра, повисая на плече Радюшина. Председатель водил растерянными глазами с лица на лицо, гости мялись с ноги на ногу, отворачивая взгляды, а тетка Матрена сказала:

— Надо милиционера позвать. Звонить в район надо.

— Чего обрадовались, чего рты пораскрывали? — дрожливым голосом в напряженной тишине спросила Параскева. Она еще не могла понять, что же такое случилось, ведь минут пятнадцать назад она оставила Феколку тут, думая, пусть старуха проспится, но где же вина Радюшина?

— Черт его знает, как получилось... Шел, за корыто ухватился, а оно упало. Кто думал, что так все будет? — совершенно трезво сказал председатель, опять в сумраке сеней отыскивая глаза односельчан и не находя их.

— Степка, мать твою перетак, сколько раз тебе было говорено, убери ты корыто от греха подальше, чертомолина ты окаянная. Это ж, значит, я пришибла ее, о господи! — Параскева говорила отчаянно, часто придыхая от больного сердца, и взмахивая руками, и вспоминая, как все случилось, как ударила она Феколку и как та стукнулась затылком о стену и сползла вниз. Но никто же не был тут, никто не видел, так что же тянуло Параскеву за язык?

— Мама,— крикнула дочь Палька,— ты чего на себя наговариваешь? Ведь все видели, что председатель ее убил.

— Замолчи, пустышка, что бы ты понимала. Это я пришибла. И по делу. Ну, чего вы стали, помогите поднять Феколку. Санька, Колька,— Параскева встала на колени, просунула руку под голову, пытаясь поднять старуху, налитую каменной тяжестью. Тут ей показалось странным, что голова у Феколки совсем теплая, а плечи будто бы упруго дернулись. «Жива, осподи, она же живая»,— раньше всех догадалась Параскева и хлестнула старуху по щеке раз и другой. Феколка вдруг всхрапнула тонко с присвистом и тут же почмокала губами.

— Разыграли спектакль,— сказал старший сын Санька и ушел в горницу к рюмке.

— Ну и Феколка, ну и Морошина, отмочила опять,— сказали гости, рассаживаясь в горнице за столом.

— Степушка, Колюшка, помогите занести Феклу Ивановну в светелку,— попросила Параскева, так и не поднимаясь с колен. Ей было ужасно плохо.

В погустевшем сумраке сеней, потому что дверь в кухню закрыли, остался председатель Радюшин. Он нервно курил сигарету. Короткое пламя выхватывало из темноты осевшую на полу Параскеву, крупную ее голову.

В горнице уже кто-то опять топал по ослабшим старинным половицам, хрипло выпевал частушку:

Хорошо рыбу ловить, котора к берегу валит.
Хорошо парня любить, который правду говорит.

Свадьба разгоралась.

1973 г.

ПОСЛЕДНИЙ КОЛДУН

ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ

...Слово произнесенное — само по себе живет и особую силу имеет. Если слово неправильно скажешь, оно неправильно и существует.

Из народных поверий

1

Свадьба догорала.

Последние уголья под остывающим пеплом праздничного застолья едва шаяли, редкая искра веселья сонно, устало вспыхивала по-над головами и тут же умирала, не родив пламени; но Параскева Осиповна еще пробовала всколыхнуть пьяную до чугунной тяжести гостевую душу, ведь так уж ведется на деревне — отпустишь трезвого гостя, век укоров не оберешься, дескать, пожадилась, лишней рюмкой не обнесла, в такой-то редкий день — и каждую копейку учла. И вот, пока последний питух не свалится под лавку, гоношись старуха, выбивайся из сил, но улыбку неси в глазах. Оттого и пеклась Параскева, тянулась, не давая послабки стонущему телу,— будет ночь, будет и отдых — суетилась за спинами родичей на стоптанных, заводяневших от долгой ходьбы ногах, кого-то блаженно тискала за плечи, целуя в спутанную потную волосню, иного будила, окрикивала потускневшим голосом: «А ну, соколик, пить — не долги отдавать. Не подымешь — за шиворот вылью»,— и с прогибом наливала в стакашек из отпотевшей бутылки и пихала в зачужевшую от вина ладонь. Она еще пробовала встряхнуться густо сбитым телом, для виду пригубила

из пузатенькой рюмочки, так и не ополовиненной за долгий свадебный вечер, и, семеня вдоль застолья, зачастила: «Из-за Питера кума в решете приплыла, веретенами гребла, матюками парусила».

— Мотря, ты-то хоть не позорь,— потянула за локоть двоюродницу, едва не роняя ее на пол.— Саня, сынок, кадрилю. Осподи, сидят как замороженные. Перья-то, перья оправьте. Проводим короля да королевишну до пуховой перинки. Не кладите камень в изголовье.

Сын Саня кисло улыбнулся, поставил хромку на колени, короткопалой ладонью слепо нашаривая кнопки.

— Плесни-ка, маманя...

Вылил в себя стопарик, водка пролилась в горло и, чавкнув в животе, улеглась.

— Мастер...

— А что... Наше дело не рожать. Заказывайте.

Ой, дед бабку
посадил в ладку,
поливал ее водой,
чтобы стала молодой.

Тетка Матрена подкатила сзади и, перещелкнув ногтем по железным зубам, навалилась гармонисту на плечи, спутала у племяша тонкий ухоженный волос:

— Баба-то пьяна, дак у нее и задница не своя. Ты слышь, Санко?

— Да ну тебя,— отмахнулся Саня. Застолье словно проснулось, зашевелилось разом, еще сонно засмеялось.

— Ну, Мотря, она как другого племени... Она скажет. Хоть стой, хоть падай.

— А, одинова живем. Без мужа жить, как без соли есть, а с мужем жить, как с перцем есть. С постной-то жизни и не то еще брякнешь. Эх...

Каращелы — тараканы, тараканы!
Были Едомцы богаты, вот богаты!
Усть-вяжане — вороваты, вороваты!
Не корыстна молодежь — монастырцы.
Оборваны кушаки-то — смольяне.
Бородаты мужики — пылемчане.
Толстобрюхи мужики-то — вожгора...

— Уж веком так. Каждой деревне свое прозванье, свой приговор. Это уж в баню не ходи,— подал хриплый голос дед Геласий и, не снимая толстых очков с медными проволочными дужками, протер стекла изнутри

ревматическими пальцами. Борода у старика свалялась, нахватала крошек и сальной подливы, а по клюквенно подгорелым щекам пошел синий отлив.— Мы-то веком бобыли, потому что жита не сеяли, не молотили. Но приговаривали: «Не ткем, не прядем, а ходим в ситцевых рубахах и широких польских рукавах. Ек-макарек, любить твою бабу».

И нежданно заплакал, слезы прорезались по морщинам и затонули в бороде: завсхлипывал Геласий Нечаев в голос: «Все ведь прожи-то, все-е...»

— Ну буде тебе, дедо, буде. Ты у нас еще орелик.

— Какое там...

Старшая дочь Ксения, не размягченная свадебным гостеванием, столь же деревянная, как и в будний день, с зорким прищуром, мерцая желтым единственным глазом, потащила старика прочь.

— Хватит тебе, хватит. Дорвался тоже.

Еще дверь не прикрылась, как председатель Радюшин словно бы кнутом ударил: «На погост пора, а он еще...» — и грубовато хохотнул, победно окинул застолье азиатски черным взглядом, но супруга коротким тычком в бок остановила его на полуслове. Радюшин побагровел, кирпичные скулы напряглись, но сдержался и детскую прорешинку меж передних лопатистых зубов заткнул «беломориной».

— У нашего татушки, видно, два сердца, и оба железны. На гору-то еще лётом летит,— нарушила опасливое молчание Матрена, и неожиданные приметные слова смягчили и расковали невольное смущенье. Председателева выходка сразу утратила свою нехорошую жестокость, и застолье, отгоняя прочь душевный раздор и хмельную строптивость, снова навалилось на еду и питье.

И только молодые сидели забытые. Степушка столь же прямой, как штык, с неприбранными губами и растерянным телячьим взглядом. Ему бы хотелось распробовать винца, разговеться стопочкой-другой, и тогда уж пойдет вовсе иная жизнь; да и тошно было совершенно трезвому глуповато разглядывать захмелевших свадебщиков, от которых сейчас можно ждать всякой проказы. И Люба, словно бы чувствуя жениховое желанье и досаду, внутренне тоже напряглась и даже слегка отодвинулась телом, накренилась на правый локоть. Она не однажды уже взглядывала на Степушку, ловила его глаза, но парень не слышал молчаливого зовущего оклика, а

уставился куда-то отрешенно и немо (так чудилось Любе), и потому ей сделалось вовсе одиноко. Она устала от долгого пированья, от постоянного гостевого досмотра, от любопытных захмелевших глаз, в которых открывалось ей еще что-то нехорошее, кроме доброго любопытства. И неприметно стаяло томительное волнение под напором долгого разноголосья, густых запахов еды и питья и слоистого табачного чада, от которого щемило глаза и хотелось плакать. Ей так невыразимо загрустилось отчего-то, и в горле тут запершило, и Люба едва крепилась, зажимая в уголках глаз беспричинную будто слезу. А в дальнем закутке души, куда Люба побаивалась заглядывать в предсвадебные дни, шевельнулось что-то похожее на досаду и обман. Лицо у Любы подтаяло, подернулось тенью усталости, и точно бы утратило еще недавнюю влажную свежесть, глаза заглубились, и к вискам просеклись крохотные первые морщинки. Девушка снова пригляделась к Степушке, и его остроносое сухощекое лицо показалось ей неприятно-чужим.

Все так же одиноко топталась у порога тетка Матрена, помахивала платочком, лениво дробила топотуху.

А хорошо гармонь играет
Все четыре пальчика...
Ах рано-рано посадили
Да за решетку мальчика.

Параскева уже не суетилась, хозяйский пыл ее утих и она, притулившись к ободверине, охладело и ровно проглядывала застолье, но, наткнувшись глазами на молодых, материнским сердцем сразу почуяла народившуюся чужеватинку меж ними. Она уловила беду, но сразу не кинулась к сыну, а упреждающе подсказала от порога свадебщикам.

— Молодых-то вовсе кинули. Молоды-ти наши замерзли и прокисли.— И пошла кругом, прогибая половицы и грузно прогибаясь в коленях. Одуванчиковые волосы распушились, и в лице сквозь житейскую усталость проступило уже вымученное веселье.— «Сидит миленок на крыльце, эх да с выраженьем на лице. А у него одно лицо занимает все крыльцо...» Ну пойдем, сынок, Люба, доченька...

Поначалу притиснула их друг к дружке, словно просила, умоляла тайно не чужаться и наладить любовное согласье, но молодые невольно заупрямились и не подда-

лись под ладонью, и тогда Параня, уже скрыто сердясь, ловко выдернула сына из-за стола. И, точно дожидаясь этой единственной минуты, Степушка скользом подхватил чужой стакашек, ловко плеснул в себя и пошел горницей, задробил корольком, мелко семеня и сочно охлапывая себя по тощим ляжкам.

Ух-ух, я петух,
кто меня потопчет.
Кабы курочкой был я,
потоптали бы меня...

И тут выдал частый перехлест новыми, необношенными ботинками, приложил кожаные скользкие подметки к старинной крашеной половице, словно бы весенний дятел прошелся по высокой боровой сушине, а после кинул коленце и чечетку проиграл ладонями на впалой груди; и все так звонко и чисто возникло, такой неожиданный лад оказался в Степушкиной пляске, вдруг так переменилось его нескладное тело, что гости разом, неожиданно для себя, восхитились и загудели.

— Председатель, слышь? Вот тебе и культурник...

— Как портниха шьет.

— Я и что... клубу готовый культурник.

— Та же мучка, да не те ручки. У Степушки и ноги-то по-иному приставлены.

— Люба, Любушка, ты гли, какого мужика отхватила. Артист.

Степушка краем уха слышал эту похвальбу, она словно бы проносилась мимо, не касалась сознанья, но тайно сладко покоила душу, и потому парень будто бы вырастал из самого себя, строчил и строчил переборы, дробил на самом высоком азарте, казалось, обгоняя сердце, и слышал только гостевой гуд, прихлопы и веянье потного горячего воздуха. И тут, оскользнувшись, Степушка качнулся и понял, что устал. Нейлоновая рубаха взмокла и походила на рыбью кожу. На ватных ногах он прошел поветью на взвоз, обвалился на перила, унимая надсаженную грудь.

Дверь поветная хлопнула щеколдой, показалось, что изнутри кто-то хохотнул, а рядом притулился братан Василист, коротконогий кряж, щекастый, с ручищами по колени. Обнял Степушку и, воняя сивухой, стал целовать, тискать, приподнимая и встряхивая в воздухе, будто куль с мукой.

— Люблю тебя, чертушко...

Степа обмяк, еще не в силах совладать с собой, покорно обвисал в клешнятых братневых руках, трезво соображая, что с пьяным Василистом лучше не вязаться. А тот не унимался, засунул Степушку в угол взвоза, где стояли водовозные санки: они копыльями больно впивались в спину, и хотя парень был на голову выше братана, однако терпел и лишь вымученно улыбался.

— Ну пойдем, слышь, Василист. Пусти... Скажут, что жених сбежал.

А в это время Степушкин друг Володька, часто морщась и подтыкая к переносице очечки, что-то украдчиво шептал председателю Радюшину и подсмеивался. Радюшин сидел невозмутимый, словно бы разговор не касался его, только настойчиво ковырялся в тарелке, стараясь подцепить на вилку кусок отпотевшего студня. Потом так же мрачно подошел к забытой невесте и что-то шепнул: Люба искоса взглянула в смоляные глаза председателя, поначалу отказно качнула головой, но тут же послушно встала и вышла из горницы. Мало ли что девушке надо, пошла из-за стола и пошла: проводили невесту взглядом и забыли о ней. И только Люба ступила на крыльцо, в густую сентябрьскую темь, зябко передернув плечами, как чьи-то руки легко вознесли ее. Она невольно качнулась вперед, обняла воловью шею, чтобы не упасть, испуганно вскрикнула:

— Николай Степанович, спустите...

— Молчи, положено так,— хрипло шепнул Радюшин, и голос его дрогнул. Мужик легко пробежал дорогу, спустился в подугорье к Параскевиной баньке и, не отпуская Любу, отпнул ногой приставной кол, распахнул дверь. В баньке было темно, пахло печной гарью и палым березовым листом. Каменицу вытопили накануне, и влажный жар еще не угас. Радюшин посветил спичками, нашарил керосинку без стекла и запалил ее. Робкое дымное пламя выхватило из мрака необычно бледное лицо председателя, и глаза его почудились девушке дикими.

— Николай Степанович, пустите. Это на плохое выйдет...

— Что ты, глупенькая,— придушенно всхлипнул Радюшин, чувствуя, как захлестывает его пьяное желанье, и страшась его. Тут послышались на подмороженной тропинке частые шаги, в распахнутые сенцы влетел Володька и, радостно захлебываясь, зашептал:

— Ищут... слышь, Николай Степанович, ищут. Отчудили, а? Веком положено, а тут забыли обычай. Жральня да пьянь одна.

Любе от этих слов, частых, взбудораженных, стало спокойно, она оправила свадебное платье и ловчее села на лавку, и председатель уже не казался диким.

— Параскева-то Осиповна вопит... Невесту украли, невесту уволокли.

...Параскевины крики просочились и на поветь, и, уже думая о самом плохом, Степушка отпихнулся от братана и кинулся в избу.

— Украли невесту-то, из-под носа увели. Где молодая-то, где? — Параскева Осиповна обиделась, что обошлись без нее, обвели старую вокруг носа в ее же доме, а она и сама бы не прочь вспомнить дедовский обычай.— Прос... бабу-то, плясун.

Брат Саня хихикал, и оплывшие щеки потряхивались над гармонью.

— Жмет кто ли, поди. Так и не узнаешь от кого...

— Замолчи ты.— Степушка круто замахнулся побелевшим кулаком, потом обратно метнулся на поветь, в чуланы, в заброшенный хлев: где еще искать? Потолок был низко посажен, и парень с размаху приложился к матичному бревну. Он коротко и ранено вскрикнул, сгоряча ощущая, как набухает лоб, и обложил нахолодевшую темь матюком. Старых обычаев Степушка не знал, и ему мнилось сейчас, что кто-то больно и зло подсмеялся и в затайке небось уже зажимает невесту, тискает ее с пьяного ума и жадно слюнявит (долго ли тут до греха), и кто ведает, может, и сама Любка не прочь закрутить прощально в свадебную ночь.

— Курвы, курвы,— кричал Степушка, врываясь обратно в горницу.

— Выкуп, Степушка, выкуп давай,— насмешливо пристала тетка Матрена, сияя набором железных зубов.

— Поди ты... Где Люба?

— Ищи, братец. Найдешь — твоя,— пьяно зудил кто-то.— А не найдешь, уж не осуди. Кто украл, того и будет.— Шутки шутили, ясное дело, но каждое слово ударяло в раненое сердце: гостям забава, а Степушке — боль. Он сполна налил граненый стакан, а на пустой живот пришлась водка, и потому хмель дико кинулся в голову.

— Где она, ведите сюда... Или вон, все вон!

Кричал и не слышал себя.

— Господь с тобой, сынок, уймись. Чего мелешь,— уговаривала Параскева, пытаясь усмирить сына. Еще не видала в таком гневе и потому чувствовала невольный страх. Робко присела подле, пыталась приобнять.

— Да иди ты,— зло дернулся плечом.

Свадебщики примолкли, уже растерянно переглядывались, кто-то кинулся искать невесту, тут в сенях послышался бряк, на пороге показался Радюшин, а за спиной его таилась Люба, с головой накрытая старой тюлевой занавеской. Параскева, пытаясь не уронить обычай (ведь и саму когда-то крали со свадьбы), быстренько сковырнула с бутылки светленькую кепочку, подала в стакане «выкуп». Радюшин, не чинясь, выпил, но по расстроенным лицам гостей поймал грустную заминку и потому виновато подсел к Степушке.

— Ну, прости, крестник... Экий же ты, прости господи. Выпей и утешься.

Степушка снова ополовинил граненый стакан, но не оттаял, каменно глядел в столешню, а невеста стояла подле и не знала, как поступить вернее.

— Ой, крутоват крестник. Ты слышь?.. Вот те и Степушка, вот те и тихоня.

— Да замолчи ты,— одернула Радюшина жена Нюра,— чего нервы людям вьешь.— В косо посаженных голубиных глазах просочилась слезинка и повисла на рыжеватой ресничке. Нюра коротко смахнула ее мизинцем и шепотом добавила:— Меня-то за што казнишь.

Гости, кто в состоянье еще был, пьяно потянулись из застолья, засобирались по домам. Параня кидалась каждому навстречу, тыкалась в грудь седой головой, упрашивала, ведь деревенская родня, что зубная болесть: ее унять надо, уважить надо.

— Простите, ежели што не по уму. Завтра на блины милости просим. Уж не пообидьте.

...А осенняя ночь досыпала свое, по-за рекой снятым молоком выступил в закрайке неба утренний свет, и словно вдогон ему Паранин петух отбил зорю. Темь сдвигалась, и видно стало, как на оловянной реке круто завивались водяные струи. Еще за окнами свадебной избы мельтешили тени, но звуки уже умерли, и особенная утренняя тишина полонила деревню: вот постоишь на безлюдной улице минуту-другую, и покажется, что все вымерло вокруг, и станет тогда жутко.

Радюшин, покачиваясь и мыча что-то под нос, доку-

рил папиросу, стрельнул ею в подугорье, и клюквенный огонек робко высветил короткую дугу. Жена стояла подле, молчала, подлаживаясь под мужа, боялась перечить. Но утренний холод, да после избяного тепла, взял свое; Нюра передернула плечами, подхватила Радюшина под локоть.

— Поздно уж, Коля... Пойдем домой.

Радюшин вырвал руку и шально кинулся под гору, пьяно подхватывая ногами тропинку: его вынесло на самый урез реки, и он едва удержался на осклизлом камешнике. Сверху просительно и звонко звала жена:

— Коля, ты куда... Коля-ня-а...

Радюшин в мутном безразличии и с каким-то тайным злорадством (пусть-пусть поорет) завалился в лодку и, замутив мотором воду, круто вывернул посудину вниз по теченью.

2

Река поднесла лодку к родной деревне еще в утренней сумеречности. Нынче народ залеживался, привык поспать, и редкий раностав, ежели и был в Погорельцах, коротал темные часы в своем житье. Вязкий сырой воздух слоился над водой, и было непонятно, то ли дым печной прогибается над рекой, то ли мелкий дождь бусит, похожий на дым. Затяжной угор бурел, слегка маслянился, и там, на самой лысинке его, едва виднелись коньки крыш.

Зачем середки ночи кинулся к матери — Радюшин не сказал бы сейчас. Как вор, словно тать лесной, он овражком прокрался к отцовой избе, близорукой, поклонившейся земле, и вздохнул с облегчением лишь на задах своего дома, когда миновал зоркий чужой догляд. Родная деревня умирала неторопливо, но обреченно, знать повинуясь какой-то чужой настойчивой воле (вот и свет ныне отключили, оголили столбы), и сейчас в утреннем стеколке едва брезжила керосиновая лампешка.

Молодым бы только и понежиться, а то в старости какой сон, так — мученье одно: едва прикорнул на одно ухо, а тут уж словно подтыкает кто, велит вставать, вот и полуношничает, отбывает ночь нажившийся человек. И не поймет того, что, быть может, мать-природа напоминает ему: после належишься, а сейчас не дрем-

ли, мил человек, не трать времени попусту, иссякает твой родничок, и потому лови, имай губами последние студеные капли; послушай, пока возможно, как дышит земля, трепещет осенняя птица на ветке рябины, звонко дробит в кадцу небесная влага. Послушай, человече, приглядись зорчее и внутрь себя, и в мир за окном, ведь от твоего века осталась одна краюшка, крохотный неровный ломотек: а после уж все. И хоть устал от жизни, измаялся, быть может, самой последней кровиночкой, но через мученье скоротай в бессоннице закатные дни, проживи их.

Может, потому и не спалось матери, и, как всегда, с первыми петухами поднялась Домна, разламывая поясницу, запалила керосинничек, а сейчас сучит овечью нитку, чтобы к зиме спроворить сыну теплые вареги. О нем хлопочет, о сыне единственном, хотя сама у края могилы.

Лишь за окном мать: кажется, протяни руку — и достанешь ее поредевшую склоненную голову, а чудится уже иной, странно недостижимой и оттого особенно родной. И Радюшин, глядя на согбенное ее тело, даже всхлипнул неожиданно от любви и жалости к старенькой. Потом робко, словно боясь напугать матушку, колотнул казанками пальцев в хлипкий переплет, а Домнушка сразу встрепенулась, слепо прислонилась к оконнице, и с улицы хорошо было видно, как напряглось ее лицо.

— Ктой там?

— И не признаешь? — хрипло отозвался Радюшин. На крылечко он поднялся трудно, едва протаскивая налитые свинцом ноги. Сказалось гулеванье — выпило силу, и словно не было в теле недавней радости, а лишь скопилась под горлом хмельная тошнота, да где-то в извилинке мозга настойчиво ковал крохотный молоточек: спать-спать.

— Стряслось что, Колюшка?

— Тебе бы все только стряслось. А если просто так, соскучился, может,— неожиданно закипая, буркнул Радюшин, походя приобнял мать и не задержался возле, не обласкал ее усохшие, совсем девчоночьи плечи, а поскорее в избу — до кровати бы только дотянуться. (Ведь как зарекался — больше ни капли в рот, ни-ни, разве когда по большому случаю, по великому празднику. И возраст-то уж не молодецкий, пора завязывать с вин-



цом.) Не раздеваясь, тупо кляня себя, только на одну минутку присел на материну кровать, пахнущую валерианой, вознамерился снять сапоги, наклонился с натугой, да так и кинула его неисповедимая сила на бок, утопила голову в подушке, еще хранящей материно тепло,— и словно умер мужик. Пока мать дверь запирала да в сенцах впотемни шарилась — сын уж первую фистулу вывел, а после давай зубами скрипеть и вздрагивать громоздким телом.

— Ой, Колюшка, как ты себя не бережешь. Уж се-

датый, уж внуки, а все чего ли.— Домнушка с горестной смутной полуулыбкой вгляделась в припухшее лицо сына и робко коснулась жесткого подбитого инеем волоса, потом и по лицу скользнула высохшей ладошкой.— Што время делает с человеком... Давно ли малехонький.

Упираясь коленками в кровать, стянула сапоги, а после, едва перекатывая на перине, стянула пальто с разводами засохшей глины и, как могла, освободила от одежд, чтобы вольнее дышалось, чтобы бражный дух не копился в груди.

— Осподи, будто оловом налит. Как только его жена держит,— шептала, оглядывая мосластую пожирневшую грудь сына с неровной продавлинкой под самым горлом.— А все, как тростиночка, был. Нос да спина... Молоды-ти молодятся, а стары — старятся. Вот и молодым пришла пора кудри отряхивать. Куда и время делось.

Рассвело неприметно, фитиль в лампе зачадил, и круто запахло керосином в утреннем посвежевшем воздухе. Задула Домнушка огонь и, не зная, к какому заделью пристать поначалу — каждое ожидало ее рук, вяло придвинулась с табуреткой ко кровати. Так присела, на минутку, чтобы утешиться возле Коляни, наглядеться на родную кровинку, а то ведь другой минуты и не улучишь: ныне сын — казенный человек, народом правит, деревней Кучемой, тамошним колхозом, к нему запросто и не подступись, все времени нет да времени нет.

Из углов от сиреневых обойчиков текли на лицо сына последние сумерки (хотя у окон-то уж вовсе развиднелось), и потому сейчас на мятом полотне подушки оно казалось сбитым из серой глины. Заматерел сын, виски по-куропачьи посивели, обрюзг, и, только пока спал, отмякая характером, ныне признавала еще Домнушка в этом заветренном обличье с крутым мясистым подбородком того прежнего парнишечку, у которого под прозрачной кожей можно было найти каждую жилку.

Он и с войны-то когда заявился — кожа к хребтине приросла, а в глазах тоска и все темноты боялся. На груди ямина не зарастает, точит сукровицу. Наплакалась она тогда: в хлев убежит да возле коровьего бока и выревется. В висках от слез жилы набухли, кровь так дончит, что голову к подушке не прислонить — подпрыгивает. Под шею кулак сунет, подремлет, сколько возможно. Тут сын заматерится, завопит средь ночи «ма-

ма», и волосы у Домнушки дыбом, словно бы кто пятерней голову давит и кожу ногтями скребет.

С полгода, наверное, пожил сын и вовсе заумирал, охота отпала у него на свет божий глядеть. Лечиться бы ему надо, да где она, медицина, так просто ее не схватишь: питанье бы ему человеческое, тогда и на ноги встанет, да только где он — сытный продукт, ежели война и кругом одни недохватки. Куда ни кинь — везде клин.

На лодке шестом затолкалась Домнушка вверх по реке в Белогору, когда крайний срок уже подошел и помощи ждать неоткуда (а там фельдшер жил), на берег своего Коляню выгрузила, на красный камень-арешник, шинелку в изголовье сунула, чтобы ловчее лежать. А сама кинулась в деревню, но до нее версты три надо отбить, да пока транспорт смекала, и вернулась уж в полдень, парень-то угас почти, глаз не поднял, на ладан дышит. Отвезли, поместили в медпункт, но какие тут надежды.

На третий день из Погорельца вновь засобиралась Домнушка к сыну: колобов житных напекла да в грелку молока нацедила, а чтобы сохранить в парном тепле, то и положила грелку на голое тело промеж грудей, да сверху ватник на все пуговки пристегнула. Прибежала в больничку, спрашивает сына, а ей говорят, помер, дескать, только что на этих часах в морг (холодную сараюшку) отнесли. Домнушка и плакать незамогла, только закоченела вся, и ноги ватные, но веры той нет, что ее Коляня, разъединственный сын, и вдруг помер. Пошла она в сараюшку, а сын-то и лежит там нагишом. Встала Домнушка на колени, заревела, заголосила: «Ой-да-ой, залетный сокол мой, надея ты моя единственная, свет мой в окне зоревый, да как же ты угас, закатился без спросу моего, без разрешенья. А я тебе тут молочка принесла свежего, попей хоть сколько-то».

Как глупая сделалась Домнушка, ей бы хотелось коснуться сына ладонью — так страшно, словно бы тайная надежда рухнет тут, и не подымется более Коляня. Полила ему молока в губы, а лицо-то у сына и дрогнуло. Оказывается, вовсе ослаб парень, сознанье потерял и решили, что мертв, место освободили. Выпросила она в сельсовете кобылу, привезла сына домой и выходила, выпестовала, словно бы заново родила, с того света вернула... А жили еще тогда в Погорельце богомольные люди, черной доске поклонялись, и так говорили они: «Все,

как в Евангелье. И пришел Христос, а прознал, что товарыщ-то егов, значит, помер, случилось с ним — и помер и дух нехороший пошел, закапывать надо, загнил, боле терпежу нет. А тут пришел Исус и сказал — встань, и товарыщ, друг егов, встал и пошел... И ты, Домнушка, верой подняла сына».— «А как хошь, бабы, скажи. Может, верой, а может, и неверьем. Мне без сына-то край могила. Не верила я, что помрет Колюшка, и в мыслях на худое не думала. Это ведь какое зло тогда над нами стоит, раз последнее отымает».— «Это по одному смыслу, по писанью, Домнушка. Верой живы и спасемся».

И вот кануло время, уплыло рекой, словно и не минуло с войны тридцать лет (встал да лег — вот и вся жизнь) и будто бы слезы-то лил другой какой человек. Лежит сын пластом на кровати, и ничего прежнего в нем: мордастый, твердый волос на подушке, как глухариное перо, спит без дрожи, притих и зубами не точит. А Домнушка по дому управилась (велики ли заботы у одинокой) и нет-нет да к сыну подскочит, думает, разбудить бы надо, а жаль. Пусть поспит, думает, перемелет себя, и боль внутри уймется, сгорит переживанье, ведь не зря же вчера так налился винищем. У кого только и причастился так? А Кучема день проживет и без него, никуда не денется.

Какого мужика вырастила, и неуж она принесла, такая козявка, не больше метлы, обабок болотный. Ведь богатырь богатырем, эк разнесло.

И что-то ревнивое затеснилось в душе у Домнушки по тому прежнему Коляне, тонконогому, длинношеему, с темными олеными глазами: того можно было приголубить, зажать в горсть и понянькать, тот был ближе к душе и плоти, словно бы невидимо тянулся на материной пуповинке. А этому и слова не скажи, только по шерстке гладь, да масленой рукой: ныне узнай попробуй, что живет в его головизне, что прячется там, ибо на каждую минуту свой характер. Хвалилась перед соседками сыном, высоко поднимала, уж ни словечком не похулила, но словно бы присох в сердце прежний любовный корешок, от которого постоянная радость рождалась: видно, суетная жизнь помимо желанья и воли подморозила его вдовьими горестными переживаниями.

Теперь долго рядом с сыном не могла жить Домнушка, как-то тесно становилось возле него, хотя Николай чаще всего молчал; и совестно чего-то (но ведь и не уп-

реКнул никогда); и боязно сотворить несуразное и неловкое, отчего вдруг потемнеет и хлопнет дверью сын. Может, потому и не жила Домнушка в Кучеме, в Николаевом доме (как ни упрашивал, да и невестка зазывала), а коротала век свой ровно и тихо одна в той горенке, где знаком был каждый замытый сучок в половице; у своего окна, затыканного понизу ветошкой, чтобы не сквозило, когда она любопытно подглядывает за улицей, кто идет, да что тащит из лавки; под своей рябиной, почерневшей и узловато разросшейся вширь; у своего леса, куда можно было сбродить за волнухами, шаркая галошами; у своего родника, из которого вода светлее слезы, и чай из нее не приедается. Господи, как прирастает, оказывается, сердце, какими глубинными стонущими кореньями пронизывает словно бы насквозь родимую землю. Уж кто ни ездит где-то, ни скитается по белому свету, а душа томится, неприметно исходит печалью, и в какой-то тревожный день вдруг так рванется, что кинет человек любое дело на самой половине и устремится к родной околице. Так как же можно жить человеку без родины? Как, наверное, надо долго болеть сердцу, усыхать и покрываться струпьями, чтобы никогда более не замутила его тоска по родовому погосту, где упокоились отец с матерью.

Подумать же: ведь будто бы рядом деревня Кучема, верст двадцать рекой — не более, а уж не своя, а чужая. Там и люди-то, видно, иной крови и иного обычая, жита не сеяли и век к земле не касались, оттого и диковаты, и на язык круты. По старым-то временам, так Кучема для погорельских баб — словно другая нация: туда и замуж-то редко шли, разве по нужде великой иль вдруг осиротится девка, не к кому пристать, и тогда ей любая мужиковая спина — затулье, от житейского ветра пристанище. Вот и сын: лет пятнадцать не прожил там, а уж переиначили, все тамошние привычки воспринял...

Сомненья эти постоянно толклись в душе Домнушки, но на язык не выплескивались, упаси боже, да и можно ли было словесно выразить это, ежели сказанное вслух уже начинало жить как-то отдельно и не подчинялось человечьей воле.

Радюшин, видно, почувствовал настойчивый материн взгляд, или внутри его закипало борение со сном, только он приоткрыл еще беспамятные глаза.

— Уж и не молоденький бы так-то пить.— Домнушка утицей присела возле, сунула ладошку к сыну под потную пазуху, но в пепельных, мохнатых от ресниц глазах не прояснилось ничего, кроме ровной грусти.— Пьютпьют, да и перестают когда-то. И сердце не железно.

Бормотала будто бы под нос, но маломощные, едва слышные слова упорно скребли ухо сына, и, уже пересилив сонную истому и досадливо морщась, Радюшин потянулся и очнулся тут вовсе.

— Где же так угостился, сынок? — Не могла сдержать любопытства Домнушка, но спросила робко, побаиваясь горячего на язык сына.— Не Любку ли Фелицатину пропивали? Вчерась больши-им народом поехали, в карбас-то едва запехались. Думаю, господи, хоть бы не опружились да не утопли. А Любка-то вовсе ребенок, еще и титек не народилось. Думаю, ой, девка, торопишься — спокаешься. Коня-то запречь, так и то коня сколько раз обойдешь, пока оденешь. А тут гляжу, готово — снюхались. Как на пожар...

— Бабой больше, так девкой меньше. Себя вспомни...

— Нас-то, сынок, тогда много не спрашивали, лишь бы с рук поскорей сплавить.

Радюшин не ответил, а багровея и утробно покряхтывая спекшимся горлом, стал неловко одеваться. Но мать угомониться не могла, суетилась возле стола, налаживала завтрак, а самой так хотелось вызнать, как свадьбу справили; да богато ли собрали стол; да, поди, и гостей-то со всего света — Параньку бог детьми не пообидел; да весело ли невесту пропивали, старое-то чего вспоминали — нет; да не задрались ли, ведь Параскева — кипяток; да каков жених из себя (старших-то помнила, не раз видывала, а младший, заскребыш, как-то помимо глаз вырос и отлетел прочь); да где жить намерились молодые?

Раз-другой толкнулась Домнушка с вопросом, но сын упорно отмалчивался, но и к еде не притронулся, а когда уходить собрался, загорячился вдруг, видно, хмель мутил мужика:

— Ты чего — смеяться? Ты когда к нам?.. Я что на прошлой неделе сказал? Вбила в голову. Приеду и спалю твою развалюху...

Крутоватость сына нежданно для Домнушки оттеплила ее душу. Вот сын-то каков, радостно подумалось, не забыл маменьку, помнит. Она сразу кинулась в сле-

зы и тут же дробно захихикала, протирая ладонью набрякшие глаза.

— Ой, сыночек, Колюшка-а... да ты што. И жалко ведь бросать. Свое...

— Опять?..

— Каков черт в люльке, таков и в могилку. Пока ходить-то могу, так вам не в обузу.

Черный повойник на крохотной голове сбился, и сквозь неживой уже, редкий волос видна была неожиданно розовая кожица. И, рассмотрев поближе беззащитно-робкую мать, Радюшин смутился, ткнулся губами в седую прядку:

— Я тебе устрою. Увидишь еще. Сколь настырная.

— Устроишь, сынок, устроишь. Спасибо, что навестил.

3

Угорели от застолья свадебщики, свалились, где сон застал, а вино ножку подставило. Саня, тот гармонь за плечом растянул колбасиной, у матери неприметно бутылку из ящика выдернул и отправился в баню допивать: еще в сенях из новой погорельской родни девицу за грудь тискал, что-то охальное нашептывал и, видно, заманил-завлек сказками, ибо и та, сторожко озираясь, исчезла вскоре. Сестра Паля в настуженной повети, едва освещенной крохотным пузырьком под притолокой, удерживала Степушку, пробовала вразумить его.

— Ну уймись же. Шуток не понимаешь, да? Как баран уперся, я не я и рожа не моя.

— Иди ты... Идиот я? Выставили на посмешище.— Степушка упирался, обида палила, жгла немилосердно, слеза закипала, невольно вытаивалась на глазах, и парень едва сдерживался, кусая губы, чтоб не зареветь. Но хмель травил, слабил душу, ватные ноги поддавались, гнулись в коленках, и порой тайная сила словно бы отбрасывала Степушку к стене. Тогда он невольно хватался за сестру, больно цеплял за мелкий кудрявый волос. Все кружилось в жениховой голове, какие-то неясные виденья порой проносились, парень ширил зеленые крапчатые глаза, всматриваясь в темный проем дверей, и не понимал, чудится ему что иль взаправду творится.

— Ну пойдем, не позорь ты нас. Под потолок вымахал, а ума ни настолько,— ткнула мизинцем в подбородок брату.— Нализался, как из бочки. Непутняя башка.

— Да иди ты...

А в это время в боковушке-горенке Параскева Осиповна разобрала постели, откинула в сторону лазоревое шелковое одеяло (сама стегала), взбила наотмашь пуховые подушки, высоко вздымая и отряхая перо, простыни крахмально скрипели под ладонью, и голубой скользкий блеск их отдавал снежным холодом. Фелицата обнимала дочь, тихохонько дула в долгий волнистый волос и тоже унимала в себе невольную слезливую грусть, рвалось что-то внутри, щемяще напрягалось, словно бы в последний раз виделись, да и то сказать — была дочь и нет, обрезанный ныне ломоть, в чужую семью вошла нежданно, а как-то уживется здесь, да найдет ли лад.

— Ну, доченька, ты не бойся. Это радость... Каждая девка бабой станет. Этого не обойдешь, не минуешь.— Еще ближе притиснула дочернюю голову к вялой груди, запела с придыхом:

...Уж я думала-подумала, не знай, кого любить.
Мне-ка барина любить — надо щегольно ходить.
А татарина любить — не умею говорить.
А крестьянина любить, а крестьянина любить,—
Буду век счастливо жить.

— Каки нынче баре? Что поешь-то? — окрикнула Параскева, уловив в словах сватьи какой-то суеверный тайный намек, словно бы дочь свою отдала Фелицата насильно, а сейчас и скорбела.

— Да так, вспомнилось что-то.— Болезненное лицо ее напряглось.

— Ты, Любушка, круче берись. В постели ты королева, слышь? — Цепко схватилась свекровь, принагнула к себе и, обшаривая невесткино смуглое лицо усталым взглядом, чмокнула в лоб.— Ты половчей применись, вот и в лад.

— Тебя раздеть, доченька? — спросила Фелицата.

Что-то нехорошее почудилось Любе в этих разговорах, она застыдилась вдруг, словно бы нагой появилась прилюдно, закраснела, жаром ударило в щеки.

— Вы что... Не старое время.

И тут первый страх пришел, нагрянул, дрожь окатила спину, когда поняла, что вот-вот прикроется за матерью дверь.

— Мамушка, останься еще. Что-нибудь скажу.

— Ну не, ну не... Уж доколе. Может, мамушке и в постель лечь? — возмутилась Параскева.— И ты, Фелицата, хороша тоже. А ну марш, не мути, сватья, девку... Эх, Любонька, да есть ли чего слаже на свете. Пенку-то горькую сымешь, а там глыбь. Окатит глыбь-то, зачекотит, и будто заново родишься. Только ты круче берись. Хоть топор и востер, а дерева без топорища не ссекешь... А Степку сейчас подошлю, басурмана.

Дверь медленно и туго прикрылась, и, прислушиваясь к нахлынувшей тишине, Люба напряженно спутала на шее потные пальцы и уловила, как туго бьется жилка в самой пазушке. Приникла вплотную к зеркалу, всмотрелась в лицо, словно в чужое: черемуховые глаза притухли, утеряли постоянный влажный блеск, и синие круги под ними загустели, губы зачужели и сухо зашершавели. Облизнула нервно и почуяла вкус табака. Вглядывалась будто бы в неровный взъем коротких бровок и в сморщенный покатый лоб, а следила лишь за дверью, смутно видимой в зеркальной глади. И, словно решившись, порывисто стянула через голову платье, бросила на венский стул и нырнула в постели, зябко вздрогнув от холодных неживых простынь. В сенях послышался шум, свекровь басила, не тая голоса:

— Поди к жене-то, бестолочь...

Степушка вошел, застыл у порога, щурясь и привыкая к яркому свету. Его покачивало, и он обвалился плечом о косяк. Люба встретилась с его шальными глазами, вздрогнула и натянула одеяло к подбородку, выглядывая из глубины перины пугливой насторожённой зверушкой.

— Небось заждалась? Айн момент. Не успеет и мышь пискнуть, как я возле.— Резко погасил свет, но в оконце, низко посаженное над землей, уже потянуло мутной водицей, темь сразу сдалась, и Любе стало хорошо видно, как, путаясь в одеждах, раздевался Степушка, а после, белея телом, побежал к кровати. Он больно схватил ее за плечо, потянул жадно навстречу, густо дыша перегаром, и Люба, внутренне напрягаясь боязливой душой и в то же время томительно желая той греховной минуты, после которой, как пишут в ро-

манах, станет все очень просто и разрешимо, робко подалась навстречу, еще страшась чужого тела.

— Сейчас я пошутую, мой черед. Думал, лошади-то моего возраста все подохли, ан нет.— И Степушка вновь как-то безжалостно оперся кулаком на ее тонкое прямое плечико.

От хмельного перегара и прокисшей табачины, от нервных больных тычков и от той устали, которую впитало тело от долгого застолья, девушке стало неприятно от постороннего насилья, но душа, еще готовно расположенная к любви, тянулась навстречу к суженому, и она, томясь вся, невольно попросила:

— Не надо пока, слышь? Степушка, прошу тебя. Дай попривыкнуть.— Еще Люба покорно шептала, а тело ее невольно напрягалось и уходило от жадных ищущих рук.

— Чего корчишь из себя? Будто и не знаешь, что к чему? Пошутили — и баста. Снимай сбрую.— Пьяное самолюбие и недавняя жгучая обида, растравленная вином, крутили парня, и он сейчас выкаблучивался, выламывался этаким фертом, распаляя себя и круто задавливая в себе недавнюю доверчивую мягкость.— Ну чего лупишь глаза, не русским языком говорю?

Его знобящая дрожь передалась и Любе, и она, сатанея, вывернулась из Степушкиных туго заведенных рук, соскользнула с кровати.

— Ну чего ты, дура.— Парень пытался обхватить ее и бросить в постели, какое-то сладостное буйство подъяло его, оно было куда выше пьяного хмеля и начисто полонило разум. Но Люба обреченно упиралась и тонко вскрикивала, не разжимая губ, и это животное мычанье, это разгоряченное женское тело еще больше распаляли Степушку.

— Ненавижу... уходи! — вдруг вскрикнула и плеснула пощечиной по распаренному лицу. И тут же заткнула кулачком жалобно растянутый рот, глаза округлились и набухли слезой.

Все это случилось так неожиданно и нелепо, что остолбенелый и потрясенный Степушка сплюнул на пол и свалился ничком на перины. «Ну и стой, дура»,— глухо выкрикивал в подушки, задыхаясь от бессилья, одиночества и жалости к себе. Хмель выветрился сам собой, потом и тупое забытье настигло парня, и он, временами возвращаясь в тишину комнаты и к своему

горю, надорванно постанывал. Было горестно от случившегося, а впереди уже не мыслилось просвета.

Люба так и осталась в углу, бретельки лопнули от возни, рубашка то и дело сползала, открывая худенькие плечи, и девушка запоздало подхватывала сорочку и нервно сминала на груди. Раскаяние и любовь теребили еще полудетское сердчишко, уже вновь расслабленное и готовое к нежным словам, и Люба тихо скользнула к изголовью кровати.

— Степушка, ну прости... глупо все так. Забудь, само как-то.— Шептала и тут же готова была уреветься от жалостных слов, так вдруг одиноко представилось.— Ну прошу тебя... любимый ты мой.— Гладила по узкой спине, уже хорошо видной в утренней сентябрьской сумеречности, и спутанной светлой голове, обжигая дыханием узкую детскую ложбинку на затылке, от которой неровными косицами струился волос.— Ну повернись ко мне, прошу тебя.

Тут, наверное, и примирение нашло бы их, потому что полные слезливого раскаянья слова тормошили Степушкину душу и вновь пробуждали светлую благодать и покой, а каждый шелестящий звук как бы наново оттаивал неловко задетую любовь. Парень невольно пламенел, но и на пороге долгожданного смиренья еще кочевряжился, показывал характер, отклонялся от Любиной ладони, затевая игру. Но в дверь неожиданно круто ударили, и Параскевин голос позвал:

— А ну, подъем, молодые. Хватит кататься. Где зверь катается, там шерсть остается. Полысеете раньше времени. За жизнь-то еще намнете друг дружке бока, навертите дыр.— Вошла говорливая, осанистая, слегка враскорячку, спрятав отекшие руки под фартук, и сразу заполнила собою всю боковушку...

Эх, Параскева Осиповна, Параскева Осиповна, зоркая ты баба, и поговоривают, будто от твоего орехового глаза и самому разбитному злотемному человеку некуда деваться, насквозь просмотришь, а тут вдруг оплошала. Знать, от бессонья и давножданной радости, которая хмелит порою пуще вина, иль от свадебных хлопот угорела, но оплошала вот, не разглядела с наскоку опечаленных лиц. Да и то сказать, закрутишься тут, обнесет в такой крутоверти и самого бойкого человека, а впереди хлопот еще на круглый день до самых петухов, когда и минутки свободной не ухватить, чтоб протянуть

заводяневшие ноги, а так вот и крепись, матушка, затяни каждую жилку и уповай на бога и на грядущий день, когда все войдет в свои берега; угождай, старая, пеки и вари, пока в силе, да проводи каждого гостя с поклоном, не царапни обидным словом далеко скрытую ранку, а после только и поди в кровать, как ломовая лошадь, подкошенная излишней кладью.

Потому вся в спешке Параскева, в суете, ей лишнего раза шагнуть некогда, но первую, давно задуманную минуту укараулила, подняла молодых.

— Те-те-тешеньки да баюшеньки. Как почивалось? А гости уж вино из глотки рвут, нажораться не могут.

Степушка подхватил одежду и в одних трусах ускользнул на поветь, Люба накинула платье и пробовала постели прибрать, но Параскева поймала это мгновенье, загорелась вся, оттиснула невестку от кровати.

— Ты поди, голубушка. Твой век длинный. Прибери себя-то.— И скользнула понимающим взглядом по ее лицу, заметила темные круги под потускневшими глазами и подсохшие щеки.— Изголодалась, поди?

Люба смолчала, внутри ее вдруг закаменело все, напряглось от нежданного бряка в дверь: голова от полуношничанья казалась свинцовой и постанывала в затылке. Стараясь не встретиться взглядом со свекровью, пошла прочь, и едва прикрылась за нею дверь, как Параскева ловко откинула лазоревое одеяло. Отстегнула его наотмашь — прямо на никелированные шишечки кровати, глядь, а на белой-то вымятой простыни ни одного даже крохотного розового пятнышка. Ведь только для того и забежала, чтобы подсмотреть, дорогое время улучила, а тут на тебе... Ах ты, профурсетка, ах ты, чудь погорельская, каково обвела старуху. Все из себя молодую репку строила, а тут уж и печати ставить некуда. Я-то для нее, прости господи, убивалась, все честь по чести хотела. Вот они, молодые, что им божий дар? Кроме... и хранить-то боле нечего, да и ту по ветру пустили. Знать, совесть нынче не в чести, раз лечь бы только. Хоть под осиновую плаху с глазами...

От такой неожиданности и растерянности косенько сбежались к переносью глаза, кругом пошла у Параскевы голова, словно в чем-то нестерпимо обманули ее. Темно забродили мыслишки и захотелось вдруг так допечь невестку, чтобы истошно сделалось ей, помучилась, чтобы закровилась душа, слезой изошла... Но он-то, Степка,

тоже хорош сукин сын, пень стоеросовый, вешало огородное — кляла уже сына, забыв и свое участие в свадебном сговоре, и ту непонятную спешку, с какой вершились дела. Куда смотрел, где глаза были? Глянул и ослеп, бабу от девки не отличил. Вот уж воистину богом не дано: от овцы — овца родится.

А на печи тесто доходило. По твердой задумке, хотелось Параскеве вернуть в свадьбу забытый обычай, похвалиться невестушкой перед гостьми: думалось, у кого-то там блудят девки, чего греха таить — горят нетерпежом, а у нее молодка не из той породы, себя до времени соблюла, донесла до мужа сполна, не проливши ни капли. Так мечталось Параскеве вознестись в общей радости, ведь ее твердой рукой положена эта свадьба, но как повернулось вдруг все, вот поди ж ты, угадай наперед. Распорядись теперь по трезвому уму, не пори горячку, хоть душу и пилит тупая ревностная обида. Ах ты... ох ты... И тесто куда девать, поди, квашню рвет.

Потыкалась Параскева в углы, слепо помыкалась и, поникнув, загорбатев сразу, потянулась стряпать показную кулебяку.

А свадебщики-гулевщики, опухлые, едва продрав глаза, уже кучились за столом, полнились нетерпением, молодых ждали. Саня, старший из сынов, весь растерзанный, одичалый, граненым стаканом холодил лоб, прятал за толстое стекло фиолетовый налившийся синяк.

— Ой, трубы-то горят,— хрипло охал и матерился шепотом.— Горючкой бы залить.

Братан Василист пламенел возле широким лицом, словно и не гулял вчера, нарочито не замечал Санькиных страданий и вил странную словесную канитель, наверное, мало понятную и самому:

— Ты слышь? Утром-то по радио. Я и говорю, это как понять? Все плохо и плохо... Деньга у американцев опять пала в цене. Я и говорю, это ж как? Помочь бы, а то что...

Саня оглашенно взглянул на братана.

— Ты что, вовсе? — крутнул у виска пальцем, но заметил взгляд погорельской родни и потемнел.— Трубы-то горят. Залить бы горючкой.

— Я и говорю, это как понять? Вчера в Америке деньга пала, сегодня, передавали, опять пала. А как людям теперь жить? Нужна, говорю, помощь... Это что у

тебя за фонарь? Ой-ой, парень, не рог ли наставили,— с умыслом намекнул Василист.

— Да в темноте зашибся,— неохотно буркнул Саня, уводя разговор в сторону.— Где они там, что, век ждать? В одеялах запутались?

— Они-то разберутся, а тебя-то как понять. Наверное, не зашибся, а ошибся? — не отставал Василист. Но Саня вспыхнул, зачастил, заикаясь:

— Слушай, да иди ты... Ну окосячился, зашибся... ну, рог наставили. Твое-то собачье дело какое. Может, и забодали, по губам помазали, а не попробовал. Сыт, наелся? Иль еще добавить на второе?

— Говоркой ты, парень, погляжу. Я и говорю, ошибся. Жена в Ленинграде с пузырем, вот-вот осчастливит, а он... Ох и боевой.— Василист перебил небрежно, да и говорил нудно, с растяжкой, но глаза сразу почужели, и что-то отстраняюще холодное прояснилось в них.— А насчет добавки? Так и получишь, не отходя от кассы.

— Эй вы, эй,— окрикнули запетушившихся сродников. И тут появился долгожданный Степушка с затаенной тоской на понуром лице, потоптался сперва у порога, выбирая место взглядом, но во главу застолья, где пустели их стулья, не сел, притулился возле Василиста.

— Молодуху-то где потерял? — Саня плюнул на ладонь и пригладил косую челку.— Как медок-то, сладенек?

— Заткнись...

— Вот-вот, всегда так. Чуть что — и заткнись сразу,— еще ерничал Саня, украдкой подмигивал погорельской веснушчатой курочке, постно поджавшей покусанные до синевы губы, которую так и не ощипал минувшей ночью. Хмельная страсть, винная блажь, что ты делаешь с человеком, какие только веревки и не вьешь из него, заставляя выкидывать самые отчаянные сумасбродные коленца.

Ссора зрела над гостьбой, мрак густился, и чуялось, что в любое мгновенье возможна перебранка из-за самой зряшной пустяковины, а там и свара вспыхнет и затмит вздорных, раздраженных с похмелья мужиков, и сразу припомнится тогда все полузабытое, до времени таящееся во тьме души, и выплеснется в неожиданно случившейся горячке.

— Санька-то фуфло, слышь? — Нарочито отвернувшись, корил Василист сродника приподнятым тенор-

ком.— Ты не обижайся на него, Степан, а лучше скажи, как понять мне? Вот, к примеру, в Америке опять деньга пала сегодня. А меня, если для факта взять? Наломался в работе, но зато все есть.

— Развел турусы, напустил дыму,— вмешалась тетка Матрена.— Дедки нашего на тебя нет. Он бы прояснил.

— Деда сюда, без деда не сядем за стол! — дурашливо завопил Саня. Вроде бы надолго не отлучался из горницы, а уже сумел ублажить душу, украдкой опохмелился, и сейчас всех готов был любить. Вот так случается с людьми: один после рюмки — душу нарастопашку, каждый для него — мил человек, а другому хмель душу стопорит, наливает ее желчью.

— Да замолчи, уже тепленький, когда и успел. Наша мамушка заумирала. Не ко времени собралась.

— А чего с ей случится. Уж скокой год умирает. Еще и нас туда проводит,— отмахнулась одноглазая сестра.

Тут и Люба появилась, в голубеньком легком платьишке с воланами, глянцево-черный волос забран на затылке в тугой узелок, а походила сейчас невеста на девчонку, случайно забредшую на чужой пир. Степушка сразу загорелся, вытянул шею, закрутил головой, но Люба прошла мимо и села во главу застолья на вчерашнее место.

— Долго спишь, доченька,— упрекнула шутливо тетка Матрена, морщинясь улыбчивым лицом.— А мы уж заждались, нам без молодых тошнехонько.— Ну как, а? — И подмигнула заговорщицки, подталкивая на сокровенный разговор.— Степка-то, гопник наш, мозги крутил: лошади моего возраста все по-дох-ли... Ты его, доченька, покрепче зауздай-то, но и ноздри удилами не рви, слабину давай.

Люба отмалчивалась, еще вся во власти недавней ночи, вымученно улыбалась и поглядывала на дверь.

— Мати-то где, где Параскева Осиповна? Санька, зови мать. А ты, Степушка, не сироти молодую,— уже закручивала новый гостевой день тетка Матрена, призывно сияя железными зубами. Быстро обнесла гостей по первой, свадебщики готовно опустошили стопки, отчаянно крутили головами и долго жмурились, не притрагиваясь к закускам: сразу же наполнили посуду вновь, и вторая рюмка теперь прошла ясным соколом.

Когда-а девчонке лет шестнадцать,
то всяк ста-рает-ся обнять...

У Сани гармошка готовно распушилась на коленях, сладко потянулась, и мужик повел песню с надрывом, прищурив глаза. А Василист, уже багровый от вина, кричал во весь голос:

— Фуфло он! Любого спроси! Пустодыра! А у меня во! — и с грохотом выложил на столешню волосатые, уродливо разросшиеся кулаки.

— Ты-то работник, уж чего там,— успокаивала племянника тетка Матрена. А Саня растерянно оглаживал хромку и тревожно поглядывал вокруг.

— Темнота... костолом... напросится у меня,— бубнил он, а злиться не хотелось, ибо душа, вновь разгоряченная вином, готовно раскрылась для веселья.

— Ведь не у себя дома. Чего шумишь-то, скажи? — приступили гости к Василисту, укоряя его.— Он тебе чего плохого сделал? Кулаки чешутся, дак поди об угол почеши, а мы тут воли тебе не дадим.

Хорошо, подоспела Параскева на шум, а за нею и сватья Фелицата вошла с поджатыми в узелок губами, чем-то круто обиженная.

— Чего не поделили? — Хозяйка локтями раздвинула гостей и меж посудой втиснула духовито пышущий поднос с пирогами. Позади нее забыто как-то и одиноко стояла Фелицата: к низко опущенной груди, перетянутой ситцевым фартуком, прижато деревянное блюдо с кулебякой, Фелицата пытливо приглядывалась к дочери, и по напряженному материнскому лицу было видно, как силится она что-то выспросить взглядом. А Параскева вскинула короткую пухлую руку и, когда все замолкли ожидающе, поклонилась в красный пустеющий угол, после и свадебщикам отбила поклон, видно, с намерением сказать молодым доброе путевое слово. Тяжелое шерстяное платье сбилось, на тупеньком коротковатом носу выступила испарина, веки набухли, как бывает у больных сердцем людей. Но по тому, как молчала Параскева, ощипывая на груди платье, чуялось тревожное напряжение ее души. Но гостям хотелось веселья, после второй стопки они отмякли и втянулись в гуленье, а потому хозяйкину заминку приняли, как понятную жалостливую растерянность и грусть постаревшей матери, оженившей последнего сына.

— Чего тянешь?! Не трави людей,— окрикнула тет-

ка Матрена, а Саня, улыбаясь застолью, готовно потянулся к хромке. Но что-то грозовое мраком подернуло лицо Параскевы, налитое красниной. Но она смолчала, из рук Фелицаты приняла кулебяку и разломила.

— Вот у меня невестушка-то,— сказала невнятно и хрипло. Молодые переглянулись, Степушка внезапно зарозовел до корней волос, нашарил в подстолье влажную девичью ладошку и стиснул ее, а Люба женским чутьем сразу уловила в голосе свекрови недобрые нотки и побледнела.

— Почто пустая-то?..— спросил кто-то невпопад. Саня пожал плечами и хохотнул, пожилые родичи переглянулись, украдчиво улыбаясь.

— Параня, а рыбка-то где? Позабыла? — ехидно спросила тетка Матрена. И тут Фелицата сморщилась обиженно и со всхлипом заплакала. Только тогда дошла до всех Параскевина крутая выходка. Дочь подскочила, зло дернула за рукав:

— Мама, опомнись...

— Ты меня не дерьгай! Что я такого сказала? Пустая молодка-то, не соблюла себя, вот.

— Мама, зачем вы так? Парасковья Осиповна...— Отчаянный Любин голос, натянутый до звонкого последнего предела и готовый вот-вот сорваться, словно бы пробудил всех, и в горнице стало невозможно от хмельного галдежа.

— Что мама, что? — обманутая в своих ожиданиях, закипела Параскева, слыша и понимая сейчас лишь себя.— Красок-то в постели нету. Где краски, а?

Люба выскочила из горницы, пряча в ладонях лицо. Степушка, роняя стулья, кинулся было следом, но возле матери остановился, ненавистно выплеснул в лицо:

— Не прощу...

— Ты-то хорош? Нужно мне твое прощенье, как заднице ветер,— взвилась Параскева, а после еще и послала подальше, куда Макар телят не гонял.— А вы все... вы чего лыбитесь? Правду-матку нельзя уж стало сказать? Иль соврала чего?

И тут свадьба окончательно споткнулась, ее телегу раскачало на частых ухабах, и вот она рухнула где-то в середине пути. Погорельские родичи сгрудились в углу, недобро косились на кучемских мужиков, часто поодиночке исчезали из горницы, а после и вовсе ушли, не

попрощавшись. Лишь упрямый Василист, набычив морщинистую шею, мычал себе под нос:

— Ну и тет-ка, ну и Параня. Чехвостит всех, только перья летят. А меня не-е... Если меня взять, я по всем мастям. Я не фуфло.

4

...И вот лежит Пелагея под лоскутным одеялом. Куда все подевалось? Куда истекли эта покатая мощь пухлых плечей, сильные, без единой рыхлинки бедра, круто замешанные груди и спелый налив щек. На кровати доживали мощи, оставалась лишь печальная тень от былой горячей женщины, чудился только странный жуткий призрак, покрытый желтой сморщенной кожей,— глухой, беспамятный и почти незрячий. Как-то сразу подкосило, на одном году: непонятная болезнь выпила человека, переменила его, и жизнь ныне считалась на часы. Но тянулась Пелагея со дня на день, все умерло в ней, кроме сердца и обесцвеченных тоскою глаз, которые вроде бы и не закрывались нынче. Посреди ночи ввернет Геласий лампочку, глянет на жену, а больной взгляд на него в упор, утром слезет с печи — и вновь бессонны два немых белесоватых оконца, сквозь которые из самого дальнего нутра сочится какой-то постоянный зов. «Ну чего тебе, скажи? — порой не выдержит старик.— Молока, чаю?» Но глаза все так же зовуще и немо распахнуты.

А заболел-то поначалу Геласий, с год назад, наверное. Плохо себя почувствовал, неделю не ел. И надо же тому случиться: перед тем как слечь старику, решили прорубить новую дверь в горницу, чтобы не ходить через холодные сени, но окосячить не успели. Пелагея и говорит мужу: «Плохая примета, знать, помрешь, дедко». И Геласий, не обидевшись, тогда мысленно согласился, что верно — помрет. Но вышло-то наоборот, смерть пришла за Палагой.

Утром старик собрался к Параскеве Осиповне догуливать свадьбу, потянулся к наблюднику, чтобы достать махорочницу, сронил взгляд на кровать и понял, что жена зовет его. Геласий был давно уж глуховат — застудился на озерах — и подслеповат (а очки висели под божницей), но по неведомому тайному знаку иль по едва уловимому движенью высохшей, почти детской ладошки решил, что Пелагея действительно умирает и просит остаться рядом.

Дочери, так уставшие от матери и ждавшие ее смер-

ти, ушли к Параскеве догащивать. Геласий бездумно снял в красном углу очки, медное седелко ловко осело в постоянную розовую продавлинку над горбиной, и толстые стеколки вдруг вдвое распялили его глаза. Но от этого жена не приблизилась к старику, не стала понятнее в своем желании, как он ни приглядывался к распростертому плоскому под одеялом телу, дожидаясь новой просьбы. Странное такое дело: слышал Геласий натужное дыхание Пелагеи, смотрел на острое землистое лицо, а видел сквозь туман ту, прежнюю, еще в самом цвету, с частой россыпью веснушек на снежном лбу и каштановыми кудельками по вискам. По мелкой походке и открытому заливистому смеху, порой беспричинному, думалось поначалу — бой-баба, уховертка, на ровном месте дыру выкрутит, а как поженились, оказалась молодухой на редкость ровной характером, покорливой и понятливой. Порой, правда, вдруг как заплачет. Спросит Геласий: «Ты чего ревешь-то, дура?» В шутку обзовет, скрывая в голосе ласку. А она: «Тебя люблю, дак».

Был в Кучеме первым предколхоза Степан Радюшин, коренастый, здоровый такой вертюк, громогласный, в споре не уступит, обязательно перекричать надо. Задумал в Погорельце с отцом делиться — и кухню отпилил от избы; поехал в карбасе — и утопил его. Ему дядя родной и отруби: «Ну ты и разруха». Так и прозвище прилипло. Собрались однажды мужики на берегу, чего-то заспорили, а Геласий возьми и скажи по пьяной лавочке: «Ты, Разруха, всю деревню разрушил»,— и бутылкой хвать его по голове. А пока в сельсовете в холодной отсиживался, убили председателя. Обвинили Геласия в сговоре, судили, устроили в Нардоме показательный суд, дали мужику десять лет. Как приговор зачитали — так Полюшка в обморок, едва откачали.

А мужику-то каково после такого расставанья да от обиды. Сидит в камере, в угол забился, а темно, душно от всякого народа, дыханье спирает. Такие орелики сидели вместе с темным мужичьем, такие уховерты — зазевайся, и враз натянут глаз на задницу, голову с плеч сымут. Задумался Геласий, а у него мигом и сперли сундучок с барахлом и дорожный тулуп. «Товарыщи дорогие,— воззвал растерянным тенорком.— Верните вещычки, любить вашу бабу».— «Свинья тебе подруга, пахан». Смеются урки, им в радость — поиздеваться над ближ-

ним. А тут и еще кто-то воззвал, плача и матюкаясь: вчистую подмели, и замок на укладке целехонек. Знать, великие умельцы сидели.

Приуныли мужики, душа заскорбела еще лютее, но временили, маялись пока, смиряя гнев, да и тюремного начальства страшились — за смуту бы лихо пришлось. Но на второй день до буйного состояния накачалось мужичье. В ночь выломали из нар доски, и закипела тут дикая работа: ведь трудно крестьянина поднять, пробудить и встряхнуть, все на что-то надеется, мечтаньем тешит себя, но уж как полез из берлоги, да как поднялся на дыбки, косматясь бородою и забыв и родных, и жену с матерью, и боязни, и надежды,— тут и нет человека страшней. Все трын-трава тогда, душа нараспашку, и гуляет в ней один лишь горячий ветер... И враз усмирили, разложили шпану по углам, не жалея и не скупясь на гостинцы, ибо нелюдь была под рукой, пустой, дрянный народишко.

«Все было, любить твою бабу, доброго и худого,— ровно вспоминал Геласий, уже не злобясь и не жалея ни о чем, думал о себе, словно о постороннем человеке.— Два года отсидел, да четыре — на высылке в Пёше, да после до Берлина в обозе отломал четыре года, а Полюшка ждала. Любит деревня колоколить, ой как любит безвинно ославить печищанина, соседа своего, а тут хоть бы словечко дурное. Блюла, сохранила себя Полюшка.

Жизнь прожить — всего надо настрадаться да нахлебаться. Всяко век-то наживессе, с коровой и без коровы. Вот и выработался ныне, а не лентяй был, ох, не лентяй. И на работе ценили куда с добром.

Все-таки жизнь не бегом пробежала, а тихой ступью. Если бы побогаче был, то и быстро бы прожил. А так — одна работа до поту. Господи, в малых-то годах мечтанье о богатстве, а в старости — о смерти, больше ничего не нать. Пал бы да умер, и больно хорошо. А когда болезный лежишь, тут и воля не своя...»

Вдруг в груди Пелагеи помимо ее сознанья всхлипнуло что иль взволновалось, но в побелевших от страданья глазах ничего не пробудилось, видно, для мысли уже не сохранилось сил. Геласий опамятовался, виновато стал подтыкать вокруг больной одеяло.

— Ну что тебе, жалостная? Прибирал бы господьто... Мученье такое за што?

Жиденький день едва сочился в слепые оконца: на полатях так и не высветлило. Матерый чертополох скребся о стекла бордовыми шишками и грозился полонить избу... Обрать бы надо под окнами, лениво подумалось, а то не трава лезет — лютый зверь, начисто божий свет отымает. Вот и я, грешник, на кой живу, коли работать незамог. Теперь и деревней пройтись охоты нет. Осподи, как все на памяти. По-старинному бы, дак покаяться надо, вот и хорошо бы.

Бывало, спросишь Полюшку шутейно: «Ты чего ревешь-то, дура?»

«Тебя люблю, дак...»

От любви ревела, а он, котина сивый, крапивное семя, в те поры по чужим углам шастал, сливки сымал. Бывало, мужики не раз в кулаки брали гулевана, пробовали учить где-нибудь на задворках иль на поскотине, но трудно, ой, трудно достать лесового человека: приклонится Геласий к осеку, жердину из загороди хвать и давай кружить над головой. Плюнут ревнивцы, отступятся: «Мы тебя все одно подловим».

Все ведала Полюшка, а не упрекнула. Только однажды открылась вдруг, будто смерть чуяла. Лежала тогда в больнице, а Геласий-то и приударь за Феколкой. Вечером заволок в сетевязку, тулуп на пол бросил и бабу-то раскинул второпях. А свет погасить забыл, спешил от жажды. Уж кто высмотрел в окнах — неведомо, но по деревне тем же вечером разнесли.

Вот пришел Геласий в больницу, а жена и говорит: «Отец, ты будто опять кобылу купил?» — «Какую кобылу, ты што?» — «В годах, дак и непонятный стал. Бабу-то валил, дак пошто свет не загасил, дурень старый?» — «Ой, прости, Полюшка, кровь ударила. Прости, коли можешь».— «Бог с тобой, отец. Зла не таю, хоть и обидел ты меня».— «Повинную голову меч не сечет, Полюшка. Выйдешь из больницы, и по новой заживем».— «А-а,— усмехнулась горестно и отрешенно.— Горбатого к стенке не приставишь, из ветра шубу не сошьешь. Вы, мужики, про баб-то как говорите: баба отрожалась, ей уж ничего не хочется, ничего не надо. А сердце куда? Может, в годах-то сердцу еще пуще любить хочется? Вот подымусь на ноги, дам выволочки, за седатый чуб натаскаю...»

Но из больницы вышла, и прошлый разговор будто бы забылся, заковала его Полюшка в сердце.

Не согрешишь — не покаешься. Видно, раньше надо было каяться. Нынче-то уж все упало внутри.

...Снова виновато встрепенулся Геласий, перевел взгляд на кровать, где под одеялами плоско затаилась высохшая кожурина жены, да костяное обугленное лицо. Холодные глаза отчужденно пронизывали старика.

— Ну что тебе, горестная? Молочка похлебать? — спохватился старик, принагнулся над Палагой, ожидая согласного знака, а в глазах ее уже мертвая пыль.— Осподи, отошла.— И скрюченной ладонью погладил лицо покойной, обжимая твердеющие веки.

Тут в сенях загремело, наотмашку распахнулась дверь, и ввалился в избу внук Василист.

— Дедко, ты чего не на свадьбе? Иль колдуешь опять? — весело загремел от порога, не тая голоса, с придергом повесил на штырь ворсистую шляпу.— Параня-то выдала фокусу, слышь?

Геласий тускло оглянулся, пожал плечами.

— С бабаней?..— сразу осекся Василист, кивая головой на кровать, и на цыпочках подобрался к старику, украдкой выглянул из-за его плеча.

— Господь, вот... позвал.

Тут в Геласии что-то стронулось внутри, натянуло сморщенную шею: старик завернул бороду и помял под кадыком, освобождая дыхание. «Обряжать надо покоенку... Не ко времени померла — от свадьбы да к похоронам. И девкам-то опять заботы.— Вспомнил о дочерях с некоторой опаской, представил злое око старшей — Ксении.— Вот и намолила Ксюха матери смерти». И снова сдавило горло, душно стало Геласию и потерянно. Потоптался еще возле оконца, вполовину затянутого свинцовым чертополохом, потом, едва совладав с пуговицами, натянул солдатский бушлат, бороду достал наружу и распушил на груди гребнем. От порога тупо, беспомощно оглянулся на костяной лик покоенки.

День выдался нынче сиротский. Опавший березовый лист, еще вчераируснично рдевший, за одну лишь ночь померк, обуглился и стал похож на обгорелые хлопья бумаги. Небо обвисло, едва крепилось по-над головой и порой редко бусило, меж темных изб струились намокшие мосточки в две плахи. Пока Геласий топтался, в угрюмой задумчивости разглядывая валенки и блескучие галоши, в проулок ввалились дочери. Впереди выступала Матрена в модных, с дочерней ноги, сапогах и

пуховой шали — баба часто посмеивалась, выказывая железные зубы, и хлопала по бедрам,— а позади сутулилась Ксения, угрюмо мерцала глазом и чего-то огрызалась.

— Ты куда, дедо, срядился? — весело спросила Матрена.— Пойдем в избу-то, дак чего ли расскажем.

— Мати наша померла,— не уловив толком, чего кричит дочь, просто сказал Геласий и заплакал.

Женщины, забыв про отца, сразу заспешили в избу, а старик слепо пересек улицу и соседним чужим двором выбрел на угор. Толстые очки запотели иль глаза набухли соленой влагой, но только Геласий видел все вокруг вроде бы как через слоистый дым. Не снимая оправы, он долго елозил мизинцем по стеклам и не замечал, как горючая слеза густо копится в рытвинах подглазий: видно, только сейчас открылось ему все бескрайнее сиротство.

«Вот и я бобылем стал и задумчивость такую имею, что при старости и одиночестве должон помереть. Все перенес, а мука моя, знать, не прикончилась. И жду я ныне того счастья, когда душа моя выйдет из тела. Первое счастье теперь».

Старик так привык к этим мыслям, что они давно казались светлыми и желанными. Он вглядывался в обложное свинцовое небо, а словно бы представлял, куда вскорости вознесется, и вроде бы видел свежий Палагин след, по которому и ему идти. Берег, кровавокрасный, круто сбегал к реке, и эта глубина под ногами порой манила старика: в голове у него кружилось, и ноги слабли, и чудилось даже, вот толкнись он слегка, то и не коснется более земли — такую бесплотную легкость чуял в себе. А река внизу шумела ровно, переливалась на камешнике и кипела от частых рыбьих толчков. В сентябрьский снулый день вода казалась с угора дегтярно-темной и недвижной, и только на самой излучине, где натыкалась на затяжной перекат, заметно становилось ее тугое напряженное течение. Тут равнодушным взглядом отметил Геласий, как из протоки вывернула баба Леконида, вековуха, мерно, по-мужски пехаясь шестом: лодка была с горушкой набита сеном и сплывала вниз грузно и непокорно, часто уросила носом, как необъезженная кобылица. Но у Лекониды хватка верная, и, смиряя теченье непокорной реки, она подвела карбасок к своему постоянному прибегищу, а после, подгиба-

ясь в коленях, стала волочить вязанки сена в угор, на поветь. И Геласий мысленно пожалел Лекониду: «Молока-то каждый хочет, да не всякий насмелится держать коровушку. Надо помяться, прости господи, наломаться до кровавых мозолей, чтобы сенов наставить у черта на куличках. Бабе ли тут убиваться, да у сиротины, знать, надея на себя».

Тут с угора спустился мужик с парнишкой, и Геласий, напрягая глаза, узнал Тимоху Железного. Они сволокли в посудину кладь, часто озираясь, после бестолково пошатались по урезу реки, побрасывая в воду розовый плитняк, и словно бы решили вдруг, в два шеста столкнулись по воде за мысок, и только уж там, за гривкой ершистой осоты, украдчиво всхлипнул мотор. И Тимоху Железного пожалел старик, дожидаясь, когда вынырнет их походная, вставшая на дыбки лодчонка: «Дрянцо мужичок-то, что выловит, то и на ветер попусту кинет. Но дай бог милости, кабы не напоролся на рыбнадзор. Те нынче поднаторели, ловко скрадывают нашего брата». Геласий знал повадки и Тимохи Железного, и белобрысого надзора Васи Щекана и уже представлял, как в полуночь кинет мужичонка в омут неводок за красной рыбой, а тут из-за тальничка, из осоты и возьмет его засада за жабры... «Ах ты, гусь лапчатый,— безо всякой злобы воскликнет Вася Щекан,— ах ты, фараонова сила. Как бы лиса ни виляла, а пойманной быть. Вот тебе, Тимоха, премия за рыбий хвост да премия за потерю бдительности: итого сто двадцать рэ». Посмеется Вася Щекан, справочку выпишет, не отходя от кассы, снасть отымет и умчит на своей «щуке», завивая длинную волну. И, наверное, в это мгновенье екнет сердчишко у Тимохиной бабы: знать, словили мужика, засекли, заломили штраф, а велики ли семейные деньги, так еще вырви из них кусок, словно бы на ветер выбрось, собаке под хвост. А сам Тимоха поскрипит в досаде зубами, смажет по затылку зевнувшему сыну, сорвет в матюках злость и тут же вновь раскинет задиристым умишком, как бы обвести вокруг пальца Щекана. Выберет он ночь поугрюмистей, поненастней, под самый ледостав, вымерзнет каждой жилкой, но свою удачу возьмет. И чем чаще лови такого мужика, тем в больший жесткий азарт войдет он, и тогда не будет для него большей радости, как одурачить надзор, а после и хвалиться откровенно за стопкой вина, и вся Кучема от мала до велика узнает, что

Тимоха Железный прошлой ночью под Осиновым взял пятнадцать семог. И рыбнадзор будет знать, и даже ткнется в Тимохину избу, покрутит носом, а может, и стопочку вместе пригнут, но несолоно хлебавши и покинет кухню, пропахшую рыбой, ибо не пойман — не вор...

«Знакомо все, ой как знакомо, любить твою бабу,— тускло подумал Геласий.— Тут как вор нынче. Свое — да не свое. Как бы и наше вроде — а не ухватишь. У своей реки да на своей родине, а рыбки не возьми на пропитанье. Но ежели я без рыбки не могу, я без нее помираю и в лавке не ухватишь, как тогда? Вот и крадешься, яко тать в нощи. У одного служба, деньги за то получает, а у другого — нужда, охота. Кого судить?.. Гол — да не вор, беден — да честен. А с другой стороны: украл, продал — бог подал. Украл, поймали — судьба привела».

Лодка Тимохи Железного уж давно скрылась, и звук мотора, истончившись до мушиного гуда, вовсе угас в дождливом сеянце, а старик все куда-то проникал взглядом за угрюмую щеть леса до самого верховья реки, густо поросшего трестой. На полторы сотни верст, каждой излучиной и плесом, яминой и каменистой коргой, затяжным перекатом и хитрою протокой знакома ему Кучема. На шестах ее выходил всю, босою ногою, жалея обувку, пробил по берегам незарастающие тропы, когда бурлачил с юных лет, да деревянные мозоли натер на плечах лямкой, волоча карбасы с кладью против воды из лета в лето. У реки заматерел, у воды и радостен был, тут и согнуло в пояснице, на рыбных ловах и усох. От прежней жизни осталось лишь прозвище — Мокро Огузье, а река — вот она, по-прежнему кипит на перекатах, словно бы уговаривает помериться силой новую, молодую и неистраченную жизнь.

И тут снова Пелагея впала на ум. «В каких мясах была, а всю выпило. Все от природы да к ней — такие мои мысли. Все помрем, и мати-земля приберет в свое место. Ежели бы сыра земля не родила да не вскормила, то и никому не бывать. Кормит, поит, потом к себе возьмет, а сама все жива будет. Она — единственная, и перед ней склонимся... А бог, что — знать, был человек хороший, народник, и его прозвали богом. Но только никто не видал его и теперь найти не могут. Все превзошли, а не сыскали. Такие мои мысли: если есть, так надо найти этих людей, видевших бога. Но только нету их.



Мать сыра земля и воздух над ней, и все. И не бог творит, а природа, и в ней дух наш, господи прости...»

Сидел старик Геласий на взгорке и не замечал, как плачет, глохнет и слепнет от слез то ли по Полюшке, так далеко ныне отплывшей, что, пожалуй, и не догнать ее, то ли себя, сиротину, нестерпимо вдруг зажалел.

— Кто тут, кто? Откликнись, добрый человек. Кого судьба мне нынче посулила в благодарные собеседники?

Голос был приглушенный, извинительный, с легкой картавинкой, и старик, тугой на ухо, да и к тому же занятый своим горем, не расслышал зова. Тут несильно

ткнули батогом в спину, и легкая влажная рука, как бы отдельная от человека, сторожко обшарила Геласия, прислушиваясь кончиками кривоватых пальцев и узнавая самой кожей, нервно трепещущей. И только когда обшлаг из темно-синего твердого сукна ширкнул по щеке, старик равнодушно оглянулся и так же молча подвинулся, как бы приглашая слепого. Феофан Солнцев колотнул батогом по врытой в дерновину скамье и примостился подле, сложившись почти вдвое, и острые коленки коснулись его одуванчиковой бороды. Длинное двубортное пальто отпахнулось, и показались блескучие хромовые сапоги с галошами.

1. СЛЕПОЙ ФЕОФАН СОЛНЦЕВ

Феофан сложил ладони на отглаженной рукояти батога и замер, подставив дождю-сеянцу шадроватое лицо: и шишковатый нос с порванной ноздрей, и одуванчиковая борода у самого кадыка, похожая на клочок пуха, случайно налипшего (дунь — и отлетит), и замоховевшие раковины ушей, и желтые натеки глаз под сивыми ресничками — все, кажется, насторожилось в слепом и приготовилось слушать тот мрак, который окружал его.

— Геласий, да ты, никак, плачешь? — вдруг спросил Феофан, поймав странные всхлипы.

— Да Полюшка вот, преставилась...

Слепой не спросил более ничего и не утешил, а только тонким морщинистым горлом, беззащитно выставшим из твердого ворота, что-то все сглатывал, словно боялся и сам расплакаться.

— Я говорю: «Полюшка, тебе молока или чего дать?» А она уж и все. Один я нынь, Феофан Прокопьич, как перст один.

— Много нынче на Руси одиноких. У тебя вот дочери... Я Полю твою помню, по большой совести жила... Сколько бобылок на Руси, понимаешь меня? Да чего я: чужое горе — не свое. Ты отвлекись, Геласий Созонтович, дочери обрядят, все по чести. Я вижу Полю твою, такая была заведенная, все два дела зараз работала. Она ведь с Петрогор?

— А?..

— Петрогор-то, говорю, как величали?

— Петрогор-то?.. Да камашниками. А еще обливанцами. Вера такая... Полюшка за меня-то самоходкой

ушла. Ты не помнишь, поди. Те обливанцы, они особой веры. Посередке деревни ручей, здесь их обливали, к старой вере приводили. Очень уж любили форсить Петрогора, все в камашах, а летом хоть и жара палящая, а все одно в калошах. Уж такая порода... Полюшки-то нету-у. Помер-ла-а Полюшка моя,— всхлипнул Геласий, подавился, закеркал, подбирая рукавом слезы.— Бывало, заплачет вдруг. Я ей: «Ты чего ревешь-то, дура?» А она: «Люблю, дак».

— Я ее помяну, слышь, Геласий Созонтович. Я всех помяну, кого память моя не выпустит. Вот недавно колыбельную вспомнил — всю, нет?..

Где коза? В лес ушла.
Где лес? Лес вырубили.
Где вода? Быки выпили.
Где быки? В красну гору ушли.
Где гора? Цветами заросла.
Где цветы? Девки выщипали.
Где девки? Замуж выскочили.
Где мужевья? На войну ушли.
Где война? Далеко она...

— Тоже записал... Раньше думал, не вынесу, сдохнуть лучше. Но потом мысль такую взял: ведь не один я на свете такой несчастный — и давай сравнивать себя с другими калеками. И счастливец же оказался. Мне ли, думаю, страдать. У других нет рук или ног. Значит, не одному мне трудно, есть еще труднее, такую мысль держу. А было унынье, когда с госпиталя привезли. Говорю, куда я годный, Таня, пойду я в дом инвалидов. А она мне: когда здоров был, я около тебя грелась, а нынче — друг от дружки. После и новая мысль бросилась: чего я в панику ударяюсь, ведь тридцать пять годков по свету ходил зрячим, какое богатство, и небо видел беспредельное, и поля в цвету, и море в раздолье. Да еще пятнадцать лет видел на полглаза. Но другие-то родятся слепыми, правильно говорю?.. Не падай духом, Геласий Созонтович, а падай брюхом, прости за выраженье. Держись за воздух, земля не выдаст. Как бывший учитель говорю тебе, такое направленье духа держу. Когда один идешь, то километр такой длинный, а если с людьми, то и дорога короче. Правильно говорю?.. Жаль, мне писать трудно. Надо, чтобы все связывалось, чтобы на винегрет и компот не пахло.

Но Геласий жил в своей боли, в своих страданиях, и

слышал ли он долгие нравоучения — один бог знает. Душа его закаменела, а мысли замкнулись на одном воспоминанье:

— Бывало, Полюшко-то как заревет. Я ей: «Ты чего плачешь-то?» А она: «Люблю, дак...»

Ну что тут сказать, что ответить? Как утишить человечье горе? Сложил Феофан Солнцев ладони на отполированной рукояти батога и только кивал головой, то ли Гелысьевым горестным воспоминаньям, то ли своим мыслям, коими переполнилась его темная голова.

— Татушка, пойдем давай в избу-то. Застыгнешь.— Неслышно подошла сзади дочь Матрена, необычно потухшая; на голове черный плат, сама вся в темном.— Ну полно тебе убиваться.

Река чавкала в берега, позванивали цепями лодки, уросся кормою по теченью, на плоту перекликались бабы — видно, полоскали белье, ветер ласкался в правую щеку — знать, повернул на север: скоро снега позовет за собою и опять заметет, оглушит забоями. Зимой легче, зимой проще, как бы в спячке живешь, в дремоте, все глухо, отстраненно, и запахи холодные, трезвые, не вызывающие никаких желаний... Все понимал Феофан, каждый звук и запах впитывал в себя сторожко, по-звериному, словно бы боялся неожиданно очутиться взаперти, когда всякое существование теряет смысл. И оттого часто вздрагивала его крупная голова с голубой пороховой сыпью в подглазьях, и отечная рябая щека готовно нащупывала любой, едва рожденный звук.

Смирился Феофан давно, кажется, напрочь отгорела в нем та глухая неизбывная тоска, от которой до щепотки золы вышаивает маетная душа и смерть чудится желанной. Раньше зимы ждал, в снеговеи отдыхал он, прислонившись щекой к палящей наледи стекла, и все внутри опускалось, замерзало, засыпало. А лета боялся, лето раздражало его, будоражило, кровь закипала, и мутилась от желаний душа; и когда разогретый ветер доносил до крыльца запахи цветущего луга и ближних, истекающих зноем боров — всплывала из черного омута гибельная тоска...

«Все перенесть человеку надо, все»,— размышлял Феофан, оставшись в одиночестве на берегу переполненной реки. Оловянно катилась вода меж нагих побуревших берегов, полных слякоти, помятые дождями стога расползлись по наволоку, хлюпкому, раздетому, и по вер-

шинам суковатых стожаров волочилось набухшее волосатое небо. Леса отгорели, отпылали, мокрыми головнями торчал ольшаник, нахмуренные ельники выпятились над щетью поскучневшего березняка, копили в себе стылость и мрак. Самый отчаянный, свежий человек, попав случайно в эту беспредельность тайги, окунувшись в ее зловещую накатную волну, испуганно вздрогнет и ошалеет от сиротства — так страшно и одиноко вдруг станет сердцу, и сожмется оно осатанело в ледяной крохотный кулачок. А если бы Феофану прозреть вдруг? Если бы сподобило хоть на мгновенье глянуть на угасающий затрапезный мир — какие бы тончайшие переливы света отыскала тогда его воскресшая душа. Но не дождаться слепому прозренья.

«...Просто удивительно: сердчишко-то сколь махонькое, не больше кедровой шишки, поди, но выносит такую тоску,— взволновался Феофан, вспомнив вдруг слезы Геласия, и, пока до деревни добирался к избе своей, мысль, внезапно поразившая, все не отпускала его.— Ему бы лопнуть вроде, сердцу-то, надорваться от заболевшей крови, а оно: тут-тук... Все вместить в себя — печаль и радость, а за жизнь-то сколько всего накопится, ой-ой. И все выносить, все замирить, чтобы сердчишко не лопнуло, не порвалось. А присмотреться — так не больше головки чесноку будет. Но какая сила, но какая сила».

По тому, как скрипнула табуретка, понял, что жена у оконца за веретеном хлопочет, а увидав мужа, круто повернулась навстречу тяжело оплывшим телом; это все связал в мыслях — и бряк табуретки, и шлепанье кожаных стертых тапок, к которым не так давно приладил обсоюзки, и длинный вздох. А сейчас вот скажет: «Ну, набродился?..» Но не мог знать Феофан взгляда жены, покорно-усталого, слегка затянутого старческой влагой, и того доброго движенья грузных плеч, с каким она привычно подалась навстречу слепому, чтобы хоть как-то услужить ему.

— Ну как, набродился?..

— Пелагея-то... знаешь? Геласий на угоре плачет.

— Не горько, что умерла, а то горько, что жизнь прожила и не отдохнула.

Феофан разговора не поддержал, привычно пальто повесил на деревянный штырь, клюшку зацепил за железную поперечину кровати, сам остался в вигоневых брюках, заправленных в теплые собачьи чулки шерстью

к ноге, и ситцевой полосатой рубахе без ворота. К столу прошел легко, лишь однажды коснувшись печного приступка.

— Про Полюшку надо занесть. По смыслу жизни она человек не рядовой. Особенный она человек.— Деловито забрякал сухими пальцами, кривоватыми в вершинке, с бокового столика из-за спины переставил эмалированную кружку с дюжиной обрезанных карандашей и стопку бумаги.

— Баба как баба,— возразила жена.— Мяла всю жизнь, убивалась.

— Не-е, ты постой, так не говори. По смыслу своему она не рядовой,— стоял на своем Феофан.— Помню, одна плачея говорила мужу своему: ты помирай, дескать, раньше меня, так я всю твою жизнь выплачу... И твоя жизнь, Татьяна, достойна описания. Все вспомяну, будто выплачу.

— Типун тебе на язык. Чего мелешь?

— Шучу, Танюша, шучу. Срослись мы с тобой за жизнь-то, срослись. Порою чую, будто нас и не двое вовсе, а один какой-то человек.— Спрятал Феофан лицо, сглотнул неожиданную слезу. Лист бумаги свернул гармошкой и железным ногтем продавил сгибы. Сидел, почесывал карандашом треугольную плешку надо лбом.— Нет, нейдет содержанье, хоть ты лопни,— признался вдруг.— Теченье мысли не то. Ты напомни, что я там ранее натворил?

Жена достала из буфета три толстые тетради «Жизнеописанья», долго листала, отстраняя каждую страницу, щурилась слабыми глазами, бормотала: «Слеза зашибает. Боле ни читать, ни писать не могу. Тебе секлетаршу надо, твои каракули разбирать. Сам черт ногу сломит... Вот последнее, что списала».

Она читала нараспев, часто путалась, и, когда сбивалась, Феофан мучительно морщился и хватался за снежный клок бороды.

— «...Дудка полонила морковник. Надо бы косить, а тут тянут, пока семена ветер не разнесет. Вовсе огороды запустили. Всю деревню морковником засорили, корянкой дикой, белым-бело. Бывало, в три утра сенокос, а нынче в восемь едва разминаются. Не сеют ничего и овоща не садят, разве картошку грядку-две. Слава богу, хлеб привозят, а если не будет? А если лихолетье? А такие массивы кругом. И коров-то не держат. Сколь-



ко заработают сена, колхозу обратно продают по десять коп. за килограмм — и все. Нынче две коровы на деревню: в верхнем конце да в нижнем, а еще лет двадцать назад было двести десять, да овец — тысячу сто. Молодые не знают, с какого боку к корове подойти. Старый возраст выпал из строя — и все выпало. Эти женщины, которым сейчас по семьдесят, они и работали. Молодым говорю: «Корову-то держите, с молоком всегда, молоко — продукт ценный, на нем и малыша подымете, и сами не закиснете». А они мне: «Мы, Феофан Прокопьич, ныне молока не едим». А сами в шесть утра уже в оче-

реди в лавке за молоком. Когда было видано, чтобы в деревне за молоком очередь...»

— И сегодня не досталось,— пожаловалась Татьяна, отвлекшись.— Читать, что ли, дальше?

— Ладно, ты погуляй... Время-то летит. Уж зима на запятках.— Пальцем пробежался по сгибу листа, нахолостую примерился. Писал Феофан в наклон, после каждого слова делал отсечку в палец шириной. Жена жалостно поглядела от порога и вышла во двор, тихо притворив дверь.

«...На деревенской женщине, попросту — русской бабе, поднялось все. Двужильная она, безропотная, слезливая и бесхитростная, милосердная и жалостливая. Куда бы ты без нее, Русь великая, без бабы нашей кургузой, сивенькой, мешковатой. Пойми ты ее и возвеличь. Как уйдет из жизни такая женщина, так и сиротеет держава наша. И никто не вскрикнет, не затрубит, что на крохотную жилку стало нынче слабее наше огромное тело... Полюшка умерла, Пелагея Нечаева. А я ее помню какой, такой и опишу, ведь в старости не пришлось выглядеть. Статью она вышла, ноги крепенькие, по женской части все по размеру, уж не похулить, волос — крендельком, помню, палец наслюнявит и на виске крутит, это когда безграмотность свою ликвидировала. Еще помню собранье в Кучемской коммуне, кажется, в двадцать восьмом. Обсуждали и осуждали телятницу Сахарову. Только и брякнула сгоряча баба, дескать, вы к телятам относитесь, как к переселенцам, вовсе телят заморили. До слезы, видать, жалела малую скотинку, но слезой не насытишь, вот и кинулась к председателю, вся в горячем запале. А слово, выпущенное на волю, уже живет само по себе, и новый смысл несет, и странною властию обладает. Так я разумею.

И вот на собранье председатель Степан Радюшин, по прозвищу Разруха, и говорит: «Кто за то, штобы лишить Антониду Сахарову нашего единенья? Пусть в лесу попластается с топором, там ей небо с овчинку покажется». Объявил и стал голоса считать. Пелагея возле меня сидела; вижу, голову в пол и руку не вздымает. Разруха к ней: «Нечаева, ты голос подымай. Ты у нас хоть и свежа, но голос имеешь». Они тогда только что с Геласием вошли в коммуну. А Пелагея на весь зал: «Я ничего не знаю. А про чего не знаю, про то и голос подымать не буду». Встала и пошла прочь из залы. Вот тебе и ти-

хоня; бывало, прямо в глаза не глянет, вся засовестится... А для того времени, да чтобы так высказаться с резким направленьем мысли, большой характер иметь надо. А если про ихнюю любовь с Геласием? Роман, ей-богу, толстый роман написать. Молодые-то нынче на нас, старикашек, сверху смотрят, дескать, выжили свое, торчат на дороге гнилушки. Но были и мы молоды, ой были...»

5

Пришел внук Василист. Потоптался позади тетки Ксении, тупо наблюдая, как та раздевает покоенку. Ерошил на голове тугую медвежью шерсть, о чем-то размышлял. Уже отходя, глазом мастерового прикинул бабкино увядшее тело. Метр шестьдесят — отметил в памяти: плоское, безмясое, с проваленной грудью. «Да полно, бабка ли это?» — шевельнулось смутное сомненье.

«Колдун выпил бабушку,— бормотал на повети, пиная всякую заваль и невольно подбираясь к стопе лиственничных плах.— Высосал, глотина. Какая была — живчик, а нынь — одна тень».

Возле избы своей — штабель свежего теса, но словно бы забыл о нем Василист и, отчего-то злорадно ухмыляясь, раскидал пыльное дедово житье. Загодя для себя припасены были плахи у старого Геласия и по длине подогнаны: к смерти готов был. И не однажды хвалился в домашнем кругу, дескать, после кончины в разор родичей своих не вгонит; сбил тесовины гвоздями (тут же в масленый пергамент закручены) — вот и готова добрая домовина. И пока старика в избе нет, вытянул Василист эти доски на свет божий, обсадил пилкой под бабкин размер и ловко сшил гвоздями. «Вековечный гроб старухе. Такое жилье долго простоит, и вода его не возьмет».

6

— Да наплюнь ты на них, у баб на дню сто перемен. В голове ветер, в ноздрях дым. Сами разберутся.— Саня то ли уговаривал Степушку, то ли утешал и все не пускал в боковую горенку, где скрылась Люба с матерью, оттирал от двери плечом.— Тюха, Матюха и брат с Колупаем. Идем прохладимся на угоре. На волето она вкусна-а, подлючка.— Хитро подмигнул и по-

хлопал по оттопыренной груди: уже успел, хитрован, заначить бутылку тайком от Параскевы.

Свадьба как-то сразу распалась (только что стоял дым коромыслом), гости незаметно расползались по большой избе, словно бы затаились, выжидая, и тишина, внезапно настигшая дом, казалась тревожной и гнетущей. Тут, запыхавшись, в сенки ворвалась тетка Матрена: черный плат шалашиком по самые глаза, лицо мокрое.

— Параня-то где? Ах ты, господи. Матушка ведь померла.

— А... там,— отмахнулся Саня, осклабясь, словно бы и не расслышал мрачной вести, и, только тетка скрылась за дверью, подпехнул брата в плечо: — Вот и повод... Титьки по пуду, работать не буду.

— Не надо так-то,— растерянно обронил Степушка, чувствуя внезапно, как в душе его прянул суеверный испуг, но сам тут же покорно вышел на крыльцо. И пока стоял нерешительно возле двери, зябко пожимая плечами, Саня успел мягкие волосы подмахнуть гребнем, синяк подбелил пудрой и ворсистую шляпу надвинул лихо. Выскочил, по-петушиному перебирая ногами, словно бы удирал от погони, но в заулке сразу присмирел, построжел, грудь выкатил, довольный, что снова на воле вольной, сват королю нынче и кум министру.

— Слышь, и впрямь Любка-то... того? — кинул через плечо и отрывисто хохотнул. Весь был Саня округлый какой-то, мягкий и хотя прилично опьянел, но через раскисшую дорогу вышагивал степенно, боялся опачкать кофейного цвета брючки и лакированные штиблеты: фасонистый брат, чего скрывать.

— Ты это брось,— откликнулся Степушка стыдливо, а душу так обожгло подозрением, так грудь стеснило, что нестерпимо захотелось кинуться обратно в избу и устроить молодой жене допрос с пристрастием. Да и то сказать, чего бы ей крутиться? Как на сковороде заегозила вдруг, заюлила. Положено ведь, так отдайся. Если без греха, так чего?..

— Проще надо, слышь? Не будь недоделком. А ты, может, ее и не-е?..

— Ты это брось! — накалил Степушка голос и невольно покраснел, выдал себя. Понятливый брат только хмыкнул и скрыто улыбнулся.

— Какие твои годы, Степ-ка-а. Но не будь недодел-

ком, слышь? Сорока кашку варила сначала мне. Потом кому? Опять мене. А потом кому? Снова мене. Фингал видишь? Зинка вчера, в бане. Вякать было начала: не на-до, Саня, не на-до, Саня. А я: врешь, Зинуля, надо. Через коленку ломай, слышь? Чем больней бабе, тем милей.

Еще что-то говорил брат, мягко выступая по мокрой траве; темно-красные штиблеты глянцево повлажнели, и низы штанин намокли. Саня взглядывал на ноги, досадливо морщился и отчего-то травил себя, наверное вспоминая ночную утеху... Только расположился чин чинарем, уж все на мази, бери в руки вожжи и поезжай крутенько, темно-хмельно, Зинка под рукой так и попискивает, и вдруг — шлея под хвост: «Не хочу вот так, и все. Не хочу без любви,— говорит,— скажи, что любишь». А он ей: «Дурочка, да о какой любви нынче речь». Нет бы подсластить, а он по пьяни такое вякнул, дескать, не мели глупостей, знала ведь, зачем шла, лови мгновенье. Вот и поймал...

Степушка сзади не откликался более, и Саня тоже замолчал, грустнея невольно и вновь переживая недавнее поражение. Оскальзываясь на маслянистой тропе, зачем-то спустились с угора к реке, пошли берегом. Дождь-сеянец снова сник, но небо еще ниже прогнулось по-над миром, волоча над самой землею набухшую торбу с осенней мокрядью. Природа потухла, и грусть, завладевшая миром, все пуще, все безысходней томила Степушку. Хотелось бы кинуться обратно, повиниться перед Любой за такую дурацкую прошлую ночь, но он упрямо тянулся за братом, молчаливо упрекая его в чем-то и даже ненавидя. Казалось, что какой-то злой умысел скрывается во всем, что творилось вокруг. Так и доплелись они до края деревни: Саня часто оглядывался, видно, искал место посуше, где бы можно залечь втайне от людского глаза, но земля отсырела, сочилась водой, берег ржаво бурел, и, словно бы из отворенных вен, хлестали из расщелин коричневые от глины ручьи.

— Долго еще так, слышь? — окликнул Степушка, давно уже готовый повернуть обратно.

— Да погоди ты,— отмахнулся раздраженно брат — знать, отрезвел он, и мучила его жажда. А на ловца и зверь: только захоти ты, сильно пожелай, истомись, направь свой разум на грех, а сотоварищ по соблазну всегда отыщется. За штабелем ящиков на брезентухе уютно

лежали двое. Один — увалистый, простоволосый, пшеничные отросшие космы намокли сосульками, и сквозь просвечивало розовое темя, рыхлое лицо безмятежно-покойно от хмельной сытости, и только крохотные голубоватые глазки ровно посверкивали. Второй мужик — весь коричневый руками, лицом и шеей, вернее, бурый, словно еловый обдирыш, в кожаной кепчонке, сбитой на самый затылок; он стоял на коленях и разливал по стаканам водку.

— Рыбнадзор спит, а служба идет. Речным караульщикам, блюстителям закона от бывшего моремана, а ныне пролетария мой нижайший с кисточкой.— Саня поклонился поясно и ворсистой шляпой обмахнул колени. Ой, умел приноровиться человечина: везде он свой, идол, везде компанейский, без мыла влезет, балагур, как клещ, вопьется, шут гороховый,— и возьми его такого за рупь пять. Даже Вася Щекан, на что уж хмурый мужик, и тот весь распустился в улыбке, но с локтя головы не отодрал.

— Санька Пробор? Форсишь все? Давно ли прибыл?

— Да вот... Степку бракую, с ума сошел парень. Кто в наше время женится?

— Ну отчего же. Пока не скис, так надо.

Помощник Щекана (мужику за пятьдесят) только взглянул в их сторону и смолчал, занятый столь благоговейной значительной работой, но рука над стаканом невольно дрогнула и зависла в нерешительности — видно, в душе его схватились гостеприимство и крайнее желание закруглить трапезу в одиночестве. Да и то рассудить: при службе люди, при работе, и чужому-то человеку вылезать на глаза в таком состоянии совсем уж не гоже, а тем более распивать с ним.

— Это что за хмырь? — кивнул Саня в его сторону и, не ожидая ответа, присел на корточки подле.— Ну-ка, папахен, подвинь мослы.

Тот послушно уступил место посуше и только шмурыгнул свекольным носом. Видно, что-то в организме сдало, нарушилось, и нос чудовищно разбух и уродливо запрыщавел.

— Ну и рубильник, ну и клюв. На пятерых делан, одному достался. Слышь, куманек, совет бесплатный.— Коричневый мужик покорно смотрел Сане в рот.— В замочную скважину больше не подглядывай, а шнобель свой сдай в Кунсткамеру за пятерку.

— Чего, чего? — весело переспросил Вася Щекан.

— В Кунсткамеру, говорю, принимают. Есть такой музеум у нас в Ленинграде. Там всякие уродцы в спирте.— И уже заворожил Саня, завлек людей, и, пока молол чепуховину, у того заветренного мужичонки из-под локтя стакан неприметно стянул: и не успели глазом моргнуть рыбнадзоровцы, как зубами вцепился в граненое стекло и, не придерживая рукою, вылил водку в горло.

— В Ленинграде все так? — с ленивой угрозой укорил Щекан, и не понять было, то ли за товарища своего собрался обидеться, то ли фокусу удивлен. Но заводиться, шуметь пьяно он не стал и даже голову не оторвал от ладони. Нынче добродушно настроен старший инспектор: утром вырвался от семьи, а впереди до следующего красного листка целая неделя дикой бродяжей жизни возле костерка, иль под еловым выворотнем, иль посреди воды на утлой посудине день за днем, когда от долгого бдения грудь выстудит, виски заломит и глаза опухнут и затекут от бинокля. Сейчас вот хорошо выпьет, а после падет в лодку и где-нибудь вдали от деревни вылежится в стогу, сам себе бог и судия, а после душу настроит на работу, закаменит ее, постоянную жалость затворит засовами: ведь на службе человек, на зарплате — так лови, добывай браконьера из самого тайного схорона. Чем больше поймал, тем виднее служба. А реки две, и обе по двести верст, и десяток деревень по берегам, и каждому поселянину, выросшему на рыбе, хочется обсосать семужье перышко, закатать в кулебяку леща иль сиговое звено, заварить ушицу из свежины.

— Ты зря так, Вася.— Ловко выудил Саня из плаща бутылку и с прихлопом поставил перед Щеканом.— Я, Вася, не из скобарей — из чужих рук не питок.— Уже обиженным притворялся, развалистые брови нагнетал на глаза, но дуться не умел Саня, не из той породы человек.— Работка, смотрю, у вас хлебная. Никто над тобой не стоит, шею не пилят. Возьму вот и намылюсь к вам.

— Сначала портков наготовь...

— Чей такой шебутной? — впервые открыл рот заветренный мужик.

— А Парани Москвы,— ответил за Саню Щекан.

— То и гляжу, что навроде бы Паранин. Такой же говоркой. А это брат егов, што ли, такой совестливый?

— Ну...

— Совесть-то, дядя Егор, еще из люльки у меня украли,— криво усмехнулся Степушка. Вышел он из дому простоволосый, в одном пиджаке, а сейчас хмель угас, и стало парню знобко. Ссутулился рядом с братом на корточках, будто несчастный куличок-травничок, до боли растирая ладонями лицо, силился душевно как-то слиться с компанейскими мужиками. Порой словно бы отстранялся Степушка от самого себя и тогда удивлялся, отчего сидит здесь, у реки, а не в горенке-боковушке возле Любы, где в самую пору только и быть ему.

— Братила, ты чего не угощаешь людей? Свадебное давай ставь,— хитро подсказал Саня, уже чего-то смекнув, ибо сам же быстрехонько сковырнул шапочку с горлышка и оба стакана наполнил всклень.— Мы-то сыты, Вася, мы вина наелись, уже трубы горят.

Щекан выпил, оскалился, мотая головой, осколком печенюшки заел горечь — вот и вся закуска — и не успел охолонуть, как городской наезжий гость остатки сивухи плеснул снова, а зло же нехорошо оставлять на дне посудины, и пришлось питье прикончить. Захорошело в голове, штопором понесло Щекана: «Братушки, да я... да если хотите знать! Я во, если хотите, попросите только! Я, думаете, так просто? Железный Щекан — и все? А у меня тут-то ой боли-ит! — Ударил себя в грудь наотмашь и заплакал, завсхлипывал, но тут же, возвысив голос, отмахнулся рукой: — Прочь, к матери всех, прочь, не жела-ю!» — С головою закрутился в брезентуху и затих, как мертвый.

— Слышь, у меня идея. Сегодня нашему брату воля,— украдчиво, переходя на шепот, наговаривал Саня и часто оборачивался назад, где из-за груды ящиков выставала голова в кожаной бурой шапчонке, похожая на старый подосиновик.— Давай на рыбалку, а? Тюха, Матюха и брат с Колупаем. Нынче рыбнадзору не до нас. Сеточки кинем, ухи из семужей головы наварим да на природе-то как поедим. Ну, так чего?

— Не толкай в пропасть и не понукай. Не лошадь, не запряг.

— Скис.. Эх ты, тесто. Ну и было чего, так и что? Мало досталось или сливок жалко.

— Замолчи, а то схлопочешь.

Но Саня не унимался, не веря угрозливым словам, поигрывал покатыми плечами, туго покрытыми синим

нейлоновым плащиком, от всей души старался помочь брату, истинно не понимая его страданий, похожих на детские капризы.

— Пойми же... Девушка не травка, не вырастет без славки. Ты только после не поддавайся, под ее трубу не пляши. У тебя козырь. Чуть что, с козырей ходи. Моя-то, слышь-ка, жена было концерты давать, а я ей — фига, поищи другого права качать, а у меня шея тонка, обломится, если тебя таскать. Она ну вонять: не зна-ла, за кого шла, а зна-ла бы, так не-е... дура была. А нынче как спелись: я на первый голос, она — вторым.

— Как в глаза Любе гляну? — тянул свое Степушка.

— Сеточки бросим, по стопарику тяпнем. И все без страха, по своей воле. У костра так давно не сиживал.

— Будто клещ впился, ей-богу. Отвяжись, худая жизнь!

— Ну все, все... перестал.

Неладно начиналась Степушкина женатая жизнь, не клеилась, будто злой рок подставлял ему ножку или черт за левым плечом подмигивал, строил рожицы и кого-то то и дело подначивал на очередную пакость. А иначе как объяснить одни неприятности? Только вознамерился Степушка войти к Любе и повиниться смиренно, дескать, любимая ты моя, прости за дикие выходки, лошадь и то оступается на ровном месте, а я же человек, на руках носить тебя буду и словом плохим не покрою, а тут мать и попади навстречу, от деда Геласия спешит.

— Где вы были, лешаки? Обыскались вас.

Саня, посвистывая, приобнял мать, шутейно поправил черный плат на голове, а Степушка, ковыряя ботинком отсыревшую дернину и пряча глаза, буркнул:

— Мама, перед Любой извинись.

— А чего такого сказала?

— Извинись, говорю,— повторил настойчиво.

— Ха-ха... Угорела барыня в нетопленной горнице. Иль я соврала чего? Нашел пару тоже.— Параскева завелась, побурела, захлопала ладонями по широким бедрам.

— Мама, замолчи же. Чего грязью поливаешь?

— Скажу вот... По правде-то разучились жить. А на хиханьках не проживешь, не-е.

— Не твое дело, слышь! — оборвал Степушка, сдерживая в себе гнев и боясь перейти ту грань терпения, после которой начинается темь. Взгляды их столкнулись, и в затяжной глубине Параскевиных глаз сын увидел смятение и испуг. Лицо необычно одрябло (иль так показалось лишь), щеки присохли к деснам, ведь старая старуха, а чего-то ерестится, жизнь портит и себе, и людям, выдай все и положь по-ейному. Подумал так и почувствовал усталость и жалость.— Зубы-то забыла,— понял вдруг внезапную перемену в материном обличье.— В стакане забыла иль потеряла?

— Да ну вас, сучье племя. Свистуны! — плюнула Параскева и круто поспешила в избу, подволакивая галошами по обочине. Ссутулилась мать, голова, плотно обтянутая черным платом, казалась рогатой и едва смотрелась над круглыми плечами, и потому походила сейчас стоптанная старуха на кургузого жука-дровосека, лишившегося пружинистых усов.

— А не вяжись ты с ней. Чего пристал к матери? — напомнил Саня. Кровь бродила в нем, будоражила, хотелось веселье продолжить и куда-то силу свою девать, чтобы полностью истомиться.— Ее не переделать, а ты лезешь. Ну сказала, ну ляпнула. Брань на вороту не виснет, размажи да сплюнь.

— Так едем, что ли? — сам подсказал Степушка, неожиданно для себя решившись, лихорадочно заспешил и в сенях не замедлил, не стопорил шага, но боковым зрением отметил про себя, что дверь в боковушку прикрыта плотно. Гундосил под нос, шарился в сумеречности повети, хотя знал, что Саня на кухне переодевается.— Чего сетка, сеткой много не возьмешь. Протянем неводком, вот и рыба. Палаге на поминки и с собой в Ленинград увезешь, жене на зуб.

Он торопливо, уже азартно запихал снасть в бельевую корзину, сверху покрыл брезентовой курткой.

В комнатах пахло едой и недавней гостьбой, на разоренных столах кучились объедки, мать сиротливо сидела в переднем углу, уронив опухшие руки в подол, и плакала. На сыновей даже не взглянула: только еще ниже, до самых глаз, сбила скорбный плат. Куда-то и дети запропастились, и Палька, и Витька, и Шурка — все вроде бы возле крутились, а тут укрылись по углам, по горницам, никто не сунется под руку и по-доброму не пожалеет, не приголубит, и оттого Параскеве станови-

лось еще горше... При живых-то дитешах и сиротею, думала она. Понять ли им? Только добра желаю, а они нет бы покориться матери, смолчать когда. Вот и сон в руку, будто рыба — не то щука, не то налим большуханский — по дороге ползет, посуху, а голова у рыбы той коровья, рогастая. Так все и случилось: устроили из свадьбы посмешки. До ума вырастила, на ноги подняла, холщовой юбки до старости не сымала, от воды да от навоза сгорела, а они, дитеши лешовы... Ой худо, как у вороны нет обороны.

Слезы копились в морщинах, катились беззвучно из набрякших глаз, но не вытирала Параскева лица: пусть видят, измыватели, пусть знают, как страдает их мать. А сама не столько следила, сколько чуяла, как собираются они куда-то, ее сыновья, одежонку поплоше напяливают. Наблюдала сторонне, исподлобья как-то, часто подергивая замокревшим носом, а душа-то бабья помимо желанья так и вздрогнет, так и встрепенется, ох, идолы стомоногие, хоть бы к воде не совались, утопнут ведь спьяну, утянет водяной — долго ли в лодке опружиться, когда душа не своя. Страдала, но и словом не обмолвилась и на Санькино скоморошье прощание не откликнулась. Правда, чуть позже, когда Палька вздумает полы мыть, окрикнет ее Параскева испуганно: «Чего решила, глупа? Братья родные ведь уехали, не чужой кто. Следы-то сразу кто замывает».

Санька, надев застиранную фуфайчонку с материного плеча, сразу утерял свой фасон, поблек, и только черного бархату кепка, посунутая к пожелтевшему синяку, выдавала манеры отчаянного форсуна. Он сразу кинулся на угор, помахивая пустой дерматиновой сумкой, а Степушка, нагрузившись кладью, еще потоптался у немой двери, сам душою ополовиненный. Представлялось, что Люба так же мается в горенке, плачет, поди, а может, теща Фелицата подбивает ее к чему дурному иль норовит домой обратно увезти и когда вернется Степушка, уж беда ждет у ворот... Ну и не надо тещиных блинов — встанут в горле. Подгорячил себя, еще чумно потыкался по сенцам, а после ногой настежь отпахнул дверь и, подгибаясь в коленках, поспешил за братом вдогон.

Тот караулил, оказывается, за банькой. На десять лет старше, а стал канючить позади, как малый ребенок: «Слышь, Степка, горячительного-то, а? Рыба ведь

посуху не ходит». «Как знаешь, как знаешь»,— равнодушно отмахнулся Степушка, занятый своими переживаниями, а Саня какое-то время еще тянулся следом, после неслышно исчез из виду и вскорости воротился к реке, посвистывая довольно, и дерматиновая сумка тяжело провисла в руке.

7

Деревня сегодня в предчувствии затяжной осени необычно постарела, хмуро набычилась, в слоистом заводяневшем воздухе избы намокли до черноты, и на угоре противу обыкновения никто не толпится. Только изредка отмахнется рыженькая дверь магазина, кто-то сбежит с высокого крыльца и, сутулясь, тут же исчезнет за углом. Не было нынче смотрящих, не от кого было таиться сегодня, и что-то выдумывать, и загодя привирать, дескать, за сенами вот собрался на Митюшиху или, что еще смешнее и нелепее, в Осиновиху за грибом, хотя рыжика тут вот, прямо за кладбищем, хоть лопатой греби. Некому сегодня крутить завиральни, твердо зная, что все загодя угадано и половине Кучемы известно, куда наладились мужики, ибо рыбак виден и чуется издалека по сосредоточенности лица и беглости взгляда, когда он суеверно старается избежать встречи с посторонним глазом. Но в этой-то тайне, с которой уходили на промысел, видна была своя радость, своя игра, когда затеянное предприятие наполняется азартом: ведь мало только закинуть поплавь и достать рыбы, но надо и таиться, рисковать и, постоянно помня о караульщиках, опасливо напрягать сердчишко... Хотя во всем этом ныне запретном промысле, положив руку на сердце, много ли вы найдете забавы, легкости и безделья? Представьте затяжную осеннюю ночь, полную мокряди, когда и нитки сухой на теле, и костерок запалить — боже упаси, а каждая телесная жилка стонет от холода, и руки сбиты до кровавых мозолей, и, может, не раз зашибся в темноте, но, скрепив зубы, страшишься выматериться в полный голос и хоть этим утишить боль, ибо кругом таится страх, за каждым облаком прибрежного куста — засада, а то и убегать вдруг придется: надзор повис над кормой, уже настигает, и по высокому вою нагретого мотора слышна близкая расплата, а тут своя тачка лишь сипит, и хорошо, если в последнее мгновенье, когда, кажется, уж поседел,

вдруг забренчит в суставах,— а там дай бог ноги да ближний тайный схорон. Нет, братцы, труса на такой лов не затянешь, и холодный человек отмахнется от подобной рыбалки, ведь куда ловчее выспать ночь подле сдобной жены в теплых перинах, а после, следующим вечером, прийти с хозяйственной сумкой в избу удачливого рискового мужика и выудить семужье звено за косушку водки...

— Ну, трогай, саврасушка,— скомандовал Саня, усевшись поудобнее на бельевую корзину со снастью. Степушка отпихнулся от берега, пристально вгляделся в близкое дно. И сразу думы затеснились, такие лишние сейчас. Трудная река Кучема, с норовом, мыслителей она не любит, глаз да глаз тут нужен и чуткая к мотору рука: только ушел в себя, зазевался — и замшелый камень под винт. До первого переката не дошли, как полетела шпонка. Пока возились с мотором — намокли, и Саня захандрил.

— Давай для сугреву,— стал упрашивать.— По махонькой, по ма-хонь-кой, чем поят лошадей.

— Если под каждым перекатом пить, не стоило и трогаться.

— Так уж и сразу. Чего торговаться? По одной, а?

Степушка, сдаваясь, огляделся: низкий берег тянулся ровно, осота уже загрубела и пожелтела, дальше по наволоку едва проглядывали обвершья зародов, а за крутым коленом реки угадывалась деревня. Недалеко ушли, и двух километров не отметили, какой тут отдых? Но Саня разыгрывал, стучал знобко зубами и не садился в лодку, потом выхватил сумку и по глинистым клочьям полез на бережину. А сыро-то было кругом, вода под сапогом хлюпала — не присесть: пришлось достать брезент и раскинуть на отросшей отаве. Но если решились опустошить по стопарику, то надо и заесть чем-то? Вот и снедь разложили, уселись поудобнее, а после зачина и безмятежное спокойствие нашло: провались все в тартарары, какая уж тут рыбалка на ночь глядя, да и далеко ли уйдешь по такой реке, если за каждой излучиной вода кипит на каменьях, и только большой знаток может ровно, без помех забраться на лодке в истоки.

А тут раз в год приедешь из города, на чужой посудине свозят тебя и неводок закинут, а ты, по-родственному, только ложку почаще запускай в котелок, да выбирай семужьи черева. Не каждый день человек в

гостях, оттого и вниманье ему, и кус послаже. Забыл Степушка реку, отвык от ее характера: после первой же рюмки тайно признался себе в этом, но на словах еще хорохорился, тормошил брата:

— Тут тебе не у тещи в гостях. Хоть и сбил меня не ко времени... Но рыбалкой угощу. Я ведь не Василист.— Почему-то с обидой вспомнился братан.— Кто раньше не ловил, тот и нынче не ловит. Тут азарт нужен. С Василистом, бывало... Смех ведь. Окунишко выдернул, с палец длиной, вот таку-сень-кий, загнулся — едва видно, а он его коленом-то прижал да и кричит на все озеро: «Уймись, зверь!» Окунишку-то дерг, напополам и рассадил. Во рыбак-от...

В душе Степушки словно бы запруда рухнула: всю свадьбу язык на замке, а здесь заговорил вдруг с лихорадочной горячностью. Саня молчал, под рыжеватыми козырьками бровей пыльные глаза улыбались, но в глубине их таился недоверчивый холодок, мол, давай-давай, заливай пуще, а я послушаю; чуя эту далеко спрятанную насмешку, Степушка заводился еще круче, словно бы доказывал что:

— Не веришь?..

— Гы-ы-ы...

— Не веришь, да?

— Ух ерш-скобаревич. Ты не заводись только.

Незаметно одну посудинку опустошили, и Саня из дерматиновой сумки, стоящей подле, выудил вторую.

— Да я здесь, если хошь, каждый камешек знаю! Мне город-то — во! — черкнул Степушка ладонью по шее.— Думаешь, я тихоня, сопля. А фигуру из трех пальцев не? Я над собой не дам плясать. У меня силы хватит, не гляди, что тощой... Парня одного изуделал, на аптеку поныне работает. Не захотел, зараза, пол в комнате мыть. Давай ереститься, давай выгибаться на публику: я не я и рожа не моя. Его очередь, а он фраера корчит. Морда во, кирпича просит... Я только на вид худой, слышь! В кровь его, собаку, уделал! Сейчас первым лапу подает. Ты меня, Санька, не знаешь...

— Ладно, братуха, не кипятись. Может, баиньки! — Саня приобнял Степушку за плечи, пробовал повалить на брезент, а сам уж раскис весь, безвольно обмяк, готовый в ту же секунду забыться. Да и то сказать: на старые дрожжи, да новый хмель — много ли тут надо, одна лишняя рюмочка любого питуха с ног кинет. Но Степуш-

ка распалился, заартачился, обидно думалось, что и здесь ему не верят, родной брат насмешки строит. Схватил Саню под мышки, пробовал поднять, орал в самое ухо:

— Я тебе покажу... не веришь, да? Я такой омуток знаю...

Но Саня каменно обвис, тело отсырело и затяжелело вдвойне, он уже и говорить не мог, а только мычал: «Баиньки давай».

— Я тебе покажу баиньки. Чего разлегся, боров сытый.— Через надсаду и муть в голове все-таки удалось поднять брата, и он стоял даже некоторое время, пока Степушка подпирал его со спины. Но вот неисповедимая шальная сила повлекла Саню к земле, и он тяжко обрушился посреди брезента, раскинув руки. Степушка тоже покачался над ним, тупо размышляя о чем-то, но вот и его ноги ослабли, и парень, сложившись комочком, прилег на захолодевшую траву. Луговина напиталась осенней водой, от нее тянуло предательской сыростью, и коварная земляная тягость неслышно вливалась в каждую опущенную, бессильную жилку. Лежит человек и не ведает в хмельном бреду, как сила и здоровье по капле утекают из тела. Разломавшись по молодости, он завтра еще легко вскочит, может, и крякнет от мгновенной стреляющей боли в пояснице, а после и забудет вязкую осеннюю ночь, в которую он, не зная того, крепко пошатнул здоровье. А за что, за какую такую услугу столь бесценная плата? Спроси его, отрезвевшего, с посиневшими трясущимися губами, и покаянно-безмолвно понурится человек.

Река чавкала, билась в берега, бессонно ворочалась на каменистом ложе, жиденький свет зарождался понад лесом, словно бы там плутали с лучиной, и снова мерк. Кому бы там шататься? Чья такая душа блудила в потемках по ночному взрытому небу, так похожему на забытую пашню? А тут и моряной потянуло, огрубелая трава сразу подсохла, заершилась, и похоже, что инеем опушило ее. Луговина, как бы принакрывшись плесенью, вдруг проступила из темени, и тут же на ближней осотной лайде, полной дождевой воды, заворочался журавлиный подрост и, пробуя горло, заскрипел жестяно, завсхлипывал, словно бы в забытой избе качнулась на ветру дверь. Ветер-то едва тянул от моря, он только наливался предзимней силой, но сразу же вы-

сквозил и выстудил все на миру. Вздрогнул Степушка, но не очнулся пока, только опухшие багровые руки протиснул по-детски меж колен и что-то жалостное простонал. Может, привиделась молодая жена, ее налитые слезой укорливые глаза проникли в самую душу, и Степушка, уже прощенный и простивший, тянулся к смутно белеющему плечу и скомканной на груди рубашонке, силясь разъять испуганные пальцы...

Саня, тот очнулся сразу, потянулся до хруста в хребтине, здорово и сыто хукнул, прочищая от перегара глотку, а голова после такой-то затяжной гулянки оказалась на диво пустой и свежей, без всяких смутных тревог. «Наелся винища, нечего сказать». Вдруг вздрогнул, знобко перебирая лопатками, прислушался к себе: сердце в ребра толкнулось сильно, без сбоинки. «Набрался опять,— подумал без раскаяния, даже с некоторой хвастливой гордостью.— Угораздило же черта. И неуж все вылакали, скоты?» Потянул дерматиновую сумку с испугом, но ощутил полновесную стеклянную тяжесть и успокоился. И так радостно стало, что вчера до края не дошел, до той пьяной глупости, когда все трын-трава, не набрался, норму выдержал и на опохмелку «гранату» вот оставил.

— Ну и северик... до костей пробьет. Степ-ка, подымайсь, заколеешь ведь! — Позвал негромко и вяло, да и лихо в такую рань драть горло. Степушка заморенно скукожился на траве, что-то бормотал и цапал рукою брезент. Тогда, заранее расплываясь всем лицом, Саня добыл бутыль темного стекла и чмокнул граненым стаканом. Брат очумело открыл глаз, кровяной от плохого сна, пятнистый, с набухшим сиреневым веком, и, сдувая в сторону подмороженные инеем былки, долго и недоуменно уставился куда-то мимо Сани в колышущую пелену сумерек, на дне которых угрюмо катилась река.

— Эй, рыбак, рыбу-то проспал!

Степушка, молчаливый, с зачугуневшим лицом, сел, как идол, подогнув калачиком ноги, но в опущенных губах, во всей сутулости спины виделось такое страдание и грусть, что Саня невольно сбавил ернический тон и зажалел брата:

— Ну брось ты, ерш-скобаревич. Давай для сугреву трахнем,— щелкнул ногтем по толстой бутылке.— И по домам, а? Как находишь?.. Там Любка пожалеет.

Тут за поворотом неожиданно загундосил комарик,

сначала едва слышно просочился его голосишко, беспомощно проткнул настоявшийся сыростью воздух и захлебнулся тут же, но вот гуд как-то сразу стал гуще и толще, выстелился над водой, еще пустынной и завитой, и вдруг забасил мужиковато и натужно, когда лодку вынесло из-за ближнего мыска.

— Кого-то черт несет? — стал угадывать Саня, не столько из собственного интереса, сколько из желания растормошить Степушку.— Стражнику бы — так не время. Как ты думашь? Еще не очухался, поди, сопит в две дырочки. Работнички, слышь, Степка? С работы таких в три шеи... Только и знает белую коровку доить. Эй-эй! — Завопил вдруг, бархатной кепкой крутнул над головой, в простуженный крик подпустил жалостной слезы.— Братцы, помогите пропащему человеку!..— И тут же хитренько добавил, не оборачиваясь к Степушке: — Думаешь, без рыбы идут? Черта с два... И чего он крутит, сексот поганый.

С лодки их заметили сразу, но, однако, приворачивать не спешили — знать, опасались чего, тянули волынку, седок на корме егозил и что-то кричал, а после, решившись, все-таки приглушил мотор: посудинка сразу огрузла, вода зашипела, отваливаясь от бортовин, и седые усы за винтом опали. А Саня примерился несколько раз, уже забыв про Степушку, и бутыль синего стекла загородил ногою; в роль вошел человек, душа загорелась, даже в потную дрожь бросило — так захотелось облукавить ближнего, обвести вокруг пальца.

Начальный разговор был торопливый, на одних возгласах: мужик остерегался засады, а Саня заманивал.

— Ну?..

— Баранки гну,— ткнул Саня пальцем в сторону лодки.

— А-а...

Сразу смягчился Тимоха Железный, шестом подпехнулся в берег и шапчонку (когда-то каракулевую) сбил на распаренный затылок, открывая круто срезанный лоб и плешинку с редким паутинчатым волосом.

— Со лба лысеешь, друг. Видно, много думаешь, как бы надуть? Волос-то ладонью вытер.— У Сани слово не залежится на языке, весь в мать, и сказать он умеет так, что вроде бы и смешно на первый взгляд, а раздумаешься — так обидно ведь. Но Тимоха только хмыкнул, и по закостеневшему багровому лицу, какое бывает чаще все-

го у язвенников и людей, сильно пьющих, пробежало смутное отражение улыбки.

— Знашь-ти... Щекан, думал. А он ловок.— Полез на берег, но правым, здоровым глазом так и пробуровил все вокруг, просверлил на три пяди и под ногами, так остерегался засады, а Саня, ловкач питерский, будто ненароком отодвинулся, уступая дорогу, и открыл взгляду снаряд «солнцедара» и брезентуху, заманчиво раскинутую на луговине, уже примятую долгим сидением. Тимоха стесненно, сбоку пригляделся к бутылке, и сразу тягучая боль подкатилась к пуповине, и колени, отсыревшие в долгих резиновых сапогах, нестерпимо заныли... Ревматизма проклятая дает знать. Винишко-то дрянь, клопов токо травить, но для тепла разве, требуху согреть. Так подумал лишь, а сам уж неловко, с прежним стеснением опустился на самый краешек брезентухи, вернее, на отмякшую траву, мохнатую от сырости.

«Простодыра, чего там,— решил Саня.— Его-то вокруг пальца обовью».

— Вино сам видишь... Заборы красить. Да где лучше-то? Осенью поганка, а зимой — рупь банка. Может, стопочку осилишь? — Ведь не предложил, черт такой, а будто бы упрашивал. Ну как тут откажешься...

— Разве что одну... Эй, Витьк, побудь тамотки,— крикнул сыну. Тот сидел на клади посреди лодки, готовый в любую минуту дернуть пускач мотора. Мальчишка независимо осклабился, показывая хищную зернь зубов, и по-взрослому матюкнулся. Был он без шапки, в такую-то холодину, и бараний волос просторно курчавился над худенькой головенкой. Отец сделал вид, что не расслышал матерщины, близоруко приткнулся к бутыли и стал читать по слогам: «Сол-неч-ный удар»... Выдумают же эко. Глупый народ заманивают на дешевизну. Говорят, има токо кишки травить.— Потянулся к стакану и по случайно забытой копеечной блестке чешуи на рукаве, по красной стружке крови под отросшим ногтем Саня уловил: семга у мужика есть.

— Говорят, женился? — Тимоха повернулся к молчаливому Степушке половиной тулова, будто бы сейчас только заметил его. Стакан подрагивал в ороговевшей ладони, но хотелось сладостное мгновение растянуть, и потому мужик медлил.— А родича не позвал, эх ты... Я Параньке-то, как ни крути, двоюродный племяш...

Говорил Тимоха строго, обгорелое на ветрах лицо пристойно, можно подумать, что хозяин сидит, деловой человек, да только вся деревня знает — тепа он, сама простота безотказная, хоть веревки из него вей, к любым рукам пристанет. А женился-то как? Смех вспомнить. Баба на пятнадцать лет старше, вовсе завалящая женочонка, оторви да брось, ни кожи ни рожи, а по хмельному делу как-то стакнулись, и быстрехонько понесла она от Тимохи. Однажды ночью заявилась в его избу (родители в летней половине спали), тут же бельишко в узел смотала и сонного парня в свой дом увела, а было жениху тогда двадцать три. Шестнадцать лет вместе прокантовали через грех, но семерых настрогали лихо; нынче бабе уж за пятьдесят, нажилась она с мужиком, а теперь каждую неделю Тимоху вон из избы гонит: «Поди прочь, железяка хренова,— на всю деревню вопит,— не нужон ты мне более».

Выпил Тимоха, скуксился, и левый вывернутый глаз в пронзительно-багровом ободке еще пуще выкатился. Рыбак Тимоха, лесовой человек и по гражданке монтер понятливый, тут не откажешь ему, но чаще удача для него в грех оборачивается, а то и в беду прямую. С глазом-то у мужика как случилось? Опять же вся Кучема со смеху надорвалась. Шел, дескать, по линии, встретил медвежонка, оглянулся: матки вокруг вроде нет, вот и хвать животинку — да в монтерскую сумку и кинь. Думает, ну удача, вот радость: за медведя премия, да ежели в надлежащее место сдать — снова деньги большие. И только сердчишко счастливо заторкалось, тут мамаша из-за куста и выкатила, как грозовое облако, такая баржа, как есть ужас господний. Бежать от нее — так поздно. Хорошо, успел ноги в монтерские когти сунуть, да по-беличьи на столб взлететь: никогда раньше за собой такой прыти не знавал. Медвежонка-то вернул, тут не до премий, но мамка лесовая, словно на карауле, до вечера выходила вкруг столба. Как до Кучемы добрался, уж не упомнит, а утром в больницу, да два месяца там и вылежал. Нервное потрясение признали. Сначала правый глаз выкатился и обратно залез, после левый глаз вывернулся, да так и остался. А жена исказнила: лето прошло, железная голова, а у тебя ни копешки сена, чем думаешь корову кормить, барин; нет, вы поглядите, люди добрые, какое счастье за ним жить, он только добро переводит. Он

выгоду нашел, на дороге подобрал, непутня башка. Откуда на мою голову свалился?..

Степушка не пил, то ли грезил он, то ли дремал, за одну ночь выхудал с лица, нос заострился и еще более скатился к губе, и под зелеными крапчатыми глазами залегли глубокие тени. Зато Тимоха Железный с Саней Питерским горячо принялись за бутылку и скоро уговорили ее.

— На закусон хоть бы звенышко семужье,— подступился Саня, не особо пока надеясь на удачу.

— Э... захотел чего. Где ее нынче возьмешь,— упирался Тимоха.— Нынче кругом запреты.

— Ты-то, конечно, не пробовал,— разыгрывал Саня и внутренне смеялся.

— Ну а как... железно... и перышка не обсосал.

— И правильно. За что же тебе такие льготы, милок? Слыхал постановленье? Браконьерам — бой! А вы тут, смотрю, ловкачи,— намекнул Саня, а сам, будто случайно, ловко сковырнул с Тимохиной фуфайки семужью чешуину, нарочито пристально рассмотрел ее и даже понюхал, нахал такой, а после деловито завернул в бумажку и сунул в карман. Тимоха поежился, завращал нарушенным глазом, белок студенисто задрожал, словно бы готовый пролиться на щеку, и лоб побурел, и еще глубже прорезалась тройная морщина.

— Льготы, говоришь?.. А жить?.. Детишка-то по лавкам.

— Чего пасть ширишь, ну? Я тебе, понял?..— Постучал Саня ногтем по резиновому сапогу, и так у него получилось значительно, что Тимоха осекся и сбавил на полтона.

— Да я что... Говорю только, мол, под одну гребенку всех. Мои-то на рыбе выросли, сам ведь отсюда. Попробуй ее добудь. Мы же не на продажу, на прокорм. Веком так.

— Да не слушай ты его, Тимоха. Заводит он,— неожиданно вмешался Степушка, и мужик словно бы устыдился своей горячности и разом увял, понурился, охлопывая ладонью фуфайку.

— Я-то чего, я не в обиду, Саня. Заело. Жизнь-то: деньга есть, а купить нечего. Кабы купить чего. И деньга, говорю, есть, а как-то колесом уходит, по-дурному. А так бы чего? Живи, все бы ладно. Куда с добром, жизь-то. Эдак и не живали еще.

Почуял Саня, что едва не переборщил, всю обедню чуть не испортил, и потому скорехонько пошел на попятную, стал буровить Тимоху глазками из-под круто надвинутого лба и разжигать в них интерес.

Щекан, поди, а? Зараза... И сам не ам, и людям не дам.

— Да не... ладно. Васька-то чего, Васька еще ничего. Свой хоть, не так обидно. А ловок, злодей, гы-ы,— рыдающим смешком залился Тимоха, и крошки полетели из щербатого попорченного рта.— Ой ловок, собака. Однове-то, слышь, попался я ему, как вошь на гребешок. Зазевался в Курье, морская вода откатила, я и усох в луже. Туда-сюда, бензин зря жгу, а он, зараза, хитер, стоит на бережку да пальцем манит. Распроязви твою мать, думаю, чего ты привязался ко мне, злодей, живым в могилу прячешь. Три семги под телдосами, да сеточки новые — куда их денешь...

— Ловко он. Это штраф-то какой. Семьдесят на три, да сеточки.— Саня зашевелил развесистыми губами, искренне удивляясь итогу.

— Ну...

— Да вот подсчитываю.

— Ну, а я про што. Мечусь по Курье туда-сюда, время тяну. А у него в устье мотор стоит, он меня обкладывает, значит. После на бережок сел, покуривает. Тоска меня съела, куда хошь поди. Заштрафуют, дак баба в избу не пустит. И сеточки новы, жалко, три года убил, вечерами вязал, таки ли сеточки уловистые. Думаю, хитер, однако, бобер, да и я не лыком шит. Ты ведь меня, Санок, знаешь.

— Ну как же. И в корзине уху сваришь.

— Время подгадал, гляжу — прилив, вода зажила, вот-вот в реку ход откроется. Подале отъехал, на берег-то вышел и руки поднял. Кричу: «Сдаюсь. Сетки во, бери на!» Щекан не спешит, вижу — лыбится, курва. Я новенькие-то оставил в лодке, а на старые бензину льнул, значит, да и зажег. На, выкуси, кричу, что, съел! Он уже возле, а я в лодку — да и деру. Он орет, значит, стой! А я деру. Только-только из Курьи выскочил.

— Ловко ты его.

— Да какое — ловко. Его обведешь, так и дня не проживешь. Собаку на рыбнадзоре съел. Сижу это я уже дома, ем, значит, с бабой хохочем. Ну, рассказал, что да почем. А Щекан тут и заходит и обгорелую сет-

ку под порог свись. Штраф, значит, плати. Круть-верть, а куда денессе. Ну не гадюка ли? Из полымя выхватил. Пятьдесят рублей псу под хвост. Жена чехвостит: «Не можешь — не берись». Ой жизнь...

— Еще легко отделался.

— Ну...

— А я уж сколькой год свежины не пробовал. Разве мать когда в Ленинград солененькой подкинет. Уж как дерево, хуже трески.

— Это уж чего, это не рыба.

— Ешь, и рот дерет,— осторожно жалобился Саня. Ветер-северик поднялся, причесал траву, на прибрежной луговине продувало насквозь, мокро было, неприютно, хмель неприметно выветрился, тело съежилось, закостенело: какая уж тут рыбалка, не приведи господь, домой бы надо заворачивать, пока беды не случилось, да и Васька Щекан небось протрезвел, пришел в себя и сейчас, с больной-то головой, злой ужасно и беспощадный. А Тимоха блаженствовал, в разговоре расплылся весь, разогрелся, да и винцо легко ударило в голову, а после бессонной ночи много ли надо человеку. Он почти растянулся на брезенте и, привыкший к лесовой воле и бродячей жизни, готов был сейчас покойно уснуть. Фуфаечка у него наотмашь, грудь нараспашку, видны острые смуглые ключицы, но холод не берет мужика.

— Этой рыбки каждый хочет, чего там,— лениво шевелил пятнистыми губами, и голову уже уютно прислонил к локтю. Ему было хорошо тут, и оттого душа с каждой минутой добрела. «И то сказать,— бестолково думал Тимоха, до хруста зевая,— живут в городах беспуто. Да и какая там к черту жизнь? Не однове бывал. Только усталь, нашатаессе — ноги болят, пива напьешься и вылить негде...»

— А у тебя там... ничего? Ну этого.— Покрутил Саня ладонью и прищелкнул пальцами, и даже лисью улыбку родил на лице, но глаза вовсе затаил под нависшим лбом. «Скобарь хренов,— травил душу, уже ненавидя Тимоху.— Тряхнуть бы за воротник».

— Да как чего нет. На бутылек дашь, дак и в расчете,— потерял осторожность Тимоха.

Саня торопливо полез за пазуху, добыл портмоне из тисненой кожи и двумя пальцами выудил новенькую хрустящую пятерку.



— Не-не, сдачи у меня нет,— притворно иль с каким дурашливым расчетом, а может, от давней деревенской простоты и верности данному слову вдруг заотказывался Тимоха Железный.— Ты, брат, тоже деньги не печатаешь? Не печатный, говорю, станок имеешь, деньгами-то соришь. Ну да ладно, рупь с меня, должок... Эй, Витьк,— крикнул сыну.— Ту, что на Вакоре взяли... отдай им.

Мальчишка уж вовсе синий, хлюпая носом, из ящика потянул за хвост рыбину, а поднять-то и не смог, и бархатно-черная костяная голова легла у ног, чешуя на

брюшине и под перьями тускло отблескивала, и сквозь просвечивал молодой янтарный жирок. «Во полотуха,— обрадовался Саня, мысленно возвращаясь в прежнее деревенское житье и вспоминая давние рыбацкие удачи. Даже слова деревенские и приметы, будто бы напрочь забытые, вдруг родились в нем.— Во полено, кэгэ пять вытянет. За такую чурку в городе сто рэ и с руками оторвут». Все прикинул и подсчитал мигом, пока с трудом закатывал семгу в опустевшую дерматиновую сумку, но на лице, однако, хранил постную и пустенькую улыбку.

— С лодкой-то чего там? — вспомнил вдруг Тимоха.— Эй, Витьк, сынок, а ну глянь, чего тамотки с мотором?.. За механика у меня,— похвалился, довольный.

— Да уж все,— без смущенья признался Саня и снисходительно прихлопнул мужика по плечу.— Орел, гляжу...

— Да и ты не пальцем делан. На арапа норовишь.

И они дружелюбно рассмеялись, довольные жизнью и друг другом. Саня уже представлял, как похвастает семгой в Ленинграде в близком кругу, подсолит ее скромненько, дня два даст выстояться, а после напластает истекающее жиром рыбье мясо, как ведется в родной Кучеме испокон (не тонкими городскими ломотечками нарежет, которые просвечивают банными листиками, а именно напластает малосолку весомыми кусками), и тарелку, арбузно пламенеющую, небрежно, с пристуком водрузит в середку полированного стола да окружит полудюжиной белого вина, прямо из холодильника, слегка прихваченного инеем, и будет тогда ой как горделиво и радостно от собственной щедрости.

А у Тимохи свое крохотное веселье: уж так ловко выудил пятерку, прямо не отходя от кассы, посреди реки, и не надо будет нынче клянчить у бабы на опохмелку иль тайком рыться в шифоньере, отыскивая схорон, а можно прямым ходом двинуть в лавку за светленькой и отовариться со спокойной душой. В общем, пустячок-пустячок, а приятно.

Степушка угрюмо копался в лодке, разбирая поудобнее кладь.

— Эй, долго ты там?

И едва Саня успел занести ноги в посудину, как Степушка резко, с надсадистым хрипом выпехнул шестом лодку на речную струю и запустил мотор. Усажи-

ваясь, Саня подтянул поближе к себе дерматиновую сумку и, чуя ее грузность, весело подумал: «Да не-е, пожалуй, все семь кило тянет».

— Ты слышь, ты не гляди на меня, как волк на бердану,— подмигнул Саня.— Мне завтра отлетать, мне рыба во как нужна,— черкнул ладонью по шее.— А ты успеешь, раз остаться решил.

Но брат не ответил, отвернулся в сторону берега и до самой деревни не проронил ни слова. Дом приближался, а Степушка мрачнел и горбился все более, и, когда порой вскидывался он, оглядываясь вокруг, в глазах его плескалась такая тяжелая звериная тоска, что даже Сане становилось не по себе. И тут ему впервые вспомнилась жена (как-то отрожалась она там, не случилось бы какой беды), и чувство вины слегка царапнуло душу.

По внезапному наитию иль постоянному ожиданию опасности, но сразу в избу не пошли, а бельевую корзину со снастью и сумку с рыбой занесли в баню, сунули под лавку в настуженных сенцах. Баню, видно, только что протопили, и еще горчило угаром. Знать, мать постаралась, и хоть дулась на сыновей, но и не забывала о них и, не ведая, когда вернутся, на всякий случай подкинула в каменицу дровишек и, как всегда, угадала. Сгодилась баня, в самую пору пришлась.

Избу тоже помыли, выскоблили после гулеванья, винной запах истончился, его перешибло березовым листом. Параскева Осиповна сидела на прежнем месте в переднем углу, словно бы и не покидала его, скрестив босые отекшие ноги. На детей глянула холодно, буркнула лишь, обирая ладонями сивую голову:

— Баня поспела... Идите, коли хотите.

— Я пас... я пас. Жары не переношу,— торопливо заотказывался Саня.— Ты, Степка, то-то не забудь.

8

Степушка маетно потыкался по углам, мать возилась у обеденного шкафа отвернувшись: сутулая спина каменно и неприступно горбилась. В сени вышел слепо, как бы на ощупь, возле ворот притих, не решаясь откинуть щеколду. Тихой стала изба, точно вымерла после свадьбы, только в волоковое оконце на повети с подвывом совался ветер, да где-то на подволоке шурша-

ли, ссыхаясь, веники. Прислушался Степушка, затаил дыхание, стеснил в груди, и там, в горенке, за дверью, обитой кошмой, уловил почти бесплотное шелестенье шагов. Кто-то пугливо таился там иль подслушивал, знать... И оттого, что все творилось так глупо до смехотворности и непоправимо, Степушка вновь вскипел и, злобно дурачась, с грохотом распахнул ворота, неожиданно загремел тазом о косяк и едва не выронил его, и сердце мучительно оцепенело.

— Сте-пуш-ка-а,— позвали сзади робко.

Может, ослышался, может, половица где-то скрипнула иль ветер вздохнул? Но обернулся резко, словно бы готовый ударить, ощетинился весь, а Люба готово приникла к Степушкиной груди, пробежала пальцами по пуговкам байковой рубахи, пропитанной потом и костровым дымом, и неслышно скользнула ладонью за пазуху, к самому телу. От прохладного прикосновенья Степушка вздрогнул весь и, внешне оставаясь неприступным еще, в душе уже простил.

— Пощади, а? — попросила Люба жалобно, не поднимая глаз. И от одного только покорного слова, лишенного какого-либо упрека, Степушка почувствовал такую виноватость, от которой загорелись уши, все напряглось внутри, готовое лопнуть, рванулось к самому горлу щемящим комом, а после ослабло, отпустило, дыханье родилось ровнее, но почему-то слеза выступила, мелконькая, едкая, радостная, и повисла на опаленной реснице, мешая смотреть.

— Какой я дурак. И чего я так?.. Дурачина, остолоп.

— Успокойся. Оба хороши, чего там.

Люба затаилась на груди, как мышка, от ее ровно прибранной черноволосой головы пахло земляничным мылом и горьковатой полынной сухостью.

— Можно я с тобой? — попросилась вдруг и оробела.

— Я же в баню...

— Ну да...

— А ловко ли? — смутился Степушка и услышал, как вновь зажглись уши, уже от стесненья. Ему никогда не случалось мыться с женщиной (единственно разве с матерью в далеком детстве, но то иное дело), и в этом он видел какой-то особо сладкий и запретный грех. Люба уловила заминку и, мучаясь от желанья и стыда, шепнула:

— Провожу только... Хорошо?

А на улице распогодилось, как в день свадьбы, ветер раздернул облака, и сухая стылая голубизна пролилась на дорожную хлябь, высветила деревню: куда-то угрюмость пропала, и даль, омытая луковой желтизной, празднично загорелась. Улицу перебежали, словно боясь, что их стерегут, грязь хлестнула по голым икрам, и Люба охнула, а после засмеялась тонко, с близкой слезой.

— Чего ты? — грубовато спросил Степушка, зорко и подозрительно оглядываясь, но угор сиротски пустел, и только черная поджарая собака упрямо сторожила кого-то.

— Глупые мы...

— Аха...

Стояли у бани и медлили, дверь в сенцы была подперта осиновым колом, и сквозь задымленные отпотевшие щели пробивало настоявшейся горечью. О чем было говорить — не знали, но упрямо тянули время, каждый порывался что-то сказать и боялся неожиданным неверным словом нарушить вновь зародившееся доверье.

— Ну, пошла я,— шепнула Люба, а сама о чем-то молит, и в черемуховых напрягшихся глазах студенисто переливается настоявшаяся влага. Степушка отпнул ногой кол, скрипучая дверца сама откатилась, зазывая в сумерки, и, то ли прощаясь, а может, подталкивая мужа, Люба взмахнула ладошкой, но Степушка торопливо поймал ее и потянул за собой. А дальше все случилось, как во сне, и смутно воспринималось. Люба затаилась в сенцах на лавке, а Степушка накинул на каменицу ковш-другой крутого кипятка. Переждали, пока мохнатый хвост шипуче тянулся, унося в себе угар.

Сидели молча на разных лавках, боялись поднять глаза. Женское чутье подсказало Любе, и она деревянным голосом попросила, дескать, отвернись, будь человеком, нечего глаза пялить, и Степушка послушно уставился в угол, каменея весь, но странно и любопытно подмечая, как от долгого жара закурчавился в пазах мох и тонкие волоконца его, похожие на человечий волос, колыхаются от невидимых встречных токов. Дверь в баню с потягом закрылась, и, возбуждаясь, Степушка торопливо скинул одежды, наружные воротца закрепил на крюк и, прикрывшись ладонями насколько возможно, вошел в парильню. Половицы студили ноги, из щелей при каждом шаге прыскала осенняя застойная вода, крохотное оконце, выдавленное в прошлое мытье и за-

ткнутое сейчас рукавом от фуфайки, не впускало осенний прозрачный день, и в дальних углах густел тот зимний мрак, когда входишь с керосинкой, а свет не в силах просочиться сквозь дегтярную темь, и тогда чудится, что там, на полке, кто-то таится, окаянный и властный распорядиться человечьей судьбой, кого прежде называли хозяином-баннушкой и норовили не гневить.

Словно бы многослойной омутной водой была залита сейчас баня, и там, где-то на самом дне, едва проглядывалось что-то белое, зыбкое и заманное. Воздух струился жаркий до густоты, а казался зябким, когда Степушка мягко подбирался к жене. Он впервые видел девушку столь откровенно обнаженной и беззащитной, и эта доверчивая открытость опьянила и оглушила его. Люба лежала на спине посреди полка, возвышенье, сбитое из плах, размывалось в темени, и казалось, что жена бесплотно, крылато колыхается в душном воздухе и достаточно едва ощутимого прикосновенья иль даже резкого вздоха, чтобы она недосягаемо вознеслась. Больно ушибаясь коленками о скамью, Степушка полез на полок, а Люба неслышно отодвинулась, и он вытянулся рядом, чувствуя, как дрожит ее тело. Сердце Степушкино вдруг распухло, едва умещаясь за ребрами, кровь заковала в висках, и безвольный озноб окатил каждую жилку ждущего тела. Было тесно на узкой столешне, руке не находилось места, и она невольно натыкалась на Любино тело, кажущееся странно холодным.

— Муж ты мой,— вдруг дрожаще шепнула жена и повернула голову. Степушка напрягся, стараясь подавить предательскую противную дрожь, и, приблизившись вплотную к Любиному лицу, понял, что она плачет.

— Ну что ты... вот тоже, чего плачешь-то? — бестолково домогался ответа, целовал соленые глаза и податливые губы, а мужская жадная ладонь уже беспамятно и торопливо вершила свое вековечное дело, зовуще жамкала скрипящие кочашки грудей.

— Боюсь я,— сказала и заплакала пуще. Но кто, какой тайный советник подсказал Степушке единственные в то время слова?

— И я боюсь,— сознался он вдруг, и это было откровением. Он случайно знал женщину лишь однажды, но она часто вспоминалась в минуты глухого одиночества с какой-то гнетущей тоской и отвращением. И всегда воображение рисовало мучнисто-серое лицо и сальные

волосы, распластанные на клетчатой подушке, и безгрудое плоское тело, словно бы деревянное, натуго опеленутое в грубую рубаху, которая чудилась ее шершавой и грязной кожей, а она отчего-то никак не хотела сбросить ее, как ни умолял, стараясь быть благородным, а втайне робея. После он что-то, кажется, неумело вытворял с той девкой, а ей не нравилось, и она капризничала и откровенно издевалась над его беспомощностью, а после он пьяно плакал, размазывая слезы, и умолял простить, и в этом опустошении уснул; а утром так тошно было ему очнуться в неприбранной комнатенке, пахнущей уборной и сыростью у белесого оконца, часто закрещенного хлипкими переплетами, и при грустном зимнем свете увидеть вдруг усталое женское лицо, страдальчески сморщенное в переносице, а после украдкой одеваться и убегать, чтобы после никогда более не переступить порог случайного свиданья.

...Это видение так некстати мелькнуло и испугало Степушку. Стараясь суеверно прогнать его, он упрямо нашептывал в Любино ухо, откинув влажную прядь волос:

— Я никого не любил, слышь? Никогда, слышь?.. Первая ты.

А после они умирали и возрождались вновь, и опять умирали, и снова возвращались к земле на плоское задымленное ложе, а время смутно утекало куда-то, и не знали эти двое — день ли сейчас иль вечер, но все молчали, и только, пугливо и часто замирая вдруг, разговаривали их руки, знакомились с каждой вмятинкой, каждой ложбинкою и укромностью готовно распахнутых тел, и, кто знает, было ли что еще на свете выше и чище этих прикосновений и немых признаний.

Вдруг раздались шаги, в дверь коротко, но резко ударили ногой.

— Степушка, ты жив ли? — донесся испуганный материн голос. Сын торопливо спрыгнул с полка, выскочил в сенцы, внезапно стесняясь своего нагого тела.

— Одеваюсь, чего ты...

Хотел рассердиться — и не смог.

— А я думаю, не захалел ли парень... Уж время какое, а его все нет и нет,— успокоенно ворчала Параскева, удаляясь, и голос ее так же неторопливо затихал, и

какое-то время казалось даже, что так материным голосом выговаривает бревенчатая стена. Почудится же такое...

А сзади переливчатым смехом захлебывалась жена.

Наскоро ополоснулись, почти на ощупь: так затемнилось в бане. Люба натянула платьице и первой выскользнула из сенец, будто была тут — и нет ее, а лишь померещилось в сонном забытьи. Степушка из-под лавки достал сумку с рыбой, положил в таз, сверху прикрыл полотенцем. Выходил из бани неторопко, враскачку, словно бы захмелевший от мытья, но зорким-то взглядом шнырк-шнырк: не следит ли кто по наущению, не зевает ли чей гость-поезжанин любопытства ради. И высмотрел ведь: на самом козырьке угора, прямь магазина торчал кто-то настороженный и вроде бы казенный по службе человек и упорно приглядывался в его сторону. Эмалированный таз грузно давил на сгиб руки, щемило поясницу, когда Степушка правил тропинкою в гору, но он упорно взбирался прямо, не кособочился, а боковым зрением опасливо отмечал, как чей-то окаянный глаз упорно досматривает за ним и, видно, что-то чует, собака.

И лишь спокойно вздохнул, когда ввалился в свой заулок.

9

Двенадцатый день сиротел Геласий Нечаев.

Справив поминки, дочь Ксюха отлетела в Каменку к своим чадам, на прощанье сурово обматерив отца и грозно посулив, что ноги ее здесь больше не будет, раз старик дурачится сколькой год и не переезжает к ней. А Матрена опять где-то в гостях, льет колокола, сияя железным набором зубов, и хорошо, если вспомнит об отце и явится накормить обедом.

Уж года три не бывал на погосте, а как все переменилось там. Сосновый борок вымахнул ввысь (все тощой был, хиловатый, а тут как подогнало), и стволы зароговились, темно зачешуились, потеряв прежний румянец. Изгородь в две дольных доски почернела, закособочилась, местами упала, и кладбище вовсе срослось с лесом, потерялось в нем. Народ умирал нынче редко, не торопился в землю, многие ложились на чужой стороне, и здесь, посреди заматеревшего бора, свежая могила скоро тускнела, тонула под опавшей иглой.

Палагу оставили под курчавым беломошником. Холмик получился невзрачный, серопесчаный, с клочьями дернины и обрывками бурых кореньев. «Зажился я, Полюшка,— жаловался Геласий, сутулясь возле родного жальника.— И жду лишь того счастья, когда душа выйдет из тела. Первое счастье теперь — вот как смерть представляется мне...»

Двенадцатый день сиротел старый Геласий и уж начал свыкаться с одиночеством и порой мгновенно радоваться обретенной свободе. Странно подумать, но теперь он все уверенней слышал в себе желанное облегчение от долгой душевной тяжести, ибо постоянное чувство вины перед Полей с некоторых пор давило его. Бывало, упорно казнился мыслью, что ему бы надо умереть по его-то возрасту; ан нет — прибрал верховный Полюшку, иначе рассудил.

Кровать разобрали и вынесли на поветь, матрацы раскинули на вешалах для просушки, душниной било от них, а в тот угол, где доживала Пелагея последний год, затолкали полированный шифоньер, и теперь ничто более не напоминало о временном человеке. Разве вот фотка в иконостасе: сидит старуха старухой, лицо испитое (полгода назад снимал внучек), батожок меж колен, а в глазах предчувствие кончины.

Часами ныне торчал Геласий у окна, цедил струистую бороду, невольно отмечая всех, кто по мосткам пробегал, но сам жил вроде бы в себе, ровно перебирал ветхую память, и тут Пелагею вдруг вспоминал иную, дальнюю, словно бы за щемящей полосой света, застенчиво-пугливую, в постоянном робком полупоклоне и глубоко затаенной печалью в медовых глазах.

...А ведь больная была на работу, зараженная. До ряби в глазах наломается, до черных мушек, потную рубаху сменит и снова за сена́. Кой год то было? Дай бог памяти. День косили да ночь косили, а после поехали на новую лахту — и еще ночь робили. После, как прилегли в тенечке вздремнуть, дак дни потеряли. За рекой тоже сена́ метали, кричим им: «Какой седня день?» — «Середа-а...» Оказывается, двое суток отоспали — так упетались. Кой год то было? До колхозов, кажись. Все спуталось, любить твою бабу. Память дырявая ныне, вот и вытекло знанье.

Чей-то немощный голос проник сквозь путаницу

мыслей, будто бы сами собой рождались посторонние слова, глухие, с сипотцой и, не беспокоя Геласия, ровно проникали в его задумчивое сознанье. Но вдруг, испуганно взволновавшись, очнулся старик, почуял, как щеки полыхнули жарко, обвел взглядом избу, отыскивая собеседника, и только тут сообразил, что сам с собою беседует. Сумеречно было, угрюмо осел потолок, и в темени дальних углов, за дощатой заборкой чудились незваные пришлые люди: кто-то жалостно играл там на дудке и бесшумно плясал. Вдруг и свечечка тонкая, копеечный огарок, затеплилась в боковом окне. Пламя колебалось, готовое оборваться и отлететь,— казалось, по улице идет печальный путник, освещая дорогу, но тут как бы слепящим сполохом высветлило, располовинило кухню, и стекла знобко всхлипнули. Мимо дома с надрывом прошла машина, буксуя на обмыленной дороге, высокий голос ее просквозил избу до самых тайных схоронов и на щемящем излете неожиданно оборвался где-то невдали. Тут забубнили на улице, в разные стороны подались торопливые шаги, и Геласий невольно подосадовал, что поспешил лампочку ввернуть: за окнами сразу приблизилась смоляная темь, и все живое отлетело куда-то прочь и вроде бы навечно. Но интерес свербил одинокого старика, и он прилип к стеклу, напрасно любопытствуя слабыми глазами. Дочь Матрена, распроязви ее в печенку, где-то хаханьки строит, вовсе забыла отца родного, а ему порою так затоскуется, так захочется видеть свежего человека, что в пору и с самим собой безумно потолковать. И тут кованое кольцо на двери сбрякало, в сенях завозились (знать, кто-то чужой), простудно закашлялись...

Любого бы сейчас радешенек видеть Геласий, даже самую распьянцовскую душу приветил бы, нашел стопочку и доброе слово, только подолее задержать бы возле, но вот Радюшина Николая Степановича знать не желал. А его и угораздила принести нелегкая, словно бы звал кто. И сразу напрягся старик, задеревенело вытянулся подле окна, точно кол проглотил,— и ни слова приветного. На улице, видно, опять раздождилось, черный клеенчатый плащ на Радюшине зеркально отблескивал, и обветренное лицо глянцево завлажнело.

— Что, старик, сумерничаешь? Дочь-то где?

— Чего пришел? — словно бы не расслышав, спросил старик, склонил набок голову, подставляя широкое

бледное ухо, поросшее столь же бледным бессильным волосом, и чудилось, что струистая борода берет начало из этой глуби и, может, смыкается где-то посреди головы.— Если уговаривать пришел, то поди, мил человек.— И еще ближе поднес уродливо разросшееся ухо, уже смеясь над Радюшиным. Геласий не хотел волноваться и потому устало оперся о железную спинку кровати, не в силах сдержать дрожь. Под восемьдесят человеку, казалось бы, душа-то давно устала и опустела за долгую жизнь, а она вот страдает по-прежнему, и чувства вроде бы не оскудевают.

— Ты, значит, так, Геласий Созонтович... Перепираться мы не будем, как две бабы у колодца. Турусы разводить тоже не время. Дебаты на собраньях надоели, во где торчат.— Чикнул себя по шее. Старался Радюшин говорить миролюбиво, но разве можно смягчить железную окалину в голосе, если она незнаемо когда нагорела; разве возможно снять хриплую ржавчинку, если ее не слышит душа.— Давай миром, а? Одной ногой в могилевской, а все в пузырь лезешь... Я бы с тобой мог по-другому. Раз — и дело с концом. Ты слышишь, старик? — Радюшин вгляделся в широко распахнутые простиранные глаза старика и был больно уязвлен их равнодушием и немотою. Творожно белели глаза, и ничего в них не читалось, кроме далеко спрятанной дьявольской насмешки. И в душе чертыхнулся председатель, понял, что зря слова тратит.— Ты что, глухой? — И, не совладав с раздражением, невольно прихватил Геласия за костлявое плечо.— Дом, говорю, срубили... печь русская. Ты войди в положение, мил человек. Школа по плану на этом месте. Чего ты выворотнем, а? Не на улицу ведь гоним.

Но старик беззвучно шевелил губами и глядел сквозь Радюшина. Его сознанье опять куда-то откатилось, и чудились ему за спиной гостя веселые дудки и пляс нездешних людей. Подумалось: сам-то пришел незваный да и чертову силу приволок. Пляшут, а без топоту, вроде бы воздух толкут. Председателев голос отвлекал, мешал слушать, и старик сурово оборвал:

— Да погоди, не мельтешись.— Плечу было больно (как клещ, впился Радюшин), и Геласий резко стряхнул чужую ладонь. Снова поглядел в дальний угол, но там уже никого не было. «Знать, поблазнило»,— успокоил себя.— Никуда не поеду, любить твою бабу. Мне

вашего дома не надо. У меня своя изба. Здесь родился, тут и успокоюсь.

— Мы тебя силком. На кровати стащим.

— Ваша власть,— сказал равнодушно.— А только мне вашего добра не надо. Я добра просил от вас? Не-ет. Так чего вы допираете до меня? Ты мне спокой дай в остатние дни, спо-кой. Скоро я вольный буду... Мне-то уж все, какой-то годик пожить. Нашелся добренький. Мне на твою-то доброту...— Геласий кричал уже, его била крупная дрожь, и председатель, распаленный разговором, нудной бестолковщиной, тоже закусил удила, и понесло его, слепого от гнева:

— Ты не ори на меня, кулацкий потрох. Я тебе кто, а? Ты мое доброе имя не топчи. Всю жизнь для себя прожил и до меня не касайся... Я теперь все с тобой могу! Я еще добрый. Привыкли ездить, да чтоб ножки свесить. Я кузькину мать покажу!

— На князек залез? — неожиданно стих Геласий, а может, устыдился крика или устал от него. Но странное дело: черные мушки уже не толклись в глазах, и дышалось сейчас куда ровнее.— Не ты, Радюшин, первый, не ты и последний. Пусть я кулацкий потрох и убивец, все для себя тяну. А ты, значить, ангельского подобья, ни кушать не хочешь, ни справлять нужду. Тогда слезай с князька, ну! А-а... духу не хватает, ду-ху. Кто ты будешь? Да никто, Колька Азия, разве назем сгодишься возить — и все. Нашелся благодетель, отец наш. Он, значить, любить твою бабу, все делает, а мы с его руки готовенькое кушаем. Хых-хых...

Сел на лавку, довольно охлопал усохшие ляжки и жиденько засмеялся. Потом не глядя снял с божницы толстые очки в самодельной проволочной оправе и ловко оседлал переносье:

— Ну-ко, дай полюбопытствовать... какой ты хороший да баской.

— Гляди пуще напоследок, гнус лесной. Завтра же отдам команду, чтоб трактором спихнули эту заваль.

— Смелей, ты смелей, дитятко. И неуж не боисся? — В распахнутых навыкате глазах старика появилось откровенное удивление.— Воистину, как в сказке о рыбаке и рыбке: чем дальше, тем больше надо. Откуда зло в тебе? Добра, говоришь, людям хочешь, а в тебе зло одно.

Рот, запеленутый бородой, едва колыхался, и казалось, звук исторгался из самой глуби тщедушного тела.

Радюшин еще с ненавистью всмотрелся в горбоносое, с проваленными щеками лицо, в покатый, далеко открытый лоб, как-то странно выпяченный верхним тусклым светом, и неожиданно смутился. «Колдун, говорят, а может, и есть колдун? — подумал с далеким беспокойством в душе, пристально проникая за очки, в совиные глаза Геласия, но тут же отмахнулся от призрачно вспыхнувшей мысли.— Бред собачий. Людям бы плести чего».

— Завтра же трактор пришлю, слышь! И к чертовой матери...

...— Ну и командер, ну и мушиный царь. Это я, значит, кулацкий потрох,— бормотал обиженный старик, прислушиваясь к затихающим шагам и невольно улавливая настороженным ухом каждый шорох и вздох огромной избы.— Ой те-те, сынок. Я до двенадцати лет штанов на жопы не нашивал, это как воспринять? Во-о. Рубаха долга, своеткана, да опояска, еще опорки кожаны, в том и ходил до возрасту. Шестеро было у отца, да все махоньки. А когда наживать замог, ну и камаши заимел. Еще калошей-то не знал, не-е... Это кто побогаче — кальсоны белы, рубаха с поясом и ключ на шнурке, калоши кожаны и носки по колена. Так все и вспомянешь, любить твою бабу. По тем-то меркам, дак нынь каждый кулак... Ой, Азия, как старого дедку обкастил, какое слово вывернул. За отца своего утыкивает, за Разруху, сколь злопамятный. А чего утыкивать, спрашивается? Жизнью замолил. И вины там моей с ноготь — не боле. Ну дал по башке бутылкой, дак разве знамо было, что его и кончат же вскорости...

Ах ты, боже, куда-то дочь запропастилась? Убредет, как худа коза, и времени для нее людского нет.

Давно ли будто хотел есть Геласий Созонтович, в животе нестерпимо сосало, и вдруг от неожиданной перебранки все подсохло внутри, спеклось, и в горле загорчило. Совсем забыл про еду, но зато выговорился, выплеснул, что толклось на сердце долгие годы, а сейчас вроде бы и дышится легче, и кровь в висках не так больно токает. Слыхал Геласий от других не раз и не два, что плетет Радюшин на него околесицу, с грязью топчет, а вот не зайдет, упырь, к старику, чтобы глаза в глаза схлестнуться, а там — как бог постановит.

За версту минует избу, но если возле окон судьба несет, то шляпу набочок сдвинет, словно бы невзначай.

И вот явился впервые, как с неба свалился, и сейчас обида на Радюшина не то чтобы угасла сразу, но вроде бы покрылась пеплом, и сразу все окончательно решилось в душе Геласия. Раньше при дочерях лишь артачился, дескать, никуда из родовой избы не поеду, только на погост, но душа колебалась. А раз нынче все утвердилось, то не о чем и тревожиться, нервы тянуть. Как знать, как знать... И себе не признавался старик, но, может, хотелось ему негласного прощенья (в чем?), иль доброго слова и совместного решенья, иль поясного поклона, а тогда бы и обошлось миром: а тут на те — прискочил, как с цепи сорвался, наорал, мушиный царь, раскомандовался. Палец длинный, дак чего не командовать. Он, ишь ли, добра хочет, жалельщик. А я просил?

Потянуло на кровать вдруг — такая усталость опутала. Решил на минутку прилечь, дать отдых телу, деревянно вытянулся на тощем матраце, подсунул ладонь под сухую щеку, прикрыл глаза, и сразу где-то возле заиграли жалейки...

Еще что-то думалось легко и необидно, то ли в яви, то ли во сне, так незаметно забылся Геласий. И скоро жуткое видение посетило. Будто бы на берегу лодку смолит, над рекой маревит — распогодилось. На минутку выпрямился, глядь — кого-то близ воды по урезу несет: темный человек, вроде бы одна тень, камня-арешника не коснется ступней, плывет навстречу. Смутно стало на душе, ой смутно, а черный человек и шепчет вдруг: «Доноситель... Фармазону продался».— «Нет, нет...» А тут и новый голос родился: «Правду скажи... прав-ду ска-жи». Потерянно оглянулся Геласий, а перед ним невысоконький, рыжеватенький, чистенький с обличья человек в синем твердом макинтоше, под мышкой брезентовый портфель. Смотрит пронзительно из-под сивых бровок, и холодом из той глуби тянет. «Я следователь... я следователь»,— улыбаясь, наговаривает, а у Геласия язык во рту комом, и не знает мужик, на кого поначалу смотреть, с кем объясниться, чтобы по-людски вышло, не обидно. Но и не понять ему, не взять в разум, кто на кого донес, кто кого предал?! И будто бы наперед известно ему, как опутают смутными словами, а после поведут по этапу и далее, на работы, рыть канал, и Полюшка на коленях за ним поползет, цепляясь за брю-

чину. Где грех его и велик ли? Поведайте, люди добрые, и сымите тягость. Не до-но-ситель я, не предавался Фармазону. Гляньте в лицо мое и душу мою, есть ли там царапыши от когтей диавола. Дайте спокою, спокою дайте... И внезапно в самую поясницу тот, темный и неузнанный, ударил сзади ножом, и кровь на волю кнутом хлестнула. Упал Геласий на карачки, мычит, силится встать — и не может. Розовый от солнца угор плывет навстречу, слепит глаза и ускользает из рук. И откуда-то Полюшка явилась, шепчет со слезой: «Ты подымись, любимый, волю настрополи. Все обойдется, все обойдется». И будто бы поставила на ноги и ведет в избу, а кровь все хлещет и хлещет, и рудяный ручей уж мчит с угора в тревожно розовеющую реку. Подумалось еще: велик ли человек, а сколь крови в нем. И длинно с надрывом вскричал, переполненный болью и смертной тоской.

Может, от вопля своего и проснулся Геласий, и почудилось ему, что этот больной безумный крик еще живет внутри его и вовне. Приподнялся на локте, тупо уставился в сумрак, жидко разбавленный крохотной лампешкой, сердце шально толклось под рубахой, готовое выломиться наружу. Обшарил недоверчивым взглядом избу, привыкая к ней и будто заново узнавая, а страшный сон — вот он, весь в глазах и потрясенной памяти.

И дочь Матрена словно потерялась: ушла — и нет ее. И, убегая от недавнего виденья, Геласий лихорадочно и путано заспешил вдруг, засобирался, страшась одиночества. Бушлат напахнул поверх бумазейной рубахи, но с пуговицами не совладал и потому одежду по-бабьи притиснул к груди. Хотел метелку сунуть в дверное кольцо вместо пристава, но в такой спешке и в промозглой осенней темени промахнулся и выронил к ногам. (Будь она неладная.) Пошарил на крыльце, да и обнесло Геласия, кинуло головою в чертополох и всякую дурнину, что жестяно наросла возле дома. А много ли старому человеку надо: ныне каждая кочка для него — гора, крохотная овражина — смертное ущелье; на ровном месте споткнется иной вроде бы невзначай, легко припадет к дороге, словно бы силы набраться, и так лежит минуту — пять, пока-то иной сердобольный прохожий не спохватится вдруг и не окрикнет шутейно, еще не думая на плохое: «Эй, мил друг, подвинься, рядом лягу». Глянь, а он уж мертв, сердешный, отстрадал.

Вот и с Геласием беда: в молодых бы годах случилось — подорожника бы притер к ранке, послюнявил, да через матерное бы слово и перемог внезапную немочь. А стариковое время — закатное. Сорвал о лохматую деревину над правой бровью кожи лафтачок, вот и хлынула кровища, как из худого барана. Долго ли, коротко лежал пластом — не ведал; обложник моросил неустанно, пронзило мокретью и стылостью каждую жилку безмясого тела, и, может, холод этот привел в чувство Геласия, и как во сне недавнем случилось — пополз на зыбких коленях, а на бок так и кренит, с каждой ступеньки опрокидывает. Все пережить надо, все перемочь. Господа бы позвал, да умишко ватный, туманом повитый; доброго бы путника окрикнул — да слепа и безмолвна вечереющая деревня. Сон в руку, недолго и ждать пришлось, и лишь Полюшка, жена богоданная, отчего-то не явилась на подмогу. А может, и поспешила тайно, укрепила дух Геласия и его гаснущую волю. Иначе, как знать, не истёк ли бы он тут рудою, и не отлетела ли бы жизнь его под крыльцом в травяной ветоши, как у последнего пропащего забулдыги. Видно, в то же время вскричала душа у дочери Матрены, застрявшей в гостях. «Ой ты, боже,— призналась хозяйке,— как тоскнет сердце, не случилось ли, однако, чего с дедкой». Прибежала домой, а старик посреди кухни пластом лежит, кровью изошел, рубаха насквозь и штаны ватные пропитались, и лица не видать, и на полу кровища запеклась печенками. Хорошо, фельдшерица Настюха живет возле, безотказная девка, мигом примчалась и давай хозяина отхаживать да обмывать. Литра два из деда вышло, сказала, виноватясь, и навряд ли выживет он, надо родным телеграммки отбить, чтобы спешили, дескать, пока живой. Посидели сколько-то возле кровати, может, с час, а Геласий вдруг заворочался, застонал, Матрена нагнулась к отцовым губам, с трудом разбирая хрипы. Вот и помер татушка, вот и отжил: хотела завыть, давно уж готовая душой проститься с отцом. «На двор хо-чу»,— едва ворочал старик языком, словно бы смеялся над дочерью. Вот тебе и благословенье, ну и прощальное слово. Тазик притащила, пробовали с Настюхой подсунуть, приподнять старика, а в Геласии вдруг сила откуда-то явилась, наставил локоть — и не подобраться к изнемогшей худобе. «Дедко, в тебе одних мослов, считай, пудов шесть. Откуль в тебе костей-то эстолько»,— бормотала Матрена. «На двор хо-чу, на

двор»,— упирался старик, и слова с каждой минутой текли яснее, возвращалась грудная сила. Пришлось ведь тащить его на поветь, за дощатую загородку и караулить там, придерживая, как малое дитя.

10

...В чужих руках ломоть всегда толще. Думают, все так приходит, само собой, без труда прожить можно. Ан выкуси... Сам собой и ребенок не вывалится, поднатужиться надо. Десять лет упирался, для дикой Кучемы горбатился, сердце износил, скоро от давленья лопну, а где благодарное слово? Ручки в брючки, да бильярдные шары гоняют: тут они мастера. «На князек залез, дак хорошо с вышины рукой указывать»,— передразнил Геласия. Попробовали бы сами на князьке пожить: и трет, и кусает, и со всех сторон подпирает, и сладко не поспи, и нявгают на тебя кому не лень, а соскочи попробуй самовольно. Шиш! Что они без меня? Вовсе бы замшились. Вагой бы надо сковырнуть, под самый корень вывернуть. Стоит такой старпень на большаке, труха сыплется из него, а он все напротив, только бы досадить. Уваженья он ждет, к нему с ласковым словом надо, а сам-то он уваженье дает? Как клещ всосался, паразит. Он колхозу палец о палец не стегонул...

Казнил Радюшин Геласия, а до смертной тоски жалел себя. С недавнего времени все чаще подкатывало это чувство отчаянного одиночества, когда жизнь так зачужела, что кажется — подтолкни кто под локоть, шепни прощальное ободрительное слово, дескать, не робей, дружище, развяжись со всем, и легко тебе станет — вот и шагнешь тогда к самому краю с душевным облегчением. Жутко, ой жутко и горестно человеку, когда ему деться некуда: знать, до того крайнего предела устал и терпенье до той последней капли истекло, когда и родное-то житье, обогретое и обихоженное своей рукой, уже не мило, и лишь через силу, через окаянную принудиловку тащишься в дом под самую ночь, и какие только мысли не посещают тогда.

А жилось-то всегда хоть и трудно, но ровно: до того израбатывался, что едва ноги доволакивал до кровати, и тут же в сон опрокидывало. И вот в нынешний год всплыла однажды в памяти военная нелепица. Николай Степанович рассказал ее гостям как радостное приклю-

ченье и даже заключил словами, дескать, большего счастья не испытывал с той поры. А ночью и приснилось то состоянье, и оказалось оно столь жутким, таким неприкаянным, что Радюшин едва из сна вырвался и долго в себя прийти не мог. Такой страх пронзил все существо, таким морозом окатило спину, что не дай бог высмотреть подобное сызнова...,

А пустяк же случился, ей-ей мелочовка, крохотный эпизодик из солдатской жизни, коими полна была война. Много суток тогда не спали они, пятились к Сталинграду степями, а нет большей муки, как без сна жить. День человека не корми, два не корми, но выспаться дай. Прижми зайца, так он по проволоке на ушах ходить будет. Так и с нашим братом: постепенно приобыкли спать на ходу с открытыми глазами. Зрячий солдатик, и упряжь на нем казенная чин чинарем, и шагает вроде бы справно, не отставая и не портя колонны, но глух он и нем, и душа его сонная аж к самой селезенке поникла, и нет у человека в те мгновенья ни снов благостных, ни видений жалостных, а лишь одна одуряющая темь. Тяжелый сон, муторный, сплошь на нервах, когда вроде бы кожей тела и лица руководишь,— но и то хлеб, и то спасенье военному человеку. Помнится, однажды споткнулся Радюшин вроде бы на мгновенье (на ходу кемарил), растянулся плашмя на дороге, а пока вставал да очухивался — рота уж где у черта, бегом догонять пришлось. Привалы разрешали на час: только распластался, где команда застала, и набухшие веки сомкнул, и сладко потянулся с одной блаженной мыслью, дескать, вот сосну, а уж подъем кричат. Вот так же скричали подъем, встал Радюшин и пошел с закрытыми глазами. Вдруг голос тайный шепнул вроде бы: «Эй, очнись, друже». Хвать-хвать за грудь — автомата нет. Шлеп-шлеп с невольным ужасом в груди, а лишь шинелки истертый хомутина да лямка противогаза. Сердчишко-то заекало: батюшки-светы, оружье-то посеял. Ах ты, ох ты, рубаха на спине взмокла, и сон как рукой сняло. А ночь — непроглядь, скажи вот — протянутой руки не видать. Доложил старшине, побежал обратно. Все лежбище, где отдыхали, на коленях облазил, каждую кочку ладонью продоил. Жуть, темь — ни души людской, ни заступы; а по тем временам за посеянный автомат и живота лишиться можно. Вот где страх-то полонил, мать родную поминал Радюшин через каждое слово, пока на рассве-

те не нашарил оружье. Лежит, голубанюшка, запотело, едва глядится: его ковылем-то приобтянуло, травяной пылью приобвеяло — днем диво найти, а не то ночью. Знать, судьба милостива к солдатику. Спешил Радюшин вдогон за ротой, задыхался, а душа пела и полнилась великой радостью...

И вот этот случай вдруг привиделся во сне в таком страшном обличье, что хоть тут же отходную затягивай. Будто ночь непроглядная, та самая военная ночь, на небе ни залысинки светлой, ни пера лебяжьего, ни просяной звездочки, и он, Радюшин, посреди немоты этой, как во чреве свежей могилы, по-свинячьи скоркается на коленках, тычется в углы, нашаривает чего-то, пугаясь неживой земной стылости, а отыскать не может, и тут как завоет, взмолится: «Лю-ди, э-эй!» Прислушается, по-собачьи навострившись, ни звука в ответ, ни шороха, хотя бы звериного иль лешачьего. И вновь: «Лю-ди, ей-ей!» Закричал уж в крайней тоске и враскорячку, непотребно так, полетел в бездну...

Насильно, через каменную тягость переборол тогда сон, а забыть так и не смог.

Под берегом река едва намечалась, светилась окалиной, ворочалась на ближнем перекате лениво, вода уже загустела и тяжело скатывалась к морю. Кислой мокретью, ржавым запахом огрубелой травы наносило с луговины, волна чавкала, с разгона хлопалась о бортовины лодок, порой звонко сбрякивала цепь, и казалось, что там, по урезу реки, кто-то шляется с недобрым умыслом. «Может, собаку леший носит?» — подумал Радюшин и, не сдержавшись, строго окликнул: «Эй, кто там?»

Ранняя осенняя ночь круто заваривалась в смолевом котле, клубилась, ворочалась, проливалась на осиротевшие вымокшие бережины, кутала ближнее поредевшее чернолесье, отряхая последний заскучавший лист, утопила лесные сузёмы по самую маковку, и только там, за дальним таежным росчерком, в самом поднебесье, чуть сквозило луковым настоем. Темь, чугунная непроглядь без конца и краю, и если вдруг усильем воли проткнешься сквозь, взлетишь и приглядишься к земной околице нашей, то с трудом кое-где нашаришь теплые человечьи огоньки и изумишься с ознобом в груди, как сиротливы они ныне и редки. Там очаг погас, там крыльцо проросло крапивой, а те двери и вовсе нараспашку — заходи лю

бой, выдирай плахи, коли на растопку: хозяева на забытом погосте, а потомки их в дальних городах, в сытых квартирах и разве в пьяном застолье вспомнят порой заброшенное пепелище. Печальны избы, заколоченные крест-накрест, но еще более невыносимы душе — забытые, когда оконца вроде бы глядят и двери зазывно распахнуты, а ступишь за порог, и вроде бы в могилу глянешь... И только по речному угору порой пронизает смолевой навар — заманный живой уголек, да еще вон там, к устью, скатится корневая деревня, да у моря кое-где ровным светом овеет пески крохотное селенье.

Какое-то полночное царство, вроде бы уснувшее навечно. Даже мысленно представишь его пределы, погрузишься взглядом в его светлые боры и комариные моховины — и оторопь хватит, ей-богу. Куда же занесла нелегкая нашего вольного русобородого Ивана, как же он выжил, выстоял тут, настроил посадов и церквей, лес согнал палом, хлебов насеял и наковал детей, крепких толстокоренышей, родову свою укрепил и жил близ моря горделиво и сыто, и земля эта, вроде бы угрюмо-настороженная, оттеплила тут, поддалась ласке и заботе — и уже милой единой родиной в кровь влилась. Так можно ли мир этот, великим человечьим потом и слезой вспоенный, внезапно осиротить?

Представилась Радюшину вся предночная окраина, и вроде бы задохнулся он, утонул в омуте с гнетом на шее. И вдруг забылось, что позади по долгому угору рассыпалась живая деревня, и так нестерпимо захотелось бежать прочь отсюда, а судьба помыслилась столь унылой и беспросветной, хоть в голос реви: упрятали человека — и забыли. За какие такие грехи? Что он — лошадь? Другие вон отработали год-другой, лямку оттянули, их на повышенье, в города, квартирки теплые, босиком в уборную можно. А тут жилы на кулак мотай от работы, пуп срони от тягостей, сердце сорви от забот — и все ты плох, все нехорош, и чуть ослабни, качнись, оступись легонько в сторону — тут и съедят поедом. И каждый кому не лень пальцем ткнет: то не так, да то не эдак...

Кинулся Радюшин прочь от реки, от темени промозглой, словно боялся оставаться долее там, обогнул клуб и затаился обочь высокого крыльца, жадно вглядываясь в распахнутую дверь. Так к людям захотелось, ровно бы кто ранее за плечо удерживал: даже пустого мельте-

шенья меж них хватило бы и говорильни хмельной. Но пошарил глазами и ровни своей не отыскал в зале: несерьезный народ толокся, все больше недоростки в платьях-поддергушках винтили пол каблуками. «Мокрохвостки еще, а совсем заголились,— отметил невольно и отвел взгляд, когда штрипочку голубую ухватил и литой поясок бедра.— Матерые, куда там, как бабы замужние. Опару на хорошем харче гонит».

Парни отирали плечами косяки; пьяно дымили, кто-то тянул сквозь зубы одну и ту же коротушку, еще из материного сундучка выхватил: «Девки подол выжали, парни воду выпили. Думали, свята вода, то из-под меленки беда...» Давно пели, еще до войны. И неуж при моей жизни? Тогда частушка в моде была: попади на язык — отбреют и ярлычок навесят. Это же про Ваську Сопочкина, первого тракториста, Фенька Полькина спела: «У моего у милого голова из трех частей: карбюратор, вентилятор и коробка скоростей». Вон на крыльце пролетарии тоже толкутся. «У моего у милого голова из трех частей...» И час трутся, и два, как стоялые кони. Нет бы книжку в руки, забыли уж, когда читали. Иль по дому чего помочь — на худой случай. Я-то, бывало, в молодых летах горел. Я-то горел. Баржа, случилось, под берегом притонула с досками. Лошади не дают, как хошь, говорят, добывай. И не лень мне было калевку за два километра на себе волочить. Обшил клуб, обустроил, любо глянуть. Уж сколько лет с послевойны прошло, а он все как милушка. Приедешь в Погорелец, глянешь — и как память ведь. К должности-то клубной приступил, так первым делом сажу надо было выпахать. Трубы сетной рванью охаживаю, а двоюродница идет, кричит с заулка: «Колька, это ты? Образованья-то наполучал, дак и сгодилось!» Смеется, значит, охальница... Мы к работе с малых лет приставали, нам без работы тоска была. Ну как без дела жить?..

Мысли Радюшина, наверное, куда бы как далеко отшатнулись, домой бы вернулся он просветленный и виноватый перед женой, тихо бы отужинал и так же ровно и покойно завалился спать, но тут из темени вывернулся Тимоха Гранатометчик, как тать лесная вытаился из мрака. Радюшин неожиданно наткнулся посторонним взглядом на одичалое щетинистое лицо, вывернутый, налитый кровью глаз — и отшатнулся.

— Тьфу ты... Напугал. Черт бы тебя забрал, шляесся

тоже,— тихо, чтобы не привлечь чужого вниманья, ругнулся председатель.

— Миколай Стёпанович, друг ситный,— завопил Тимоха и полез сразу целоваться.— Люблю тебя, гада... Ты не знаешь, а я знаю.

Сивухой ударило, как из пивной бочки, перегаром...

— Ну ладно, ты поди давай.— И чтобы отвязаться от докуки, Радюшин стремительно отшагнул в темь, поспешил к дому, но душа его, будто утихшая, уже неслышно полнилась раздражением. «Пьяница чертов,— уже калил себя,— болтается по деревне, людей пугает. Гнать бы таких, в шею гнать». И тут сзади послышались путаные бухающие шаги, тяжелое сорванное дыханье. Эк, привязалась привязка, теперь не отстанет. Что глухому, что пьяному говорить впустую. Но все-таки остановился Радюшин: не убегать же. Да и кто он, вор, что ли, чтобы по своей-то улице бегать.

— Эй ты... слышь. Миколай Стёпанович. Как другу...

— Иди, говорю, по-хорошему. Ну чего привязался?

— Рассуди... У тебя голова большуханска, она все знает.— Вдруг заплакал Тимоха, его круто обнесло, и он, едва удержавшись на ногах, заскрипел зубами и приник к груди председателя. Радюшин беспомощно огляделся, словно бы подзывая подмогу, но пусто было на деревне и молчаливо.— Прости, председатель,— канючил Тимоха, дыша перегаром. Он елозил подбородком по клеенчатому плащу и все тянулся куда-то, видно, норовил поцеловать, собака.— У меня такая говоря, слышь? Как у отца-покойничка говоря. Мати у меня не молодка, да и я не молодец. Дак вот... Вишь, что со мной жонка иделала. Помоями меня, прилюдно. Хорошо, в глаза не попало. Из дому гонит, а дом-от отчов, у меня и бумага есть, и печать. Отчов дом-от, слышь? — Тимоха застонал и в голос завыл.

— Завтра, как протрезвеешь, приходи. В милицию-то заявлял?

— Ты что? Ты милицию брось, слышь? А, гребуешь? — внезапно обиделся мужик и больно пехнул Радюшина в плечо.— Я по честности ему, как по партии, ни одного слова не вру, а он в милицию меня. Простого народа гнушаешься, зараза. Тьфу на тебя.

— Глупый, да? Ты мне партию не трепли,— силясь удержаться, еще урезонивал Радюшин, но голос его против воли накалился, и председатель, сплющивая в кар-

манах кулаки, вплотную придвинулся к распьянцовской голове и закричал: — Иди прочь, говорю! А то ударю, и не встанешь больше! Иди!

Знать, последние слова Тимоху ошарашили, он сник и провалился в темени, как будто и не было его, и только из ночной глуби всплывало неровное дыханье. Радюшин еще потоптался, соображая, как лучше поступить, и пошел прочь: но сердце-то распалилось, екало — не унять, и в горле сухость. «Из-за такой дряни и столько волнений,— думал, ожесточаясь и подавляя нахлынувшую дрожь.— Вдарить бы, чтоб красные сопли из носа. Пусть тогда идет жалуется».

Он уже сворачивал в свой заулок, когда Тимоха подыскал емкие слова и заорал на всю улицу:

— На твои не пил, на свои пил, распроязви такую мать. Я к ему по-товарыщски, значит, а он в морду.— Голос ввинчивался в деревенскую тишь нарочито дерзко, так что в каждой избе слыхать. Завтра разнесут по Кучеме, растрясут сплетни: вот и новость, вот и забава.— Ты гордоватой больно, а я тебя не боюся. Я тебе в ухо могу нас... хоть ты и гордоватой. Ну чего убежал? Трусишь, да? Ну ударь Тимоху, ударь, его все могут.

Уйти бы, не слушать эти помои, да ноги точно пристыли, завязли. Привалился к изгороди, и пока не умолк Тимоха, не захлебнулся руганью, выстоял Радюшин, каждое матерное слово впитал с глуповатой ухмылкой на губах... Во, как на князьке-то сидеть. Облаяли тебя, будто так и надо, а ты внимай критике масс, ты учись. Эх, дедко, дедко, совиные твои глаза. Много ты видел, да ничего не понял.

Странное дело: дурная брань, пусть и обидная поначалу, коснулась уха и как бы истончилась, завязла и вовсе пропала тут же. Ну что с пьяного спросишь? Но старик Геласий из памяти не выпадал, это от его совиных глаз в душе Радюшина постоянное раздражение, и весь вечер мнится председателю, что нынче его жестоко и неправедно обвинили в пакостном. Тут, видно, поблазнило Радюшину чужое присутствие, словно кто-то с крыльца подглядывал и дышал слабосильно, с легким хлюпаньем в груди.

— Эй, эй... чего надо!

— Сынок... я это.

Неожиданный материн надорванный голос ударил в самое сердце. Шагнул Радюшин навстречу, еще расте-

рянно недоумевая, а Домнушка легонько прильнула, словно бы плоти в старушонке не оставалось — один взволнованный дух, и давай тыкать, мять сына кулачонком в грудь и чему-то своему смеяться дробно, точно захлебывалась радостью, а он неловко, мужиковато охватил материны хрупкие плечи и неумело поцеловал в теплый завиток волос на виске.

— Явилась не запылилась,— всхлипывала Домнушка под пазухой сына, поколачивая и в бока, и по хребтине, куда доставала рука.— Колюня, стыд божий, как тебя поносят. Знать, скоро отставку дадут.

— С неба свалилась, что ли?

— А мне-ка что, Колюня. Я нынь вольня птица. Снялась и полетела. За что так, чем провинился? — И вдруг посуровела, отстранилась.— Поди, поди в избу-то давай. Дому своего нет? Шляешься тоже, как басурман.

На крыльцо поднимались уже порознь, словно чужие. Жена Нюра вышла из горенки, видно, за занавесью стояла, дожидалась, лицо нынче вовсе желтое, поблеклое, да и волосы-то ко всему прочему густо освечены хной, и глаза шафранного отлива, и показалась она издали наезжей туземкой. Встала у порога, руки под фартуком нетерпеливы, что-то мнут, скоркаются, а сама навязчиво, с тоскливой мольбой досматривает за мужем, видно дожидаясь редкого приветного слова иль хоть просьбы какой. Господи, вот дожили до времени, когда в одних стенах будто, а говорить разучились. Радюшин, чувствуя Нюрин взгляд, упорно отворачивался, сопел, и кирпичное лицо его наливалось яростной красниной. Но матери, видно, устыдился, не повысил голоса, а лишь ткнул босой ногой в Домнушкин чемоданчик:

— Насовсем, что ли?

— Как примешь, сын... Ну, коли здорово, ребятёшки,— поясно поклонилась Домна, прижав руку к сердцу, дескать, от всей души желаю всякого добра вам. А сама так пристально на сына взглянула, в поблеклых глазах открылась такая укоризна, еще более непереносимая от легкой туманной слезы, что Радюшин виновато поникнул, как бывало в детстве, и кирпичные скулы кисло дернулись. Тык-мык, а слова в горле застряли, подходящего не отыскать с лета, а потому задумал все на шутку свести и снова босой ногой пехнул материн фанерный чемоданчик с деревянной затычкой в проушинах вместо замка:

— Гостинца-то привезла?

— Погляжу на твое поведенье. Грозный вот больно.— А сама меж тем ловко растормошила поклажу, добыла замотанный шерстяной ниткой свиток глянцевых бумаг да иконку божьей матери, да из холщовой тряпицы вызволила пирог рыбный с черной коркой, каменно легший на стол.— Вот подорожничек, сын. Испробуй, на чем вырос. Житний подорожничек-то, небось вкусу забыл. Все мяконько да бело едите. А бывало, житничку-то ой рады-радехоньки...

Невестка Нюра так и шила из кухни да в горницу, таскала тарелки с закусками. Румянец пробился на щеках, и глаза посветлели.

— Мама, ну как хорошо, что приехала.— Приговаривала каждый раз, появляясь возле стола, а ловила, однако, мужний взгляд и все виновато улыбалась жалконько так. Ну что бы хоть посмотреть в ее сторону, так нет, набычился, упырь, словно бы провинилась она в чем. И так изо дня на день. Ну как тут жить?

— Насовсем? Вещичек, гляжу, мало.— Еще неотмякшим голосом домогался Радюшин, наблюдая за матерью, и по той суетливости, с какой разбирались пожитки, понял, что мать снова временна в их доме. Тут что-то похожее на обиду замутилось внутри, и он вспылил: — Туда-сюда, туда-сюда. Чего крутить-то, спрашивается?

Но Домнушка вроде бы и не слыхала сыновьих укоризненных слов, а только низко кланялась, прижав ладонь к сердцу:

— У меня добра-то, Николаюшко, нажи-то-о!.. В комодишке-то сарафанишек всяких, да юбочонок, да платьишка. Немодно, правда, но хорошо, из сроку не вышло. Что подарено вами, все у места, не заваляно. Несовестно будет и после меня носить. И фуфайчонка-то, парень, у меня нова еще, и пальтюшонко есть — куда с добром, а на книжке схоронной девяносто семь рубликов скоплено на поминки, чтобы вам не тратиться. Во мати какая у тебя, Колюня.— Говорила Домнушка часто и без грудной тяжести, а в пепельных глазах постоянно катились смешливые горошины, и две кудельки волос, похожие на гусиный пух, выбившись из-под черного повойника, вздрагивали на впалых висках при каждом слове.— У твоей у матери, Николай Стёпанович, ныне одна забота— чтобы вовремя умереть, да чтобы напла-

кались все, уревелись. А уж как належишься на кровати, никому не нужна станешь — тут и не поплачут сердечно, тут рады будут в могилку спехнуть.

— Аха... Так и сделаем,— вроде бы пошутил Радюшин, а сам сморщился, потускнел.

— Ой-ё-ё, сынок. Всяк человек своей хитростью живет. Нет человека, Коляня, каковой бы своей хитростью не жил. Вот и я хитрю, чтобы людям лишней заботы не принесть. Мы-то, стары пошехонки, никому теперь не нужны, обуза одна. Сердчишко, Коля, у твоей мамки нынь худо-нахудо, только язычок живо треплется.

На словах плачется Домнушка, но, однако, и минуты не усидит на месте, все у нее забота какая-то на душе, и руки не живут покойно. Вот и для иконки место нашла в углу, взглянула мельком на сына, от любопытства, а тот смолчал, сделал вид, что ничего не случилось, и за темную доску сунула сверток с бумагами.

— Там-то еще что... Векселя иль завещание?

— Во, Николай Стёпанович, гли, милушка! Это все у матери грамотёшки.— Добыла тугую бумажную колотушку, обвитую шерстяной ниткой, развязала и раскинула на столе подле тарелок и словно бы забыла на глянцевой, траченной сыростью бумаге свои удивительно маленькие ладошки с просторно обвисшей кожей.— Три десятка было надавано за работу.

— Ну ладно, сворачивай свое добро, да ужинать надо,— хмуро буркнул Радюшин. Согласен был с материными словами и сам не раз кричал их распаленно в пьяном застолье, но тут почему-то досаду услышал в себе и потому возразил: — Сама работала, никто не тянул.

— Ты не строжись, сынок, не злобись. Я нынь вольня птица, на шею к тебе не сяду. Захочу — и замуж вылечу. Слыхала, Геласий Созонтович овдовел. Вот и старичишко, вот и затулье.— Катаются в Домнушкиных глазах смешливые горошины, но сыновье лицо от материных слов еще более обрюзгло и багрово налилось. Спрятал Радюшин азиатские глаза, и кулаки, такие пудовые оковалки, вздрогнули на столешне. Заматерел мужик, тяжел и мясист стал. Тоска скользнула на дне Домнушкиных глаз, и неприязнь услышала старая к сыну, и жалость:

— Что с тобой нынче, сынок?

— Был у колдуна... нынче был...

— Ну как он, Коля? Дочери-то, поди, смучились.

— Как-как... Старпень, под корень таких. Они у меня кровь всю выпили.

— Только не злобись, будь добрее,— настаивала Домнушка, печально наблюдая за сыном.— Ты себя не сожигай и людей не выводи. Они уж как на тебя лаются, повод, видно, даешь? Ты терпи людей-то. На такое место поставлен, что и терпеть должон. А к дедке Геласию привязался пошто? Он-то труженик был вековечный, поискать таких.

— Ладно, хоть ты-то не учи, как жить... Он из ума выжил, труженик твой. Он людям головы морочит. Старпень он, а не колдун. И ты вслед за людьми глупости мелешь.— В прорешку зубов с досадой сунул папироску, жадно завесился дымом и откинулся к стене, подсматривая за матерью. Та распечаленная сидела у недопитой чашки, сама нахохленная, кудельки на висках куропачьими перьями топорщатся. Вгляделся Радюшин в материны повадки, как по-зверушечьи грудку сахара мусолит беззубыми деснами, как блюдце тянет ко рту на дрожащих тряпошных пальцах, и вдруг тон, с каким говорила она, ее поучающий голос показались непозволительными и нестерпимыми... «Мастера учить, тут у них не залежится. А как до дела — и в кусты, тут не касайся с просьбой». И отчего-то близость кровная пропала внезапно, словно бы истончились и лопнули тончайшие нити, идущие от сердца к сердцу, и Радюшин взглянул на Домнушку, как на совершенно чужого и нелюбимого человека. Облик Домнушки в его сознанье слился с прочими старыми людьми, беспомощно толкающимися по улочкам Кучемы, живущими лишь прошлым, но отчего-то имеющими будто бы власть всех поучать, дозорить за всеми, присматривать, толкаться подле и вразумлять,— и ко всем им сразу Радюшин почувствовал неприятное раздражение. Мать о чем-то мелконько бунчала, назойливо сверля сына мохнатыми глазками, и тому пришлось невольно вслушаться.

— Слова-то одного страшно произнесть: колдун. Наделает чего ли. Ты с ним, Колюшка, не берись. Вон, говорят, в городе-то есть колдуны, худо делают. И у нас, думаешь, нет? Да только молчат, скрывают. Геласий уж точно... От дядьки Васьки Антоновича перешло. Тот крепкий был на запуки, того уж не серди.

— Глупости все это.

— Ну почему глупости-то, сынок? — взволновалась Домнушка, не в силах пробить сыновье недоверие. Порывисто вскочила, поклонилась долу, прижимая ладонь к сердцу, невестку дернула.— Ты-то, Нюра, хоть втолкуй, скажи ему, Фоме-невере.— Но латунно-желтое лицо Нюрино лишь страдальчески поморщилось, и горестные поблеклые губы дрогнули.

— Глупость, и все. Что сейчас — старое время? А, тебе не вдолбить,— отмахнулся Радюшин и ушел в горницу.

— Ты, конечно, ученый, Колюшка, тебе много дадено, Николай Стёпанович, а я старушонко глупо, дрябло,— закричала Домнушка вослед и внезапно подбежала к порогу, поклонилась закрытой голубенькой двери.— Больно вы смелы стали, уж ничего боле не боитесь. А вот уж пойдет мать-природа на отместку, пойдет на вашу храбрость. Если нету, дак и не верить?.. Ой, чего я, поганка худа, несу. Утомился, поди, радетель, столько работы наворочал, а я спать не даю.

Невольно отмяк, улыбнулся Радюшин, услыхав покаянные материны слова, но вслушиваться в собственную душу сил не нашлось. Пусто сейчас у него в голове, и ноги ватные — ноют проклятые в коленках. Вздрогнул неожиданно, вскинулся тяжелым телом и уже уходящим в сумерки расплывчатым сознаньем понял, что засыпает. А Домнуша с невесткой еще долго сидели за неубранным столом. Нюра так и не открывала рта, лишь все покачивалась отрешенно, опершись локтями в столешню, и не понять было — то ли она свекровь слушает, то ли в усталом забытьи млеет. Тоже уходилась за день, притомилась.

— У меня-то как было, слышь? Я было услышала песню в бору. С пожен бегу и слышу, такое дело: у-у-у — голосом человечьим тянет. Я и обрадела — думаю, живой кто в леси. Вижу, значит, две дорожки рассохой — одна правее, другая левее,— и на той что левее, стоит девица в баском таком наряде. Я и спроси, дура: «Чья така?» А она мне: «Не скажу, чья така, и не отвечу, откуль я».— «Ты куда пошла-то?» — снова пытаю девку. Интерес долит, чья, думаю, верховодка. А она: «Я не скажу, куда пошла, я не скажу, зачем пошла». И вдруг зовет меня: «Пойдем со мной, пойдем со мной». Я и почуяла что-то не то. «Не-е,— го-

морю,— мне в сосёнки, мне-ка в обратнюю сторону». А она: «Ха-хах-ха». Всхлопала — и все столько и была.

— Поблазнило чего? — впервые откликнулась Нюра. На полных ее руках вдруг высыпалась дрожь.

— Не-е... Светло было, пекло. Как тебя сейчас, видела. Я так испугалась, что едва отошла. Выскочила к морю, а там кони бродили, дак я и коням-то была рада — живое существо. А чего... девчонишка совсем, годов шашнадцать сполнилось, нет...

11

Третий день маялся Геласий Созонтович на краю жизни. Запущенная борода свалялась, в почернелом лице скорбь. Пройдет Матрена к отцу, прислушается, дышит ли, и чудится ей постоянно, будто мертв он. «Тато, слышь!» — окликнет и бессильную руку встряхнет, пугаясь заранее. А Геласий лишь длинно и беспамятно замычит: «ы-ы-ы». Может, и в самом деле отмерла плоть, и только душа едва тлеет, готовая пушинкой вознестись в мир, может, она и стонет жалобно, просится наружу? И самому Геласию в муторном сжигающем сне уже давно виделась своя смерть: у яростно вздыбленного пламени мельтешились черти, что-то мешали мутовкой в смоляном чане, знать, готовили свою купель, бренчали по чугунным стенкам белоснежным моржовым клыком, и старик понимал, что он в аду. Какие-то крохотные человеки шныряли вокруг, странные, словно бы сбитые из березовых поленьев. От самого котла они вдруг подхватили Геласия, и он, послушно отдаваясь их воле, запел: «Афон-гора свя-тая. Не знаю я твоих красот, и твоего земного рая, и под то-бой шумя-щих вод...» Ему было радостно и успокоенно от этого просторного полета, адова смоляная мгла с огненным колыханьем в ее глубине отступала, и уже виделась впереди розовая покойная гладь с редкими пуховинками, откуда пробивалось задумчивое торжественное пенье: «Афон-гора святая...» Старик понимал, что там рай, желанная земля обетованная, где растут сады с виноградьями и текут реки медовые, и уже сам взмахивал руками, чуя в них большую силу. А березовые человеки вдруг бросали его и отваливали прочь, взмахивая внезапно отросшими вороньими крылами, и жадно граяли. И снова мрачное бучило, с-под низу словно бы напитанное свежей кровью,

надвигалось с такой неотвратимостью, что крохотное сердчишко Геласия разбухало и кидалось в самое горло, забивая дыханье. И так носило старика туда-сюда. «Отдохну дай»,— взмолился он наконец, отчаявшись отыскать приют. И сгрохотал тогда неведомый в занебесной вышине: «Кто ты?.. Ад — злодеям, праведникам — рай. А ты кто?»

Старик с усильем разымал каменные веки, тупо всматривался в темь, улавливал помимо себя какую-то жизнь и снова проваливался в забытье. И однажды вновь бредово приснилось Геласию: Полюшка привстала из-за каменной стены и рукой машет. Кругом пустыня, растрескавшаяся от жары. «Ты куда?» — крикнул Геласий, торопясь к жене. «По-ми-рать пошла»,— жалостно отозвалась она.— «А я?..» И кинулся догонять, но глинобитная стена растворилась, и посреди пустынной чахлой земли вдруг оказалась дыра, и вокруг нее люди сидят, сложив калачиком ноги. Откуда-то и внук Василист взялся. Люди руками машут, зовут Геласия: «Проходи в дыру, там тебе хорошо станет, там яства и питье всякое». Василист первым подбежал, глянул вниз и кричит: «Иди, дедо. Тут и правду хорошо. Питье всякое и еда, и люди в карты играют». Улещает, заманивает Василист, бегает по-собачьи туда-сюда, только что хвостом не вертит, а Геласию и вспомнилось: «Не-е-е. Как я без домовища-то? Ты же мой гроб порушил, лешак окаянный. Как срубишь новый, так и пойду. А пока, пожалуй, подожду, любить твою бабу...» И такой страх вдруг обуял, схватился Геласий за голову и кинулся прочь, и каждый шаг в груди так и отдает: бом-бом-бом. А издали тонкий голос прорезался, на самом надрыве, такой родной: «Та-то-о!..»

— Тато, слышь, живой ли? — кричала Матрена в самое ухо и вдруг увидела слабосильную вошку на тонкой седой волосине. Осподи, подумала, вши-то бывают у ленивых да у фокусников, если жив человек. А батько, знать, помер.— Та-туш-ко-о,— завыла, ударилась в слезы.

С трудом разлепил глаза, васильковой голубизны пламя ударило в мутные зрачки и ослепило, проникло куда-то в самую человечью глубь, в каждую бескровную жилку огромного мосластого тела, и как бы насытило его. «Где я, в каком царствии?» — подумалось беспомощно. Геласий покорно отдавался плавному течению

уже такой знакомой загробной жизни, и радостно блазнило ему, будто бы он снова приблизился к розовой покойной реке, за которой благодать, и черные во̀роны более не сошвырнут его в бездну. «Ад — злодеям, праведникам — рай. А ты кто?» — спросил чей-то певучий голос. «Стоит природно, сама по себе живет, сама собой владеет земля, а я на ней».— «Про-ходи!» — пригласили раздумчиво. «И неуж в рай»,— обрадовался про себя, еще не веря, и так захотелось вплотную вглядеться и оценить его, что снова через усилье разомкнул веки...

— Проходи, Паранюшка. Ой, с отцом-то худо.

Парасковья наклонилась над Геласием, улавливая его состояние, увидала его посторонние беспамятные глаза.

— Де-до, как ты себя чувствуешь? — прокричала.

Старик молчал.

— Что фершалица-то сказывала?

— Три литры кровищи потерял. Тут и каменный не подымется.

— Дай бог, встанет.

Геласий слышал глухое бунчанье, пытался проникнуть в слова — и не хватило сил. Он беспомощно глядел в просвет окна, на крохотный осколок неба с морозной окалиной в глубине, в котором только что жил и вернулся оттуда. Голубые зыбкие столбы наискось вросли в избу, и в них на всем протяженье мерцала желтая солнечная пыль. «Значит, и земля не приняла, и небо отринуло,— подумал с облегчением.— Много людей видел, по лестнице лезут в небо, а мне ступеньки не нашлось, не пустили...»

— Только бы робить ныне, день-то андельский, благословенный, а много ли сенов сплавили? — привычно брюзжала Параскева, навастривая янтарные глаза. Уже с прялкой, с задельем разложилась, и сквозь пальцы течет на веретешко крутая овечья нитка.— Как это без труда жить, руки скламши? В ум не возьму. А нынь пальцы на живот складут, и ну эко крутят. Отсюда и распутство. Степка мой к окну пристынет и ухватом не сдвинешь. Я говорю: «Степушка, поделай чего ли, у нас поветь разорена, зимой снегом захоронит, у нас и дров ни полена. Раз жить думно — позаботься». А ему хоть клин на голове, только с жонкой: ля-ля-ля.

— Ты промеж их не встревай. Жена молодая ближе отца-матери. Ты им дороги не заступай,— мягко совето-

вала Матрена.— У каждого времени свои похмычки. Пусть живут, как хотят.

— Так обидно, Мотря. Боюсь, ежели не сдвинуть, так и навозом зарастем. Мне двенадцать лет было, уже на сенокос татушка за двадцать пять верст увел. Где кулижку выкосишь, где гребешь. Пять возов сена, помню, наставили в суземах за две недели и в обрат идем. Километров за пять озеро родное. Я увидела — и ну зареви как: «Ой, скоро мамушку родную увижу». Вот сколь глупа была. К матери ульнула в охапку и отпустить не решусь... А теперь народ не доброрадный, не-е.

2. «ЖИЗНЕОПИСАНЬЕ...» ФЕОФАНА [1] (ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СТР. 18)

«...Дал себе постановленье: пока в силе — никому не докучать, ни к кому не соваться. Теперь дрова колю и пилю сам: диаметр ощупаю, палец положу, и колю точно. Можно бы деньги заплатить, но тогда ложись на кровать и пой отходную? Это значит, до конца убогой жизни из чужих рук смотреть? А я хочу сороконожкой в темени ползать. Да ладно, не о том речь... Когда тоскливо до волчьего воя, поранее спать ложусь, видений жду. И другой раз бывает, что вижу сон: будто я с глазами иду по Николиной чищенке, трава в пояс, ноги вяжет, путает. Устану идти, лягу, руки за голову и лежу просто так. И видится мне, что я зрячий, а умом-то думаю, ведь я слепой.

Снится дом довоенный отцов, матушка снится, еще нестарая, отца почто-то не вижу. Другой раз хороший сон заснится, аж от радости заплачу, а жена повернется, толкнет в бок, я и пробужусь. И так ли жалко недавнего виденья. Скорее веки-то сожму плотнее, будто и не слепой, думаю, ой хоть бы скорее заснуть, да всяких картин наглядеться.

Ну да ладно, не о том речь... Печку было ремонтировал, и для моего насмешливого ума целый сюжет создался. Чугунок все под рукой путался. Я сначала предупреждал: «Будешь соваться — накажу». И ладонью его выпорол, в сторонку отставил. Так раз десять попался. Я не вытерпел и кричу: «Я ж тебе говорил — не суйся»,— и кинул в угол. Татьяна после черепушки собирала и бранилась.

[1] Публикуются с разрешения автора Ф. П. Солнцева.

...Впервые залез на крышу. Ночью забрался. Решил трубу выпахать, пока жена спит и не видит. Ощущенье такое, будто в потемках у бездонного оврага стоишь и чувствуешь с-под низу могильный холод и смрад. Ноги ватные и подташнивает. Боязно же: а вдруг рухну, да головой о землю. И поминай как звали. Но такая зоркость в теле — на удивленье. А после того и решился крышу перекрыть. Громко сказано — перекрыть, подлатать разве, толи кусок подсунуть. Жена устала после дождей потолок подбеливать. Крышу-то закрываю, соседка пришла: слышу — разговаривают. Параскева Осиповна моей-то благоверной: «Он, наверное, видит?» Про меня-то, значит. А я шапку на глаза — и колочу. По пальцу ударю, пососу — сладко.

...Я теперь гордый стал, первым не здороваюсь. Шел раз с женой, слышу навстречу шаги. Говорю: «Здравствуйте». Молчанье, миновали. «Кто?» — спрашиваю у Татьяны. «Бык прошел». Ну, думаю, не буду с быками да с коровами здороваться. С той поры гордый стал.

...Жена весть принесла, говорит, Геласий Созонтович совсем плох. С крыльца обнесло и кровью истек. Зрячего обнесло, а мне как в потемни навечной ходить, самого себя обслуживать. На деревне верят, что Геласий Нечаев — колдун. Про него рассказывают, будто в двадцать третьем он печь складывал по найму вместе с Гришкой Королем. После и обмыли работу. Утром Геласий за карман, а денег нет. Пошел к Королю, а тот уже успел в лавку сбегать и мешок муки взять на те деньги. «Ты обокрал меня?» — спрашивает. А Король божится: «Не-не, денег твоих не видал, наверное, по дороге где обронил». А Геласий бить не стал и допирать больше не стал, а говорит: «Ну, Король, пусть тот глаз, которым ты деньги считал, вытечет». И что же... Стал у Гришки левый глаз болеть, гноем исходить и весь вытек. И так засох, просто на удивленье, будто никогда и глаза не было — один рубчик. Говорят, дядька у Геласия был силен на запуки, того все боялись, без него ни одна свадьба не обходилась...

Вот раздуматься, так поначалу будто суеверие все это, темный вымысел неразумных людей. Но ведь этот случай можно и объяснить: я так полагаю, что под влияньем внушения Гришка Король трогал глаз и занес инфекцию, а с врачами тогда туго было — один фельдшер на шесть деревень,— вот и выболело око. У дерев-

ни на глазах случилось — это ли не удивленье. Но отчего же мне не хочется все так просто раскладывать по полочкам, отчего я в душе хочу тайны?.. Мы господа, мы покорители и владетели природы. Разумом мы пытаемся проникнуть в такие укромности, что за голову схватишься. Откроем один схорон, другой, радуемся, как дети, а после что?

Теперь о деревенской вере хочется вспомнить. Мой дед в шестьдесят лет в старую веру переходил. Бочку в избу закатили, налили полную воды. Дед во всем белом: кальсоны и рубаха долгая. Залез в бочку, его сверху накрыли, матушка молитву почитала. Странный обряд, вроде бы шутовской — старый дед в бочку лезет, но ни в одном лице не видел улыбки. Помню, в отдельной избе была моленная. По стенам иконы, скамеечки маленькие, и на каждой подушечка: бабы падут на колени, только задницы кверху. Если в чьем-то доме нарождался ребенок, то старуха шесть недель отмаливала грехи за то, что в избе появился ребенок. Бабы ходили в тапках-ступнях, около моленной оставляли, и мы баловались, понарошку путали их. Бывало, тетка придет и пьет чай из сахарницы. Из чашки не пила, оскверниться боялась. Ей мама скажет: «Нова чашка-то».— «Не-е». А уйдет тетка, мы нарочно пьем из сахарницы... Сейчас удивительно мне, как чужого духа, веры не понимали и не принимали мы... Помню, если староверка умирала, то мы должны были сидеть, а стоят на панихиде староверы, служат молебен, отпевают.

Сестра меня таскала на закорках, и у меня горб вырос. Бабка-староверка меня терла и горб оттерла. Когда я вырос, купил ей на платье. Она отказалась, говорит: «Не надо мне, Феофанушко, на платье. Но когда я помру, дак снеси меня на кладбище». И как совпало... Я с войны пришел, и она в тот день умерла. Пришел я и сказал старухам про завещание, и гроб нес на кладбище...»

12

Ожил Геласий, воистину с того света вернулся. Посадила Матрена отца на табурет, помыть решила. Говорит: «Ну, дедо, ты у нас вековечный». Но присмотрелась к мощам, загорюнилась: «Ой, худоватенек, однако. В чем только дух живет». Вроде громоздкий еще —

крупна кость мужицкая, лопатистая,— но по беспомощности взгляда, по вялости бессильно кинутых на колени бескровных рук с коричневыми уродливыми клешнями чудится — легонько пальцем пехни деда, и рухнет он на пол, как вековое дерево, и, наверное, кончится тут. Обхаживала отпотевшую стариковскую голову с оттопыренными желтыми ушами и каждый выпяченный мосолик просторного тела, нынь младенчески беспомощного, и вдруг невзначай, застыдясь рдяно, подумала: «Жизнь прожила и всего отца не видала, каков он. А от крупнящего, оказывается, от хлебного человека пошла». И тут устрашилась, что порой отцовской смерти желала...

Не верил в бога Геласий, но и пугался какой-то силы, что над всеми стоит. Временами пытался проникнуть в необъяснимое и, чувствуя свое горестное одиночество, вдруг обращался к богу: приди, коли есть, явись нашему глазу, и подвигнемся мы в своем терпении, и обновимся. Все из земли вышло и в землю уйдет, но куда девается дух наш, в каком светлом пристанище вечно живет он?

Еще в детстве, мать говаривала, поднесут мальчонку раку целовать, а Иван да Логин нарисованы на гробе, так и зальется дитя слезами, задохнется в крике. Потому и в церковь редко водили. Когда родился Геласька и рахитом отболел — после ноги плохо держали, и родители обещали по обету послать сына на Соловки. Исполнилось ему тринадцать лет, и повез Созонт парнишку на карбасе на острова. Обещался год жить в монастыре, а сам только сошел на землю, отшагнул от прибегища к замшелой стене, и такой она великой, занебесной почудилась, сбитая из обветренных валунов, что помыслилось невольно с великой недетской тоской: вот зайди в ворота, сойдутся они за спиной на засовы, и попадешь в тот колдовской тайный мир, откуда возврату не будет. И так устрашился Геласька, захромал на больных ногах, в голос завыл, вцепился в отцову пальтюху — не оторвать. И обжалел Созонт сына, и увез обратно, оставив монахам жертвенного барана.

Все было: и худо было, и счастливо было. И жизнь прожитая ныне как чудо. Как сон зоревой, встает светлое детство. Только зажмурь глаза, и сияньем вроде бы ослепит, и захочется радостно, до легкой слезы засме-

яться: из тумана, из призрачной глубины всплывет вдруг виденье, и словно бы протяни руку — и вот он, Созонт, батюшко своенравный, и долготерпеливая мать Сара возле...

Вроде бы реку крови утерял Геласий, иссохнуть должен, а лежит ныне у оконца — и в теле легкость небывалая, точно заново на свет народился. Дунь, кто поусерднее, и полетит, вознесется человек, пуховинке подобный. Но где его пристанище? Куда устремиться? Было ведь: готовно умирал, но отринуло небо, и земля не приняла. Знать, не пришел еще срок.

И вдруг представилось: какую, однако, он долгую жизнь прожил. Все, с кем родился и гуливал, и рекрутские песни певал, и в штыковые атаки ходил, и застолье одно правил — родичи и жена милая, полюбовницы и дружки порядовные,— все, однако, по той стороны земли, а я все поверху.

Дочери не было, на повети жамкала белье в корыте, слышалось в избе, как под Матрениными руками ходила стиральная доска. На локтях подтянулся Геласий, выпростал поверх одеяла бороду, губами пожевал и неожиданно для себя запел, сначала тонюсенько и гнусаво, еще не осмелившись и пробуя голос, натугой пробило горловую мокроту, и ровный гуд полился из груди. И сам себе обрадовался старик, сам себе засмеялся: «Ах ты, ёк-макарёк... Любить твою бабу. Дедко-то еще чего может... Эх-ой, уж ты мо-ло-дость. Эх-ой, да наша молодость...»

И заплакал, и тут же промокнул влагу воротом рубахи.

...Храбрая молодость наша, наша мо-лодец-кая.
Эх-да не запомнил, ой-ой, да когда прош-ла-а.
Ой прошло да прокатилосе, ой-да, пора-времечко, да-а.
Ох времечко миновалосе, да-ой, как за единый часик.
Ой-да времечко мне показалосе, ох-ой, да за минуточку.

Поперхнулся Геласий, духу не хватило верхнее коленце так взрыдающе взять, чтобы душа посторонняя, услышав случайно, перевернулась разом и холодом облилась... Раньше-то, как в армию походить, все ревмя обревутся: матка причитает, кресная ей в голос, сестры, как мокры курицы, слезами хлюпают, отец ино вдруг дернется в сторону, ус закусит и глазом рипнет, будто сорина проклятущая под веко села. Кажется, что грудь такой тоски не воспримет, лопнет под рубахой. Деревню

обойдешь, откланяешься, словно бы навсегда простишься, и, как под гору сойдешь, да в карбасок ступишь, медля ногой, тут матушка и вскрикнет, как птица-гагара:

...Как после твоего-то бывания великого
Повянут травушки-то у нас да муравые,
Посохнут цветики у нас лазуревые,
Будет зимушка стоять да холодная
В моем зябленьком-то ретивом сердце...

А и то, долго ли человеку сронить голову на чужой стороне: пуля ли возьмет, иль мор какой сокрушит, иль плен долгий голодом источит, а мати все стереги, изнывай душой, изводись, глядючи в оконце, жди-поджидай вести казенной. У матери душа всегда в больной коростинке: не знала, но чуяла, что сыну долго в родных домах не бывать. Как заходить Геласию в карбасок, сунула к губам медную иконку выговского литья: Исус-страдалец на кресте. На медной плашке проушина с кожаной тесьмой. «От матери образок. Веруй, сынок, и спасешься».— «Ты чо это... Куда эка тяжесть?» — «От мамушки образок»,— тупо повторяла. Пришлось голову склонить, подставить шею.

Семь лет под пулей был — и выжил. Это нынь все просто, вроде и горя не видал. В бога не верил, а образок материн все при себе таскал: вот и сейчас в изголовье, на божнице. Помру, пусть на грудь покладут.

...Да мать сыра-то ли земля — наша постелюшка,
Зло-лихо кореньице — наше изголовьице,
Ветры буйные-то — наше одеялышко,
Да роса утрення-то — наше умываньице,
Да шелкова трава — ведь наше утираньице.

...Бывало, в окопах-то запою, так век, говорят, тебя бы, Геласьюшко, слушал. Человеку помирать не хочется, он к жизни тянется, в нем от песни все оживает. Песельников всегда любили... Вот засну и не проснусь более — такую слабость в себе слышу. А чуть ожил — и пою. Вот как воспринять? Сколько в человеке жизни? В одном чуть отворил жилу — и разом кончился, а другому — конца веку нет. Казалось, уж кранты мне, кончик, старуха с косой возле шеи. В четырнадцатом годе на штыки ходил за царя-батюшку, за отечество: в чужой кровищи по шею ухвостаешься — и ничего не страшился. Какая-то храбрость во мне лешева была... В дозор по-

інлют, скажут, возьми, Геласий, «языка» — и берешь. Орудие лова отыщешь, да хорошо огреешь в бачины, но так, чтобы не насовсем, и волокешь сердешного в свои окопы, только пятки взлягивают. И отмечали добро: сначала медаль Георгиевскую за храбрость, а после и два креста выслужил... Три года под богом ходил, проносило. А в семнадцатом с донесением спешу и не добежал-то до своих окопов сажен пять, слышу —ожгло. Ах ты, думаю, любить твою бабу. Кричу: «Братцы, меня ранило в обои ноги». Выскочил солдатик, вскинул на кукорешки и унес. С тем и кончилась для меня ерманская... Куда-то кресты задевали? Одного «Георгия», знаю, что уволок Колька, ухорез такой, небось кинул где ли на помойку. А те поощренья надо бы сыскать — за храбрость дадены, за отечество. Пускай бы Матренка на пинжак навесила. Теперь не придерутся, нынче нету такой моды, чтобы за старое притеснять.

...Во неволюшке наш добрый молодец сидит, тужит...
Зачем на горе да родный батюшка меня изнасеял,
На злосчастьице родна матушка да спородила,
Да где родила-то родна матушка, тут бы и сгубила...

Утомился Геласий, шея натекла от горы подушек. Сполз в постелю, и рука невольно скатилась с груди, немощная, белая; с трудом поднял, осмотрел, будто постороннюю, уродливо искривленную, с бурыми кореньями пальцев, стянутых вечными мозолями к ладоням, с впалыми пожелтевшими венами и узлами суставов. Пробовал напружинить и ощутить былые связи сухожилий и мышц, но прежней силы не почувствовал... «Вот он, лядащий человечишко,— подумал о себе с грустной усмешкой.— А был в силе. Руки, ноги, голова, все делающие ремесло. Так по прежней религии, по старой вере. Вот, к примеру, человек удавился, петлю на горло. Это что значит? Это он не хочет работать, детей рожать и кормить. Думает, страдалец он, раз руку на себя наложил? А он тьфу. Изнемог — и канул. Но я-то живу? Кто я и зачем живу? Но раз живу, то кому-то, значит, надо, чтобы я жил. Руки, ноги, голова — все делающие ремесло.

И чтобы удостовериться внезапно родившейся мысли, раскинул Геласий руки и даже головой покрутил на подушке, и тело, едва выпирающее под лоскутным одеялом и похожее на поваленный, огрузнувший в земле столб,

оглядел внимательно. За этим странным занятием и застал его Степушка.

— Дедо-о, я в город на выписку поехал.

Геласий не шевельнулся, всматриваясь в откинутую восковую руку.

— Де-до, ты спишь?

Старик повернул голову, в студенистых глазах трудно нарождалось вниманье: недавние мысли ошеломили Геласия.

— Степка, я ходячий живой крест,— непонятно заговорил он, запинаясь.— И ты крест... Все мы кресты ходячие... Это я додумался.

Что-то страшное почудилось во всем насупленном, высохшем волосатом обличье деда.

— Ты что, совсем того? — покрутил Степушка пальцем у виска.— Я ему невесту подыскал, а он хреновину порет.

— Дурак,— незло откликнулся Геласий Созонтович.— Два человека в деревне были — Феколка и я. Она земли не видела, все поверху летала, а я — неба. Это я неба-то не видал, слышь? Любить твою бабу. Я неба-то не видал, какое оно. А нынче проснулся, оно как ударит в глаза. Ой-о-о... И помолился я дланью вот так.— И старик истово осенил себя крестом.— С германской не маливался, а нынь — вот так...

13

Пока Степушка застыло торчал под полосатым сачком, невольно вылавливая дальний самолетный гул, и спинывал почерневшие клеверные головки, отвернув от Любы скучные глаза, а после неловко и торопливо прощался, тыкаясь обветренными губами в ее напряженно закаменевшую щеку; пока умащивался в нахолодевшем брюхе «аннушки» и тайно следил в оконце за сиротливо одинокой женой, сейчас совсем незнакомой и чужой, отсюда странно похожей на несчастную вдову, убитую горем, в этом сбившемся нейлоновом плащике, зазябшую от низового сиверика, с угрюмоватым похудевшим лицом, вовсе некрасивым и незнакомым; пока на крутом вираже вроде бы прощался с деревней, сиротски заброшенной в крохотный прогал меж таежных увалов; да пока муторно летел до города,— горло все время запирало грустью, мешавшей свободно дышать и жить, а душу скручивало до нытья, словно бы навовсе отбыл

из Кучемы. И Степушка мысленно давал Любе обещанья и нашептывал самые добрые слова, летучие и розовые: ты не горюнься, любимая, ты не печалься, не успеет комар и песни допеть, а я уж в обрат лыжи навострю. Еще не народился тот начальничек, чтобы в пику мне: в таком случае — айн-цвай, ауфвидерзеен, я ваша тетя...

Но как, оказывается, слаб человек, какие странные переменные вихри пластают и корчуют его. Едва покинул самолет, и город вновь пробудил Степушку, увлек его, погрузил в себя, и парень суконную фуражку с медными пуговками — подобие таксистской — сбил на затылок и льняную челку откинул на правый висок. Словно бы и не уезжал отсюда, и прошлое томленье и дурная скука были пустой случайной придумкой.

Так где же ныне роднее человеку, куда приткнуться ему? Знать, тот крохотный корешок, тоньше паутинки сосудик, но самый нужный и верный в сплетенье жил и нервов, неприметно засох, угас, источился — и нет нынче в тайниках души, в глубинном схороне ее той родовой тоски по отцовому очагу, которая бывает, что сожигает и самую крепкую натуру. И вроде бы так легче, нет лишнего муторного груза внутри, во спокое человек, а чего в жизни дороже спокоя? Где поглянулось — кинул якорь, завел житье, наметил жизнь долгую и прочную, но только отчего-то вдруг так смутно станет мужику и тошно, что, бросив скарб и семью, кинется вдруг, непутевый, на самый край света, закуролесит, зашелопутит, грехов натворит — и тут-то, в опасное мгновенье, на лихом распутье не заскорбит усохший коренной паутинный нервик, не заноет, натянув душу, не призовет с нетерпимой болью к вековому родовому жальнику. Но как отчаянно нужен он для спасения человека — нервный паутинный корешок, неведомо где оборванный. Так живи, человек, где можется, но сохрани его, и он вывезет тебя из душевного распутья...

Любино обличье притухло в памяти, поблекло, и свадьба недавняя чудилась порой сновиденьем каким-то иль пьяной забавой, и, чтобы удостовериться, Степушка ладонь из брючины то и дело вытягивал и протирал обручальное кольцо о рукав пиджака и тем самым красовался невольно, и сам себе нравился вдруг своей новизной и мужской полноценностью, и словно бы говорил встречным девицам хвастливо: дескать, глядите-глядите, золотые рыбки, я не очисток картофельный, не за-

булдыга подзаборный, не навозный опоек, а вполне состоявшийся семейный человек. Степушка порой прицениваЛся к голенастым, откровенно раскрытым для чужого взгляда девчонкам с натушеванными посторонними глазами, и в его душе, как случалось ранее, уже не вспыхивала прежняя собачья обида и тоска на свое одиночество, а думалось невольно и горделиво, что вот возьми он любую из этих цац за локоток, и она, как покорная овечка, согласно потянется следом. Да и девицы оставляли на нем глаз, часто оборачивались и хихикали, словно бы раскидывая заманные сети, и только от одной этой мысли жизнь городская казалась новой, необычной и хотелось ее испить заново.

И когда предложили в отделе кадров двенадцать законных дней добить, Степушка лишь для виду покуролесил, дескать, он не конь, чтобы хомутать его, а человек семейный ныне и собирается вернуться в деревню (ведь народ тоже кормить надо), а если кто норовит его попридержать, то могу сей же момент дверью хлопнуть — и ауфвидерзеен, я ваша тетя. Отбояривался парень, накаленным тенорком заглушая в себе застарелую подлую робость перед каждым канцелярским столом и строя из себя обиженного, но в душе-то, черт побери, давно согласился отработать, сколько велят, а куражился лишь для форсу, для проформы, от внутреннего возбужденного веселья. С этим чувством и в магазин заскочил, в винный отдел, мысля вечером ребятам привальное справить. А тут привязался колченогий коренастый мужик из тех вечных забулдыг, которые будто бы неприметно сменяют друг друга и не переводятся на Руси, опухший, щетинистый, с горячечной тоской во взоре. Он толкался возле двери, выискивая жертву, комкая рубль в заскорузлой клешнятой руке, а после вдруг поймал в зеленых крапчатых глазах Степушки душевную доброту, а может, невольный отсвет ее, и мгновенно подковылял, сочно прикладываясь деревягой к цементному полу. Очередь словно дымилась от желаний, каждый норовил ухватить «светлую голубушку за тонкую талию» поскорее, знать, нутро полыхало и скорбело, и потому все нервничали и от любого пустяка злобились. Это уже после, приложившись к стопарику, отмякнут сразу, зажалобятся, длинно и грустно запоют, а то и заплачут навзрыд, матерясь и люто жалея себя. Вот и этот, щетинистый и колченогий, пристал, прилип к Сте-

пушке, имал его взгляд, заваливаясь на култышку, испускал запахи вокзала и давно не мытого тела.

— Чего ты от жизни хочешь, чего?

— Иди, милок, с богом,— грубо ответил Степушка и непримиримо отвернулся, а мужик покорно отстал.— Волки, ходят тут.— Еще долго бурчал парень, оправдываясь перед собой, но из магазина выскочил ходко, напрягаясь сутулой худобой и мельком оглядываясь: нынче народ не промахнется, зазеваешься, а за углом уж тебя ждут молодцы, живо возьмут в кулаки, а то и на веретело нанижут, пустят кровя. Жлоб, скажут, за что старого человека обидел, а ну, живо повинись. А рыпнешься, красных соплей на кулак намотают...

Но все обошлось. Сумрачным проулком, подозрительно беспокойным даже средь белого дня, вышел к автобусной остановке. И снова концерт даровой — нынче везет ему на погорелых артистов. Засмотрелся Степушка на цыганку, какую-то вызывающе красивую посреди этой городской осенней тусклости и слякоти, безразлично сорящую шелухой: молодуха лениво окунала руку в смолевой черноты волосы, беспечно брошенные на плечи, с неясным греховным томленьем выгибала грудь, обтянутую бордовым шелком, и видно было, как напрягались ядрышки сосков, готовые прободать кофту, но в вишнево-смуглых глазах ее, чуть вскинутых к вискам, не отражалось ни желанья, ни вниманья к людской толчее. Рождается же на свете такая красота, о которую можно гибельно обжечься, и от любованья ею вместо радости и любовного желания подкатывает под сердце такая грусть и тоска, что в пору удавиться, а жизнь собственная представляется невзрачной и тусклой, а сам ты — неухоженным и уродливо-грязным.

«Но кто-то же спит с нею, по ночам к стенке давит и лупит по субботам,— подумал с угрюмой завистью Степушка, стараясь скинуть наваждение и в упор приглядываясь к бабенке, чтобы отыскать в ней какой-нибудь тайный порок и этим уравняться.— Небось в баню по месяцу не ходит, воняет от нее»,— решил так и засмеялся нахально и вызывающе. Но тут старая цыганка подкатила неслышно, хрипло, по-мужски окликнула:

— Эй, милок, давай погадаю...

— Брось, брось... Сам копейки сшибаю,— пробовал отказаться Степушка, но голос его растерянно дрогнул, и ворожейка разом уловила эту слабину.

— Судьбу скажу, милок, все как есть и будет. Степан тебя по имени, а женат ты по первому месяцу... Правду сказала? Положи денежку на руку, все скажу. Да не бойся, не надо мне твоих грошей.

В прокуренном голосе ее, в крохотных антрацитовых глазках, погруженных на дно глубоких, свинцово-темных ямин, было столько власти, что парень невольно полез в карман, выгребая всю мелочь. «Рубля два будет, не меньше»,— решил он, высыпая серебро в готовно вскинутую старухину ладонь. Смутно стало Степушке и страшно вдруг, словно бы приблизился он к краю ущелья, взглянул в зыбкую темь, откуда склизким лягушьим холодом мазнуло по лицу, и отшатнулся, а в спину, однако, все подпихивает мягко и настойчиво невидная чужая рука, противиться которой нет ни сил, ни желанья. Слыхал он о цыганках-сербиянках, об их колдовской силе, но гадали ему впервые в жизни и сразу же с такой верной подробностью, что спину заморозило от разбуженного суеверья.

— Эй ты, старуха, ладонь-то не зажимай,— потянулся к цыганке Степушка, не забывая о деньгах.

— Фу какой... ай-яй. Не надо мне твоих грошей. Три дороги у тебя. По одной дороге с женой идти до камня синего каленого. Под тем камнем дьяволова сила, несчастье твое, бесплодье твое, сокрушенье твое, сам врагсатана там...

И вдруг старуха вскинулась руками, будто крыльями, вскричала нутряно и дико: «Прочь, прочь... изыди», и перед Степушкиным носом раскрыла грязный морщинистый кулак, в котором только что хранились монеты.

— Сатана взял... диаволовы деньги... тьфу-тьфу.

— Куда дела? А ну, отдай!

— Покрой бумажкой, молодой-уважливый,— не смутилась цыганка, лицо ее возбужденно побледнело и покрылось испариной. Она воровски осмотрелась и заторопилась.— Жить тебе долго, это я говорю, сербиянка. В семьдесят восемь лет второй раз женишься. Ты меня слушай, все слушай, только бумажку положи сюда.— Протянула ладонь, хищно искривленную и странно обглоданную изнутри до самых жил.— Покрой денежкой, про вторую дорогу скажу...

— Врешь все, врешь! — Словно бы хмелем окатило голову, так закружилось все перед глазами. Верить хо-

телось и страшился укрепиться в этой вере.— Врешь все, врешь! — лихорадочно повторял, вглядываясь в одрябшее плоское лицо, и вдруг цепко ухватил цыганку за плечо, за плюшевый скользкий жакет и потянул к себе. Видно, что-то бешеное плеснулось в крапчатых Степушкиных глазах, иль старуха не ожидала такого поворота, но только испуганно заоглядывалась она, отыскивая подмогу.— Скажи, как мать мою зовут, и всему поверю. Пять рублей даю... Ну, скажи!

Чего к старухе лезешь? Такой молодой, эй-эй...

— Десять рублей даю,— настаивал болезненно, а в голове толчется единственная неожиданная мысль, поразившая сейчас: неужели есть на свете люди, которые все угадывают? Если ответит — всему поверю.— Двадцать рублей даю. Вот они, вот,— торопливо полез в карман.

— Чего привязался... Эй, люди!..

А Степушку уже трясло, впервые такое невольное желание, похожее на наваждение, накатило на душу:

— Двадцать пять рублей даю. Скажи, как мать мою зовут!

— Помогите, убивают! — закричала старуха, упираясь рукою в грудь, но Степушкины пальцы мертво заледенели на ее плече. Парень понимал, что глупость творит, белены объелся, раз бабку старую треплет, но, однако, упорно вглядывался в опустевшие, размытые слезой чужие глаза, отыскивая в их глубине неведомую колдовскую силу. Но ничего не разглядел в белесой тающей мути, за дрожким бабьим испугом: ничего не было в них, пусто... За спиной скрипнул автобус, и, очнувшись, Степушка мгновенно пехнулся в дверь. Перед глазами сдвинулась улица, старуха неловко оправляла на груди плюшевый жакет, и лишь красавица цыганка все так же лениво плевала семечками, и грязная шелуха гусеницей повисла на клюквенно-ярких ее губах. Отчего-то подумалось: «Холодина такая, а она в кофте одной. И не мерзнет ведь». Спина взмокла под пиджаком, но пошевелиться, устойчивее примоститься было стыдно: чудилось, что все в автобусе оглядывают его небрежно и шушукаются. Украдкой глянул вниз, приоткрыл кулак: там, в потной глубине, похожая на мятый лоскут, слиплась четвертная, последняя в его городском житье, которую он так шально и глупо собирался только что спустить на ветер. Вздохнул с облегчением, грудь

расправил, меж ног сунул красный фибровый чемоданчик, вспомнил, что скоро с дружками опустошит бутылочку, разогреется винцом,— и окончательно скинул недавнее больное наваждение.

Но тут неожиданно из глубины автобуса позвали: «Сте-па-а». Вздрогнул, оглянулся торопливо, сразу не находя знакомого лица и оттого теряясь. А Милка, давняя любовь, сидела, оказывается, за его спиной, но поди признай ее в этом птичьем новомодном обличье. Прежние латунной рыжины волосы ныне словно бы осыпаны остывшим пеплом (покрас такой) и высоко начесаны над мелконьким лбом; обычно блестящие глаза вылиняли и, обведенные зеленой тушью, выглядывают зверовато и кажутся выгоревшими до пустоты; и только нос, остренький, припудренный, с круто вздернутыми черными ноздрями,— ранешний, Милкин, независимый. Внимательно просмотрел Степушка давнюю любовь и невольно решил: его жена намного красивей. Эта мстительная мысль успокоила его и возвысила в собственных глазах.

— Чего уставился, забыл?

— Ладно, чего там... Не думал вот так увидеть.

— Брат мой,— зачем-то соврала Милка прыщеватой соседке, затеивая странную игру, и открыто подмигнула Степушке.— Братишка двоюродный. Женился тайком и на свадьбу не позвал.

— Знаем таких братишек. До первого пузыря,— безразлично откликнулась девица и продолжила, видно давно затеянный, разговор:— Ты чего парня-то вчера избил? Ведь Нюрка сама позвала.

Их спутник, рослый малый с жидкой прямой волосней на плечах и квадратным подбородком, часто играл скулами, словно копил злобу, и отзывался нехотя, сквозь зубы:

— Я не бил, я робкий. Только раза и дал по пачке.

— Нарвешься когда-нибудь...

— Я-то? Не-е...— отвечал с ухмылкой, но густо опушенные глаза сквозь ресницы мерцали холодно, с затаенной угрозой.— Я примерный. Но Нюрке тоже надо бы свесить.

— Нюрка стоит. Из маленькой гниды большая вошь...

— Прибаутки знаете?

— А что... Она такая, по матери видно, что сволочь,—

кричала на весь автобус Милкина подруга.— Значит, порвал?

— А чего с ней... Она только целоваться умеет, а мне больше надо.

Разговор тянулся необязательный, но полный тайных многозначительных намеков: знать, та, прыщеватая высоколобая девица, имела на парня виды и привлекала к себе вниманье. Степушку она не замечала, проникала сквозь траурно обведенными глазами, да и Милка отчего-то сникла, словно бы вовсе забыла о встрече, а он не напоминал более о себе, чуть отодвинулся, сзади рассматривая пепельно-седую копну волос, похожую на хитрое птичье гнездо. Казалось возможным снять его без усилий, и тогда голова останется беззащитно голой и ушастой...

Наворочают же такое, подумал с усмешкой, заметив в волосах сенную паутину. Как и спит только, на полене, что ли?

Два старика качались позади, и видно, громкий разговор разбередил их. Один — белобровый, сухонький и прямой, как гвоздочек, все пытался сбоку заглянуть рослому парню в глаза, с усильем выворачивая шею, а другой — рыхлый, с багровым отечным лицом, сидел на дерматиновой подушке, отвалясь, и подначивал соседа:

— Как же, воспитай нынешних. Вон волчище какой. Сам кого хошь воспитает.

— Раньше-то мы сызмальства к труду приставали, а ныне долдоны-то как... Уж детей пора ковать, а они все за партой. Деревья в лесу разные, не то люди. А чего, спрашивается, в науку толкать, если бестолочь? Бандитов и ростим...

— Балуем мы их...

— Сами виноваты,— настаивал белобровый, накаляясь.

— А чего виноватиться? Вон какой охламон, с ним управься поди. Даст в рожу — и умоешься,— упирался рыхлый с постоянной безмятежной улыбкой на лице. Но тот, гвоздочек, вдруг вскипел, ворсистую шляпу сбил на затылок, обнажил на распаренном лбу тройную багровую морщину, разделенную наискось белым корешком шрама: «Не... я еще могу раза дать. И с копыток долой». И не попрощался, суетливо засовался меж Степушкой и тем рослым откормленным парнем, оказавшись где-то под мышкой, поочередно пронзив взглядом каждого. Не-

давние столь угрозливые слова его показались такой наивной детской похвальбой, что Степушка невольно улыбнулся, по-доброму оглядывая шустрого старика. «Отбойный папаша,— веселея, подумал он.— Значит, раза даст, и с копыл долой. Шустряк». И, сам не зная отчего, вдруг напружинился, прогнул спину, вовсе загородил и без того узкий проход.

— Ты, слизень,— больно толкаясь локтем, вскричал старик.

Все повернулись в их сторону, и Степушка смутился:

— Ну чего, чего вопишь... Я же ненарошно. Режут, да?

— Я бы показал тебе кузькину мать,— бормотал старик, пробираясь на выход.— Жаль, остановка.

Последние слова больно ущемили Степушку. «Тюрьма, что ли? И не шевельнись. Назло я, да?.. Лезут в душу, распроязви их в печенку»,— ворчал обиженно, с тоской проглядывая в окне серую городскую окраину, казарменный строй брусчатых домов, чахлое болотце позади, с редкой ревматически изогнутой сосной, по самую поясницу заваленной всяким житейским мусором. «Чего запехались, чего видят? Киснут посреди гнили»,— вдруг с неведомым ранее презрением подумал он о людях, покидающих автобус. Себя он уже выселил из этих мест, забыл, как сам провеял три года на болотистом речном берегу, подчинившись заводу, его мерному накатному гуду, казарменному запаху общих коридоров и уборных, густо засыпанных хлоркой, и вот этим улочкам, которые десятилетиями заваживались опилками и потому ватно проминались под ногой, скрывая под собой бездонную болотную хлябь. Степушка словно бы забыл, что и ему пора выходить, и тупо разглядывал жидкий ручеек людей, осторожно льющийся по замшелым мосткам в две доски, невольно высматривая знакомых. «Наверное, первая смена отбарабанила».

— Степа, проводи меня,— вдруг позвала Милка.

Степушка очнулся и только теперь заметил, что автобус пуст и спутники Милкины тоже куда-то девались. Зябко стало, машина жестяно громыхала и трясла, изматывая тело, из каждой щели тянуло холодом, и парень охотно, затискивая поглубже внезапную тоску, привалился к девичьему боку, дурашливо егозя и прихватывая Милку за плечо.

— Окольцован, значит? — Она деревянно замерла, не

отбояривалась, не сдвинула тугое бедро: легкий плащик сбился, и клетчатое платьишко задралось, и невольно открылся молочный поясок ноги над капроном. Девчонка спохватилась, ловко накинула полу плаща, но Степушка заметил, как полыхнула ее крутая туземная щека.— Окольцован, значит? А помнишь, как до меня сватался. Тетя Параня-то... Смех один. У вас есть дочь-королевишна, а у нас — царевич Степан. Это ты-то царевич? Дай гляну.— Она говорила грустно, голос бархатисто обволакивал и смущал Степушку.— Ведь любил меня? — Протянула и глянула прямо в крапчатые березового сияния глаза, приметила отвисший, слегка придавленный на конечушке нос и такие знакомые твердые крупные губы. И словно бы въявь ощутила их неподатливую упругость и шероховатость, больной прикус зубов и легкий запах табака.

— И чего Любка нашла в тебе?

— Сам удивляюсь... Страшнящий, худящий, глупящий. Ни кожи ни рожи. Со сна перепутала, что ли?

Милка вновь замкнулась, почужела и, пока переезжали через загустевшую, уже засалившуюся реку, молча стояла у борта, костяно похрустывала сцепленными пальцами. На берег выскочила первой, не оглянулась, шаги ее гулко отдавались на свайном причале, в бревенчатых его связях и лишайной, отсыревшей утробе и разом утонули на песчаном взгорке. Но Степушка не поспешил следом, он внезапно обиделся на Милку, бросившую его в одиночестве, и берег, плохо различаемый в темени, показался таким случайным и ненужным, что парень вдруг удивился странности здешнего своего присутствия. Какая же неволя пригнала его сюда, скажи на милость?.. О любви помыслилось на дармовщинку, что сама в руки лезет? А может, неожиданная городская воля завлекла, сладкий плод которой хотелось надкусить, испробовать, выпить его терпкую сердцевину? В общагу бы надо, подумал Степушка, а его какой-то леший занес в эту дыру, где ему явно ничего не отвалится, разве только рожу начистят удальцы, добрых гостинцев напехают в боки. Завтра в первую смену, и через час последняя посудина, на которой надо бы выбраться позарез, чтобы ночь не коротать на мозглом берегу... Пока колебался Степушка, пока совесть свою усыплял, теплоходик сиротски задавленно мыкнул горловым дискантом, и с грохотом уползли сходни. Еще не поздно было вскочить на борт, уже ко-

лыхнувшийся на волне... Чего ему, как дураку, торчать в потемни. Приволокла и бросила. Нашла тоже чучело гороховое, попался идиот, есть над кем нрав качать. Шелупонь рыжая, думает, все хаханьки да хиханьки. А он не двинет отсюда, сядет и дождется следующей шаланды... Домой надо, в Кучему скорей. Люба, наверное, уже спать легла, свернулась подковкой, сопит в коленки. Дуролом я, чертоломина. Не успел с глаз Любиных скрыться, а уж зажгло невтерпеж...

— Сте-па-а,— позвали с берега. «Знает, что жду, кобыла неезжена». Душа суеверно заболела, когда послушно, как слепой за поводырем, поднялся в гору меж штабелей ящиков и грудами арматурного железа. У причального склада под жестяной тарелкой качался крохотный пузырек, одетый в проволочную рубаху. В мутном пятне света оказалось людно, пьяно, дымно. Милка, завидев Степушку, капризно крикнула: «Заблудился, что ли?» — сразу покинула парней и, нарочито заигрывая, подхватила под локоть.

— Где такого выкопала?

— Почтой выписала. Что, завидки берут? — ответила с вызовом, дразняще качая бедрами.

— Ой, Милка, с огнем играешь. Сейчас побреем фраера и обратно вышлем.

Но девчонка лишь рассмеялась и увлекла Степушку в сумерки: «Чего застыл? Пошли...»

— Сделаем ему козью рожу,— послышалось сзади, парни зароились под столбом, видно, наскучило вот так просто точить лясы, а тут чужак заехал в их вотчину, и не просто заблудился, курва, но и на ходу подметки рвет, чужих подруг уводит.— Эй ты, фраер, а ну хромай отсюда.— Закричали угрозливо, но лениво, видно, не находился пока зачинщик. Степушка напрягся телом и поискал под ногами что-нибудь поувесистей.

— Шпана... Не обращай внимания,— нарочито громко ободрила Милка, однако в голосе ее не было должного презренья: она даже замедлила шаг и оглянулась, словно бы поощряя и поджидая погоню.

— Откуда взяла, что боюсь? — заглушая душевный вскрик, ровно откликнулся Степушка и привлек Милку к себе. И невольно огляделся, встревоженно примечая каждую пустяковину. Дорога к ночи подвялилась, ватно проминалась под ногой, белесо отсвечивали лужи, полные захолодевшей воды. С покатых сиротских полей тя-

нуло стужей, как из пустого погреба, мрак слоился, катился со взгорков волнами, уже пахнущий недалеким снегом. Тишь, безлюдье и ни просяного зернышка огня впереди, и от этой все поглотившей пустоты даже собственные хлюпающие шаги чудились неожиданно громкими, таящими угрозу.

— Куда ведешь-то? — небрежно спросил Степушка, стараясь отвлечься и не думать о тех, кто таился сзади и готовил засаду. За ним охотились, он это знал, и внешне вроде бы спокойный, заледеневший — в мыслях, однако, метался, выискивал охранительный путь.

— Да... подруга на Выселках.

— Не могла другого времени найти. На ночь глядя приспичило.

— Так получилось,— миролюбиво откликнулась Милка и неожиданно, по-кошачьи скользнула холодной твердой ладонью в его карман и робко тронула потную жилистую руку.

— Откуда они тебя знают, гопыши эти? — ревниво спросил Степушка. Милкина ладонь пугливо дернулась, но он властно придавил ее, спрятал в жаркой горсти.

— У меня же тетка здесь в Заостровье. Часто бываю, вот и вяжутся.

— Гуляешь с кем?

Ладонь ее закаменела, упруго дернулась и пропала из кармана.

— А тебе что с того? — глухо сказала в сторону.— Муж — допрашивать-то?

Уже молча, боясь прикоснуться друг к другу, дошли до холмушки, где под березами развалистыми копнами громоздились три избы. Вялая необкошенная трава, хваченная инеем, путала ноги. Глухо было, выморочно, кладбищенски скорбно: хоть бы кобель какой всполошился, облаял неистово. «На теплоход опоздали»,— вслух подумал Степушка и тут же насторожился, до светлых мушек вглядываясь в настороженную темь. С той стороны, откуда пришли они, высоко, суматошно плыли факелы: они брызгали смолой, и оранжевые слепни возносились в небо. По топоту ног, по хмельным оборванным вскрикам и беспричинному захлебистому смеху понял сразу: те парни не отступились, вошли в раж, нашли забаву — у них чешутся кулаки.

— Пошли... Ничего не сделают,— холодно сказала Милка. Неожиданно проклюнулась луна, пронзила мглу,

и в неживом свете угрюмо и мрачно увиделась и водянистая осотная пойма; и гривка клочковатой дернины слева, под самым луговым чернолесьем; и паутинка дороги вдоль берега, по которой мчались бронзовые блохи; и кроткое миганье дальних огоньков Заостровья, куда позарез сейчас надо бы угодить; и рваное, скомканное высоким ветром бучило неба, с мутной проплешинкой лунного света, посреди которой рыбьей серебристой чешуинкой всплыла луна. А справа, за распахнутой сонной рекой жил сам по себе город, недоступный отсюда и потому особенно праздничный и заманный, окутанный подвижным облаком рекламного зарева. Дальние огни отражались в чернильной воде, дробились, прогибались теченьем, и казались чудными розовыми рыбами. Багровый электрический пожар, и бусины цветных лампадок на телевышке, и веселая стая рыб, беспечно уносящихся к морю, виделись сейчас такими отстраненными и вызывали такую беззащитность, что на мгновение Степушке стало не по себе. А факелы качались уже рядом — грудной хрип слышался, словно качали мехи...

— Трусишь, что ли? — язвительно спросила Милка, отчужденно запахиваясь в плащик.

— Трушу... и что? Нашла дурака. Сунься поди... Дело знакомое. Так причешут — и на аптеку не заработать,— грубо отозвался Степушка, стараясь подавить неприязнь к Милке. Но странное дело: от искренних признательных слов нахлынуло вдруг успокоенье, и душа укрепилась. Он жестко прихватил Милку за запястье, точно наручники накинул, и кинулся с холмушки к лесу, к той, высмотренной заранее, крутой гривке.

— Оставь меня, ты что, сглупел,— капризно вырывалась из клещей Милка, осаживалась в коленках, волочилась по травяной ветоши, скользкой от инея.

— Дура, молчи! — встряхнул и поволок, иногда резко поддергивая, отчего девчонка лишь пристанывала, кусала губы и невольно ускоряла шаг.

— Не оладей накладут,— бормотал Степушка сквозь зубы.— Знаю я заречную шпану. Два раза не переспросят...

Уже намокли по колена, не раз проваливались в моховины и канавы, запинаясь о коренья, и торфяная жижа сально липла к рукам. Погоня распаленно гоготала, хмельно улюлюкала, словно бы травили зверя, а после заметалась вдруг, не зная, куда подевался непрошеный

гость: из темени виделось, как путались на той стороне осотной лайды смолевые огни и отсветы их копьями скрещивались посреди озерца. И тут, чего уж никак не ожидал Степушка, девчонка завсхлипывала, заплакала горестно:

— Сте-па-а, не бросай меня. Я боюсь...

Эта мольба, невольный вскрик ослабевшей, испуганной души и необъяснимая тоскливая одинокость вдруг пробудили в Степушке жалостную доброту и всколыхнули далеко схороненную любовь. Ощущение силы накатило, выпрямило сутулые плечи и длинную кадыкастую шею, и парень порывисто подхватил липкую Милкину ладонь, сунул к себе за пазуху, под гулко мятущееся сердце. И тут же засовестился, смущенно забормотал:

— Трусиха-то ты... Я никого,— передразнил,— я ничего... Бяка-бояка, вот.

Теткин дом стоял на окраине Заостровья. Пустынные окна отсвечивали бельмасто: наверное, спали все.

— Неудобно как-то,— шепнул Степушка, перехватил чемоданчик и только сейчас почувствовал, как затекла рука.

— Неудобно-то знаешь чего?..— нервно засмеялась Милка, над крыльцом нашарила ключ и распахнула дверь.— Тетка в городе, не раньше утра будет.

И невольно ревниво защемило внутри, и Степушка представил грешное. Он отчужденно замкнулся, скинул у порога заляпанные башмаки и, скрестив босые, гусиной красноты ноги, по-хозяйски уселся за столом. Изба была по-городскому обставлена и ничем не отличалась от виденных ранее, но парень любопытно огляделся, словно бы хотел подсмотреть приметы Милкиной греховной любви. Девчонка недолго пропадала в соседней комнате, появилась уже в полосатом теткином халате, волосы небрежно распущены, под глазами синие тени. Увидала на столе бутылку, ничего не спросила, ловко собрала ужин. И по привычным движеньям, по тому, как готовила закуски, не путаясь по шкафам, снова ревниво подумалось, что Милка здесь в частых бываньях.

— Смотри, пригодилось-то как,— сказал Степушка с намеком, оглаживая ладонью запотевшую бутылку, и, не глядя, торопливо наполнил посуду.— Мы не пьем, а только лечимся.— Нахально-пристально глянул девчонке в глаза, уже тайно представляя в подробностях, как останутся сейчас одни в этом огромном доме на долгую

ночь. «Не зря же сюда тянула... Все знала». Водка ледяным комом пробила горло, тяжело осела в желудке, но уже через мгновенье жар омыл тело, снимая недавнюю нервную тягость. Милка пила глотками, жеманясь, глядела поверх Степушки и казалась отстраненно-холодной. «Кочевряжится чего-то»,— вновь подумалось, и, чтобы Милка случайно не прочитала его мысли, спрятал глаза в столешню.

А она сказала вдруг раздраженно:

— Небось целку из себя строила?

— Ты чего... Ты брось это,— оборвал Степушка.— Ты до жены моей не касайся, слышь!

— И чего в ней нашел? Коза козой.— Тянула холодно, беспощадно, словно бы понарошке воздвигая стену неприязни, за которой будет хоть и одиноко, но безопасно.

Попробуй после таких слов подкати, подлезь с руками. Последней скотиной будешь, и что-то рухнет сразу. За такую пакость по щекам надо. Встать и нахлестать... Праведный человек в Степушкиной душе казнился мучительно, готов был руку отсечь на плахе, только бы не покуситься на чужое, не сорваться... Как тогда Любе в глаза гляну, как смогу коснуться ее? Ведь должен же грех каким-то образом передаться в ее любовь, и тогда она заболит сразу, скукожится, одрябнет. Нет, сволочь последняя буду, если позволю что. Сети вьет, зараза... Но ведь любил ее, курносую, любил же. Жизнь дешевле гроша ломаного была...

Это уже Степушкино желание нашептывало. То жаром вдруг охватит спину, то внезапно озябнет она, и по низу живота томленьем тянет. Ах ты боже... В раствор двери хорошо виделось, как Милка, прогибаясь в спине, растаскивает постели, разбивает перину на полу, сдвинув к окну кургузый круглый стол. Халатик задирался, обнажались литые икры ног, перехваченные морщинками. Потом погас свет, и через минуту Милка позвала спать.

— На кухне пускай горит,— крикнула,— я боюсь...

Она лежала на спине, закинув полные руки за голову, и напряженно смотрела на Степушку. Застлано было на диване, и, хмыкая, чувствуя на себе чужой пристальный взгляд, он торопливо разделся, нырнул в необжитые простыни, отвернулся к стене и деланно, по-старушьи зевнул:

— Ох-хо-хонюшки. Что-то на новом месте приснится...

Но какой тут сон, пойми и прости, когда на сумеречной стене колышет призрачная холодная голубизна, и если вглядеться в нее, то различишь всякую греховную чепуховину, от которой душу сводит; когда мерещатся такие знакомые руки, закинутые за голову; когда постороннее дыхание — притворно ровное и бесплотное, и значит, на полу тоже не спят и чего-то ждут.

— Степа, это правда, что ты из-за меня повеситься хотел?

— Молчи, я сплю,— поколебавшись, глухо откликнулся парень. Он почти ненавидел ее сейчас, притворщицу и куклу. За что мучает, за какой проступок с живого сдирает кожу? Хотел повеситься, ну и что, ее-то какое собачье дело... Веревку искал, слезами умылся, нынче стыдно вспомнить. Мать вожжи кинула: «На, вешайся из-за рыжей кобылы, если ума нет. Она трясоголовая и мати у нее эка же, с моим братом на угоре за церковью лежала. Стыда нет, дак...»

— Может, она мое счастье украла, а? — словно бы с собой разговаривала Милка.— Ой, что-то замерзла... трясет всю. Слышь, Степка, принеси для сугреву. Трахнем, а то кровь свернулась.

Выпили, похрустели огурцом. Сквозь граненое стеклышко двери сочилась жиденькая водица. С нарочитым вниманьем разглядывал голубенькую дверь, косо сбитые филенки с сердечком, выпиленным посередке. Зачем, кому понадобился этот зрачок в метре над полом, чья причуда ума? Милкина рука неожиданно скользнула по угловатому плечу в ложбину напрягшейся шеи и замерла в волнистом льняном волосе.

— Только не ври, слышь?.. Зачем ты отказала тогда? — вдруг сорвалось с языка: видно, не зажила та давняя ранка, сочилась ядовитой горечью и обидой.— Одна родова с маткой, у-у...

— Молчи, молчи,— торопливо перебила, навалилась грудью к его спине.— Не от тебя уехала, дурачок, от себя. Думала — и неуж все? Нарожаю детей, хомут надену — и тяни кобыла. Казалось, живут же где-то люди, красиво живут. Ты молчи, молчи.— Потянула к себе, больно обвила шею, впилась губами в плечо, и Степушка завалился на спину, ослабевая весь. И тут такая жаркая бездна открылась, куда окунаешься и летишь бесконечно, безумствуя и с великим счастьем.

А после лишь горечь в горле и пустота внутри: выпили, выжали человека, и осталось в душе одно только отвращенье. Нахохлился парень, сидит в Милкиных ногах бессонной сутулой птицей и тупо всматривается в желтое сердечко посреди двери. Закоим выскребли его, чему напоминанье?

— Ой, жить хочу,— снова сказала Милка, и голос ее показался старчески хриплым.

— Живешь ведь,— грубо оборвал Степушка и мельком глянул в припухшее запрокинутое лицо.

— Хорошо хочу, красиво. А тут принудиловка. Потаскай каждый день раствор да кубы кирпича. Да если мороз, ветер и на высоте. Копыта откинешь. Кишки сохнут, не раз маму родную вспомянешь. Ведь двадцать два мне, Степ-ка-а. Уже старуха я. А все в общаге, жди, когда подберут, а каждый на дармовщинку норовит. Я жить хочу, жи-ить, муж чтоб был... любимый.

— Езжай домой, найдешь.

— Ха, нашел дуру.

Степушка равнодушно оглянулся, собрался что-то обидное сказать — и смолчал: Милка лежала бесстыдно распахнутая в лунном свете, облившем комнату, и казалась вытесанной из свежей осиновой плахи. Черный ручеек струился от лона по впалому животу, слегка оплывшему, с хорошо завязанным пупком в синеватой продавлинке, а груди великоватые, ждущие молока и ласки, утомленно раскинутые, словно недопеченные хлебные каравашки с косо посаженными изюминами. И вся-то Милка распласталась на скомканных простынях большая, хлебная, и дух-то от нее шел сытый, терпкий, щекочущий ноздри потом, только что растраченным жаром и еще чем-то неуловимым, вызывающим желанье. Рожать бы девке дюжину ухарей, осадистых боровиков, а она вот тут маялась, жалилась, как исповедуются лишь чужим, мимолетно знакомым, или очень родным людям, и отдавалась на посмотрение, будто много и давно любившая баба.

— Чего разложилась. Прикрой наготу-то,— снова раздражаясь, сказал Степушка. Похабное лезло в голову: «Моя милка, как кобылка...» Он словно бы не давал себе разжалобиться, обмякнуть наново, не впускал Милку в душу свою, откуда так неистово изгонял последний год. И потому суровил себя, строполил, часто и нервно водил глазами по мягко затененной комнате: два света — лун-

ный, холодный, и желтый, живой, из кухни — смешались, и чудилось, что вся горенка залита легким колышущим туманом, в котором все виделось призрачно и подвижно.

— А ты не смотри...

Но как тут не смотреть на это богатство? Самый бесчувственный, заледеневший человек оттает вдруг и воспламенится. И словно бы балуясь и невольно наслаждаясь игрой, Степушка скользнул пальцем по темной курчавинке к окружью живота, к холмушкам грудей, слегка ослабших от тяжести, и извилиной шеи, затененной сумерками, прокрался за ухо и щекотнул там. Но Милка не отозвалась на игру, что-то потухло внезапно в ней, надломилось от его последних слов, и лишь живая кожа вздрагивала под пальцем и покрывалась испаринкой.

— Ну чего ты? — по-детски заныл Степушка, дурашливо припадая к Милке.

— Отстань... не приставай.

И тут в уличную дверь наотмашь запинали, под самыми подоконьями кто-то сладостно и истерично вскричал, не тая в голосе жесткости и угрозы. Знать, так звериио и вольно чувствовалось тому человеку под покровом ночи.

— Милка, стерва, открой.

Степушка от неожиданности вздрогнул, покрылся рыбьей кожей и нырнул в одеяло: почудилось вдруг, что в желтенькое сердечко, вырезанное посреди двери, подглядели их любовную игру. И пока соображал, как поступить, Милка торопливо накинула рубашку и, не колеблясь, вышла в сени. Оттуда донесся ее холодный настороженный голос:

— И не стыдно вам?

— Милка, стерва, подай фраера.

— На-ко, выкуси. Что, завидки берут? Пьяные хари, сопли на губах подберите. Еще рожей не вышли, чтобы указывать.

Так недолго и лениво перебранивались они, и видно, что-то в Милкином голосе (наверное, та снисходительная, полупрезрительная сила, свойственная людям открытым и шальным) заставило их отступить от порога. По круто замешанной грязи зачавкали нетвердые шаги, мерзлая трава под окнами снежно скрипела, кто-то цапался в обшивку стены, силясь заглянуть в окно, но сорвался и матюкнулся сонно, и уже издалека, как бы с того света, донесся разбойный высвист и тут же подчи-

нился вязкой тишине. И только гулко пурхалось в грудных крепях всполошенное Степушкино сердце.

Милка вернулась из сеней слепая, захолодевшая, посторонняя, молча легла на диван и по самую шею наглухо задернулась одеялом. А Степушке вдруг так неприкаянно стало, так совестно, что в пору бы деваться куда из горенки, да только куда двинешь на ночь глядя... А надо было на нож кинуться, надо бы. Вдруг вывезла бы судьба? Как сурок, зарылся в перины, за бабой затулье нашел... Ну и что, их эвон... Их дюжина, поди. Нанизают в потемни, устроят шашлык. Один на один бы, по-честному. Тут я не поддамся, не-е, тут я любому. На нож-то ползти кому охота. Не-е... Живо ошкерают. За товар бы какой страдать, стоящий товар, тогда путем, тогда за дело. Сама тянула, в гости не навязывался. Стерва, поди, каждый вечер водит... А я не боюсь, не-е. Я и не таких шакалов видывал.

Но отчего-то все опало внутри, закаменело, и только мысли шально путались, и Степушка в воображении уже спешил вдогон и с остервенением, до зубовного скрипа вминался кулаком в чужое глиняное лицо. Свет лунный затих, мутно сочился в простенки, но зато электрический, из кухни, загустел, четко располовинил комнату.

Милка недвижно покоилась на диване, лицо ее мертвенно заострилось. Хоть бы вздохнула иль сказала что. Встал на колени подле дивана, легко коснулся волос, пугливо пробежался ладонью, и такая тоска затяжная взяла, так пожалел себя, что в пору бы зареветь. Бормотал:

— Презираешь, да? Думаешь, негодяй? Нет-нет... Ну и черт, ну и черт с тобой. Твое дело.

Веки затерялись в синих провалах, и странно побелевшие, словно бы вымороженные глаза казались фарфоровыми, нагими, и вдруг замутились они, желтая искра полыхнула и выкатилась на переносье. Милка плакала беззвучно, с той горестной, полной отрешенностью, на какую способны лишь женщины, глубоко обиженные любимым. Степушка беспомощно толокся возле, что-то выспрашивал растерянно, а Милка молчала и плакала.

— Ну почему, почему дико так? Я ведь любил тебя, сватался, а ты обсмеяла. А сейчас вот как. Но я не свободный ныне, я занятой, пойми.— Парень пытался проникнуть под одеяло к давно ли доступному телу, шершавыми губами тыкался в заголенное прохладное пле-

чо.— Сама... чего кобениться. Хотел, как хорошо, слышь?

— Отстань,— равнодушно откликнулась Милка, повернулась опухшим тусклым лицом.— Ко-бе-лина... Давно ли свадьбу играл, а уж по чужим постелям шастаешь. Не трогай меня.

14

С того несчастного свадебного дня, когда укорила свекровь невестку, она словно бы опутала Любу назойливым изучающим взглядом. Усядется Параскева Осиповна по обычаю своему у бокового оконца, широко расставив оплывшие ноги, вроде бы за улицей наблюдает, а сама, однако, укорливо косит ореховым глазом (признак крайнего ее неудовольствия) и будто самой себе ворчит: «Нашему бы сватушке да три чирья в голову. Знамо бы, дак э-э... По-ранешнему-то как: час плакать да век радоваться, до самой смерти, покуда помрем. А нынче, трясоголовые, смеются, пока замуж пехаются, а потом век плачут...» Люба старается смолчать, быстренько размотает бигуди, накрутит влажными пальцами смолевые прядки на висках, тетради в портфель — и уноси бог ноги. Из школы вернется, жилка на переносье потукивает, готовая взорваться, голова ватная, пустая, под глазами сине от усталости: ей бы в самую пору отдохнуть, распластаться в кровати, хоть бы на часок забыться, да где там — совестно. А на обед снова щука, еще вчерашняя, подсохшая на ребрине, порыжевшая, и тяжелый кусок не лезет в горло. Горяченького бы чего самой сварить, ублажить душу, но боязно свекровь обидеть. А Параскеве что: в ладку со щукой кипятку из самовара брызнет, отпарит чуть, развозит по дну короткими тупыми пальцами и щепотью вкусно вымачет застарелую рыбку, каждую косточку и вялую хребтину обсосет. «Чего не ешь, замрешь ведь,— вроде бы сердобольно спросит, а в тяжелом изучающем взгляде насмешка. Куда подевалось прежнее участье, в какой кованый сундук закрылась Паранина душа? — Ой, не ествяная ты девка. На такой работе долго не потянешь».

И снова смолчит Люба, чаю стакан с натугой примет и с неожиданной досадой, не знаемой ранее, вдруг приметит то, что ранее проходило мимо ее взгляда: и неприятно остаревшую, огрузнувшую свекровь, и тупые короткие пальцы, которыми она лишь для видимости тычется

в стакан, стараясь ополоснуть его, и тазик для мытья, проржавевший по кромке и постоянно засаленный, с черными потеками сажи, и Параскевину привычку постоянно подбирать в посудине оставшуюся еду всеми пальцами, а после прятать ее в запечье и к ужину снова приносить на стол. Порой подкатывала внезапная тошнотная брезгливость, но Люба терпела, ковала душу, тешилась лишь одной мыслью, что вот неделя минет, и Степа явится на пороге, нескладный, худой, но так надежно и тепло станет за его спиной. Но мужа все не было из города, и досада тайно копилась, сокрушала Любу. А может, кто знает, не могла она простить свекрови нехороших свадебных слов?

А нынче и вовсе все нарушилось, и грозовое облако, темно набухавшее над Параскевиной избой, опросталось. Задумалось Любе в своей горенке навести житейскую простоту, так близкую ее сердцу, и решила она лишнюю заваль, накопленную годами, вынести вон. Дюжину алебастровых слоников смела в сундук старинной работы, окованный тяжелой железной сеткой, и лаковые открытки с голубками сняла со стены, безносого глиняного кота сунула под пружинную крышку, и видно, захлопнула неловко, и пестрый безносый идол рассыпался по темно-зеленому плату, покрывавшему старые, давно неносимые вещи. Отволокла Люба сундук на поветь и уже пол домывала, когда вдруг явилась свекровь и на кровать кинула полушубочек атласный с кружевной отделкой, и просторную юбку сиреневого шелку на двенадцать полос с веревочным гасником, и рубаху с бордовыми намышниками.

Любе-то смирись, не подай виду, а она фыркни тут, подбоченься с вызовом.

— Стучаться надо, когда входите,— холодно сказала свекрови и бросила вехоть ей в ноги. Параскеве Осиповне словно бы кто под самую ложечку больно ткнул, так сомлела она, оплыла вся, и, обычно напористая, языкастая, тут долго и удушенно мыкала, багровея лицом.

— Ты, потаскушка... Она мне указывать? — вырвалось невольно и больно. И споткнулась, потерявшись на миг. Ей бы на попятную, ведь нутром-то понимала, какую ранку царапнула девоньке, но уже понесло старую, покатило, и сквозь гневом сдавленное горло слова едва протискивались.— Я м... не собирала куски, юбками не трясла. Слышь, невестушка? Вся жизнь на хлебном паре:

шестьдесят верст по реке, да на шестах попехайся. Вот те и щука нескусна. Во как заробливалось. Все здоровье на воде оставлено.

— Мама, а меня-то за что? Моя-то вина где?

— А знатье бы...

— Степу дождусь, и ноги моей здесь не будет.

— А хоть нынче уваливай. Нашлась королева. А я-то, о-о-о... Нашему бы сватушке да три чирья в голову. Банным листом не прикроешься, не-е. Кто загнется да сорвется — не переменится.— Но притихла, осеклась, голосом пошла на попятную, поняла, что невестка угрозу исполнит и сына с собою уведет. Юбку сиреневого шелку шириною в двенадцать полос вскинула, заслонилась от Любы, договорила сквозь слезу.— Ты вот на помойку... Заваль для тебя. А не подумала, как наживалось? Я-то в школу пошла: на одной ноге опорок соседский, а на другой башмак. До апреля проходила и больше в школе не бывала. Мамушки моей юбка-то, в пятнадцать лет она справила, в девяносто четыре померла. Юбку-то я как берегу. Гляну на нее, так будто на мать свою погляжу. И дочь Палька говорит мне: ты, мама, помрешь, так я на юбку, будто на бабушку и на тебя, гляну. Э-э.

— Сразу бы так и сказали...

— А самой не дотумкать? Вот и объясни вам. Вы нас-то как: вот, мол, глупы сыроеги.— На невестку более не взглянула, сдернула с кровати завещанный материн наряд, с грустной любовью хранимый в жилье сундука, и наотмашь хлопнула дверью. Но сквозь дощатую загородку ясно проникала Параскевина брань.— Угорела барыня в нетопленной горнице. Она еще и ширится. Тесно ей, гли-ко. Им, мокрохвосткам, ныне што: ни зазору, ни совести. Встали, отряхнулись и пошли. Как с гуся вода.

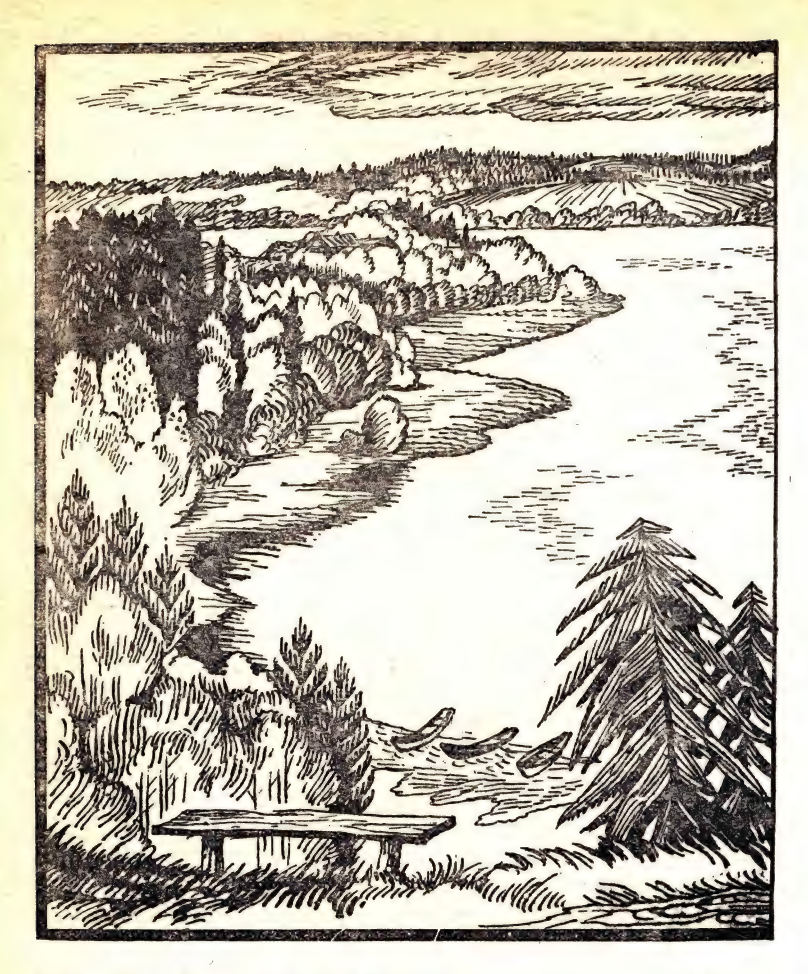
Кой-как домыла Люба пол, стараясь не слышать ехидное брюзжанье — и прочь из избы. Ей бы, глупенькой, давно объясниться со свекровью, открыться про страхи свои девичьи, и все так ладно бы стало и просто, но куда там, точит больную ранку растревоженная гордыня. И вновь смутно пожалелось, что так скоро и шально накатила свадьба. «Ныне-то как: пока выходят замуж — хохочут, да регочут, а после век ревут». Паранины слова. И неуж для нее приговор, в ее сторону убойный камень? Поделиться бы с кем своим смятением, выговориться, выплакаться на родной груди до облегчающей слезы.

В таком горестном опустошении, не видя людей,

Люба пересекла деревню, и об изгородь с широкими одностворчатыми воротами посередке словно бы споткнулась, непонимающе оглядела скользкий от дождей перелаз в две доски, за которым из слякотной хмари едва проступали тяжелые осенние пашни, и уже медленно, словно бы просыпаясь, потянулась обратно, часто подкатываясь на заплесневевших мостках и оттого вздрагивая.

Велика ли Кучема, велика ли, да можно шапкой ее прокинуть умельцу. Два порядка развалистых изб, словно бы навечно заговоренных от пожаров, встали тесно — бабам браниться и плакаться ловко, не сходя с крыльца, и новостью можно обменяться без натуги, еще свежей, не остывшей и не прокисшей; и главная улица тоже особая, меж огородов петляет кишкой — две телеги едва разминутся, цепляясь ступицами, и мужику тогда грозным матюком покрыть друг друга как перепоясаться. Часто и шум наведут, словно миру конец, проклятий насыплют ворох, вспомнив до десятого колена весь род,— есть умельцы на Руси, есть,— а другим же вечером, будто случайно, и помирятся на том же месте хмельным поцелуем, ибо не разойтись, не разъехаться здесь. Да и вся-то Кучема перепоясана натуго гасником из жердья, будто сторожевая крепость, и в эту запутанную улицу стороннему человеку попасть, что ниткой в ушко: везде лазы, перелазы, калитки с хитрым двойным запором, узкие проходы меж загородей, в котором изредка мелькнет чья-то торопливая голова. Пробовал председатель Радюшин воевать с деревней, вышатывал колья и сбрасывал под угор, чтобы придать проезжей улице достойный вид, но только что проку: наутро и вовсе проходу нет, и, притулясь к своей калитке, стережет угрюмый человек со шкворнем в руке. Было и такое, было... «Ты у нас спокой не отымай,— скажет.— Не ты первый, не ты последний. Не тобой заведено, не тебе и ломать. Разруха». Отцово прозвище не забудет напомнить. И отступил Радюшин, дорогу машинам пробил околицей, под сосновым борком, в стороне от кладбища, и усадьбу колхозную поставил там.

И только к правленью, что на лысом взгорке посреди Кучемы, и каменной колоколенке, внизу подбитой ржавью и копотью давнего пожара, изредка предзимним вечером выскочит его легковушка, осветит все селенье и как бы с придиркой, недоверчиво оглядит его, нет ли где измены иль порока какого; и долго, напористо секут за-



густевшую потемень два пронзительно оранжевых глаза, и если стороной прокрасться к машине, то можно найти в ней словно бы уснувшего председателя, бессильно огрузнувшего, приникшего наморщенным лбом к желтой льдинке стекла.

Так как же проникнуть в скрытую кучемскую душу, словно бы двойной огородой обвитую? Тут и хвалятся-то своей натурой с тайным путаным смыслом: дескать, мы не ткем, не прядем, а ходим в ситцевых рубахах и широких польских рукавах. Казалось бы, и скота домашнего ныне — две коровенки на деревню да десятка три



овчишек, от которых особо хорониться не надо; и огороды запустошились, осиротились, ведь нынче жита не сеют, разве картошек сколько-то бросят в землю, оттого и усадьбы белы от дикого цветущего морковника, будто молоком облиты,— а его ли уж прижаливать? — но, однако, городьбу плетут с особой постоянной охотой, точно выдерживают старинную осаду, с которой свыклись, притерпелись и считают вроде бы необходимой. Но какая осада? Кого неволят и в чем? — а бог его ведает.

И лишь на приречный кучемский угор, зоревый на скате от камня-арешника, на эту всеобщую волю, пока ни-

кто не покусился, не наложил лапу, и ничья, даже самая омертвелая душа не решилась выжать из деревенской закрайки какой-либо выгоды. Здесь извечно собиралась Кучема на толковище и на мирской суд, и на всеобщую хмельную сплетню, и на праздничное игрище, и чтобы потосковать наодинку, глядя на родную, опушенную лесами землю, и побахвалиться нежданным счастьем. Здесь каждый кучемец сделал первый свой шаг, сюда и прощаться приходили в последний свой миг, прежде чем лечь в домовище; тут и дирывались порой, стенка на стенку ходили, не тая злобы, удало хлестались наотмашку, пока ноги держат, но лежачего щадили, ведь павший, что и болезный, требует к себе особой милости и участья. Здесь, на кучемском угоре, правили иные законы, непостижимые и неподвластные какой-то одной человечьей воле, словно бы с этого крутого прибегища открывался тот желанный путь в мир иной, светлый и чистый, в изначалии которого грешить было стыдно и жутко. Извечно велось так, и лишь в последние годы не толпится народ: два, редко три человека сойдутся порой, словно бы невзначай, у высокого крыльца винной лавки, перекинутся торопливым полусловом, выкурят сигаретку, ощущая грудью желанную тяжесть бутылки за пазухой, на небо глянут с тайным умыслом (не падет ли дождь с ветром, нельзя ли кинуться в ночь на запретные ловы) — и вновь по избам. Потому и скамья на угоре, куда прежде и не приткнуться, залишаела, покосилась на одрябших стояках, едва живая без доброго взгляда. Камень осыпался в подножье, ветра и дожди проточили и смыли в подугорье тощую землицу, и скамья как бы сиротски вытянулась и вознеслась над рекою: и когда кургузая Параскева Осиповна примостится порою, точно на птичий нашест, не доставая вытертыми галошами витой топтун-травы, то и сама она похожа в это мгновенье на зоркую, над всеми воспарившую птицу. И только слепому Феофану Солнцеву здесь рассиживать любилось — не надо умащивать длинные нескладные ноги, искать для них удобного состоянья. Но, правда, бабы, завидев его на угоре, выпроваживали подалее от греха, дескать, поди отсель прочь, вот вскружит ненароком голову, обнесет тебя в подугорье, а после и костей не собрать...

И когда Люба, путаясь меж изгородей, по проулку выскочила к реке, она нашла там слепого Феофана, бережно запеленутого в длинное драповое пальто: он по-

сошком елозил около безразмерных фетровых бот с откидными жестяными пряжками, и странно высилась над светлой бахромкой волос полосатая вязаная шапка с длинной бордовой кистью. Люба, занятая собою, казалось, подошла неслышно и покинуто притулилась на дальнем краешке скамьи, не замечая, как настороженно и любопытно воспрянуло створчатое ухо Феофана.

— Подайте христа ради хоть копеечку на пропитанье,— притворно прогнусавил он и зашарил ладонью по скамье. Нет бы сразу спросить, дескать, кто пришел, кого судьба привела в собеседники, а ему совестно, он неловкие сети раскинул, на хитрость пошел, чтобы расслышать чужой голос и определиться; да и что может придумать слепой человек, в одиночестве бредущий в бесконечных потемках, кроме такой вот бесхитростной уловки. А много ли человеку надо, чтобы скудное пламя души его не колыхнулось от сквозняка: скажи доброе слово, не поскупись, поддайся, прими игру — и обоим станет светло от участья. Знала Люба об этой привычке Феофана и, запахиваясь в клетчатое пальтецо, дурашливо прохрипела:

— Нищих нету, бог подаст...

И узнал ведь, с полслова поймал знакомый голос.

— А на тебя уж тут свекровь жаловалась. Только что со мной сидела.— Пошарил ладонью по скамье, словно бы нащупывал еще теплый насиженный след на морщинистой плахе.— Разорила, говорит, невестка.

Слепой Феофан Солнцев, но все ему ведомо, он словно судья мирской.

Путаная меж изгородей улица, а уж донеслось: знать, у темной вести длинные ноги. Да и что можно в деревне утаить, кто подскажет? Горе — почуют; радость — сам вынесешь на люди; прибыток какой нечаянный — соседи любопытно выглядят; любовь — глаза расплещут; презренье — свой язык выдаст; измену — собаки на хвосте разнесут. И только одиночество сохранимо в потайке души, ибо оно неделимо, непонятно и необъяснимо.

— Уж разнесла, значит... Ей что, радость от того выходит, Феофан Прокопьич? Я от нафталина задохнусь скоро,— сказала Люба с нескрываемой горечью и каменно напряглась, и заплакать, безутешно выреветься захотелось ей.

— Что я тебе скажу... Чужого судить — не топором чурку сечь. С плеча — и готово. А вот смех-то: доча моя

было внуку привезла029гоститься, Ольгу Михайловну. Беда разговористая девчонка растет: пять лет ей, а уж к любому слову дурное приложенье, по-простому — матюк. Веришь — нет? На отца-то: «Мишка-медведь, ты чего долго спишь? Ольга Михайловна проснулась, писать хочет». Это себя так величает, прости господи, а ведь сопллюха совсем... Так вот: на кровати любила играться. Я ей однажды говорю: не прыгай, а то коленки вередишь, больно будет, хромоножкой станешь. Надоело слышать мне, все хр-хр, уж больно шумна. Ну, раза три повторил, чтобы остановить. А она мне вдруг: «Дедо, это как будет, по-немецки, да? Что такое вередишь».— «Не-е, — говорю,— не по-немецки, а истинно по-русски. Вереда — это болячка, ушиб, вред, вред». Объясняю, значит, как могу. А она свое: «Не-е, это по-немецки». И отец, зять-то мой, хохочет: «Что, съел, Феофан Прокопьич? Хоть и учитель бывший, а, однако, уели старого. В общем-то один — ноль в пользу внучки». По-футбольному, значит, объяснил. Ты поняла меня, Любушка?.. Ты Степу дождись, сгоряча без него не решай, слышь?

3. ОТКРОВЕНИЯ ФЕОФАНА

...Вередишь — по-немецки. Ах ты... Мать-то ее, дочь моя, корнями отсюда: лет десять не пожила, и уж через каждое слово меня обрывает: ты, отец, не по-русски говоришь. А-а? Каково. Друг друга понимать плохо стали. А ты, Люба, ты-то хоть чему народ учишь? Ты душою хорошо восприняла, на какое тяжелое дело пошла? Это же не трали-вали, не насосом воду перекачивать из одного озера в другое. Раньше учителка на деревне, как Жанна д'Арк, на белом коне и со светлой улыбкой на лице. Все превозмочь надо было... Помню, в двадцатых годах хлеб для себя учителя сами собирали. Зимой в конце месяца ходили с санками по деревне. В один дом зашли, жил там Алексей Иваныч, по прозвищу Керенский, большой любитель поговорить. И этот мужик достал каравай хлеба, отрезал ломоть и подал учителке Марье Алексеевне. Уж нет ныне в живых, а до самой смерти вспоминала, как ей куски подавали, будто нищенке...

Может, отказаться тебе от школы? Лучше честно, слышь, тут стыда нет. Это благородно отказаться, если ошибку почуяла. Нынче почему-то за позор принимают, а это благородно — признаться в слабости. Ну да бог с

тобой. Я, слепой старый человек, тебе не указчик. Я вот проповеди нынче привык читать, я ныне в Кучеме за попа, ко всем в душу лезу, так это плохо. Я чую, что плохо, и отказаться не могу, такое во мне рвенье. Мы любим в чужую душу торчком влезть и еще ращепериться там, во, мол, какой я храбрый и ловкий. Это мы любим, подкузьмить да высмеять. Я на председателя частушку-то пропел в клубе, и он уж год со мной не знается...

Мне отец рассказывал, с ним было. Поп едет на судне, в рубке стоит и штурвальному, отцу-то моему, значит, и говорит с ехидцей: не так, дескать, правишь. Скажи по картушке стороны света, как отче наш. Ну, отец и отбарабанил. А теперь, дескать, в обратную сторону повтори, тогда поверю, поп-то пристает: скажи наоборот, иначе ехать с тобой боюсь, утопишь в море. Отец и в обратную сторону отчеканил, а после не будь глуп, да и попроси батюшку: «Батюшка, а скажи-ка «Отче наш». Тот прочитал. «А теперь сзаду наперед». Поп тык-мык и глазами захлопал... Вот часто и мы на положении того батюшки: нравоученье читаешь, дескать, так не поступай, да этак, а тебя и подкузьмят, да так ловко, что невольно запоешь: «Как растет лесок суковатый, как живет там народ зубоватый». Правильно говорю?

Я, Любовь Владимировна, если по совести, дурачливый был, ирония меня навещала иной раз, и нездорового свойства. И горел из-за нее синим пламенем.

Помню... Экзамены принимал и нарисовал дружеский шарж на директора. Ребята его ослом звали. Ну и подпись вроде того сочинил, мол, осел, козел и косолапый мишка задумали сыграть в футбол. А после забылся и сунул ту бумагу в школьный журнал. Ну, шарж и попал к директору, шумиха тут поднялась по причине моей иронии. Приказ после пришел: завуча, то есть меня, с работы снять, как не имеющего высшего образования, и переставить в рядовые учителя.

У меня, видно, особое направленье ума было.

Про Степушку я тебе не рассказывал? Он ведь малой-то любил под столом сидеть. Приду на урок, а он под партой сопит. Он какой-то особый, мне думается, был. Все ожидал я, что вдруг проснется, и такая личность из него воспрянет. А он на учебу вовсе охладел, обленился, вроде что-то застыло в нем от раннего заморозка. Сам-то, говорят, с колокольню Ивана Великого вымахал, а по разговору евонному все чудится, будто из-под парты так

и не вылез, скукожился и кряхтит там. Удивленный он, если выразиться точнее. А ведь ты любишь Степку-то, по голосу чую, что любишь. Бархатный голосишко-то стал, без скрипа. Ах ты, прости. Значит, разглядела в нем уголек: светит, зовет, а? И дуй пуще, не дай замохнатеть. Правильно говорю?.. Нынче вот по радио слышал сочинение и на лету схватил. Так всего и встряхнуло, словно в себе себя разглядел... «Что это — счастье или горе-то — раздвоение любви? Ведь на земле так тянет в море, а в море страстно ждешь земли. И потому дома поморов напоминают корабли». Услыхал — и запало. Вот оно, слово-то: его как скажешь, оно так и существует. Я, девонька моя, значенье жизни и понял, лишь когда ослеп. Как бы встарь сказали: посох не в руках моих, посох во мне... Думаешь, небось намолол слепой Феофан? С языка дани не берут, вот и чешет о зубы. Так ведь думаешь. Не так? И то хлеб. А ты, девонька моя, чую, из вередливых. Вот те и погорельская тихоня. Да ты, никак, плачешь?..

Травяная ветошь и замыленная дождями земля скрали шаги. «Располовинен человек, раздвоен. Но что-то же крепит его,— досказал уже самому себе, кожей лица почуяв опустевшую скамейку.— Вроде бы не обидел,— подумал еще, запоздало припоминая разговор,— а вот ушла, и ни здравствуй, ни прощай». И Феофан, распрямленный было и распаленный словом, внезапно потух: одуванчиковая борода, обычно распушенная сквозняками, отсырела вдруг, съежилась, и оспа синь-пороха под желтыми натеками глаз загустела, и веселая кисть на шерстяном колпаке поникла. Брошенный, одинокий человек остался на лавке; его бы кто укрепил сейчас, ведь он расплескался щедро, обнажился и опустошился так, что каждое бы доброе слово, даже кинутое второпях, облегчило бы его состояние. Но никто не звал Феофана, и он сам слепо потянулся туда, где ему чудился праздный, охочий до разговоров народ. И посох привел его.

Пока продавщица товар принимала, к высокому крыльцу магазина неприметно стеклась очередь, в основном старушонки, пенсионное племя, которому, казалось бы, самое время калить бока на печи, но куда там, много не вылежишь, еще весь дом на загорбке: тянись, баба, пока кости несут, пока в задеревеневшей горсти хоть что-то удержишь,— твоя доля не только посеять росток, но и поднять его до спелого колоса, и той, чужой, пашне еще пособить. С последним вздохом и душа вроде бы отлетит,

а пальцы, однако, суетятся на одеяле, ищут не потерянное, сбирают не осыпавшееся.

Бренчат бабы бидончиками, тянут словесную канитель, ждут молока. Одеты по своей деревенской старущей моде, которой, кажется, и перемены не будет на Руси: серый полушалок, плюшевая жакетка, пахнущая нафталином и затхлостью,— специально для магазина бережется, чтобы покрасоваться, похвалиться собою, а на покривленных ногах шерстяные носки своей вязки и калоши блескучие, выходные. И Прасковья Осиповна, конечно, здесь: обряжалась — и забылась, из плюшевой жакетки выбился цветастый передник. Видела Параня, как невестка от Феофановой скамьи поспешила по угору прочь, и вдогон ей дунула трубно, не прощая недавней обиды, пук изобразила на посмешку народу и тут же завыставлялась, наверное имея в виду сына:

— Я ему: ты земли под ногами не чуешь! Ручки в брючки — и как шиш заморский. А он мне-ка: мы пролетарьят ныне, нам коровы не нать, мы молока не хотим. А сам небось старую бабку скорее спровадил к магазину...

— Галенье одно,— перебила Феколка Морошина, темный плат шалашиком надвинут по самые брови, и диковато высверкивают из этой глубины сумеречные глаза.— Я было тут в часовенку пошла...

— Глу-па-а! Тебе слова никто не давывал,— оборвала Параскева. Феколка Морошина обиженно замкнулась, ушла в себя, и бабам, словно бы ушибленным внезапной резкостью, смутно стало: замолчали, разбрелись вокруг крыльца, прислушиваясь к деловой суматохе внутри лавки, будто только разговор случайный и поддерживал до этой поры их душевное единенье, крепил живую нить. А кончилась беседа — и каждый сам по себе, чужой, сторонний, с крохотной негасимой затравлинкой в сердце.

Тут и ветер-полуночник потянул с моря, прорвался сквозь лесные угорья, и сразу серую муть истончил, перемешал, подъял ввысь, и небо прямо на глазах глянцево округлилось, выказав сиротливо настуженные дали: и пожни с загрубевшей отавой проступили взгляду, и поскотины с круглыми натоптанными бочажинками, полными оловянной дождевой воды, и охряный берег реки, всею каменной громадой нависший над свинцовой стрежью. Настуженная влага, знать, сейчас прочно укрепилась в поднебесье и белесо засветилась свежей поро-

хой, запарусила под свежим ветром за таежные увалы. А с северной стороны уже вновь наползало: видно, в горной вышине зима окончательно народилась, там снежные забои громоздились, и по их слепящим зыбким склонам скатывались на ожидающую землю тоже иные дальние солнечные потоки. За ватными копнами облаков, где вечной прозеленью сочилось небо, где редко когда скопится прозрачное перышко влаги, творились пока тайные перемены; но людям-то на остывающей, готовно ждущей земле уже было неясно и смутно, и тревожно натянутые души их надсадно хотели и боялись сближенья. И когда в изумрудное оконце вкатилось Оно, благословенное, окутанное паром, когда мир на мгновенье улыбнулся желанному солнцу, то и народ на кучемском угоре шевельнулся и слился воедино.

— Нынче сенов-то дивно наставили,— потянула ниточку Домна, председателева матушка, сначала робко воскликнула, словно бы прислушиваясь, боясь неосторожным словом иль движеньем каким нарушить затеплившееся сближенье.— Ой, сколь наставили. Природа-мать разве даст погибнуть разумному да терпеливому? — Домна истово поклонилась долу, чуть ли не коснувшись ладонью истоптанной лужайки, и крохотное личико ее, опутанное бахромой истончившихся волосенок, словно бы задымилось, омытое солнечным потоком.— Я своему-то говорю... Ты не злобись понапрасну, Коляня. А дожди шли, проливень. Полно, говорю, сатанеть, после петрова дня и погодья жди. Недельку, но она уж, матушка наша, даст на передышку. Только наперед скажет приметой какой, не робей, дескать, не сиди склавши руки, не трусь да дурака не валяй. И как подслушала ведь, будто я телеграммку на небеса отбила. После петрова дня как пошло: все солнце на солнце...

— Галенье одно,— думно перебила Феколка, но никто не расслышал. Души крестьянские, полоненные одной вековечной заботой, соединились, воспрянули от солнца.

— А я чего, а? Нынь сколь сила заберет — коси! А они хотят? — по своей привычке закрутилась Параня, и ореховые глаза ее полыхнули презреньем.— Не-е, они не хотят. Они хотят, чтоб ручки в брючки. А корова во дворе — и харч на столе... От овцы какой доход? Овцу зарежешь, брюшину вывалишь и останется перед да зад. А от коровы навоз отгреб — и чистота. Не-е... Раз у

Степки такого желанья нет, чтобы скотину держать — и мне на кой хрен. Овцы сена-то сожорут, им возов пять надо, вот сколь они глухи и прожорливы, белеюшки наши... Гости зимой наедут, дак всех под нож.

— И не жалко?..

— Жалко-то у пчелки.

— Галенье одно... Все изгалились.

И снова Феколку Морошину не поняли. Тут в сенцах упала щеколда, двери отпахнулись, и народ повалил в лавку брать завозной товар. Феколка оказалась последней в очереди — ей бы мясца для собаки, завалящей требухи какой. Людей она словно бы не видела и бубнила под нос:

— Галенье одно... смехота ведь,— знать, заело что-то внутри, застопорило, и старуха бредила вслух.— Что он, зверь-от, повадился в часовенку... ему жить негде? — Больной шероховатый голос наконец привлек вниманье, и очередь на мгновенье отвлеклась от прилавка.— Галенье одно...

— Глупа, мелет чего-то,— отмахнулась Параскева.— Она ведь теперь все сглупа делает.

— Я, было, в часовенку, оветному кресту поклониться,— монотонно бубнила Феколка, но в розовых вздернутых к вискам глазах порой вспыхивал испуг и пропадал.— Зашла в сенцы, смотрю, кошачка. Причудилось, думаю? Нет, кошачка... Кис-кис, зову, а она-то хр-хр на меня. Ах ты боже, лешачина, однако. Глазиша горят, бесовские усы торчком. Я-то: свят, свят, на нечистую силу крестом, гражуся от нее. А силы-то крест не имеет. Зверина — во. На гнездышке сидит и хр-р. Кошачка такая... А я-то ей: кис-кис, хых-хых,— вроде бы засмеялась Феколка иль в груди булькнуло кашлем, и на плоских серых щеках ее пробились неровные багровые пятна.— А я-то ей: кис-кис... Галенье одно.

— А ну ее, глупу.

— Что он, зверь-от, повадился. Ему в лесу житья нету? Он пошто на народ-то пошел, а? — бормотала Феколка, уже забытая всеми.

15

Справила Матрена по усопшей матери сороковой день и всерьез засобиралась к детям в Мезень: да еще и председатель напел на ухо, дескать, хватит отцу пота-

кать, а круче пригрози — он и обмякнет. Вот и завелась дочь сразу на высоких тонах, да с окриком:

— Я остатний век свой чичкаться с тобой не буду, Геласий Созонтович, не-е. Думаешь, сел и поехал? Ты над нами-то пошто смеешься? К богу поворотился, дурак старый, а нам жизнь заслонил. Мы же через тебя выходим проклятые... Он бога молит, а черта творит, он креститься забыл как.— Задохлась Матрена, только на мгновенье запнулась, чтобы наполнить воздухами ослабшую грудь, да и вставные железные челюсти давали слабину, чвакали на худых деснах, готовые вывалиться, и баба их губою придавливала. Необычно распаленная была Мотря, какая-то старообразная нынче, без постоянной своей улыбки, так молодящей лицо. Да и что скрывать: под шестьдесят ближе, чем к пятидесяти, и нервишки поизносились. Концы шали серой спрятала в жакет — вот и вовсе старуха.— Ты же не с того плеча крест святой кладешь, тюха. То он церквы рушил, иконы под задницу пехал, а нынче у бога милости просит. Он-то ужо посме-ет-ся над тобой...

Отец лишь покряхтывал, пристально уставясь на темный образок в простеньком жестяном окладе с венчиком мертвых бумажных цветов, сунутых в прорези над головой святого: еще покойная Полюшка старалась, выкуделивала для басы-красы. Выходит, она-то верила? А я ни разу не видел, как молилась... Из мутной глубины выглядывал на Геласия такой же, как и он, старик с пыльной сквозной бородой, скуластый, с птичьими кроткими глазами, полными усталости, сожаления и остережения. Словно в зеркало смотрелся Геласий... Левкас на шее Николы Поморского выкрошился, длинная трещина вызмеилась на костлявое плечо, покрытое когда-то голубым хитоном, и чудилось, что это плохо заживший шрам, след смертельной раны, едва не отделившей святую голову от изнуренного тела... «Есть на свете три неба: первое небо в роте, второе — в печи, а третье — это горнее небо. А я и не видел его». И помолился Геласий, с плеча на плечо кинул щепоть, привыкая к давно забытому движенью. Легче ли ему стало? Бог его знает, но только вроде бы покойней, ровнее на душе. Если бы еще не Матренка за спиной: завелась, кипяток, не обуздать. Вожжаться с ней, стервой, неохота, а то бы усмирил. Как это, на батюшку родного да голос подымать? Матери-то, видно, здорово смерти желали, прокуды лешовы...

— В последний раз говорю: едешь со мной? — Стянула Матрена концы узла, с досадой придавив мякоть его коленом, вскинула за плечо, но у двери вдруг завязла, вроде побаивалась порог переступить.— Ксюха меня наставляла: «Не поедет отец насовсем — оставляй, пусть живет, как хочет, нечего с ним чичкаться». Ведь ты гостился у меня, тебе нравилось. Чего еще надо?

— Не ори,— оборвал Геласий.

— Да ты ж глухой...

— Не ори, не глухой,— тихо повторил Геласий, так и не обернувшись к дочери, словно бы дожидаясь, когда уйдет она и оставит в давножданном покое.— Еще мати говорила, а она-то знала. «И наступит,— говорит,— то время, и придет мелкий человек, и будет в нем разжигание...» И в тебе, девка, бес галит. Наказанным умом да преданным животом много не наживешь.

— А ты, Мокро Огузье, за восемьдесят лет много ума нажил? Где он, ум-от... в издевательстве твоем да в мучительстве? — снова восстала Матрена и тут растерялась, отчего-то клетчатый узел бросила к порогу, уселась на него плотно, устало, загородив выход. Геласий оделся тепло, шарфом замотал шею, едва пропехнулся в дверь, минуя дочь, а та и не ворохнулась даже.

«Ума-то не нажил, доченька, нет, не на-жи-ил... вот и страдаю,— бормотал старик, по застарелой привычке осматривая с домашнего крыльца милую сердцу деревню.— Все для живота стремился да вас ростил, милушки, а прочее и выпало. Куда ни гляну, и все внове, будто слепой был. А может, и не я жил, кто другой за меня жил? Может, жизнь-то моя после наступит? Изжил вот себя, а куда изжил, какой прок в моем бываньe на матушке-земле? Как зверь из темного лесу: пришел — и ушел... Если для детей прозябнул? — так они на сторону пущены, какой в них прок, когда кончины моей ждут не дождутся. В работе толк? — но она неизбывна и неиздельна, и радость от нее кой-когда, редка уж очень. Для страданья вылез на свет? Так не понять, какая радость от того для прочих; иль, может, верховному искусителю желанны мои мученья. Но ведь что-то же изнасеял на земле, на кой-то хрен пророс сквозь темень? Может, для любови? Но Полюшки нет — и все отлетело, и я бестолково тлею на кострище, как головешка худая, копотью свет в чужом окне застил. И жизнь-то кляну: вроде бы в наказанье, выходит, она дадена, такая долгая, а попробуй,

решись отнять ее у себя. Есть ли больший грех — нарушить святой завет рожденья...»

Одинокий стоял на горище Геласий, бередил душу. В черном матросском бушлате, серые штанины заправлены в тверды́е валенки с галошами: похож старик со стороны на отставного боцмана, тоскующего по морю. А день нарождался ныне светлый, настуженный, небо отшатнулось, истончилось до стеклянной прозрачности, и только на самом дне его чудом плавало потерянное лебяжье перо. Солнце, еще слабосильное, катилось понад тайболой, и морошечный свет от него расплывался волнами. Пело небо прощальную осеннюю песнь, и по его вымороженным до синевы, зачужевшим склонам скатывались печальные чистые звоны. А может, вновь чудилось старику, и он, напрягая волосатое ухо, вылавливал из горней вышины особый, лишь для него назначенный глас?.. «Жизнь прожил, а неба не видал. Это ли не чудо,— бормотал Геласий, словно бы пробуждаясь временами: такое уж нынче с ним состоянье, что он вроде бы парил внутри себя.— Это что выходит... ведь тебя могло и не быть, Мокро Огузье? Из любопытства вылез ты на землю из потемени, но могло и не быть? Так возрадуйся, дьявол глухой, что тебе повезло. Черт вызволил из потемени тебя, сорного человечка, дал прорасти дурному семени, вот и не торопись обратно, поживи под солнцем. Туда-то всегда успеешь, твою очередь не займут. Ты приобсмотрись, любить твою бабу, какой народ за тобою-то лезет... А вдруг любопытства ради и живем?»

Река тосковала в берегах, и, обычно седая на перекатах, разобранная обкатанным каменьем на сотни витых косиц, она сейчас налилась осенней черной водой и матово отблескивала, скрывая глубины: наверное, там, в омутах и под порогами, она уже студенисто загустела, не в силах принять в себя верхнее теченье, и этот прозрачный, пронизанный случайным солнцем пласт и скатывался сейчас обратно к морю по тусклой зеркальной плите. Не было в реке весенней живости, того хмельного бахвальства, с каким она ударяется в бережины, обметанные первой робкой щетинкой, стараясь пробить себе новое поворотное теченье. У всего в природе своя пора: сеять семя — и растить его, время жить — и время умирать. Но Геласий глядел на тягучее стремленье воды, полной печали, и прежняя тоска как бы снималась невидимой рукой, и неопределенная зависть рождалась в

душе и к этой реке, которую он вымерил шагами на сотни раз, и к небу, в которое он вгляделся лишь нынче и смутно лишь приблизился к его горнему пространству, полному невидимых жизней и движений. Старика смущала и эта тропинешка, про́битая тысячью ног меж камней-арешников: помнится, что от самого его рожденья она была вот такой невзрачной, едва намеченной в красной пыли, обметанной свинцовой проволочной травкой. Тысячи людей прошли туда и обратно к урезу воды по всякой своей насущной нужде, а путик этот едва наметился: так и жизнь-то его, Геласия Созонтовича, была, оказывается, не длиннее утренних следов по летней росе... Нет, раз уж не умер — он поживет, он еще потопчет земельку, еще по реке всплывет в самые верховья и там сеточку кинет на красную рыбу. Осенняя вода — богатая, она только сверху пустая, сиротская, но в глубях ее идет живое боренье, все настраивается к зиме... Ловлено было рыбки-то, ловлено. Лещ вот, когда время ему, юром идет, стадом. В зарю, где ветреница по тихой воде, где рябит, туда невод и выметывай, и дивно леща возьмешь. А где камень-арешник, там опять язь ворочается, такой ли богатей, что твой приказчик, жирный да толстый. Набьется в рюжу, что хоть катком на берег закатывай: рыло к рылу, глазами лупят, дурачье. Как люди, ей-ей. Помнится, он уже паренек был, на выросте, с Полюшкой щекотались, но без проказы, а ей и приди в ум: давай разрежем отцову рюжу и посмотрим, как язи будут выходить на волю. Разрезали: язи на свободушку лезут, а мы их по голове гладим. И чудно ведь.

И снова Пелагея на уме, из далекой юности выступила она, как светлое виденье, с россыпью конопинок на широком лбу и удивленно распахнутыми глазами: намокшая коса сплыла по крутому теченью, а платьишко поначалу напряглось колоколом, надулось, а после гладко обсосало ее всю, угловатую хворостинку, и он, Геласий, суетясь возле и пугливо ожидая отцового окрика за свою проделку, вдруг нечаянно оскользнулся на камнеголыше и за низко опущенным воротом как-то по-особому увидел длинную ложбинку льняной белизны и развилку напрягшихся грудей, еще слабых, едва выпроставшихся... Это уже после, через годы, когда наживутся вместе, когда долгая старость задует прошлые чувствованья, будет думаться порой с горьким сожаленьем, что ничего и не было завидного в прошлом, а все совместное

житье — лишь долгая странная канитель и прозябанье на белом свете; и любви будто бы тоже не было, не повезло на любовь, и только слабый свет ее когда-то едва померещился в глухих потемках, обманчивый и неутешный, как сновиденье. Как знать, может, в душе-то и вытлело то блаженное чувство, схоронилось под ветошью многих переживаний, заскорбело и ссохлось до тончайшей кожуринки, но память, оказывается, сохранила, отчетливо донесла его.

И Геласию вдруг так захотелось посидеть возле Пелагеи и потолковать с ней...

16

В эти же минуты между Радюшиным и Василистом, внуком старого Геласия, завязывается путаный смутный разговор. Председатель сидит по-хозяйски осанисто за двухтумбовым полированным столом, пустынным и тяжелым, как намогильная мраморная плита. Только порой наклоняется он, вроде бы порывается приподняться, и толкает по столешне тонкий бумажный лоскуток, круто исписанный. На короткую воловью шею Радюшина прочно посажена крупная породистая голова, лицо кирпичное, заветренное, оплывшее в подглазьях, нос оседлан тонкими очечками в золотой оправе. Василист — напротив, бочком на стуле, словно боится раздавить его, телом медвежеватый, кулаки — два чайника — отстраненно и устало лежат на коленях, покрытых пыльной робой, волос на голове плюшевый, будто бы чужой, густым мысочком стекает на шишковатый лоб почти к переносью, брови моховые, в пору причесывать их, и глазки затаились глубоко, и всмотреться в них со стороны трудно. Круто замешены оба, из доброй хозяйской квашни слеплены, и если столкнуть друг на дружку, то неизвестно еще, кто от кого отразится, чья земляная хлебная сила возьмет верх.

— Говорят, в Африке-то опять голод. Может, сухарей белых послать? — сказал вдруг Василист, но взгляд от пола не оторвал.

— Пошли,— согласился Радюшин и торопливо потер переносье, чтобы спугнуть улыбку.

— Да вот адреса не знаю.

— Африка... голодающим.

— И дойдет?

— А куда денется? Самолетом же...

И снова замолчали. Радюшин порой с далеко затаенной брезгливостью посматривал на склоненную плюшевую голову Василиста, то искоса вылавливал в окне все наиболее достойное внимания из неторопливого теченья деревенской жизни. Вот и Геласий протащился из своего двора к реке, баранья шапка проплыла над изгородью и пропала за углом.

— Я перед атакой, бывало, никогда не ел и водки не пил. Потому и выжил,— нарушил тишину Радюшин и толстыми пальцами отбил по столешне дробь.— Я в атаку шел с трезвым умом. Я с расчетом шел.

«Голодом-то не ахти повоюешь,— подумал Василист, внутренне усмехаясь.— Врет, поди, заливает, так ему и поверили». Но вслух понятливо согласился, вразрез не поплыл:

— Я тоже служил. Кое-что и мне знакомо. Правда, в новых дислокациях...

— Кто пьяный шел, он пули не боялся. Того уж кости истлели. А я знал, когда пуле поклониться... Слышь, тут тетка Матрена приходила, плакалась. Улетела, нет?

— Собиралась,— отозвался Василист, уже устав от дрянного разговора... Звал, так скажи толком, не тяни резину. За столом ему воля время переводить...— Сбил на фуфайке древесную пыль, с напряженным сонным вниманьем оглядел ладони: пальцы задубевшие, в застаревших царапышах, каждый ноготь с пятак, на указательном — под слоистой мутной роговицей — застывшая клякса крови.— Прости, Николай Степаныч, насорил тут. Не думал ведь. Слышу, кличут, поди, кричат, батя зовет. Думал, дельное чего.— И еще раз неловко польстил, пряча глаза: — А раз батя в правленье кличет, идти надо.

— Я тебя в правленье решил ввести.— Радюшин опять взглянул в окно: все, кто собирался с утра лететь в город, уже ушли на поскотину к взлетной полосе, но тетка Матрена так и не появилась на крыльце.— Ты, Василист, человек трезвого ума, у тебя не кочан на плечах, а го-ло-ва. Я тебя всем в пример ставлю в смысле работы. Чуешь?

— Не простодыра,— охотно согласился Василист,— у меня меж пальцев не протечет. Я цену себе твердую знаю.

— Я мог бы с ним по-другому. Право на то имею. Раз — и дело с концом. Он ведь выворотень. Понял, я о ком? Ему всеобщее благо костью в горле. А ты, Василист, человек новой жизни, тебе многое дано, но с тебя и спросится. С тебя спро-сит-ся,— с нажимом повторил Радюшин последние слова.— И вдруг обмяк, обвис плечами, устало стянул с переносья золотые очечки: под глазами синие мешки, отечные, сырые. Может, свет так пал из окна и выстарил председателя? — Устал я, Василист, выдохся. Какое вам благо принес, силы положил. Живали когда так, а? Но от вас хоть бы на понюшку толку. Дикие люди, выворотни,— сорвался Радюшин, закричал неожиданно зло, и азиатски темные глаза его остекленели.

— Ну я-то, предположим, не фуфло. На меня положиться можно,— отозвался Василист, смущенный неожиданным признаньем.

— Заработок-то ваш плотницкий от него зависит.— Кивнув на окно, Радюшин откинулся в кресле, в прорешинку плоских зубов ткнул «беломорину».— А мы приступать к стройке не можем, пока развалюху не снесем. Понял?..

— Да как не понять-то.

— Ты член правленья. Ты пугни его...

— По закону?

— Закон за нас! — Радюшин гулко приложился ладонью о столешню и, заминая ухмылку на оперханных губах, добавил: — А насчет посылки в Африку ты погоди. Ты лучше деньги внеси на мир.

17

Перемогая слабость, добрался Геласий до кладбища, тихо, неприметно вросшего в крохотную прогалинку посреди бора. Многие старинные кресты без должного ухода пали наземь, затрухлявели, колоды замшились, их обметало ягодником, и задернелые могилы нынче походили на лесовой кочкарник. Не терпящая сиротской пустоты, природа брала свое...

Кладбищенская ограда пала, и окраина погоста была неряшливо закидана скотским костьем, которое нелепо выпирало, глазело из почерневших куртинок кипрея. Полина могила странно светилась посреди жальника, словно бы заиндевелая: знать, последние дожди и ветры

согнали бурое рубленое коренье к подножью и выбелили горестный холмик. Геласий трудно встал на колени, пробежался пальцами, спугивая мурашей, а после, отогнув на сторону ковыльную бороду, приложился к оголовью ухом. Чего он хотел выслушать — бог его знает. Могила прогнулась седловинкой, просела, в продавлинке скопилась дождевая выстуженная влага, и в этом зеркале Геласию увиделось небо с крохотным лебяжьим пером посередке. Старику показалось, что дышит земля, тукает его в висок, и он, ошеломленный, отпрянул от могилы. Под пластом дернины, в чреве земли, в деревянной избе без окон возлежала его Пелагея, и, знать, это ее дыханье передавалось ему в кровь. «Ересь и наважденье все»,— подумал Геласий, встревоженно озираясь. Где-то в лесовой немоте заиграли жалейки, сосны стронулись и бесшумно пошли по кругу, завивая подолы. «Полюшка, как ты там? Плохо, поди, одной-то?» — неожиданно позвал Геласий и прислушался. Сквозь гуд жалеек из земли просочилось: «Плохо, Геласьюшко, скушно. Каково ты без меня разживаессе?» — «А худо, Полюшка, все гонят меня, да гонят. Ты там про жизнь нашу кому исповедала, нет?» — «Кому скажешь про жизнь — про любовь. Некому, Геласьюшко, немо все тут. А мы с тобой так толком и не поговорили».— «Но ведь нам хорошо жилось, правда?» — снова спросил Геласий, отчего-то всматриваясь в небо, словно оттуда, с голубых слепящих склонов, катился покойный Полин голос: «Прав-да-а... прав-да-а...»

Но если бы трезво напряг память свою старик да отряхнул наносную пыль с долгого быванья на белом свете, то и жизнь бы представил с самого зачина куда как иной, протащившейся через постоянное мытье да катанье. Отцу-покойничку, нравному характером, бывало, только дай побахвалиться: «Я судостроитель первой руки, меня по всему берегу возят», и от заносчиво воспарившего сердца любил он тихого человека особенно унизить и всяко повыхаживаться над ним. А Полюшка ему крайне не поглянулась еще в девках, и в снохах он знать ее не хотел.

Ивану постному был праздник, еще картошки копали, когда вернулся Геласий с богатого звериного промысла. Отец на привально браги наварил, за столом поначалу вел себя мирно, но дернул же его черт за язык, и решил Созонт сына сосватать. Думаю, говорит, отдать

тебя за Фекольку, у нее батько — первый хозяин, и ты меня ослушаться не посмей. А Польку выкинь из головы. Геласий же с пьяной головы и послал родителя по матери, куда телят не гоняют. Отец вспылил, в сына запустил стаканом. Кончилась потасовка тем, что выкинул Геласий батьку во двор, и тот, свалившись пьяно, под взвозом уснул. А парень тем временем побежал в деревню Польку сватать...

Может быть, и вылетела бы из головы та дикая выходка, да вот соседи не давали забыть, часто поминали при случае, как Геласий Созонтович при всем честном народе родителя своего из дома выбросил. У каждого своя память... Зато в последние годы отчего-то часто являлась из темени летняя солнечная река, Полюшкино снежное лицо в рыжих просяных конопинках, платье на воде поначалу всплывает колоколом, а после гладко обливает ее худенькое тельце с заднюшкой в два кулачка, острые плечики и едва выпроставшиеся груди... Господи, как давно это было, словно в чьей-то чужой жизни случилось. Верно, что у каждого своя память: вроде бы от одного огня с женой грелись, от общего каравая питались, бок о бок радовались ночам и коротали их, а прошлое-то, оказывается, у каждого свое.

Пелагее вот до последнего года, пока связно говорить могла, нравилось вспоминать первые замужние дни. Рассказывала тягуче, часто умолкала вдруг, и по скользкой пустоте глаз виделось, что старая живет в себе: «Ой, пошли было гулять, а прибежала старушонка одна, Бахоркой звать, первая на деревне сплетница и переводница, и говорит: «Геласий-то с батькой своим из-за тебя разодрались». А у нас дружба хо-ро-шая была... («Правда, дедко?» — спросит всегда, неожиданно отвлекаясь, если старик поблизости.— «Как у кошки с собакой».— «Да ну тебя, лешак») ...Ну, ходим мы с девицами вкруг деревни, и вдруг мой будущий муж летит в худых душах. Встали возле костра, он и говорит: дескать, за меня пойдешь, а если нет, то я больше не могу без тебя. Я поначалу-то обробела, не знаю, говорю, надо у таты с мамой спросить, боюсь я. Пойдем к нам, спросим... («Врешь ведь,— перебьет старик, задетый ее словами.— Выходит, что я тебе на шею вешался?» — «А чего, и будто не? Скажешь не вешался?») ...Ну, далее, дело за дело. Утром пеши сходили в сельсовет, записались. Там дождались до вечера, чтобы люди не видели. Перевозчица говорит:



дай бог вам здоровья. В деревне на мосты вышли, а уж про запись-то прознали, народ сбежался. А мы первыми в нашей деревне записывались. Тут соседка и говорит: «Надо оберег сделать, а то свекровь запуки знает и свадьбу испортит». Загнула мою жакетку и в сеточке привязала громовую стрелу. («А что это за штука такая?» — спросят. «А бог ее знает. Громова стрела, и все. Она от запук лучше всего») ...А после и говорит нам: «Вы домой не приворачивайте, а подите к жениховым родителям и падите в ноги». Мы пришли к ним, и, толь-

ко порог переступили, отец Геласия матюгом. Мы и отправились в нижнюю избу как оплеванные. А пока записываться-то ходили, свекор все добро к себе наверх перетащил, и оставили нам только самоваришко неважный. Соседка банку железную принесла — заместо ведра, говорит, воду носить. С этой банки у нас и жизнь совместная началась... (Погоди, дедко, не перебивай) ...Снохи пришли, печеного принесли, самоваришко согрели, чаю попили — вот и свадьба вся. А кругом дома народу-то. Свекровушка открыла окно и кричит: «Люди добрые, чего вы глазеете на суку эту». А свекор: «Бедный Геласий, на ком женился. Пропал сын, пропал». И после того, как на глаза попаду, так и обругают. Свекровушка заявилась ко мне утром иконы сымать. Собирает и говорит: «Стою перед иконой и кляну сына: будь ты проклят от меня, дитя». Я слезами и залилась. А сын-то вдруг и появись из горенки, да сгоряча: «И ты мне отныне не мать». Думаешь, дак легко ли мне пришлось. Тут и дети вдогон, и мужа редко когда увидишь: на реке все, на воде... Но любила же я Геласьюшку. Бывало, как заплачу-у. А он-то мне: «Ты чего, дура, ревешь?» А я ему: «Люблю, дак...»

И замолкнет вдруг, и в пустых остекленевших глазах видна близкая кончина.

— Нам с тобой хорошо было, правда? — снова спросил Геласий и не услышал ответного Полиного голоса. Вслух бормотал, оглядывая неожиданно поблекшее небо: «Небось помучили бедную, потаскали, идолы стомогие. Вот и жалуется, тошно, мол, там, и темно, и некому исповедовать. Ах ты... И там приюта нет». Вспомнился недавний больной сон: два березовых человечка с вороньими крылами волочат его по бездне, то в горнюю сияющую высь вздымут, то вдруг уронят, смеясь и играя, чтобы вновь подхватить у самого края багровой пучины, напитанной кровью. И взмолился он тогда, отчаявшись найти спокой: «Кто ты, что правишь над нами? Отдоху дай!»

Знать, и Полюшке нет отдоху, подумал, вглядываясь в песчаный холмик и смаргивая жгучую влагу. Нет бедной отдоху, вот и душа моя оттого болит и места себе не находит.

18

Пригнали трактор, и Василист маслянистым тросом ловко опутал хрупкую балясину крыльца.

— Эй, дедко, а ну вылазь! Кому говорят! — весело вскричал в темный провал сиротски распахнутой двери. Но душа его отчего-то тоскливо екнула, и он глухо обматерил то ли председателя Радюшина, то ли деда своего Геласия, тревожно ненавидя обоих. Огляделся, словно бы ожидая чужого дозволенья: но солнце творожно, безлико светилось, творя свои перемены на земле и намекая миру на близкий снег; над обшарпанной колоколенкой, чудом уцелевшей от пожара, граяло воронье, пятная известью похилившийся зеленоватый купол; равнодушно отсвечивали стекла колхозной конторы, и председателевый «газик» походил на матерого, настороженно наблюдающего пса.

— Эй, Мокро Огузье, заснул, что ли? — снова заорал, уже стервенея, и, бухая сапожищами сорок последнего размера, ввалился в избу. Тетка Матрена куличком приткнулась у стола, печально подоткнув кулачком морщинистое лицо.

— Где он? — спросил о деде, как о человеке давно чужом и постылом.

— А бог его знает. Леший где-то носит,— устало ответила Матрена и не шевельнулась.

— Давай сматывай манатки! Избу рушить будем! — властно прикрикнул уже из сеней, мельком примечая, что где лежит. Прошел на поветь: щелястая, крытая суриком дверца податливо скрипнула и готовно откачнулась, словно кто-то потянул ее изнутри. Сторонне огляделся Василист, будто на чужое мертвое лицо всматривался, зажимая в душе боязнь и тревогу. Точно так же озираются люди, когда входят в покинутый дом со следами былого житья, но с выветрившимся домашним духом стряпни, одежды, утвари: печалью сквозит из каждого угла, паутина лохмотьями колышет над печными приступками, и оплывше, несуразно темнеет в запечье закоченевший, забытый всеми избяной хозяинушко.

Долог человечий век, и как бедно ни коротай его, ни тяни свою лямку, но если ты мужик основательный головою и крепкий натурою, то невольно вокруг тебя скопится столько всякого добра, что только начни переезжать, стронь с места устоявшееся житье — и по горло

увязнешь в нем, не зная, за что приняться поначалу. Что взять, что кинуть? — голова кругом пойдет. На вешалах куклы сетей, любовно сшитых, с берестяными поплавками; тут и невод раскинут капроновый; и рюжа в углу новая, ни разу не моченная; сани-розвальни еще от старого довоенного хозяйства; и связки кибасьев — глиняных грузил, которые нынче не в почете; вдоль стен сундуки, давно отсыревшие, полные всякого тряпья, с поржавевшими резными косячками на крышках и линялыми, когда-то багровыми цветами; а на решетчатой подволоке всякое ручное орудье — косы, вилы, грабли, да занавес из свежих веников, да куча берестяного коробья, кадки там ссохлые, ушаты под соленья-варенья; а в топорне-то у поветных ворот пять топоров, да под нею точило пятипудовое зимнегорское — сам вырубил да сам и сплавил морем к дому. Но это для Геласия Созонтовича каждая немудрящая вещица, которую жалко было в свое время выкинуть,— памятная зарубка в долгой канительной жизни. А Василист оглядывал чужо, со стороны, как оценщик или перекупщик, готовый задешево выторговать добро у постороннего, близкого к смерти человека. Но если решился ты на грозный шаг и вовсе уж готов близкую, родную тебе голову на плаху возложить, так не робей, милок, не ропщи, закамени душу — уж все одно непрощену быть... Но только отчего же ты так долго медлишь, словно бы останова ждешь. Знать, что-то стронулось, замутилось в тебе, а?

И снова огляделся Василист, отступая к поветным воротам, словно примечая ту хребтовую жилу, за которую стоит лишь слегка потянуть, и дом раскатится по бревну, утратив сразу былую крепость... Вот и становое поперечное бревно над поветью осело. Вроде бы это, слегка сумеречное, затененное пространство, чудившееся когда-то звучно и пугливо огромным, куда и лошадь-то с возом сена свободно въезжала, за эти годы сузилось; видно, изба, как и любой человек, тоже съеживалась от старости, опадала, хилилась в связях, костенела в суставах, и если бы сохранить ее в спокое еще на столетие, то стены бы, наверное, сомкнулись сквозными пазами, потолок бы слился с полом, а сама бы изба превратилась в огромную намогильную плиту над всем тем, что когда-то весело рождалось и жило в ней, а после ушло в землю. Ведь и это лиственничное неохватное становое бревно казалось когда-то вознесенным под крышу огромной

нечеловечьей силой, и с поветного пола едва проглядывались длинные отглаженные суки, похожие на странные внимательные глаза. В масленицу обычно подвешивались качели: вон и проедины от веревок остались в бревне, ныне вроде бы потончевшем, изглоданном временем, похожем на заветренную кость. Но вспомни, Василист, как возносила тебя качель под самые стропила и душа твоя вспархивала в прихваченное судорогой горлышко, готовая вовсе покинуть тело и умчаться на волю; и животишко-то екало, и коленки слабели, и был ты тогда воробьишком, выпавшим из гнезда и чудом укрепившимся о воздух на слабосильных махалках. Вспомни же, Василист, как у тебя на носу выросла бородавка, твой стыд и твой позор, который приходилось скрывать рукавом пальтюшонки от языкастой деревенской пацанвы, и как на этой вот качели срезало твою бородавку пеньковой вервью, вдруг ослабшей на взлете, сняло в самый чик, и лишь крохотный следик забордовел, да выточилась жиденькая сукровица. В испуге ты примчался к деду своему Геласию, уткнулся в брючины, пропахшие рыбой и костровым дымом, а он задрал твою замусоленную мордашку, слизнул языком сукровицу и насмешливо хлопнул по ягодице: «До свадьбы зарастет, казак...»

Но время вспоминать прожитое для Василиста еще не грянуло, да и наступит ли когда оно — кто знает? Он торопливо, уже тяготясь поветных сумерек, спустился в сенцы, мимоходом окрикнул заново:

— Эй, тета Матрена, а ну сматывайся! — но, ступив на крыльцо, никак не ожидал, что она так скоро вымчит следом, и потому вздрогнул даже от высоко вскинутого накаленного голоса.

— Ты, варнак... Ты чего надумал? Ты ведь деду своему внук.— Матрена прихватила племянника за ворот пыльной фуфайки, пыталась даже пригнуть его медвежеватую голову, нащупывая другой ладонью плюшевый короткий волос, да куда там, разве с таким лесовым пнем сладить найдется какая сила. Железные зубы у тетки хлябали некрасиво, едва не выпадая, и голубые в оборочку губы едва успевали придавливать их к высосанным деснам. Оттого Матрена шепелявила и кричала неразборчиво.— Креста на тебе нету, чикалка. Это ж добро... Зарobливалось, копилось, а он на ветер его. Это ж не с луны досталось. Чекнулся, да? Слышьте, люди, он что, чекнулся? Председатель-то куда смотрит?

Незаметно народу набралось на заулке, каждый проходящий охотно приворачивал, поглазеть всегда охотники найдутся: кто лениво курил, сплевывал тягуче, другие легко советовали трактористу, как ловчее приняться за избу, попинывали колесник по рубчатой резиновой обувке, сомневались,— дескать, такую гробину в два этажа тросом не стянуть, трава замылилась от дождей и сцепленья должного не даст.

— Сам-от где? — спрашивали кто постарше.

— На кладбище дорогу торит.

— Люди, варнак этот чего надумал! — кричала тетка Матрена, накалившись. Ей уже было жаль и отца, и дом, в котором она на свет появилась, и такой он вдруг показался до испуга, до слезы дорогим и необходимым, что женщина запричитала: — Поди, варнак, поди прочь, сгинь с глаз моих, я тебя не звала.— Толкала, осердясь, взашей со двора. А Василист словно бы не слышал ее кулаков, хотя спина гудела от немилосердного боя, и только дурашливо гнусавил, пересиливая себя:

— Тет-ка-а, ты чего-о! Вот будешь шуметь, отведу в каталажку.

— Я покажу каталажку, иродово семя, я кому-то поизгаляюсь,— запричитала Матрена с готовной слезой в голосе. В толпу с надеждой вглядывалась, искала в ней доброго участья, но печищане лишь готовно посмеивались, радые нежданной потехе.— Моя изба, тронуть не дам. Мне уж что, и не приехать сюда боле? Это ведь и меня ты прогоняешь прочь.— Неведомый ранее испуг накатил на старую женщину, только по крайней нужде навещавшую родную деревню, и так ей стало тошно и сиротливо, так зажалелось одинокого ныне отца и поры своей девичьей, далекой и безвозвратной, что еще недавнее привередливое отношение к родителю почудилось вдруг злым наущеньем. Знать, чужая воля и тайные козни помутили ее душу, иначе отчего бы так восстала она против родной крови: ведь очнись на мгновенье и помысли готовно — сегодня жив твой батюшка, еще сам себя обиходит, и рукоделье не выпало из рук, и мыслит трезво, и слово крепкое сказать в силах, но завтра складет на груди повядшие руки и вслед за матушкой отправится тайным путем, и не будет тогда на земле человека сиротливей Матрены Геласьевны, и станет она с той минуты старой бабкой без отца, без матери. Ведь как осиротеешь — значит, и твоей жизни самый край. А без избы

своей, без печища и вовсе чужой будешь, и в родную деревню путь отрезан тебе. Как гость, дальний и безродный, навестишь когда, потрешься по чужим углам, да с горьким настроем в душе и отплывешь обратно поскорее, чтобы зря не досаждать своей толкотней. Вот когда помыслилось об избе родовой совсем по-иному, с тоской и тревогой, и тут в горле запершило, и трудно стало до верного слова добраться. Да разве такого чем проймешь? Шарила Матрена навязчиво-просительным взглядом по шишковатому, продубленному ветрами лицу Василиста, отыскивала в нем свое, кровное (ведь родник, племянник), но видела лишь оперханный нос тяпушкой с круто вывернутыми ноздрями и жесткой щетинкой, да скрадчивые блестящие глазки под кустистой бровью, которые в пору причесывать. Каменный, чужой, непонятный человек стоял перед нею, словно бы впервые увиденный ныне. Матрене стало страшно племянника, и она сломила голос, отвернулась, чтобы только не видеть это тяжелое немое лицо.

— Вар-нак он, вар-нак,— сказала она, помедлив, и тут же заширкала галошами к крыльцу.— У него зимой и снегу не выпросишь, а на чужое-то поплевывай, да? Он бабке родной досок на домовину пожалел, он дедов гроб испоганил, черт губастый, а тут гляди, зараспоряжался...

— Заводи,— буркнул Василист, но по его багровому настуженному лицу не понять истинных намерений.— Ее век не переслушать. Кто тетку Матрену не знает? У нее в ноздрях ветер, в голове дым. Ей бы ля-ля-ля. Ты мне не шуми! Я те, ух! Сказано — сделано, доложено об исполнении. Ты не мешай народу, народ через тебя страдает.— Вдруг пронзительно закричал, натужно багровея: — Ты, тета, нервы народу не крути. Нервы дорого стоят нашему государству. Ты детишкам должную учебу подай, без которой она никак. А где учеба, спрашивается? Детишки сопли на кулак мотают от холодины... Лес на горке гниет, школу строить надо, а тетка Матрена с глупым дедом окопалась.

— Кто ты такой, чтобы указывать? — снова полыхнула Матрена.— Вам что, природы мало вокруг, места нету? К нам-то во двор почто пехаетесь? Много ты в учебе пенькаешь, идол? Пять коридоров-то пробегал. Родительница-покоенка через тебя вся исплакалась, она же через тебя до времени в гроб сошла.

— Не твое собачье дело. Загунь, слышь? Понимаешь ли, я тебе не фуфло...

Этот холодный голос неожиданно смутил и успокоил Матрену: она как бы со стороны разглядела себя и устыдилась своего взбалмошного базарного крика, поднявшего почитай что всю деревню. «Действительно,— подумалось,— чего разоряться, не с колокольни же варнак упал, чтобы не по-людски как поступить». Но прежде чем уйти в избу, однако, с укоризной добавила, отыскивая взгляд Василиста под насуровленной щетью бровей:

— Хороши шуточки,— улыбнулась прощающе, быстро отмякая добрым морщинистым лицом.— Это нынче так шутят со старыми людьми?

— А я не шучу, не-е. С чего взяла,— непримиримо оборвал племянник, впервые не пряча глаз, и крохотные зрачки в накаленной светлыни встали по-кошачьи торчком. Матово засветились глаза, как-то странно округлившиеся, с кровяными прожилками в закрайках, и этот каменный обнаженный взгляд больно ударил Матрену. «Господи,— вскрикнула в душе, невольно торопясь в избу,— ведь зверина, зверь лесовой».

— Я не фуфло какое! У меня слово крепкое! — надсаживался сзади племянник, и по его надорванному голосу чудилось, что он безжалостно нагоняет, готовый по-волчьи ударить сзади. Но Василист, словно бы захмеленный вином, кряжеватый, с мясистым затылком, врастающим прямо в плечи, нарочито бухал сапожищами по луговинке, выжимая травянистую зелень, и гулко охлопывал себя по ляжкам, подымая облачки древесной пыли.— Дер-жи... ай держи ее, прокуду.

— У него юмор такой,— ехидно прохаживались говоруны по Василисту, подпирая плечом изгородь и смоля папироски; но, однако, охочего до правды-матки что-то не находилось средь них. Да и то сказать, поди сунься к такому, он же хлещет в морду без примерки: пудовичком лоб окрестит — и отхаживай после.

— Прошлой зимой валили было лес для школы. Надо уж домой попадать, обед последний сварили. А Василист возьми да в супец холодной водицы и льни. Юмор у него такой. Морозина палит, а их и понесло, мужиков-то, бедных наизнанку вывернуло. С розвальней не успевали соскакивать, дак кто и без штанов ехал. Знамо, у него юмор такой...

— Он шутит... Не взаболь же принялся. Наверное,

председателем команда дадена пугнуть. По его наущенью, не иначе. Сам-то кто на экий шаг решится.

Глазеть народу надоело, миром все обошлось, и кое-кто потянулся по своим делам. А в Василисте так болезненно застопорилось что-то внутри, и он уязвленно то взглядывал на избу, где скрылась тетка Матрена, то краем уха схватывал перетолки, по которым выходило, что он, Василист, дуролом и без царя в голове. Поначалу-то мыслилось просто попугать деда, но гайки вдруг так затянулись, так закаменел мужик от бешеной темной силы, накатывающей на него порой и без особой на то причины, что в пору было тут же с топором кинуться к избе и пластать, корчевать, раскатывать ее осатанело, пока топорище не вырвется из обмыленных ладоней. И, словно решившись на крайний шаг, он кинулся в избу вдогон за теткой, но в сенцах круто свернул на поветь, ногой выпнул щелястую дверку, через которую в ранешние времена сметывали сено и, вывалившись до пояса в проем, чудом удерживаясь за ржавую скобу, потряс кулаком: «А... так-перетак». Выцветшая, когда-то крашенная дощатая дверца повисла на одной петле, и Василист, лихорадочно суетясь, злобно выдавил ее ногой напрочь. А уже настроив себя на разгул и от своего всесилья теряя разум, заметался Василист по повети; и тут, как чудо, выпехнулись из темного провала дровни, запнулись на мгновенье на стертом до костяной белизны порожке, качнулись над заулком — и рухнули на городьбу истончившимися полозьями, удивительно легко, с тонким всхлипом рассыпавшись по травяной ветоши...

4. РАЗМЫШЛЕНИЯ ФЕОФАНА

Небо творожно белело, и солнце едва намечалось в его глуби, когда Феофан Прокопьич вышел во двор.

А ведь с утра еще так радовало: и по движению крови в жилах, по легко, без боли колыхающему сердцу чувствовалось просторное, просветленное состояние природы. Слепой не видел замлевшей выси, до окраины заплесканной известью, и мякоть загусевшего, с кровяным набухшим ободком солнца не смущала его, но у старика, однако, заныла вдруг беспалая, разломанная в войну левая стопа, и он потому догадался о перемене погоды. Пресно стало на земле, и даже обычной мозглой сыростью не доносило сейчас с реки, точно все выдохлось,

источилось, иссякло до предела и застоявшийся воздух не питал более грудь. Ни прели, ни кисели, а только легкое ощущение угара в носу, как перед близкой болезнью.

Перемогая себя, бродил Феофан по двору, отыскивая заделье и поджидая с реки жену, укатившую с полосканьем. Дрова подвернулись под руку — решил прибрать в костерок. Сосновые поленья липли каждой чешуйкой, и Феофан слизывал порой с ладони накипь серы и долго гонял отмякшую хвойную бородавку по натертым беззубым деснам. И вроде бы не так пресно и маетно становилось ему. Березовый кругляк попал под руку неожиданно, и старик вздрогнул: почудилось, что коснулся нагого нахолодевшего тела. Оторопь была мгновенной, и тут же Феофан легко не то всхлипнул, иль рассмеялся, булькая горлом. Но холодом окатило спину, и с этим ощущением внезапной тревоги слепой подпихнул под себя березовый кругляш и протянул мосластые беспокойные ноги. Намотал на палец шелковистую прядку, порванной ноздрей приник к ней и ощутил скользкое живое прикосновение бересты, слегка обогретой его напряженным дыханьем. И он уже забылся, и в темной одинокой голове кровь заходила гуще, что-то стронулось, отомкнулось, и мысли, пока несвязные и странные, родились... «Знать, страх возникает не от нашего незнания иль знания, а от внутренней нашей неготовности,— подумал Феофан Прокопьич, уставя желтые натеки глаз в сторону предполагаемого солнца. Большое, скорее безобразно разросшееся, ухо, покрытое седым волосом, поникло, перестало настороженно вздрагивать, вылавливая голоса реки, улицы, сгрудившихся изб и людей.— О страхе надо будет хорошо покумекать и объяснить. Мы так предполагаем и уверились, что все знаем. Понимаешь? И когда неожиданно сталкиваемся с тем, чего не знаем, то обнадеянная душа, не готовая воспринять, и пугается тут. Вот на войне, если взять, через убитых ползал — и не боялся. А в госпиталь привезли, лицо забинтовано. Ночью пошел в уборную. В палате жарко, приоткрыл дверь, думаю, так лучше найду. А сестра и закрыла. Я обратно вертаюсь, зашел в какую-то дверь (ведь не думал, что заблудился), вроде бы прохладно, наткнулся на стол, щупаю, на столе человек холодный. Выскочил как сумасшедший, дверь плечом припер и кричу на весь коридор: «Сестра, куда я попал?»

Страх рождается, когда нет в душе спокойствия, рав-

новесия, чтоб тити-мити. Понимаешь? А нынче, если послушать, то все чего-то ждут и отсюда нервность в жизни. Каждый день перемены ждут и себя на ту перемену настраивают, дескать, сегодня я прокоротал день не по нраву, а завтра проснусь — и ангелы над головой, и полное благоденствие. Нынче мы так внушили себе, что будто на постоялом дворе живем: переспим, кому как подвезло, а завтра уж все иное наступит. Но радость-то, мне думается, в постоянстве самой жизни, когда душа не горит нетерпением, когда она во спокое пребывает, не надорванная, а радая и солнцу над головой, и дождю в свое время, и приплоду скотскому, и дитю здоровому, и богатому покосу на пожне, и стопке водки в свой черед, и ломтю хлеба на столе, и работе, которую руки еще держат и в силах вести. Сколько же, оказывается, у человека радостей, когда у него душа во спокое... А нынь она в беспокойствии пребывает, всего стал пугаться человек; и смерти боится, хочет оградиться от нее, потому из жизни не со светлой печалью уходит, а с диким воем и плачем. Мятется ныне душа, исковерканная страхом, так мне соображается. Но откуда наплыла такая темень и хмарь?

Иль опять же взять... Раньше народ если пугался природы, то вовсе по-иному; от нас то чувство утекло и нашему пониманию невообразимо. Это не просто какой-то страх, и все... Ой-ой, боюся. Нам с руки нынче представить и обсмеять, дескать, болотная, дикая, темная Русь: и лешего-то стереглись, и ведьмы, и русалки-водяницы, и домового-хозяина, и от дверной ручки оторваться боже упаси. И тут опять же у меня сомненье... А откуда тогда мы взялись, нынешнее народонаселенье? С каких семян взошли? Да был ли еще народ таким характерным и уверенным в себе, чтобы, зажав прави́ло в руке и настропалив душу, кинуться на самый край света, куда и мысль-то человечья опасалась уноситься. Через смерть, да рядом со смертью, да с песней на губах, да на утлом суденышке ринуться вдруг в страну полуночную, на край земли. Это ли не смиренье и не взлет духа! И лишь по единой нужде, по великой необходимости восприняла Русь тайную лесовую и водяную всевластную силу, вознеся ее над людом: чтобы человек не возомнил себя и всевластно головы шибко не задирал, знал твердо, что есть на земле на матери кто-то превыше и пресильнее его, кому и покориться смиренно не грех...»

Так неопределенно и смущающе вязалось в голове Феофана слово за слово, пока не вернулась с полосканья жена Таня и не сбила безокого с мыслей:

— Эй ты... Расщеперился тут, а не знаешь того... Геласия Созонтовича, соседа твоего, сселяют. Внук-то егов, ну и арап, ну и нечистая сила! Ты погляди, какой самохвал, уж поискать таких на миру...

Слушать бабу до конца — век не выслушать, а потому и заковылял Феофан к соседу, обороняясь от земли батогом. А велика ли дорога из заулка в заулок: только скинь у задней дворовой калитки черемуховую обвязку, да переступи затрухлявевшую плаху, обметанную зарыжевшей топтун-травой, да минуй огородишко — вот тебе и зады Геласиева житья, запустыренные, закиданные посекшейся крапивой и заносчивым чертополохом. И даже странно для Феофана, что он вдруг проглядел такое событье; под носом у него вершили человечью судьбу, а он проспал. Случалось ли такое на веку? Словно бы в темном обмороке летал и закружился, а тут очнулся и сразу поймал высоко вознесенный посторонний голос. Наверное, и часом раньше слышал людской грай, но тогда голова Феофана была полонена такими возвышенными мыслями, что каждый чужой звук, как сквозь копну сена, едва доставал слепого и не отвлекал от мировых раздумий. Старик ступил в глубину чужого двора и, досадуя на себя за оплошность, готовно насторожился. Рыхлой кожей лица, и рваной ноздрей, и острыми, высоко поднятыми ушами, свободными сейчас от тугой шерстяной шапки, Феофан ощутил, что у избы Геласия, у гостевого крыльца, толпится народ.

— Что за смущенье? — ткнул Феофан батогом в первую же спину.— Середка рабочего дня, что за волненье?

— Геласия Крохаля зорят, перья щиплют...

Феофан Прокопьич еще не знал, как отнестись к этим словам, и безгласно закрутился, отлавливая нужные голоса и запахи. Кисло доносило перегаром, табаком, потом, соляром, и по частым вольным матеркам слепой догадался, что толпятся сплошь мужики и скалят зубы. Вдруг что-то тяжело обрушилось сверху, народ шатнулся.

— Очумел, что ли? Зашибешь ведь,— закричали рядом.

— Это не ты ль, Степушка? С возвращеньем. Сам-от где?..

— Да, говорят, тропу на кладбище торит.

— И не смешно.

— А я чего... Вы бы не толклись, Феофан Прокопьич, а то и перепасть может запросто. Василист дичает.

— Уймите. Что, рук нет?

— Я с самолета топаю... Дай хоть жену глянуть. А то зашибут, и молодухой не разговеться.

Кадык у слепого задергался нервно, знать, перехватило горло от возмущенья, от Степушки старик отвернулся, напряженным лицом зашарил по творожно белеющему небу и, подлаживая свой шаг к посоху, направился решительно к избе, ощущая ее надсаженное дыханье и встревоженный запах тлена.

— Эй ты, дурак, а ну прекрати! — Но слова повисли в пустоте. Кто-то рядом до обидного легко рассмеялся и взял слепого за плечо: «Ты не гоношись, дедо. Дай представленье досмотреть. Не каждый день бесплатное». Но Феофан скинул чужую ладонь и зло обмахнул палкой, желая угодить близкому человеку по костям.

— Эй ты, дурак, а ну прекрати! — крикнул он снова.— А вы... вы-то люди?

— Дедо, Феофан Прокопьич, да не принимай взаболь,— кто-то лениво цедил сквозь зубы и тягуче скашливал слюну,— наверное, освобождался от табачной накипи.

— Пусть болтает,— перебили угрюмо.— Нынче у него столько и делов. Еще Параня Москва прискачет...

Запрокинутое шадроватое лицо Феофана скривилось от обиды, он еще раз взмахнул посохом, зло мечтая достать говоруна, и толстые жилы на шее напряглись:

— Не дай вам бог... Сме-етесь... Я вас в школе-то этому учил?

— Сразу уж так вопрос. Сразу на попа вопрос.

— Да, на попа... Один остолоп, а вы-то... Вы-то мужики, парни! Для вас, значит, комедия, для вас бесплатный концерт. Наверное, Геласий Созонтович хорошее начинанье утюжит, пусть так. Но вы-то дайте человеку справиться с собой, вы не торопите его. Ему что жить-то осталось? Не торопите его. Сегодня он есть, а завтра не будет. Это же навсегда, вы слышите! Так вы жалейте друг друга, не каменейте, люди! Будьте милосердны! Ведь камень о камень — это искра, а от нее какое зло родиться может...

— Кончай травить похабель,— рыкнул сверху Василист.— Блевотиной твоей захлебнуться можно.

— А ты слезь оттуда, ты спустись. Я тебе покажу блевотину,— потряс батогом Феофан. Желтые натеки глаз, как наледи на лесном ручье, набухли, и казалось, что вот лопнут они сейчас, прорвутся, и хлынет из черной глуби неиссякаемая горючая слеза.

— Кащей бессмертный, да я тебя плевком перешибу.— Василист, уже вновь захолодевший и ровный душою, схватился за ржавую скобу и свесился над заулком: у изгороди маялся люд, тянул словесную канитель, и отсюда он виделся таким замызганным, затрапезным и невзрачным, что парень неожиданно услышал в себе презренье к ним и смачно плюнул.— Берегись, зашибу...

И тут за калиткой он увидел Геласия: жиденькая дверка осела на пяте, чертила землю, и старик с усильем отпехивал ее, словно бы не видя в своем заулке незваного сборища. Василист встал на колени, набычился, багровея мясистым загривком.

— Де-до! — воззвал внук придушенным тенорком, сминая голос и плаксиво, нарочито играя им.— Де-до, родненький мой! Я уже решил все. Я не фуфло какое-то. Пойдешь ко мне жить! Я уже решил все. Усек, дедо, эй! Мы-то с тобой заживем, нам делить нечего.

Геласий не отозвался, миновал скучающих глядельщиков, тупо постоял у рухляди, в кучу сваленной у крыльца. Ступал он осторожно, на всю резиновую подошву, не разгибая тоскующих колен, черный бушлат, подарок сына, колыхался на костлявых прямых плечах, как на вешалке, и сиротливо выбилась из-под заношенной бараньей шапки сивая жиденькая косица. Старик нес себя так бережно, словно уверовал уже: вот поскользнись он сейчас на загрубевшей траве — и не встать ему более, не собраться с силами. В глаза попалась жестяная банка из-под монпансье с неясным витым рисунком и проволочной дужкой. Геласий, кряхтя, поднял ее, покрутил, недоуменно разглядывая дырчатое днище, проеденное кровавой ржавью, словно бы протыканное дробью, со следами тусклой пайки. Банку эту когда-то, в день свадьбы, подарила соседка: вот, сказала, вам банка заместо ведра — воду хорошо с ручья носить. Полюшки уж месяц как нет, червь, поди, выел, а жестянка сохранилась еще с царского времени, как напоминанье... Геласий, отвлекаясь и приходя в себя, задрал

голову, тускло вгляделся в шишковатое задубленное лицо внука. Он видел его, как сквозь дымную голубоватую пелену, напряженное, ждущее, с крупной испариной под плюшевым мыском волос... Вот и сон в руку, как намедни привиделось. Будто бы кругом пустыня, а Полюшка привстала из-за каменной стены и рукой машет, зовет, значит. «Ты куда?» — спросил Геласий, торопясь к жене. «Помирать пошла»,— жалостно отозвалась. «А я?..» И кинулся догонять, но глинобитная стена распалась вдруг, и посреди пустынной чахлой земли оказалась дыра, и вокруг нее люди сидят, сложив калачиком ноги. Откуда-то и внук Василист взялся. Люди руками машут, зовут Геласия: «Проходи в дыру, там тебе хорошо станет, там яства и питье всякое». Василист первым подбежал, глянул вниз и кричит: «Иди, дедо. Тут и впрямь хорошо. Питье всякое и еда, и люди в карты играют». Улещает, заманивает Василист, юлит по-собачьи туда-сюда, только что хвостом не вьет...

Вот и сон в руку. Этот человек не даст житья, не даст. От него не отбиться. Смиренно подумалось. Геласий даже очки снял и протер обшлагом бушлата, чтобы лучше разглядеть внука, стоящего на карачках в дверном проеме, но рассмотрел тот же, волчьего покроя, бугристый лоб и ласковые прилипчивые глаза, слегка набухшие от натока крови... Мне-то судьбою жить велено и любопытствовать, но он, волчина, не отвяжется.

— Де-до, ты прислушайся. Пойдешь ко мне жить?

— Пойду,— вдруг покорно согласился старик.

19

Ночь на ночь не походит. Иной день так наломаешься, так в заботах житейских убегаешься по двору иль избе — и тогда забвенья ждешь, как милости небесной, как несравненного счастья, а если еще ладилось все, к душе прилегало и к рукам льнуло, то и вовсе ночь приступившая покажется дорогим подарком, и есть ли тогда на свете что слаже сна. Вроде бы только подушку головою нашарил, едва ноги растянул и глаза затворил желанно с каменной тяжестью в веках, еще маетно ищешь телу покладистую ямку в перине — а уж петух зорю выпел. Оторвешься от изголовья, поблуждаешь влажными глазами в синих рассветных сумерках: в окне снег расплывчато зыбится, и первой алой искрой играет на заин-

девелом стекле предзимнее утро, тихое и беспечальное; и так отчего-то легко вставать, такой ровной радостью душа озарена, словно бы праздник давножданный ныне. И весь-то день, если не растревожат, до самого вечернего заката живет в теле твоем блаженное счастливое состоянье...

А иную ночь скоротать не можешь, и похожа она на каторжную иль предсмертную какую: вроде бы и ложился с большой охотой, до дурноты назевавшись, но вдруг такая маета охватит, такие назойливые мысли полезут чередой, что и спасенья от них никакого: измучаешься весь до чугунной тяжести в висках, измытаришься, пока-то обоймет тебя сон; но и после-то, за нескончаемую ночь, еще раз десять пробудишься, точно часовой тебя выкликает,— с удивительно опустелой, потукивающей головой вынырнешь из муторных сновидений, чтобы снова ненадолго забыться; а в позднее утро, почти в день, встанешь опухлый, больной и глухой к жизни, и долго тогда ломает тебя всего и тоскливо гнетет.

В общем, ночь на ночь не походит, но зато всегда тепла она и желанна в любви...

Спать ложились еще засветло, и Степушка сторонне и необычно холодно приглядывался к жене, будто не узнавая ее. Люба странно изменилась, зачужела: брови она выщипала тонкими крутыми серпиками (старалась, видно, нынешним утром), и потому над наведенными тушью глазами краснела больная припухлость; в уголках капризно посунувшихся губ насеклись тонкие морщинки; да и все-то ее лицо, похудевшее, с рыжеватой тенью в подскульях и с высоко подрубленными волосами вместо прежних косиц, выглядело страдающим и неприветным.

— Ты что, не рада мне? — в который уж раз домогался Степушка смутно желаемого тайного признания, по-совиному таращась из угла.— Я, можно сказать, на крыльях летел, а ты не рада.

— Не выдумывай. С чего взял?

— А вижу... Смотришь на меня, как на рыбнадзор.

— Ну и видь, если хочется.

Люба убрала верхний свет, присела на разобранную кровать, сминая в себе внезапную стыдливую дрожь, и зябко сцепила ладони: груди вольно выпростались из кружевной сорочки, по-девчоночьи бодливые, с чайную

чашку, не более, и плечи, острые, прямые, белели хрупко и беззащитно. Но вместо обычной доброй жалости они вызывали неясное раздражение своей угловатой худобой. Действительно, где глаза были? Ведь коза козой, ни кожи ни рожи. Степушка холодно оценивал жену и против воли своей невольно представлял Милку, хлебную, вольную, просторную телом, с наспевшими клюквинами сосков на неохватной развалистой груди.

— Ложиться будешь иль так до утра решил сидеть? — окликнула Люба и, вдруг застеснявшись своей наготы, с трудом сдерживая слезы, скользнула в хрустящие простыни.

— А я к ней на крыльях, а она... Слышь, Василист-то... к себе деда позвал жить. Он же хамло, живьем старика съест.

Люба не ответила, слушая, как в подушку стекла первая щекотная слеза... Ой, дура, глаза в краске, новую наволочку всю измажу. Ну чего ты томишься, как не родной приехал?.. Горло перехватило и невыразимо грустно и неприкаянно стало в нахолодевшей огромной избе: за стеной глухо откашливалась свекровь, сипела враскачку, задыхаясь, шлепала босыми растоптанными ступнями по крашеному полу и вновь затихала, наверное, прислушивалась с подозрением к окутавшей ее тьме; над головой тонко скулила собака; в летней горенке с больной надсадой, словно умирая на каждом выдохе, храпел дядя Михайло. Все сами по себе, наглухо разделенные сном и вроде бы навсегда чужие и непримиримые. Да и возможно ли вот так сразу положиться друг на друга и породниться душою, лишь заимев, быть может, по странной случайности, общие стены, одно житье и совместный стол, если внутри пока не созрели и не переплелись натуго ростки кровного единенья и признанья.

Розовый ночничок причудливо выхватил из темени сугробно светлеющую кровать с брусничным пятном атласного стеганого одеяла и угол громоздкого платяного шкапа, за откачнувшейся створкой которого затаился Степа, нахохленный, вроде свиристельки, с коленями, задранными к самому подбородку, и перьями тонких льняных волос, беспорядочно осыпавшихся на вскинутые плечи. Слеза вновь затуманила Любин глаз, придавленный подушкой, ресницы хлипко слиплись, и муж, затушеванный сумерками, почудился ей призраком, наваж-

дением, неизвестным образом проникшим в ее запертую горенку... А ведь ждала-то Степушку, как избавления от внутренней досады и маеты, и впервые так хотелось высказаться ему, откровенно открыться и вслух, стыдливо замирая, вдруг предположить о самом тайном, что вроде бы наметилось под сердцем с нынешней недели. Но как поделишься сокровенным, если он, как бука, словно идол, уселся за шкапом и еще словечка доброго не выронил. Люба неожиданно всхлипнула и замерла, сглатывая проливные слезы. Степа напрягся, заскрипел стулом:

— Я, можно сказать, на крыльях летел, а она и не рада...

Он раздевался медленно, будто каторжник иль подневольный какой, приведенный сюда силой, подавляя в себе протяжный стон. Грузно пролез к стенке, отвалился к самому краешку постели: все в нем захолодело, опустилось, и каждое Любино прикосновение было неожиданно неприятно ему.

— Ну чего ревешь-то... Не реви давай.— Буркнул нехотя, но голос, однако, дрогнул, и рука, словно бы против воли его, нашарила скрипящую репинку груди, властно сжамкала ее. Люба обидчиво дернулась, но тут же и покорилась желанно, порывисто вскинутая тайной пружиной, дрожливо приникла к Степушке худеньким доверчивым телом.

— Ой, Степа, Сте-па-а!..— вдруг вскрикнула протяжно. Лицо ее сразу оплыло от слез, подурнело, и набрякшие глаза потухли, когда она, приподнявшись на локте, пыталась высмотреть мужа, а тот все прятал, уводил взгляд к стене, к пятилистному венчику цветного стекла, на самом донце которого, возле крохотной лампочки, сидела старинная засушенная муха: граненый ночник горел прерывисто, по гнутой рюмочке розового цветка свет растекался волнами, и казалось, что крупная осенняя муха бесконечно кружится по склонам желанного прозрачного заточения.

— Сте-па-а, что с тобой? Ты приехал совсем чужой...

— Ну брось, с чего взяла,— лениво притянул к себе, скучно обласкивая.— Ну и титехи у тебя, с грецкий орех, поди? — Настроил себя на вольный тон, уже неслышно воспламеняясь от ее сухого нервного жара: да и не каменный же человек, из живой, ненасытной плоти сотворен. Круто отбросил одеяло, по-хозяйски: голубенькие ключицы выпирали, и в ложбинке меж откинутых грудей

трепетало родимое пятно с горошинку.— Я ж к тебе летел, можно сказать. Мила... я,— поперхнулся, едва не выдав себя, прикусил на языке другое имя,— милая ты моя.

«Господи, да что же это со мной? Будто тону я, засасывает, скручивает всего — и не выплыть. Милка, стерва, околдовала, житья не дает. Повеситься хотел, и вышло бы — до невозможности душу окольцевала, игруля рыжая». И ревностно, горько встает не столь уж далекий день, когда пришли сватать рыжую Милку. У тех обед, суп хлебают, за стол не пригласили. Встали на кухне, Параскева за сваху, матицу не перешла, в пояс склонилась: «Я пришла не стоять, не сидеть, а за добрым словом, за сватовством. У вас есть дочи Милия-княгиня, у нас парничок Степан — князь родимый. Нельзя ли их вместе свести да род завести? Дуть ли на ложку, хлебать ли уху?» Мол, согласна ли ты, девка, замуж пойти да совместную жизнь завести себе на радость, людям на посмотрение. А невеста вдруг наотрез: «Не дуть, не хлебать...»

И дома заревел вдруг Степушка, не стесняясь матери, наверное, в последний раз тогда плакал он, мучая ослабшую душу горькой обидой. «Люблю ее...» — «Выбрось из головы рыжую лягушку». — «Не могу без нее, люблю — и все».— «Ты посмотри, сколь она страшна, околдовала тебя, у нее и ноги-то кривы. Неужто другой, покрасивше не найдешь?» — «Чего ли с собой поделаю, не могу я без нее».— «Ну и дурень. Поди на поветь, там веревок много, выбирай любую и на моих глазах давись.— Побежала на поветь, вожжи с крюка сдернула, бросила на пол в ноги сыну.— Попили вы из меня кровушки. Ночей недосыпала, куска недоедала, вам оставляла, все думала, в люди выйдете».

...Ветер народился, порывистый, с потягом, шелестел в пазах, и плохо обмазанные летние рамы хлипко вздрагивали. В печной трубе сыпалось на вьюшку, в верхнем жиле у Феколки Морошины скулила сука, плохо обласканная хозяйкой. Любина голова приловчилась на сгибе Степиного локтя, от жестких вороных волос пахло земляничным мылом, да и вся-то жена угрелась возле, обвилась, щекотно дышала в щеку. И расслабилось у парня под самым сердцем, отлегло, и, как наваждение, прощально прояснилась Милка, тугощекая, с фарфоровой белизны вымороженными глазами и напудренным неза-

висимым носом: рыжая стерва, как бы сказала мать, и ничего-то в ней, лахудре, приличного.

— За что полюбила-то, слышь? — спросил виновато, едва слышно, ему было боязно громким словом нарушить в себе блаженное состоянье.

— А ты?..

— Ну я-то, предположим, знаю за что.

— А я не знаю. Полюбила, и все. Увидела — и что-то дрогнуло во мне. Думала, только в книжках с первого-то взгляда... А тут увидела тебя — и дрогнуло. Все в тебе любо: и голос твой, и волосы, и спина гладкая... ну как сказать. — Люба нашептывала шелестяще в самое ухо, и, скосив взгляд, Степушка увидел ее расслабленное матовое лицо и влажные смородиновые глаза, омытые радостным светом, в глубине которых розовой мушкой плескался отблеск стеклянного ночного цветка.

Степа не ответил, притворился спящим. Ветер за окнами полоскался все реже, и когда откатывался он за деревню, в подугорья, в сиротские, продутые сквозняком предзимние наволоки, сгоняя последнюю почерневшую сенную труху и подметая остожья, а после опадал в промоины и бочажины, за увалы и раменья, остужаясь в кочкарниках и болотистых радах до погибельного кислого тумана, то здесь, в обжитом миру, становилось так глухо, так тихо, как бывает лишь перед первым хлопьистым снегом: в такие мгновения небо опускается о самую землю, словно бы замиряясь и по-доброму сговариваясь с нею о грядущей зиме, и где-то перед полуночью из прохудившейся овчинной рукавицы сеятеля вдруг с тихим шорохом безвольно вываливается пробная пригоршня снежин, оставляя позади себя длинные косые тени. И тогда обморочно млеет земля, не зная, то ли радоваться ей, то ли горевать, и всякий болезный человек, внезапно проснувшийся, услышит свое крохотное вспугнутое сердчишко, раскачавшееся посреди леденящей пустоты.

А на стене робко цвел аленький цветочек с окостенелой мухой на стеклянном донце возле раскаленного пестика; кто-то просился в дом, натужно дыша и царапаясь за оконницу; сыпалась в печной трубе обгорелая кирпичная пыль; и смятенная душа, настороженно ловящая каждый ночной звук, упорно бежала от сна и покоя.

И хоть воздух в горенке настыл, душно казалось Степе: мысленно он все возвращался к Милке, и, как призрак, летучее видение, прояснивалась вдруг двинская изба, залитая холодным лунным светом, раскинутое обнаженное тело на сбитых простынях и желтенькое неровное сердечко в нижней филенке двери под змеисто граненым стеклом.

— Интересно, причуда, что ли? В двери сердце выпиливают.— Неопределенно спросил вслух, глядя в далеко откачнувшийся потолок, оклеенный белой бумагой; плохой потолок, скучный, ни одного-то зверя иль странного чудища не выглядишь на нем ранним утром, когда распахнешь глаза, лениво выбираясь из сна.

— Где видел? — запоздало откликнулась жена.

— Да у одних...

— Наверное, чтоб воздух шел.

— Да не-е, тут другое. — И вдруг осенило Степушку, взволновало.— Слушай, а может, чтобы греха особого ни-ни, а? Чтобы и в любви человечьего облика не терять, не звереть, меру соблюдать? Может, как напоминанье, что на миру не один и за всем народом кто-то следит? Да не-е... пожалуй, это бред собачий.

— Вот и сделай для Параскевы Осиповны, она любит доглядывать.

— Ты на мать зря бочку не кати. А вообще, это мысль. У тебя ум-то учительский, ты всегда все вовремя подскажешь.— Оттаял, потеплел, тяжело привалился к жене, влажной ладонью обегая ее девчоночью худобу и тиская седелком прогнутую спину.— Каждый позвонок наружу. Как бы мать сказала — уж лишнего мясца не наросло на тебе, девка, не-е. Целовалась-то много? — спросил подозрительно.— Смотри, губы припухлые, обсосанные.

— Дурак...

— Наверное. Слушай, а может, особый смысл тут, в дверной дырке этой. В любви сердцу тесно, душно ему, простора надо. А тут лети-и. Сердце за сердцем, как голуби, в небо. Помиловались, надышались — и снова в постели. А что, мысль... Я представляю: два сердчишка, мое, — Степушка сжал костистый кулак с широкими сплюснутыми козунками,— мое и твое, кро-хот-ное... Все дрыхнут, а мы наперегонки. Кто-нибудь пальцем покажет: вон, гляди, скажет, спутники в небе летят. А мы: хи-хи-хи. Нам ведь все будет слышно.

— Ну и дурачок ты, плетня-егоровна. Ребенок совсем, такой родной ребе-нок,— сказала замирающим грудным голосом, словно бы проваливаясь вдруг в бездну и пугаясь той любви, которая внезапно открылась ей.— Милый, ми-лый ты мой,— заплакала Люба тихо и благодарно. Так в слезах и заснула, неожиданно и счастливо.

Степушка еще долго маялся, выходил во двор, сквозь расщелины в крыше неслышно сыпалась пороха и щекотно ложилась на лицо. Потом пригрелся, приобвык возле жены, часто и недоверчиво касаясь ее нахолодевшего обнаженного плеча, и только забылся, как одолило наваждение, дикое и взаправдашнее. Будто бы голый бежит он по пустырю, сзади улюлюканья, свист. Лампа под жестяным тарельчатым колпаком, обтянутая проволочным панцирем, со скрипом раскачивается на столбе и волочит за собою дегтярно-темную тень, в которой кто-то таится, зоркий и жадный. И вот окружили парни и девки, потные, злые, скучились на грани зыбкого светового пятна, а он-то, Степушка, на самом виду совсем растелешенный, иззябший, скукожился, ладони пригоршней, где стыду-то быть полагается. Тут из свинцовой тени под фонарь выскочила Милка: у нее почему-то вставные челюсти вываливаются на нижнюю губу, и она запихивает их языком. «Парень, ты почто не жениссе?» — кривляясь, спрашивает девка чужим, вроде бы тетки Матрены, голосом и хохочет навзрыд: гы-гы-ы.— «А кобылы моего возраста все подохли, вот и не женюсь».— «Ну и гопник, ну и щекан. Да ты почто не жениссе?» — «А женилка не выросла».— «Это мы сейчас проверим, мы сейчас глянем», — и тянет ладонь, а в ней щипчики сахарные из нержавейки — хруп-хруп... И в страхе необыкновенном кинулся Степа снова в темь по обмерзшей комкастой дороге. И вдруг родимое домашнее крылечко, а ночь — ни зги, хоть бы с маковое зернышко света. Не нашарив скобы, потянул в ознобе дверь за войлочную обивку, подумал: «Тут-то я дома и спасен». А дверь распахнулась готовно, и Степушка нутром понял, что в черном провале его ждут с топором. И он, сминая в горле надсаженный крик, обреченно сунул голову навстречу вознесенному обуху, ожидая смертного удара. И одна лишь запоздалая неловкая мысль: вот сбегутся зеваки, а он на полу растелешенный, в чем мать родила, в луже крови, стыд-то какой...

Степа тяжело вскинулся, захрипел, и Люба просну-

лась. Ночь, наверное, доживала, скудный розовый родничок сочился из стеклянного лона ночника, и в середке комнаты скопилась лужица света; а в углах еще таилась темь, там глубь стояла, и над мрачными, казалось, бездонными погибельными парусами мерцали неясные сполохи. Зато в нагретых умятых перинах, перо к перу нащипанных ловкой рукой Параскевы Осиповны, да под стеганым атласным одеялом было так ли мирно и покойно, что Люба вновь с желанием и умиротворением сомкнула веки; но, полежав так, она к своему удивлению обнаружила, что вроде бы выспалась. И посреди глухой тиши на своем розовом островке ей вдруг так захотелось доверчиво поговорить с мужем, и она, еще не поворачивая головы, жалобно позвала: «Сте-па-а...» Но тот не откликался, спал разметавшись, и тягучая слюнка выкатилась из полуоткрытого рта; лоб страдальчески наморщился, и по скуластому похудевшему лицу, по нервным закрылкам висловатого носа метался затаенный замирающий всхлип. Люба уже с пристрастием, ревниво всмотрелась в мужа и поразилась, как изменился он обличьем за этот месяц. Но тело было прежним, знакомым до каждой западинки и укроминки за пушистой раковиной уха: от складной широкой груди с крохотными шоколадными сосками пахло родным потом и березовой горчинкой, и, любя его всего и желая, она зовуще ткнулась носом в щекотную влажную подмышку. «Те-па-а»,— позвала она снова, готовая играть и любить. Но он бормотнул что-то и отвернулся. И, разглядывая мужнюю узкую шею с косицами льняных волос в ложбинке, Люба вдруг каменно напряглась вся, стараясь подавить наплывающее тоскливое одиночество, а после ослабла, отмякла и готовно, посиротски заплакала...

А к утру выпали слепящей белизны нежилые снега.

20

Снега настелились ватно, воздушно, без обычной голубой искры и тени, и где-то к полудню, когда льдистые облака распехало верховым ветром по-за леса, с исподу намокли скоро, осели, и сквозь стала смутно просвечивать истомившаяся земля. Без поры выпал снег, не ко времени, скорее, как вестник недалекой зимы.

Первым на выбелившийся двор степенно вышел Василист, голый по пояс, одинаковый что в пояснице, что в

плечах, кинул на пухлую грудь пригоршню снега и притворно, по-бабьи, заохал, растирая мясистый загривок и часто оглядываясь на окна. Тонкая прыщеватая кожа нежно зарозовела, как у хорошо обихоженного кабанчика, тело набухло и лениво пока, сонно заиграло: большая скопилась в Василисте сила, но потайная, скрадчивая, большевесая, и внешне вроде бы отекшие плечи, и мясные руки, и сплывший на широкий солдатский ремень живот не показывали хорошо скроенных, одетых в легкий жирок мышц. Взлягивая дурашливо, засеменил к овечьей стайке, на ходу накинул солдатский ремень на шею, и окорока в отвисших застиранных штанинах упруго заколыхались.

«Во жеребец-то, любить твою бабу,— с невольным уважением подумал Геласий Созонтович, украдкой надзирая в окно, и с надеждой решил вдруг, что ему, пожалуй, у внука заживется.— Это на ем ездить и ездить. Сила-то играет, дикомясая». Кира, хозяйка, плавала у печи, вальяжная, широкая. Была она не своя, привозная, выросшая на пышном кубанском хлебе, сманил ее Василист, когда дослуживал армию: волос на голове прямой, плотный, рано поседевший у корня, собранный вальком на темечке; глаза рачьи, с алой паутинкой в голубоватых белках; над клюквенно сочными, еще не выцелованными губами черные жесткие усики. Дородная, на полголовы выше Василиста, она покроем тела и повадками стоила мужа: взошли, выросли друг от друга бог знает где, за тысячи верст, и надо же, отыскались, сбежались к своему часу, словно бы судьба долго готовила их для расплода, для племени. Голос у Киры грубый, с хрипотцой, и когда она волновалась, то кричала распаленно, никого не слыша. Торговала Кира в лавке, и деревенские бабы ее боялись и заискивали.

— Киса-то расшалився,— отмечала она, мельком взглядывая в окно.— Котик-то мой мордастенький расшалився.

А у Геласия Созонтовича каждая косточка выболела еще с ночи, и голова кружилась, позывала к подушке: но не в своем дому, не распластаешься, когда душе охота, живо сноха скомандует. В кухне около порога поставили Геласию пружинную койку, и он зажил виновато, еще не привыкнув к новому состоянию примака и бобыля. Да и какой тут сон под чужой крышей, когда каждая железка норовит под ребро и нет покоя худосочному безмясому

телу. Ночью он долго ширил глаза, а когда забывался, то часто всплакивал без слез и потому просыпался. Наверное, костьми услышал он, как пошел навальный снег, посыпал споро, с разбегом, шурша о стекла; и когда под утро улеглась поносуха, темь в кухне сразу ослабла, разбавилась с улицы отраженным льдистым светом. «Вот и дожился,— бормотал старик вслух,— как кукушонок ныне, как шиш лесовой, где приткнусь, тут и радый господу богу, что приют дал. А так ли жил, ой-ой. Да и то благо, и то утешенье, что в своей деревне, у своего погоста. А подайся к дочерям, чужие тараканы заедят, внуки изведут нытьем. Тут-то, может, и повезенка, на родной сторонушке...»

Ели долго, молча. Фланелевая рубаха у Василиста закатана по локти, веснушчатые руки покрыты золотистым волосом, и потому ладони от толстых неохватных запястьев, бурые и потрескавшиеся, казались чужими. Хлеба и мяса Василист откусывал помногу и часто, нажористый, ествяный был мужик, плотно наедался, словно бы на неделю. Порой взглядывал жуковатыми глазами по застолью, неожиданно и резко уросил головою, точно сгонял надоедную муху, и, знать, все подмечал, все вылавливал, ничто не ускользало от его притаенного досмотра. А Геласию нынче какая еда: чашку чая да ржаного сухарика повозил в блюдце — вот и сыт, посудинку опрокинул донцем вверх и глызку сахару, обсосанную, ноздристую, сверху положил. Только подумал с грустью, что вот рыбки бы свеженькой охота, а внук уж поймал затаенную мысль:

— Ты бы, дедо, сеточку кинул, разок помочил в реке. Глядишь и ульнет дуриком. С тебя инспекторам какой спрос...

— Не... Я, милок, свое отрыбалил. Я свою рыбу взял, любить твою бабу.

— Ну, гляди...

Геласий не заметил, как нервно дернулась сноха, скривила усатый рот и локтем отодвинула чашку. Василист, разморенный едой, глядел сыто, лениво, размывчиво, и старик, обманутый масленым обличьем внука, вдруг с надеждой решил, что если попросить хорошенько, то с избой может все обойтись, и рушить, чего гляди, ее повременят.

— Слышь, милок, может, погодите с избой-то? Далась она вам,— заискивающе глянул поверх очков.

— А чего годить? Тебя никто не неволил. Сам согласье дал, так чего же ты, как навоз в проруби. Нет, правда, чего годить-то, ты подумал дурной башкой? — вдруг взволновался Василист.— Иль опять винтик за винтик? Чтоб мне эти разговорчики, слышь? Тебе у нас плохо? Нет, ты скажи... Тебе плохо у нас? Еды до отвала, тепло, покой. Дочери родные, сыновья, можно сказать, кинули тебя, а я не-е. Я родню уважаю.

— Да я так, к слову. Своего-то жалко.

«...У дочерей, конечно, житуха не в пример лучше. Покричат да и отмякнут: своя кровь,— вслух думал Геласий, выходя на крыльцо и жмурясь от снежной светлыни. Слова копились больные по смыслу, но произносились вчуже и не вызывали прежней тревоги и печали.— Чему бывать — того не миновать. Раз решил, что жить надо, то и путайся на земле на матери».

Еще днями ранее (возле Полиной могилы) зарубцевалась рана, запеплилась обида, словно бы веком ее не бывало, и дух Геласьевый, прежде постоянно всполошенный, не мельтешился более. Крепи грудные на месте, и сердчишко отзывается на каждый натужный шаг колотьем и одышкой, просится наружу, и все-таки до студеной оторопи ныне пусто и ровно внутри, где прежние годы жила тягость. Так случалось с ним и ранее, но изредка, когда снилось, что умирает будто... Поехать-то, отчего бы не поехать, рассуждал сам с собой, направляясь неведомо куда. Накормят, напоят, слава богу ныне куски не считают, изо рта не вырвут. Ну, а если помру? Они же сюда не потащут, стомоногие, сроют старика в чужу землю. Вот где закавыка. Дескать, с самолетом возни столько, ухлопаешься, да и в копейку влетит. Скажут, эко у покойника галенье, какое различье, где косью гнить. Вот и упехают, Ксюха — та живо упехала бы на чужое кладбище. А я наведи поди контроль за има, коли мертвый буду: с того света голос не подымешь, не проникнет до их тогда мой голосишко, сколько ни вякай. Как ли тут перемогусь, недолго и коптеть, может, завтра и край. Зато возле Полюшки возлягу, поди заждалась. Ох ты, сердешная...

Снег, высоко выпавший, еще крепился, но остья жесткой травы и будылья конского щавеля распрямились, заскрипели, и всякого мусора и невидной глазу пыли скоро нанесло откуда-то и натрясло, и первая белизна недолго сияла. Редкий следок напечатался по мосткам,

словно бы гипсовый, вечный следок, подробный и чужой. Небо раздернулось, потянуло жиденькой синевой, солнце проклюнулось робкое, латунной краснины, без света и тепла. Там, в занебесье, осень, смирившись, уже поклонилась зиме, но здесь, на земле, люди еще не знали о том и планировали свою жизнь по прежнему уставу до той поры, пока жареный петух в задницу не клюнет. Выморочно было, нерадостно, дым сажно сеялся над забелевшимися крышами, пачкая их, и только глупый воробей, сбившийся к жилью, весело купался в снегу и перетряхал перо. Геласий снял очки и, опасливо завесившись щетинистой бровью, тускло глянул на солнце, и оно не опалило, не ошеломило его: ничего, кроме ровного медного блеска, не высмотрел он, ни тени какой-то неземной, ни плеска крыл, ни вещего знака — пусто все и плоско. «Такое пространство, такая горняя вышина — и неуж впусте? Может, зря и стремимся?» Он перевел взгляд ниже, а там все знакомое, живое, свое будто, но столь же необозримое с деревенского крутогорья: черные леса, вздыбившиеся неровно; смутные проплешины дальних Дивьих холмов и пустых пожен; продутые насквозь поскотины и поля с золотистым отсветом жнивья; бережины, густо обросшие рябиной, еще не опавшей, призывно пылающей над снежным наплывом. «Так сколько воли кругом»,— изумился Геласий, впервые обозрев землю и небо разом, ведь раньше-то до того ли было ему? Узкоскулая лодочка, рябь свинцовой иль зеркальной воды, неутомимо и бесследно утекающей; руки, зачугуневшие от векового полосканья в реке; рюжи, пустые, в черной коре мелкой водоросли, иль полные до завязки серебристым хариусом; сетки, невода, поплави, верши, ижи, самоварного блеска блесенки; вытертый, истончившийся от ладоней пехальный шест; штаны, вечно сырые до огузья, отчего и прозвище прилипло; пробежистый огонек костра под елью; редкая побывка в дому возле почужевшей жены; и снова озерный лов, пудовая пешня, готовая вырваться из рук, мертвое безмолвие снегов, бочки, до самого краю закатанные щукой и окунем, сигом и семгой, лещом и сорогой. Осень, зима, лето. Год за годом. Плечо, скошенное от тетивы и вечная мозоль на нем, похожая на вздувшийся застарелый рубец, и кожа на ладонях чужая, отставшая от кости, дряблая, изъеденная водой и рассолом... Сколько же он достал на своем веку рыбы, сколь-

ких же людей на свете он выкормил, совсем чужих, никогда не виденных, может, живущих на другом конце России, в скольких же людях отозвалась добрым воспоминаньем его, Геласия Созонтовича, работа, ровная, разумная, без малейшего каприза и до самого телесного износа. Жил вроде бы сам по себе, угрюмоватый, обиженно замкнувшийся бывший георгиевский кавалер, но оказывается, до самого конца он окручен прочим народом, коего никогда не видывал и не знавал. Не чудно ли это и не велико ли это — таинственная и животворная связь меж всеми? И ведь он, Геласий Созонтович, тоже чью-то милость и труд бездумно пользовал, когда табачком затягивался, хрустким, запашистым, согревая иззябшее нутро; или солью пересыпал закоченевшую рыбу; или ситчики привозил из рыбкоопа бабе своей в подарок, а та в сарафанишке цветастом крутилась после и хвалилась своею статью, позывая на любовь; иль прикладистое ружье вскидывал на птицу; иль рушил пусть и черствый, закаменевший, но сытный и спасительный хлеб. Нет, не думалось никогда Геласию Созонтовичу об удивительном родстве многих людей, но отсвет постоянной благодарности и приязни, неслышно поселившейся в душе, помогал ему жить. Да и попробуй же думать о таком взаимном одолжении, и самые черные мысли закрадутся и полонят голову, и отравят бытованье: а верно ли тебя другие отблагодарили, да все ли тебе отплатили за работу, с равною ли силою те, другие, исполнили свое назначенье? От таких мыслей можно и осатанеть, и возненавидеть ближнего, и тогда черная зависть одолеет тебя.

«Сколько же воли кругом, ошалеть можно от экой-то воли,— думал Геласий.— Может, боимся воли, вот и скучились, друг к дружке лезем, допираем, изводим, спокоя не даем. Ну сгрудились, смешались — ладно, без этого какое житье, даже зверь в стада копится. Но зачем допирать друг друга, торопить существованье? Зачем жизнь-то торопить, это же грех великий. И ранее было, чего таить: в иных семьях родителя-батюшку изгоном гонят, но уж не слыхивал, чтобы какой-то старик при живых детях в сиротстве помер. А нынь как... Кинут отца-матушку, подадутся в Россию, и вовсе забудут род свой и корень, и не озаботятся, как-то там родители сиротеют, да не одолела ли их нужда и немощь. У меня, слава богу, сыновья и дочери удались, и внучек вот не ославил фамилию, сам к себе пригласил, пойдем, гово-

рит, ко мне жить... Ныне дома призренья в почете, старушонок, кои без догляда, свозят туда, и там они со вниманьем. А детям-то, должно быть, каково? В них кровь-то должна почернеть в жилах и простоквашей свернуться. Но и то сказать: не осуди сгоряча, может, и сами где-то ютятся в комнатешке да при малом заработке. И я бы, пожалуй, подался в сиротский дом, если б по смерти здесь положили».— «Ишь, чего захотел. У тебя пензии нету, Мокро Огузье, не выслужил. Тебя не примут»,— раздался чей-то голос за спиной, громкий, молодой по силе. Оглянулся Геласий — никого, от испуга шапка на голове поднялась, но против желанья возразил старик никому: «Не заробил, это верно баишь. Всю жизнь в мятке, отдоху не знал, а не заробил. А я и не хочу на даровы харчи, я же невзаболь сболтнул. На шиша он мне сдался, инвалидный дом ваш, да я и силком не поеду, у меня внучек, у меня дочери со вниманьем, все зовут: тата, поедем, да, тата, поедем. Я про другое веду речь, я про волю веду речь, слышь, непутевый? Говорю, воли-то сколько вокруг, миру-то сколь, а веселья нету...»

Старик не замечал, что говорит громко, размахивая руками. Посторонний голос перестал донимать его так же внезапно, как и появился вдруг, да и ноги сами собой принесли к родному печищу: прежние мысли сразу забылись, все померкло вокруг, и Геласию почудилось, что он пришел на собственные похороны. Мир, воля, родство отстранились и пропали; лишь заброшенная перед самой кончиной изба, обреченно ждущая смерти, да хозяин ее и остались еще на опустевшей земле.

За долгий век свой изба подалась к улице, в землю вросла венца на два, и крыша сползла набок, а в замшелых потоках, куда натрусило с годами праха и семени, неистребимая ива выкинула зеленый стебелек и живуче закустилась над извивом затрухлявевшей курицы, подпирающей сточный желоб. Даже мертвое дерево, оказывается, дает побег, когда приходит время ложиться ему на долгий отдых. Долго ли пустел дом, ну неделю, никак не больше, а уже начисто высадили стекла, и даже кто-то пробовал ради проказы оторвать карниз, но, надсадившись, отступился. Безглазое жилье выглядело сейчас особенно дряхлым и чужим: словно бы все время крепилось, бодрилось, ширилось неохватными лиственничными бревнами, выгибаясь грудью над палисадом, а без хозяина сразу надломилось, понурилось, сдало ду-



шевно и быстро обнаружило свои настоящие годы. Вступил Геласий на крыльцо, и первый же шаг оказался памятным. Когда с Полюшкой возвращались из сельсовета, мать встретила на верхней ступеньке, стояла в нарочито затрапезной одежонке, в какой скот обряжала, и в черном плате шалашиком по самые глаза, будто монахиня. Глянула она невидяще поверх голов и на всю-то улицу, для людской потехи и посмешки, теша свой норов: «Не дам божьего благословенья... не дам» — и перед носом хлопнула дверью...

Красное, парадное, гостевое, княжее крыльцо избы,— что нос на лице, с той лишь разницей, что обличье от судьбы зависит, нос не выберешь по своему хотенью, а крыльцо — от хозяина. С носом ведь вообще причуда: у иного ума палата и всем прочим вышел, а природа будто в насмешку такой баклажан навесит — хоть стой, хоть падай; а другой опять же дурак дураком, всех ослов на него навешай — не ошибешься, и глазки-то у него поросячьи, и брови рыжей метлой, а нос угодит греческий, с крохотной благородной горбинкой, хоть сейчас же приз давай; иную вывеску трудно и лицом-то назвать — так, яблоко печеное, но бог даст ему такую носопырю, такую волосатую редьку, какая лишь впору бродячему разбойному атаману, коему, быть может, досталась в наследство пипочка не более картофельной бородавки. Да, природа насмешлива и крута в своих повадках и причудах — это и есть судьба, от коей не отвертеться, будь ты хоть семи пядей во лбу...

Ну, а крыльцо выдает не только достаток в житье, но и хозяйский норов, его расположение к человечьему сословию. Смешно будет, коли к избенке, похожей на воронье гнездо, крытой березовой дранью, с волоковыми оконцами и топящейся еще по-черному (таких, слава богу, народ нынче не видит, но еще в начале века они водились по берегам таежных рек), да придать княжее крыльцо сточеными балясинами, с полотенцами и прочей резной канителью, наведенной умелой плотницкой рукой: тут уж каждый кому не лень обсмеет и тыкать начнет прилюдно пальцем и крутить у виска — дескать, ну и дурак человек, без царя в голове.

Созонт похвалебщиком был великим на деревне, он и избу в два жила поднял, оконца хоть и не великие, но каждое в восемь стекол с тетрадный лист, карнизы свесил витые, фитюлька к фитюльке,— убил не один вечер, и три полотенца спустил, навел длинный сквозной узор из солнц, и ставенки посадил на шарнирах; но не хватило у мужика характера на князек, чтобы достойно избу завершить, да на крыльцо. И так случается порою: все приспособит человек в хозяйстве, останется лишь деревянную спицу забить у двери, чтобы было куда шапку накинуть, но так всю жизнь и не соберется, не найдет времени на этакую малость. Подобное случилось и с Созонтом. Увозили его в Вазицу шкуну шить, и в спешке запазил мужик три здоровенные смолевые плахи, сверху

шатровым навесом прикрыл от дождя — вот и гостевое крыльцо, милости просим. Потом уж, когда охладел к дому, рассуждал: а так выгодней, ближе к земле, ловчей падать, коли во хмелю придется. И угадал, как в воду глядел, от сыновьей руки пришлось лететь: грянулся он тогда о землю, приподнял тяжелую от вина голову, сказал только: «Ну и сын» — и тут же уснул под изгородью.

Выстояло крыльцо свой век: отсюда и мать снесли на погост, и отца, сыновья и дочери друг по дружке покинули дом, а после и Полюшка, через проклятье впервые взошедшая на него, отплыла на родовой жальник. С него и Геласия однажды свергли обидно: пришел забирать после драки с Разрухой вазицкий милиционер Ваня Тяпуев (сопляк-недомерок, но при власти) и без лишних слов ударил в бровь чем-то тяжелым — наверное, наганом (с той поры жив белесый шрамик), а после отвел в холодную и больно навозил по бокам. Знать, сила силу берет: из века в век так ведется. В году пятьдесят шестом встретил его в Архангельске. Потяжелел мужик, глаза холодные, шильцами, но руку первый подал. Спросил его Геласий: «Ты зачем меня пинал тогда?» — насупился, а глаз не отвел: больной взгляд белесоватых глаз, на дне которых вкрапились порошинки зрачков.

Куда денешься от воспоминаний? Они сильнее человечей воли и, чем дальше во времени, тем яснее встают в памяти. Теперь и эти три плахи, с которых совсем недавно свернулся Геласий и потерял лужу крови, казались высокими. С задышкой поднялся, дверь в сени распахнул и оставил настежь. Вытертая широкая лестница вела на второе жило, кованая скоба вбита у подножия. Помнится, когда, перетаскав весь скарб к себе наверх, мать мстительно понесла и черную доску Николы Поморского, но запнулась о скобу и досадно растянулась, а после от боли и горечи долго плакала, скулила на лестнице, дожидаясь, что вот-вот покажется своевольный сын и преклонит колени. Но, однако, в душе с опаской шевельнулось: значит, есть верховный над всеми нами, и он доглядает. Сидела и невольно скорбела, что так неладно все приключилось, и виноватилась тайком за недавние громовые слова. Пред этим же Николой минуту назад вскричала запальчиво: «Стою перед иконой и кляну сына: будь ты проклят от меня, дитя...» Вот и отозвалось, вот и отмстилось. А и он хорош, нечего сказать.

Уж головы не склонит лишний раз, перед маменькой не покается. Оправдывалась перед тем, кто видел все и все понимал. Чуяла баба, что близко где-то он, всеверховный, будто бы в самой ее душе и живет... На какую-то вонькую козлуху мать родную променял: мою титьку чукал, на моем молоке взошел, а тут вдруг незваный явился из горенки и дерзнул: «И ты мне отныне не мать...» Ну она погорячилась, леший дернул за язык, а он-то, Геласьюшко, зачем так больно ударил. Хоть бы разик смолчал.

Слушала женщина тишину, ждала примиренья и саму себя уже готовно исказнила за шальной язык.

Уж после, как хозяин Созонт умер, во всем повинилась перед сыном, и не было, наверное, во всем свете свекрови лучше и доброраднее ее. Пелагея, невестка, так и говорила всем на деревне: «Я за мамушкой-свекровушкой ныне, как за каменной стеной». Но зачем тогда, по какой нужде неиспепелимой меж самыми-то кровниками завелся поначалу столь громкий и неутомимый бой, кто рассудит? Ведь даже в волчьей стае мать свое дитя не даст на загрызание и ради него готова лечь под топор. А в ней, в человечьей-то породе, в любое мгновение может завестись такая порча, такую лохань помоев и желчи выльют друг на друга давно ли еще мирные сродники, такую смерть мысленно уготовят, а то и свершат, что и представить страшно...

Мертво было в сенях, запустело, только лари вдоль стен неколебимо громоздились, где прежде хранилась мука и крупы, держался печеный хлеб и коровье масло, да стояли многие ладки с жареной рыбой — в общем, те съестные припасы, без которых не живет ни один дом и коим надлежит быть всегда под рукой. Хлебный дух не выветрился еще, но уже истончился, размытый сквозняками, и душно бил в нос мышиный запах запустения. И в избе как-то скоро завелась паутинка, заткала божницу и подоконья, нежилой киселью повеяло, стужей и выморочностью, на лавки, на столешню, в разбитые окна надуло снега, и он так и не стаял. И печь, такая угревная, добрая, на пол-избы, скольких-то за век потешившая своим теплом, сколько хлебов поднявшая,— такая ли удачная получилась печь, прямо диво на диво,— ныне словно бы расползлась, и могильной стылостью потянуло от нее на Геласия. Осподи, подумал, таращась на пустую божницу с забытой цветной олеографией распятого

Христа. Давно ли будто изба кучилась народом своим и заезжим, и мать утром ранешенько, расталкивая Полю, улыбчиво задорила: «Давай, Полька, открывай калашную фабрику, крути калачи».

А нынче уж у дочерей свои девки вьют подолом, ищут ровню и друг по дружке выскакивают замуж: сколько уж Нечаевых на миру, внуков и правнуков — поди, и счет не заберет. Но где они, коих и не видывал даже? Какая девка и заедет когда с матерью, ровно чужая, покрасуется на угоре, выставка такая, побахвалится нарядом, а уж на луг не выкатит. Чтобы грабли в руки иль на покос — это уж грех нынче для них, неотмолимый грех. Ксюха-то, дочи, иногда ну зареви: «Мы тебя, тата, как фарфоровый чайничек заварной, бережем, только что пыль не сдуваем. Об нас-то кто бы так...»

И снова так тошнехонько забродила под сердцем ревнивая обида на всех, что колени у Геласия расслабленно дрогнули, и он поспешил сесть на лавку в переднем простенке, спиной чуя, как тянет снежным холодом в разбитое оконце. «Сколько их нарощено, дитешей, а я один на миру как перст. Одного обиходить сообща сил недостает. Приедут, форсят, фу-ты, ну-ты, на Ваську косятся — дескать, ну и братан, кто такого и сподобил. А он-то, Васька, один и спокоил мою старость. Думано ли? Я, говорит, не фуфло. Поди, говорит, дедо, ко мне, я тебя не пообижу. Вот Васенька какой доброрадный сказался, мне за его надо бога всечасно молить».

В провал окна, меж узловатой рябиной, Геласий случайно увидал, что к избе направились плотники, и заторопился навстречу, побарывая одышку.

— Ребята, вы как ли уж поаккуратней. Трудно ли вам,— заискивающе попросил старик, заглядывая каждому в глаза. Внук от деда отвернулся, восковой белизны звонкое лезвие обтирал о рукав, и топор неприятно поскрипывал, цепляясь за нитку.— А то дак я могу и отказаться, у меня не заржавеет. Кровать-то перетянуть долго ли, любить твою бабу,— тоскливо хохотнул Геласий, совиными глазами отыскивая взгляд внука. Василист молчал, отвернувшись, и это старика задевало.— Ты, может, и на похоронах на меня не глянешь, когда лягу-то? — нервно спросил он.— К тебе обращаюсь-то...

— Ты не гоношись, ладно тебе,— досадливо оборвал Василист,— шел бы ты домой.

— Я, внучек, тебе дедушкой буду. На коленке-то качался, дак помнишь? Я тебе, Василист, дедой буду, а ты на меня кричишь.

— Что я, дурак, кричать-то? Больно нужно,— возразил Василист и торопливо полез на крышу, увалистый, мешковатый, в низко провисших парусиновых штанах. Следом, прогибая лестницу, влезли и остальные, оседлали враскорячку охлупень, втюкнули топоры и снова задымили (знать, на высоте и курево слаже), а кто-то, балуясь походя, двинул ломиком по дымнику, и он готовно раскатился, подъяв в небо облачки рыжей кирпичной пыли. Ломать — не строить, чего там. И все это так ловко и неожиданно просто получилось, так осиротела, обезглавела изба, что Геласий и охнуть не успел.

— Эй вы, стомоногие,— не сдержался, однако, запоздало вскричал,— добро-то не переводите зря.

— Дедо, ты не жалей гнили. Труха все, елки-моталки. Труха все,— весело успокоил Степушка, всадил в расщелину пику и навалился грудью. Тесина с надрывом, по-человечьи всхлипнула и подалась.

«Труха все... ловко сказал бармалей,— покорно согласился Геласий, и снова холодная пустота отстоялась в груди.— Чего печалюсь? Я же за-ради любопытства только и живу. Мне не больно, во мне и боли-то нет».

Он обернулся, подыскивая бревешко, чтобы присесть и подавить пустоту, морозящую сердце, но тут на него грозно закричали сверху и велели уйти за калитку. И сразу плотникам стало вольно, и чувство досады и скованности, которую заглушали болтовней, рассосалось, и все захотели работы. А Василист, еще заранее проглядев избу, довольно подумал, что дров, самых жарких, и за три года не извести, да и передок фактически весь добрый и можно будет из него сообразить двор для себя. Трухлявые крышные доски сползли на снег, и изба обнажилась, разорилась сразу, и Геласий понял, окончательно решил, что возврата к прежнему не будет. «Не дали дожить, не да-ли»,— тягуче заплакала душа, и в голос, сам себе подвыл Геласий, но тут спохватился и прикусил язык. Избу ломали ловко, с азартом, Василист тут был при деле, знал хорошо, какое бревно стоит пустить под пилу, а какое по слегам выкатить на заулок. Геласий вновь на какое-то время забылся, невольно захваченный действом, но тут над самым ухом протяжно заиграла дудка, и кто-то громко, раздраженно сказал старику:

«Разве так избу рушат? Ее грибок, поди, съел всю. Огоньку пустить — и дело с концом».

Геласий оглянулся — и вновь никого. А горло подпирает посторонний удушливый ком и вне воли человечей что-то такое страшное сотворилось в голове старика, отчего вдруг поколебался разум.

— Не-е, ты зазря такое,— загорячился Геласий, не в силах сдержать себя и промолчать.— Василист дело свое хорошо ведет. Ты глянь, как он дерево чует. Василист ма-стер, от него не отымешь.

«А я говорю, труха трухой и нечего варзаться. Сколько времени убьют мужики, их же целая бригада. А домой придут — корми. Еды сколько переведут, да и колхоз плати каждому».

— Чего плати, чего плати, любить твою бабу. Дереву-то срок еще не вышел, дак его под огонь, да? Ты чего мелешь, дурак. Кругом жженье, свербит, что ли? Все бы поскорей только...

Геласий не понимал, что уж давно кричит на всю улицу и, размахивая руками, воюет с самим собою.

21

Однажды на улице к слепому Феофану подошла Феколка Морошина с тощей сукой на поводке и пожалилась с мукою в голосе, что ее часовенку навещает зверь.

— Что за зверь такой — на рысях бежит иль галопом? — серьезно спросил Феофан и, скрывая смех, одуванчиковую бороду задрал в небо.

— А бежит... чего ей, зверю-то. О четырех ногах бежит, зараза. Это ли не галенье, в часовенку штоб.

— Ну а морда, морда-то кошачья, собачья, шерстнатая морда иль голая, крысиная,— допытывался Феофан.

— Бог ее ведает, голубчик. Навроде бы кошачка такая. Глазами вот встренулись. Человечьи глаза, видит бог. Как глянула на меня, я и обмерла.

— Ты бы собаку науськала...

— Уськала, милый ты мой, как не уськать. А оне играться давай вместях, да кататься, такое ли галенье.

«Псишко какой-то пожаловал, а может, и блазнит старой»,— грустно подумал Феофан, подбирая ловкие слова, чтобы ненароком не обидеть Феколку. Поговорить слепому хотелось, ему бы только человечий голос слы-

шать, и он лишь открыл рот, дескать, успокойся, псишко заброшенный зачастил, не иначе, как сразу же понял по сочному хлюпанью галош, что Феколка покинула его. Но недолго досадовал Феофан. Ведь если встать посреди деревни — не затоскуешь: то разговористый мужик проскочит в нижний конец деревни, к гаражам; то соседке вдруг невтерпеж понадобится лавка, видишь ли, масла постного под рукой не привелось, и старуха в спешке парусит по мосткам, размахивает дерматиновой сумкой, надеясь минуткой обойтись, но уже заранее душой-то знает, что в магазин люди добрые скоро не ходят, и потому ладку с рыбой вытянула из печи на шесток; а если повезет Феофану, то и на самого вдруг угодишь, на Радюшина Николая Степановича, но, правда, с этим уже иные толки, иные повадки.

А на охотника — и зверь. Год, наверное, с председателем не знались, обиделся тот на Феофанову частушку, а тут вдруг катит навстречу. Сначала пахнуло на слепого «Шипром». Нынче весь мир для него в запахах, звуках и словах, а тут вдруг повеяло одеколоном, который пользуют на Кучеме, по признанию продавщицы, лишь двое: бывший учитель и нынешний председатель. И шаг грузный, хрусткий, со скрипом, не иначе как кожаная подметка на хромовом сапоге: кто опять же может позволить себе такую обувку в будний день? Повел Феофан шадроватым лицом навстречу шагам, и нос с порванной ноздрей направил на парфюмерный дух, и вязаную шапку с левого, особенно чуткого уха приподнял, сам весь по-детски встревоженный и несколько угнетенный от неожиданной встречи. Передавали, и не раз, что шибко уж обиделся тогда в клубе председатель на Феофанову выходку, и вот угадай, как нынче повести себя с ним. Но Радюшин первым заговорил, грубовато и вальяжно:

— А, Феофан Прокопьич, просветитель наш, светлый ум. Го-ло-ва, большая голова, не отрицай, не-не. У меня тут мыслишка было завелась. Вот ты умрешь, так мы улицу твоим именем... Разрешаешь? Улица Феофана Солнцева! Звучит? Зву-чит...

— Ну уж,— сконфузился слепой, не ожидавший подобного разговора, и лицо с пороховой гарью под натеками глаз настороженно вознес в небо, натягивая морщинистую шею: старался по голосу, по тону его определиться в высоких словах. Но вроде бы без насмешки ска-

заны: с важностью хозяйской, как и положено при таком несении должности, но без худого юмора. Так решил про себя Феофан и, смешавшись, добавил уклончиво: — И меня порой, Николай Степанович, навещает ирония нездорового свойства...

— А при чем тут ирония? Ты, Прокопьич, у меня давно на прицеле... И кстати, об иронии: тебе бы оздоровить ее, а? Какие-то разговоры на обществе о милосердии. Что у нас каменный век? Что же ты, Прокопьич, все на прошлое так и кло-нишь. О каком милосердии речь? У нас теперь жалеть некого. Может, жалко, что не пришлось ранее пожить? Сладкого мало, уверяю. Ты оставь это. Ну, мы-то с тобой еще поймем друг друга. Сошлись вот, потолковали. А другие могут не понять. Ну-ну, только ты не расстраивайся...

— И то сказать...

— Ты не расстраивайся.— Радюшин доверительно придвинулся к слепому и, чего никак не ожидал тот, застегнул верхнюю пуговицу у пальто, больно защипнув отвисшую на шее кожу. Феофан дернул головой, но смолчал, несколько обескураженный разговором: нынче председатель был иной, еще непонятый и непонятный.— Вот так-то лучше. Вдруг простудишься, а нам беречь тебя надо. Феофан Прокопьич, голубчик ты мой, оглянись-ка кругом! Ах, да-да... Куда идем, семимильными, а ты о прошлом плачешь.

— Ну что вы... Жалко не того, как жили, худо жили, чего там, а жалко того, как внутри нас жилось, спокоя жаль,— наконец-то втиснулся в разговор Феофан, но цедил слова медленно, лениво как-то, словно боялся загореться, спутаться, зряшно расплескать мысли, скопившиеся в долгие темные дни.— Прошлое не жалеть, а понимать надо, Николай Степанович, оно в нашей жалости не нуждается, потому что прошло, прокатилось, ту-ту, минуло, и ничего уж не переменишь в нем. Я-то весь в настоящем, но в силу своего состояния и иронии духа вдруг и в прошлое слетаю, кое захватил по молодости лет. Мне душевного спокойствия жаль и страшно того мельтешенья, что заселилось в нас. Куда, к чему спешим? Вроде бы один день жизни впереди. А от мельтешенья душевного и прочие беды.

— А не спешить если, куда успеешь? Жизнь-то: три шага шагнул, и уж бездна. Вот и спешит народ жить, для других, кто будет впереди, спешит.

— Ну дом, завод — дело наживное. А душу человечью какую отправим в будущее, в котором обличье? Каменном, железном, пластмассовом или живом, болючем? — Даже палец вскинул Феофан и пророчески потряс перед Радюшиным, едва не покорябав тому нос. Хорошо, успел отшатнуться. Худой, длинный, в шерстяном полосатом колпаке и двубортном драповом пальто, наглухо запахнутом под самым кадыком, слепой выглядел смешно и нелепо. «Дикая Кучема»,— подумал председатель, глядя на старика.

— Тихо ты, меня не убей,— сказал натянуто и онемело.— С тобой говорить — что в ступе воду толочь. Человека накормить сначала надо! — Зло выкрикнул, не сдержался, однако.— Бродите тут, словами трясете. Накор-ми-ить на-до-о... Дело делать надо-о... А они словами трясут.

5. НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ФЕОФАНА СОЛНЦЕВА (ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ, СТР. 26)

«...Когда немощь одолевает тебя и ты уже не нужен, удивительно быстро забывается все сделанное тобою ранее. И уже снисходительность в тоне, попреки, словно бы вечно ты был дармоедом и суесловом и никогда в молодых списках не значился, а вечным старичишкой определен на сей свет от рождения. Родился старичишкой и прожил старикашкой. Грустно? Грустно... Но были когда-то и мы рысаками. Уже самому порой не верится, так каково нынешним уверовать в то. Обидно порой, ой обидно за человечью забывчивость. Но видно, всему миру нужен человек лишь в самом соку. Вон даже в бору взять: дерево с виду вовсе живое, но внутри гнильца завелась — тут и подрубит его ветром, чтобы подросту воздуху хватало. Согрелся, ужился под мамкиным подолом, а теперь простору дай...

И вообще, как понять желания, что руководят человеком? Бабка нет-нет и корит меня: дурак, говорит, ты, дедко, от большой пензии отказался. Что тогда подвигнуло мною, какая причуда, когда я сам над собою, выходит, надсмеялся? Прислали бумаги заполнить на заслуженного учителя, а я сверху размахнулся красным карандашом: «Тяжела ты, шапка Мономаха» — и ото-

слал почтой обратно в роно. Что за странная ирония порой навещает меня? Может, еще кто-то неведомый сидит в нас и руководит нами? Каким мелкоскопом, в каком зеркальном отражателе выглядеть того, второго? Если б знать его и руководить им, не поддаваться на подвох, наверняка куда бы меньше глупостей натворил человек. Может, тот, двойник, что всякие пакости творит, и есть черт рогатый?

Странные мысли все более навещают меня и, пребывая в постоянной темени, устремляю себя к единому: лишь бы в разуме устоять. Все думается отныне, что главную-то жизнь человек проживает не на работе, а в себе. Какая немыслимая та, скрытая в нас, жизнь и сколько в ней причуды; если бы хватило таланта ее описать, то в какую богатую, необычную по своей проказливости, и хитроумности, и переживательности страну мы попали бы тогда. Достоевский почти вторгнулся в ту, иную, жизнь и описать смог; и какая она оказалась отличная от явной, боже ты мой...»

22

— Ты бабу свою, елки-моталки, поди, не бьешь? А ты поколачивай. Хоть раз в неделю, но учи. Против шорстки ее, против шорстки, елки-моталки. После благодарить будет.— Тимоха Железный бормотал за спиной, принявгивал в нос, и левый вывернутый глаз сурово буровил Степушкину спину.

Котелок, привязанный к вещмешку, колотился, раскачивался на дужке, жестяно подрагивал — бот-бот,— и Степушке, шедшему впереди, казалось порой, что их нагоняет заблудившаяся корова с шаркунцом на шее. Бот-бот, бот-бот...

— Их попусти только, им дай поблажки, они тебе на шею сядут и ножки свесят. Им ноготь, а они руку схавают. Чего захотят — роди да подай, такое уж племя проклятое,— жаловался Тимоха, наверное бабу свою сварливую имея в виду.

«Все никчемно, все ненужно. А что нужно, где оно?» Мысль повторялась назойливо, до одурения, словно где-то закупорило нервный сосудик, и нет ей ходу на волю, в другую, спокойную обитель, чтобы затеряться и забыться средь прочих. Иногда, окатываясь на оголенном корневище, прорезавшем тропу, Степушка вздрагивал и при-

ходил в себя. За спиной пыхтел Тимоха, тонко гнусавил: «Ты бабу свою струни», и мерно бился за его спиной задымленный котелок — бот-бот. В редких прорединах над головой свинцовело небо, и ели, неряшливо замоховевшие по широкому подолу, угрюмо окружали сиротливую паутинку следов. Сырь мозглая и мерзкая, способная до печенок пробить и самого хожалого человека, невольно настраивала на беспокойство и тоску: она волнами наплывала от проваленного в мшаники лесового ручья, и даже беспокойный плеск густой осенней воды не нарушал немоты. Мороза бы каленого сейчас наслала зима и порошы хрусткой с легким ветровым подвывом, да вот задержалась снеговуха где-то, застопорила — знать, с перекладными не повезло иль обронила колесо на распутьях долгой дороги. Уж ноябрь распечатался, пора рекам встать и ручьям затаиться под стеклянной скорлупой. А тут еще не пришей у шубы рукав.

В природе что-то нарушилось, спуталось, и душа Степушкина, наверное отзываясь на этот недуг, тоже натянулась и застыла в ознобе, не зная, на что решиться. Ладил парень вернуть жизнь прежнюю, к домашнему очагу хозяйку привел, деревню родовую настроился в сердце принять, притереться, притерпеться к ней — и не попал вот в ровный ход жизни, словно бы едва не сорвался с телеги, с трудом уцепился к грядке ее, каменея от напрасного усилья. Ощущенье нынче у Степушки такое, будто застегнулся он не на ту пуговицу, и оттого неловко ему, морщит пиджак и жмет под мышками.

«Все никчемно, все ненужно. Но что нужно?.. Где оно...»

А позади мерно: бот-бот, бот-бот...

Три дня назад пришлось все-таки уйти из материного дома: не ужились свекровь с невесткой. У Любы тоже характерец оказался не сахар, надо сказать правду. Ей бы когда смолчать, гордыню смирить, язычок приструнить, а она на каждое слово отхлестнет, да норовит побольней, с язвой. С виду тихоня тихоней, только воду возить на ней да покрикивать, а внутри откуда-то железный стержень. Но порой и склонись, девонька, порой и обидный окрик снеси от старой матери, все перенесшей на своем веку, такую жизнь перемогшей, от какой и железо бы устало, а тут — живая плоть, сердце годами кровоточило не бесследно.

Убирала Люба пол и отвлеклась, мусор не замела сразу под порогом, ну и Параскева сыну заметила: «Ты погляди, Степка, первая примета. Коли мусору девка не запахала и веник кинула, значит, неряха твоя жонка. Ну, да всякая невеста для своего жениха родится».

Слово за слово — и схватились, а когда опомнились, отпрянули по углам — уж враги смертные. Люба даже не кликнула мужа, не позвала: чемодан в руку — и за порог. Скора девка на решенье, смела безоглядно, как решила — тут и сотворила. Степушке осталось лишь согласиться. И когда кое-какие вещички перетащили в новое житье и вовсе уж покидали родимый кров, не смолчала Параскева Осиповна, не смогла перенести больной обиды. От любого из детей ожидала такой насмешки, но не от сына-последыша. «Вот бог, сынок, вот и порог. Обратно, хоть и задумаешь, не приму». Без вороха обычных каленых пересоленных слов проводила, без надрывных воплей и прочих ужимок и вихлянья, на кои Параскева великая мастерица, а сказала каменным голосом, слегка треснутым, и всем осадистым широким телом заслонила кухню от последнего Степиного взгляда. Ни кровинки в лице у нее, и лишь в глубине паутинчатых глаз остерегающий больной испуг и моленье: вернись, дескать, сынок, не твори греха, все прощу. И это ровное, словно бы равнодушное состоянье матери смутило Степушку, и до сей поры не покидало его неясное ощущенье вины и тревоги...

Да и с работой вдруг так заколобродило, так душа нежданно воспротивилась ей, что и глядеть тошно. И не оттого ведь, что на холоду и ветру целый день: оседлаешь бревно и, будто проклятый, кантуешь его топором до чугунной немочи в плечах, когда руки отваливаются и ввечеру ложку до рта не дотянуть без дрожи. Нет, к ремеслу вроде бы уж привыкать стал и свойства дерева почувствовал, как ловчее запазить его и на шип поставить, и угол связать, и по сажной черте опластать бревно без сколов и раковин, чтобы отблескивало оно, будто оплавленное раскаленным лезвием. Приноравливался, приглядывался к топору, уже мозоли застекленели на ладонях, и порой вдруг омывала радость непонятная от работы иль от жизни; случалось даже, что и день не замечался, словно бы истаивал в сосновых завитках, вспененных под ногой. Но беда-то настигла Степу с другой стороны: под Василиста, братана своего и бригадира,

подладиться не смог, норов его бычий и упрямый поначалу обеспокоил, а после и ожесточил.

С первого дня завелся душою Степа, как на Гелассьеву избу вставали рушить, и Василист, не пряча холодного взгляда, огладил сахарное лезвие топора о рукав фуфайки и заявил: «Я противу вас, мужики, вдвое стою, я не фуфло, парни. И если вы получите на день по семь тугриков на рыло, то мне кладите десятку». Плотники, постоянные на деревне, помялись и смолчали, а Степу в жар кинуло: «Ты что, Обух, по-особому рожден, что ли? Тебе топорные подай, а может, и обжорные?» — «Не нявгай, братило,— ровно сказал Василист,— тебя пока как бы нет промеж нас, и мы пока тебя не видим, понял? Как голос заимеешь, тогда поглядим и послушаем. Не нявгай»,— повторил тогда бригадир, перекатив желваки, и по общему молчанию вокруг Степа понял, что в споре придется уступить.

Ну а после, приглядываясь к Василисту, к его повадкам, его поставу кривых ног и кряжистого тулова, он уже против желания своего ненавидел и плюшевый мысок волос, наплывающий на толстую багровую морщину, рассекающую лоб, и пористый нос тяпушкой, и то, как ест он, уединяясь и просовывая руку в едва приоткрытую авоську, и как пьет, жадно и неряшливо. Хотя видел, завидуя тайком, и мастерскую руку братана, его особую хваткую руку, когда топор, отзвякивая пластью, ни разу не оскользнулся от еловой тверди и не взял лишнего; заметил и захватистое прогонное лезвие любимого топора, огнисто бегущее по жилистой болони, как по брусу подтаявшего сала; и своенравный покрой топорища, любовно ошкуренного до лаковой гладкости; и взгляд Василиста, вроде бы рассеянный, скучный, но цепко держащий сажную отбойную черту. Запоминал Степушка каждую подробность и, презирая братана, невольно подражал ему. А работал Василист обычно без фуфайки, хотя уже заосенело, в длинной, по колена, рубахе сурового полотна, выгоревшей под мышками от пота, и в кожаных мягких чунях, сшитых своей рукой; и когда тесал бревно, шел прогоном, хукая, то над жаркими толстыми плечами дымился воздух. И бревна-то Василист накатывал ловко, без натуги, и каждый раз руки его и круглые мясистые плечи подхватывались там, где ловчее всего и полезней делу. Мог он работать, мог, этого у Василиста не отымешь, и, пожалуй, во всей здешней округе не сыщешь

лучшего плотника. Свою хватку мужик, однако, понимал, достойно ценил и ею в личной выгоде пользовался, не скрывая истинных намерений...

А для Степушки даже самое доброе — нынче солью на язву: ведь когда нагорит на душе, когда все в ближнем вызывает тошноту и раздражение, то в любое мгновение жди пламени. Случилось, что по большой нужде прижало Василиста: нет бы где на огороде приткнуться, раз домой неохота бежать,— и дело с концом, а он, шутник такой, побежал в соседнюю баню — как раз истопилась — да в чан с кипятком и напакостил. Хозяин ее, старичок древний, под вечер помылся, распаренный правит домой, едва отпыхиваясь, а Василист, оседлав сруб, кричит ему, блаженному, весело: «Эй, Петрович, ты погодь... как банька-то?» — «А банька хороша получилась. Клаша добро натопила, и жар ровней».— «А вода как?» — «И водичка хороша, не щелочна, глаз не щиплет».

Моховой дедо, шаркая галошами, едва скрылся в заулке, как все, кто были на срубе, так и рёхнули: ха, да ха... Хороша, значит, водичка-то, не щелочна... глаз не щиплет. Ха-ха.

— Он уж такой, Петрович. Завсегда сам себя обманет,— распалился Василист, радый вниманью. В дымчатых глазах, горячих от смеха, выплавились крохотные слезинки — до того радостно человеку, сотворившему умысел и потешившему народ.— Клаша егова, поди, лет на двадцать моложе. Вот ухорез, какую бабу отхватил. Говорит мне нынче: «Я, Васенька, в печали пребываю».— «А что такое, дедо?» — спрашиваю его...— «Клашу-то,— говорит,— как в баньку приведу, растелешу, будто на иконку погляжу, а уж все. И заплачу как».

— Зараза ты, однако,— вдруг заключил бригадиров рассказ Степа и против воли покраснел до корней волос.— Тебе бы в морду тем дерьмом, вот бы хорошо.

Мужики поперхнулись, затаили глаза: что-то будет.

— Кре-тин, гнусь,— лениво выругался Василист, но, однако, споткнулся, тяжело заработал мозгами, обвел взглядом плотников, вроде бы читал в их онемевших лицах особое отношенье к Степкиным словам, а в груди еще ворочался смех, и дымчатые глаза слезились.— Кретин... Тебе же пузыря бабе не надуть. Плаваешь, как навоз в проруби, туда-сюда. У тебя же и имя-то не человечье.

За спиной угодливо хохотнули, Степушка вздрогнул и растерялся:

— А какое, не звериное же...

— Может быть. Разберись, раз такой умный.

— А ты... ты выкрест, колун,— глуповато выкрикнул Степушка.— В тебе один обух.

— В самую точку попал,— невозмутимо согласился Василист, но лоб, однако, резко надвинулся на глаза, и желваки вспухли.— Я мимо не промажу.— И угрозливо, неуловимым взмахом всадил топор в плаху.— Вот так. Уж если бью, так по самую шляпку.

— Ну хватит, братаны же. Чего делить? — подал кто-то трезвый голос.

Степушка отвернулся, дрожащими пальцами достал сигаретку и, злобясь уже на себя за нерешительность, сел в стороне, усмиряя расходившееся сердце. «Откуда берутся такие чугунные люди? — думал с бессильным отчаянием.— По пачке бы раза дать — и дело с концом. По пачке бы дать, чтоб с копыт... По хрюкалу жирному». А затылком невольно напрягался, ловил разговор: «Василист, чего он собачится на тебя? Он что, шуток не понимает?» — «Да баба егова, говорят, до себя не допускает, вот он и злобится. Он же, поглядите, он же глиста, ни на что не способный человек».— «Ну, так тоже нельзя. Правда, если баба, тут конечно».

И засмеялись.

«По морде бы раза дать — и дело с концом»,— суматошливо, окаянно ворочалось в опустевшей голове, а рука онемела на топорище. Степушка тупо поглядел на сбелевшие пальцы и, нервно выхватив топор из бревна, сбежал по сходне на землю. А той же ночью к нему пришел сон, будто он едет на ладье с гнутым носом, и мужики гребут. Вроде бы плывут по большой комнате, а впереди еще лодка. И дверь маячит, куда кто-то должен первым попасть, а остальные потом погибают. Догнали будто ту, первую, лодку, а в ней старики, бабы с ребятишками, и все знают, что им помирать, и покорно ждут смерти. А на большой лодке вроде шута мужик в медном шлеме с забралом, шея махровым полотенцем замотана, полные карманы леденцов. И вот он раздает каждому по конфете, кто должен умереть сейчас. Степушка глядит из лодки, из-за чужих спин, но и кажется ему одновременно, что будто и со стороны смотрит, откуда-то сверху, из поднебесья, и хочется ему крикнуть с вышины,

мол, хоть женщину-то с ребенком не убивайте, но язык непослушен, ибо Степушка понимает, что все слова напрасны. Что суждено, то и сбудется.

Главарь, суровый мужик в рогатой железной каске, кряжистый, кривоногий, вроде бы так напоминающий со спины Василиста, стискивает женщину за горло, норовит убить ее, смиренно ждущую смерти. А та хрипит лишь: «Так неудобно умирать». Тогда он берет ее за ноги и мерно, усыпляюще повторяет: «Так вам будет ловко, так вам будет спокойно». И она, уже умирая, тихо шепчет: «Как сладко мне... как сладко».

И вот с приятелем нынешним, Тимохой Железным, отправился Степа браконьерить: решил ноябрьские праздники красной рыбкой отметить, пока река не встала. Идут мужики с твердым умыслом, не зная сомненья и смятенья, зажимая в себе страх, настороженные, словно лоси, и слегка торжествующие уже, что так ловко обвели рыбнадзор, где-то шарящий на реке.

Придумка была Тимохина. Еще в сентябре купил он легкий водолазный костюм, и тогда же испытали они его в Чертовой дыре, гнилой протоке за деревней. Голову у костюма отсадили, Тимоха влез в него, бечевкой у горла перетянули, чтобы не проходил воздух, и Степушка велосипедным насосом накачал балахон. И только предприимчивый приятель вошел по грудь, его и перевернуло, лишь задница арбузом торчит над водой. Тимоха пыхпых, а его гнетет, возможностей нет никаких достать голову на волю и освежить грудь. Его уж на стрежень тянет, мужик пузыри пускает, готовый отдать душу господу богу. Хорошо, к ноге Тимохиной догадался Степушка привязать бечеву, для страховки, так за нее и выплавил тонущего на берег, как мертвого огрузнувшего тюленя... А нынче решено легкий водолазный костюм не надувать и забродить в нем в реку по горло: для сеток глубина довольная.

Тропу оборвал ручей. Он давно уже намечался в боровой тиши булькотеньем и перебором витых струй, потом на время затихал в моховинах и радах, закиданный еловыми трупьями, палым, обожженным до черноты листом и прочим лесовым мусором, а здесь вот, на всхолмье, вырвавшись из тягостного земного чрева, он разлился широко, вольно, неистово, и переклад, пятисаженное не-

охватное в комле бревно, кинутое через ручей, оказался под пенистым и пузыристым потоком воды. Степушка раскатал сапоги по самые рассохи и с помощью жердины, едва протаскивая ноги сквозь упругую стрежь, пробрался по лесине на противный берег. Тимоха с опасением посмотрел на ноги, и закостенелое лицо его побурело еще больше. Сапожки впервые пробовал, финские, из податливой зеленой резины, с рубчатой покатой подошвой, приступчивой, пружинистой, и розовым теплым подкладом: не сапоги — находка, и делают же, дьяволы, обувку, такая ладная, такая душевная, что и носить-то жалко. А сухим через ручей не пройти, для Тимохиной кривой ноги вода высока, а ежели так, то чего ради мочить подклад: уж такого качества, такой теплоты, коли зальешься верхом, уже не будет в нем — вылиняет, скомается, тряпошно заскорузнет. А босиком стерпится, босиком привычно, своя кожа не износится, да и сушить ее после нет надобности, сама себя обиходит и согреет. Недолго и гадал Тимоха, разулся. Холодно на застуженной предзимней земле, но терпимо — то ли еще знавал за бродяжью лесовую жизнь. Закричал сипло, разухабисто:

— Степ-ка, имай!

— Так упустишь ведь?

— Ты что, я бывший гранатометчик.— И действительно, первый сапог так ловко кинул, что и у Степушки опасения пропали.— Не лыком шит, чуешь? — не забыл прихвастнуть Тимоха.— Гранатометчиком что, даром служил? — Наотмашь, поторопившись, бросил второй, и, наверное, рука сдала иль отсыревшая резина голяшки подвела, но угодил сапог в самую-то середину переполненного ручья и, мгновенно залившись, пошел на дно.

Ох ты грех, ах ты печаль. Смеяться ли? Плакать ли? Уж такой, видно, невезучий человек, Тимоха Железный, что и смеяться над ним вовсе грешно: вроде бы обмозгует все, распланует, так и эдак предположит, пробуя угадать, как сложится случай, порой и поспешит, возмечтав о видимой выгоде, шкуру неубитого медведя разделить, а судьба возьми и подставь ему ножку в это самое мгновенье. Споткнется Тимоха на самой-то мелочишке, и из всего прекрасно задуманного предприятия останется лишь пшик не гуще сигаретного дыма.

Еще не веруя в горе, еще обманывая и теша душу свою, что все случившееся лишь сон, метнулся Тимоха к

ручью, вгляделся в пенистую глубину вывернутым студенистым глазом, обметанным морковной красниной, даже босою ногой ступил в ручей, и тут же охолонул, содрогнулся и, по-собачьи пониклый, повернул в косогор.

— Тимоха, как далее-то будем? — позвал Степушка.— Второй-то сапог заберешь иль мне принести?

Но приятель, не оглянувшись, скрылся в бору.

А уже наутро узнает Кучема о новом приключенье с Тимохой: как вернулся тот с рыбалки, и, постыдившись показаться в деревне босым средь бела дня, промаялся в остожье до полуночи, и, лишь когда стихли улицы, явился на глаза разгневанной жены.

Степа же, проводив взглядом сотоварища по промыслу, вдруг понял, что затея их, по всей вероятности, беспутна и напрасна: отвыкнув за последние годы от леса и реки, он не то чтобы забоялся природы, но онемел к ней, чувствовал себя сиротливым, неловким, оказавшись столь неожиданно одиноким. Да еще снег повалил, внезапный, глухой и непроглядный, и за какой-то час плотно выстелил землю.

Река неслась мимо чугунно-черная, чужая, с седыми закрайками; стоялая вода за обмысками загустела до самого дна и уже не могла покорить снега. Степушка приметил эти места: не дай бог в вечерней потемени случайно увязнуть в тягуне — выгребайся потом. Подумал еще: костерок бы заживить, но опасно,— с любой стороны мог рыбнадзор нагрянуть, вынестись на щукастой разбежистой доре. Но в ходком пути нагрелся, и сейчас, как остановился на бережине, на юру, присматриваясь к перекатам, то и спина сразу противно заслезилась, скоро настывая. Спрятался за ивняки, от ветра чтоб, сетку-тройчатку и водолазный костюм положил под руку, чтобы долго не мешкать, выхлебнул из горлышка треть бутылки и так, неожиданно захмелев, блаженно и тупо ушел в себя, не забывая, однако, настороженно слушать реку.

А ведь когда-то ловил: сеткой и неводом брали большую рыбу, пока мать была в силе, и с тех пор думалось, что навечно проникли в Степушкину память каждый камешек на дне, кривулина реки и хитрый перекат. Помнится, как подъехали сюда под вечер: сеностав был. Пока котлы снимали да чайник грели, мать и подскажи: «Ох, по воды едем и воду надо помнить. Хоть бы ты,

Стёпка, бросил блесенку». И только кинул — этакая чурка схватила, если в бочку пехать, то калачом едва затянешь. А ведрие тот год стояло, день и ночь в работе. А еда известная: суп на суп. Приедаться уж стало... Мать заводная: пошли с ней и в одночасье с плесу двенадцать сёмог выдернули. Штягу выплеснули, ухи наварили и рыбы насолили на всех покосчиков. Вот и жизнь веселая покатилась, застрадалось легче. В тот раз на плесе этом за лето семог триста, поди, взяли. А нынче хоть бы одну-разъединственную, чтобы охотку стешить...

Река спадала к морю пустынная, свинцовая, без единого рыбьего всплеска и чаячьего вскрику: лишь куст ивняка, проросший под самым берегом, затягивала молчаливая угрозливая стремнина, и голые заплесневевшие ветви торопливо, согласно занyривали в заворотную стрежь, и от нервных коротких тычков вспухали на вороной глади частые воронки. Кружево воды, грязная пена хлопьями, невесть откуда взявшаяся, да снежная бахрома с торчащими сквозь мертвыми закостенелыми будыльями — выморочно кругом, нежило, стыло.

Затаиваясь в ивняках, Степушка бесцельно бродил взглядом по реке, и не было внутри его ничего, кроме оторопелости и тупого недоумения: с какой это стати он взялся вдруг у реки в гнилую пустую пору, в межсезонье, когда любого мало-мальски здравого человека больше позывает на печь. Ноябрь на дворе, то самое время, когда пора бы замереть уже заснеженной природе, вздрогнуть и застыть нежило от первых звенящих холодов, да и реке бы хотелось утишиться, загустеть и одеться во льды. Безумье в природе, и только. И потому рыбе не спится никак, ее тревожит, волнует крутое кипенье воды, проникающее в каждую ямину, где по обыкновению остоялась на покой семга: и рисковый рыбак по этой причине мается по скрадам, надеясь на крайнюю удачу; и рыбнадзор мечется по реке, залубеневший от холодов, измочаленный, опаршивевший от долгих и тщетных бдений...

Стемнело по-северному, разом, и Степа, зря не мешкая, неуклюже облачился в балахон: река туго обняла парня, повлекла его, и сквозь резину сразу почувствовалась ее властная сила. Хотел посветить фонариком, но остерегся. Споткнувшись, мгновенно озлобился на Тимоху, молча обматерил его: вдвоем бы куда ловчее и надежнее. А тут пока заглубливал, затаивал дальний ко-

нец сетки — время шло, и страх нарастал, и невольно ловил Степа любой шорох, несущий в себе угрозу; но в непрогляди вечерней лишь слышался накатный плеск волны, глухой обвал дальней береговой осыпи и тягучий звон натянутой в нетерпении воды. И только бы парню выкинуть на берег крайний груз и вздохнуть успокоенно, как словно бы из-под земли просочился знакомый высокий подвыв, и тут гуд проткнулся сквозь, освобожденный, нетерпеливый, вдруг оказавшийся совсем рядом. Ткнулась в песок лодка, забренчали о нашести ноги, кто-то тяжело спрыгнул на берег, и Степушка, очнувшись, кинулся в кусты. Балахон, обтянувший каждую мышцу тела, ковал ноги и противно скрипел. Рыбнадзор миновал Степушку, посвечивая в темноте фонариком и надрывно скашливая: знать, застудился на реке Вася Щекан... Секут, сволочи, решил Степушка и отполз вглубь. Должны бы следы выглядеть: проклятый снег. Все, как назло. Следы-то, как на стекле, каждый рубчик, поди, заметен. Ваньку валяют, думают, что на дурака напали, а сами за тем мысочком и скрадывают.

Еще часа два высидел Степа, проклиная свет белый, и Васю Щекана, и рыбалку, и кривого Тимоху, так заманчиво вовлекшего в эту затею. Резина костюма зальдилась и словно бы приклеилась к телу, даже фуфайка и двое штанов не спасали. Подумал: скинешь если, а после как натягивать такую кожурину? Господи, заколеть можно, каждая жилка натянулась. Часа через два, напрягая слух, решился Степушка, и только полез в реку, как сигаретка засветилась невдали. Снова метнулся в кусты, в засидок, но терпенье уж покинуло вовсе. Возбужденье оставило его, водка кончилась, в сон потянуло, и понял Степушка, что рыбалка пропала, кончилась затея впустую и не разговеться на праздники семгой-малосолкой. Ну рыба — ладно, леший с ней, перебиться можно, но сеточку-тройчатку жалко: Тимоха, поди, целую зиму вязал, такие надежды на нее были, а тут ни за понюшку табаку распрощайся с нею. Вторая рыбалка за осень в раззнакомейших местах, в своих водах — и сплошные несчастья, словно судьба отвернулась иль казенные руки-неумехи пришиты вместо своих...

Вернулся Степа домой под утро едва живой и три дня отпаивался чаем с малиной. Вышел на деревню, стараясь не попасть на глаза Тимохе, а тут катит навстре-

чу Василист. Бровищи играют, глазки засвинцовели, и в них нехорошее любопытство, в лице значенье, на голове кепочка-восьмиклинка — козырек на два пальца, не больше, а над нейлоновым плащиком-подергушкой толстый хомут пегого исландского свитера. Завидел Степу и, не переходя дороги, закричал на всю улицу, словно меж ими нет вражды:

— Слышь, Степка... Постой, чего скажу. Какой-то глупый сетку поставил, а береговой конец не закрепил. Дак попала кокора.

Вопит Василист на всю деревню, возбуждая чужое вниманье, а ты молчи, ты не признавайся, что твоя снасть, терпи, мил человек, и только сердчишко-то поендывает, поскрипывает от жалости, и против желанья лезут в голову всякие скверные мысли. Однако отвернулся Степа — ноль вниманья, фунт презренья,— торит свою дорогу, всем видом показывая, дескать, тошнит его от этого мохнатого человека, сблевать хочется. А за спиной шаги бухают: бот-бот, словно пудовые гири в мостовины кидают. Не погнушался Василист, догнал братана и в самое ухо жарко шепнул:

— Степка, у тебя потеряжи не было?

— Это на какой счет? — оглянулся Степушка и вновь поймал в глазах Василиста злорадный интерес: мохнатые гусеницы шевелились в их глубине, да и сам братан виделся волосатым и замоховевшим.

— Ну дак как, Степанушко, сеточки не теряли? Ты скажись. Я ведь не выдам, братан тебе.

— Следователем устроился, собака? — словно бы в лицо плюнул Степушка, непримиримо каменея душой.

— Никоим образом, братушко,— не смутился Василист.— Шел, значит, по берегу, вижу пацаны сеточку ножом полосуют, заразы. Я им: «Эй вы, сопляки, это моя снасть, вот сейчас задницу кому-то распялю и сушиться повешу». Ну, отдали... Гляжу, такая ли знакомая сеточка, а не признаю чья.

— Возьми себе, разбогатеешь.

— Я не фуфло, братушка. Так не твоя говоришь? Хе-хе...

23

...Вот и зима, покуражившись с неделю на дальних выселках, грянула бойко, и день стал не длиннее воробьиного скока: к десяти разве едва-едва темь разбо-

ронит, а в четыре уж сумерки, и к выключателю рука сама тянется. Страдованья все закруглились, заботы многие отпали, голова опустела от насущных мыслей, а душа — от того суматошного жара, с каким Радюшин обычно вникал в каждое деревенское заделье. И когда голова-то опустела, а душа угомонилась — тут и полезла в Радюшине всякая печальная дурнина, с которой не было никакого сладу. Может, к старости так припекло, чтоб сурово казнить и оценивать себя? Словно бы и не своя родина перед глазом, будто к чужому берегу привезли подконвойного и кинули — так сердце заиграло ныне, заболело. Куда ни придет, с час высидит — и тоска заполошная скрутит. Пробовал попивать, потягивать винцо в одиночестве, скрадываясь за буфетом от жены,— так мерзко же. Ни друга, ни приятеля не нажил на Кучеме за все годы, с кем можно бы поплакаться, доверчиво открыться, в застольном разговоре снять сердечную накипь. А тут еще свинцовая зима, словно бы первая в жизни председателя, опостылевший вовсе дом, догадливая мать, пепельными глазками проникающая сквозь. Возвращался в избу обычно поздно, под самую ночь, так подгадывая, чтобы поесть — и сразу на диван, в свою боковушку, которую обжил в последнее время по-холостяцки, никого не допуская в нее. Жена Нюра, по обыкновению, дожидалась в переднем простенке возле окна, выбирала из поро́шка воду красной резиновой грушей, вся обвислая, потерянная, и, когда ловила на крыльце грузные шаги, сразу как бы вся внутренне выпрямлялась, напрягалась рано отрожавшим телом, скрыв под передником суетливые набрякшие руки. Радюшин еще с порога встречал ее шафранового отлива глаза, пособачьи преданные, ожидающие ласки, и в желтушном поблекшем лице, в оборчатых бесцветных губах видел постоянное покорство, так раздражавшее его. Нюра готовно подавалась со стула навстречу, толклась возле, вздрагивая оплывшим телом, но боялась прикоснуться мужа, опасалась его гневного окрика: «Эй, ты, не мешайся под ногами!» Нюре так хотелось порой показаться мужу, и она надевала тогда шелковое платье в алых цветах: подол неровно обвисал сзади, и невольно пялились в глаза глубокие морщины над растекшимися икрами. А Нюре так хотелось услужить милому Николеньке, ей так желалось пособить ему в чем-то, но он, каменно напрягшийся, лишь воротил брезгливое кирпично-красное

лицо в сторону, словно боялся выдать хмельной запах. Радюшин и ел-то молчаливо, как из-под палки, хмуро уткнувшись в тарелку, изредка он прерывал ужин, пихал в прорешку зубов папиросину и сквозь пелену дыма скучающе оглядывал кухню. А Нюра, не тая тревоги, порой неловко взбивала тощие рыжеватые волосенки, высоко подбритые на затылке, желанно расстилалась перед благоверным: заполняла закусками стол и назойливо потчевала — дескать, отпробуй рыбки заливной да отведай ветчинки с хреном, и вроде бы блинцы с вареньем удались нынче. Но Радюшин, молча насытившись плотно, так же хмуро затворял за собою тонкую филенчатую дверь. Он знал, что, уловив это мгновенье, из горенки выскользнет мать и, укоризненно глянув на голубенькую створку с рифлеными туманными стеклышками, поклонится земно, коснувшись рукою пола, и скажет нараспев: «Ой, спасибо, сыночек, уважил. Дня боле не останусь здесь. Скажи на милость, доченька, чего он собачится? Что, худо ест-пьет? Чего он, как собака, с тобою? У меня, Нюра, дома воля вольная. В комоде пальтюшонок всяких да платьишек, дак не поверишь, у меня и на книжке-то схоронной девяносто семь рубликов на поминки. Уж вам обузой не буду, не-е...» — «Да полно тебе, мама, убиваться,— вскрикнет Нюра и готовно заплачет, заревет в голос.— Он меня ни во что не ставит. Он же меня на худую казнь казнит. Он у меня душу-то всю выстудил. Он, поди, с девкой какой спит, а я ему выкладывайся, подстилкой худой стелись. С молодости не набегался, дак в старости накобелится, помяни мое слово. Седина в бороду — бес в ребро».— «Нюра, остановись, ты чего ли накликаешь, христарадушка ты моя. Чтоб мой сын — да растлен? Ой-ой, возьми слова свои обратно. Он работой извел себя, изработался, поди, а мы на поклеп...»

И тихо, любопытно приоткроет дверь, чтобы дознаться, спит ли сын, и из темени горенки хорошо видятся Радюшину всполошенное материно лицо, ее пепельные треугольные глазки в пушистой бахроме ресничек и кудельки волос, гусиным пухом выбившиеся из-под черного повойника на впалые желтые виски.

Все случилось, как и загадывал Радюшин. Створка робко подалась, и в притворе показалось материно луковое личико: непослушными пальцами Домна обирала что-то с губ, напряженно стянутых в дудочку, а другою

ладонью все оглаживала грудь, тряпошно обвисшую под кофтенкой.

— Мы, поди, на пустое чего мелем, а он, голубеюшко. Мать всегда мать, чего там ни крои.— Шептала расслабленно, с укоризной оглядываясь на невестку.— Он в мятке, он в работе такой, а мы ровно мельницы на пустое молотим.

Но нынче не сдержался Радюшин и, приподнявшись на локте, оборвал из темноты:

— Вам что, больше делать нечего? Как кошки худые под дверью елозите, елозите. Ни дня, ни ночи спокою, прокуды лешовы.

...Он как-то скоро собрался и с холодной душой покинул дом. Деревня, забитая снегами по самые крыши, таилась молчаливая, скрытная, редко-редко вскидывалась в полусне заполошная собака, лишь проявляя особую гнетущую тишину. Такая провальная темь клубилась, такой смоляной водою был залит весь мир, такой стылостью тянуло с-за реки, что вот ослабни душою хоть на мгновенье, и волком завоешь — такой вдруг невозможной и несчастной покажется твоя жизнь. А за наледью лимонно окрашенных оконцев мельтешились тени, там, в тепле и уюте, люди жили сами по себе, уже вроде бы не подвластные чужой воле, и он, председатель Радюшин, был для них вовсе лишним и ненужным человеком. Хотелось бы зайти в обжитую избу, посидеть молчаливо, потягивая чай и медленно отогревая одинокое сердце, а после так же молча одеться и выйти в ночь, обнадеженным и покойным. Так нельзя ведь, черт побери: сейчас вроде бы крайне чужой для них, а зайди только — и забегают сразу, засуетятся, заспешат с бутылкой и будут по-особенному заглядывать в глаза, словно бы в каждое мгновенье отыскивая для себя выгоду, и прислуживать, и навязывать вино, замечая, однако, украдкою каждую выпитую стопку. Но отчего же так случилось с Радюшиным, что не оказалось для него на Кучеме ни одного близкого душе человека, с которым можно бы хоть на мгновенье сойтись накоротке, не наблюдая за собой и не стережась лишнего слова, побыть самим собой, просто мужиком, коим и был по житью и натуре, не особенно счастливым и удачливым человеком, возжаждавшим покоя.

Редкие фонари едва протачивали вязкую темь, и в их свете снег вспухал, зыбился, как пролившееся тесто,

и заманно, весело искрился, вызывая в душе обманчивую надежду. Какое-то время потоптался еще Радюшин, размышляя, куда бы ловчее и вернее направить стопы, и лишь сердце без сомненья влекло на знакомую тропу: оно-то, омытое беспокойной кровью, боящееся одеревенеть, знало наверняка, зачем семейный мужик очутился на распутье дорог, посреди засыпающей деревни.

Однажды, наверное с месяц назад, забрел председатель к Любе Нечаевой. По случайности какой, иль заботе — вроде бы узнавал, не желает ли молодуха послать гостинца мужу своему на Канин, где тот навагу промышлял,— иль тайному душевному хотенью (возьми припомни сейчас, когда все спуталось), но только вдруг оказался Радюшин в чужом житье. Тогда он с минуту, никак не больше, потоптался у порога и, сказавшись занятым, вскоре ушел; но с той поры и зачастил туда, каждый раз находя приличный предлог. После-то мучился, когда уходил, страдал от своего странного положения, казнился, обеты давал — дескать, ноги моей больше не будет в этом доме, но какая-то нелегкая несла, однако, в чужое тепло.

Начальная школа, где жила нынче Люба, стояла на задах деревни у самого поля, высилась угрюмо и забыто: бывшая купеческая храмина, ставленная с простором, с достатком, с годами изрядно поизносилась, затрухлявела под выцветшей обшивкой, ныне в каждую щель сквозило, выдувало тепло, и потому нижние венцы до самых подоконьев обрыли снегом. Радюшин пошарил взглядом по верхнему ряду темных окон и обрадовался: крайне стеколко одиноко и мирно желтело — значит, хозяйка была дома. Внезапная тень наплыла на окно, сквозь наледь едва проступало смутное очертанье. В горле у Радюшина сразу по-мальчишечьи подсохло, запершило от волненья, сердце толкнулось в ребра и зачастило, и председатель, снова, уж в который раз, невольно поразился нынешнему своему состоянию, смятенному и суеверному. Чего скрывать, на закат годы качнулись, под гору покатились, за пятьдесят отшагнуло, и все чаще со страхом думалось: вот и отжил, отлюбил, отволновался, мрак один впереди, а на поверку-то вдруг вышло такое — и подумать устрашишься... Почудилось, может? Вроде бы под валенком снег подался, скрипнул, и тень метнулась по-за угол. Сразу

заторопился Радюшин, взбежал на крыльцо, осторожно навалился плечом на дверь, еще тайно надеясь на удачу, и тут же горько подосадовал, готовый выматериться: успели, оборонились жильцы, скрылись за засовы, и сейчас надо брякать кольцом, будить Феколку, ныне живущую здесь в сторожах. А старуха, как обычно, не заторопится, не заспешит, станет из сеней долго и гнусаво окрикивать да выспрашивать, кого бог принес на ночь глядя, и что-то недовольно скрипеть под нос, гремя коваными запорами, и после, придерживая за поводок остромордую вихлявую суку, едва отпахнет дверь, прижмет ее валенком, чтобы Радюшин только-только просунулся в коридор под навязчивым Феколкиным взглядом. А за спиной уж в который раз словно бы таится кто и доглядывает, радый донести, поколоколить в деревне и надсмеяться...

Радюшин зло, без примерки ударил в дверь, но Феколкино окно не вспыхнуло, никто не заторопился открывать. Нетерпеливо, горячась, еще раза два толкнулся ногой, постоянно оглядываясь через плечо в провал ночной улицы. И где-то далеко-далеко хлопнула дверь, неясно просочились шаги, заскрипела лестница, громыхнул запор. Люба распахнула дверь настежь, словно знала, кто стоит за нею, и, не приглашая, кутаясь в пуховую шаль, поспешила обратно в дом. Кирпичное лицо Радюшина, опаленное морозом, побагровело еще больше, и он нарочито замедлил шаги, по-хозяйски оглядывая школу, доживавшую век. Длинный коридор с куржаком на отставших обоях, голубенький щелястый потолок, пол внаклон, сбитый, из лиственничных плах, пахнет застойной сыростью, настуженной уборной и бродячими котами. Старшим ребятам, тем, правда, на ученье грех жаловаться, заставлял себя размышлять председатель. У них классы в верхнем конце деревни пускай и не блеск, до городских условий далеконько, но и довольно сносные, жить пока можно, но вот меньшеньким не везло: и там не влезло — и тут не сахар, хотя всех-то ребятишек всего пятнадцать наскребли на три начальных класса, и поместились они свободно под присмотром учителки Любы в одной широкой приземистой комнате с грубо сбитой задымленной печью посередке. Ремонт бы затеять? Но какой резон, если на новую школу решились. Да и то сказать, нерожалая, бездетная становилась Кучема, писку и реву заполошного в редкой из-

бе услышишь ныне, вот и рассуждай, председатель, плануй, доказывай в области, для чего стройку затеял: может, решил обнадежить народ здешний и подпихнуть его для будущей жизни? Иль веру свою укрепить? Иль перед миром покрасоваться богатой казной и силой?

Крохотный светильничек, закуржавленный обсохлой известкой, едва разбавлял застоялый сумрак, пригнетая и без того убогий сиротский коридор: ступеньки, вышорканные до покатых корытцев, поскрипывали, в дальнем конце верхнего жила виднелась казенной покраски широкая дверь вековой работы (филенки из лиственничных плах, посередке простенький деревянный цветок в пять лепестков). Забыла ли прихлопнуть потуже дверь иль нарочно оставила Люба приоткрытой, но в коридор, гнетуще молчаливый, текло оранжевым зазывным светом. «Зачем иду? — заколебался вдруг Радюшин с неожиданной тоской, готовый повернуть на улицу.— Чего забыл там? Себе в заботу иль в насмешку людям? Иль седина в бороду, а бес в ребро?» И таким почувствовал себя усталым и старым, что удивился своему странному присутствию здесь. «А тебе ничего и не надо,— воспротивился сторонний скрадчивый голос: может, то и был хитренький зов дьявола Любостая.— Ты ж ничего и не хочешь от нее, и не просишь. Посидишь, погреешься у чужого огня. Ведь не заказано, правда? Глядишь, и вечер скоротаешь, все к смерти ближе. А так вот жить — с тоски подохнешь, ей-богу. Но глупо все как-то, ой глупо... Спать бы мне сейчас дома, а я, старый пес, хвостом заиграл...»

Темный вошел Радюшин, удрученный мялся у порога в сомненье и Любу, угревшуюся с вязаньем возле печки, взглядом обходил, пристально оглядывая житье, изучал до самых скрытых углов, словно бы впервые попал сюда иль решил насовсем остаться: на сереньких блеклых обойчиках цветики-лютики понасеяны, на окне словно бы жеванный скотиною тюль, обтерханный понизу до косиц, неряшливо обвисший на капроновом шнуре, койка железная, односпальная, под дешевеньким покрывалом, над нею Есенин весь гладенький и сытый на глянцевом картоне, весь запомаженный до пошлости рукою халтурщика, с челочкой возле волооких глаз; у печи, в закутке крохотный колченогий столик с посудою, накрытый от стороннего взора махро-

вым полотенцем, в противоположном углу, за шифоньером, стопа книг.

«Как и не замужем будто... Эх, холостежь-молодежь, — с неожиданной радостью отметил Радюшин и неустроенную пустынность житья, и эту солдатскую койку с тощей, внаклон, подушкой, и сиротливо обвисшую над столом лампочку, обернутую пожелтевшей журнальной обложкой...— Как в казарме, и запах-то казарменный, нежилой. Словно бы на день заехала, одним днем живет девка. Желанья, знать, нет».

— Вы бы разделись, Николай Степанович. Запаритесь ведь,— отвлеклась от вязанья хозяйка.— Чай вот сейчас будет.— И не успел Радюшин отказаться, как она стала рядить стол. Форточка неожиданно откачнулась под ветром особенно гулко в наступившей тишине, дробно ударил в черное стекло снег, и в комнате сразу все показалось гостю иным, уютным и желанным. Радюшин заспешил к вешалке, словно бы забоялся, что ему откажут в приюте, пригладил торопливо потный вихорок, и вдруг захотелось ему всмотреться в себя в зеркало и показаться иным, самому себе молодым и славным. Он огляделся, но зеркала в комнате не нашел. Отогревшиеся щеки пощипывало, они вроде бы оттянулись вниз, и Радюшин ощутил свое набухшее лицо, почти глиняной мокрой тяжести, с толстыми смоляными бровями и цыганскими глазами... «Ах, да чего ж там. Не в женихи и лезу».

— По Степке-то, ухорезу, поди, соскучилась? — напряженно спросил и невольно замер у вешалки, но Люба отмолчалась, лишь вздрогнули зябко узкие плечи.— Поди, одной-то скучно? — допытывался навязчиво.— Медовый месяц прошел, а толком сливок не сболтали и масла не сбили.— «Чего порю-то, типун тебе на язык»,— спохватился, прикусил язык. Но Люба точно снова не расслышала председателя, она была где-то далеко в себе, при ходьбе бумазейный короткий халатик завивался меж устойчивых смуглых бедер, выказывая плавный, редкой удачи постав ног. Домашней она показалась Радюшину в этих остроносых тапочках с выпушкой и цветными помпонами, в пестром халатике еще девичьей поры, такой близкой почудилась, что задохнулся председатель от странной ревности... «На руки бы ее: поди, пуховинки легче, пера лебяжьего угревнее». И, как сквозь сон, прояснилось: ведь было, нес же ее, дураш-

ливый и пьяный, вдыхая запах березового листа от приникшей к груди головы и украдкой целуя в самое темечко; весь угорел тогда, одичал в сумраке баньки, но что-то же остановило, остерегло от безумья? А может, приснился лишь горьковатый запах гладко прибранных волос и тугое прикосновение руки, испуганно закинутой на его онемевшую шею? Взять бы и понести. Закричит наверняка, забьется шально...

— В молодости-то одна забава: миловаться да любиться. Нам-то, старикам, нынче каково, никто не прижалеет. Десяток бы годков скостить. А были когда-то и мы рысаками, а? — говорил Радюшин отрывисто, нервно, спрятав угрюмый взгляд, и потные пальцы подрагивали на остывающем стакане.

— Вы и сейчас, Николай Степанович, хоть куда,— польстила Люба.— Вам ваших годов не дать.— Взглянула из-под челки любопытно, ласкающе, заманивая вроде (иль так показалось Радюшину?), и сама себя испугалась вдруг. Но против воли, однако, пристально всмотрелась вновь в квадратное скуластое лицо гостя, отмечая и густую порошу на висках, и глубокую багровую морщину на переносье, и широкие собольи брови, и твердые оперханные губы, и каменный подбородок. Властный, подумала, своевольный человек. И смутилась, внезапно представив свадебный вечер, заполошный, пьяный, и эти литые набрякшие жадные руки, и потное, разгоряченное лицо, и свой испуг, глубокий, похожий на беспамятство, и горьковатую темень баньки, и дальние потерянные крики на угоре, возле Параниной избы...

Что нынче случилось с Любой? Куда делась ее в покое пребывающая душа: словно бы подменили однажды чужой, постоянно натянутой в беспричинной тревоге, готовой надорваться и изойти слезами. Вот был Степушка рядом — и жилось так просто, любилось так горячо и желанно, таким внезапным ознобом вспыхивала от каждого прикосновенья к его телу, в таком ровном жаре пеклось ее сердце, что мыслилось вечным такое состоянье. Но месяц лишь минул, как нет рядом мужа,— и вроде бы не знавала его вовсе, словно бы давняя она вдова-сиротея, напрочно забывшая о счастливых часах, и во сне если когда и приходили мужчины, то странные, чужие, не виденные никогда, с которыми страшно было и хотелось согрешить...

— Одна-то не боишься?

— Да не-е...

— Ты сразу ворота не открывай всякому, окрикивай — кто да что,— отеческим тоном наставлял Радюшин.— Мало ли охальников кругом. Ныне шпана не дорого и возьмет.

— Будто кому и нужна...

— Может, и нужна,— многозначительно протянул Радюшин, подавшись навстречу и намекая на что-то, и от этих смутных слов вспыхнула Люба и заслонилась рукою. Вороной завиток выбивался на крохотную раковину уха, смуглая шея всплывала из ворота халата высоко и беззащитно, слегка вроде бы надломленная в затылке, и Радюшину хотелось целовать и этот вороной крутой завиток на малиновом ухе, сгорающем от смущенья, и крохотную голубоватую ложбинку над ключицей... Боже, что же это творится с человеком: во сне иль наяву живешь ты, седой, как куропоть, куда, в какую вихревую темень вдруг понесло твою очнувшуюся всполошенную душу. Ведь в дочери она годится, сын твой куда старше ее. Остановись, любезный, перед грехом, натяни потуже нервы, и откроется тогда перед тобою такая бездна, что шатнешься в испуге прочь — и отрезвеешь. Тебе ли, на шестом десятке мужику, шалеть и дичать в любви, когда каждый день отпущенной жизни отмерен и взвешен, и донце уже светит в обмелевшем, вытекшем ручье. Но что значат высокие слова и голос рассудка, если вспыхнула, безумствуя, густая еще, живая кровь...

Люба сидела на кровати скованно, с бесполезным старанием пыталась напялить крохотный халатик на колени.

— Любишь Степку-то? — придушенным голосом спросил Радюшин и вместе со стулом придвинулся поближе, почти касаясь набухшими ладонями Любиных коленок.

— А кого любить-то еще...

— Оно так, конечно,— вроде бы согласился гость.

Любе что-то понадобилось на кухонном столике, иль она испугалась того смутного и опасного, что надвигалось на нее неотвратимо, и потому пыталась с робостью уйти с кровати, но Радюшин внезапно поймал ее худенькое тело, словно бы поместившееся в его горсти, и прижался шальной головой к ознобно дрожащему животу. Запах бумазейного халата и молодого тела, это неожи-

данное покорство опьянили Радюшина, но он пока крепился еще, пытался частыми глухими словами заглушить в себе то звериное и пьяное, что с каждой минутой нарастало в груди. Он губами ощущал душную шероховатость материи и вминался ртом в ее глубь, словно бы стремился проникнуть сквозь нее к сильному и податливому телу.

— Пустите, вы что... вы с ума сошли.— Вроде бы пыталась возмутиться Люба, но, не понимая того, сама обвисла в этих жадных ищущих руках.

— Ты послушай. Ну что тебе стоит, ты погоди... Преступленье ли это, скажи, если полюбить хочу и люблю. Было подумаю — и тошно. Неуж жизнь вся? А тут ты... Шалишь. У меня ведь как, Люба: стремя ухватил — и аньшпугом с коня не собьешь. А тут вдруг качнулся, к земле повлекло, о смерти мысли. Приду, поем, лягу спать, рядом баба сонная, обнять тошно. И как завою-у... Вот словно бы все верхом мчался, все боялся с седла выпасть, и вдруг в кузовок посадили — и не тряхнет. Прямиком в могилевскую. Думаю: и неуж все? Неуж жизнь моя кончилась?

— Отпустите... Что вы говорите.— Люба пыталась вырваться из жадных, омертвевших ладоней. Ей отчего-то хотелось слышать безумные слова, но и было страшно от них.— Отпустите, иль кричать буду.

— Ты погоди, погоди только,— тупо повторял Радюшин. Все напряглось в его естестве, налившемся страшной силой, и он безмолвно молил женщину, чтобы хоть на мгновенье перестала она вырываться и покорилась.— Преступленье ли это, если люблю? И неуж жизнь закруглилась вот так просто: насуетился, наплодился. А я счастья хочу, радости мыслю, чтобы огонек всегда тут брызгал.— Он договорил уже с озлобленьем, почти ненавистно, комкая ладонями ее тело. Вдруг вскинул вверх лицо, багровое, в странных синюшных пятнах. Люба увидела бессмысленные, пустые глаза, обвислые щеки, обметанные иссиня-черной щетиной, и по-настоящему испугалась тут.

— Пусти-и же...

Удар получился неожиданный, хлесткий.

Радюшин тупо покачал головой, как после затяжного похмелья, сдернул с вешалки пальто. Ночной холод протрезвил его, воскресил, еще пьяно кружилась голова, горела щека, и на сердце было так обидно и тошно, что

хотелось долго и похабно материться. «Дурак я, ну и дурило,— нещадно тыкал себя кулаком по лбу.— Скот, скотина, куда полез с поганым рылом. Любви захотел, ха-ха, любви какой-то, а везде одна похоть, ха-ха».

Наверху тлело крайнее окно, наглухо забитое наледью, во тьме лежала безмолвная деревня. Радюшин устало зевнул, выворачивая скулы, и ему вдруг так нестерпимо захотелось оказаться в своем доме, в угретой перине, что все случившееся только что показалось дурью и блажью. «Похоть одна, кругом похоть,— бормотал он, нашаривая в сугробе тропину.— А она хороша тоже, стервь. Сказала бы не — и дело с концом. А то хвостом круть-верть, круть-верть.— И тут, словно по лбу железным перстом.— Ну, если скажет кому? Она такая вертешка... Да не-е, ей-то какой расчет. Самой же во вред».

Но только он вышел под фонарь, успокоенный и сонный, почти позабывший недавнее наважденье, как под ноги выметнулась из заулка дворняга: одно ухо пельмешком свалилось, глаза карие, с грустинкой, а в пасти онемело торчит изваляннная, опластанная, закоченелая курица. Знать, где-то в сугробах лежала птица, а после унюхала, вырыла ее бродяжка и на радостях долго теребила, добираясь до посиневших куриных мослов.

24

— Нынче я устрою ему, я ему такое устрою, что и врагу не посулить,— грозилась жена Нюра, поджидая Радюшина.

— Значит, своими глазами видела?

— Ну-у... Как кобелина. Знак условный подал, и шасть...

— За коим его туда носит-то? Никак в толк не приму.— Домна пригорюнилась, скукожилась виновато в углу кухни за шкапом, вовсе невидная от порога, вся виноватая каждой крохотной жилкой.

— Кобелина, выкрест, азиат чертов. Вот для чего Степку-то на Канин услал, чтобы блуд творить,— кипела Нюра, не слыша свекрови и злорадно не замечая ее.— Жрет, пьет, на всем готовеньком, как барин, выдай да подай. Ему же силу некуда девать, он с жиру бесится. Ему молоденькой-то схотелось, чтоб силу свою положить. Вот уж придет, он у меня схлопочет ухватом по шеям, не погляжу, что седатой.— Поначалу грози-

лась яростно, но с табурета, однако, не сдвинулась и с каждой минутой ожиданья говорила все глуше, все тоскливей и беспомощней становились шафранные глаза, нынче глубоко осевшие, и коротенький нос мертвенно, устало заострился. Круглые плечи рыхло обвисли и потерянно оплывало рано изжитое тело. Войди сейчас Николай Степанович, благоверный и всесильный, рыкни лишь для острастки иль взгляни круто и темно, и сразу куда только слова грозные денутся с Нюриного языка...

— Иль я подстилкой ему не была,— жалобилась она, часто и бесполезно взглядывая в темную проталину стекла, куда надышала за долгий вечер.— Иль я не выкладывалась для него на каждое хотенье. Он лишь подумает, а я уж тут как тут. Ты, мать, там не молчи, ты скажи за сына что-нибудь.

— А что я тебе отвечу, христарадушка, коли на ум ничего не идет.— Домна, однако, появилась из-за шкапа, поклонилась в пол, черный повойник сбился, и до прозелени седой паутинчатый волос выбился на луковичное лицо.— Одно в толк не возьму и на веру не приму. Любка-то из хорошего вроде дому пришла, она не посмеет попускаться на гулянку, она не того уставу девка, чтобы каждому кобелю подсластить. Ты, доченька, потерпи, может, чего на пустое наговариваем...

Тут-то и заявился Радюшин, темный, тоскливый. Раздевался молча, вроде бы не замечая никого, и лишь с порога комнаты бросил через плечо:

— Чего не спите-то?

— Да вот тебя ждали,— робко потянулась навстречу Нюра, задавливая в горле протяжный всхлип.

— Кур-то ваших собаки по деревне волочат. Ты смотри у меня. Голову сниму, если что,— пригрозил Радюшин, скрываясь за дверью; слышно было на кухне, как тревожно заскрипел диван под распластанным грузным телом.

— Вот и поговори с ним,— растерянно сказала Нюра, тупо озираясь, на рыжих вялых ресничках дрожали слезины.

— Боже ты мой,— протяжно вздохнула Домна и нерешительно как-то огладила круглое невесткино плечо.— Словно и не сын мой. Погляжу — и чужой вроде.— Ей было совестно Нюры, и она, крохотная, словно подросточек, в цветастом сарафанчике и высоких подшитых катанках, все суетилась возле, пыталась уте-

шить, перенять горе на свои воробьиные плечи.— Его бы к старухе какой сводить, пошептать бы чего. У него заворот в душе, искривленье.

— Брось давай. Нашлась тоже присушильщица. Его бы каленым ухватом в одно место, да чтоб до поросячьего визгу...

— Вы молодые... Вы пошто-то ни во што не верите нынче, у вас и ладу прежнего нет. А слово сказанное уже само по себе существует и особую силу имеет. У Кольки, поди, заворот на душе иль что защемилось. Пошептать бы на него, пошептать бы,— не успокаивалась Домна, катала частые шепелявые слова, словно бы вызволенные из давней памяти, из потерянного времени, к которому уже не будет возврата. Натужно храпел в горенке Радюшин, туго скрипел зубами, точно перетирал сталистую проволоку, выкрашивая эмаль до самого нерва, а здесь тихие старинные реченья, вроде бы пустые и зряшные, не проникая в зачугуневшую Нюрину голову, однако приносили успокоение, снимали с сердца плаксивую тягость.— У каждого человека, христарадушка, порой так защемит вот туточки, что и свет белый тогда не мил. Он и рыщет, лыцарь медноголовый, смекает чего ли на утешенье. Аль нет, голубеюшка? Иль вру чего?.. На Вазице, сказывали, живет старушишка, что пользовать может от скорбей. Привезли ей было мальчишонку из городу, ударило сердешного молоньей. Память потерял дитешонок, забыл отца с матерью, язык отнялся, оглупел вовсе. Увела его старушишка, в другую горенку, сбрызнула наговорной водой, нашептала, но родителя, верно что, упредила, мол, слово у нее теперь не такое крепкое, как прежде. Зубов-то нету, съела зубы-ти, а слово, неправильно сказанное, оно не так и существует, и прежней силы не имеет. Но ведь почти выправила парнишонку, всех узнавать стал, христовенький, и говорить дельное... Да и наш-то дедо Геласий Созонтович может заговаривать, у них весь род на запуки крепкий. Ты у Парани справься. Он Саньке-то Королю было глаз так вынул, что рубчика, следка крохотного на лице не сыскать. С одним глазом, сердешный, и в гроб повалился. Антонович, братан-то егов, с коневалами знался.

— Иди, ложись давай спать, не трави душу,— досадливо перебила Нюра, потерянно разглядывая руки, устало кинутые на столешню.— Я ль ему подстилкой

не была? — недоуменно спрашивала, копалась в памяти, не находя достойного повода, отчего бы можно было так бесстыдно опозорить ее на всю деревню.— Ей-то, прощеголенке, может, пойти и глаза выстричь? Ты этого, свекрова, хочешь?

— Господь с тобой, христарадушка,— испугалась Домнушка и поклонилась долу, касаясь рукою половицы. Ты не злобись, невестушка. Все на разжиг пошло, все на похоть утробы ествяной всесилой, и в слово уж не верим. Я кое-какие запуки знавала от стариков, но они не в моей власти. Вот «на разлученье» помню... «Зайду я во широкий двор, во высокий дом...» — так начиналось, кажись. Может, где и спотыкнусь, из памяти нынче вышибать стало, дак не прогневись... «Запашу я остуду великую, как бы остудился раб божий (имярек), чтобы он в покой, а она из покоя, он бы на улицу, она бы с улицы: так бы она казалась ему, как люта медведица. И в каком бы она ни была платье, хошь в цветном, хошь в держамом, все бы он не мог ее терпеть и кажинный бы раз не сносил бы с ея зубов своих кулаков. Хошь бы ладно она делала, а ему бы казалось все неладно, и хошь бы по уму делала, а ему бы казалось не по мыслям. Пошел бы он на улицу, разогнал бы грусть-тоску-кручину с чужими людьми, и пошел бы он домой и повалился бы на место, а есть у него подружка, ночная подушка, и разогнал бы он с ей грусть-тоску...»

Ты иди, Нюра, тоже ляг да поспи, христарадушка, душа-то и обрадеет. Темной ночью и думы темнее омута и солоней слезы.

Теперь Геласий ночами спал мало, и с усильем, до ломоты в шее напрягаясь, все слушал, не сгремит ли где во дворе, не запросится ли кто в гостевые ворота, не скрипнут ли сторожко петлями дальние двери. Постоянно снилась прежняя изба, какую навестил в последний раз, с высаженными начисто стеклами, сиротская, разоренная, выстывшая, с гривками снега на столешне, навеянного в провалы окон; и будто бы, кружась затравленно по кухне, он каждый раз сторожко всматривается в сумрак запечья и придушенно, боясь потревожить тишину, зовет кого-то, кто затаился там, сверкая розовыми глазами. «Пойдем ко мне во новый двор, на доброе житье — на богачество...» Ах я, раззява такой,

ах я, остолопина, казнил себя Геласий, заново переживая сон и мучительно прислушиваясь к ночи. Хозяина-то избяного с собой не взял — не позвал, забыл во сиротстве-одиночестве покровителя домашнего, охранителя очага семейного. В несчастии кинул, во позоре, так будет ли ему, Геласию Созонтовичу, радость житейская и воля вольная в этом жилье. Не вздохнет больше в душном запечье скрытно дремлющий домашний ревнитель; не дрогнет чуткая дверь, слегка отставшая от набухшего порога и согласно пустившая бессонного ночного стража; не мыкнет корова, потревоженная доброй мохнатой рукой домового, ласково вьющего на потном комолом лбу курчавую белую звездочку; уж никогда более не распахнешь глаза беспамятно и легко от того благостного чувства, что кто-то будто бы глядит на тебя сверху из выстывающей темени и хранит твой сон... Был бы в Василистовой избе свой хозяин, пусть и замухрышка какой не больше катанка, то Геласий, пожалуй бы, учуял его, воспринял, сговорился бы с ним, поначалу покаявшись ради дружного, согласного житья в уготованном судьбою дому; но чует старик, тоскующий душою чует, что зябко и пусто ему в жарко натопленных, до скользкого блеска накрашенных хоромах; нет здесь для него того ответного отзыва, который называют живой домашней благодатью... «Этим-то что, они сами по себе,— рассуждал Геласий.— Они всему голова, они нынче, на удивление, все видят, все знают и ничего не боятся».

Утром, когда Кира выплывала из горницы вся вальяжная, хлебная, растомленная, встрепанная, в бесстыдно распахнутом халате, старик, как обычно, уже сидел на койке, кинув бессилые тоскующие руки на костлявые колени. Хозяйка словно бы не замечала деда, опахивала его легкой полою халата, показывая длинное крутое бедро, обдавала волной ночного застоялого пота, затем долго полоскалась под рукомойником, вольно освобождая грузные титьки и мотая ими над привозной фаянсовой раковиной. Спал ли Геласий, грезил ли — он и не знал порою о том и, бессмысленно наблюдая за бабьей обрядней, ловя заросшим блеклым ухом все такие знакомые звуки и запахи утренней жизни, никак не отзывался на них душою. Словно бы кожура человека, странно подпертая руками и ногами, молча сутулилась на тюфяке. Как только отпала работа, держащая плоть в напряжении,— тут и отжил человек, безрадостно погрузивший-

ся в себя; еще мослы похрустывают, позывают на движенье, еще пониклые плечи чуют и помнят упругую мозольную силу неводной тетивы и тягловой лямки, еще в жилах нет-нет да и вспыхнет будоражащий огонь, вызывающий в сердце сладкую оторопь,— но это уже словно бы прощальное наваждение, дальняя зарница давно отпетой жизни...

Кира к столу не приглашала, садилась у самовара спиной к старику, и Василист, слегка припухший ото сна, вроде бы случайно находил взглядом Геласия и, состроив удивленное лицо, указывал жене: «Ты чего деда-то не зовешь? Пригласи к столу». Кира пожимала плечами и звала, не оглядываясь: «Эй ты, чего как неродной. Сто раз тебя приглашать?» После чаю все расходились по работам, и дом затихал. А Геласий вновь занимал свое постоянное место на кровати, уже с тоской и гнетущей тревогой дожидаясь странных голосов, навещавших его извне. То чудилось ему, будто ненцы приехали с тундры, раскинули свой чум под окнами, развели костер и норовят спалить дом; то казалось, что малые дети нарочно стучат в ворота, балуются во дворе. Тогда старик выходил на крыльцо и увещевал сердито только ему видимых людей. Однажды навестила Геласия Параскева Осиповна, а он спутал ее с директором школы и стал яростно кричать и ратовать, дескать, что ты начиталась всяких книг, дак спортила меня, заселила вовнутрь чужих и злых людей, не дающих покоя. Параскева, обычно шумная и неуступчивая, тут напугалась вдруг и долго уговаривала Геласия не напрягаться, жить смирно, да угождать внуку, приютившему его, да радоваться чинно-мирно счастью, так неожиданно выпавшему на его долю,— ведь эдак хорошо, в тепле да сытости, он и не живал еще, век с мокрым огузьем ходил...

Когда особенно шумело в ушах и тягостный ком теснился в горле, старик доставал из-под кровати жестяную коробку, в которой держал нож и шило, уже порядком зазубренные и ржавые, не боясь заражения, из жилы на затылке стопы ударом ножа без страха метал кровь, давая ей вольно течь. Крови в иссохшем теле струилось скудно, и она сама собою густела на порезе и подсыхала. Но старик был порядком слеп и не видел, как, не попадая в таз, скатывается кровь на крашеные половицы, твердея мутной шершавой коркой. После такого вольного насилья над собою, Геласию становилось куда лег-

че, шумы в ушах пропадали, и тягость спадала с сердца. Пробуя ноги на крепость, он одевался и обходил деревню. Если кто попадался навстречу, то старик заводил разговор, дескать, вот кровь нынче метал, выпустил прочь, темную и дурную, и сразу полегчало, отпустило, словно бы десяток годков с плеч скинул... Но дома Геласия ждала гроза: посередке кухни в одних спортивных брюках, вывалив белый живот, сидел Василист и холодно просверливал деда из-под моховых спутанных бровей, которые, казалось, всегда нуждались в ножницах и расческе. «Геласий Созонтович,— ровно обращался внук, не дожидаясь, пока старик скинет бушлат,— ты что опять натворил, старый. У нас ведь для тебя уборщицы нет. Впрочем, я не то что, я тебя понимаю. Но вот Кира, она баба, она со слезой жалуется на тебя, она просит меры принять. Ты что же, старый, свинарник разводишь. Я не фуфло, ты это знаешь, я тебя оприютил, но Кира, баба моя, говорит, что ты неблагодарный скотина. Вон тряпка в углу, подбери за собой. Кира говорит, у нас без слуг, заруби на носу». «Прости, внучек, и ты, сношенька, тоже прости старого дурака. Помстилось чего-то»,— суетливо и покорно соглашался Геласий, вехтем готовно замывая пол. Кружилась голова, хотелось лечь и уснуть, и особенно чувствовалось внизу студливое притяженье земли. «Хоть бы до весны благословенной дотянуть, а там и помру»,— совестливо думал он, тяготясь своей немощи.

«Я ведь про что,— монотонно втолковывал Василист, чуть склоняясь со стула и любопытно наблюдая за встрепанной дедовой головой.— Я ведь за тебя болею в таком смысле, что вдруг зараженье крови — и пшик, на могилевскую. Тебе что, жить надоело?»

Нюра, не сказавши свекрови, все-таки навестила Геласия, улучила момент, когда тот оставался один в доме. Старик лежал на кровати, когда она вошла: только нос вертлюгом да скулы и были видны на испитом пергаментном лице, и серебро распластанной жидкой бороды словно бы стекало из рытых коричневых подглазий. Старику было скучно одному, внутренние голоса в последние дни перестали смущать его дух, и он обрадовался гостье, неожиданно споро сел, подпирая себя руками и высоко задирая плечи в ситцевой рубахе.

— Дедо, как живешь? — спросила Нюра, придвинула к кровати стул, заискивающе вгляделась в подслеповатые совиные глаза, жиденько подсиненные, с легкой искрой насмешливого любопытства в глуби.

— А чего не жить, милушка, слава богу живу. Кормят, поят и работой не неволят.

— Ты на Колю-то моего, на Николая Степановича, поди, в обиде великой? — Нюра неожиданно подалась навстречу, легко погладила костлявое стариковское колено в широкой засаленной брючине и уловила тошнотный смертный запах, исходящий от деда. В зальдившиеся окна на крашеный блескучий пол холодно втекал серенький день; часы с мерным жестяным звяком ковали время, и в короткие промежутки гнетущей тишины врывалась капель из рукомойника. Словно маятник, поймав его качание, тупо кланялся Геласий, не сводя с рыжеватого Нюриного лица недвижного немого взгляда. И ей вдруг стало страшно от затянувшегося молчания, и она подумала: «Колдун, как есть колдун». От этой мысли, почти произнесенной вслух, все уравновесилось в Нюриной душе, и, склонившись к деду, пряча наслезившиеся глаза, она виновато попросила: — Вы сердца-то не держите на Колю моего...

— Бог ему судья,— тускло ответил Геласий, но тут же оживился, и впалые щеки слабо зарозовели.— Я крест ходячий, я на себе предназначенье чую... Как ни вырастай из себя, решил я, как ни хорохорься, а все примрем, и мати сыра земля приберет в свое место и в свое время. Ежели бы мать сыра земля не родила да не вскормила, то никому бы не бывать.

«Колдун, как есть колдун»,— упрямо убеждала себя Нюра, тайно уже готовая поверить. Сколько помнила себя, вроде бы всегда обычным и затрапезным виделся Геласий Созонтович и, зная разговоры о нем, никогда бы не решилась всерьез поверить, что этот сутулый старик в черном матросском бушлате чем-то особый среди прочих; а ныне вот осталась наедине с ним, и в душе, уже давно тоскливо и болезненно натянутой и тревожной, все смутное и неопределенное, отложившееся помимо желанья за долгие годы, вдруг слилось в особый образ; и, вглядываясь в глубокий провал глаз с легкой искрой насмешки на самом дне, в этот просторный лоб, с едва заметными залысинами на проваленных висках, и благородный посад головы, слушая глухой голос, исторгаю-

щийся из бездны, слегка принакрытой серебряной бородой, она уже знала, что перед нею колдун.

— Геласий Созонтович, свекрова поминала, что вы запуки знаете. Врет, поди? — спросила — и замерла вся, зажимая зябкую дрожь.

— Ничего не знаю, ничего не помню,— отказался тускло старик, все так же мерно качаясь и не сводя с гостьи навязчивого взгляда.— Память вся выпала, как есть круглый дурак. Было время, чего и помнил: остудные слова, на разлученье, на сымание тоски. У нас бабка Кычка Столетня все ворожила на веник да на воду... «Стану я, млада, на шелков веник белым телом, белой грудью, черными бровями, ясными очами, ретивым сердцем, слабыми мыслями, попрошу я серого зайку: прибежал бы ко мне, серый заюшко, снял бы с меня тоску-кручину-печаль...» Ну и все, боле ничего не помню. А для чего, белеюшка? Для чего тебе старина старинная?

— Дедо, ты не таись, я ведь перед тобой как перед зеркальцем. Ты мне на разлученье-то поворожи...

— Кхе-кхе, господь с тобой,— легонько рассмеялся Геласий, от странных Нюриных слов тоже чувствуя волненье.— Мужик галит? Николай Степанович в сторону сбегонул. Эко дело, хе-хе,— снова хихикнул, зажимая в горсти бороду, взгляд затуманился, и словно бы помолодел старик, вспомнив давнюю гульливую молодость.— А я-то чем помогу? Ну и сбегонул, эко диво.

— Я никому не скажу. Я ли ему не подстилка, а он с девкой спутался. Ты же колдун, дедо. Я вижу, что ты колдун.

— Брось, брось, чего мелешь,— испугался Геласий, чувствуя, как все опадает у него внутри: шум в ушах нарастал и тяжелый глинистый ком пехался в горло. Сквозь слоистый розовый дым почудилось странное звериное обличье с выпученными студенистыми глазами.

— Ты наколдуй чего ли. Народ-то зря не скажет.— Упрашивала Нюра, унимая сердечную дрожь и тайную боязнь, и вдруг, не помня уже себя, упала на колени, притиснулась лицом к душным стариковским штанинам, больно прихватилась за сухие икры.— Ты ведь колдун, не отпирайся,— шептала задыхаясь.— Я вижу, что колдун, я теперь все вижу. Слышь, Геласьюшко, пусть отмстится твоя слеза, отольется ему. Неужель простишь? Ой-ой...

— Сгинь! Не греши словом, не возводи напраслину, сука! Дай помереть, не стой над душой. Я не колдун, колдуны-то вокруг тебя ворожат. Мало, что дому меня лишили, мало позору моего, дак хотите вовсе допереть, чтобы не дыхнуть?..

— Де-до, чего выдумываешь. Это я-то с умыслом? Я-то-о? Ты откройся, не таись. Я все знаю. Честное слово даю. Я прежде не верила, думала сочиняют про тебя, а теперь ве-рю-ю. И неуж простишь дьяволу, неуж и словом не вякнешь? — Нюра осатанело вскрикнула.— Он кровь мою высосал, а ты, зараза... Есть ли в вас жалость в ком? Только для себя, только на себя, сво-ло-чи. И ты... и ты... Ну помоги, что стоит, хоть капельку колдовской силы направь. Пусть отмстится.

Но старик неожиданно заплакал, тонко, по-заячьи, заверещал, опадая боком на кровати и заламывая худое морщинистое горло, опутанное с-под низу почти лишаистым неживым волосом:

— Не колдун я... не колдун... не хочу кол-ду-ном...

25

А где-то на изломе марта в Кучему приехал собиратель старины Баринов Пиотр Донович и встал на квартиру к председателю. Домне он сразу же пришелся по сердцу, но свои старушьи симпатии она поначалу скрывала, говорила с гостем сухо и мало и придирчиво оглядывала ученого мужика, который, по ее мненью, не только сам занимался бездельем, но и народ честной отнимал от работы. Был Пиотр Донович высок ростом, места своею особой занимал много, и Домне приходилось далеко огибать его, когда громоздился тот на стуле посреди горницы, широко разбросав ноги. Львиная сивая голова придавала Баринову вид осанистый, голос был густой, с хрипотцой, прокуренный, в груди у гостя простуженно побулькивало, словно бы там постоянно жил кашель, но с широкого, тяжело обвисшего лица с нездоровой багровой паутинкой и с жидковатых навыкате глаз, чуть затененных крохотной белесой щетинкой, никогда не сходило учтивое вниманье. И о чем бы разговор ни затевался — о лесных ли тяжелых сеноставах и коровьих удоях иль о старине предавней, Баринов, по обыкновению, восклицал удивленно: «Что вы говорите? Как интересно». Но знать, в просторной голове гостя в эти

мгновенья вились свои заботы, и потому рассказы слабо оседали в ней, ибо до смешного случалось, что через час-другой, слушая на деревне те же самые истории, Баринов, то ли в силу воспитанности иль от застарелой забывчивости, вновь повторял: «Что вы говорите? Как интересно. Никогда не слыхал...»

При нем была не то женщина, не то девица — тонкогубая, с бородавкой на переносье, которую она зачем-то чернила карандашом, и с неживым цветом лица. Говорила она много, взахлеб, постоянно охала и ахала: «Прекрасно, просто прекрасно, что вы сказали сейчас», но глаза при этом оставались усталыми и холодными, словно бы женщина уже давно утомилась жить и коротала свой век по нужде иль привычке.

Утрами сидели за столом долго, ели истово, насыщались на весь день. Чаю Баринов пил много, но сахару кусал экономно плоскими, до желтизны прокуренными зубами, и эта мужицкая привычка сидеть в застолье обстоятельно, неторопливо вовсе покорила Домнушку. Порою Пиотр Донович прикрывал водянистые глаза, морщился, тайно хватался за живот, и эти мгновенные круговые движения тоже не ускользали от старушьего досмотра.

— Иль с животом што? — не удержалась, спросила однажды, и Баринов покорно качнул головой.— Может, банька поправит? — жалостливо подсказала, но гость недоверчиво, тоскливо улыбнулся, навалился животом на острый угол стола, унимая боль.— А вы не смейтесь,— расстроилась Домна.— Банька кровь полирует, банька дурь прочь гонит. Русский человек на бане стоит, баней и жизнь крепит. Уж так, христовенький, уж так, богоданный... Это вы ныне: в ванну-то заползаете, да в своей грязи и полощетесь, как поросята, прошу извиненья за срамное слово, а со всех сторон вас сквозит и точит. Ты уж мне поверь, миленький, я век прожила, всего насмотрелась.— Домна выкатилась на середину комнаты, крохотная, словно подросток, поясно склонилась, правую ладонь к груди прижав, и при этом такая детская, такая доверчиво-искренняя улыбка родилась на ее ореховом лице, что сердце Пиотра Доновича дрогнуло, пронизанное грустной добротой, и сразу собственная маменька-покоенка вспомнилась. Он пробовал, правда, что-то возразить в силу своей учености и даже привстал из-за стола, громоздкий, неуклюжий и какой-то беспомощный

при этой своей силе, но Домна подскочила, замахала на него крохотной ручкой: — Я темна, я глупа. Вы-то, Пиотр Донович, сынок богоданный, все науки превзошли, а на меня хоть всех ослов перевешай, не пообижусь, такая уж дура уродилась... Но банькой и спаслась только: мне уж на восьмом десятке, а животной хвори с той поры и не знавала. Было только замуж вышла — и тут сев привелся. Три пуда зерна в мешок, на горб — и на поле. Там угорышек. Поднялась на него, а ноги и рассыпало. Вот и нарушила живот. На камень животом легла, плачу. Идет старушонка из соседней деревни, спрашивает, что с тобой? Посмотрела, пощупала и говорит: пуп стряхнула. Мать в бане горшок наложила, и прошло все, как пролетело. А ведь до того дело доходило, что и аппетиту не было, на корню сохла, как былинка, и мужик богоданный косо смотреть стал.

— Что вы говорите? Как интересно,— едва слышно отозвался Баринов, весь размякая за столом.

— Ну, дак как не интересно. Век прожила, христовенький,— вновь поясно склонилась Домнушка, и в мохнатеньких ее глазках наслоилась мгновенная мокрота.— Я и сама нынь баблю, как позовут, и особливо малым дитешонкам животы правлю. Жалко ведь малых: это мы чего-то сказать можем, как заболит, нам слово дадено, а ребятенка только гы-гы... Трешь, значит, в пупу. Корочку хлеба вырежешь, чтобы только в стакан вошла, ватку зажгешь, на пуп положишь. А потом стакан хлоп. Огонь потухнет, и стакан в живот вляпается. Но стакан худо, правда, а горшочек глиняной больно хорошо, да нет их ныне в продаже...

— Прекрасно. Просто прекрасно,— встрепенулась спутница Баринова — не то девица, не то женщина в годах.— Вы повторите все, а я запишу.

— Не-не,— замахала руками Домна, внезапно посуровев, и губы узелочком завязала. Но, минуту помолчав, что-то поборола в себе.— Вы уж спрячьте... Меня глупу чего записывать, только зря бумагу переводить.— И опять стронулась Домнина доверчивая душа, истосковавшаяся по нездешним людям, и всполошила мысли.— А нет стокашка, дак валечек. Потрешь спину, хребет. Повалисся, когда голодный, да маслом живот натер — и бабки не нать... Вы лягьте на диван-то, я погляжу,— предложила неожиданно,— и стыдного в том ничего нету.

Домнушка достала валек, каким раскатывают тесто, а Пиотр Донович, несколько засмущавшись вдруг, строгим взглядом отослал покрасневшую спутницу на кухню, снял сурового полотна серый пиджак и распластался на диване... Стыдного-то, конечно, тут ничего нет, и унизительного, как ни говори, мало, но вот развалился плашмя, закатав по горло рубаху, и сразу вроде бы переменило человека: ни осанки прежней, благородной, ни ума особенного, ни разума складного — все куда-то подевалось, и старушонка эта егозливая и несколько насмешливая возвысилась над ним и обрела иное значенье. И это неожиданное возвышенье старой Домнушки над ним, доктором наук, именитым филологом, несколько смущало Баринова и унижало, но лишь до того начального мгновенья, пока бабка не погладила его живота шершавой скрипучей ладошкой. И все суетное откачнулось, и Баринов помимо своей воли словно бы впал в детство, и уже с особым вниманием наблюдал за лекарихой, испытывая при этом блаженное, редкое состояние покоя, которое приходит порой к человеку, как драгоценнейший дар... Сын мужика, уже смутно помнивший свое родство с землею, лежал перед Домной, и ей одного взгляда хватило, чтобы разглядеть и оплывший белый живот с коричневой изюминой круто завязанного пупка, и зыбкие рыхлые бока, приобретшие тот цвет увядания, изжелта-зеленоватый, который свойствен телу малоподвижному, и обвисшую, почти бабью, рыжеватую грудь. И ответно, покорно смотрел Пиотр Донович снизу, выкатив глаза, на пергаментные ручонки Домны, на седые кудерьки, выбившиеся из-под черного повойника на впалые виски, уже от одного лишь ожидания испытывая странное облегчение внутри себя.

Домнушка скрипуче протерла скалку, свела губы в узелок и словно бы прицелилась к Баринову, отыскивая место, куда бы побольнее вонзить ее. А сама меж тем ворковала, смеялась мохнатыми глазками, похожими на две крохотные бусенки:

— У меня с той поры живот и не баливал, только с воспалением легких пять раз лежала. Ну и вот если понос прихватит, значит, пуп вниз уронен, вот и поднимаешь его вверх, собираешь живот в одно место.— Она щекотно гладила Баринова, шершавой ладошкой удивительно легко обегала каждую складку раздобревшего живота и расслабляла его: там, внутри, что-то сразу

ожило, забродило, заворчало.— Вот так и вот эдак. Напряженье постоянное внутри, от него и тяжко. Мозоль-то эку срамну наростили, как на сносях.— Домнушка приставила скалку острым концом к пупу и стала подкручивать легонько, ввинчивать ее.— Екает? Не-е? Если живот хороший, должно в пупу екать. Должно быть, болит утроба, коли не екает.

— Ну конечно, болит.

— Ишь ты, миленький. Грыжи нет, пуп не сронен и поносом не ходишь? А болит?.. Гладить надо, в баньке править. Скажи жонке своей, пусть не поленится гладить. Да много жирного не ешь, да не надсажайся. С нерва, поди, тягость-то? Изводитесь все, рветесь на перекладных куда-то, спасу нет, на изгон летите, никого не замечая, нервы в мочало крутите, вот и мучает, вот катает вас, бедных. А куда рветесь, сердешные, к какому такому благу, что себя не щадите? Вот и сын у меня экий же. Вся душа в кулаке, вся на взводе. Чуть что не по ему — в крик...

— Суровый он у вас.

— Власть кого прямит, а кого и в сосульку. Народом ой нелегко совладать: сладкое разлижут, горькое расплюют. Раньше-то в работе вседневной надсажались, в поле иль на море, но, как минута выпадет свободная, тут и запоют, блаженные, так голос подымут, в такое удовольствие войдут, вот душа и ослабнет, надсада-то с нее и спадет. А если раскалить человека, да на таком жару держать, долго ли он выстоит?.. Пели раньше, ой пели. Плохо жилось, а пелось; нынче хорошо живется — да не поется... Я ведь сына сама выходила, от смерти спасла. Пришла в медпункт, а фельдшера говорят, сын ваш уж на холод вынесен, помер, говорят. Я ему грелку молока принесла на груди, чтобы не застыгло. Пала на колени, лью молоко-то, реву, а он тут и ожил, как из мертвых воскрес. И поверишь-нет: гляжу ныне на него — и не признаю порой. Мой ли сын, не чужого ли кого подняла из гроба, из смерти выманила? И порой так раздумаюсь, что страшно, ей-богу. Мое ли молоко в ем, мое ли-и?

Третий день, с дозволения Домны, распевались женщины в светлой горенке, застланной розовыми своеткаными половиками. На заулке под высоко вознесенным

небом до рези в глазах искрились голубые снега; в затайках, под застрехами, изба уже слегка потекла, и с краю потоки наметились первые прозрачные иглы. Солнце нахально и радостно ломилось сквозь стекла, мерцающим морошечным столбом половинило избу, стекало на оранжевый пол, на сервант, полный хрусталя, на плечи старух, обтянутые цветастым ситчиком, на платы брусничного шелку, еще чудом сохраненные в глуби сундуков с девичьей поры. Нет, как ни говори, но песню, этот выплеск души человечей, рождают не только голосовая вопленная труба, не только тот таинственный орган, затаенный в глуби груди, но и то особое состояние воздуха, солнца и земли, которое образуется порою в природе и неисповедимым образом переливается в людскую кровь, наполняя ее счастливо рвущейся на волю хмельной силой...

Помнится, как пришли они в первый день, все затрапезного виду, неловкие, виновато склоненные и всполошенные, прячущие изуродованные клешнятые руки под передник. Они казались тогда чужими друг дружке, хмуро косились, куда-то торопились, дескать, от заделья оторвали, скоро сын на обед — а еще и чугуны в печь не ставлены; мол, и поем-то нынь редко, все песни перезабыли, и голос не бежит, гарчит по-вороньи, хрипит — только людей добрых смешить; и жилы в руках-ногах стогнут, которую уж ночь не сплю; и корка-то у пирога нынче ямой получилась, знать, к смерти близкой; и девку вот, малу внучку вострoглазу, не с кем оставить, оборони господь, чтобы огня не заронила... Отказывались с каким-то нетерпением, переглядывались нехотя, на готовно поднесенные стулья присаживались косенько, на одну сухонькую половинку, готовые вскочить и бежать. А Домна меж их мохнатым шмелем вилась, гудела, умасливая и растапливая недоверье:

— Вы что, бабоньки, уж никотора и петь не умеет? А петь-то, христовенькие, велико ли дело, я вас мигом научу. Рот коси да головой тряси — вот и песня. Будут думать, что поешь.

— Когда поешь, то распоешься. А если не петь, то исключительно на легкие выходит,— возразила Параскева Осиповна, сгоравшая от ревностной обиды, что вот Домнушкину избу облюбовали под спевку, а не ее дом.— У меня в груди жженье, я уж петь не буду, как ты хошь.— И с таким вывертом, по-извозчичьи матюкну-

лась, что даже старухи потупились, зарделись. Ну, Домнушка и упрекни:

— Женщина матюкнется, дак мать пресвятая богородица на престоле не усидит. Так ранее говаривали.

— Не тебе меня и учить, трясогузка хренова,— отрезала Параскева и умчалась, только ее и видели.

И как ни обхаживал Баринов — и чаем-то обнесли, и конфетами потчевали городскими,— однако все старухи друг по дружке пошли из дому прочь.

— Если уж Параня петь не будет, то и мы не запоем.— А погода была слякотная, мрачная, дымная хмарь стояла низко над деревней, казалось, что посреди зимы прольется вдруг обложной дождь...

И вот все так чудесно устроилось, и солнце огненного расплава всплыло ныне, и Параскева Осиповна внезапно сменила гнев на милость. Пришла в шубейке зеленого атласу, да в штофной юбке до пят, да в парчовой повязке, унизанной бисером, и еще с порога завыхваливалась:

— «Ой, все бы пела, все бы пела, все бы веселилася, все бы под низом лежала, все бы шевелилася. Ой, мяконька, ой, молочна песня...» — Выпела сипло, резковато, а сама меж тем зорко глянула в сторону Домны, ожидая, как та себя поведет. Но смолчала хозяйка, сердечно улыбнулась пушистыми глазками, поясно склонилась перед гостьей, и Параня довольно отмякла, посередке горницы села на венский стул, высоко задирая штофную юбку, чтобы не измять, и Баринов невольно усмехнулся тайно, увидев на ее ногах солдатские кальсоны, завязанные на щиколотках поверх шерстяных носков.

Восемь женщин — все вроде бы внешне разные и годами, и лицом, и повадками, но и неуловимо схожие тем общим выраженьем добросердечия, которое отличает даже самую некрасивую деревенскую старуху,— переговаривались отчего-то тихо, словно бы чуя провинность, почти шепотом, а может, настраивались душевно, отыскивая в себе то настроение, которое и рождает песню.

— Нужна глубокая память, чтобы петь на беседке — беседошные, на вечерке — вечерошны, на лугу — луговые, в хороводе — плясальные.

Это Параскева Осиповна сказала слегка заносчиво и оглядела товарок.

— А татушка у меня умирал и говорит: «Последние часы доживаю, а куль песен еще не развязан». Я и самато, как одна жила, с вечера запою и напеться не могу.—

Домнушка всхлипнула, закомкала передник.— Бывало, и ночь пропою. Народ-то идет мимо избы, говорят, что эко Домнушка — не с ума ли сошла.

— Глупа, как есть глупа,— сурово обрезала Параня и засмеялась.

— Я-то глупа,— покорно согласилась Домна,— но и ты порато не кричи. Как ворона: кар-кар...

— Эй, бабоньки,— поднялся за столом Пиотр Донович, остерегаясь грозы. Но солнце ломилось в избу, маслено растеклось по полу, ублажало бабью исковерканную плоть, и смута, едва народившись в отпотевшей редковолосой голове, уже сникала.

— Куда деться мне, что делать, коли так вырывается,— смиренно подтвердила Параня, и все облегченно вздохнули.— Нам бы по стопарику грянуть, а то голос секется. Я ныне тонким не могу, редко пою, вот голос и гарчит.

— Ой, мы выпьем-то когда, дак голосишко у нас и по-бе-жит,— призакрыв глаза куриными веками, сладко протянула Домна.— Ой, и побежит тогда, польется. Ее вывести надо, ей после надо разбежку дать, христовенькой разлюбезной песенке нашей, да чтоб она взыграла, да после сама по себе и вилась, скакала-поскакивала. Иль не так, деушки?

— Все так,— согласились женщины, и лишь Параскева не преминула слово свое веское пропехнуть, чтобы о ней постоянно помнили, на нее равнялись:

— Песне натура нужна, по народу и песня. Вы в какую деревню ни поезжайте, а вам ту же песню, да по-другому выведут. Вот мезенки, те более круто заворачивают, нам с ними не по дороге; если по-ихнему боронить, то леший знает, куда выведет ту борозду.

— Может, попробуем, споем? — искательно попросил Баринов, уже уверенный сердцем, что из этого песенного кладезя он вдоволь изопьет. Бабы согласно запотряхивались, заощипывались, словно бы на пляс пригласили выйти, и с лиц, только что кирпично-бурых, потресканных морщинами, переменчивых, вмиг слиняло оживление, румянец вроде бы притух, просочился сквозь пергамент кожи, каменно напряглись скулы, щеки подсохли, и в изгибы выцелованных губ и в подкрылья носа легла та особого свойства грусть, с которой начинается и настраивается любая русская песня.

Горенка была розовой от солнца и брусничных пла-

тов, и в этом розовом рассеянном свете, как успел заметить Баринов, потерялись все очертания и тени. Чувство ожидания, оказывается, в нем было столь сильным, так напряглась его душа, что, когда колебнулась первая волосяная струна, исторгнув лишь призрачное напоминание звука, Пиотр Донович больно вздрогнул сердцем и захолодел. Это Домна слабосильным издерганным тенорком пугливо подступилась к песне, попробовала зачин на слух и, словно бы побоявшись одолеть его, тут же и споткнулась, плотно свела рот в голубенькую оборочку, стыдливо оглядывая товарок и сзывая на подмогу. Но слово, выпущенное на волю, обратно не поймаешь: оно, рожденное, имеет особую власть и иную силу в себе несет. Не умерла песня: поймала Параня волосяную струну и на самом крайнем ее дребезжании вновь колебнула хрипло, басовито, по-мужицки как-то:

Ты, талань моя, талань,
Талань-участь горе-горькая...

И тут подхватились, встрепенулись, очнувшись от оторопи, будто в трубы ударили восемь бабьих изношенных голосов, но, сведенные воедино, они так грянули, что тесно стало в горнице, и окна в тугих обмерзших переплетах звякнули готовно, радые выломиться наружу, чтобы выпустить песню. В розовом колеблющемся незимнем свете родилось что-то громоздкое, душное, неуемно-вольное; запласталось оно, заходило кругами по горенке, пробуя крепость молодых крыл, плеснулось в стекла и, разглядев там иную стихию, внезапно заробело, откачнулось, рассыпалось по-за углам, бессило упало на зеркально-охряной пол — столь желанной и недостижимой почудилась, наверное, небесная шелковая волна.

Тихо шелестел магнитофон, мотая пленку, помощница Баринова торопливо писала, смачивая языком быстро пересыхающий бескровный рот, призакрыв глаза, откачнулся к стене Пиотр Донович.

На роду ли талань уписана,
В жеребью ли талань выпала...

«Крестом молюся, крестом гражуся, крестом боронюся» — так говаривали прежде. Но не крестом, а песней жив был человек во веки веков. Пиотр Донович вроде бы уж и не слышал самой песни, сквозь редень-

кие реснички проникая в розовый свет, до краев налитый отчаянной тоскою. «Нет-нет,— поправил себя,— крестом и песней, любовью и состраданием жив был, ибо это и есть человечья текучая и неизменная душа. Куда она течет? В какие формы переменяется она из веку, сохраняя содержимое в себе. Изыми из нее крохотную долю ее, пусть и самую ненужную для видимого счастья, тоску иль гнев, например, и тревожно станет тогда человеку поначалу, а после мертвой пылью засыплет сердце и онемеет оно».

Смутно было Баринову и до слезливого умиления грустно — такое редко случалось с ним ныне. И, поддавшись этой странной необъяснимой печали, он словно бы и сам возносился на гребне песни и вместе же с нею катился в темную бездну. «Какой, однако, кладезь — полный всклень голосами, музыкой, стихией, страстью — наша русская душа,— восторженно думал Пиотр Донович.— Это ж она, однако, и родила песню особого склада и покроя, коей не отыскать во всей Европе, смею уверить всякого.— Баринов был сейчас в своей обители туманных рассуждений. Он любил, как бы оторвавшись от земли, зависнуть над нею и обнять взглядом ее расплывчатые очертанья, чтобы отдельный человек с его раздерганностью, тоской и неустроенностью не отвлекал от фантазий. Он уже спорил с кем-то невидимым и пальцем, желтым от никотина, сбивал пену, выступившую в потресканных углах рта.— Нет-нет, милейший, смею уверить. С натурой раба, с психологией раба долго ли бы наша нация выстояла? Раз по шапке — и пиши пропало. Я полагаю, внутри у русского человека нескончаемая воля живет, потому он за отечество и головы не щадил, потому и тянул свою лямку, как бы ему ни натирало хомутом. У раба, скажу вам, милейший, не родилась бы такая богатая песня. Простор в песне, страдание в песне свойственны лишь той просторной вольной натуре, которая произошла и произросла на просторе...»

А старушонки разошлись, разогрелись каждой жилкой увядшего тела, и в груди, тряпошно обвисшие, та новая сила притекла, о которой разумом и не помышлялось, и каждая песенница, задорясь перед товаркой и стыдясь унизиться перед нею слабосильем своим, доводила себя до того похвалебного счастливого азарта, который достигается лишь через песню, близкую душе.

Пели бабы так высоко, на вынос, в столь тоскливом протяге подымали голос, напрягаясь до вздутых жил на лбу, до испарины багровой, что думалось невольно и опасливо — вот вскинься еще чуток, самую крохотную малость взойди выше своего предела, в таком порыве теряя всякое разуменье, и голос надорвется, сломится, и после уж смертная тягостная тишина наступит.

А им что: одну песню выпели, и уж кто-то наперебой идет, вступает на иную тропу, словно бы боясь остынуть, задеревенеть, и жалко Баринову остановить их, нарушить проголосье, да и боязно пожалеть, ибо чудится, что замолкнут тогда старушонки навовсе и станут обыденно бескрылыми, безъязыкими, издерганными жизнью, с лицами, исписанными морщинами, и с редкими паутинчатыми волосенками, сквозь которые просвечивает худая, натянутая на черепе кожа. А тут ведь сидели распаленные, годы утратившие, и чувство единого высокого полета до неузнавания переменило их обличья.

— Всех-то песен, бабы, не перепоешь, а у меня суп в печи запрел, поди,— властно сказала Параскева, намекая товаркам, дескать, пора и уходить. И впервые, опьяненные песней, будто бы и не услыхали ее слов, и кто-то уж вновь пробовал поднять голос. Параня надулась, потемневшими глазами сурово оглядела Баринова.— Я пошла, а вы как хотите. Запродались, что ли?

И вновь, однако, не сдвинулась с места.

— Верно, Паранюшка, всех песен не перепеть. Только, почитай, куль развязали.— Хитрая Домна кинулась сохранять мир.— Ой, песен-то тыщи абы боле того, не сощитать —не перещитать. Раньше ведь без песен никуда. А плачей-то, ой, голубеюшко, сколь. И неуж все хотите собрать? — жалостливо посмотрела на Баринова.— Это уж с год около нас, сыроежек-поганок, безотлучно высидеть надобно.

— И с год высидим,— выкрикнул Баринов, ощущая в себе близкую желанную слезу от недавней радости.— Вы же красавицы, золото вы, бабонь-ки...

— Ну, девки, умаслил он нас, за медную полушку купил, черт седатый,— зарозовела Домна, сбила черный повойник, послюнявила вялую прядку на желтом виске.— Ух, мне бы прежние годы, я бы завлекла его. Ка-

валер-то, деушки, вьется вокруг нас, а мы отпихнем? И неуж не споем?

— Ну почто не спеть. В кои-то веки вместе собрались, да сразу и в бега,— согласно зашевелились.

— Я вас в столицу повезу, всем покажу. Вас надо на руках носить, красавицы вы мои. И откуда в вас богатство этакое, а?

— От татушки, от матушки. Маменька была первая плачея. Мы с эких лет учились петь да плакать.— Домна едва отмерила ладонью над полом, и все товарки закивали, вздыхая.— Нас ведь пятеро сестер было, да подружки когда придут в гости, на ночь останутся. Они вот и попросят: «Агафья, хоть бы нас поучила выть». Мать на печи лежит и учит: ну, скажет, эдак войте, эдак войте. Худо-то не войте, надо складно, чтобы слово, слово родило... А после и мне случилось повыть. Семнадцать мне было, а приехал сват — меня и не спрашивали: вино выпили — и засватали. А я к старушонке одной в дальний конец деревни забежала и спряталась. Мала была, глупа, думала так спастись, до ночи пересидеть в схороне и после в город в работницы податься. Заскочила, в доме никого, на мою радость, вот в ящик и сунулась. А там шитьишко всякое: швец был хозяин-то, Леонтий Костыль. Лежу на барахлишке, христовенькая, и пикнуть не смею.

Костыль явился, сел шить, а я и кашлянула. Он выругался, но не ищет, басурман такой. Хозяйка пришла, он и говорит: «Кто-то у нас кашляет, не невеста ли где ухоронилась?» Старуха на печь — на печи никого, в куть — пусто, ларь-то отпахнула, меня и увидала, но ничего не сказала, сразу в наш дом кинулась докладать о потеряже. У меня сердчишко и покатилось. Отец со сватом быстро заявились. «Хочешь — пойдешь и не хочешь — пойдешь. Срамное дело, если этому жениху откажем»,— отец-то мне. Я в ноги пала: «Не пойду, и весь сказ!» — «Вот тебе,— говорит,— родительское благословение отныне и до веку, а если не пойдешь — не понесет тебя ни земля, ни вода, и будешь ты мною проклята». Ну что будешь делать? Меня страх одолел, и некуда деваться. Пришли. Свечки дома зажжены, богу молено, вино пито. Попадала в ноги, убогонькая, поползала, да с тем и отступилась. Но уж перед свадьбой поревела, слез хватило, быстра реченька протекла. Народто, на меня глядючи, уревелся. За день весь пол сырой,

вехтем затирали, и колени до синяков наколотила, как подушки стали... «Уж ты кормилица, моя мамушка...» Как завою! Ой-ой.

Легонько, с надрывом выпела Домна и словно бы задохнулась.

— Вы бы спели, Домна Григорьевна, нам плачи во как нужны,— черкнул Баринов ладонью по шее.

— Ты что надумал, дитятко? Захоронить ране времени? У меня сердечко-то нахудо-худо, не исплакать мне. Ведь ежели выть, дак надо всю жизнь выреветь. Нет, не смогу, как ты хошь, сердешный... «Уж не жила я у тебя да не красовалася...» Нет, не могу,— осекла себя,— воздуха в горле спирает, возможности нет.

— Ты брось мне, ты брось. Просят, дак пой. Завыставлялась, чурка с глазами. Честь оказана, дак пой,— сурово одернула Параскева, круто обиженная тем, что все вниманье ныне на хозяйке.— Ты вой, не кочевряжься. Нашла тоже моду. Раз просят, значит, сверху приказ даден все в списки занести, чтобы не пропало. Помню, ране-то все выли. Ина и по любви шла, а все одно выла. Луком глаза натрет, чтоб слеза шла.

— Спой, Домнушка, покажи себя...

— Разве что попробовать.— Совестно было Домне, что упрашивали. Подобралась сухоньким тельцем, огладила тряпошные груди, подвязанные понизу клетчатым передником, печеное личико напрягла, веселье в дымчатых глазенках притушила и на птичьи посунувшиеся восковые веки навела печаль. И лишь ладони с узлами набухших вен и шишковатыми ревматическими запястьями не могли найти покоя, скоркались, елозили по коленям, обдергивая цветастое платьишко, пока-то не спрятались под передник и не притихли там.— «...И уж в чужи люди-то я была отдана, и-ых. В чужих людях жить да недородно, и-ых...»

Домна высоко вознесла голос, и вслед за протяжным тоскливым полетом его приподнялась и сама вся, от сухоньких ножонок в шерстяных головках, до черного повойника; и руки, вынырнув из-под передника, тоже вскинулись над головой и с неожиданной силой хлопнулись о колена. Словно бы себя рубила, себя четвертовала Домна, нещадно ударяя сплеча костяными ладонями, и с каждым зачином доставала из грудных крепей трубный надсадный всхлип, похожий на то крайнее, наводящее на всех слезу рыданье, с каким вдова провожает

любимого мужа, когда того опускают в могилу. И тут товарки Домнины все зажмурились поначалу, опустили головы, а после и завсхлипывали, заревели не стыдясь.

Как, оказывается, близка бабья слеза, как отзывчива на чужое страданье женская непостигнутая душа, еще не засохшая от скорбей и усталости, ибо ей некогда уже ни засыхать, ни разрушаться... Завозили старухи платками, засморкались, лица набрякли и залоснились.

Нать головушку-то да чугунну.
Нать сердечушко-то да каменное.
Нать ведь горлышко-то да жестяное,
Нать утробушку-то да заячинну,
Дольше есть она чтобы да не хотела...

В груди у Баринова тоже неожиданно засаднело, напружилось, ком подкатил к горлу, гнетущая печаль поднялась с самого дна всколыхнувшейся души, и почувствовал профессор, как защипало веки. Он еще пробовал справиться с собою, покусывал губы, уставясь в столешню, иль рассматривал стеариновый сухой профиль своей помощницы, но в какое-то мгновенье вдруг упустил себя и охотно сдался, заплакал, не тая слез. Жизнь, прожитая давно, встала в памяти, и жизнь нынешняя поиному осветилась, и туманное будущее тут предстало в своей реальной наготе: и понял Баринов, что он лишь крохотное семя, чудом возросшее на миру, коему вскоре завянуть, усохнуть и загинуть. Тленом покроется его имя, полынью зарастет память о нем, и забудут его куда ранее, чем крест погниет, съеденный жучками и лишаями и сроненный ветровалом к совсем чужой, тоже беспамятной могиле. А песня вот эта, исполненная в народе и сохраненная в нем, будет проживать если и не на слуху, так в тайной, незнаемой памяти Руси. Баринов думал цветисто и облегченно слезился по-старчески, легко отдаваясь во власть вопленицы.

Уж как чужа-то дальняя сторона,
Она горем да огорожена,
Тоскою да изнасеяна,
Печалью да изнасажена,
Слезами да исполивана.
А как своя-то да ближняя сторона,
Она радостью да огорожена,
Весельем да изнасеяна,
Она медом да исполивана,
Сахаром да изнасыпана...

— Ой, все, боле не могу, сердечушко лопнет,— оборвала себя вопленица и неожиданно засмеялась, засморкалась, освобождая дыханье. И все вокруг как-то облегченно и радостно заулыбались сквозь прощальную слезу. И лишь Баринов не мог уняться вот так сразу, умом хорошо понимая, что все слышанное сейчас — представление.— Пиотр Донович, сердешный, да вы, никак, плачете? — изумленно воскликнула Домна и жадно впилась взглядом в сытое, ухоженное лицо гостя, в его выпуклые покрасневшие глаза, в низко посаженный шишковатый нос.— Да ты, никак, плачешь, богоданный?

— Да вот, не сдержался.— Баринов отвернулся, чувствуя внезапную неловкость.

— Такая уж песня: хошь не хошь, но уревешься,— заговорили песенницы, уже по-иному оглядывая записывателя.— Вроде бы в шутку запела, но не удержишься, как ни строполи себя,— утешали сердобольно, как больного, тоже чувствуя неловкость оттого лишь, что подсмотрели вроде бы запретное.

26

Опять Геласий метал кровь, изрядно напачкав на полу, снова с кем-то ратовал, а после бессильно лежал на свалявшемся матраце, и Кира, не видя сопротивления, упрямо точила стариковскую душу, казнила его голову самыми погаными словами. Но от Геласия грозные речи нынче отскакивали, как от лиственничного корья, да и сам он зароговел, темно зачешуился, завялился шкурой, уже отставшей от сухой кости, и охотно уходил внутрь себя, затаивался в темном схороне — и вот добудь его оттуда. Геласий пластался на кровати, тешил себя блаженным состояньем духа, а сноха Кира пилила его напропалую, но частые гнусливые слова не проникали сквозь вставший колтуном волос и скомканное подушкой правое ухо, а левым старик не слышал вовсе еще с германской: едва слышный ручеек точился извне, из чужого подозрительного мира, от которого Геласий уже давно отсох.

Баринов Пиотр Донович переступил порог и по той густой запашине, шибанувшей в нос, сразу понял, что угодил по адресу: здесь доживал восьмидесятилетний человек (говорят, колдун), наверное знающий заговоры и старины. Было часа четыре, сумрак уже располагал-

ся по-за углам, но света пока не включали, и только закоченевшие стекла с крохотными протайками едва впускали розовый меркнущий день. На улице было радостно от вольного голубого света и мартовского солнца, и потому Баринов входил в избу с особой неохотой: он смутно разглядел немощного поваленного деда и скоро решил, что, пожалуй, работы здесь будет мало. Хозяйка не шевельнулась возле окна, лишь пристально и подозрительно уставилась на гостей. Но в промятой глубине кровати что-то смутно зашевелилось, оттуда густо, задышливо прикрикнули:

— Эй, ты, баба, не томи гостей. Не вишь, гости?

Женщина прошла враскачку, коснувшись бедром Баринова, у порога включила свет и снова села у окна, зажав в толстых коленях махровые полы халата. Пиотр Донович уже после разглядел ее клюквенно-яркий накусанный рот, готовый брызнуть кровью, и темный пушок над верхней губой и поразился какой-то откровенной и жадной хищности во всем ее грубом сладострастном лице. А сейчас он видел лишь старика, его куропачьи белую струистую бороду и эмалевой холодности глаза. Они казались каменными и вовсе слепыми, и электрический свет отражался от выцветшего зрачка, не проникая в его глубину. И только по неожиданной багровости крутых скул да едва видному колыханью впалой груди понималось, что человек жив.

— Я крест ходячий,— вдруг сказал Геласий, не шевельнув губами: из волосяных недр выпехнулись эти странные Баринову слова.

— Это что-то означает, наверное?

— Да не слушайте вы его. Заклинило, вот и мелет всякую ерунду,— отозвалась от окна хозяйка.— Он нас скорей до креста доведет, дурак сивый.

Но Геласий Созонтович не обратил на ворчливые слова внимания, перед ним были новые, не деревенские люди, с иным умом и чутьем, особенно этот, высокий, гривастый — и старику хотелось высказаться:

— Ежели бы мать сыра земля не родила да не вскормила, то и никому бы не бывать. Кормит, поит, потом и к себе возьмет, а сама все жива будет. Такие мои мысли... В себя лишь верю и в землю свою.

— Но в чего-то, помимо себя, должен верить человек? В народ, например,— растерянно возразил Баринов, не ожидавший такого разговора и не готовый к нему.

— Еще в совестную правду... Стоит природно, сама по себе, сама собой владеет земля. Земле наши страданья ни к чему, но для чего мы страдаем? Скажи...

— Так жизнь устроена, и не нам ее винить... Вы, Геласий Созонтович, говорят, заговоры знаете и песни рекрутские. Послужите для науки, а? — отвлекая старика, но и боясь прогневить его, Баринов пробовал присесть возле, притулиться на краешке кровати, но тяжелый запах мутил душу и затруднял дыханье. А старик неожиданно легко поднялся (только однажды его откачнуло к печи), по-мальчишески сухой, в длинной, по колена, когда-то белой рубахе, ныне заношенной донельзя, и сел у окна, подперев ладонями голову.

— Кровь-то выметал, дьявол, так сейчас забегал,— ненавистно сказала молодая хозяйка и вовсе отвернулась от гостей.

— Иконам поклонялись, образу человечьему поклонялись, а об душе забыли-и. Душе-то портретики бумажные не нужны, не-е... Вы вот про заговоры мне, а к чему? Верить надо, ве-рить слову душевному, тогда и поможет. А нынче какая вера в слова: пакость, говорят, и боле ничего. На детей вот помогает заговор, они-то слову верят... Да я только ничего не знаю, люди добрые, все перезабыл, чисто-начисто. С хорошим вы пришли ко мне иль с худым? Почто меня окружают ныне, почто обкладывают, как серого волка, почто? Я ведь старый человек, я ничего не знаю.— Геласий неожиданно заплакал, сдвинул на сторону снежную сквозную бороду и промокнул кулаком безгубый рот.— Это она, ведьма, на меня колдовскую силу насылает.— Ткнул пальцем на сноху, та гневно вскинулась, но при гостях промолчала, и тяжелая покатая спина ее обидчиво закаменела.

— Может, рекрутские песни вспомните? — настаивал Баринов, отчего-то жалея старика и проникаясь к нему состраданием, но душно было, затхло и хотелось на волю.

— Я лекрутские песни все знаю. Я их один, пожалуй, и знаю. Еще до германской лекрутился. Я ведь храбрый, черт такой, был, во мне храбрость лешева была. Через нее я два «Георгия» да медаль навесил, через беспуту храбрость... «Как выезжал-то майор да полковничок, ой-да-ой-да привози-и-ил указ-то немилостив»,— запел без подготовки, хрипловатым, но неожиданно сильным грудным голосом, коленце к коленцу приколачивал легко и сам с собою управлял ладно, желанно возносясь

в небо, а после покорливо и согласно уводил голос обратно в нагретое жилье, а там оживлял его и заново наполнял силой. Так и пел Геласий еще с час, наверное, пока не устал, не обращая внимания на машину и микрофон, сунутый к самой бороде, призавесив бровями ожившие глаза и самому себе подыгрывая:

...Как меньшой-то сын да он расплакался,
Отцу-матери да сын разжалился:
«Да я не сын, верно, вам, верно, пасынок,
Я не пасынок вам, верно, чужой сосед,
Верно, чужой сосед, да злой-лихой злодей».

Каждую песню давали старику прослушать. Раковиной тугого уха Геласий вдавливался в микрофон и, внимая себе, совсем уйдя от народа, расплывался в детской откровенной улыбке... Знать, жива душа в человеке от рожденья и до погоста, жива и радостна в самой себе, не сокрушенная тягостным бываньем на земле. Только плоть бренная ссыхается, деревенеет, отставая от кости и превращаясь в палый лист, коему скоро выгореть и иссякнуть прахом, растворившись в порах земли. А душа не-е: она полнится от долгого быванья, все прочувствованное копится в ней в самой укромности, стережась чужого догляда, и вот пришла минута, когда она, выпроставшись доверчиво из засохлых кожурин, откровенно обнажилась и саму себя впервые выслушала, ибо не песня же сейчас открылась в воздухе, а сама исповедь.

Жмурился Геласий, кивал куропачьи белой головою, а после, как кончалась песня, распахивал застекленевшие от влаги глаза и говорил расслабленно:

— Все правда... Как спел — все в точности,— одобрял старик машину, холодно мерцающую кошачьим зеленым зрачком.— Ничего не соврала, прокуда... Ай да и я, ну и крест ходячий, чего натворил. Знать, не зря меня мати-земля на себе носила столько годков, своим вниманьем отметила...

Сноха Кира все так же застыло сидела у окна, непримиримо каменея спиной.

Желанно спешил Баринов к старику Геласию следующим полднем: заслышав шаги на мостках, на крыльцо спешно выкатил Василист (наверное, стерег у окна), вышел в нейлоновой светлой рубахе, распахнутой на

груди, и, скрестив ручищи, обметанные звериной шерстью, загородил собою дверь. «Мужик-то молодой совсем, а брови стариковские, кабаньи брови»,— безразлично отметил Баринов, дружелюбно улыбаясь.

— Мы вот припоздали тут, а Геласий Созонтович, наверное, казнит нас? Так прошу извиненья,— еще не утратив утренней веселости, поклонился легонько Баринов, но, однако, на крыльцо отчего-то не решился подняться. Вид молодого хозяина смутил иль плотно, словно бы покойник в доме, завешанные окна.

— Ничего, ничего... Тут такое, знаете ли, что дедо-то вас видеть не хочет.

— С ним случилось что?

— Я не дурак, я вашу работу хорошо понимаю. У вас свое дело, у нас свое.— Василист неожиданно обвалился на косяк, и Баринов понял, что мужик с утра захмелился.— Вы к кому-нибудь другому сходите. У нас в Кучеме врать-то многие могут. А дедку вы оставьте. Он помрет скоро, одна кость да шкура, вы его не насилуйте.

— Он же удивительный, ваш дед. Это талант народный, это как драгоценнейшая жемчужина.

— Бросьте давай. Кому старье нынче нужно. Молодежи? — так и новых-то песен она не поет. Я не фуфло, не-е. У-ух.— Василист вскинул палец, зароговевший, потресканный, с траурной каймой под толстым слоистым ногтем.— Вы небось хорошую деньгу зашибли здесь. У нас за труд нынче плата кругом, а вы платы никакой не ведете.

— Когда вы в застолье поете, вам же не платят. Разве за радость платят? — Баринов сдерживался еще, но уже чувствовал, как потно бледнеет лицом. В окне быстро отдернулась тюлевая штора, в смутной оттайке стекла мелькнула полная обнаженная рука, и там, в неясном отдалении, словно бы втиснутый в черную неровную раму, остался лик Геласия, усталый и равнодушный. Баринов поймал тупой закаменелый взгляд и взмахнул призывно рукой, дескать, эй, дедо, мы пришли к вам, как договорились; но старик навряд ли видел чего, ибо его глаза проникали сквозь. Он навязчиво смотрел на заснеженное низкое небо и шевелил губами, может, звал кого-то, сам прикованный к табурету.

— В застолье-то не платят, это верно, там песня в радость. Но вы же к работе народ принуждаете, значит, платите поденно иль сдельно, с каждой штуки...

— Ты ваньку мне не валяй,— грубо оборвал Баринов, чувствуя, что над ним насмехаются, и снова пристально вгляделся в окно; но там виделся лишь проем дальней двери в горницу да зеркально отплескивал сервант, забитый рюмками.— Я понимаю, тебе на вековую культуру наплевать с высокой горы. А сам-то чего можешь? Иль только жрать да пить? — говорил сквозь зубы, отворотясь к снежному забою, уже темно пожухлому, с тонким налетом неведомо откуда взявшейся гари.

— Ну и смешной же ты. Болтаетесь по деревне, народ с дела сбиваете, а мы вас корми... Дед-то Геласий в окне сидел, он позвал вас? Не-е... Потому что ему жить хоцца, а вы его к смерти раньше срока ведете ненужным перенапряженьем. Вы не подумайте, я вас не гоню, это Геласий Созонтович вас видеть не хочет. Он колдун, дедко-то мой, он на вас всех чертей: у-у-у.— Василист сыто рассмеялся и сплюнул, выказывая полное свое пренебрежение.— Он на вас, бродяг, такое нашлет, небо с овчинку покажется.

6. ВОСПОМИНАНИЯ СЛЕПОГО ФЕОФАНА

...По голосу слышу, народ не наш, ученый, и с хорошим намереньем. Правильно говорю? Вам в интерес, значит, как ослеп я. Ну, был в ОСБ, в отдельном саперном батальоне в Карелии. Нужно было разминировать местность. Есть мины фанерные с толовыми шашками, а есть мины осколочно-заградительные, были деревянные. В общем, наизобретали на свою голову... А по-нашему, по-саперному, такой устав: нашел мину, но устал — сиди отдыхай. Правильно говорю? Пословица: умей мину поставить, взорвать и убежать. Такая хитрая наука. Ну, в тот день пятьдесят штук я обезвредил и устал. Дай, думаю, где мины обезврежены, посижу. Шагнул к березке, а под нею-то и была стерва, меня дожидалась — и бух, одним словом. Я и стою: на голове пилотки нет, лицо кровью залито, а после и повалился. Дождик моросил, меня на машину, пить хочу, а нельзя. Правильно говорю? До станции доехали, уж не помню.

Чувствовал ли я какой знак иль предупрежденье души? По-нынешнему, как раздумаюсь, так вроде бы случилось мне упрежденье. За пять суток до раненья — змея. Слева вересовый куст, впереди — береза. Я ми-

ноискателем провел — нету мины. Слышу — шипит. Вижу — овод ползет, а крыльями не машет. Что, думаю, за чертовщина? Гляжу, метрах в полутора от меня змея поднялась, и вот ужалит, зараза. Я ее миноискателем хотел приложить, да береза помешала. И такой страх взял, я как маленький убежал от змеи. А через пять суток и...

Но что любопытно: и жене упрежденье. В тот день, как меня ранить, Татьяна на пожне была в восьми километрах от Кучемы. Сели они, значит, чай пить, только она кружку выпила, мало, летит ворона — и хлоп к ее ногам, и снова улетела. Жонки и говорят: «Ой, Татьяна, неладно может быть». Вскоре и телеграмму привезли... Я после стих сложил по поводу раненья. Та-та... самый кончик зачитаю... «Уплыли в ночь родные дали, друзья, подруги, мать. Но надо мною прозвучали слова: не надо унывать...» Я дурачливый был, скажу вам, и ирония меня навещала иной раз не совсем здорового свойства. Мне глаз-то один все же спасли на четверть. Я однажды поймал крысу, привязал пряденом за живот, вышел с нею в коридор госпиталя. Врачи и говорят: «Это что у тебя?» Еще не разобрались. «Комнатная собачка»,— говорю. «Крыса же»,— завопили, и столько было шуму, а после смеху...

Почему так поступал? Надо было и себя не уронить в своей жалости, и ребят по палате из унынья достать. Правильно говорю? А со мной в палате лежали такие калеки-перекалеки, им в себя уйти, как в черный омут кануть. К чему это я, да... Лет десять уже, как вовсе ослеп я, ушел из светлого мира и часто думаю ныне, упаси боже, чтобы не стать мне той крысой, которую я за веревочку водил и от которой народ честной разбегался. И дал я себе постановление: пока в силе — никому не докучать, ни к кому с просьбами не соваться. Из школы с учителей ушел на пенсию, куда денешься, но многим овладел, чего и при зрении знал, заново овладел: дрова колю, ощупываю полено, палец положу и колю точно; сам себе и обед плохонький при нужде сварить могу, и валенки зашью, и двор обихожу. Пусть маленькая воля, но своя... Насчет воли — такой туман. Мне думается, что, чем далее, тем хуже народ будет своей волей пользоваться; и не в том дело, что меньше ее будет, а душевного понятья к ней не станет. Вот я незрячий, к примеру, правильно говорю? Но свою кро-

хотную волю я не упускаю, хотя мог бы на иждивенье перейти. Жена мне все: «Ой, посекешь себя, ой, порубишь, с топором околачиваешься, я пока в силах и сама дров нарублю, сиди давай дома». А я ей: «Не-е, милая, это ведь не дрова, это моя воля». Правильно говорю? Нынче мысли ко мне приходят разного свойства, до которых ранее иль времени не было дойти, иль в состоянии суматошном жил.

Сейчас грань-то особенно заметна, в глаза прет, меж старым человеком и молодежью. В нашем-то поколении, кто войной не подкошен да город не забрал, еще часто живет цепкость того природного редкого ума, который никакими знаньями не заменить, никакой образованностью и манерами, да и душа наша, как ни мрачно порой жить, ни натужно, на радости, однако, стоит, надеждами замешана.

27

По-весеннему раздался мир, зашумел пробужденно и уже не стихал. С деревенского угора далеко стало видно и заманчиво, словно бы подъяло Кучему, незримо и надежно вознесло в птичьем парении, и от этой желанной вышины хмельно вскружилась ослабевшая за зиму голова, и кровь закипела. Выпятились леса, посветлели, хотя и не покрытые пока желтой пеной и сиреневыми тонкими дымами, но по той ясности, что окружила ближние березняки, по льдистой белизне обновленных одежд и густой рыжей сыпи в подножьях чувствовалась близкая весна. Сугробы на деревне опали, посерели, и в редких глубоких седловинках показалась прошлогодняя ветошь, а на залысинах южных склонов просочилась первая подснежница. Соки тронулись в напрягшейся природе, опавшие вены ее набухли и округлились, и, чуя томление земли, взволновался и ожил старый народ, усерднее задвигался, в надежде еще хоть бы с год побыть под солнцем. Вот и Геласий Мокро Огузье вышел к палисаду, оперся трясучей коричневой рукой и, не щурясь, уставился на вечереющее ярило. Окна золотились, по ним зыбко ходил волнами прощальный свет, и в тех местах, откуда стекал он, установилась глубокая печальная синь.

Радюшину все это виделось со дня на день, но только нынче он отмечал любую перемену, сотворившуюся

на земле, до которой раньше не было ему никакого дела, а теперь они удивительным образом касались его души и томили ее. Радюшин увидел старого Геласия и впервые не услышал к нему гнева, а ощутил странное родство; ему даже хотелось дольше видеть и наблюдать за стариком, но шум в кабинете отвлекал. Солнце свалилось по-за крыши, и последний луч ударил Радюшину в глаза; председатель зажмурился и невольно отвернулся. Света не зажигали, было накурено, но казалось, что солнце еще живет в полосах дыма и золотится в дальних углах.

— Чего зря волынку тянуть? Время — деньги. На западе за минуту можно миллион нажить.— Василист по-собачьи заглянул Радюшину в глаза и, увидев в них неприязнь, забубнил: — Я не фуфло. На западе голод, а мы нынче белого хлеба не хотим.

Правление задвигалось ровно настолько, насколько позволяли мягкие глубокие стулья с высокими прямыми спинками; Василист привычно и легко разбудил в людях воспоминанья. И лишь Нюра виновато и забыто томилась в углу: ведь ради нее отвлекся народ от дела и вынужден сейчас засиживаться допоздна. «Ой, дура, ты дура,— беззлобно подумал Радюшин, мельком оглядывая жену.— И разоделась, как курица, будто на гостьбу вырядилась». На жене колом стоял кофейного цвета костюмчик, волосы на голове барашком, но, высоко подобранные с шеи и посекшиеся, сейчас выглядели куце и уже едва скрывали лысеющее темя. И вся-то женщина была желудево-кофейного цвета, словно бы ее изрядно окунали в охру, а после плохо помыли. Радюшин смотрел на Нюру со стороны, как на чужую, и не испытывал к ней ровно никаких чувств, только глубоко под сердцем гнездилась крохотная жалостишка, и он старался ее подавить и оттого нарочито суровел и сторожился.

— Ну все, баста,— решительно приложился ладонью по широкой полированной столешне.— До чего дожили, до чего! Собаки по всей деревне кур волочат, устроили массовый забой. Почему? А Нюра Радюшина тайно выносила с фермы пропавшую птицу и хоронила в снегу. Если бы еще помедлили чуть, так панихиду надо бы куриную справлять и траурную ленту писать. Чего расселась, встань, о тебе говорят!

— Вот ты и поешь панихиду.— Нюра поднялась

трудно, быстро закраснелась с лица, ладони ее, лежащие на спинке соседнего стула, часто тряслись.

— Почему вовремя не сказала, почему?

— Не знаю,— устало откликнулась Нюра и снова каменно замолчала, не снимая немигающего взгляда с председателя.

— Ведь ты была врио фермы, а фактически зав. Что, уже ни на одного из вас положиться нельзя, так выходит? Панихиду пое-те, панихиду пое-те,— передразнил жену, внезапно ненавидя ее и презирая за то, что она прилюдно возразила ему.— Может, у меня фантазия такая. Чтобы вперед идти, чтобы вам лучше жилось. Хоть бы признали вину, а то винтовка наперевес — и не трогай меня. Ведь так выходит? — оттолкнул ногой стул, поднялся, постаревший и совсем седой.— Давайте решать. Работать надо, пока я над вами. И заставлю, черт побери, на принужденье пойду, но заставлю. Пока не переизберут.

— Худо это, когда утаили,— вступил Василист, поймав заминку Радюшина.— Это как бы нам всем в пику, всему колхозу подножка, и это сознательный урон. Выходит, она свое прозвище вплотную оправдывает: Нюра Америка. Она, может, в ту сторону и глядит.— Он разговорился и, слыша теплое жжение в груди, почувствовал, что обвинять ему сладко.

Все невольно рассмеялись, а Нюра от этого смеха напряглась, обегая взглядом лица и отыскивая жалость к себе, которой не могло не быть. Но наверное, все полагали, что тень ее вины может случайно упасть и на них, и потому отворачивались и хоронили заживо. Случилось что?.. Да. Выносила тайком птицу, когда завечереет, хоронила в снег, замирая от страха. Боже мой, думала, не перенесть позору, коли поймают. А вины-то поровну с ним, с толстомордым (она иначе теперь и не называла мысленно мужа). Кто едет — тот и правит. Вон сидит за столом, поди достань его. Говорила же не раз: «Коля, вода плохо идет, с водой на ферме плохо, вдруг что случится, прими бога ради должные меры». А когда случилось, то его же и прижалела, думала, погожу сказывать, а после и покрою недостаток: поди пересчитай кур. Значит, я страдала, когда он по чужим постелям катался, как-то же должно на нем отозваться.

Но никак на председателе не отзывалось, он слился со своим креслом, казался нераздельным и с полиро-

ванным столом, похожим на могильную плиту, и то, что все покорно верили каждому радюшинскому слову, больно отзывалось в Нюриной душе... «Он ведь только с виду такой благочестный, а всемоделе варнак,— хотелось крикнуть ей.— Он же такой фармазон...»

Нюре бы сесть, а она забыто стояла и тупо покачивалась, опершись о спинку соседнего стула и не сводя бессознательного взгляда с мужа. Думала, что вот всего вылюбила, порой даже казался чужим ей, приставленным извне, которого терпеть приходилось по неисповедимой воле,— и терпела, обихаживала, скучала, когда долго его не было. Заровнялась, захолодилась, заилилась жизнь, и порой мыслилось успокоенное, что до гробовой доски так же ровно изольется она капля по капле: дети вырощены, дом обихожен — чего еще от судьбы хотеть. Но с год назад, наверное, когда закуролесил Николай, наступил на вожжу, запотряхивал чужие юбки, вдруг снова затосковала, забеспокоилась Нюрина грудь, в ней крохотная ранка разожглась из-под пепла, и все прожитое заедино, все отмилованное, отласканное и отцелованное в молодости вдруг с такой откровенной наготой стало всплывать средь ночи, и так греховно затомилось ее тело, что хоть волчицей вой. Что случилось с нею, какие соки тронулись в теле, почти забывшем утехи? А он, Колюня, каждую ночь под одной крышей с ней, в соседней горенке спит на диване, и дверь не заперта: кажется, только украдкой, не спросясь, переступи порог средь ночи, привались к нахолодевшему плечу — и вся любовь пробудится заново, и одиночество иссякнет. Но ведь не зайди, не коснись мизинцем: накричит, пошлет подалее, а то и шлепнет сгоряча тяжелой рукою. И это-то еще горше. Дожили до чести, далее некуда... И сейчас чужой будто, словно век рядом не были, ни слова жалостливого на языке, ни взгляда милостивого, так и казнит глазом, так и испепеляет, а ведь и она живой человек.

Но разве выскажешь прилюдно, что накипело на сердце? Понять ли кому? У Нюры кружилась голова, и ей хотелось плакать. Она давно бы заревела по-бабьи, освобожденно, не стесняясь людей, и лишь тоскливое напряженье внутри сдерживало пока. Нашли, значит, козла отпущенья; вали все на Нюру, кидай разом, она выдержит. Вот случай, вот момент.

— Ты хоть вину-то признаешь? — кто-то упрямо до-

пытывался сзади смиренным голосом, но Нюре было совестно оглянуться и узнать, кто жалеет ее.

— Я не знаю...

— Чего ее ни спросишь, она не знает,— вскинулся Радюшин, побагровев.— А ты вообще чего-нибудь знаешь?

— Не знаю...

— Слушай, я тебе советую так не отвечать. Здесь не в бирюльки играют. Ты лучше сейчас признайся искренне во всем. Надо через все пройти, чтобы лучше жить, вот. А она, глядите-ка, руки вверх, она сдалась. Надо и через трудности перейти. Значит, и дальше полагаешь под уклон катиться?

— Я не знаю...

— Может, в прокуратуру-то пока погодим заявлять? — вдруг предложил Василист, и словно бы ударил Нюру по голове. Она зажмурилась и все равно смолчала.

— Может, и в прокуратуру, если надо,— поспешно перебил Радюшин.— Жизнь пройдет по вам. Вы будете под ногами у жизни. У нас теперь быстро все делается. Тебе, Нюра, надо быстро перестраиваться.

— Она исправится. Правда, Нюра? — утешил кто-то сзади смиренным голосом, но от этой жалости женщине стало еще горше...

С наважьего промысла вернулся Степушка в Кучему, обросший хилой бородой и с постоянно не то злой, не то веселой искрой в зеленых глазах. Люба оказалась на уроках, обещалась освободиться пораньше, и Степушка, истомившийся по жене за долгих четыре месяца и сейчас особенно боявшийся одиночества, заскочил на часок к матери, чтобы скоротать время и рыбы гостинцем занести. Параня сына встретила сердечно, засновала по избе, всякой снедью стараясь ублажить его, а после жалостливо глядела на худое лицо с редкой порослью по щекам и все просила убрать козлиную бороденку; дескать, экая пакость, только себя старить, да народ смешить. Но Степушка насмешливо отнекивался и этим завел Параскеву, и она вскоре ушат помоев опрокинула на сыновнюю голову и невесткину, каждую косточку промыла, кривляясь и нехорошо злобствуя. Домой Степушка не пошел, а сгоряча кинулся к Тимохе Железному, и там они бутылку поначалу уговорили и ко второй приложи-

лись основательно, и в этом шальном настроении, когда все трын-трава, и попался навстречу Радюшин.

— А, крестник... Ну, каково рыбы взяли?

— Тебе лучше знать.

Они столкнулись неожиданно в узком проливчике меж осевших сугробов, как бы в затулье, скрытые нарочно от чужого глаза, и Радюшин по густому сивушному духу, по угрозливому голосу сразу понял, что парень основательно захмелился, искал встречи с ним и тяжелого разговора не избежать. Радюшин невольно напрягся внутренне, пыжиковую шапку, однако, нарочито весело сбил на затылок, и на лоб свалилось тяжелое крыло седых волос. Говорить не хотелось, еще недавнее судилище над женою камнем тяготило душу, но он вину чувствовал и перед крестником, а потому приневолил себя, стараясь опроститься, быть теплее и доброраднее.

— Смотрю, уже привальное справил без меня?

— А ты на кой черт там нужен?

— Мог бы и повежливее,— поправил Радюшин тихо, пока сдерживаясь, но уже с той хрипотцой в голосе, которая выдает придавленный душевный накал. «Небось напели уже»,— подумалось с неприязнью. Степушка стоял перекосившись, отступив левую ногу, взгляд уводил в сторону, в ноздристое крошево снега, и пугающе поигрывал ножнами на поясе, обшитыми хромовой кожей. Осунулся парень, закостенел, почернел, как турок, глаза заглубились, потеряли прежнюю детскость, и вкруг их поселились рытые морщины, так старящие лицо. На ветру, на морозе пять месяцев — и как сразу переменило человека.

— Сейчас бить тебя, суку, буду.

Взгляд у Степушки угрюмый, темный, настороженно ждущий повода.

— На арапа берешь? Ну-ну, давай, милой. Только после не жалуйся, если что.— И неожиданно для себя Радюшин нервно рассмеялся, и даже после, когда успокоился, с оплывшего багрового лица так и не сошла улыбка.— Ой, Степ-ка-а, милый ты мой. На кого ты руку собрался поднять, или забыл, стервец? Память отсекло?

— Сволочь ты,— растерялся Степушка и машинально заоглядывался: упустил момент, дал себе крохотную послабку, и вот нерв сердечный, в таком нетерпении дрожавший, вдруг сник, прежнюю силу потерял, и теперь надо было снова разжигать его.— Ты ведь старый, ты за-

чем до моей жены плануешь. Иль колокола гремят, ходить тесно?

— Мои-то колокола отгремели, сынок. Ты от народа про всякую пакость наслушался, а у меня взял совет? — Радюшин уже понял, что драки не будет, и потому потерял всякий интерес к парню.— Ты почему взял моду всех изводить? Ты что, власть имеешь такую? Ты и мать извел, почтенную старуху, ты и жену, говорят, травишь. Если не любишь, так не трави бабу, дай ей спокойно проживать.

Холодный, наставительный тон Радюшина словно бы вывернул Степушку наизнанку. «Сивый кобель, ходит к моей жене, да и еще и указывает, как вести себя». Парня затрясло, и он вовсе растерял все слова:

— Что, нажаловалась сучара? Тебе-то какое собачье дело? Ты-то почему в чужую жизнь суешься?

— Слушай, иди, паренек, своей дорогой. Устал я,— холодно сказал Радюшин, легко отодвинул парня и ушел. У Степушки отвисла челюсть, его трясло. Деревня темнела чужо, непонятно, отходя ко сну, и не пахла родным. Словно бы оцепили Степушку, обнесли городьбой, воткнули в апрельские снега и оставили тихо вымерзать на долгую ночь. Куда кинуться? С кем поделиться своей горестной немотой? «Собака, по зубам бы, чтоб юшкой залился»,— пьяно бормотал Степушка. Через два порядка изб, на краю деревни, у самых полей глыбился его временный дом, и отсюда виделось угловое морошечное оконце, за которым не спали и ждали. Поплакать бы хмельно, да слез нет; но вскричать дико — в самую пору. И, набравши воздуху, Степушка вдруг зверино заорал во всю мочь, насколько хватало горловых сил, и об апрельскую вязкую тишину споткнулся. Завяз, сразу отсырел его голос и дальше первых изб не пошел: знать, еще не настало то отчаянно многоголосое пространственное время, когда звук может проникнуть куда как далеко и, отразившись от неведомых пределов, возбудив многие чужие души, заселив в них сладкую печаль и неопределенные мечтанья, уже в новом обличье вернуться обратно. А когда нет такого родного таинственного отклика, когда некого пробудить во всем белом свете, то зачем кричать? Еще раз напряг Степушка пьяный голос — и хрипло сорвался. В ближайшем заулке отозвалась квелая сучонка, кисло лайкнула и замолкла.

«Собака, по зубам бы, чтоб юшкой залился»,— уже

без злобы, устало и тупо повторял Степушка, долго продвигаясь домой. В затхлом прокисшем от сырости коридоре пинал, что ни сунется под ногу, задорил себя, чтобы вызвать прежний гнев, и наводил шум. Но Люба не вышла, лишь приоткрыла дверь и ждала у порога. В широко распахнутых смородиновых глазах испуг и тоска.

— Милый ты мой, что случилось? — пробовала обнять, но Степушка строптиво отпрянул, побарывая в себе жалость и любовь. Придирчиво оглядывал Любино осунувшееся лицо с морщинками на изгибах усталых губ, и полуоткрытый рот с бисером зубов, и худенькую, надломленную слегка шею, и все искал явные следы греха, о котором так живо напела мать. И снова темная муть наплыла на Степушку, окунуться в которую было и страшно, и удивительно сладостно.

— Ну, чего хорошего скажете, фрау-мадам?

Степушка сел на пороге, привалился к ободверине, глаза его нехорошо блестели.

— А ничего не скажу...

— Так уж и ничего? Ну-ка, доложи, жена, как блюла тут себя, стерегла ли. Печати и пломбы в сохранности?

— Это что, допрос?

— Но ты скажи, если нечего бояться,— допытывался Степушка, втайне боясь признания и странно желая его.

— Чего ты хочешь от меня? Ты чего пристал ко мне?

— Правды хочу. Люди-то говорят...

— Вот и поди, слушай их, а от меня отстань.— Подавляя жалость к себе и невольные слезы, Люба нервно присела с краю кровати и все пыталась прикрыть колени короткими полами байкового халатика. Ей бы чуть помягче повести себя, поспокойней, хоть бы на время подладиться под мужа, смятенного душою, и утишить его сомнения, но подозрительность тона, этот жестяной презрительный голос уже вывели ее из себя.— С цепи сорвался, да? Ты чего приехал, чего, травить меня? Иди, выведывай, сыщик, люди ведь все знают.

— Молчи, сука. Зажгло невтерпеж, заж-гло-о. Хочешь мною прикрыться, да? — подскочил неожиданно, словно бы кинутый посторонней силой, Любину голову больно задрал за смоляную гривку волос, вскинул кулак: на восковом лице немо и пусто выпятились смородиновые глаза, застекленные от близкой внутренней слезы.— Су-ка-а...

Как бежал по коридору — не помнил: уличная дверь

сыро всхлипнула, в темноте коридора готовно упала щеколда, загремел засов, знать, сторожиха Феколка Морошина следила и сейчас улучила момент насолить парню. Толкаться обратно? Ведь как-никак его житье там, за крайним оконцем, лимонно окрашенным, но только деревню всполошишь, а старуха все одно не откроет, будет скрестись в потемках, и Люба не спустится вниз, небось заперлась в своей обиде... Тоже хороша: нет бы сознаться откровенно, как было и есть, а она круть-верть, собака, чтоб шито-крыто. Ну и пусть живет, как хочет, он-то по ней не заплачет, на его век девок хватит. Так думал, горячась, но сомненье душу точит, и кто-то добрый нашептывает слезливо, отпугивая того, кто за левым плечом сидит, коварный и злой... Не слушай, не слушай: тебе лапши на уши навесили, посмешку над тобой устроили, а ты и поверил? Иди-ка, друг ситный, к матери, да утро вечера мудренее, глядишь, с трезвого ума и разберешь, что к чему.

Но дома мать разбередила вновь. На голове махровое полотенце, в полотняной рубахе до пят, бегала она по кухне и сладостно повторяла обидные слова про невестку, а после повалилась на кровать, по-покойницки сложив руки на груди, и скосила мокрые глаза на Степку, дожидаясь, когда уйдет тот. Но у Степы все плыло в глазах, хмель сник, и осталась в груди одна безграничная тоска, которую не переехать, не переплыть. С длинной дороги умаялся, выгорел весь в долгих зимних ловах, да нынче выпал такой окаянный день. Ему бы сейчас сутки-двое отсыпаться, приходить в себя, а он, как идол волосатый, теребил хилую бороденку и привязчиво канючил под порогом.

— Иди давай спать. Ты повались, Степка, да усни, вот и хорошо,— в десятый раз повторяла Параскева, с трудом отрывая от подушки гудящую голову.— Ты, видно, хочешь мать свою уморить, страх господний, вылюдье окаянное.

— Зачем я живу, для чего живу? Дурак я такой, кому нужен на свете? — жалобился Степушка и тупо переминался у порога.— Вот помру, мясо истлеет, и никто не вспомнит. Только кости, наверное, лет двести пролежат. Двести лет про-ле-жат, это уж точно, им ничего не сделается. Выроют случайно и не подумают, что это мои кости.

Не вынесла Параскева издевательства над собою, зло

отхлестала сына по загривку, натолкала лещей полную пазуху и выпихнула в боковушку. Степушка, не раздеваясь, повалился в постелю и стал смеяться, глядя в потолок. Мать сплюнула и ушла, ничего не сказав более.

— Смешно-то как, ой, смехотура. Вот, предположим, понесут меня хоронить,— рассуждал Степушка наедине,— а я из гроба поднимусь, цап-царап ближнего за волосье: «Дай закурить — скажу». Его кондрашка и хлоп.— И он вновь пусто засмеялся, и смех этот в отсыревшей, давно не топленной горенке казался жутким.— Как в тюрьме: сунули, заразы, и живи, господин хороший. А я и живу. Вот оконце на свет вырублю и стану жить-поживать и с горы высокой поплевывать.

На повети Степа отыскал стамеску и ручник, процарапал на нижней филенке сердечко и давай выкалывать в доске рваную дыру, наводя шум на всю ночную избу. «Потом зачищу, после ножичком подберу, и в самый раз,— рассуждал пьяно и улыбался.— Я сейчас как бы спрятался, затаился, а после у всех на виду буду. Вот, скажу, наблюдайте меня. Я не такой, я вовсе иной какой-то».

— Ты что, совсем рехнулся? С ума сошел, да? — прибежала Параскева, пробовала отобрать молоток, втайне побаиваясь сына, не оглупел ли он, но Степушка нехотя, лениво отбояривался, расставив локти, и смеялся дурашливо, словно бы щекотали его:

— Ой, отстань, мамка, ой, отстань. Уморишь ведь.

— Ты зачем дверь карнаешь, дьявол такой. Тобою делано? Отступись, говорю!

— А я любовь жду, слышь, маманя,— ссутулился на корточках, и в сдавленном голосе слышалась близкая истеричная слеза.— Не ту любовь, что Любка моя, а ту любовь, которая извне прибывает. Ты, мамка, старая, тебе не понять. В нас только желанье живет, а сама любовь извне прилетает, и ее надо встретить должным образом, готовность к ней надо иметь. А то пехнется в дверь — и от ворот поворот. Но у меня, маманя, готовность есть, я любовь жду...

28

Земля нынче долго оттаивала изнутри, чуть ли не с половины марта — такая затяжная выдалась весна, а после пробужденно вздохнула и торопливо погнала со-

ки; в лад этим потугам река вышла из берегов кротко, едва обмочив луговины, и льды, оставленные вешницей, забыто потели и маревили по низинам, неся на деревню холод и покрываясь грязными коростами. Мать-и-мачеха, скоро отгорев в одиночестве, потянула за собой иные травы, а ночами с заглубившихся небес часто слышались печальные колокольцы сторонних, далеко уходящих птиц. Все тронулось в путь, все спешило, дождавшись срока, и человек, влекомый всеобщей вселенской дорогой, тоже по-весеннему, необъяснимо для себя, маялся и томился от приступающих белых ночей, втайне живя мечтами, готовый ко всяким глупостям. Это уж после первых плешивцев, обдутых ветром, он как бы неожиданно присмиреет, ненадолго поскучнеет и, отбросивши всякие шальные мысли и опомнясь от краткого весеннего хмеля, вновь примется за дела обыденные, житейские.

И только старый Геласий никуда не спешил и ничему не радовался. За последнюю весну он высох, потончел, как обдутый одуванчик, и любопытство к земле окончательно оставило его: он устал от жизни, от пробуждений, и по тому вялому току крови, что едва пронизывал мощи, по оскудению постоянно коченеющих ног старик понимал, что скоро умрет. Геласий совсем оглох, и потому серебряные птичьи струны играли нынче не для него; он видел тускло, и все, кроме неба, поблекло и стерлось из памяти. Зима сокрушила человека.

Ближние теперь редко напоминали ему о себе. Когда Геласий поднимался с кровати и, выметав кровь, бродил по избе, то на него обозленно кричали, вешали всех чертей, удивляясь откровенно, что этот моховик еще жив. И старик скоро понял, что самое лучшее, если он будет реже вставать с койки и реже дышать. Он понимал людскую доброту и казнился тягостно, что вот стал обузой на старости лет, свалился на чужие руки, и теперь обихаживай, пластайся с ним. И Геласий послушно подчинился, поднимался с постели уже изредка, виновато и стесненно, только по крайней нужде, а так как ел он нынче скудно и неохотно, то все употребленное им словно бы полностью впитывалось в его плоть; он и дыхание затаивал в себе, придавливал под горлом, дышал так, чтобы только не задохнуться, будто одной кожей, и лишь в кратких провалах сна вдруг хрипел изношенными мехами и от этого всхлипа торопливо

пробуждался. Но порой оскудевшее тело неожиданным образом напоминало о себе, наливалось такой могильной тяжестью, которую не в силах перенесть, и потому Геласий, снова нарушая клятву, данную внуку, доставал из-под кровати железную коробку с немудрым лекарским орудием.

А однажды тот осенний сон повторился вновь: посреди пустынной земли, потрескавшейся от жары и спекшейся до самой глуби, увиделась глинобитная стена, а за нею Поля-покоенка притулилась и рукою машет, зовет: «Скоро ли ты?» Геласий к ней, она от него — и в мареве пропала. Взялись откуда-то иные люди в парадных пиджаках, сидят возле дыры и зовут старика. Василист подбежал, глянул и кричит: «Дедо, гляди-ка, сколь там хорошо: там народ яства всякие потребляет и в карты играет». Приблизился Геласий, а люд возле дыры пропал, ровно бы сдуло его, и оттуда, из черной мглы, сквозняком потянуло с такою силой, что не воспротивься старик, отдайся хоть на мгновенье этой воле — и пропасть бы ему там, в черной сквозной бездне. Не удержался Геласий, на карачки встал, вгляделся в колодец, превозмогая студеные токи, и в дальнем далеке, ровно бы на другом конце света увидал лазоревое оконце. «Если решусь, так сколько падать мне до того неба?» — спросил раздумчиво в пустоту.— «Столько же, сколько и вверх ползти».— «Значит, мне не достичь блаженства,— покорно сказал он.— Но земля-мати ближе, она роднее. Прими меня». И только Геласий намерился неловко скинуться головою вниз, унимая устрашившееся сердце, как его позвали со спины тихохонько, словно бы в колокольцы ударили. Он оглянулся, увидал кого-то и всхлипнул...

Геласий пробудился ранним утром от собственного удушливого хрипа и, еще не открыв глаза, почувствовал, что его зовут. Он скатил словно бы глиняное тело на пол, ползком отыскал коробку и ударом ножа отворил жилу на затылке стопы. Кровь скатывалась на пол, чугунная дурь проходила, и старику становилось легче. Он пьяно поднялся, опираясь о печную приступку, и, превозмогая головное круженье, вдоль стены вышел на крыльцо. Деревня еще спала, дымы не курились; по заулку, жидко обметанному топтун-травой, скрадывались последние сумерки, слюдяно застыл воздух, еще не впитавший в себя солнечного тепла, а по остекленелому небу совсем низко

над угором, почти задевая крылами коньки крыш, степенно сплывала связка лебедей; и, не слыша их трубного зова, но подразумевая его и уже понимая, кто окликивал его в такую рань, Геласий обрадованно вскрикнул и поспешил с крыльца. Только чудом он не упал, но, доковыляв до угла избы, лебедей не увидал (они скрылись за соседней крышей), но кожей лица ощутил их слабеющий зов. «Меня кричали, меня, от Полюшки, видно, вестники. Вот и сон в руку,— бормотал он, в отчаянье озираясь, и взмахивал широкими рукавами затасканной ночной рубахи.— Подняться бы, взмыть, диво на диво, и следом... следом. Они-то небось, божьи твари, знают, куда податься. В рай нельзя, в ад не пускают, и земля-мати не принимает. Ведь духу моему некуда деться, и плоть моя без прислона. Чего сказать хотели вестники, куда унесли мое слово?»

Влекомый неясной пока мыслью, Геласий отыскал взглядом лестницу. Сначала он поднялся по ней мысленно, одним духом и желанием, измеряя глазом каждую перекладину, еще не затоптанную и не залитую дождями. «Падать столько же, сколько и вверх ползти»,— вспомнился ночной сон, а после и другой явился из забытья, тот, больной, когда привиделась Геласию подобная же лестница, только зеленая от лишаев, зыбкотрясучая, неизвестно чем укрепленная, потресканная от частой мокрети, уходящая в лазурную преисподнюю, и по ней-то, цепляясь за поручни, срываясь и падая, толкая друг дружку, лезут в небо люди: много их, видимо-невидимо, и каждый полон горением первым взобраться. Для чего? — вопросил старик. Что узрели там, в занебесной вышине, чтобы с таким надсадом, с такой озлобленной яростью тянуться вверх, оттесняя ближнего. Кажется, уж все отжили, отпели свое, отлюбили, отвоевались и только бы покорством наполниться сейчас и смирением, изгнав гордыню и наслаждаясь неустанным трудом и горним духом, мерно и истово тянуться в те вышины, куда уготовала судьба. Но знать, и там, в том неведомом и незнаемом краю, тоже нет человечьего примирения и добросердия. Вот взяли и столкнули тогда Геласия с крайней ступеньки, не дали дороги, оставили его на земле. А может, в том и была их доброта: поживи, дескать, порадуйся в благословенном мире. Но какая тут радость: молодому пожить, здравому телом и мыслью, проживающему в честном труде и мирных нравах — это



другое дело. Но ему, бесперьевому, отлетавшему и отжившему, дряхлому, немощному окорышу, зачем оставаться было, для какой нужды?

Геласий схватился за первую поручню, и иссохшая ладонь не ощутила шероховатости дерева. Он взбирался упрямо и долго, тело его не раз заносило в стороны, словно бы оно могло полететь сейчас, и отцепись невзначай Геласий, разними скрюченные пальцы — и грянулся бы он о земь, которую так любил, и душа бы его

тут же отлетела от плоти. Всем разумом старик так желал смерти, но тело, источившееся каждой своей связью и жилой, наоборот, безумно цеплялось за жизнь, против воли тянулось к дыханью. Сердце билось в клети, выпирало в горло; наверное, тесно и душно жилось ему в грудных крепях. Геласий едва продвигался в небо (так шерстяная гусенка лезет по травине), а крохотному, упрятанному в темноту сердчишку чудилось, что оно мчится ввысь, захлебываясь кровью. У края крыши, унимая дух, старик позволил себе передохнуть. На землю он не глядел, он боялся сейчас земли, ее неодолимого притяженья: она таилась в пелене неожиданного тумана, коварная и вздыбленная, готовая повернуться на тайных шарнирах и погрести человека. Но земля и звала его, окутывала сладким травяным паром, и порой Геласий колебался плотью, а не вернуться ли ему обратно; но для его скудных глаз она представлялась так далеко внизу, такой недостижимой мыслилась для его жидких ног и тряпошных рук, что проще казалось ползти вверх по скату кровли. И он вскарабкался ко гребню крыши, распластался на теплых шероховатых досках, и плоть растеклась по плоти, и сила притекла в старика. Ему снова почудился зов, тонкий и печальный, и только тут Геласий вспомнил, зачем стремился сюда. Но лебедей уже не было, они, наверное, скатились за гривку ближнего леса, и только черные мушки надоедливо роились в напряженных глазах.

«...Напрасно было устремленье,— подумал в отчаянье Геласий.— Он к ним стремился, к праздничным вестникам, к Полюшкиным гонцам, а они не обождали старика, они погнушались его вонючим прахом». И старик безвольно, по-детски заплакал: «Люди, сымите меня...» Он не видел, как перламутровое нежилое небо, утеряв стылость, заиграло, в нем дальняя лазурная глубь проявилась, и по-над лесом поначалу крохотная свечечка зажглась, будто кто теряющий дорогу нащупывал там, в кромешной тьме. Но когда первый щедрый свет пролился, колебая воздух, и все согласно запело вокруг, Геласий отодрал лицо от шершавых тесин и сквозь слезу увидал солнце. Оно показалось поначалу жидким, двойным, растекшимся по изумрудному стеклу с обратной стороны, но и живым, шевелящим тысячами гибких паучковых ножек, которыми и упиралось в дальние лесистые всхолмья. Геласий сморгнул слезу, забывая все, что

случилось ранее, и, больно задирая шею, увидел незнаемое небо во множество этажей, которые удивительно просматривались сквозь, и там, оказывается, тоже были свои живые солнца. «Может, затем народ и лезет, чтобы свое солнце захватить?» — странно подумалось. Голова отпотела, и от солнечной благодати тело ожило. Геласий перевалился на спину и любопытно утонул в провальной бездне, переходя с этажа на этаж и обогреваясь около чужих солнц. Он видел много лебедей — синих, оранжевых, черных — и среди них узнавал себя. Геласий не помнил, когда уснул, он очнулся от ощущенья полета. Тело его стало птичьим, вроде бы обросло шелковистым пером, и каждая, давно ли еще грузная, кость наполнилась подъемным воздухом: чудилось, хватит малейшего колыханья рук-ног, чтобы плавно взмыть. А может, то изба летела встречь солнцу, так что пронзительный свист стоял в ушах, и, боясь соскользнуть с крыши, Геласий пуще вцепился в железный штырь, вбитый в князек избы.

Старик еще сонно снова всмотрелся в ярило, молочно-белое, скатывающееся навстречу, с длинным раскаленным хвостом позади, потом перевел взгляд, и небо увиделось ему неожиданно черным, темнее пашни, вздыбленным и слепым; порой в глубине бучила вспыхивали и дальние молоньи, распарывая мрак, и далее, в самой глубине занебесья, тоже виделся дегтярный мрак. «Куда стремился, зачем? Чтобы вечно носиться в той темени, бесприютно и сиротливо? Обман все, один обман, любить твою бабу». Геласий взглянул на землю, она показалась призрачно голубой, овеянной легким волнистым туманцем. Тело огрузло сразу, потеряло птичью легкость, и старику захотелось домой. Он надломленно сполз к скату крыши, и тут силы окончательно покинули его; избу теперь неумолимо тянуло вниз, запрокидывало как-то странно, боком, и земля в голубом дыму неслась навстречу. На дворе суетились люди, много людей, они странно разевали рты и кому-то махали. «С ума сошли, иль чего случилось?» — смутился старик, не в силах уразуметь, что зовут его.

— Чего случилось? — крикнул он вниз.

— Ста... пер...— прорывалось навстречу сквозь глухоту, и снова немота замыкалась вокруг Геласия.— Мокро Ог...— грозился Василист кулаком: лицо отсюда глиняное, крохотное, слепленное криво и случайно. «Это

выходит, что меня и зовут?» — догадался Геласий удивленно, оглядевшись вокруг.

— Нет, я не фуфло, но больше так не могу. Я как отца родного принял, а он мне норовит в ухо напрудить. Слезай, говорю. Рехнулся, иль как? — Василист оглядывал соседей и обиженно жмурился, за вепревыми бровями прятал свинцовые глазки.— Мне что, гнать его из дому? Иль прикажете бить? Он же чокнутый, вы видите, он ненормальный.

— Может, он из трубы?.. Колдун ведь.

— Дедо, далеко собрался? — надрывался Степушка и нетрезво хохотал, выгибаясь длинным телом.— Куда без хлебов-то, Мокро Огузье? Ты руками-то помаши, дедо, вот и подымет.

Геласий в исподнем, в задравшихся до колен кальсонах, распяленный на краю крыши, действительно выглядел нелепо: казалось, что огромная нездешняя птица с подбитыми махалками, боясь людей, упиралась на тесовом скате, цеплялась судорожно крылами, чтобы не свалиться вниз.

— Руками-то помаши, дедо, вот и подымет. Может, и мне с тобой в небо-то? — то ли плакал, то ли смеялся Степушка и заслонял глаза ладонью — наверное, от солнца.— Де-до, возьми с собой...

7. ГЛУХОЙ И СЛЕПОЙ

Тем же днем кровать Геласия перенесли во двор.

— Дедо, ты на что-то худое не подумай,— искательно говорил Василист, необычно печально заглядывая в пустые глаза старика с розовой продавлинкой на переносье от очков.— Это исключительно на твою пользу. Кира, баба моя, говорит, там воздух свежий, там исключительно тихо, и мы тебе мешать не будем. Глядишь, и на ноги встанешь, а? Только ты не капризничай, штуковин всяких больше не выкидывай и на нас напраслину не возводи.

Старик молчал, у него отнялись ноги, и за одно лишь счастливое утро он позеленел. Кровать поставили возле нужника, тощий матрац покрыли мешковиной и клеенкой, сверху накинули ситцевую простынку в розовый горошек и толстое сопрелое одеяло, а сбоку, от стороннего любопытного глаза, стариковское место завесили драными рыбацкими сетями. Геласия под мышки ласково

привели к постели, и он покорно лег, плоско вытянувшись и утонув в продавленной пружинной сетке: из глубины скомканной ватной подушки наружу просилось лишь крохотное обугленное обличье с остро выступившим носом, осыпанное по вискам зеленоватым нежилым волосом.

С раннего утра изба пустела, и Геласий оставался один в сумрачном прохладном дворе, срубленном Василистом из остатков бывшей дедовой избы: старик узнавал бревна, провяленные временем до кофейного блеска, слышал слабый смолистый дух старого дерева, и порой ему странно и сладко мерещилось, что ничего в его жизни не переменилось. Кажется, все умерло в нем, кроме давних, еще детских ощущений, да и сам он ссохся в кости, почти истлев на корню, и порой то ли в забытьи, иль в яви, но чудилось Геласию, будто он снова пробился из тьмы, выломился из лона, чтобы повторить житье. Он вдруг видел себя в таких состояниях, которые называются провидением, искусом, чарами: то вспоминал себя в берестяной зыбке, посреди душных окуток, с плоской безвольной головой, и его качает и влечет за собою что-то громоздкое, призывно пахнущее молоком и тем особым духом плоти, которым он был окутан извечно. Он боялся темного могильного покоя и тишины, когда все грузнело в нем и наливалось истомой, и, если его переставали раскачивать, он истошно вопил. Мамкину титьку он объедал до пяти лет, и она виделась ему ныне тяжелая, слепленная из белого, хорошо выбродившего теста, с крупными растянутыми сосками: в пазушку грудей было сладко утыкаться вспотевшим носом и постоянно чуять во сне душноватый запах слегка подкисшего молока, отрыгнутого из полого рта...

Пока стояли жаркие дни, и старик упросил, чтобы наружные ворота не закрывали: теперь он боялся темени и той бездны, в которую проваливался, засыпая. Сквозь занавесь старых сетей, знакомо пахнущих рыбой, в проеме широких ворот виделся край светлой пушистой улицы, разделенной на тысячи золотистых ячей. Порой проступало чье-то равнодушное лицо, смутное и усталое, недолго маячило в желтом квадрате и пропадало: словно бы навещал досмотрщик, с нетерпением ждущий его смерти. Иногда Геласий хотел спросить внука, кто это стоит у ворот, и остерегался; да и редко нынче навещал Василист, обычно он спешил, как на пожар, топая по

двору сапожищами, и, не глядя, обегал стороною деда. Окликнуть бы — но вдруг не взлюбит. А тот человек появлялся каждым днем, на крыльцо не поднимался, куда-то глядел мимо Геласия, по-щучьи подныривая лицом. Порой сеть колебалась под сквозняком, волочила за собой паутину слепящего света, травяные и рыбьи запахи, и старику думалось покорно, что тот тайный молчаливый досмотрщик торопит его умирать и потому заранее обволакивает сетью повыленное иссякшее тело, чтоб в случае чего не замедлить и отправить на тот светлый берег, куда всем назначено плыть. Может, тот рыбак и кричал чего, и обнадеживал всякими туманными ободрительными словами, ибо рот охранника по-рыбьи разевался порой, но Геласий-то вовсе оглох, да и видел он скудно. Он мог бы при желании, конечно, позвать рукой, и тот привратник заметил бы и приблизился к постели, но не хотелось напрягаться, будоражить уснувшие в теле соки, говорить о чем-то, не достижимом простому человечьему уму, ибо дозорный наверняка не из обычного народу, он кем-то дослан следить из вышних пределов и будет своими реченьями смущать ровный Геласьевый дух. Все вместилось в сознанье старика и, что бы ни случилось сейчас, казалось тайным знаком, посланным извне. Вот лебеди позвали недавно средь сна, откуда взялись они так запоздало, когда вся птица уж давно свалилась к северу; и сны вовсе не случайные, когда постоянно видится потресканная, лопнувшая от жары пустыня, в которой он не бывал, с черной сквозной дырой, откуда свищут ветры; и весна затяжная, переменная, словно бы посланная на испытание Геласия; и вот сейчас придворный у крыльца, навязчиво следящий уж который день...

Вскоре Геласий привык к постоянному догляду и даже радовался мысленно этому щучьему лицу в провале двери, ибо ноги день ото дня коченели, отпадали руки, и старику ужасно было помирать в одиночестве. А тут вроде бы и не страж у ворот, а заплутавший совестливый ангел иль, скорее, тот самый недавний лебедь, позвавший ранним утром старика и сейчас в образе человечьем слетевший к изголовью... Теперь Геласий ничего не просил у снохи, еда застаивалась, прокисала в чашках, и ржаной каравашек, так и не опробованный в эти дни, заплесневел, обсиженный мухами. Жить бы еще можно, чего там, и не то терпели, но пить постоянно хо-

телось, вот наказанье, жажда извела, а посуда в изголовье и нынче без воды, словно бы окаянная баба решила извести старика. Внутри у Геласия все вытекло, ссохлось, каждая жилка потончела и обезводела; кажется, спусти сейчас в утробу родниковой иль колодезной, из самой-то дальней прохлады добудь, пахнущей замшелым срубом,— и все оживет, зарадуется внутри, и слышно станет, как потечет студеная сытная влага, распрямляя каждый замшевший сосудик. Губы спеклись, ороговели, и внутренний жар необычно изводил старика. И, отчаявшись более, с неизъяснимой смертельной тоской он взмолился к тому привратнику, что и ныне сутулился в дверном проеме, похожий на древнюю коричневую рыбу, запутавшуюся в сети:

— Добрый путник, дай напиться страждущему человеку!..

И словно бы от этого вопля темно засинелось на воле, отраженье близкой угрюмой тучи покрыло крохотный краешек бархатной улицы, ныне такой желанный Геласию; пониклая зелень деревьев засвинцовела и косо потекла вдоль веток, готовая отлететь; во двор пахнуло истомившейся пашней, близким нужником и рыбьей слизью; вихрь, ворвавшись в дверь, прошелся по самым дальним закутам, поднял залежалую пыль и свежо омыл стариковское лицо. Сеть, вспугнутая сквозняком, и без того утяжеляла внезапный мрак, сквозь частую ячею Геласию виделось плохо, и он с усильем разнимал одрябшие веки, чтобы рассмотреть странного привратника. Тот появился в дверях, сутулый, в черных длинных одеждах, часто помогая себе посохом. Провал двери внезапно осветился и снова потух, но за это мгновенье Геласий пусть и смутно, но успел разглядеть вытекшие студенистые глаза, побитое пороховой синью лицо с льняной бороденкой, скомкавшейся в подскульях, и с облегчением узнал слепого Феофана: все-таки свой, земной человек оказался, без всяких подвохов.

— Пи-ить,— едва слышно попросил он.

И тут неистовый гром небесный раздался, и бездна, куда влекло Геласия всю последнюю зиму, раскололась, и синее каленое каменье посыпалось на крышу. Снова в провале распахнутых ворот, прерывая тревожное затишье, вспыхнула молния и осветила печально пониклую зелень и фиолетовую закрайку неба над ближней крышей. Феофан оторопело переждал громовой обвал

и по дальнему смутному шороху, по звону напрягшейся низовой травы, по трепетному шелесту березового листа почуял зарождающийся дождь. Геласия слепой Феофан вроде бы позабыл, а настроив чуткое ухо, тонко улавливал каждый новый звук, народившийся вне избы: он торопил дождь, ибо думалось ему, что все болезненно натянутые души, сейчас томящиеся на большом миру, тут же разом отмякнут и невдолге облегченно оживут. Редким горохом посыпало о тесовую крышу, с шорохом пробежалось по дорожной пыли, следом порывисто, наискось, кинжально полоснуло в бревенчатую стену и водяной пылью насеяло в узкое волоковое оконце, а после такая пошла писать губерния, такой стелющейся навальной полосой хлынул жемчужный проливень и такие сиреневые полотнища навесились от неба к земле, что все в мире смиренно оглохло, торопливо сникло перед этим ровным торжествующим гулом. Река пролилась сверкающим столбом, и в этом порыве небо слилось с землею. Но Феофан, внутренне ослабший весь, однако, различил новый горестный стон Геласия и, вспомнив его просьбу, устыдился и засуетился. Он нашарил у постели что-то вроде порожней консервной банки и, чертыхаясь в душе, проклиная Василистову семейку, отправился отыскивать воду.

— Слышь, Геласий,— кричал он за спину, думая, что тот слушает его,— ты на крышу зачем ползал? Сажу в трубе пахать, иль повлекло чего, признайся! — Но больной не откликался, и Феофан снова настойчиво допрашивал: — Ты же всю жизнь у реки, а тут смотри на старости лет куда полез. Сорваться же мог. Может, спуталось в тебе чего?

Феофан рад был поговорить сейчас. Не раз и не два он подходил к Василистовой избе и, зная, что больной страдает в одиночестве, жалостливо окрикивал его, но Геласий отчего-то не отвечал, и слепой, еще помявшись у крыльца, отправлялся прочь, каждый раз так и не решившись самовольно побеспокоить человека. А сегодня вот Геласий вдруг сам позвал, попросил напиться, и как тут не услужить страждущему... Феофан посовался батогом, силясь напасть на ушат с водой, но на чужом дворе, где впервые, да еще слепому, ой как трудно привыкнуть к тайным углам и закутам, чтобы в них отыскать необходимое тебе позарез. И вскоре понял слепой, что пустую затею ведет, и потому, гонимый неясной тре-

вогой и жалостью, заторопился на улицу: там, по гулкому всплеску последних тяжелых капель, он сразу отыскал бочку, дополна налитую дождевой водой.

Ливень так же неожиданно смирился, затих, и сразу запахло молодой крапивой, еще бархатной с исподу. Торопясь, Феофан вернулся во двор, насторожил ухо, но не услыхал ни грудного хрипа, ни зова.

— Несу напиться, несу,— настойчиво повторял он, путаясь меж всяким житейским скарбом.— Вот тебе водица из семи ручьев, из семи рек, на семи травах настояна. Слышь, Геласий Созонтович, испей ее, дождевой, громовой, грозовой,— и на ноги встанешь. Ты понял меня? Вскочишь, как молодой, еще забегаешь... Водица-то из семи грозовых туч, из семи цветных радуг. Говорят, ты ведь колдун. Это правда, что ты колдун? Не в обиду тебе, не-не. Вот и шепни заговорное слово, я отвернусь, я не подслушаю. Ты откликнись, куда мне слепому пехаться, а то заплутал я, расплещу водицу-рудницу— и не донести будет до твоего рта... Иль ты колдун лишь для других, а для себя ничего? Что за сила в тебе такая? Ты прости меня, Геласий Созонтович, я дурачливый бываю, у меня ирония порой вовсе нездорового свойства...

Феофан не слышал ответного отзыва и уже пугался тишины. Он батогом наискал сетной полог у постели больного, завернул его наискось за спинку кровати, чуткими сплюснутыми пальцами нашарил высохшее лицо Геласия и, расплескивая по мертвым щекам дождевую воду, отпрянул.

Геласий многажды умирал за свою жизнь, но каждый раз возвращался обратно, словно бы любопытство одолевало его: но сейчас по странному состоянию незнаемой досель легкости в себе он понял, что умер совсем. Он бы, наверное, еще мог вернуться к своему покинутому телу, но ему так не хотелось возвращаться, что он остановил в себе сердце. Геласий еще увидел себя распростертым на кровати посреди солнечного пронзительного сияния: слепой Феофан сует ему кружку, расплескивая кровь по немому телу, а после ладонью шарит по лицу и закрывает веки. И так сладко стало вдруг, так вольно и блаженно...

29

Нынче деревня походила на большой постоялый двор, вернее на дом приезжих, где каждый день кто-нибудь прибывал иль отправлялся. А почти вся Кучема давним родством повязана, тут слабому до вина человеку — раздолье, пей не хочу. Человеку ведь как: только впусти себя в эту дьявольскую карусель, полную соблазнов, дай душе послабку, тут и закрутит, разнесет в пьяном угаре. Особенно когда душа ушибленно поет. А Степушка человек плясовой, у него ноги пришиты по-особому, у него и слово не запылится на языке, он и рюмку мимо рта не пронесет, в общем, по всем статьям для любой гостьбы человек необходимый. Да и после Геласьевых похорон погода не заладилась, гроза на грозу ложилась, сплошной сеногной настиг деревню, и к десятому июля еще ни копешки не поставили. Вроде бы по утренней рани глаза заломит от сини разливанной, как в небо глянешь, но, пока сойдется народ у правления, пока-то машины заведут, тут и накатит темь свинцовая, откуда и возьмется только, словно бы из пера глухариного, опадающего понад лесом, ну а там и закраплет, заточит небесная влага, засучит таинственная прядея нудную серую пряжу, ни дна бы ей, ни покрышки. А по такой проклятой погоде самое питье...

Посмотрела Параскева на сыновью маету, норов смирила, зажала в душе гордыню и отправилась к невестке. «Люба, вернись домой,— сказала с поклоном.— Хочешь, на колени встану. Сопьется же парень».— «Пусть придет и повинится: тогда я еще посмотрю, прощать ли его».— «Ну я злая, во мне от жизни нагорело. А ты откуль, свинья такая. Да вас обоих бы через колено да опояской, чтобы до кровищи худой. Да вас...» Тут и понесло Параскеву, раскатило на крутых перекатах, и о каком теперь мире вести речь.

А дома Степушка уже на кровати, лежит в сапожищах, пьяней вина. «Ты пошел бы, Степушка, повинился, что ли. Она ли тебе не законная жена».— «Не пойду виниться. С какой это стати виниться? Да я ей морду набью»,— артачится парень. Глаза кровяные, набрякшие, нос в сиреневых прожилках, как клюв над провальными щеками.— «А я вот погляжу на тебя и думаю: зараза же ты народилась. Как навоз в проруби: туда-сюда. Вот, думаю, лучше бы ты подох тогда, в

лесу-то, замерз бы, поганый, да и не встал. У бога тебя вымолила, на коленях выстояла, а знатье бы... Уезжай, зараза, куда ни то, только бы с глаз моих».— «И уеду,— пьяно артачился Степушка, ухмыляясь,— в эту дырку полечу-у. Придешь, а меня нет, я через дверь, через дырку, ту-ту, ауфвидерзеен, я ваша тетя. Ты этого хочешь?..»

Плюнет только Параскева — и прочь из горенки: что с пьяного спросишь, только нервы изводить.

Но с петрова дня пришло давножданное ведрие, и напоенная земля сразу покрылась обильными росами, выпихнула траву на тенистых поречных пожнях по лошадиную холку, да и сама деревня вроде бы омолодилась, закучерявилась, розовым туманцем повилась от спелых клеверов на обочинах и первых кистей иван-чая, отпугнувшего залысевшую крапиву в подзаборную прохладу. Ночи теперь не тускнели, матово светились, не остывая, вода в озерах прогрелась до сумеречного дна и зацвела, и комар ошалел стозвонный. Загнали Степушку на дальние покосы, там он сеноставил безвылазно недели две, прокалился до кости, с густым потом всю дурь выгнал, шоколадно залоснился лицом и душою обновился, посветлел, и часто ночами видел теперь жену и любил ее во сне. Он представлял ее иной, горестно-поникшей, с постоянной слезой в потускневших глазах, и потому необычно жалел за неудачливую и неурядливую жизнь, и себя казнил нещадно и корил, что вот соблазнил девчонку, насулил ей золотые горы, судьбу сломал и отпихнул прочь, издеваясь и выдумывая невесть что. Степушка мысленно клял себя, ворочаясь в душном пологе среди разоспавшихся мужиков, и легкую слезу, щекотливую и щипучую, вдруг проливал в переносье, и от этой великой жалости, переполнившей сердце, еще больше любил Любу и томился.

А в конце второй недели их вывезли в баню. Деревня уже знала о сеноставщиках и прогоркла от черного дыма и настоялась березовым духом. День еще золотился и, ловя редкую благодать, вспенивая кровь желанным солнечным жаром, черные, как голенища, валялись в жиденьком песке огольцы; старухи в мужских длинных майках боязливо прикасались к теплу, подставлялись рыхлыми, картофельного цвета плечами и зорко пасли малолетний приплод, не допуская к воде; голенастые, с голубенькими ключицами девчонки жались та-

бунком в стороне, выкручивали жидкие намокшие волосенки и косились друг на друга ревниво, часто поправляя лифчики, сползающие с робкой, едва проступившей груди; парни лежали на замлевших от парной воды бревнах, смолили сигаретки, сами слегка захмеленные и радые блаженному субботнему дню и ленивой истоме; порой от бани, курящей жидким парком, кто-то, бруснично распаренный, срывался в воду, подымая серебряный столб, охал на всю реку и тут же спешил обратно, зажимая в пригоршне стыд; степенно с угора спускался мужик, намаянный работой, придирчиво наискивал камень, куда бы сложить одежды, после раздумчиво щурился на солнце, стесняясь и привыкая к своему молочно-белому телу, и вот, наконец-то решившись, он в семейных трусах, с куском хозяйственного мыла забродит по грудь в реку и жестко трет мочалкой морщинистую бурую шею и ком головы, пыльный от сенной трухи.

А река, тенисто-зеленая в заберегах, выплывала словно бы ниоткуда и сонно утекала в небо, охотно и ласково всех принимая в свое дымчатое щекотное лоно; серебристая осота слегка колыхалась, напрягшись от течения, по золотистому песку скользили длинные пепельные тени, и порой, словно бы отражаясь от дна, от сверкающих радостных бликов, торопливо подымался пятнистый веселый харюзенок и, тараща испуганные радужные глаза, застывал на морошечно-желтой поверхности воды, а после отдавался теченью и сплывал в ближнюю тростниковую заросль; камбалешка суетливо отрывалась от дна, похожая на банный отгоревший листик, и тут же, устрашившись самой себя иль солнечного пронзительного глаза, опадала в пушистую постелю, подымая крохотное облачко праха; порой из глуби, от которой даже всякая водоросль отпрянула, мерещилась костяная семужья голова со змеиным равнодушным глазом, и, ровно побарывая теченье, вспыхивал и пропадал прозрачный веерный плавник. Степушка увидел змеиный пристальный глаз и мог суеверно поклясться сейчас, что именно он наблюдает и надзирает за береговой жизнью.

Парень угрелся на смолистых бревнах отдельно от прочих, и, когда от зеркально вспыхивающей воды щемило глаза, он от реки охотно перекидывался взглядом на берег и загадывал что-то неопределенное и смутное. То, чем жил он еще недавно на лесовых пожнях, что томило его, нестерпимо клубилось в душе до слезли-

вости и сожигало, сейчас вдруг сникло, показалось неловким и смешным; и может, потому Степушка тянул время и лениво, словно о чем-то постороннем, представлял, как, намывшись в бане, он заявится к жене, они по-доброму помирятся, а после станут долго и сладко любить. Но и от этой мысли ничто не шевельнулось внутри, будто отмерла плоть и живая кровь сварилась в жилах. «Здорово, салага!» — хрипловато, по-простецки крикнули за спиной, и от этого голоса все оборвалось в Степе, и душа поначалу погрузилась в темь, а после кинулась в самое горло, такое вдруг узенькое, словно бы куриное, и застряла там. Но, однако, выдержал Степушка, повернулся на голос не сразу и долго цедил сквозь прищур глаз, чужо, неузнавающе. Милка была в голубеньких застиранных шортах и полосатой тельняшке; она опростилась за лето и стала неожиданно иной, еще ближе и родней; прежнюю замысловатую копешку она растрясла по плечам, соломенные волосы поотгорели, осеклись по концам и сейчас легко шуршали. В полосатой голубенькой рубашонке, под которой колыхалась налитая тяжелая грудь, с этой своей вызывающей походкой, когда тугие, высоко видимые бедра подрагивают дразняще,— вся вот такая, светлая и здоровая, она увиделась Степушке столь желанной и счастливой, что он на миг невольно отвернулся, мучительно завидуя тому, кто любил ее нынче. В Милке не было той стыдливой, а порой и мрачноватой замкнутости и суровости, что отличали жену, когда она, углубившись в себя и уставившись печальными глазами на тайный, одной лишь видимый образ, могла сидеть так часами в полном одиночестве, никого не замечая и не слыша, поглаживая словно бы мерзнущие тонкие смуглые запястья. Милка вся была на виду, вся в движении, вызове, откровении, дескать, хочешь — приди и возьми, словно бы в иных, неведомых вольных местах произросла она, ярко-желтая, а нынче вдруг нежданно-негаданно свалилась на здешние головы...

Милка отвернулась к реке, стянула рубашонку, не стесняясь знакомого народу, ловко накрыла провисшую грудь ситцевым тонким лифчиком, потом плашмя, шально хохоча, упала в воду грузноватым широким телом, так что почудилось сразу, будто река выплеснулась из берегов и замедлила ход, не в силах прорваться сквозь живую запруду. Милка тут же и появилась: соломенные

волосенки обтянули голову, потемнели у корня, пшеничные реснички, смаргивая влагу, удивленно загнулись над эмалевыми, слегка подголубленными глазами, и грудь еще резче проступила через тонкий намокший лифчик, отпечаталась крупными налитыми сосками. Рукой она торопливо и жадно хваталась за обмыленное бревно, а наивно-откровенным взглядом заманивала Степушку, и он, подчиняясь любовному желанию, безрассудно кинулся в реку, прошил ее наискосок до самого дна. Янтарный песок, ребристый на отмелых местах, поплыл перед глазами, пугливо отпрядывала пучеглазая мелочь, скользкие жирные водоросли змеисто обволакивали тело, жадно присасывались, готовые повязать его и выпить. Но хотелось как можно дольше продлить это состояние животной легкости, хотелось отчего-то раствориться в тугом теченье и скатываться внутри воды рядом с пучеглазым серебряным харюзенком, однако душа-то Степина каждым крохотным любовным нервом оставалась там, наверху, рядом с Милкой, и потому слоистая прозрачная глубь насильно вытесняла плоть. Степушка вынырнул и сквозь студенистые натеки на слипшихся ресницах увидал Милку неожиданно близко: она плыла по-собачьи, наводя шум на всю реку, яростно плескала ногами и надувала щеки. И, загораясь злой необъяснимой тоской, парень ушел обратно под верхний пласт лимонно светящейся воды и, как сквозь лазурную стеклянную призму, увидел странно искривленное вихляющееся Милкино тело, бесстыдно откровенное и распахнутое, несмотря на ситцевый пестрый купальник. Степушка обвился вокруг ее плотного тела и повлек в глубину, но она не вскричала, не забилась обреченно, как ожидалось, а доверчиво, бессильно обвисла в руках и нарочно тяжело навалилась грудью на его лицо. Парню и дышать стало трудно от негаданного покорства, воздух скоро иссяк и растворился в крови, и Степушка заторопился наверх, уже готовый богу душу отдать и не радый этой случайной безумной игре. А река, вспыхивая каждой своей серебряной струйкой, беззвучно свивалась в жгуты и сваливалась за перекаты меж бруснично багровеющих высоких берегов. И может, от ровно золотистого, слегка потускневшего неба, иль от дремотно откинувшейся от угора деревеньки, бронзово засветившейся окнами, иль от того мирного покоя, что сошел на вечереющий мир, но только что-то неожиданно и блаженно дрогнуло в Степушкиной душе

и запело, и злость куда-то пропала, уступив место греховному томительному желанью; и жена, и мысли о доме, о матери, все самые благие намерения, коими жил Степушка последнюю неделю, просочились как сквозь песок, словно и век не бывали, не тревожили мучительно его душу. Парень отдышался, но, еще притворно сердясь, отворачивался от Милки, отцеплял холодную руку, жадно вцепившуюся в его плечо, а сам-то так отчаянно желал, чтобы продолжилась и повторилась та осенняя лунная ночь в архангельской заречной избе... Но Милка-то, ну и стерва, ну и собака, будто бы виновато поглядывала на парня сквозь слипшиеся ресницы и утомленно наваливалась на его грудь, прохладно дыша в пазушку за ухом. «А, будь что будет,— отчаянно решился Степа и обреченно покорился судьбе, подавляя в себе тревогу.— Один раз живем на свете, так не все ли одно, когда грешить». И на виду у всей деревни, собравшейся на угоре, понимая, что сейчас разнесут по избам сплетню, он больно обнял Милку, впился губами в ее готовно полуоткрытый рот, и так, слитые поцелуем, они погружались на дно и возвращались обратно, словно бы рождались заново. Они дурачились на притихшей розовой реке, они играли, как два вольных водяных зверя, почуявших душевную и телесную отраду, ничего не говорили и не спрашивали ни о чем...

— Какой-то чужой ты. Но интересный — страсть,— сказала Милка, когда они, утомившись, вылезли на берег и зарылись в жаркий песок, пряно отдающий перекалившейся пылью: сосновой щепкой пахло кругом, клеверной тягучей сладостью, истомившимся лесовым деревом и кисловатой, зацветающей в тихих заводях водой.— Точно, точно, ты не веришь? Клевый такой мальчик,— торопливо повторила она, в этом Степушкином молчанье поймав недоверие.— А я, как клуша, как разварня, вся опустилась нынче,— хулила себя, любопытно взглядывая на парня.

Степушка действительно за эту зиму зачужел и был притягателен своей новизной: светлая с неожиданной проседью бородка быстро просохла и запушилась, удлиняя и без того впалое прокаленное лицо, выпуклый зеленоватый глаз вспыхивал и замирал, осыпанный тонкой и частой насечкой морщин, льняной волос, выгоревший до пыльной белизны, свалялся в баранью прядку. Почуяв пристальный навязчивый досмотр, Степуш-

ка холодно взглянул, и в этом взгляде Милка увидала усталую, неведомую ранее взрослость.

— Борода тебе идет, ты на шведа в ней похож...

— Зачем приехала? — спросил тоскливо.

— Что, тебя не спросилась, иль козы своей боишься? Боду-чая коза по-па-лась? — дразнила Милка, лениво скосив глаза на полную, утомленно откинутую руку: по золотистой коже меж легкого обгоревшего пуха щекотно путалась усатая зеленая козявка.— Ой, боюся, Степка, лишит она меня невинности, бедную-то девочку.— Холодно рассмеялась, брезгливо сощелкнула малую тварь, и в ее глазах прорезалось что-то жесткое.— Миленький ты мой, скворушка ты моя полосатая.— Неожиданно закинула руку на шею парню, прохладную, с бархатистой кожей, такую знакомую Степе от рыжеватых морщинок на локте до голубой жилки на покатом плече.— Значит, козы своей боишься? — снова одиноко засмеялась.

— Тебя боюсь...

— Я не кусачая, миленький. У меня зубки еще не прорезались,— влажными губами прихватила парня за ухо и больно надкусила мякоть мелким перламутровым зубом. Все в Милке было зверушье, жадное и дразнящее, и Степушка с каждой минутой, отдаваясь страсти, все более погружался в пугающий и желанный расплав хотенья и нежности.

— Отодвинься, люди ведь смотрят.

— А наплевать. На-пле-вать с высокой горы,— пропела Милка.— Я тебя хочу, и все.

Степа чувствовал, что она играет с ним, и охотно поддавался ей, шел в масть, желая обмана и растравляя его, чтобы продлить случайную неожиданную близость. Все казалось сном, наваждением: вот встань сейчас Милка и, лениво отряхнувшись от красной пыли, подымись на угор за крайние избы, и тут вроде бы пробудится Степушка, и тогда смертная темень приступит к нему, из которой не хватит сил выплыть. Вроде бы забыл Милку и вспоминалась-то она смутно и тускло, но вот приблизилась внезапно, и вся прежняя любовь с новой болью пробудилась. «А пропади оно все пропадом — и жизнь эта грошовая. И чего липнет,— думал,— хуже смолы пристала. Жила бы где-то...»

Мимо шатались девчонки, прозрачные до голубизны, в мурашках от частого купанья; поравнявшись, они обя-

зательно призамедляли шаг, оглядывали парочку подозрительно, с женским пробуждающимся пристрастием, отмечая в памяти каждую щекотливую подробность, которую можно будет вспомнить наедине: и близко приникшую к парню, едва прикрытую с-поднизу лифчиком набухшую Милкину грудь, и ее шоколадно загорелую руку, свободно накинутую на мужское плечо, и Степкино странное возбужденное лицо с хмельными потерянными глазами.

— Слушай, пойдем отсюда,— попросил Степушка, чувствуя, что краснеет.

— Сте-па, ты что?

— Пойдем, говорю...

— «Ах ты куда меня повел, такую молодую...»

— На кудыкину гору на переделку,— отшутился неловко, думая о чем-то смутном: Степа спиной чуял странный досмотр за собой и потому ежился, словно нагой, выставленный на прилюдное посмотрение.— Побыстрей можешь? — прикрикнул раздраженно, уже не в силах наблюдать, как вальяжно одевается Милка, шаля подобранным золотистым телом, как встряхивает соломенной волосней и сонно, но с затаенной кошачьей жестокостью следит сквозь шуршащую паутину за Степушкой. Переменилась Милка, и прежняя тоска в ней пропала.

— Ой-ой, не на пожар,— будто шутливо погрозила, но оскалила мелкие перламутровые зубы. Каждое движение было скопировано с кого-то, не однажды наиграно и выверено, а после присвоено себе.— Гора от нас не уйдет.— Говорила тягуче, с тайным намеком, не торопясь, осмотрела всю себя и сыто, любовно огладила.— Ты, Степа, скажу тебе, главное не напрягайся: медицина говорит, напрягаться вредно.

— А ну тебя...

Берегом реки они прошли за деревню и, когда крайняя крыша запрокинулась за охряной угор, вдруг скованно замолчали, часто и подозрительно заоглядывались, не зная, как повести себя. Степушка раза два неловко прихватывал Милку, пробовал привлечь к себе, торопливо тискал за плечи, но она отбояривалась, глядела холодно и зверовато. «Смотрит, как волк на бердану. Поиграй, поиграй, милая,— думал парень любопытно и с тайным расчетом оглядывал Милку.— Сейчас-то я тебя уломаю, и пикнуть не успеешь».

Справа остался сосновый борок, распаренно млев-

ший, понизу просохший до хруста, словно бы посыпанный жарким пеплом; река вильнула, растеклась широким плесом и до самой стрежи поросла жирным хвощом; сиреневые стрекозы качались на суставчатых остриях и едва проблескивали крылом на атласном небе. Все это замечалось Степушкой вчуже, вроде бы посторонним глазом, и несло свой тайный смысл. Низкая бережина и в жару не подсохла от проливных дождей, она была истыкана коровьим копытом, и ступня то и дело коварно проседала в эти глубокие, присыпанные мелким осотцем следы, на дне которых скопилась жидкая каша. Милка шла впереди, лениво покачиваясь, и когда она проваливалась, то каждый раз нарочно охала и заполошно смеялась, запрокидывая голову; мутная свинцово-охряная жижа прыскала из-под ноги и засыхала на икрах частыми веснушками. Степушка, взвинченный до предела этим длинным днем, пристально изучал и слегка широковатые плечи, и тяжелый загривок, больше мужской, чем женский, и коротковатые ноги с глубокими перевязями над грязными икрами — и настойчиво убеждал себя и почти верил тому, что вовсе не любит Милку.

За сосновым борком, обрываясь каменисто и красно, словно бы залитая в обножье засохшей кровью, встала над рекой горушка, поросшая душным вереском, а на скате ее, как великанский подберезовый гриб, ссутулилась часовенка, вся обветшавшая ныне.

— Слушай, Степка, вот и гостиница для нас,— крикнула Милка, первая побежала к часовенке и, отпнув подпору от хлипкой двери, исчезла внутри.

Степушка с раздражением вошел следом, досадуя на нее: после улицы здесь было особенно сумрачно, стоял густой кладбищенский запах, внутренняя обшивка ободрана совсем недавно и, наверное, пошла на кострище. Степушка не поспешил сразу в придел, куда скрылась Милка, а старался придушить в себе нетерпенье, боясь его, и потому с нарочитым интересом приглядывался к часовне и читал росписи: по надписи над воротами, вырезанной до самой мякоти еще в незапамятные годы, ныне кто-то прошелся топором, затеси были свежие, торопливые и злые, судя по хлестким глубоким зарубам. Ранешние слова, словно бы обожженные пламенем, отливающие оранжево, помнились Степушке: «Мы шли в Берлин с боями и богами. Взято все». Нынче же чья-то сатанинская рука выстегнула последние три

слова. Парень пробовал отыскать и свою помету, но она, видно, исчезла вместе с обшивкой в огне, хотя дров-то кругом при желании жечь — не пережечь. В перекрестье балок, в темени луковки ныне стояла тишина, лесные голуби отчего-то покинули свое гнездовье. Подумалось, может, и вправду забродит сюда странный зверь, который и осиротил, извел птицу...

Степа переступил порог в придел: раскрашенный трехметровый крест с распятьем Христа изъязвлен топором на уровне груди — знать, кто-то пытался сронить его иль свалить, но огонь, разведенный из лиственничных щепок и прочего хлама, не взял провяленное до костяной крепости дерево и лишь до черноты обуглил его с-под низу да выжег ноги Христа. В углу, на куче тряпья, старинных богомольных подношений, подобрав под себя ноги, нахохлилась Милка. Увидев Степу, она поначалу капризно отвернулась, но на долгое молчанье характера не хватило, и потому тут же вскочила, обняла крест:

— Ну, как я смотрюсь?..

— А никак.— Парень отвернулся к провалу окна, в котором далеко внизу виделась и смуглая от вечерней зари река, и зеленеющее с кровяными прожилками небо, и ранняя апельсиновая звезда. Милка сзади сопела, но вдруг подкралась, обхватила за шею.

— Степа, ну что с тобой. Ты меня разлюбил? — в голосе послышалась близкая слеза.— Тепа, ну повернись ко мне.

Царь иудейский безглазо смотрел с креста, жилистое худое тело, потеряв очертанья, изжив плоть свою, словно бы проникло внутрь дерева. От долгого ли напряженья, но Степушку охватила такая тоска, он вдруг так зажалел себя, что слезы навернулись на глаза. Он опустился на тряпье и голову спрятал в коленках: странная маетная слабость неожиданно полонила парня, и он вроде бы утонул в самом себе и перестал жить. Милка, испуганная, удивленная, встала на колени, по-матерински обхватила Степушкину голову.

— Ой Тепа, ты Тепа. Маленький ты мой глупыш.— Милке тоже захотелось плакать. Видно, печальный полумрак часовни и то состояние вечерней тишины, что полонила замирающий мир, вдруг ослабили душу.— Ты скажи, что с тобой.— От Милки пахло загорелым телом, еще неистраченной свежестью реки и горечью просохшей глины. И, невольно приникая губами к распах-



нувшейся ложбинке над грудью, отдаваясь мерному каченью, Степушка внезапно почувствовал себя словно бы недавно родившимся, еще чистым и доверчивым.

— Не надо, ты что. Было так хорошо, а ты...

Милка пыталась тельняшкой прикрыть грудь.

— Чего не надо, чего? — бормотал Степа, уже хмельной от желанья.

— Ну прошу тебя,— упиралась Милка, а сама уже и дышала-то горячо и прерывисто, и охотно поддавалась, никла навстречу под его тяжелой жадной рукой.

— Я знал, что ты явишься. Я знал это, и сердце в двери вырезал для тебя. Мать-то мне: «Ты чего,— говорит,— дверь портишь». А я говорю: «Любовь жду». Ты увидела, что мне горько, и прилетела, да?

— Глупенький ты... Может, в луга куда? Вдруг кто зайдет? — Милкин голос замирал и угасал.— И этот дядя с креста смотрит... Подстелить бы чего, а то грязно. Соскучилась-то как, гос-по-ди.

— Ты подхватись, мы и полетим. Ловчее подхватись,— пересохшим голосом бормотал Степа.— Я от деда Геласия слыхал, пел он... «Афон-гора святая, не знаю я твоих красот, и твоего земного рая, и под тобой шумящих вод...» Светло тебе?..

— Боже, как хорошо.

И тут в часовне потемнело, в проем окна по самые плечи просунулся кто-то и дрожаще спросил:

— Ну как, сынок, хорошо устроился?

У Параскевы было набухшее, распаренное от бега лицо, ореховые глаза слезились, и она с трудом ворочала деревянным непослушным языком.

— Мне девка на дороге попалась. «Тетя Параня,— кричит,— тетя Параня, ваш-то Степка с Милкой пошел грибы собирать». Это мала-то девка мне кричит. Они, говорит, в церкву пошли грибы собирать. Боже святый.— Параскева неожиданно выдернула голову из проема, обежала часовенку и появилась в дверях.

— А чего у нас было, у нас ничего и не было, правда, Степа? — обиженно встретила Милка, прикрывая ноги тряпьем.

— Я тебя не спрашиваю, лахудра трясоголовая. Ты, сынок, ответь мне; у тебя жена, у тебя семья, а ты как кобель. Может, нынче так положено, дак ты разъясни мне, старой глупой кокоре. Этой-то заразе трясоголовой я плешь выстригу, а ты большой вырос, ты на моем молоке разъелся, у меня силы не хватит с тобою справиться. Степа, уймись, богоданный мой, за что казнишь мою старость.

— Уйди,— глухо попросил Степушка, зажимая ненависть к матери.

— Бога бы хоть бы постыдились...

— А бога нет, Параскева Осиповна,— неожиданно отозвалась Милка и бессовестно засмеялась.

30

Утром, еще ни свет ни заря, навестил председатель и поднял с койки только что разоспавшегося Степушку: до утра маялся парень, травил душу, кому-то желал больно отомстить и лишь на заре забылся.

— Кто велел вам приехать в самую страду? Почто кинули работу? — спросил Радюшин, не здороваясь.— Чтобы через час ноги твоей здесь не было.

Степушка едва разодрал глаза, ломило виски, и все случившееся вчера встало вдруг в таком постыдном свете, что жить не хотелось. Радюшин не смотрел на парня, стоял боком, словно бы остерегался глянуть прямо в глаза, и Степушку неприятно поразила крутая складка у рта, капризно оттянувшая губу, и полысевшие с затылка волосы, сейчас торчащие жалкими перьями.

— Не поеду,— равнодушно сказал он и отвернулся к стене, чтобы никого не видеть.

— Ехал бы ты, сынок,— подала голос мать.— Хоть бы от шлюхи этой отвязался. Да и то, Николай Степанович, пристала к парню хуже смолы. Для них нынче бога нету, дак им все положено. Чего хочу, то и ворочу.

— Заткнулась бы,— мрачно посоветовал Степушка.

— Скоро уж... Вот на кладбище понесешь, дак поплачешь.

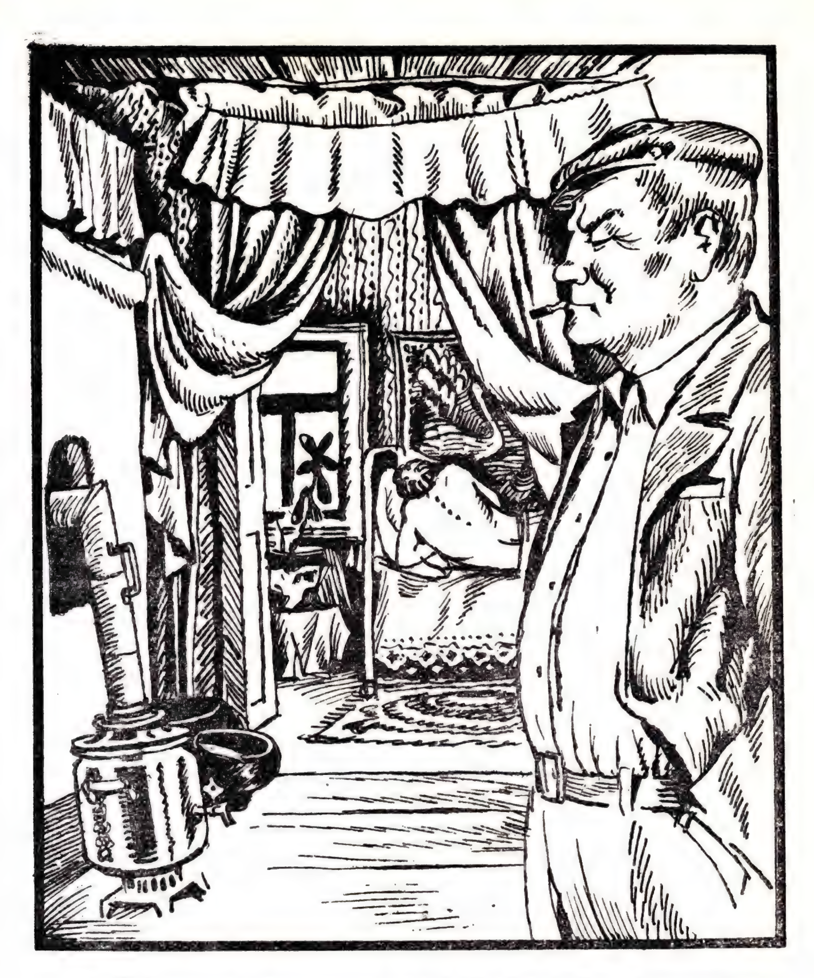
— Ни слезы не уроню.

— Ты как с матерью говоришь! — взвился Радюшин, налился кровью.

— А не твое собачье дело,— круто повернулся Степа, приподнялся на локте, словно бы только и дожидался этого угрозливого тона: лицо у парня серое, мятое, с черными подглазьями, борода свалялась клочьями.— В чужой избе раскомандовался. Может, учить меня будешь, как жить? Морали читать хорошо, наспавшись возле чужой жены... Иди-иди, не ешь глазами-то, не больно и боюсь, ваше благородие. Разговор помнишь? Теперь секи, день и час грядет...

— Сопля,— устало сказал Радюшин: он умел владеть собой.— А работать придется, или вон из деревни поганой метлой. Ты вот собачишься, сопля, сыкун несчастный, а я тебе ничего плохого не сделал, кроме добра.

— Ну-ну, посчитаемся давай,— Степушка опустил ноги на пол.



— Ты пошто с хресным так? Он же тебе за отца родного,— снова вмешалась Параскева, убоявшись драки.

— Да идите вы все к такой-то матери.— Степушка неожиданно потух, вновь отвернулся к стене, дожидаясь, когда туго прихлопнет дверь. «Ты ему не потакай, Параскева Осиповна,— слышался с крыльца голос Радюшина.— А я с него на правлении стружку сниму. Привыкли по шорстке чтоб. Нас раньше жали, мы сывороткой стали, зато мы все выстояли. А эти, как до дела — размазня: им бы только кулаки в ход пускать. Тут они герои». Неожиданно робко, наверное чуя свою вину, что-

то отвечала мать, да и после, когда ушел председатель, она долго шастала в сенцах и бунчала, не решаясь, однако, войти к сыну. В распахнутые уличные ворота широко вливался утренний малиновый свет распалившейся зари: день обещал быть добрым. Но Степушкина комната пока полнилась прохладными сумерками, и лишь сердечко в двери пыльно мерцало, розовое по кайме, и от него на пол отражалась четкая желтая тень. Снова вспомнился с жарким стыдом вчерашний вечер, могильный запах часовни, раскинутые на ветхом тряпье бесстыдные Милкины ноги, обгорелый Христос на кресте и истошный вопль матери, когда Степушка погнал ее прочь, матюкаясь... Да, как это Милка сказала? Неудобно, говорит, здесь любиться, дядя с креста на нас смотрит. А тут мать и примчалась, дура и надзирательница. Уехать надо, к чертовой матери, затеряться и чтобы никого возле. А возможно ли, чтоб сам по себе? Игра ведь все, трали-вали... Но что со мной творится, почему не живется, как всем. Видно, дыра сквозная на сердце, и вот все утекает через нее, утекает. Сам мучаюсь и людей извожу понапрасну...

Завтракать Степушка отказался и бесцельно вышел на деревню. Ему казалось, что вчера вечером, вернее посреди ночи, что-то внутри у него оборвалось, и он, Степушка, остановился перед неожиданной пропастью, за которой все призрачно и неведомо и лишено ясного смысла. Может быть, решиться и шагнуть, закрыв глаза и понадеявшись на удачу, а вдруг повезет, и все впереди, в будущей жизни не так уж и страшно? Неприкаянный, он остановился возле правления, всмотрелся в окна, полные зоревого свечения, словно бы точно знал, что хочет отыскать там. У коновязи сыто переминался председателевый выездной конь, бархатная нижняя губа презрительно отвисла. Не ведая отчего, Степушка замахнулся на лошадь, уже ненавидя ее всю — от оскала молодых, еще не стертых зубов, до короткого тугого хвоста, подбитого почти по самую репицу. Лошадь вздрогнула, мелко зауросила, задирая ладную горбатую голову, и заржала, дрожь волной прокатилась по впалому глянцевому боку и, казалось, застыла в глубине тревожно вспученного глаза.

— Я тебе сейчас поскалюсь, я тебя заставлю уважать человека,— тупо бормотал Степушка, какое-то внезапное безумье застлало глаза.

Он легко вскочил на лошадь, кожаное седло скри-

пуче просело, стремя послушно нашло ногу, удила впились и закровавили нежные загубья. Откуда взялась в руке палка, парень не помнил, но он, словно клещ, впился в коня и хлестал его по ухоженной шелковистой коже, и по атласным ноздрям, исходящим пеной, и по багровым яблокам глаз. Откуда зверь проснулся в человеке, из какой преисподней вскипела вдруг и пролилась безумная ярость, с каждой каплей которой темно пустела и морщинела душа,— но пряный запах конского пота, задышливый грудной хрип и корчи всего большого гнедого тела еще больше распаляли, вызывали в груди чувство злорадного сладкого восторга.

— Я тебя заставлю уважать!.. Ну как, сладко, зараза?

Шел по улице народ, удивлялся, любопытно останавливался поодаль, кто-то кликнул председателя.

— Я тебя заставлю уважать! — Степушка от крика надсадился, охрип, рука онемела в предплечье, и сонным холодным камнем опускалась в потемки душа.

Радюшин неторопливо появился на крыльце. С запада встречь солнцу, мягко погромыхивая, накатывался мрак; он клубился, зловеще ворочался, порой в его глуби, в самой сердцевине, высекались слепящие искры. Трава на пустыре почернела, поникла, с реки неожиданно подуло, на дороге завилась пыль, с обезглавленной колокольни снялось воронье и с криком полетело в тучу. Сумрачный стоял председатель, и, заметив его, кто-то крикнул из толпы:

— Степ-ка, дьявол такой, а ну слазь с лошади!

— Смиреной такой парничок был, и что случилось? — пересуживали бабы.— К Геласию-то, покойничку, ходил часто, дак, может, он какую порчу напустил. Сбесился ведь...

— У вас что, рук нет? — вскричал Радюшин, сейчас ненавидя всех.— Одного сыкуна не можете усмирить! Дикая Ку-че-ма.

— Поди возьми его, Николай Степанович, стопчет ведь, зараза,— мялись мужики, отводили глаза, когда Радюшин с надеждою отыскивал чье-то такое знакомое лицо.— Он ведь смотри какой, зараза, он же огнем взялся,— говорили со странным восхищением в голосе.

— А ну, хресник, побаловал — и слезай к чертовой матери,— тихо предложил Радюшин, но так напряженно, что этот полушепот различили далеко. В прорешку

зубов сунул папиросину и, жарко попыхивая, словно бы усмиряя себя, он безразлично, бочком двинул в обход лошади.— Одного не можете, эх вы... На вас с высокой горы, а вы терпите, щукоеды.

И когда лошадь оказалась боком к Радюшину, он коротко хукнул в прыжке и грузно упал на землю, успев, однако, стащить Степку за ногу. Опаленный старостью, грузный и задышливый, был председатель силен еще той последней силой, что дается человеку от природы и носит его по земле до самого края. Он жестко сломал парня, подмял под себя, зубы стиснулись, готовые выкрошиться, и кровь хлынула в голову, темная, злая, и все спеклось внутри от ярости. Радюшин совал парню кулаком под микитки и в рыло, куда доставала рука, но все выходило неловко, скользом, и потому председатель горячился еще больше и хмелел от живого, неукрощенного под его руками тела. Степка был сухой, но жилистый, свитый круто и гибко, он ящеркой уходил из-под потной сатанеющей мясной глыбы и сам норовил побольней достать Радюшина. Народ толпился возле, глазел, и никто не кинулся на помощь председателю.

И не скрутил ведь Радюшин парня: вывернулся тот, почуяв над собою большую силу и уже с темной тоской, переполнившей его, более страшной, чем недавнее безумье, бросился Степка к избе и в боковушке схватил со стены старенькое ружьишко, с которым еще в малые годы хаживал на рябцов. Мать, почувствовав неладное, поспешила следом. Сын ее, расхристанный, странно раскоряченный, бежал, словно на ходулях, зажимая под мышкой ружье. Толпа отхлынула, увидев Степку, и председатель, еще с незатихшей дрожью во всем громоздком теле, остался один в середине круга.

— Я научу уважать человека,— тупо повторял Степушка застрявшую фразу, взвел курок и вскинул ружье.

— Господи, он же убьет его,— вскричал кто-то обреченно и слезливо. Ствол качался, качались глаза Радюшина, в них сначала появилось беспокойство, потом черемуховую темень застлала мутная белесая пелена, крупные отечные веки дрогнули и расползлись.

— Брось ружье, собака...

— Боишься? — издевался Степка.— Я научу тебя уважать...

— Брось ружье, сыкун. Ты же тля, навоз.

— Я же сказал: день и час грядет...

И тут Василист подкрался сбоку, сдавил за шею, казалось, хрупнула она и голова отделилась от тела; теряя сознание, Степушка покорно свернулся на земле. Василист поднялся, отряхнул ладонью брючины, переломил ружье.

— Пус-тое,— сказал он разочарованно,— он нас пугать взялся.— Поясным ремнем связал Степке руки, кулем взвалил на плечи и поволок в правление. Голова на длинной шее отвисла, как у селезня, и полуоткрытые глаза, редко смаргивая, казались мертвыми и слепыми. Параскева шла следом, горбилась и поддерживала слипшуюся от пыли и крови сыновью голову.

В правлении Радюшин сразу навалился на телефон: корявый палец срывался, и не мог потому набраться нужный номер. Серый с лица, в извалянном костюме, с глубоким царапышем во всю щеку, обросшую грязной щетиной, председатель выглядел особенно усталым и старым: он часто встряхивался и прогибался в спине, словно у него разболелась печень.

— Нет, он у меня так не открутится. Это ему выйдет большим боком,— повторял он все глуше и глуше. Но линия была занята, и район не давали.— Пусть посидит в холодной, а завтра участковый прилетит.

— Его посадят? — обреченно спрашивала Параскева, потухшая и простоволосая, робко присевшая на краешек стула с высокой зеленой спинкой.

— А ты что, думаешь, на него любоваться будут? Он же вооруженную руку поднял. Это статья до пяти лет.— Радюшин пришел в себя, перед зеркалом слегка оббил костюм, наслюнявил лацканы, прежний багровый румянец выступил на обрюзглом лице.— Вот сыкун несчастный, чем же он мне щеку просадил. Ножом, что ли? На вид глиста, а вцепился, как клещ. Я его и так и эдак ломал. Он что, рехнулся?

Параскева вилась вокруг Радюшина, одергивала пиджак, а сама слушала, не сбрякнет ли в соседней комнатке, куда спрятали сына, не сгрохочет ли, не прошумит ли там. А вдруг умер, подумалось внезапно, и сердце обмерло. Ведь как пропащую скотину волокли, голова-то, словно у куры ощипанной, так и сбрякивала о Василистову спину. Тоже лешак, жандарм окаянный, силищу-то некуда девать, норовит задушить всякого. Его бы так, да чтоб из горла кишка вылезла. Дедка-то довел до безумья и Степку норовил затряхнуть.

— И неуж посадят, Николай Степанович, сохранитель наш? — в который раз повторяла.— Может, уж не живой. Все молчком, да молчком.

— Повесить мало,— буркнул Радюшин, но, однако, подошел к двери, прислушался и нервно закурил. Что-то в груди боролось, отмякало.

— Вы же хресный ему, заместо отца родного,— молила Параскева: ей было душно, и голова шумела от натока крови.— Он-то дурак, его и верно что прибить мало, собаку... Николай Степанович, спаситель вы наш, ну хотите, на колени встану, как перед господом богом. Один раз у смерти отмолила и неуж на другой раз от позора не отведу. Да лучше бы он погиб тогда... Вы что, идол, каменный человек, у вас ведь свои детки, и Степка мой хрестник вам... Хотите, на колени паду, он не по злобе на такое, он ведь добрый.

Радюшин стоял у окна, безразлично смотрел на волю: первые тяжелые капли наискось, гулко ударили в стекло и разбились, а там, за рекой, уже секло наотмашь, шел по лугам ливень, и вот река закипела, скрылась за серыми холстами, и тут с оттягом, с прихлестом ударило в стену. Все соединилось в мире, все очищалось и пробуждалось, и душа человечья, до того угнетенная под засохшей кожуриной и пребывавшая в молчанье, хоть ненадолго, но воспрянула, затомилась, рожденная для жалости и состраданья, и каждое слово, кинутое Параскевой, сейчас находило отклик.

«Может, простить? — смутно подумалось.— Пусть уматывает из деревни ко всем чертям».

Сзади с грохотом повалился стул, Радюшин испуганно, с болезненно напряженным сердцем обернулся и увидел Параскеву, стоящую на коленях...

1977 г.

КРЫЛАТАЯ СЕРАФИМА

ИЗ ХРОНИКИ ПОМОРСКОЙ ДЕРЕВНИ

Светлой памяти
Раисы Ивановны Журавлевой

Кто даст судию между мною и тобою...

Аввакум

Вчера в Вазицу пришло известие, что Хрисанф Малыгин умер. Наверное, всего с неделю назад хвалился он своею силой, пробовал гнуть сажную кочергу, а вывозившись в копоти, угрюмо оглядывал тщедушную супругу и с какой-то злой, настырной настойчивостью грозил, дескать, брошу тебя ко всем чертям, понеси тя леший да без возврату, надоело с тобой из одной миски щи хлебать, а возьму-ка я к себе в затулье бабу посвежей, с пуховой периной, благо старый конь борозды не портит. Говорил невнятно, не стыдясь гостей, словно бы кашу жевал, и темно мерцал закровяневшими глазами. Но супруга его, крылатая Серафима, лишь похохатывала, зажимая в себе слезу, и потирала сухонькие ладошки.

И вот с нарочным пришло известие, что умер Хрисанф Малыгин, по прозвищу Крень, кончился хлопотно и неловко для близких людей, хотя еще с неделю назад уверял всех, что у него два сердца и оба каменных.

Но представить трудно, что повалился в домовину под глухую крышу, словно бы для жизни бесконечной был назначен он: постоянно думалось при взгляде на мосластое неуклюжее тело, что никогда не иссякнет в

нем неутомимая ходовая сила, не просохнет вечно хмельная и забубенная его душа, которой все трын-трава. А если подумать, то грозно все случилось, смешно и грозно, ибо из дому-то, как передавали, отправился Хрисанф в полной силе, думая порыбачить, достать свежины, и внучку за собой потянул. Так и видится, как лежал он в шалаше, подстерегая крайний сумрак, когда все в природе войдет в сонное оцепенение, изредка лениво, но жадно отхлебывая из бутылки, напряженно запрокидывая голову, и после что-то бормотал путано, словно бы кашу жевал, а внучка, свернувшись на травяной перине, проглядывала вторые сны, доверчивою щекою слыша и утреннюю свежесть реки, и зябкий шелест осинника, и невнятную дедову гугню. А сеть уже проверена, сапоги растянуты до рассох: негнучие, литые, они упираются в паха и все напоминают о близком заделье: вот-вот грянет самое время крадучись сунуться на кряжистый галечный берег, выпихнуть из кустов надувную резиновую лодку и заглубить снасть так ли хитро, чтобы и самому ловкому дозору не попасться. И, приканчивая бутылку, как бы закругляя одинокую трапезу, еще раз взболтнул остатки, ловчее запрокинул голову, натягивая морщинистую шею и упираясь локтем в травяной бугор,— и тут, наверное, просверлило мужика электрической искрой от темечка до мозолистой пятки, ожгло внезапной и оттого страшной болью, скрутило каждую телесную жилу — и, захлебнувшись, разом споткнулось и умолкло сердце.

А внучка, когда все загудело на воле от птиц и мохнатых медуниц, отмякла ожидающей душой (ждала зова деда, дескать, собирайся, внуча, на промысел, сейчас в самый раз сеточку кинем) и особенно крепко уснула, и в этом беспамятстве, отыскивая нахолодевшим телом покатый солнечный луч, почти вывалилась из шалаша под утреннее голубое сиянье, и тогда, наверное, в самую телесную глубь проникло солнце, душно нагрело кровь, ослепило, и девчонка проснулась, пока сонно завозилась на коленках, пытаясь уползти в тенистый сумрак шалаша и снова желанно уснуть. И тут она наткнулась на деда: он отчего-то неряшливо лежал на охапке травы, и странно — от него не тянуло махорным чадом, рыбой и костровой горечью. Он теперь не пахнул ничем, казался стылым и чужим.

И Аннушка, отчаявшись растолкать деда и наревев-

шись до дурноты, уже в полдень почуяла запах тлена, а испугавшись его, столкнула резиновую лодочку, пытаясь пробраться через протоку: да разве совладать с Курьей девятилетней малосилой девчонке, когда и взрослому-то мужику за великий труд дотянуться на гребях до родимого берега. Сколько-то, знать, помесила Анка крохотным веселком кофейной гущины прибылую воду, да разве столовой ложкой много почерпаешь, далеко ли подашься без сноровки, а после от горя и солнца быстро уморилась, отчаялась, сдалась крутой водяной силе, а там и охотно повлекло ее, потянуло из протоки прочь на речную крутую стрежь, стремительно опадающую к морю. Хорошо еще, ветра не случилось, хорошо, не затянуло на песчаную кошку иль каменистую коргу под берегом и не повернуло в кипящую витую струю: только ярая сила может выстоять против северной реки, полной горячего и страстного движения к морю. Значит, не судьба Аннушке тонуть в малых летах.

Рассказывают, уже под Березовым мысом подобрали ее случайные рыбаки и вернули к матери и бабе Серафиме, и, когда приехали из Слободы за Хрисанфом, надо лбом в сивой кудре уже червь загнездился и дурно пахло от мужика.

...Ну, случилось, пропал знакомый человек, но мало ли кончается, уходит близких людей в мир иной, с каждым днем пустеет вокруг меня обжитое пространство; но почему эта, в общем-то посторонняя смерть так всколыхнула и заворожила?

«Он мучил ее, она мучила его, и мучили они друг друга».

Как-то там крылатая Серафима? Сколько раз, словно бы махнув на все и закаменев, проклинала она Хрисанфа: «Хоть бы сдохнуть тебе, паразит», и в страхе изумленно отпрядывала, точно ожидала смертного мужнего удара, сжималась вся в трепещущий комок, упрятывала голову в плечи, а не дождавшись страшного боя, тут же пугалась своей жестокости и саму себя казнила: «Типун мне на язык, как я могла такое сказать». Но Хрисанф это проклятие воспринимал молча, он словно бы не слышал его и только угрюмо бычился, пряча в столешню странно вспыхивающий взгляд.

Где-то там крылатая Серафима? Тычется, поди, в осиротевшие, полные тьмы углы, настораживается, косо задирая голову и слушая избу, не раздастся ли откуда

знакомый голос. Хорошо, если дочь Настасья подле, затянула свой отпуск, и нынче помогает матери обживаться и привыкать уже к новой одинокой жизни.

Неужели от этого известия вновь всколыхнулась и полонила меня такая тоска, от которой вроде бы заледенело сердце, и все, к чему обращается ныне мой взгляд, оказывается тусклым, безликим, окрашенным в горестные тона? Видно, тоска, беда, радость, милость, гнев имеют и несут в себе ту энергию, которая превращает эти чувствования в конкретное, осязаемое, до чего, кажется, можно прикоснуться, измерить плотность, твердость и глубину. Порой, оказывается, тоску возможно видеть глазом, она имеет серый, нет, скорее мышиный цвет, запах душновато-горький, она похожа на легкий туманец, обволакивающий все, что тебя окружает в это мгновение.

И беда, наверное, тоже носит свой запах, цвет и прочие характерные свойства. Иначе отчего бы животное, до сих пор доверяющее хозяину, с таким испугом забивается от него в дальний угол хлева, когда скотину пускают под нож? Иль у беды есть общее природное обозначение, еще неизвестное нам, и она может свободно перетекать от одного существа к другому, а от человека к животному?

Порою, говорят, скотина понимает слова. Она, наверное, понимает не слово, а чувство, которое накоплено в звуке и в природе одинаково для всех живых существ... Когда кабанчика выпускают на выгул, он кидается из хлева с визгом, с безумной жаждой свободы и, как угорелый, еще долго мечется по двору, унимая распаленную душу. Но вот его тянут под нож: голос хозяина печально-умильный и виноватый, взгляд несколько растерян, скользящий и дробный, он обращен в сторону и вдаль, где выше головы вздымаются гривы лесов и курятся над избами редкие сивые дымы. Хлевные ворота раздергивают со скрипом, и хотя кабанчик еще не видит ножа, матового по лезвию и сизого в сливе, где скоро запечется кровь, но по той атмосфере неловкости и тоски, которая разливается в это мгновение будто бы во всем мире и заполняет его, животина уже чувствует и предугадывает свою гибель, она полна этой смертью заранее, для нее весь воздух за воротами заполнен прахом и тоской, и потому, убегая от нее, скотина прячется в темь, в дальний отсыревший угол, где бревна успели покрыться

каракулем куржака, и затравленно смотрит на приближающегося человека, пахнущего смертным тленом. Значит, от человека в эти мгновения исходит дух смерти?

А Хрисанф последнее время часто хвалился, что у него два сердца и оба каменных, что на гору вздымается бегом и хоть бы какая тебе одышка. Говорят, торопились в домовину положить и не побрили даже: челюсть у старика отвисла, так подвязали белым в горошек платком, а щетина оказалась жесткой, как проволока, платок проросла сквозь. Народу хоронило мало, только что близкие Серафимы да дочь Настя, а прочие дети, что на стороне жили, не поспели ко гробу, ибо так неожиданно все приключилось.

От герани душно пахнет приторной карамелью, пахнет печально и сладко. Герани по всему широкому подоконью в два ряда. Жена наставила, чтобы этим карамельным туманцем усыпить меня и после приворожить и переменить. А мне печально и тошно, хочется смести глиняные горшки за окно, тогда и гераням станет вольно: они разбредутся по всему палисаднику, тайно проберутся за штакетник на улицу, в зыбучие пески, к подножию леса и голубенького кладбища, и тогда Вазица станет кумачовой и сладкой: все мирно уснет в ней, успокоится и будет одинаково для всех.

Глаза устали от потолка, оклеенного картоном и на два раза покрытого «слоновой костью»: худой потолок, ни одного лица не проступит, ни одного призрака, не на чем задержать взгляд. Затаенно попробовал подняться с койки, но пружины подвели, предательски простонали, и сразу из-за бархатной потертой шторы спросила Она: «Тимоша, ты спишь?» — «Сплю»,— откликнулся сухо и опустил ноги на прохладный пол.

Широкий подоконник светился буйно, горел багровым огнем, цвела герань, своим духом гоня из дому всякую нечисть и желанья. Лист у герани мясистый, с персиковым пушком на солнечной стороне и словно хорошо выделенная кунья шкура — с теневой. «Осторожно, цветы не срони!» — испуганно донеслось из горенки. «Обязательно сроню»,— прошептал мстительно, однако осторожно составил горшки на пол, накрыл газетами, давая обещание завтра же выкинуть в мусорную яму, отворил

окно. Последняя июльская ночь жила на воле, небо латунно-желтое, с редкими кровяными прожилками (завтра обещался день быть хорошим); море студенисто-набухшее, угревшееся, оно мирно лежало в берегах, и постоянный накатный гул затаился, ушел в соленые глуби набирать новую силу. На штакетине нахохлилась чайка, видны ее змеиный глаз, восковое, ладно скроенное крыло и темная манишка. Сидит, как нотариус, в ожидании. Когда всхлипнуло окно, птица испуганно ворохнулась, набухла пером и тут же осела, а в мутном змеином глазу — ничего, кроме отвращения и безразличия. Светлое серебристое пространство, словно бы слегка посыпанное пылью, колыхалось за окном, и чайка стерегла его.

Собственно, почему я здесь, а не там, в Слободе, в разоренной печальной комнате с запахом тлена? Настасья небось не спит, сидит на улице на березовом пне, сохраненном у самой двери; волглый воздух обволакивает Настю, ей зябко, и она кутается в черную пуховую накидку... Сколько сейчас слов во мне, от них тесно и маетно. Мне печально от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе. Словно бы зачеркнулось разом все случившееся, как сновидение, внезапно и светло. Да господи, не придумка ли моя больная, не сон ли полубезумный, когда человеку так хочется полюбить, что ночные его видения полны живых картин... Но ведь, собственно, ничего и не было, такой характерный факт, но такое ощущение во мне, что все случилось до той самой полной глубины, в которую окунаются лишь двое взаимно любящих. А впрочем, что было? Да ничего, кроме взглядов и утомительных, вроде посторонних слов; но в памяти остались все твои движения, поворот головы, властно-нетерпеливый жест руки и незатухающий печальный свет в глазах, и тот внезапный поцелуй, ожегший руку мою, и мне уже верится, что я знаю тебя давно, может, с самого рожденья.

Порой у меня кружится голова, и мне кажется, что я чувствую время прошлое, настоящее и будущее, словно бы уже знаю, как жить буду и как доживу назначенное мне... Может, от гераней так душно, обволокло всего, что даже стопорит сердце. Кто застонал, откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал?

Бархатная штора откачнулась, голос чей-то позвал, но, видно, так напряжен был я, что дрожь испуга прони-

зала всего, и больно толкнулось сердце. Она — супруга — стояла на пороге в сером, словно бы деревянном халате, рукою капризно и вызывающе держалась за ободверину, силясь стоять ровно, не косоплечиться, но правая короткая нога напрягалась, натягивалась в икре, и пальцы цепенели в натуге. «Ты сегодня ляжешь спать? — сухо спросила Она, подозрительно осматриваясь.— Что ты бродишь, как нечистая сила?»

Хотелось ее оборвать, наорать, но взгляду бросилась оцепеневшая короткая нога, худая в икре, и стало жалко жену. «Иди спи. Надзиратель, что ли...» — постарался сказать мягче, но получилось через такую натугу, словно бы каждое слово добывал из себя. А Она не уходила, уже уловила в муже новизну; в последние дни, вернувшись из Слободы, он преобразился, как меняются влюбленные: что-то осветилось в человеке, он окрылился, порывист и подвижен, ему не спится, и смутная улыбка часто вспыхивает на лице, не предназначенная Ей. Стылость ослабла в глазах, и проявился в них талый коричневый блеск. И Она, ревниво тесня в себе обиду, еще раз оглядела Его и нашла новым и почти интересным. Даже прическа иная: зачем-то каждый вечер перед сном мочил волосы, обычно распадавшиеся на две волны, и обтягивал носовым клетчатым платком, связывая его надо лбом. Сегодня Он без клетчатого платка, вороной волос плотно уложен слегка набок, волнисто подобран на висках, а над толстой губой наметились рыжеватые стрельчатые усы...

«Ну чего глядишь, не видала?» — отвернулся к окну, высунулся по плечи, слышал затылком, как потерянно топталась Она на пороге. «Ну иди же, иди»,— повторил с тоскою, но и радости особой и душевного освобождения не почувствовал, когда услышал, как удаляется Она, будто крадучись, а после долго шебуршит крахмальными простынями, зарывается в высокие пуховые перины, доставшиеся от матери в приданое. И, снова оглядев себя как бы со стороны, невысоконького и костлявого, по самые плечи вывалившегося в светлое ночное окно, я снова удивился странному своему присутствию в этом доме: словно бы не сам и ставил его, надрываясь до тупой боли в пояснице, словно бы не я собирал по берегу плавник, а после на лодке тянул под деревню и выкатывал по слегам в штабель, чтобы продуло лес морским ветром, пообвялило; вроде и не я обхаживал каждое бревно топором и рубанком, кантуя его до стеклянной гладкости, чтобы

дольше стояло, чтобы не брал его ни дождь, ни грибок, ни усталость, точно намеревался жить здесь вечно и род свой выпестовать. Может, так и думалось в душе-то, но не так случилось. И сейчас лишь гостем понимал себя в этой избе, человеком, случайно сюда забредшим середка ночи в поисках приюта. А ведь как радовался, когда окладное осилил: под каждый стояк, заботливо осмоленный, кидал по гривеннику на счастье, после и косушку разбил об угол, суля кораблю долгое плаванье (но об тот ли? — вот сомнение), и с соседом распили бутылку. И жена возле суетилась, что-то поддакивала, сияла плоским лицом, играла соболиными бровями, какие-то закуски подавала: и не то чтобы милее иль красивее была она тогда, но казалась необходимой и единственной, с которой смиряются и привыкают часто до самой гробовой доски, и под самый закат почти влюбляются, так далеко заходит эта странная игра; будто побаиваются, а вдруг придется встретиться и Там, где жить вместе в бесконечной сваре и злобе — грешно и страшно.

Когда рубили дом, во мне все будто заснуло, затвердело к жене — так я дьявольски уставал. Но ранее, помню, сразу после свадьбы жило лишь недоумение во мне, казалось наваждением общее наше житье. Я страдал от каждого ее движения, ибо все виделось лживым, рассчитанным на жалость, и она добивалась своего: вина моя чудилась безмерной, и мне хотелось утешить жену, только чтобы не видеть ее несчастной. Я сам себя наказал и потому безвольно замкнулся в своем мире, исподтишка, подозрительно наблюдая за женой и постоянно растравляя себя: и теперь мне все казалось нарочитым в жене — и ее наигранные жесты, ее плаксивый голос, вымаливающий тепла к себе, игра лица и пепельных навыкате глаз, когда она хотела понравиться и возбудить чувство, манеры, движения рано оплывшего тела, ждущего ласки, ее бородавка над тонкими губами, которую она ядовито красила, находя это красивым, и вопрошающий распахнутый взгляд, в котором читалось постоянное недоумение обиды, и ее жидкие стального цвета волосенки, ее привычка прилюдно целовать меня и теребить волосы, намекая тем самым на свою власть надо мною. Казалось странным, что мы жили под одной крышей, делили постылое ложе, о чем-то изредка говорили, порой обсуждая и осуждая знакомых, планировали жизнь свою в будущих годах, даже порой какие-то

симпатии будили друг в друге, и тогда любили холодно и нетерпеливо, словно бы боясь и брезгуя прикоснуться друг к другу, сразу же отворачивались и засыпали под одним вроде бы одеялом, но такие чужие, более далекие, чем при первом случайном знакомстве. Какая-то скользкая игра чувств соединила нас, опутала: но ведь во мне ничего не жило к ней, кроме жалости.

Так случилось, что «мы мучили друг друга».

...В Чижу я тогда попал случайно: собирали песни. Домок, где мы заселились, оказался крохотным, в три окна, для Севера странным своей худобой и ветхостью, когда девять месяцев ветры с моря несут слякотные пронизывающие холода. Крыша сползла набок, позеленела, в желобах проросла ива, и семейно жили воробьи. Нам-то что, не великий и страх в августовскую пору прокоротать дней десять, а после обратно в город, где я доучивался; но каково-то им живется — хозяйке подворья, высокой старухе с седыми бровями, и ее дочери. Из жалости шубу, конечно, не сошьешь, от нее ни тепло, ни холодно, но как потушить ее, если она необоримо гнездится в душе? Но тогда, помнится, нас сразу поразила ее дочь. Старуха жила в кухне возле печи, а мы, пятеро мужиков, расположились табором в горенке с уродливо разбухшими до пузырей ржавыми обоями (видно, стены отсырели), комодом в переднем простенке с двенадцатью слониками на вырезной салфетке и высокой кроватью с медными шарами. Мы вольно раскинулись на полу, и в первый же вечер, еще не успели уснуть, как вошла девица, влезла на высокую постель из трех пуховых перин и стала раздеваться. Нас поразило, как она медленно, с каким-то вызовом раздевалась, окрикнув не столько для строгости и предупреждения, а сколько напоминая о себе, дескать, я обнажаюсь, я вся тут перед вами.

Сидя на кровати, она медленно скидывала комбинашку и лифчик, при этом груди ее зыбко зависали, голубея в подмышках, и шея, в сумерках вовсе молодая, доверчиво дожидалась ласкового прикосновения, но все молчали, покряхтывали, отворачивали невольно глаза, однако взглядывая порой и на опущенную грудь, и на плоские, близко сомкнутые лопатки с глубоким желобком по спине, и всем стеснительно было не только сказать что-то иль предупредить девицу, хозяйку этой горенки, о своем присутствии, но даже и вздохнуть глубоко. А она с какой-то нарочитой беспомощностью и

откровенностью затем медленно надевала ночную рубашку и укладывалась спать, подтыкая под бока одеяло, чтобы не дуло, и выпрастывая поверх обнаженные руки. И все это повторялось изо дня в день, пока жили мы, утром и вечером, и всем казалось неловким кашлянуть тогда иль напомнить о себе, дескать, голубушка, поимей совесть, веди себя поскрытнее, что ли; но никто ничего так и не сказал, до того в смешное и глупое положение она всех нас ставила. Меж собой мы жалели девицу, нам казалась она одинокой и неприспособленной к жизни на морском тундровом берегу: все думалось, вот умри мать, осироти дочь свою, и тогда ей, несчастной, не добыть и куска хлеба, на пропитанье, она так и застынет на стуле возле окна, зябко кутаясь в меховую душегрею и сжимая на шее закоченевшие пальцы.

...Судьба вела меня за руку, иль рок какой руководил мною в тот год, иль семьи мучительно хотелось, крова своего и женской непотайной ласки, но только зимою, месяца четыре спустя, я снова навестил ту деревеньку на канском побережье; избы, помнится, утонули в снежных забоях, под низким закоченевшим небом тундра чудилась вымершей, и лишь черные сажные вытайки вокруг труб да редкие глубоко натоптанные тропинки выдавали здешнюю жизнь. Словно бы в пещеру спустился я по вырубленным в снегу плотным ступеням, с трудом открыл намерзшую дверь и после уличных сумерек, из гнетущего тундрового пространства, с тропинки, едва намеченной меж домами, попал вдруг в желанное избяное тепло, и крохотная кухонька показалась радостной и залитой светом. И хозяйка была прежней, вроде бы не постаревшей, с прямой, чуть прогнутой назад гвардейской спиной; откровенно удивившись, она помогла даже снять настывший полушубок и этим окончательно расположила к своему житью. «Ну и занесло вас, по самую макушку закидало»,— помнится, сказал я тогда, и хозяйка с седыми вепревыми бровями ответила мне сразу, не мешкая: «Да не успеваем отгребаться. Утром-то в магазин надо, а тропины нет, начисто заметет, так я сначала кошку за дверь выкину, они, заразы, хорошо чуют дорогу, а по ее следам и сама торюсь».

Наверное, заслышав сторонний голос, из горенки появилась дочь и тоже почудилась иной: была девица в атласной бордовой кофте с черными кружевами и длинной, до пят, зеленой бархатной юбке; волосы гладко

прибраны на обе стороны, и на макушке подколота кренделем накладная коса; пепельные глаза подведены слегка, и от голубых теней взгляд ее стал глубоким и теплым, и все лицо утеряло вдруг прежнюю щучью озабоченность. Видно, я не скрыл своего радостного удивления, и она еще более осветилась, гордо, почти не прихрамывая, бочком опустилась на табурет, готовно подставленный матерью, и, с каким-то вызовом откинув голову, властно оглядела меня всего. «Тимофей Ильич, вы что, с неба?» — помнится, спросила она тогда, и я, сбитый с толку ее видом, растерянно ответил: «Да вроде ангела, такой характерный факт».

Мы замолчали. Мать поднесла миску квашеной капусты с моченой брусникой и по стопке водки на привальное, мы согласно выпили, но девица, не закусив, вдруг объявила, что ей пора на спевку в клуб, там ее ждут, и выскочила из-за стола, бархатную зеленую юбку высоко подвязала, чтобы не мела по снегу, а после накрылась овчинной шубой и пошла к порогу, не приглашая меня. Тот весь день, длинный и пьяный от перелетов, от муторного движения, от одинокости моей на краю земли, от зимней стужи, обманчиво закружил меня и окрутил. Сейчас лишь, через шесть лет совместного житья, я спрашиваю себя, зачем же я потянулся тогда следом за Ней, отчего не остался в теплом жилье на кухне возле старухи с седыми вепревыми бровями, за неторопливой беседой; какой же леший потянул меня на темную волю, под мглистое небо, сплошь затянутое снежной наволочью, готовой обвалиться затяжной метелью... Но я тогда выскочил торопливо следом, еще дверь не успела захлопнуться за Нею: девица оскользнулась на снежной ступеньке, и я подхватил за локоть, стараясь помочь хроменькой и жалея вдруг, снова крохотную и неуклюжую в этой чугунной темени. Собаки выли, сварливо грызлись возле домов, глубоко в снежных провалах теплели окна, и свет, как из колодца, едва пробивался на бровки сугробов. Девица, словно бы имея на то законное право, властно подхватила меня и так не отпускала до самого клуба, нарочно тесня с дороги: знать, стопка хмельного разогрела ее, растопила, и она, забываясь, часто и нервно приникала ко мне и нахолодевшую ладонь глубоко совала в мой карман. Сначала я отбояривался, досадуя тайно и смущаясь, а после, наверное, боясь обидеть, уже не оттолкнул ее гладкие пальцы и отчего-то зажал в своей

руке. «Ну и влип,— усмехнулся над собою и своим глупым положением.— А она-то хороша, нахалка, оказалась, такой характерный факт. Изнасиловать мужика готова».

В клубе, чтобы голос не гарчал и согласно лился, чтобы духу хватило поднять песню, спевщицы в закутке за сценой еще разделили бутылку (благо мужья не видят) и, кинув на стул верхние одежды, долго, до поту топали и плясали народное, пели высоко, с протягом, и Она, дочь хозяйки моей, особенно выделялась среди баб частой поступочкой, столь неожиданной при ее хромоте, и игрой широких соболиных бровей, и тенористым свободным голосом, и властностью повадок, когда вела в кадрили своих, не первой молодости, товарок. Да господи, она ли это была, приниженная всегда и худосочная, с щучьим напряженным лицом, которую мы знали в прошлый раз и так жалели меж собою?

Обратно мы возвращались перед полуночью, неторопливо путались в забоях. Бабы еще не остыли от песен, тонкий грустный разбег еще волновался в распетой жаркой груди, и сейчас было чего-то непонятно жаль и чего-то хотелось непонятно и странно; они еще пробовали затянуть хороводную, а после засмеялись, перекинулись на частушки, да столь соленые и откровенные! А когда отделились мы перед своей домушкой, они закричали вслед нам нахально: «Тимофей Ильич, ты парень холостой, зря себя старишь, да детей малишь. Ты не робей, пуще берись, вот и споетесь: доколь девке зря киснуть?»

Хозяйка уже спала на печи, и мы стесненно вдруг притихли. Девица закружилась по кухоньке, достала недопитую бутылку, и, когда разливала остатки по граненым стаканам, рука ее мелко дрожала. «Слушай, чего нам лизаться, а? — вдруг сказала Она, словно бы намекая на что-то иное.— Чего нам лизаться, не дети же мы малые». И выпила лихо, залпом, и утерлась рукавом. После с укоризною подвинула ко мне стакан, и я, перемогая неохоту и нехорошее предчувствие, как перед покойником, закрыл глаза и выпил водку неотрывно; и все сразу облегчилось, загорелось, прояснилось, воспаленный свет лампы вроде бы встряхнулся, и грудь моя задышала вольнее, и Она в этой атласной бордовой кофточке с черной кружевной отделкой показалась мне милой. Какой черт поманил меня тогда? Какой же отравы иль присухи тайно всыпала Она в мой стакан? Какого приворотного зелья намешала в хмель? Я выхлебнул из

этого стакана знакомое будто питье и, закусив квашеным капустным листом, внезапно услышал себя влюбленным. Ну, а после случилось все согласно чужой воле, точно потерялся я, и две пуховые перины приняли меня готовно.

Помнится, проснулся я тогда рано и с неизбывной тоскою долго маялся, вроде бы помереть мне сей же миг, искоса глядел на тусклый ее профиль, на заспанный тупенький носик и рыжую бородавку над верхней губой, и так мне стало тошно, что готов был я разрыдаться. Отчего, какая такая смута незванно полонила меня, и я, растравленный совестью и жалостью, долго себя мытарил и казнил. Но почему тогда же не сбежал от греха, кто знает: словно бы хотелось испытать себе уготованное. А помаявшись до утра, вдруг на все махнул рукою и решил, что Она даже вовсе и не дурна, а от любви моей и вовсе захорошеет, да и ежели по совести судить, то и я не красавец, носат и губаст, лешачьего лика — так что самая, выходит, пара.

Утром Она объявила матери, что мы поженились, а я не возразил, и старуха сразу развернулась широко, добыла спирту, наварила студня, нажарила свежих наваг, нашелся оковалок застывшего сала — вот и застолье. Другим вечером свадьба отыгралась скорая, пьяная, молчаливая: мужики темно налились спиртом и пали, где сон блаженный застал, а мы, помнится, возлегли в горенке на высоко взбитые пуховые перины, душно пахнущие, и глубоко утонули в простынях. И тогда вновь что-то грустно и больно надорвалось во мне: то, знать, навестило впервые предчувствие. А через полгода, наверное, после свадьбы, молчаливо миновав родных в Городе, уехали мы в Вазицу; жена скоро налилась телом, и плечи покато отекли. Теперь уже постоянно Она мостила над жидкими русыми волосенками толстую чужую косу, сплетая кренделем, отчего голова в затылке становилась до безобразия плоской.

Дети бы пошли, так, может быть, и уладилась бы наша общая жизнь: но тут словно бы засохли оба на корню, и бесплодная любовь наша стала мукою и долгим грехом оттого, что так неловко и дурно сошлись. Говорят, любое умирание слышится издалека: сначала словно бы легкий, едва уловимый ветерок касается твоей души, и она внезапно начинает ныть и томиться. Печально вспомнить, но еще в брачную ночь, глядя на ее запрокинутое,

припухшее от страсти лицо с влажными прорезями глаз меж сомкнутыми веками, я вдруг отчужденно оглядел жену и подумал, что скоро разведусь с нею. Я тогда испугался этого впечатления и постарался забыть его, но то предчувствие, лишь однажды навестившее меня, стало после неотвязным, а любовное ложе закоченело. Жене бы знать ту давнюю мою мысль, и она бы прокляла меня, как смуту и зло, чтобы тут же изгнать от себя и излечиться от напрасных мечтаний. Она же постоянно видела причину лишь в себе, в своей невзрачности. И потому покорно мирилась со своим существованием, старалась понравиться, строила смешные, до отвращения смешные уловки, чтобы своею страстью всколыхнуть меня, а ей бы в самую пору давно возненавидеть меня и хоть этим-то облегчить свою жизнь. Боже мой, какую каторгу уготовил я нам обоим. «Я мучил ее — она мучила меня».

...Помнится, как странно был возбужден в последние дни Хрисанф Малыгин, как при живой-то супруге часто и мрачно толковал о сожительнице, чтобы досадить, наверное. Как он умирал? Что почувствовал, когда набухло и лопнуло его сердце: стыд, раскаяние, страх?

Рассказывали мне, будто один лейтенант на фронте чувствовал приближение смерти. Не своей смерти — чужой. Будто бы лицо еще живого человека перед боем наполняется благостью, оно худеет, как бы утанчивается, и в глазах появляется постороннее отсутствующее выражение, словно бы человек еще среди прочих, но и нет его в это мгновение, он уже вознесся куда-то, его уже нет на миру. И действительно, солдат шел в бой и погибал, но он погибал еще в своих окопах, будучи живым, знать, предчувствие подрывало волю, подтачивало способность легко управлять собою. Лейтенанту после страшно стало своего предвидения, жуткого узнавания, и он боялся перед боем смотреть товарищам в глаза... Однажды нарушилась связь, но свободного телефониста не оказалось, и собрался идти на поиски обрыва командир взвода. Стояло затишье, ничто не предвещало беды, но, прежде чем покинуть блиндаж, командир взвода зачем-то наново перемотал портянки, словно бы оттягивая время, и, когда он поднял глаза, слегка покрасневшие от напряжения, в его взгляде лейтенант поймал то благостное состоянье примирения, так знакомое ранее, и ему внезапно подумалось, что видит друга в последний раз. Он пытался прогнать это чувство — и не мог. Друг, рас-

сеянно оглядел блиндаж, скрылся во ржи, но его долго не было, и связь молчала, и тогда лейтенант пошел следом и отыскал друга уже остывшего. Надо же было тому случиться, чтобы шальная пуля, выпущенная врагом в огромном пространстве, нашла именно этого человека, полностью сокрытого хлебами, и ударила его под мышку.

Удивительно, но, оказывается, в человеке, идущем к смерти, возникает непреодолимое упрямство, и ничто его тогда не может поколебать: ни уговоры, ни мольбы, ни угрозы, словно в это мгновение смертное влечение вспыхивает в обреченном, подобно пламени, сожигающему душу и плоть, и вся она необыкновенно собрана и слепо нацелена на одно...

Сумерки сонно колыхнулись, и на смородиновом листе робко засветилась росная влага. Море едва переливалось, и окраек его, видимый из моего окна, походил сейчас на потный лошадиный бок. Еще раз колыхнулись сумерки, и серебристую пыль туманно и легко разбавило луковым настоем: где-то, словно бы в чреве земли, встрепенулось солнце и натужно полезло из лона, и там, где головенка его наметилась, где лысому темечку быть — розово потекло. И тут же, словно бы досмотрев полуночный длинный сон и зачиная новый, плеснулась в постелях жена, всхлипнула чему-то и распахнулась. Меж бархатных потертых занавесей словно поднятое белыми зыбкими воздухами виделось ее разомлелое тело и гордо раздвоившиеся груди. Наверное, и во сне Она желала любви, а может, и томилась ею сейчас, лишь в забытьи и счастливая; видно, кто-то иной, явившись в сон, обласкивал нетерпеливо и жадно, и она покорно отдавалась, согласно делилась с ним страстью и постелью. Так подумалось, и хоть бы случайно всколыхнулось от желания иль ревности сердце, будто в чужом окне ненароком и холодно подсмотрел за открытым недоступным телом.

И снова кто-то застонал, длинно, по-щенячьи. И неуж я?

За ближними избами на мостках просочились неохотные шаги и, точно от их мерного сотрясения, оторвался пуповинкою туго скрученный черемуховый лист: он рано отжил, выпитый гусенкой, и сейчас шумно и тревожно упал на край подоконья. Кромка у листа мохнатая, до прозрачности выеденная, мертвые впалые сосуды бескровны. Мерные шаги раздались возле за углом, и лист,

словно бы и в смерти кем гонимый, пропал в поседевшей траве.

Мишка Крень по своему обыкновению шел к морю. Лицо чугунно-синее, напряженное, покрытое неряшливой седой шерстью, с подпалом рыжим в подусьях, взгляд устремлен в глубь себя, и ничто иное не в силах привлечь его внимания: синие милицейские галифе осыпались понизу до самых щиколоток, тоже чугунно-синих, и босые ороговевшие ноги копытами били в мостки, когда-то белая рубаха, изъеденная сажей и потом, свободно полоскалась на безмясом теле. Окрикни сейчас старика, позови, он не отзовется на ваше доброе слово, разве лишь немо и тупо поглядит на вас, оставаясь словно бы во сне. Песчаной гривкой Крень спустился к морю, грузно проседая в плывучих наносах, едва прикрытых вялой шелковистой травкой, и устало опустился на китовый позвонок, заморщиневший и бурый от непогоды.

Из какой же расщелинки на могучем Креневом дереве вдруг пробился этот корявый отросток и, не засыхая вовсе, но и не расцветая желанно, упрямо тянется в небо; отвалиться бы ему вроде пора, смешаться с прахом, а он, однако, неистребимо держится на миру, словно бы похваляясь своею крепостью. Для какого же своего назначения, по какой тайной нужде выбился на Креневом родовом древе этот угрюмый и угрозливый сук?

Постой, но Хрисанф-то Малыгин выходит ему сродником, совсем близким по крови: отцы — братья. Хрисанф, наверное, предчувствием смерти был встревожен тогда и потому в последние дни память свою постоянно ворошил и далеко проникал в нее, приглашая и нас за собою. Он все силился предания родовые вспомнить, словно бы какое суеверие уже говорило: дескать, вот отомрешь — и никто уже не помянет Хрисанфа, не причислит к старинному поморскому корню...

Где-то сейчас Настасья: ведь как-то же должно передаться ей мое состояние. Только до меня ли сейчас? Как ни странен был отец, как ни задеревенел натурою, однако тянулась к нему дочь, знать, кровь к крови льнет. Такой мрак сейчас опустился на их дом, сидят, поди, как ночные птицы, молчат, и сон их не берет. У Аннушки лик зверушечий, напряженный, ей мертвый дед Хрисанф спать не дает: глаза тяжелые, свинцовые, в самую бы

пору забыться, но тут словно бы понесет ее в постели, закрутит, и глубь черная покажется неотвратимой, а в той темени дед Хрисанф мерещится совсем живой и пьяный, бессило колышущийся на самом дне и не могущий хватить вольного воздуху. Глаза бы открыть Аннушке, но так тяжело пересилить свинцовые веки, да и матери страшно, жутко от ее заострившегося, будто бы пеплом осыпанного лица. Дрожат девчоночьи ресницы, дрожит от них тень в полщеки, бордовые накусанные губы тоже дрожат, и в синих, почти черных подглазьях точно бы слеза непросохшая плавает от пережитого. Настасья видит, наверное, как играет нервное дочернино лицо, как трепещет оно каждою жилкой и туго натянутыми скулами,— и, чтобы успокоить, поет хрипло, устало, через каменную тягость. Аннушке чудится, будто сквозь землю пробивается материн голос, и нет в нем прежней ласки, а лишь безразличие и отстраненность: «Бай-бай Аннушку, бай-бай маленьку. Уж ты кот-котачок, приди к нам на денек, не работу работать, только Аннушку качать. Я тебе-то, вот, коту, за работу заплачу: дам кусок пирога и стакан молока, а на великий пост дам я редьки хвост...»

Я тогда не подал никакого известия о приезде в Слободу, но Серафима перед тем какой-то сон видела со значением и ждала гостя, а потому меня готовно встретила, как того, единственного, о котором вроде бы и мыслилось постоянно и с нетерпением. И только я порог переступил и объявил о себе, как она сразу уверилась в тайной духовной связи меж нами, которая и привела меня столь неожиданно в этот дом. «Вот и хорошо, что телеграммку не подал, правильно? Это как хорошо, что весточкой не объявил, я тоже, бывало, так любила неожиданно, верно? Нагряну — вот и я, любите, жалуйте. Ну-ка, покажись, Тимофей Ильич Ланин, какой ты да каковой».

Старушка потянулась навстречу, пробуя достать мою голову, и по неловкому, нащупывающему движению руки, пугливо натянутой, я понял, что она слепа, и я торопливо подставил лицо, плечи, грудь, и Серафима, оказавшись возле, совсем затерялась под плечом, столь она была невидной и усохшей в этом застиранном байковом халатике, не скрывающем шишковатых колен. Как же я обманывался, оказывается, в своей памяти: я

знавал ее пятилетним, тогда мы года два жили здесь на постое всей семьей, и тетя Серафима представлялась рассыпчатой, осанистой и волоокой, с мягким грудным смехом и теплой доброй ладонью, которой мимоходом обласкивала меня, подавая горячий пирог иль шанежку и искренне жалея. Такой помнилась постоянно, такой и видеть намерился, и потому первое впечатление меня поразило. Я даже высоким, громоздким человеком себя помыслил в сравнении с Серафимой Анатольевной, хотя, чего скрывать, ростиком и я не удался. А старушка снова дотянулась до моей головы, сбила волосы на лоб, дробно и заразительно рассмеялась вдруг: «Ой, нашего ты роду-племени, Тимоша. Наша ты кровиночка и росту нашего, верно? А я вот ослепла, Тимоша, года два, как ослепла? Правда, не совсем: солнышко вижу, смутно, как яичный желтушок»,— уже грустно сказала Серафима и, скрывая внезапные слезы, несколько стыдясь перед нежданным гостем, примостилась у печи за дверью, словно бы в норке своей затаилась, и там закурила, и оттуда показывалось наружу лишь отточенное, будто лаковое ее лицо с частой насечкой морщин, чутко вздетое к потолку, и живые пальцы с сигаретой.

— Отец, где ты там, представься,— сухо повелела Серафима из-за двери, и ко мне подошел старик Хрисанф, которого я в детстве не видел, он ходил на войну. Он словно бы дожидался оклика, сразу появился из комнаты и росту оказался великого, под потолок, а виду разбойного, упаси боже увидеться где-то на лесной тропе: волос неряшливый, сивый, сбитый в жидкие кудри и непомерно отросший, и сквозь грязновато-седую пену розово просвечивала кожа; нос — тяжелый, набрякший от частого питья, подернутый склеротической паутиной; глаза выцветшие, навыкате, наверное, когда-то бледно-голубые, губы ступенькой, и из черного бездонного зева голос выкатился зычный, хотя слов поначалу я не разобрал, точно кашу жевал старик. Хрисанф был мне откровенно рад и, сгибаясь почтительно, спросил, как жизнь идет. Я ответил, что жизнь идет прилично, грех жаловаться, день ото дня все к смерти ближе, на что он глухо, с бульканьем рассмеялся. Рад, поди, был старый, что вот гость нежданный наехал, и жизнь вроде бы пойдет ныне другая, более радостная и обновленная, и опять же можно выпить, попробовать винца

привального, и отвального, и баенного, и под свежую ушицу — и пусть хоть одним словом попрекнет благоверная Серафима Анатольевна.

«Да какая уж нынче жизнь, одно доживанье,— согласился Хрисанф, состроив скорбное выражение, и оглянулся на жену, но та лишь повела головою и смолчала, и потому старик разговорился.— Раньше-то ели не с нынешнее, деревянны деньги. Супу-то наваришь, а мяса-то оковалок, да напорешься до пузы, да редьки натрешь, да с квасом, а квас-то ой, рот дерет, родименький. Это нынче квас-то вода одна, кругом химия да атом, деревянны деньги. Раньше консервы не знали, Тимофей Ильич, скажу вам, оттого и здоровье было. Это война сокрушила, она больной народ навела. Да и морозина не эка была, сорок, сорок пять — обычное дело, работаешь — пар валит. Фуфаек не было в моде, шили пинжаки до колен, дак две волочуги сена накладешь по пояс в снегу, только пар валит. И руки холоду не знали, рукавицы за пояс заткнешь — и давай наяривать... Я в заготпушнине когда работал, дак помню, и зверя-то не экого примал: шкура-то огнем горит, ее смотреть глазам больно, на стол кинешь, а хвост до полу. А нынче с карандаш принесут, как с мышки сымут...»

Он так и стоял передо мной, прогнувшись в спине, словно бы стараясь быть вровень, и вовсе забыл, что я с дороги, что я, быть может, устал иль не в настроении, а все жевал свою кашу, приблизившись вплотную ко мне щетинистым крутым подбородком. Хорошо Серафима, докончив сигаретку, оборвала мужа: «Слышь, ты, холера старая, гостя заморишь совсем. Он с дороги-то устал, верно? Он с дороги-то есть-пить хочет, а ты ему голову пустой говорильней запудрил. Ты, Тимоша, его не слушай, его не каждый и поймет». И она рассыпчато рассмеялась, вовсе прикрывшись облезлой, когда-то крашенной дверью, а старик глянул в ее сторону так злобно, с такой откровенной ненавистью, что сердце мое невольно вздрогнуло.

Хрисанф пошел наставлять самовар, спугнув с привычного места Серафиму, и та перешла к окну, бормоча под нос и оглаживая снежной белизны волосы, и от этих, может, льняной светлости волос иль от полдневного света, бьющего в окно, только смуглое старушье лицо казалось костяным, покрытым лаком: «Как хорошо, что ты приехал, верно? Как это ты догадался,

ну как хорошо». Я же молчаливый, с неясною тоской человека, прибывшего в новые для него места, пристально разглядывал житье, заново припоминая его, и оно мне показалось столь запущенным, что сердце вновь сжалось. Вроде бы жизнь до краю прожита, учительницей сорок лет пробыла, да Хрисанф хлебное место занимал, но, однако, не нажито в этом доме богатства: широкая русская печь в пол-избы, крашенная темною охрой, лопнувшая по вздутому чреву и натуго обмотанная проволокой; рукомойник медный в закутке, и тот угол так закидан помойной водой, что обои вовсе отстали от стены и похожи на застарелый изношенный войлок; посудный шкапчик, рукодельный, топорной работы, с цветными журнальными наклейками по задней стене и полдюжиной простеньких чашек и граненых стаканов; да стол, грубо сбитый, но вековечный, грязно обшарканный понизу ногами. Видно было, что в этом доме доживали век, коротали, как придется, и уже ничто не волновало, никакие мысли о будущем благополучии не беспокоили. Все оставалось прежним, словно тридцати лет не минуло, но тогда житье казалось чище, ухоженнее, сугревней, на всем лежала печать доброго женского догляда. Собственно, когда, не ужившись в городе со свекром, мать моя средь зимы кинулась сюда, в Слободу, где вроде бы никто и не ждал с распростертыми объятьями, она нежданно отыскала приют здесь, у давней подруги по Вазице Серафимы Анатольевны, и на этой печи средь преющих валенок и фуфаек, железных противней и всякого носимого барахла вместе с тремя хозяйскими отпрысками мы довольно сносно и в тепле добили ту тяжкую военную зиму. И когда я с любопытством оглядел печь, узнавая в ней прежние щербатины и тяжкие раны, то вновь проникся благодарным душевным теплом, словно бы вспомнил о родимой матушке.

Серафима как-то ловко и неприметно из каждого закутка умела устраивать для себя схорон: вот и сейчас, примостившись у застолья, она почти скрылась под ним и споро работала ножом, раздевала сырую картошку. Но порою приподымалась над столешней и упорно выслушивала что-то, обратив чуткое ухо к полому окну, в которое проникали звуки вечереющей улицы, ближнего луга и соседних подворий. «Куда девки запропали? — досадовала она.— Тут такой гость, верно? А они запро-

пали. Я тебя, Тимоша, хочу познакомить. Дочь с внучкой гостится, так хочу тебя познакомить. Тоже вот с мужем разбежались, беда, и чего не скрепились?» И оттого, как были сказаны эти слова, как часто повторялись, они вдруг обрели иной, волнующий смысл, и душа моя невольно напряглась, и мне уже тогда показалось, что в этом доме что-то должно случиться. От вешалки, от распахнутой двери я перебрался к распахнутому окну, и тоже, полнясь нетерпением, стал разглядывать двор, в дальнем конце которого должна была появиться Настасья.

У поленниц вились мухи, от черемух, насаженных под уклон до самой изгороди, уже легли глубокие тени, в дальней распахнутой калитке виделся край луга и крохотный осколок ручья, по-вечернему белого. Хрисанф уже стол срядил и сам сел, сложив на столешне тяжелые темные руки, словно бы свитые из бурых древесных кореньев, да и каждый толстый палец был удивительно искорежен, с желтой чешуиной ногтя. Казалось бы, пенсионер, какую такую земляную работу ведет, но эти ладони уже и дресвой не отшоркать, разве лишь на неделю замочить в керосине, и тогда они слегка оперхают, побелеют, отойдут. Старик неотрывно смотрел на меня, и, когда я ловил его слегка подголубленный взгляд, он радостно кивал и улыбался, и толстые брови подымались торчком. Отчего, откуда проявилась в нем такая радость ко мне? Чем таким заслужил я расположение к себе?

«Ты чего-то забыл, отец»,— сказала Серафима; с улицы в сорочьи ее глаза упал свет, и они ожили.— «А ничего не забыл,— хитро подмигнул мне Хрисанф.— Ты у меня, копуша, сиди, раз слепа, дак».— «А ты, Хрыся, не обманывай. У меня знаешь слух-то? Порою слышу, как старик в кухне говорит: «И рюмочки-то нет выпить»,— а сам наливает и бутылку прячет. Я в кухню приду и скажу, где он спрятал бутылку. Такой у меня слух, верно что сильный. А у него, правда, нюх на вино. Я спрячу бутылку, а он сядет на лавку, обведет взглядом избу и, не сходя с места, найдет ее... У меня слух развился необыкновенным образом, верно, Хрыся?» — «Ну да, слон на ухо наступил, такой у тебя слух»,— по-лешачьи захохотал старик и опять довольно подмигнул, подключая и меня в какую-то давнюю их игру; кажется, жизнь вот прожили, все тягости перемо-

лоли-перенесли, а нынче и такой забаве рады, счастливы от детских бесхитростных уловок. Серафима не обиделась вроде бы на последние слова, видно, не раз повторялись они, и обижаться в этом случае не входило в их игру, чтобы не нарушить ее,— и легко согласилась: «Слух-то, может, и хороший развился, да слон вот на ухо наступил. Однажды ведь Хрыся как изловчился...» — «Да не зови ты меня Хрыся, Хрыся-крыса, вот укушу дак, деревянны деньги»,— вспылил хозяин, и глаза его устрашающе выкатились. Но Серафима словно бы и не заметила этого возмущения — иль это детская месть была,— и она ровным прокуренным голоском продолжала: «Однажды ведь Хрыся как изловчился. Спрятал бутылку в валенок, такой идол, сидит на печи и поет. А я в толк не возьму: что это, думаю, сидит муж на печи и такой веселый. Только отвернулась, а он из валенка бутылку раз, да из горлышка — такой ли ловкой». Она помолчала, пожевала губами и, уже внутренне досадуя, ощупала стол рукою и повторила: «Ты чего-то забыл, отец?» — «И не забыл, и не забыл,— довольно воскликнул Хрисанф и пристукнул по столешне бутылкой, которую умышленно сунул за самовар.— Давай, бабка, тяпнем по маленькой, чем поят лошадей. В чреве пустыня, все ссохлось».— «А девки? Погодить бы надо»,— всполошилась Серафима.— «Придут и догонят. По махонькой, по махонькой, чем поят лошадей. А ну, родимая, грянем»,— гугнил старик, и я с трудом понимал его: но лишь ослабился, отвлекся на мгновение и сквозь рассеянное сознание услыхал лишь: бу-бу-бу.

Зачем он выбрал меня в союзники? По какому такому согласью вдруг так залюбил меня? Вот и сейчас заговорщицки подмигнул, мне и себе налил из бутылки, а супруге своей из графина простой воды нацедил тонкою струйкой, губы протер и, поднявшись над столом, заслонил собою будто бы все пространство сереньской пыльной кухни, воскликнул громово: «С приездом, Тимофей Ильич. Ну, бабка, чокнемся давай, чтоб на небесах тошно стало».— «Много-то не пью, а при нужде да при веселье стопочку выпью»,— легко согласилась Серафима и готовно пригнула стопочку.

Хрисанф с дьявольским злорадством, так и не присев, смотрел супруге своей в рот и уже готов был расхохотаться, но тут что-то скисло в его лице, и он тороп-

ливо налил себе снова. Серафима выпила, и лишь на мгновение в непросветных ее глазах плеснулось изумление, но старая тут же овладела собою, крякнула и кинулась торопливо закусывать рыбой: «Ну и горька же она, зараза,— повторяла по-мужицки сипло и все крякала непрестанно.— Ты чего такого крепкого налил, Хрыся, не спирту ли? Как только и пьет народ».— «Это же вода была, ха-ха. Чего врешь-то, бабка,— снова подмигнул мне Хрисанф.— Глупа кочерыжка, это же вода была, я тебе из графина брякнул, а ты на радостях-то, ха-ха. Вот и Тимофей Ильич не даст соврать, как я из графина».— «Вода не жгется, Хрыся. Запомни это, вода бальзамом лечит, легко катится, а тут ожгло, словно палкой огрело»,— настаивала непреклонно Серафима, и хоть бы тебе улыбка скользнула на костяном лице. «Да ну тебя»,— сплюнул Хрисанф, недовольный, что розыгрыш не удался, но сам, будто случайно, принюхался к Серафиминому стакану.

И тут, как спасение, неслышно явилась на порог Настасья: она проступила из сумрака сеней, как видение, и улыбчиво оглядела всех, и меня ровно осветила печальным глубоким взглядом, и так же мирно воскликнула: «У нас гости-и... А вы все воюете. И не надоело?» — «Это все он, это все она»,— воскликнули старики разом и ожили, тоже посветлели, и Хрисанф торопливо наполнил бабкину посуду. Серафима потрогала пальцем краешек стаканчика, облизнула и радостно, восторженно захихикала. Настасья сняла с головы чалму, спеленутую из махрового полотенца, резко встряхнула литыми вороными волосами, коротко подрубленными и тяжелыми от влаги, и свободно подсела к столу. «А мне винца?» — нарочито капризно попросила она и пристально посмотрела на меня, видимо, уловила мой изучающий взгляд. «Ты свое прогуляла, доча»,— снова радостно засмеялась Серафима.

У Настасьи оказалось смуглое, как и у матери, лицо, слегка припухшее в веках, брови тонкие, нервные, в угольных глазах до самого дна густая печаль и та же неуловимая скорбь в жестко вылепленных губах; меня сразу поразила и удивила глубокая печаль, и пленила, как покоряет все странное и неразгаданное. Нельзя сказать, чтобы Настасья была особо красива и приманчива, но все ее неправильно скроенное лицо постоянно притягивало, на него хотелось смотреть, словно бы ты

был повинен в этой испепеляющей скорби. Она была рядом, но и столь недоступной, что мне вдруг затосковалось болезненно, и я невольно отвернулся к окну, безразлично отмечая взглядом наползающий розовый туманец на ближней луговине и пахнущие прелью жидкие сутемки возле сараев, полные комариного гуда. Слышно было, как сбоку проворно распоряжалась посудой Настасья, и я невольно поймал себя на мысли, что постоянно думаю о ней. Вот, оказывается, отчего тетя Серафима казалась мне тогда широкой, усмехнулся я. Она носила в себе эту печальную женщину.

«Милиционер родился,— нарушила тишину Настасья.— Вы чего, люди добрые, уснули?» Никто не успел ответить, как ворвалась Аннушка и навела суматоху. Еще от порога запела, дурачась: «Как дед бабку посадил в ладку, поливал ее водой, чтобы стала молодой», подсела к столу, локти на столешню, ноги лягаются, голова ходуном; не девчонка, а фараонова сила, уродится же такой ребенок. «Посиди хоть мгновенье спокойно»,— осадила мать и смазала дочери по затылку; та сразу притихла, надулась, сочные губы в щепотку, личико слегка вытянуто вперед, как у сорожки, может, от постоянного любопытства так организовалось оно, глянцевые волосишки забраны в пучок. Что-то печальное почудилось мне и в ее облике, знать, Аннушка уже таила в себе какую-то странную тайну. Но девчонка скоро забыла и строгий окрик, и подзатыльник, ела жадно и торопливо, соря на платье и орудуя локтями, и меж тем успевала повиснуть на бабкиной шее, целовала ту и в щеку, и в плечо, тыкалась губами куда придется.

— Баба Фима, у тебя мой халатик. Ой, мама, гляди, у нее мой халатик. Баба, и тебе и не стыдно. А ну отдай халатик,— капризно потянула одежку с Серафиминого плеча, показывая на посмотренье дряблую старушечью шею и застиранную мужскую майку. Девчонка часто и нервно смеялась, щеки клюквенно налились, и белки глаз зарозовели: видно, что-то отпустило, соскочило в ее крохотной душе, азартно распалилась она от всеобщего внимания, и сейчас Аннушка вся дрожала в болезненном нетерпении.— Дедо Хрыся, чего она мой халатик... Это как понимать, что у нее мой халатик. Это, значит, бабуся в землю уходит?

— Совсем стопталась,— грустно согласилась Сера-

фима и, покинув стол, зашаркала в свой угол, задымила там, затабашничала, часто сплевывая в жестяную консервную банку и слепо глядя в потолок. Последние Аннушкины слова отчего-то смутили меня, и я невольно пригляделся к Серафиме и внучке ее, улавливая их общность: тот же узкий покрой плеч, сухонькие длинные ноги с крутыми икрами, слегка искривленные в коленях, высокая шея с глубокой ложбиной над позвонком. Только одной шестьдесят девять лет, а другой — девять. За столом тянулся необязательный разговор, каждый переживал свое, а мне вдруг ослепительно подумалось о времени, как о чем-то враждебном и непостижимом... Ведь когда мы зачинаемся в чреве матери, наше время не равно нулю, ведь мы начинаем жить, наверное, от какой-то иной границы, и, пока мы не родились, наше время безмерно, но старимся мы — и наше время идет вспять. Выходит, что, родившись, мы живем не вперед, а назад? И снова из чего-то законченного целого человек уходит в тлен, в прах, он снова возвращается в лоно большой природы и распадается в нем, но он уже никогда не превратится в семя, способное поднять нового человека. Так, может быть, семя живое древа, злака и зверя, и человека, где все так гармонично, где все слито воедино, где время прошедшее, настоящее и будущее в одной кожурке, где скоплена такая взрывная энергия, где определены и скроены все качества человека, его натура и обличье — это и есть совершенство, к которому стремилась природа?! И это ли не самая изощренная форма сжатого времени? Серафиме шестьдесят девять лет, и она вновь будто девочка, а внучке — девять, и вот на каком-то временном состоянье их пути пересеклись, но самое-то грустное, что Аннушка, двигаясь вперед, возвращается в то же самое время назад, в невозвратное состояние. А может, и все мы возвращаемся назад одновременно, только разными тропами и не видя друг друга, чтобы не устрашиться? Боже, что за бред вдруг навестил меня...

Тут Аннушка, видно, снова что-то натворила, и голос Настасьи вернул меня в застолье.

— Уймись же наконец. Что я сказала! — вспылила она и турнула дочь из-за стола.— Тебе же нельзя так возбуждаться, ты, Аня, держи себя в руках, тебе же девять лет.— Закончила женщина уже вяло и виновато, словно бы обессилела от своих слов. И, почуяв сла-

бину в голосе и податливость, Аннушка вскочила гневно и с убийственным презрением глянула на мать из-под круто загнутых ресниц, закричала с наигранной слезой и страданием в голосе:

— Чего гонишь дочь свою? Что такое она сделала?

— Уйди и чтобы я тебя не видела,— внешне сурово попросила мать, едва скрывая улыбку. Аннушка фыркнула и с треском захлопнула дверь в горницу.— Тоже мне артистка,— сказала Настасья, но все промолчали. Хрисанф, пока шла словесная баталия, успел дважды опустошить рюмку и сейчас весь потемнел и грозно уставился на супругу. А та светлела ликом, личико ее разгладилось, одухотворилось, и глаза затеплились.

— Ты зря Аннушку не нервируй, не дергай по пустяку,— советовала Серафима дочери.— В девке натура зреет.

— Знаю, что не надо бы,— покорно согласилась Настасья.— Но ведь что делает, паразитка, со мною, она же вертит мной как хочет. Она силу надо мною чует, она все мои слабости изучила, и это в девять-то лет, а как дальше?

Застолье, не наладившись толком, неожиданно расклеилось, каждый жил сейчас в своем миру. Может, вечерняя духота, тяжелая, предгрозовая, когда не одно человечье сердце заходится в смертной тоске, мытарила землю, расслабляла волю и убивала желания. Хрисанф набычился еще более, сивые кудри свалились на лицо, почти заслонили глаза, и стариковский взгляд был желтым и неприятно больным. Хозяин что-то бубнил свое, черный рот запекся, вовсе пропал в серебряной щетине, и слов, частых и рассыпчатых, невозможно стало разобрать. Да и не слушал никто поначалу, всем было не до Хрисанфа, но голос его постепенно настраивался, кашель и бульканье стихали, звуки становились чище, а слова разумней.

— Ну, опять поминальник завел,— ехидно пробовала перебить Серафима из-за двери.

— А я не тебе говорю. Я, может, Тимофею Ильичу, а ты помолчи. Взяла моду перебивать... Ты выше дедка своего по роду кого помнишь? Не-е... Так закрой лавочку, если от некошного мужичонки пошла. Наше дерево не вывернуть, не-е, оно сквозь землю пронзило. Я-то еще прапрадеда Ваню помню, от него и пошли нынешние Крени.

...Ваня имел самое первое в Вазице ружье, вот как давно то дело было. Пульки, сказывают, зубами жевал и метко стрелял, зря порохового заряду не переводил. А как остарел, ходить в леса тяжело показалось, но страсть на охоту не покидала, и потому родовой путик не бросал. Жёнка его Степанида схитрилась: ствол восьмигранный сымет да дедке на плечо ложе одно и повесит, вот тебе забава, шагай баженый. Так и шатался старый по лесу, с одной деревягой, словно бы с ружьем. Вспоминают, часы носил в кармашке до самой смерти; головка-то у часов стерлась, и пальцы онемели и затвердели, так после тисочками заводил...

Да, на чем же я застрял, дай бог памяти. Ваня-то, значит, прожил сто лет. Когда женился он, ну в молодости, разумеется, то за столом колдун сидел, вежливый по-нашему. Тогда без колдунов на свадьбах не обходилось, это охранитель был свадебный и первый человек. Ну, а тут вдруг еще колдун явился, незваный, наверное, хотел свадьбу расстроить, порчу навести на молодых. Тот, кто сидел, охранитель-то, и говорит тогда: «Выйди вон и не порть свадьбу, и стань у столба, где кони стоят, как будто конь ты». Ну и, сказывают, вышел незваный-то колдун, встал у кольца коновязного да так и пробыл, пока свадьба двое ден шла.

Жена-то Ванина, Степанида, на девяностом году померла. Четырнадцать лет сидела скорчившись, голова к коленам будто присохла, разогнуться не могла, и спала скорчившись, а как умерла — так и выпрямилась. Бывало, полежит минут десять и уж зовет: «Дедо, поверни меня». Умерла, а Ваня-то столетний на шестой день поехал было к сыну в Город и тут увидел жену во снах. Она говорит ему: «Дедо, ты почто от меня уехал». Он скорее домой обратно, у него душа-то, значит, не на месте, она у него стронулась, в предчувствие вошла. И как в дом-то ступил Ваня столетний, тут его паралик и разбил, а через день и умер. Вот какой был Ваня столетний, всем Креням — Крень, говорят, медведя брал на рогатину. Я еще рогатину ту видел на повети, так держак-то с мою руку, такой толстенный. И не убойся: медведь на тебя, так и рёхает, а ты рогатину к сердцу направь звериному, не убойся, не дрогни, да и подседь под тушу эдакую, насади на нож без колебанья. Тут душу надо иметь, ой надо.

А уж от Вани было два сына: Проня и Кона — оба

хромых, один на праву ногу, другой — на леву, оба лесом жили, охотой затравлены...

— Ты бы помолчал, Хрыся. Ты бы сменил пластинку, верно? Добрый человек с дороги, он небось баиньки хочет,— не удержавшись, все-таки перебила Серафима: ей бы тоже поговорить хотелось, да, знать, время еще не пришло, а уж больно хотелось выспросить старой про Вазицу, как живет-поживает она, да и про подругу вековечную Юлию Парамоновну тоже не терпелось вызнать. Но так положила про себя Серафима, что выберет время другое, когда старика не будет возле, и все тогда выведает у нежданного гостя. И от нахлынувшей радости, забывшись на мгновение посреди кухоньки, взмахнула Серафима ручонками, на которых кожа тряпошно отвисла, и воскликнула: «Ой, как хорошо, Тимоша, что ты приехал, верно? Ты доложи нам, как догадался приехать, милый ты мой, разлюбезный»,— и, не дождавшись ответа, вернее, не ожидая его, скрылась в горнице. Там послышалась сразу какая-то возня, заливистый дробный смех, «ой, не щекоти бабку слепую, до греха доведешь», дверь распахнулась, и Аннушка проскочила через кухню.

И Хрисанф тут же пропал, наверное, ушел в Слободу смекать вина, видно, припасенной загодя бутылки не хватило, а так побродит-побродит — и вдруг где перепадет, вдруг отколется нечаянная рюмка, раздобрится уже захмелевшая щедрая рука; уж так повелось теперь, что нынче я тебе поднесу, а завтра, когда у меня душа загорится и станет невтерпеж, явлюсь незваный и я к тебе, и только по одному тоскующему взгляду без слов поймешь ты, и рука твоя сама потянется к той затайке, где схоронена от хозяйки бутылка.

В притвор двери виделась широкая кровать, на краешке ее сидела Серафима в тонких спортивных брюках и мужской белой майке; она мостилась прямо и напряженно и то ли туманно что-то пробовала выглядеть на потолке, то ли прислушивалась, что творится на кухне. Вдруг протяжно, с нескрываемой тоской, прорвавшейся наружу, вздохнула: «Ой, не приведи господи кому остаться слепым». И тут же ровно, точно парализованная, повалилась в постели, руки высвободила поверх одеяла, но, знать, что-то не лежалось ей нынче, и Серафима неожиданно приподнялась, потянулась рукою к стене, где висела балалайка, и щипнула струны.

— Надо будет заново перетянуть, звук сел. Раньше-то ой играла, даже физкультуру проводила под балалайку. А теперь слух стал сдавать.— Старушка, наверное, улавливала чутким ухом, что к ней прислушиваются, за нею наблюдают, потому говорила громко, словно настаивала, чтобы и я подал голос.— Ой, Тимоша, успевай, пока в силах, потом уж мох будет появляться в голове. Я-то чую, как у меня мох в голове зародился, так и щиплет голову, волоса подымает. Вот и дед меня нынче дурой обозвал, значит, дура и есть... А кто он предо мной? Да он бык необкладенной.— Серафима дробненько хихикнула и тут же оборвала себя.— А как там школа твоя?

— Да никак, Серафима Анатольевна. Семени мало, семя не туда проросло, тетя Серафима. Нынче едва на четырехлетку набрали, а прочих к вам, в Слободу, в интернат. Я же в отставку подал, до пенсии велели подождать, и я в лесники... По этому случаю вызван в Слободу для начального познания новой службы,— грустно закончил я, едва не задохнувшись от длинных и неискренних слов.— А впрочем, неожиданно рад, что так случилось, что расстался со школой. Самому бы не уйти, тянул бы лямку сквозь зубы, жизнь проклинал. А тут...

— Ну чего ты передо мною вертишься. Я ведь тебе не судья, верно? — упрекнула Серафима, не дослушав моей словесной канители.— Ой, что же это я? Не все процедуры еще сделала.— И она затаилась за дверью возле печи, жадно закурила и, ничего не спросив более, заслонилась от меня дымом. Да и, откровенно говоря, устал я за долгий докучливый день и, не дожидаясь более случайного вопроса, за которым мог бесконечно продолжаться наш изнурительный разговор, поспешил скорее на волю.

Настасья, видно, уже успела уложить дочь в сараюшке и сейчас одиноко, понуро коротала вечер на стертой колоде, заменяющей крыльцо. За все время, пока я был в доме, она больше ни разу не взглянула в мою сторону и не попыталась заговорить, словно бы я неприятен оказался ей. Вот и сейчас, на мгновение подняв печальные глаза, она не предложила посидеть возле, не ворохнулась, а снова утопила подбородок в подол платья, туго натянутый на колени. Во мне было вспыхнули поначалу неловкость и раздражение, я хотел ска-

зать что-то колкое, но сдержался, а не сумев уйти сразу, невольно задержался чуть поодаль, обвалившись на поленницу. Вечер родился сегодня необычно темен и душен, хотя стоял июль, самое время серебристых белых ночей, когда душа успокоенно отдыхает, наполняясь светлой грустью и ожиданием добра; а тут вот наползли фиолетовые тучи, взгромоздились тяжело, порой в подугорье тревожно играли сполохи, легким влажным ветром потянуло с реки, извещая о близком дожде. Давно ли будто мне хотелось помолчать в одиночестве, постоять возле изгороди, а тут вдруг при виде Настасьи, горестной и понуренной, потянуло вновь на разговоры, откровенные и долгие.

— О чем вы думаете сейчас? — спросил я хрипло, точно пробуя голос.

— О смерти,— спокойно откликнулась Настасья и брезгливо посмотрела на меня. Этот равнодушный ответ смутил и сбил с толку, все слова потерялись куда-то, мне стало страшно не столько этих слов, а того, как было сказано, голосом усталым и безвольным. Во мне сразу все загорелось, и я заторопился помочь женщине, хотя понимал, что мои суетливые слова бесцветны и раздражающи.

— А вы постарайтесь не думать. Вы просто не думайте...

— Но я всегда думаю о смерти,— перебила Настасья, вроде бы уже знала, что я скажу далее. Я подумал, она смеется надо мною, всмотрелся подозрительно, но вид ее был грустным и искренним.— Вы не бойтесь, Тимофей Ильич, я жизнелюбива, в омут не брошусь и в петлю не полезу. Но я всегда думаю о смерти, и это мне не мешает жить. Я пробовала однажды отвязаться от таких мыслей, они действительно странны... Вы не находите, Тимофей Ильич, их некоторую странность? Да, я пробовала однажды забыть их, но знаете ли, это трудно и скучно, словно бы во мне что-то сразу нарушилось... Вот как будто половинка меня осталась. Бывало ли с вами, Тимофей Ильич, вот вы лежите в постели, но будто не весь лежите, а только половина вас. Ну вроде этого. Занятно... И так становится тошно и неловко, что всего себя не чувствуете, и хочется сразу всего себя вернуть.— Настасья вспыхнула, распалилась скоро, словно бы ей давно хотелось поговорить об этом, но не находилось чуткого человека,

и потому она тяготилась своими думами и болела от них, и оттого столько печали наслоилось в ее угольной черноты глазах. От слов своих, брошенных несколько холодно и высокомерно, она и сама вся приподнялась, и тяжелые волосы порывисто откинула назад, обнаружив вдруг высокий лоб, великоватый для ее лица.

— У меня самого так случалось... Весь прошлый год было. От таких мыслей все темно кругом и грустно,— настаивал я насколько возможно мягче, не скрывая жалости и недоумения. Но Настасья словно бы не слыхала меня, она уже далеко унеслась, снова погрузившись в себя, и сейчас особенно походила на мать с ее привычкою прятаться за дверью. Женщина онемела, опустошилась недавним признанием (так полагал я) и вроде бы намного постарела обличьем. Она точно обволокла себя мыслями и сквозь них, как сквозь туман, выглядывала на меня отчужденно и устало. Мне показалось, Настасья вовсе замкнулась, и я хотел уж было уйти, как она заговорила вновь:

— Когда я ушла от мужа, все против меня сразу: ты разрушила семью, завопили, ты разрушила семью. Но я-то вижу, что им на меня наплевать. Им лучше, чтобы я скурвилась, а я не-е. По-ихнему, ты лучше гуляй, ложись подстилкой, но семью не рушь... Не терплю насилья, слышите? Не терп-лю. Если люблю — все стерплю, кроме жалости и насилья. Не надо меня жалеть. Если кто надо мною волю выказывать будет, того и убить могу. Да-да, могу запросто.

— Сразу уж и так? Любо-пыт-но,— протянул я, скрывая растерянность, да и как тут было не растеряться от подобных гневно выплеснутых слов. Не знаю, куда бы повернулся наш внезапный разговор, под мглистым напряженным небом, под всплески длинных зарниц, в ночи, напоенной приторным, сладким духом зреющей крапивы, ждущей пенного дождя, если бы из сараюшки не выметнулась вдруг Аннушка, вся дрожащая и в слезах. И сразу наши слова, будто бы полные суеверного смысла и глубины, забылись. Аннушка, как привидение, скользнула из сумрака двора в белой пижамке и, прижавшись к матери, запричитала непритворно и горько, вдруг впервые за весь день став просто ребенком:

— Мама, я не могу спать, мне страшно.

— Отчего тебе страшно? — Настасья еще не остыла от

недавнего признания, и сейчас жалобные слова дочери не трогали ее.— Отчего тебе страшно? — холодно переспросила она, трудно освобождаясь от разговора.

— А кто-то дышит в лицо. Мне старая женщина говорила, что, если снится, что дышат, значит, кто-то умрет.

— Верь всяким... Мало ли чего наговорят тебе. Ты думай о чем-либо хорошем. Ты большая девочка, тебе уже девять лет.

— О чем хорошем? У меня пусто в голове.

— Это тебе добрый гном с голубыми глазами дышит, наблюдает, чтобы тебе спалось хорошо, чтобы тебя никто не обидел,— неожиданно вмешался я: детские искренние слезы все разом перевернули во мне.— В каждом доме есть домовой, хозяйнушко такой, бородатый, мохнатый, ушастый, с добрыми глазами... Он наблюдает за нами, не веришь? — Я поймал себя на том, что опять не туда повернул, и скорее скомкался. Аннушка плакать перестала, прислушалась к неожиданным и непонятным для нее словам; днем бы, конечно, она привязалась ко мне, пристала хуже смолы, расскажи о хозяйнушке, да откуда берется он, да где обитает. А тут она грустно посмотрела на меня проваленными темными глазами и, дрожа, наверное, от пережитого, зарылась в материн подол.

— Мне страшно, там кто-то дышит,— снова заныла она, уже более спокойно, играя голосом и выжимая слезу.— Дышит так: у-хр, у-хр. Я открою глаза — никого, закрою — опять дышит.

— Ну чего страшного, господи? Ты должна собой руководить. Не могу же я все около тебя...

— Мне страшно, мама. Ты полежи рядом.

Настасья поняла, что канительный разговор нескончаем, сдалась на уговоры и, не прощаясь со мною, вроде бы забыв меня сразу, увела дочь в сараюшку. Слышно было, как мостились, укладывались они, как скрипела пружинами старая кровать. Аннушка уже смеялась игриво, приставала с вопросами: «Мама, а если хозяйнушко явится, как мне поступать?» — «Спи давай,— нервно и устало оборвала Настасья, но сразу же спохватилась, помягчела голосом, сквозь сонную одурь хрипло затянула: — Бай-бай Аннушку, бай-бай маленьку. Уж ты кот-котачок, приди к нам на денек...»

Грозы так и не состоялось: отполыхало на западе, глухо отворчалось, там, наверное, пролило, и темь неожи-

данно свалилась на Слободу, и сразу тихо изнутри засветилось небо, а влажный воздух, отразившись от дальнего дождя, дошел сюда и намокрил листву, травы, пыль и на меня опустился легкой испариной. Неприкаянность, что томила меня весь нескончаемый вечер, неприметно истаяла, и я вдруг до кружения в голове, до тошноты, до томления в каждой кости почувствовал, как устал за день и нестерпимо хочу спать. Ну, захотел, так и спи? Но почему я не владею собой? Отчего я до такого утомления и раздражения оттягиваю обычные желания, словно бы страшусь их исполнить, словно бы к смертному приговору подвожу себя тем самым. Уж давно бы мне видеть вторые сны и улыбаться чему-то доброму, не имеющему примет, и летать под голубым куполом. Боже, как давно я не летал, какие свинцовые башмаки ныне на моих ногах, если я не могу воспарить.

Серафима лежала в постели плоско, как покоенка, она не дышала, и все лицо ее, пепельно-серое в ночи, заострилось; постоянная улыбка стерлась с невзрачных губ, и строгим, хмурым вниманием было полно застывшее обличье, будто бы и сейчас пыталась старенькая выглядеть что-то тайное взору. Спала она так бесплотно, что я поначалу испугался, не померла ли: ни стона, ни вскрика, и только порой что-то в груди отворялось и мерно булькало, наверное, уходила последняя жизнь. И снова я спохватился, удивляясь себе: почему я не ложусь на покой, словно чую и жду беды... Я лениво повалился в постель, едва раздернув одеяло, и меня сразу повлекло, закружило сладко и желанно, но я спохватился и удержал себя на краю сна; уже дальним краем памяти — точно не своей, а чужой памяти — я понял, что наконец явился Хрисанф. Он долго гугнил, не в силах успокоиться, тяжело укладывался, не щадя спокоя супруги, а я с каким-то особым сознанием внимал, не давал себе послабки, и, только когда ударил в потолок раздерганный стариковский храп и покатилась по частым ухабам его ночная телега, я успокоился разом и желанно отдался сну.

Но среди ночи я внезапно пробудился со странным ощущением, что проспал все на свете, уже на дворе деньденьской и давно пора вставать. Я открыл глаза, какое-то время еще плохо соображая, где нахожусь, и в проеме двери увидал щупленькую фигурку Серафимы. Сзади в спортивных штанишках и в майке, сползшей с одного плеча, в катанцах с высокими твердыми голяшками, покры-

вающими колени, она походила на подростка. Полуночница суетилась у стола, била, валяла, колотила кулачонками, плечики ее подпрыгивали, ходили выпуклые лопатки, тряслась седая головенка — с таким горячим азартом обхаживала Серафима тесто. Пахло кислым, дрожжами, хорошо взошедшей опарой, значит, от этого хлебного духа я и очнулся средь ночи, когда воздух, еще паутинчато-серый и зыбкий, все окрашивает в тусклые грязные тона. Но когда поставила Серафима закваску — я не слыхал: знать, сколько выспала старенькая с вечерней поры, сколько схватила покою, пока не заявился дед,— вот и весь сон. А после, видно, замечталось ей свеженького и пухлого печеного с утра поесть, и она, снявшись с постели, занялась стряпней, и, наверное, уже не раз вскакивала с кровати, чтобы не прозевать его, лазала на печь, сослепу рискуя каждый раз свалиться с приступка, ибо все думалось, а хватит ли тепла ночного, и кастрюлю обкладывала фуфайками, и после снова приваливалась к дедову боку, уже не смыкая глаз, потому как внезапно новые тревоги навещали: мерещилось, что теперь лишку тепла, и тесто скоро и буйно выходило, шапку нахлобучило набекрень, тихо посапывая, ноздрястое, шадроватое и пузыристое, скрадчиво крышку сняло с кастрюли, выплеснулось, поползло толстою шкурой по пыльным затертым кирпичам. А потом-то скобли его ножом, скобли на посмешку мужу да в корм соседским свиньям. Нет уж, лучше не доспать, лишний раз с кровати соскочить. И вот сейчас воевала Серафима с белым тестом, мяла, раскатывала его по доске, притяпывала, кидала, вертела, закручивала, с хлюпаньем выдирая слабосильные кулачонки, потом отщипнула мякишек, долго жевала, задумчиво повернувшись к печи, и по кроткому выражению ее лица я понял, что тесто удалось.

С этим тихим видением, словно бы почудившимся мне и внезапно напомнившим детство, я и ушел обратно в сон, глубокий, как бездна, и впервые за многие последние годы — летал. Низко летал, но странно. Будто бы раскручивал руки над головою, и тут что-то во мне отымалось, тело как бы ссыхалось, теряя грузность, наполнялось воздухом, и я плавно отрывался от земли и парил какое-то мгновение. Но каждый раз вознесение над землею мне казалось случайным и коварным, чей-то дремучий голос окрикивал меня сзади и смеялся шально, и я, чтобы деться от назойливого голоса, вновь и вновь вращал руками

до боли в плечах, но взлетал все тяжелее, словно бы терял оперение, а кости мои заполнялись песком и тягуче ныли. И все-таки душа пела от краткого полета, и потому к земной жизни я возвращался неохотно, еще сладко томясь и продлевая забытье. Мне вдруг показалось, что кто-то смотрит на меня и жарко дышит, и чужое навязчивое дыхание встревожило меня. Я пугливо открыл еще беспамятные глаза, разлепил ресницы и увидал близ самого лица редкие с желтизной кудри, сквозь которые просвечивал череп, кустом наросшие брови и спекшиеся черные губы, со свистом пропускающие перегарный воздух. Лучше бы лешак приснился, баенный хозяйнушко, сначала подумалось раздраженно, но на широкую улыбку Хрисанфа и во мне невольно стронулась тяжесть, душа колыхнулась, и я ответно улыбнулся и решительно поднялся на подушках.

— Ну как спалось, как ночевалось, Тимофей Ильич? А я вот вчера надрался, как собака,— сокрушенно сказал старик и снова широко улыбнулся, присел в ногах.— Ну и спать. Не на пожарника, случаем, сдаешь?

Я отмолчался, прислушался к себе и вдруг понял, что со мной за прошлый день что-то случилось, вроде бы ласково разгладили меня изнутри колонковой кистью, и боль, такая надоедная, постоянно сосущая черева, вдруг неслышно пропала.

— Давай в дурачка сыграем? — предложил Хрисанф, и не успел я отказаться, как он, часто мусоля деревянные пальцы с заусенцами, неловко разобрал карты и раскидал по одеялу. Солнце ломилось в окна, узорная тень от листвы колыхалась на полу, и лимонно светились над хозяйской кроватью обычно серенькие замызганные обойчики. На кухне что-то скворчало, задыхалось в масле, томилось, жарилось и млело, оттуда волнами донесло ванилью и корицей, сонно погромыхивал пестик, стукаясь бронзовой головою в ступке. Это кухонная музыка, душноватый от пряностей воздух, легкое гудение русской печи и еще не жаркое утреннее солнце, льющееся в окна, настроили меня на легкий лад, и я неожиданно согласился: «А что, и сыграю. Давно не брал я в руки шашек... Ах, знаем-знаем, как вы плохо играете». Сказал игриво, вдруг вспомнив Гоголя. Из кухни выглянула Серафима с чугунной ступкою в объятьях, пригрозила пестиком мужу:

— Я тебе покажу карты. Рехнулся? Иди куда ли на волю.

— Цыц, бабка. Не суйся,— проскрипел Хрисанф и метнул на жену хмурый взгляд.— Не твоего ума дело.

— Наверное, побольше твоего понимаю? У тебя голова только на пьянку построена. От пьянки твой котел заржавел больше совсем. Там ума-то на донышке, с гулькин есть ли? Ха-ха,— дробненько рассыпалась Серафима.— У тебя в головизне паук завелся, паутиной все больше заткал.

— Посмейся, вот уж посмейся,— прошептал Хрисанф. Старушка напряженно вслушалась, выставив ухо в притвор двери, но слов ответных не разобрала и снова мерно забрякала пестиком.— Ну, Тимофей Ильич, держитесь, я под вас рыжей девкой пойду, а вам ее не покрыть. Такого мужичка не найдется, чтоб рыжую девку покрыть: валет — рылом не вышел, а король — инвалид, у него машинка сносилась. Бери даму, Тимофей Ильич, ишь красуля, в хозяйстве сгодится.

— И возьму... Давно не брал я в руки картишек.

— Возьми, паря, да не ожгись. Как бы не остаться при своих пиковых интересах. Они, бабы, ой прокуды, ласково стелют, да жестко спать. Ты бабу-то под свой корень руби, высоко не замахивайся, вот и казниться не будешь... Фимка-то почто надо мной кочеряжится? Оттого, что дураком меня чтет, а своим умом хвалится, собака, да свой мещанский род возносит. Сорок девять лет с ней прожил, а ни одного дня добром не вспомню, у-у.— Что-то жгло старика давно, видно, мучило, и он рад был лишний раз высказаться, освободить душу от тягостного гнета.— Я-то мужик. Я два коридора через матюги кончил, а она — учителка, ей и хочется надо мною подняться, а я ей говорю: фи-га, деревянны деньги, кочерыжка ты, а не баба, да и род весь ваш— недотыки. Братец-то ейный придет, дак ты упадешь от смеху, такой он пимокат и вралина... Было на рыбалку он меня приглашал, дескать, место знаю, рыбы наловим два ведра... Нет, ты слушай, не перебивай, деревянны деньги. Я, говорит, в прошлое воскресенье взял окуня два ведра, такое стадо захватил, окунь, правда, мелкий, с четверть, не больше, но зато с каждого икры стакан... Ну, а если рыбы не наловим, говорит, то корней накопаем два мешка, да напарим, такие ли коренья,— мед, а не коренья. Вот вралина-то... Ну, а на худой конец, если коренья не возьмем, то березового

соку нагоним. Я было (врет ведь зараза) привез два ведра да в жбан вылил, сахару добавил, и такая ли брага крепкая вышла, с двух стаканов с ног валит. Из одного-то жбана пробка в потолок — да так и прилипла... Ведь знаю, что врет, собака, ни одному слову его не верю, но так ли красиво заливает, такие пузыри пускает — я и сдался. В пять утра снасти захватил да тару, к назначенному месту явился, ждал-пождал — никакого нет, хоть ты лопни. Уж народ на работу повалил, а я как дурачок... Пошел к его избе, в раму колочусь, а он дрыхнет. Выскочил в одних исподниках: ой, прости, да ой прости... Ну, я плюнул на собаку и ушел. И весь род их такой, не род, а рот: от пустого человека, знать, пошел, да на пустое и вышел... Это не Фимка, это я своим родом могу похвалиться. У нас все железо по железу шло, народ строевой да корневой. Хоть и меня возьми.— Хрисанф приосанился, когда-то голубые глаза, а ныне студенистые, с частой кровяной прожилкой, сразу набухли и выкатились, сивые брови торчком, улыбка длинная, до ушей и удивительно детская, как и все обиды его.

«...От Вани-то столетнего пошли Проня и Кона, оба хромых, и ходили они на путик. Но силы такой уродились, что двухпудовкой кресты клали и не было им ровни во всей Вазице. Повадились было на их путик зыряна ходить и пакостить. Так Проня и Кона застали охальников в лесной избушке, самих не тронули, а ружья в дуги погнули.

От Прони явился наш дедушко Евлампий, и он посеял шестерых сыновей, такой ли мастер. Про него-то и ныне сказок много. Поди, чего врут, долго ли пулю пустить. Говорят, две лодочки вместе соединил, меж ими приспособил колесо с лопастями, крутил ногами и вдоль берега красиво ездил. Он двух гусей диких приручил, ручные стали, как овечки, его голоса только и слушались. Куда ехать надо, дедко кричит: тиги-тиги, они, гуси-то, и летят откуда-то на голос и на нос лодки садятся...

Он было еще ножную мельницу изобрел, да самоход колесный, грузы возить. Вот ум-то: ум царский, богом дан, да не в то место вышел. Чу-дак был... От него старший сын Алексейко — это мой батя, а вторым шел Федька, который после повесился.

Слушай, я было всех-то родичей кровных сто пятьдесят насчитал, кто ныне вживе — да и устал больше счи-

тать. Это по мужикам считал, а еще девки ушли в другие семьи и там расплодились, дак это полагай, что по всей земле Крени распылились. Собери их теперь. Уже как чужие, только по слухам, что родня. У меня самого три парня, да три девки, да сколько-то померли. Я было иду с охоты, а мне навстречу со слезами, кричат: у тебя девка меньшая померла. Я и говорю: ладно, что померла, новую сделаем. Ха-ха...»

Играть в карты я скоро отказался, да и к чаю позвали, а Хрисанф все так же сидел с краю кровати, жевал язык. Я мельком глянул в зеркало, боясь увидеть отекшее противное лицо с синими подглазьями и серые щеки с проступившими порами, но, может, свет солнечный, проникая в горницу, так рассеял воздух, такие искусные тени соткал, что я поначалу и не узнал себя в жемчужном зеркальном полотне: там парнишка выглядывал на меня, вовсе молодой, благорастворенный, иссиня-черные волосы распадаются на два крыла, открывая ровный пробор, в коричневых, слегка вытаращенных глазах родился живой блеск, и в глубине зрачков крохотные свечечки зажглись. Кто это, и неуж я отразился? И даже развесистые, побелевшие от долгого сна губы не портят ныне моего обличья.

К чаю-то позвали меня, а на кухне, однако, еще не пришей рукав, стряпня в самом разгаре. У Серафимы, как живые, бились под байковым халатиком острые лопатки; она с раннего утра, как заведенная, не вздохнула еще, не передохнула, и сейчас вот, высунув от усердия язык, что-то взбалтывает деревянной ложкой в большой миске, порой палец окунает и облизывает, пробует на вкус свое творенье. «Тимоша, мы вот видишь как... С Настасьюшкой-то раздумались да и решили: гость в доме, а у нас корка сухая, верно?» Настасья у печи орудует помелом, у нее все ухватки домовитые, бабьи: обернулась с веселым вызовом, вся расцветшая от печного жара, слегка шальная и захмелевшая от огневой дури, и на упругих щеках две вдавлинки тоже заполнены зоревой водицей. «На пожарника сдали, Тимофей Ильич? — спрашивает она насмешливо, задерживая на мне взгляд, и впервые на ее лице я не вижу печали.— Пролежни, поди, на боках-то?» Я глупо улыбаюсь, ибо в ее словах мне чудится какой-то иной, скрытый смысл. Но старенькая Се-

рафима нас не слышит, перебивает на полуслове, она уже завелась, у нее память потекла:

— Слобожане-то кофейники, ой кофейники. У них прозвище от веку. А кофе без печеного не живет, без сдобы какое кофе, верно? У нас на свадьбу придут, так первым делом спрашивают, а кто стряпал. Если из кулинарии принесена стряпня, значит, и свадьба худая...

— Тимофей Ильич, вы ручки-то склали? — уколола Настасья.— У вас ручки-то золотые?

— Ты, девка, что? Он ведь гость,— притворно возмутилась Серафима и засмеялась.— Фартук-то Тимоше, наверное, хорошо пойдет. Он ростику маленького, верно? Он как девушка будет, как дочка мне.

Настасья, не слушая мать, ловко окрутила меня полотенцем, посадила к мясорубке молоть картошку, и я, как теленок, готовно подчинился.

— Бывало, кулаки-то в Вазице сочинили: «При царе при Николашке ели белые олашки. Нынче правит исполком, всю солому истолкем». А я им-то: погодите, еще придет время, когда белого хлеба не захотим. Нынче и случилось. Нынче лавошного и не хотят, вся Слобода в субботу свое рукодельное ест.— Серафима споткнулась, задумчиво пожевала, слиняла лицом, уставясь в распахнутое зеленое окно, за которым оглашенно пела воля. И Серафима согласно и тихонько подтянула: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит. И много простора, и много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит...» А смешно сказать: друг у дружки бабы секреты воруют. Соседка забежит, будто бы за крылом, листы подмазать нечем, а сама глазищами сверк-сверк... Кажноденного-то сортов пятнадцать пекут, шаньги всякие да пироги — это в каждом доме безвыводно, к чаю подавают. А другие мастерицы по праздникам к кофию одних сдоб только сортов тридцать вынесут на стол. К каждому празднику своя стряпня, рождество ли, пасха, масленица, именины возьми. На именины, когда с глазами была, и я пекла: вот крендель с изюмом, это первейшее дело. И чтоб высокий был, пышный. Если крендель не поднялся, то имениннику жизни мало осталось. А если в кренделе пустота, значит, умрет человек. Если крендель неудачный, вот и изворачивайся, охай-ахай. И этот не выбросишь, жалко ведь добро переводить, и на торжество не покажешь... Наверное, сбывалось, раз такое из века шло, верно? — Серафима задрала бровки, при-

слушалась к кухонной суматохе, вздохнула.— Не-е, зря-то не стали бы выдумывать. Иногда чудно: печется крендель, в гору подымается, и вдруг — пых, и сядет. А еще пекла я торт наполеон, пряник черный с начинкой, пряжье, калачи сдобные, ромовки, песочники, вареннички, розочки, пирог с семгой, с палтусиной, с вязигой, с нельмой и обязательно с треской и яйцами, безе, ватрушки сдобные, пирог ягодный, печенье сахарное, хворост, пряник мраморный, слоеное, трубочки, торт мятный. Задохнешься, пока выговоришь. Да всего и не перечислить. И без кулинарных книг. И что мне любопытно всегда: отъедь от Слободы за десяток километров в соседнюю деревню — и ничего на стол не подадут, кроме шанег картофельных...

— А я люблю картофельные шаньги. Мне ничего и не надо другого,— сказал я, чтобы только привлечь Настасьино вниманье. Но она не оглянулась, занятая у печи своим делом, терпко раскаленная жаром, но легкая, веселая в работе, красиво поставленная на ровно скроенные ноги; да и все-то у Настасьи — грудь ли, шея, ямочки на локтях — было слеплено не то чтобы изящно и тонко, но зато женственно и приманчиво своей здоровой плотью, которой была не тягостна утомительная бабья стряпня. Вот и первые шаньги возникли, золотисто сияющие, с медовым румянцем с исподу, выкатились из печи под полотенце, источая дразнящие ароматы, и так вкусно сразу запахло в кухне, что все прочие житейские запахи отступили и потухли — и сразу захотелось есть. Такой силой обладает хлеб, что он как бы молодит человека, отымает у него прожитые годы, ставит его на ноги, даже самого больного, и от одного лишь взгляда на веселую стряпню душа начинает тихонечко гудеть. А если картофельную шаньгу, еще таящую в глубине своей ровный жар, да погрузить в топленое масло — изнутри морошечной желтизны, а сверху слегка вспенившееся — и после, слегка помешкав и впитав в себя этот сытный дух, да отправить в рот и неспешно раскушать, то словно бы нектаром смажут твои черева, и этот плотный здоровый вкус разом заполнит тебя всего и возвеселит. Вот почему в застолье у русской стряпни я не видал ни одного скучного человека, и даже самый болезный, страдающий недугом, коему не назначена такая выть, только напитавшись дурманящим духом, какой отдали добрая печь и бабья душа, шелковая мучка да дрожжевая подъемистая кислинка,— даже

он зарумянеет, и пусть на крохотное мгновение, но оттает его тоскливый взгляд. Да если еще молодая стряпуха правит застолье, близкая твоему сердцу...

— Ну и вкуснятина. Ты у нас, мама, самая мастерица на всем свете,— с жаром воскликнула Аннушка, ломая шаньгу и уплетая с таким восторгом, что за ушами пищало, но вместе с тем и не забывала ногами мотать в подстолье и локтями орудовать.— Ты у нас из всех мам самая ловкая мама,— сказала льстиво, стараясь заранее задобрить мать, но в то же время и полная любви...

— Ты-то уж помолчи. Может, и есть вовсе нельзя...

— Да не едим хлеба мягкого или горячего, да пускай переночует. Ибо от него многие стомаховы болезни рождаются,— отчего-то вдруг вспомнил я и, виновато улыбнувшись, скорее поправился, чувствуя неловкость сказанного: выходило невольно, что я как бы хулил стряпуху и ее стол. Настасья сидела внешне задумчивая, но по рассеянному взгляду ее и смутной улыбке чувствовалась внутренняя лихорадка, томящая и пугающая ее.

— Вы чего-то сказали, Тимофей Ильич? — вернулась Настасья на землю.— Аннушка, будь человеком, христом прошу. Дай людям хоть сегодня спокойно посидеть,— нарочито взмолилась.

— Все правильно написано. Хлеб толстый, ковригу жаром не прохватит всю сквозь, дух тяжелый в мякише долго сидит. А в нашей-то стряпне корочка тонехонькая, да на масле, да на ровном жаре — это одна польза. Шанег-то горячих, помню, намачешься, так потом весь день как в бане ходишь, из тебя тепло так и прет,— смиренно говорила Серафима, вся масленая, ублаженная.— Дедко, ты где? — вдруг закричала.— Ты что, голодовку объявил?

— Дед вином сыт,— съехидничала Аннушка, наверное подражая старшим.— Ему бы опохмелиться.

— Ты вот большая, а мелешь ерунду,— пробовал я внушить Аннушке уважение к деду. Но, наверное, от шанег голос мой был тоже масленый и сытый.— Ты была такой крохотной, что аист едва отыскал тебя в осоте, когда принес и подарил маме. Зря, наверное, мама согласилась.

— И врешь, и врешь все. Меня не аист принес, вот, и не в капусте нашли. Я тоже буду мамой,— ответила Аннушка, пристально взглядывая, наверное, чтобы узнать, нет ли тут насмешки.— Это у вас глаза хитрые, значит,

вас аист принес. А у меня глаза грустные, и я вышла из маминого животика.

— Как из животика? — играл я на правах взрослого и, поймав взгляд Настасьи, подмигнул ей нерешительно.— Но ведь у мамы нет живота.

— Когда был, я и появилась. Правда?

— К чему такие подробности? Помолчи,— пробовала остановить Настасья.

— Ну и не скучно тебе было там?

— Ой скучно, так надоело сидеть. Темно, одиноко, я со злости ножкой тук маму в животик. Правда, мама?

— Прекрати глупости! А ну марш из-за стола,— оборвала Настасья, сразу потемнела лицом. Дочь выскочила из-за стола, хлопнула дверью, закричала из горенки пронзительно, со слезой:

— За что меня казнишь? Де-до, защити, они меня убивают, они не дают мне развиваться. Сами шаньги уплетают, а я как собачонка.

Дверь снова распахнулась, осанисто появился Хрисанф, оглаживая щетинистый подбородок, а из-за его спины, не в силах скрыть ослепительной улыбки, выглядывала Аннушка.

— Она убьет меня,— прошептала Настасья.

Серафима очнулась, вдруг спросила в темень, окружающую ее:

— Тимоша, ты здесь?

Я отозвался.

— Значит, школу прикрыли, рожать, говоришь, некому?

А я приехала туда в двадцать третьем году, когда мне шестнадцать лет было. Сегодня себя во сне видела, мне три годика, я в бантиках, на венском стуле, на коленях поднос серебряный с рыбиной, большая такая семга. Рыба — это не к добру, верно? Трех годиков себя увидела, это откуда я взялась такая, если не помнила и не знала себя. А еще видела недавно, мне будто годик, нет, постой, шесть месяцев: меня мама закутала, принесла в избу чужую, там вдруг лампы зажгли, меня ослепило, и я заплакала, так горько зашлась. Много девок было кругом, и они все смеялись.

...Не поверите, но я же самой первой учительшей была в Вазице; школа в крохотном флигельке напротив поповского дома, в одной комнате все занимались. Однажды зимой вот так же сидим, а такой буран, светопреставле-

ние, нас снегом и занесло, мы и выйти не можем, хоть караул кричи. Хорошо, женщина пришла за сеном, мы ей в отдушину крикнули, так отгребла нас.

...Как уезжать, помню, отец мне и сказал: «Серафима, куда ты согласилась, никто туда не едет, там же край света». А я на его слова не то чтобы заплакать, так засмеялась. Готова была хоть к черту в охапку, да только от родного дома подальше. Мачеха невзлюбила меня, бабушка старая с кровати не подымалась, пожалеть меня некому. Затерялась я на свете, как пуговка от пальто. Однажды и задавиться намерилась. Встала у лестницы, веревку наладила, а решиться не могу, слезами заливаюсь: «Ой, почему меня мама оставила одну». Хорошо, крестный отец шел, да услыхал, что в темноте кто-то ревет, запалил спичку, увидел веревку, потащил меня с собой, да отца с мачехой и отхлестал веревкой той. Он буйный был в гневе, и его боялись... Семь классов не кончила, месяц на курсах побыла — да и в Вазицу. И хоть бы вспомнила там дом родной, ни разу не вспомнила... Мы тогда как-то весело жили, сами все и придумывали. Пойду, в зарод что-нибудь зарою, карты нарисую, а за ночь снегом все заметет, вот карты раздам ребятам и говорю: ищите. А однажды задумали девчата кудесить и меня соблазнили. Рассыпали мы костер дров, бежим по домам, хохочем, а председатель сельсовета услыхал, с фонарем выскочил. У меня в малице сил нет бежать, я вся запыхалась. А девчата ускакали, мужик-то меня и поймал, да головой в снег поставил и снегу в малицу натолкал. Еле я до дому доплелась, девки впокатушку надо мною, а мне слезы. Наутро в сельсовет надо идти по школьным делам — а мне стыдно. Навек такое запомнишь.— Серафима задумчиво уставилась в потолок, жевала губами, радостно живя в той, далеко отплывшей жизни, и вдруг рассыпчато захихикала, наверное представив тот рождественский вечер и страх, который пережила она, когда воткнул ее председатель в забой вниз головой и стал набивать в малицу снегу, а ведь штанов тогда не шибко носили: ах ты грех... Серафима снова дробненько закудахтала, хлопала себя по усохшим бедрам, а Хрисанф супился, сверлил жену суровым взглядом, словно бы ему неудобно за супругу перед гостем, и вдруг не выдержал, сказал:

— Не нами говорено: нет ума рожоного, не дашь и ученого,— и тоже угрюмо хохотнул. Серафима сразу



споткнулась, тоненько воскликнула, обидчиво поджимаясь вся:

— А ты козел вонькой.

— Какой ни вонькой, а сорок девять лет, считай, рядком проспали — вот,— победно подвел черту старик, и так же гордо оглядел застолье.

— Дура была, ду-ра. Нынешний бы ум...

— Я про што и говорю. Сама и подтвердила,— гугнил Хрисанф, однако из настроя не выпадал, за словом не терялся и, несмотря на косноязычье, говорил емко, чем особенно и досадил жене.



— Ну, будет вам,— вмешалась Настасья, не желая разлада. Она ловко управилась с делами, отхлопотала, а сейчас, еще жаркая от печи и забот, присела возле матери, ласково притянула к себе за плечи, но, однако, не забыла ревниво оглядеть стол — все ли на месте, не упустила ли чего — ведь так старалась родителям угодить.— Ну, будет вам, мамушка,— снова жалостно повторила. Этим утром ей так захотелось посидеть за столом долго и мирно, без суеты и громких слов, торжественно, не спеша чаевничать у песенного самовара и, отдаваясь этой простенькой утехе и в душе так желанно любя всех, сидящих

около, больше ни о чем не думать и ничего не желать. Но не зря же говорится: человек предполагает, а бог располагает, с одного боку горит, а с другого подтекает. Леший вдруг гостью за руку привел именно в ту минуту, когда Настасья и первой чашки не допила, когда только-только душу отпустило. А незваный гость — хуже татарина, не знаешь, как себя повести, да куда его устроить, чтобы поскорее вон выпроводить, чтобы, упаси бог, не засиделся пришелец.

По тому настроению, с каким встретила Серафима, как скисло ее смуглое личико, я понял, что ей-то гостья, словно соль в рану: так защипало старую, так свернуло на один бок, что она потупилась в стол — и ни здравствуй, ни прощай. Зато Хрисанф ожил, засияли его эмалевые глаза, даже сивые кудри, годами не чесанные, загуляли, так вдруг загорелся старик. «Шура, Шура, чаю не хошь?» — повторял он и все табуретку волочил по полу, не зная, как удобнее приставить к столу, и стряхивая с нее невидную пыль. «Да какой чай с утра, я с утра чаю не пью», — отказывалась гостья; была она плотная, осадистая, с ядреным зоревым лицом, где носик трудно отыскать меж упругих щек, не инкубаторная, не синь-молоко (бывают и такие, что просвечивают сквозь, как банные листики, и даже душу видно, как она едва-едва бьется, сердешная), а из той породы гулевых ненасытных баб, которые с возрастом будто и не сгорают от постоянного телесного жара, и только по волосам, по шестимесячной завивке да по тусклой сетке морщин и можно выведать годы, да и то с большим огрехом.

Шура приводилась Серафиме невесткой, была жена брата Антона, и про нее рассказывали в Слободе всякое и такое, что и сказать совестно (но поди проверь, наколоколят бабы, пустят пулю, не дорого и возьмут, лишь бы ославить человека), правда, то достоверно, будто с Антоном сошлась она через кучемского колдуна лет десять назад: пошла вдовая Шурка к тому колдуну, поплакалась на свою судьбу и на безответную любовь, и присушил колдун Антона к Шурке за зарод сена в шесть промежков, да так неразлучно соединил, что бросил мужик жену свою и шестерых детей, а взял вдову с тремя. И те шестеро, что на стороне, выросли незаметно и выучились, а которые и на должность хорошую встали. Антон однажды ездил смотреть их в Архангельск, когда они собрались на материны именины, съехались отовсюду, грамотные,

красивые, и когда отгуляли гостьбу, то объявили отцу своему, дескать, больше не приезжай к нам, ты теперь нам не папа, мы тебя больше не знаем. «Какие жестокие, но так и надо, так меня и надо»,— вспоминал Антон о той поездке и обычно плакал, и с ним становилось дурно. Да и в новой семье не отыскалось ему душевной крепости, та страсть быстро отгорела, жженые листья и уголья раскидало ветром, осталось лишь зольное пятно на былом кострище, быстро обметанном сорной травой: новых детей у них не завелось, а неродные — как-то рано и очень охотно сбились с пути, запили, к учебе не тянулись, а после и разлетелись они по стране без вести, без памяти. А Шурка с легким сердцем вдруг запила, с мужиками заиграла еще лютей, но болезни ее не брали покуда, и частый хмель не старил, только вроде бы на дрожжах разносило ее и все сдобнее, приглядистей становилась баба. Не раз и не два средь зимы отыскивал ее Антон пьяную под забором и, закатив на санки, будто мешок с мукой, тянул домой отхаживать. «Сдохла бы, и пускай, чего ее жалеешь?» — в сердцах упрекала Серафима брата, но Антон лишь отнекивался и печально говорил, дескать, вот однажды уже совершил непростимый грех по слабости сердечной, бросив шестерых кровинок своих, и бог его за то наказал страданьем, и надо ему, Антону, до конца дней своих тот грех замаливать...

Привалилась Шурка к стене, поглаживала широкие бедра, обтянутые голубеньким крепдешином, мимоходом и грудь обласкала и всколыхнула, и будто случайно на мне остановила сонный пушистый взгляд. Хрисанф весь извертелся на стуле и про чай забыл, и про застолье, бесстыдно себя вел, желая попасть Шурке на глаза, но та на него — ноль внимания.

— Да, вот что,— закричала вдруг, спохватившись. — Иду к вам, на заулке Анька играет и мне-то... Ты, говорит, Шурка, б...— Гостья пробовала раскатисто засмеяться, но всколыхнулась — и затихла, видно, воздуху не хватило: знать, не долго ей осталось гулять.— Я ее поймала, заразу. На вид — синь-молоко, лядащая, в чем душа только, а такая лешачиха, как молотами сбита, столь туга. Мне и не совладать... Ну дети пошли, Хрисанф Алексеевич, тебе такую внучку бог послал, живо все слова выучила... Ой, лешаки окаянные,— притворно иль душевно вздохнула, и последние слова ее были пронизаны искренней печалью, видно, вспомнила

вдруг о сыновьях.— Ради них и живем, а они?.. Много-то не надо, куда с има, а одного дитеша надо. Без них и жизнь-то неинтересна, без зараз лешовых. Я к вам вот зачем шла. Антошу моего не видали? Пошел — и как в воду.— И она впервые особенно взглянула на Хрисанфа, и в глазах ее мелькнуло блудливое и приглашающее, дескать, не мешкай, старик, ухватывай, пока свободна, пока безнадзорна.— То дак пасет дедко, шагу не ступить, а тут, как помер,— снова засмеялась и лениво пошла к двери, оставляя после себя запах пота.

— За сучонкой-то не убежал следом? Чего застрял? — тихо спросила Серафима и, словно убоявшись внезапного мужнего гнева, скорее убралась в свою норку за голубенькую дверь, прикрылась ею и закурила порывисто.

— Иди, ну, иди, кочерыжка тоже. Чего скрылась, ты слежку устрой. Тьфу на тебя,— сплюнул Хрисанф, но не успели супруги по обыкновению начать перепалку, как новый гость явился. Как я узнал после, это и был Антон, с утра искавший жену.

— Моей-то у вас не было? — с порога спросил он и сразу повернулся спиной, готовый так же тихо раствориться в сенях.

— Это ты, братец? Да только вот была, запах не изветрился сучий,— остановила Серафима, слепо выглянула из-за двери.— Попей чаю-то, охолонь, голубеюшко... Ой, мужики-мужики, и на кого вы зaритесь.

— Тебя не спросили,— отозвался Хрисанф, а брат промолчал, остался у ободверины, косо опершись на нее и отставив ногу, сам нервный и трепещущий; на его дубленом, словно бы до самой кости изглоданном изнутри лице язвенника только один пепельный глаз светился ласково, а другой, затянутый белой птичьей пленкой, был неровно и неплотно прикрыт веком. Антон все время норовил встать боком, показывал здоровую половину лица и при этом постоянно дергал головой, будто бы пришивной,— это и поныне отзывалась застарелая фронтовая контузия.

— На рыбалку не собираешься? — ласково спросил Антон, не глядя на Хрисанфа, и рукой манерно, по-женски взмахнул.

— С тобой-то не-е, деревянны деньги,— ядовито протянул Хрисанф, намекая на тот случай, когда шурин

обещал на окуней сводить и так неверно поступил.— С тобой-то, товарищ дорогой, я связался, дак и забыл нынче, как рыба пахнет.

— Не можешь — не берись, так скажу. А я без рыбы и мяса не сижу,— прихвастнул Антон.— У меня еще прошлогодней два ушата, да весенней щуки два ведра малированных... Я было два журавля убил в мае да отеребил, дак Шурка, баба моя, в печь палить засунула, а обратно из устья едва вытянула. Во я каких огромных журавлей свалил оногдысь.

— Ты соврешь и недорого возьмешь,— подмигнул мне Хрисанф, приглашая полюбоваться на такого записного враля.— Он и ружья-то на веку не держивал, а вон чего мелет,— разыгрывал старик шурина и все подмигивал мне, непрестанно и широко улыбался.— Это же с ним было, Тимофей Ильич. Пошел на охоту с лицензией на лося, а убил лошадь. Скажешь, не было? — травил Хрисанф, понуждая шурина к откровенности.

— Ну, было, а тебе чего, радость? Дак то ошибка,— совестно мучился у двери и переживал Антон, часто взмахивал рукою и стеснительно глядел исподлобья здоровым глазом.

— Вот и расскажи гостю, ему интересно знать.

— А какой тут интерес... Ну, значит, пошел на лося, все честь по чести. Вижу, в кустах чернеет, я бах — и наповал. Вижу — лошадь повалилась в оглоблях. Ой горе, хоть прирезать бы. Только нож вынул, а хозяин сзади с топором бежит. Снег высокий, я в ноги ему кинулся, верное дело, тот и упал. Только и спасло. Ну, заплатил за лошадь пятьдесят рублей да за лицензию двадцать... С кем не бывает, но вы уж, Хрисанф Алексеевич, меня да сразу позорить при госте. Я, конечно, если судить по высокому тону, то не вам ровня. Я по охоте да по лесу себя не возвышу. Но только я чужого оленя не убивал тайком, как вы, да не крал, да валенки задом наперед не надевал, чтобы следы запутать.

— Ох, и ловок, ну и языкат, меня, беззубого, как заговорил,— отвернул в сторону Хрисанф и сразу невнятно загугнил, сморщился, вроде совсем язык потерял, но сам втайне помрачнел и сивые кудри сбил на глаза. Только дочь Настасья была неожиданно спокойная сегодня, и добротою светилось ее скуластенькое смуглое лицо. Шурин прощально и нелепо взмахнул рукою и боком выскользнул в сени, а когда заглохли на заулке

его шаги и в кухне впервые за утро установилась тишина, Настасья предложила вдруг пойти к реке:

— Мама, ты наденешь новый халатик,— сказала она,— я тебя наряжу, как куколку, я тебя накупаю в реке, голову тебе намою, а то ты, как серенькая мышка-норушка.— И впервые я услышал, как она смеялась, запрокинув голову, заразительно и освобожденно, и все же печально.

— Может, и ты с нами, Хрисанф? — робко попросила Серафима и попыталась погладить мужа по груди.— Всеми и пойдем, верно? И Тимофей Ильич с нами, как хорошо.

— Я не-не... Ты с ума сошла? — испуганно замахал руками Хрисанф.— У меня не с ваше забот.

Серафима сразу поникла, заугрюмела, обиженно опустились губы. Она скрылась в горенке и там долго и слепо, не дождавшись дочери, рылась в большом сундуке с резными косячками и с пружинной крышкой, из которой торчал навсегда застрявший ключ, и швыряла на пол кофтенки и платья, еще старого покроя, великие ей нынче, пока отыскала розовый халат, пахнувший нафталином. «Он сейчас напьется и к сученке своей. Мы уйдем, а он, собака, только того и ждет»,— бормотала она, готовая зареветь. Я случайно оказался возле окна и сейчас неслышно стоял, не решаясь уйти, чтобы не выдать себя, слышал ее ревнивые предположения, но мне отчего-то было жаль их обоих.

Река пела под солнцем и серебряно светилась. Она показалась неожиданно, сразу вошла в меня, покорила и ослепила. Все житейское откачнулось, и я словно бы вернулся в детство. Даже самая зачугуневшая душа, наверное, встретившись с рекою, невольно заскорбит поначалу, а после тоскливо и маетно заворочается, затрепыхается и вдруг вскинется под самое горло от детской радости. Такая сила у вольной просторной воды.

Я от одежд желанно освободился, словно от изношенной кожуры, недоумевая, отчего столько дней жил возле текучей воды и не навестил ее, не погрузился на живое мерцающее дно, полное смутных переливчатых теней. А оглянувшись, заметил, что с такой же хмельной торопливостью разделась и Настасья, точно бросовую ветошку, спустила к ногам полосатую юбку и туда же небрежно кинула кофту; Серафима, ровным пакетиком сложив розовый халат, оказалась вдруг в длин-

ной до пят полотняной рубахе, со складками от долгого лежания, и стянутой под шеей тесемками, похожая сейчас на деву пречистую иль староверку перед смертным омовением. Свет, стекающий по сводам хрустальной чаши, наполненной зноем, омыл ее снежную голову и позолотил. Лишь Аннушке было не до прочего, ей некуда было возвращаться, она скользкой рыбой вошла в реку, как в родной дом, и через мгновение ее остренькое любопытное личико откачнулось по течению куда как далеко; мать, лишь для порядку погрозив ей, торопливо вошла в воду и так же торопливо присела, пугливо охая, а после позвала Серафиму, но, не дождавшись ее, вышла на берег, и безмятежно, и радостно отдавалось солнцу ее шоколадное залоснившееся тело... Но старая, наверное, не расслышала зова: она сквозь слепоту, как через задымленное стекло, видела, наверное, ровный и мутный слиток солнца, а пониже его длинную чешуистую змею, едва намеченную в пространстве, которая и оказывалась рекой. Эта змея шипела, подымалась на хвосте, и, казалось Серафиме, только протяни ногу, и сразу обнаружишь скользкую и холодную змеиную плоть. Но тут смех нарушил ее видения и всплеск воды, тут опахнуло Серафиму теплой прелью с отмелей и робким рыбьим запахом, обволокло клеверным настоем, особенно терпким на бережине, и старушка, словно зачарованная, смело пошла в реку; вода на отмели, прогретая точно щелок, охватила деревянные, всегда мерзнущие ступни и всю обожгла Серафиму до самого горла. Старушка вздрогнула и внезапно заслезилась.

Несильная накатная волна подхватила полотняный подол, обжала белую рубаху вокруг иссохших икр, потянула старенькую в себя, в щекотное жадное лоно, и Серафима вдруг испугалась чего-то, может, видений, ознобно вскрикнула и повернула обратно, запинаясь в песке. «Мама, ты чего? — обняла ее Настасья.— Пойдем, я тебя накупаю, я тебя намою, волосики тебе расчешу, будешь ты у меня как куколка. Уж забыла небось когда и купалась?» — «Возле реки живу и не купывалась»,— чистосердечно призналась Серафима и покорно направилась за дочерью. Они шли рука об руку, и сзади старая мать казалась дочерью своей дочери... Какое странное это время: оно не имеет реального обличья, это какая-то мара, кудесы, чудеса, странная и

страшная игра с человеком; оно вокруг нас, мы живем в нем, как рыба в воде, и нам не дано коснуться его, всмотреться и определить в нем самих себя. Ведь стрелки часов иль движение светила по небосводу, по которому мы определяем лишь собственное движение,— это лишь утеха нашему воображению, чтобы оно не расстроилось вконец. Но откуда приходит время и куда девается оно, как представить?

...Они заходили в реку, переливчатый свет размыл очертания, и сейчас на расстоянии Серафима была дочерью своей дочери. Удивительно, как откровенны старики и малые дети в своей наготе и как естественны: их не тревожит чей-то любопытный взгляд, словно бы нежная кожа от долгой жизни задубела и превратилась в кожуру, а душа так опростилась, что вернулась обратно в изначальное состояние, вовсе лишенная грязи и пороков. Вот и сейчас Серафима, не стесняясь меня, готовно скинула нательную рубаху, сунула ее дочери, присела, заохала на всю реку, а после стала плескать на себя пригоршнями и счастливо смеяться, задыхаясь изношенным сердцем, словно бы щекотали ее. Настасья ласково уговаривала мать, будто маленькую, намыливала ее всю с головы до колен, а после омыла терпеливо и жалостно ее худобу и на берегу покрыла длинной полотняной рубахой, уже высохшей, и лишь тесемки под горлом не стянула, чтобы и туда, в пазушку испитой груди, выкормившей стольких детей, тоже попал небесный жар и хоть на мгновение, да оттеплил и оживил ее. Мне бы отвернуться ради приличия от этого омовения, ведь неудобно и совестно подсматривать за наготой, особенно старой, но я против воли, однако, все-таки любопытно озирался и вдруг поймал себя на том впечатлении, что все плотское неожиданно стерлось, рассеялось в золотистом воздухе и теперь виделось, как на потрескавшемся от времени полотне, где будто бы все происходившее на картине и ныне живо до волшебства, хотя на самом-то деле уже так далеко в отхлынувшем времени и невозвратно, и сейчас не более чем обман, наваждение, чары...

Обиходив мать, Настасья и дочь вытянула из воды почти насильно, и та устало зарылась в белый жаркий песок, оставив наружу лишь острую зверушью мордочку и любопытно приглядывая за нами.

— Внуча, ты где, внуча? Как хорошо-то! — почти



всхлипывала Серафима и, не дозвавшись устало притихшей Аннушки, разом и забыла ее, уселась, где пожелалось душе, вытянула худые ножонки пятками вместе, заголила рубаху по колено и, оглаживая их, словно бы успокаивая от нытья, молитвенно обратилась к нам ли, к небу, иль к самой себе.— Осподи, хорошо-то как! — И ласково затянула голоском, колеблющимся слегка: — «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит. И много простора, и много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит...» — Но вдруг перебила

песню, скомкала, видно, что-то открылось ей в памяти, удивило и больно поразило.— Это что выходит, деточки мои? Это как ребенком сюда бегала, больше и не бывала, что ли? Зренья во мне не стало, а я все вижу лучше, чем видела... Доча, ты трусики-то выжми, это нехорошо, мокрые-то трусики, можно застудиться... «Шутя ее ранил охотник безвестный, она умерла, трепеща в камышах...» Как в детстве бегала, больше и не бывала у реки. Не приведи кому без глаз остаться, это хуже, чем без ума. Я второй год без глаз, а как умерла. Тете Мане каково пришлось, коли двадцать лет в потемках была. Это как в темнице, это как в землю лечь живой... Аньке штанишки смени, ты слышь, Настасья? Да в реку больше не пускай. Она как дорвется, хуже сатаны... Ой, хорошо, девки-парни-и.— Серафима дробненько залилась, радая всему.

— Все уже сделала, ты успокойся,— сухо откликнулась Настасья, не ворохнувшись однако, ибо давно уже не слышала никого: она лежала на спине, взглядом утонув в небе, но мыслями погрузившись в себя. Даже здесь, на воле, у края желанной реки странная смута бродила в ней, и по тому, как потухше глядела порою на меня, я сознавал, что куда как далеко она отплыла сейчас.

— А я ночью сказку сочинила,— вдруг просто призналась Настасья, глядя в небо.— Мне сказка приснилась... Без людей, без жизни, просто приснилась сказка. Я будто сочинила ее, всю ночь сочиняла и очень устала, а проснулась — и все помню. Она длинная была во мне, сейчас я пыталась припомнить ее, а она укоротилась вдруг... День не прошел, а она укоротилась.

— Я однажды на гармошке во сне играл...

— Это все известно, не то,— грубо оборвала Настасья и отвернулась порывисто, напрягшись спиною и вздрагивая плечами, словно бы заплакала безутешно от жалости к себе.

— Ну прости, прости,— пересилив недоумение, повинился и даже протянул руку, желая коснуться ее плеча: мне так хотелось обнять Настасью, обласкать ее слегка надломленную в горести шею и круглые плечи, сейчас покрытые испаринкой, и ложбинку спины, призрачно осыпанную белесым пушком. Так все радостно было мне в этой женщине и желанно, что я задохнулся: я боялся и неловкого слова, а еще более — молчания, тревожного и зыбкого.— Ты только начни, и сказка твоя очнется.

— Странный сон без лиц, без природы, без меня, и только мой голос будто бы повторяет следом мой же голос,— глухо начала Настасья, заикаясь.— В общем, однажды одному народу стало плохо, он умирал от вражды и голода. Нет-нет, не от вражды,— поправилась она и стала рассказывать монотонно, оцепенело.— Они не от вражды умирали, а просто все жили сами по себе, за оградами, боялись друг друга, боялись появиться за оградой на белый свет, на охоту выходили средь ночи и, конечно, никого не могли убить в темноте... Что-то путано получается, а когда в голове, то все по-другому, красиво... И тут одному самому доброму и светлому старику приснился вещий сон: будто кита бог дал, его выкинуло на берег, и если все по совести станут жить и по-братски делиться, то им надолго хватит того мяса, а может, и навечно. Старик подивился тому сну, рано утром побежал на берег, видит, кит лежит, такая ли туша, и хвостом брякает. Старик к народу побежал, стал в дома стучаться, а люди не верят, закрылись на засовы. День бегал старик по деревне, другой, а на третий вернулся на берег — кита нет. Народ же голодом сидел да и не выдержал, и на берег кинулся. Ну, старик сидит, а кита нет, и словно не было. Мужики и убили человека: будто обманул он их. Он-то кричал им, мол, вы сами повинны, в вас веры нет... Убили они старика и обратно в избы вернулись. Снова сидят день, другой сидят, а на третий — страшно стало: пришли они на берег, стали разбираться, кто убил старика, ведь на каждом вина, и снова... Нет, не в том дело. Я вот сейчас думаю, почему они убили человека? Вроде бы он благо нес, он же не обманывал, это неверье их погубило, ведь так? Это неверье их обмануло.

— Он любви не разбудил. Он лишь отдельные страхи объединил в общий страх.

— Но как тогда разбудить в человеке любовь?

— А есть ли она вообще, вот вопрос. Это так сомнительно, что ой,— вдруг жестко, с неожиданной неприязнью сказал я.

Видно, тон мой Настасью взбесил и оскорбил, лицо ее побледнело, заострилось, и она вдруг не сдержалась, почти закричала фальцетом, и взгляд ее был полон ненависти ко мне:

— Заучил чужие слова! Если нет любви, то их-то, детей, куда? Ею живем, ею.

Настасья готова была кинуться с кулаками.

— Это эгоизм и самовнушенье,— уже не мог остановиться и я. Бес правил мною, и, чувствуя, как понесло, закружило меня, я внутренне захолодел. И уже не испытывал к Настасье недавних влечений, близких к поклонению, и со странным брезгливым любопытством заметил вдруг, что у нее слишком широко поставлены глаза и окружены частой насечкой ранних морщин, а нос туповатый да и губы отвисли подковкой, посинели в углах, наверное, от жары, а тяжелый волос побит ранней толстой сединой. Откуда, из каких черных глубин возбуждалось во мне это мрачное любопытство? Значит, эта тьма постоянно клубится во мне?

Женщина растерялась, огляделась вокруг: дочь ее сонно грезила, затемнив ресницами глаза, Серафима все так же сидела, ровно протянув ноги, и деловито охлопывала вокруг себя песок, она глядела на солнце, и тусклый свет его словно бы проникал в ее самую плоть, окутывал сердце, чтобы запечатлеться надолго, когда вовсе задернется перед ее взглядом тьма; далее, в стороне от расплавленной реки, словно бы остановившейся нынче и слегка колышащейся в своих пределах, лежали вызревающие луга, и над метлистой травой рисовался долгий клюквенно-яркий угор с длинным рядом солнечных домов и башенкой ветряной мельницы, редкие пуховинки скатывались по склону неба за реку, и от них по шелковистым бережинам скользили темные прозрачные отражения.

Потом она перевела взгляд на меня, и он неожиданно оказался жалостным и внимательно проникающим, словно бы Настасья вдруг прочитала мою душу и за шелухой слов уловила их дальний сиротский смысл. И она заговорила тихо, мягко придыхая, вплотную надвинувшись:

— Ты слушай меня, есть любовь-то, есть. Тогда зачем жить, если нет? Ласка — есть, любовь — есть, дети — есть, и мы с тобой — есть.— Она споткнулась и чуть ли не со слезами на глазах попросила: — Не смейте больше так, ладно?.. Я вот все думаю, что мы, бабы, нынче не своим делом занялись, нам захотелось волю проявить, дурное насилье, эгоизм, хотим на что-то влиять, мечтаем открывать, возноситься и двигать другими людьми. Какие-то дурные мы стали, верно? Бабье, сокровенное все порастеряли — тихость, верность, женственность, полумужичьем ходим, даже походка мужичья стала и голос

от табака охрип... А ведь наше дело — любить любимого, мы для этого и на свет идем. Что может быть лучше этого дела, господи: рожать любимому детей, кучу детей, растить их, стирать рубахи, готовить еду, когда в доме светло, тихо, ласково... Но нынче так случилось, что миллионы баб, вместо того, чтобы семью любить, детей поднимать — и ее не любят, ибо времени нет и желанья — и общее прачешно-столовское дело с холодной душой творят...

Я слушал ее и не слушал, слова проникали в меня, но окружал и сыпил ее шелестящий печальный голос, и я уже мучительно ревновал к тому, кого она любит нынче и ласкает.

— Но если я не любил еще? — вдруг грустно и откровенно признался я, но к чему-то улыбнулся и, видимо, придал словам своим тайный неискренний смысл: ведь и без того-то обнаженные честные слова обычно не воспринимают люди, считают их за уловку, игру настроения. А тут еще моя дурацкая улыбка.

— Ой ли, так я вам и поверила. Вы же мужчина.— И она так оценивающе посмотрела на меня, что я смутился, да и она отодвинулась в сторону, потом бесцельно побрела по отливу, затканная солнечной паутиной, и тут, вновь одинокий, почувствовал, как небо окатывает меня сухим полдневым жаром. Сейчас бы веник березовый, и хоть парься: так круто настоялся день. Я торопливо зашел в реку, она сначала остудила, потом ласково окутала и понесла. Но берег вновь притягивал меня, одному плавать показалось одиноко и безрадостно, да и вода не казалась уже такой желанной. Видно, во всем нужны успокоение, незамутненность души... Когда я выбрался на берег, перебарывая течение, опрокидывающее с ног, Настасья уже насобирала на подсохших заплесках черных сладковатых кореньев и плавника, заплесневевшего и каменно тяжелого, свалила дровишки в груду и пыталась поджечь.

— Сейчас с одной спички запалю. Я ничего зря не делаю,— упредила она мой совет, услышав за спиной мое дыхание.

— Ты сухих веток сначала подбери, а толстые сучья после,— подсказал я, но Настасья лишь дернула плечом, дескать, отвяжись, не суйся под руку, и часто, нетерпеливо заширкала коробок, ломая спички. «Я ничего зря не делаю»,— повторяла она, но усилия ее были напрасны, и

потому, делая вид, что затекла спина, она распрямилась:

— Ну что вы, как надсмотрщик...

— А вы не суйтесь, куда не просят.

— Это вы не мужчина, а баба,— вспыхнула она.— Не знаете, что надо делать? Мешаете только, я без вас бы мигом.— Но она уже извела коробок, хорошо, у матери оказались спички, и я заново, улыбаясь тайно, смиренно принялся разводить кострище. И только потянуло дымком и кисловато запахло подсыхающим на пламени заводяневшим плавником, еще огонь плотно не облизал толстые сучья, как женщина полезла с котелком, стала совать его на толстую рогатину. «Я ничего зря не делаю»,— повторяла она, но то ли в спешке, то ли от горячности характера, не терпящего досмотра, но только залила костер; огонь, повозившись под пеплом в смертной своей норе, пышкнул и пропал, родив лишь сладкую прощальную гарь. «Только мешаетесь под руками. Однато я бы мигом»,— досадовала Настасья.

Но костер все-таки занялся, и жаркое пламя едва виделось в недвижном прокаленном воздухе. Вот и кипяток готов, поднялась его белая, словно пивная, пена, там и чай настоялся, какого желала Серафимина душа. Ни слова не сказала старая о чае, а тут, как сготовился он, когда кружка обожгла ее ладони, благодарно призналась: «Ой, ублажили, детки. А я сижу и думаю, ой, хоть бы чаю. Как догадались, иль я так желала, что вы услышали мое хотенье?» И она дробненько зашлась, потирая руки.

Тридцать лет, как Серафима вернулась из Вазицы, река текла под ее окнами; по ней бродили буксиры, вывешивая дымы, вились чайки; оттуда прибегали выросшие, с голодным блеском в глазах, ее дети; с реки приносил рыбу муж; за рекой в матером лесу, говорили, тьма грибов и ягод; но так случилось, что ни разу за тридцать лет река не поманила Серафиму, не позвала к себе на поклон, и душа не затомилась предвечерней серебристой порой при взгляде на полное живое течение, пронизанное зоревым брусничным пером. Все заботы, все крученье-верченье за шестью детишками да школьный класс на плечах, стопы тетрадок, и река все как бы оставлялась напоследок, на особый случай. А тут вдруг такая радость сошла вроде ниоткуда: река и река, эка невидаль, теки себе на здоровье, ублажай многий люд

своею плотью. Но в реке-то оказалась душа, тихая и многопечальная, готовая к долгому доверчивому разговору с каждым затосковавшим иль полюбившим человеком. И спохватилась Серафима, и замерла в предчувствии, и решила про себя, что, наверное, скоро умрет.

— А любовь какая-то есть, значит, раз она есть,— вдруг сказала она, замиряя душевную смуту.— Все можно придумать, а любви не выдумаешь... Это приправа такая, вроде соли-перца. Проживать без любви можно, а жить — нельзя... Я три любви за семьдесят лет видала. В Слободе, помню, была девка Сара, в школе училась. Стояла у окна и все пела: «Я уйду с толпой цыганов за кибиткой кочевой». Отец у нее был мясник, убил от ревности мать; остались две сестры, воспитывались у бабушки. Приехали цыгане, зашли в гости, она с молодым-то цыганом и убежала. Организовали погоню и не могли догнать... Они приехали в Вазицу тогда, она скрывалась у Коны Петенбурга, все на лавке лежала, лица не открывала. Через несколько лет снова приехала она в Вазицу с цыганским табором. У нее уже был ребенок за шалью. Было такое мнение, что цыгане ее приворожили, хотя перед всем народом клялась она, когда хотели задержать, что вот прощайте, дескать, люди добрые; не силком, а по своей воле, по большой любви покидаю вас... Ну а тут, как снова приехала с табором, мы узнали, нам интересно. Я пришла к ней, а она не смеет на меня и взглянуть. Муж у нее оказался стариком, ее от молодого продали старику. Я пришла, он лежал на печи, угрюмый такой, слез сразу и прогнал меня. Сара вышла в сени, плачет, мне шепчет: «Ой, мучаюсь я, продали меня». Позднее дошли слухи, что она утонула в озере. От любимого оторвали — да за старика. Правда, чего тоже, любимый-то: страхолюдный такой, кривоногий. Приворожил, поди.

— А мне жалко ее,— задумчиво сказала Настасья.— Только не любовь это, а наважденье.

— Любовь зла, полюбишь и козла,— прыснула Серафима.— Еще свекор, помню, любил свою жену Татьяну. Там уж другой коленкор, там кино было сплошное. Готов был ей ноги мыть, да воду ту пить.— Серафима рассказывала теперь без прежней живости в голосе, словно бы голову напекло ей иль трудно было верные слова найти...

«...Мать у Хрисанфа была с Пижмы, высокая, ядреная, щеки заревом, коса в руку и за словом в карман не лезла. Сиротою осталась, на лодочке приплыла в Вазицу, а там народ до посторонних суровый, с прищуром глядел. Заселилась она в баньке бросовой, это еще до меня было. Ну, стала в купеческий дом ходить: полы мыла да сварить что, бабила она хорошо и живот правила. На слово боевая, а уж обидного не скажет... Алешка-то Крень и сосватал ее: чего сватать тут, верно, взял за руку да и привел к себе. В лесу жили, а пальцем не тронул, она худого от него не знавала. Он лесовал: бывало, уйдет в лес, с собой сухарей возьмет да масла туесок. Долго промышляет, иной раз и месяц, и все каравашком постным питался да сырой щукой. Вернется домой и туесок масла обратно несет, говорит: «На, Татьяна, это тебе гостинец от лисы».

Умирал тяжело, мучился. Перед смертью только и просил: «Прости, Татьяна, прости во всем». А у него самое ругательное слово было, как разгорячится: «Эх баба, такая ты баба».

Хрисанф-то не в отца-батьку, не-е... Они все, сыновья, с причудой почто-то. Всё сметаны, помню, не любили. А я забеременела, чашка большая со сметаной стояла на столе. Я хлебаю и мужа-то дразню: «Вот как сметаны захотела, ну и захотела же я сметаны, наверное, парень будет». Деверь-то и говорит: «Саня, сейчас меня выблюет, ей-богу. И неуж ты с бабой такой спать после будешь, она же сметану ест». Муж-то крынку выставил на пол, да собаку позвал, а меня сзади обхватил, чтобы я не убрала сметану. Так и держал, пока собака не долизала... Нет, он уж мне не потатчик был.

...Ну, а третья-то любовь — моя будет: вы знаете, как я в Вазицу попала, да не знаете, как Хрисанфа завлекла. А он словно бы судьбой мне назначен, и жизнь его с моею пересеклась с первого дня. Он мне поначалу казался так себе, ну что в нем такого, а вот, оказывается, все-таки постоянно тайком думала, что есть на свете человек, с которым бы я могла сбежаться. Но Хрисанф тогда был женат на ненке, жил в Верхних Кельях и в Вазицу редко спускался. И все бы ничего... Но вы знаете, когда я поняла, что Хрисанфа люблю? Когда он в море чуть не погиб и вестей от него не было дней двадцать. Ведь любишь, пока боишься потерять, а я всю жизнь боялась его потерять, да и сейчас боюсь...»

Знать, голову напекло старенькой иль непрестанно маялась она по дому своему, видимому нам и отсюда, с реки, овеянному зеленым черемуховым дымом, где остался ее муж, и неведомо, там ли он иль что творит, разгульный такой человек. Хрисанфом она и жила, ненавидя его и любя, а что в голове, то и на языке. Серафима уже забыла, что говорила ранее, даже что вспоминала вчера, сказанное не держалось в ее туманной голове и высеивалось как дым, оттого старушка часто повторялась с прежней энергией, словно бы только что вспомнила интересное иль необычайное, хотя никто и не просил ее делиться своей памятью и сокровенным. Но зато каждое слово, произнесенное полвека назад, а то и более, вдруг вспыхивало без особой натуги с такой явственностью и живостью, что Серафима даже цепенела от некоторого страха за себя. Сегодня вот приснилось вдруг, что ей лишь три года, сидит она в кресле, протянув ножонки, обутые в козловые зеленые сапожонки, на ней черное бархатное платьице с белыми кружавчиками по подолу, все в оборках, выстрочках, воланчиках, такое ли чудесное платьице, а на коленях серебряный поднос с красной рыбой, у которой живые змеиные глаза, а хвост свисает до полу и плещет, тихо качается по нему, сметая мусор. И вдруг мама откуда-то является, совсем молодая тоже, и что-то с ужасом кричит Серафиме, но слов не разобрать, и показывает на поднос, а там уже не семга трепещет, а омерзительное чудовище, черно растекшееся. Боже ты мой, приснится же такое. К болезни какой-то, а то и хуже, подумала утром Серафима, а после сон забылся, сменился давно незнаемой радостью, но сейчас вот голову напекло, и сон оттого, наверное, вернулся вдруг...

Ослепла Серафима два года назад, сказали, от печени, ибо два раза была жестокая желтуха, болезнь Боткина. Но ослепла неожиданно как-то: вот сегодня, к примеру, была еще вроде бы здоровая, зрячая, так ей казалось тогда и так вспоминается нынче, но в одночасье и потухли глаза. Однажды ночью разболелся зуб. Серафима нитку суровую петелькой сделала, надела на последний зуб, единственную надежду и крепость ее опустевшего рта, единственный корневой зубок, который берегла пуще жизни и которым еще чуяла настоящий вкус еды. Но тут разнылся-разошелся, проклятый,— голова навылет. Хрисанф пьяный во сне стонет, ему не до

бабки. И не стерпела Серафима, пала надеждами выстоять до утра, надела суровую нитку на зуб, к дверной ручке привязала и дверь отхлопнула. Зуб-то не выдернула, а второй раз не посмела. Едва до утра домаялась, поехала в больницу, но так накипела в ней боль, что не в ту сторону кинулась старуха, за пять километров от Слободы лишь дошло до нее, куда едет. Пошла обратно пешком, наконец, попала в больницу, а там неприемный день. Села у двери, объявила: пока не выдернут зуб — не уйду. Побежали звать врачиху, хорошо, рядом она жила, коснулась щипцами, зуб-то и выпал, и кровища хлынула. Кровь остановили, Серафима и захохотала, боль как рукой сняло. Отсмеялась она, сердечно откланялась, на улицу вышла, тут и сумерки сошли на глаза. Вот будто бы свеча залилась стеарином, нет для пламени воздуху, и оно никнет, пока вовсе не потонет в восковой лужице. Так и с Серафимой случилось. Но врачи объявили, что от печени кануло зрение.

Но и у этой болезни своя история... В двадцать третьем открыли в Вазице школу и направили Серафиму туда учительствовать. Из Зимней Золотицы ехали на карбасе: везли мужики мешки с зерном да крупой, все, что заработали в Архангельске, тут и Серафимин паек был, все ее довольствие. И вдруг шторм догнал карбас, и близ берега на лудах опрокинуло мужиков. Сами-то они, спасаясь, выплыли, а спутницу свою забыли в этой смертной суматохе, когда каждая волна — последняя. Лишь парень лет семнадцати замешкался, схватившись за киль карбаса, словно бы не решаясь отхватиться от него, и тут увидел сквозь водяной дым, окутавший стихию, что вроде бы перед лицом его на гребне волны всплыли волосы; эти волосы потянул он на себя и спутницу свою увидел, уже сомлелую, и вместе с нею на накатной волне выкинулся к берегу. Уже позднее, под диким хмелем вспоминая этот день, вдруг вскипит Хрисанф, дескать, знал бы тогда, так лучше бы руку отсек, чем спасать девку. Гляжу, говорит, волосье плывет, думаю, говорит, что за чудо: хвать, а то наша баба. В общем, отыскал богатство, ярмо на шею себе, деревянны деньги.

И стали мужики мять ее на берегу да растирать, и она едва пришла в себя и долго не могла понять, что с ней. Ком в горле, дыхания нет, на глазах студень, волосы колтуном, вся истерзанная, избитая, места живого на теле нет. Уже будто все соображала, а дыхание про-

пало: хотелось сказать, не мучьте меня, оставьте, лучше уж умереть. Тут один мужик зашел за камень-валун и кричит похабную частушку: «Девки думали, морошка — это мишкина говешка». Серафима услыхала, и ей вдруг стало смешно, и она вроде бы засмеялась иль думала засмеяться, но икнула и от натуги пробка из горла выскочила, и последняя вода вылилась. Ей так захотелось пить, но мужики не давали, лишь губы смажут тряпицей, смоченной в родниковой воде,— и все.

А после Алексей Крень, отец Хрисанфа, бывший за старшего в карбасе, сказал: «Ну, Серафима, спаслась ты от смерти, но коли жить будешь, то в старых годах вспомнишь нас худым словом, ибо намяли мы тебя сильно, натискали, выхаживая от смерти». (Так после все и случилось, и те слова постоянно в памяти). Сколько-то еще погрелись у костерка и постановили идти в часовенку на берегу, чтобы отмолить спасение, и Крень сказал Серафиме: «Если нет тебе с нами пути, девка, то нет с нами и плавания». А куда денешься на пустынном берегу, если ни куска хлеба, ведь все на морском дне схоронилось, все волной раскидало. Согласилась Серафима, хотя была комсомолкой и в бога не верила. Принесли ее в часовню, и, как могла, молилась она вместе с мужиками, а те горько плакали навзрыд, безутешно рыдали, ибо утонуло все их пропитание, что добыли они в тяжком труде, а голодно тогда было, и в Вазице приели всех кошек и собак. Тут и Серафима не сдержалась, залилась слезами, вспоминая и мать-покоенку, и жизнь сиротскую, так рано начавшуюся с тягот, и будущее, такое туманное.

В этом крушении пропал Серафимин паек (мешок муки), и кормили ее на деревне, как пастуха,— поденно; ходила она по избам, усаживали в застолье, кормили чем придется, порой долго выдерживая у порога, если не ко времени являлась, и так тошно становилось тогда юной учителке, что до горечи спекалось внутри. Но особенно горестно переживалось ею, когда попадала в семью несчастную, вдовью, где тяжелый хлеб с мякиною считался за благо, когда дети с тоской смотрели ей в рот. И Серафима, понимая, что объедает хозяев, торопилась подняться из-за стола и откланяться благодарно, зажимая в себе девью слезу. Но как сурово ни обходились с учительницей, девчонкой еще, которой только бы подолом трясти на вечерках по ее-то возрасту, но

умереть не дали, хотя самим ой туго приходилось; не дали умереть-то, последний кусок разделив, последний житный колоб вполовины со мхом.

А на складе в ту пору лежала махорка и полагалась она совслужащим: учителю и фельдшеру. Рыбаки сидели на тоне, ловили семгу, денег им не давали, платили рыбой. И они не только по хлебу скучали, но и по табачине, им тошнехонько, до тумана в глазах хотелось дернуть взаправдашнего курева, а не того сухого мху, из которого с досадой лепили «козьи ножки». Вот и попросили мужики учителку достать махорки, того самого самосаду, от которого кровь живей струится. Пришла Серафима и сказала завскладом, дескать, я курю. Тот ей на цигарку выдал, а сам глазом ловит, как девка себя поведет: а она в дверь дует, отвернувшись, как труба самоварная, да еще и нахваливает, ой хорошо, ой сладко, давно настоящего табачку не пробовала. А у самой в горле кол и в голове ветер. Но с той поры стала махорку получать да рыбакам отдавать за рыбу, но незаметно и сама пристрастилась на всю жизнь...

«...А я ведь и запомнила тогда своего спасителя. Кудреватый, глаз голубой, ростом бог не обидел. Он в сердце моем, как в зеркальце, отразился, да там и остался, такая заноза. Он женат уже был, баба из ненок, но вскоре дошло до Вазицы, что на озере промышляли они, жена из лодки будто бы вывалилась и потонула. Ну, там разговоров было. Двое на озере, кто видел? Хрисанф и сказал тестю своему, что дочь его утонула, сказал, а поди узнай. Он после-то и заездил в Вазицу: далеко, но сам нет-нет и спустится на лодочке. Однажды в нардоме спектакль был, зашли пьяные парни, сыновья тех, кто побогаче. Лампы керосиновые сразу загасили и драку устроили, давай лупцеваться кто во что горазд, и скамейки в ход пошли... Я испугалась, бросилась в окно, а у меня юбка была из чертовой кожи, попала я на гвоздь и повисла, как проклятая. Туда-сюда, уже и заливаться стала кровью, ну, думаю, какую смерть себе нашла. Не смогла потонуть, так задохнусь. И стыдно ведь, как будто повесили меня сушиться, юбка на голову западает. Тут парень какой-то бежит на драку, я и крикни ему. (Главное, какой крепкий материал, тогда крепкие материалы были.) Ну, парень-то снял меня и понес

на руках, я думаю, на худое несет, он со мной беду хочет сделать. Он несет меня, будто рукавичку меховую, я хочу в волосы ему вцепиться, глянь, а то Хрыся мой. Лежу на руках, обомлела вся, мне и слезать неохота. А он поставил меня на ноги, по заду хлопнул, и хоть бы слово сказал. Мне обидно, что он на меня ноль вниманья, я упала нарошно и притворилась, что мне плохо, лежу и стону. Хрисанф вернулся, спрашивает, идти не можешь ли, а я сквозь зубы: ы-ы. Скулю. Он меня и понес, да на квартиру мою донес, а как рассмотрел да узнал меня, сразу и заприставал, руки распустил. Ты, говорит, мне должна, верни должок старый за спасенье, я второй раз тебя к жизни вернул. А я его по рукам, ха-ха, но ему неймется, и я сквозь жалость да по щеке его и мазонула, легонько так, для виду. Не могла же я прямо так и лечь с ним, верно? А он психанул, да и вскинулся от меня. Я в слезы, ой, думаю, пропала моя жизнь... Но тут вскоре узнала, что в Верхние Кельи много ненцев наехало, да три семьи промышленников, и захотели власти там школу оформить, раз детишек набирается. Я и напросилась в учителя, ну а там уж моя воля была: выбирать ему не из кого, а я из себя была махонькая, да писаная, верно? Плохих девок не бывает, молодые девки все сладкие. А после дети пошли косяком: он в лес на промысел, я вроде бы тонявая, такая рюмочка, хоть винцо попивай, ха-ха.

Из лесу явится под весну, а уж в зыбке гы-ы, словно ветром надуло. Мала я, да удала и нос сапожком, да и он, хозяин мой, борозды не испортил, зря не катался: всего-то у нас было три парня да три девки, да две задохлись. Тогда ведь моды не было, чтобы из себя плод изгонять. Раз зародился, милый, тянись из потемок на свет белый...»

Как за столом оставили мы Хрисанфа, за столом и нашли: он в нашу сторону не повернулся, хотя появились мы шумно, составил локти на столешне и, неотрывно глядя в стеколко, любовался собою. Случилось, что однажды в Городе сняли его на цветное фото, сунули в голубой пластмассовый шар, и сейчас он, обрюзглый и сивый старик, смотрел на себя молодого, белокурого, с ласковым голубым взглядом, вот так неожиданно проникал в иной мир, давно минувший; конечно, подрисовали, подольстили мастера, не без того, не зря же день-

ги брали, собаки, но ежели разобраться по уму — таким и был.

— Ну и хорош же, дьявол,— играл Хрисанф, чуя, что мы пришли.— Ну и как тут девкам его не любить, а? Бровь торчком, нос крючком, губа лопатой. Вот дьявол-то...

— Дедко, это ты с кем? — спросила Серафима, радая, что застала старика дома. Хрисанф безумно взглянул на супругу и, точно не заметив ее, продолжал:

— Писаный красавец, ну дьявол... это же надо такого уродить. И какая-то хрычовка, плюнуть некуда, выпила такого мужчину, во что превратила его, вы гляньте, люди добрые.— И вдруг зло прикрикнул: — Сдохли, что ли? Жди вас. Может, старик тут помер, может, с голоду ноги протянул, а они, барыни, тьфу на вас. Она на солнце пошла, воробьиная душа. Может, кого молодого углядела, а? Вьются ведь там, заразы, видал волосанов, им бы только свежего товару.

— Может, и углядела, хи-хи. Такой чернявый, волосатенький,— снова засмеялась Серафима.— Фимочка, говорит мне, какая вы душенька... Так чего не помер-то, отец? Иду, думаю, наконец-то дедко мой помер, хоть одна во славу поживу, любовника себе заведу, какого захочу... Помирал бы?

— Тебя-то переживу,— мутно взглянул Хрисанф.— Я сколько раз помирал, на сто людей, кажись, хватит.

«...Я первый раз двенадцати лет чуть не загнулся. Мороз под сорок, мы заблудились с отцом и трое суток бродили. И вот на реку вышли, до избы километров шесть. Отец-то и говорит мне, если тебя потащу сейчас, то оба погибнем. Я побегу за санками, народ созову, только ты не спи, христом-богом прошу. Тебя заклонит в сон, а ты ползи, ползти не заможешь — катышком катись, только не спи... Он убежал, я остался. Шел-шел, споткнулся, под корневище сел, дай, думаю, отдохну. Голову приткнул на руки, и так мне сладко стало, вот рай-то где. Хорошо, рука подвернулась, я мордой-то в снег ляпнулся — и очнулся. А разогнуться уж не могу, ноги свело, корчужкой сижу. И покатился катышом, как отец велел. Силы кончились, помереть бы тут, только слышу, народ бежит, закатили меня на чунки — и в дом. Матушка горячей воды в лохань, и меня в нее.

Выл я, как зверь... День рожденья мне в тот день, вечером народ сошелся, брагу пьют, песни ревут, а я, как чурка на печи, весь огнем изошел, кожа живая с меня лезет. Вылинял тогда, как собака...»

— Вылинял, да не помер. И не хвались, чем не надо, верно? — оборвала мужа Серафима. Настасья быстро направила на стол. Хрисанф торопливо и жадно поел и, не сказав более ни слова, ушел.

— Сейчас напьется и — к ней, гадине,— шепотом сказала Серафима.— Он хоть бы Антоши постеснялся, как-никак шурин ему.

— Мама, да не ревнуешь ли ты? — засмеялась Настасья и, как маленькую, погладила ее по голове.— Больно кому он нужен... Позарилась на него Шурка, держи карман...

— Ой, доча, доча-а,— вздохнула Серафима.— Какое-то круженье во мне и такая легкость. Сейчас взмахну руками и полечу, такой воздух во мне, в каждой косточке... А вдруг он с другой схлестнется? — испуганно спросила, и тень страха набежала на лицо.— Я-то куда без него, голуб-чи-ки. Не помирать страшусь, а без него страшусь остаться... Ты поди, посмотри за ним, доча. Ты сбегай, куда он пошел, и после мне доложишь... А впрочем, ну его: сатану за пятки не защекочешь. Он, и верно сказать, какой-то бессмертный: тьфу-тьфу... В тридцать шестом тоже чуть не погиб. С острова Моржевца пошел за зверем, да попал в унос, да тринадцать суток его и носило море. Сказывал, бил тюленей, пил молоко утелег, мамок ихних, ел почки и все держался... У них, у Креней, вместо позвоночника железный дрын. Другой бы давно загнулся, столько-то дней во льдах, середка моря, да без огня, без тепла, сырое мясо грызи, как зверина. Хорошо — мимо маяка несло, увидали его, лодка от берега и пошла. Увидали, черновинка на льду, вроде бы человека тащит — и кинулись на спасенье: а кабы не увидали, прохлопали, тут и все... Рассказывал, говорит, как лодку-то увидал и сразу силы потерял, на лед упал. На берег-то уж на носилках заносили... И на войне трижды битый. Пусть живет, как хочет,— длинно вздохнула,— когда ли набегается. Так ведь сколько же лет ему жить надо, чтобы досыта набегаться? Скоро на восьмой десяток потянет...

Тут гостья пришла в длинном сарафане с бейками,

синими лентами по подолу, на голове черный плат шалашиком, на ногах резиновые калоши с шерстяными носками; вошла, низко поклонилась, в руках чашка полотенишком накрытая. Поставила так же молча с краю стола, села на табурет возле порога, бурые ладони зарыла в подол, лицо спокойное, с ржавчинкой на впалых щеках, в глазах, сереньких, простеньких, тоже великий спокой и смирение. Увидала, что Серафима напряженно слушает, наверное, желает узнать, кто явился нежданный-негаданный, и объявила кротко: «Это я, Серафима Анатольевна... Это я, Секлетея, пирожка тебе капустного принесла. Испекла нынче, думаю, дай отнесу христарадушке, она капустных пирожков уважает». Гостья снова встала, поклонилась поясно, и тут же села на прежнее место, постно собрав губы. «А мы нынче свое пекли. Мы сегодня сами собрались ради гостя да и испекли»,— заотказывалась Серафима. «Ну обратно не понесу, как ты хошь».— «И оставь... и оставь, голубушка».

Я уже понял, что Секлетея — староверка, любопытно было смотреть на нее: мне всегда мыслились они людьми сухими, грубо скроенными, без признаков мысли и тепла, погруженными в свою веру, придающую им особый отличный знак. А оказались — простенькие и особо земные, одеждой своей и обличьем,— наверное, чтобы не отличаться от прочих, чтобы не выпирать постороннему глазу, чтобы даже по тону одеяний своих быть ближе к земле.

Последние годы они, как рассказывала Серафима, повадились к ней — и то шанежку несут, то пирога горячего, то рыбы малосолой; она не нуждалась в приношениях, пенсия у нее была за заслуги персональная, по самому высшему окладу, два ордена да пять медалей лежат у нее в сундуке над погребальным платьем, сготовленным заранее, но зато нуждалась Серафима в участье, в добром слове, в живом слове, и потому она старушонок не гнала. Сорок пять лет она вела начальные классы, но отчего-то нынче, когда ей особенно хотелось в ее-то состоянии побыть с людьми, никто не навещал, никто не проникся участием и любопытством к ее новой слепой жизни. «Как на свалку кинули»,— порой горько сетовала она и тут же казнила себя за такие мысли, предполагала, что ответственным районным товарищам некогда, они в заботах своих на время потеряли верную давнюю спутницу, партийную каждой жилкой своей.

И она, справившись с минутной слабостью и тут же виня за неискренность мыслей своих, запевала тоненько: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи...»

В Слободе Серафима была человеком почтенным, многих она в жизнь ввела, дала духовное направление. Однажды умерла работница с кирпичного, всю жизнь в сапогах резиновых проходила да в синей холщовой юбке, вдова военная, неприметная, с каким-то землистым закопченным лицом. Была она староверка, но последнее время запойно выпивала, видно, сломалось в ней что-то от тягот иль просто устал человек жить — случается и такое. Лопнул у нее мочевой пузырь, и умерла она. Пришли староверки, чтобы отпеть духовную сестру, а дочь старшая, комсомолка, не пускает в дом, в шею гонит. Они и явились к Серафиме и смиренно попросили, дескать, уговори девку, она вами ученая, она вас любит и только ваше слово и услышит. А умершая — сестра наша; не отпоем — смертный грех на нас ляжет, и каково душе ее, отлетевшей, сиротливо торчать на распутье; ибо никто не призовет к себе, не приютит. Позвала Серафима девушку, говорит той: голубушка, ты уже большая, все на твоей совести, и ты вольна поступать, как тебе хочется, я тебя неволить не могу, не в моей власти и желании, но и ты мать свою пойми, во гробу лежащую, и не посмейся над верой ее. Ты над матерью покойной посмеешься, а над тобою и дети твои после посмеются, над твоей правдой и верой. Мать твоя сиротиной росла, одна радость была в вас, мы вместе с ней картошку с полей таскали, когда в войну голодно было, а вас кормить надо, верно? Картошку таскали да нарезали ломтиками вместо хлеба, да с солью пекли, тем и жили. Она в ту пору, чтобы вас поднять, и верить стала, тогда без веры невозможно было, каждый во что-то верил. Так не осуди и не препятствуй же, доченька, я твоя учительница и плохому не наставлю. Пусть отпоют, а хоронить будете по-граждански.

Выслушала девчонка — и покорилась. Пришли староверки, отпели, отчитали, пока старая в гробу (такая работящая и безотказная была), а после пришли с кирпичного, речь хорошую сказали (о безотказной и работящей) и с почетом, под духовую музыку проводили. У девушки черного платка не было, так Серафима свой отдала: и когда плакала та на кладбище, и по земле в

горе своем каталась, то плат в глине запачкала. Серафима и говорит: возьми, доченька, плат этот и не стирай его, а помни о матери своей, как о святыне. С той поры годы прошли, девушка та учительницей стала, уж своя семья, но, как приедет в Слободу, Серафимин дом не минет, и то доброе слово всегда со слезой вспомнит...

— Брось табачок, Фима. Что он, забава? Сладкий такой, как сахар, поди? А вонькой-то, тьфу-тьфу,— вдруг сказала гостья от двери и брезгливо замахала ладонью.— Он что, отца-матери дороже?

Может, Серафима и поняла этот въедливый вопрос, да сделала вид, что туманные слова не дошли до нее, и к уху ладонь прислонила:

— Ты о чем, Секлетеюшка? Иль я что не так?

— Я говорю, долго ли жить осталось, дак ты покорись. Вот и гостенек твой,— быстрый оценивающий взгляд, можно ли взять меня в союзники...— не курит.

— Ну бог, он, конечно, чего... На то и бог. Но вот мужика лопатой хлебной не заменишь, верно? Ха-ха... Сколько ни приставляй лопату к себе, а она все одно — лопата. Вот и табачок богом не заменить. А ты, Тимоша, и неуж не куришь? Я как-то не спросила...

— Да вот месяц уже.

— Ну и молодец. Здоровье сохранишь, верно? Ум сохранишь. А у меня ни ума, ни здоровья.

— Дух куда? — вставила слово гостья.— С таким воньким духом куда ты? Никому не нужна,— сказала убежденно.

— Не-е, я уже ныне не пахну, хи-хи. Дух у меня незамутненный, вот принюхайся, Секлетеюшка. Я ныне веселюсь. Мне бы пасть да плакать, а я веселюсь. У меня такое постановленье: Серафима, не падай духом, а падай брюхом. Мне бы и реветь, а я смеюсь: хи-хи. Я на этом стою: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи». Доча, доча, где ты пропала, ну-ка, подпой...

— Ты чистый человек, Фима, но табачок брось. Он из чрева блудницы, от него блудом и пахнет. Он в дерзость тебя гонит,— наставляла Секлетея ровным невозмущенным голосом, жалостно взглядывая на заблудшую, на ее костяное личико с широко распахнутыми, угольной черноты глазами.

— Может, я и есть блудница, верно? Всю жизнь с мужиком своим блудила, ха-ха. Он же вон какой, с коло-

кольню, есть где затеряться. Заблужусь желанно, потеряюсь, мне и хорошо. Но табачку не брошу. Окаянный он, табачок-то, верно. У меня в легких уже кочегарка своя, там можно раскопки вести, за сорок лет накопилось уголька. Ну, брошу, а как далее жить? Вроде была я, а тут — на тебе — и не я вовсе... Я, Секлетеюшка, и на родильном столе табачок не бросила. И не поверите, скажете, бабка дура... Аннушки тут нет? Нечего ей слушать. Ну вот, рожаю я. Мертвый ребенок из меня не лезет, хоть плачь, головка торчит, а не лезет. После войны было. Хотели долбить, а нынешних средств не было. Слышу, совещаются меж собой, говорят, долбить надо, мать спасать надо. А мне так ли страшно стало, что долбить меня хотят, одно это слово в страх ввергло. Мне курить со страху и захотелось, нестерпимо потянуло. Я и говорю вдруг: как хотите, дескать, а я курить хочу. Не дадите покурить, тут же умру. Даю слово, что умру, если покурить не дадите. Они мне: «Серафима Анатольевна, вы же умная женщина, вы учительница, какой пример показываете. Вы что, с луны свалились, о каком куреве речь». Я ни слова более, с родильного стола слезла, у хирурга сигаретку взяла, за занавеской встала. Мне стыдно на людях-то курить. И посейчас стыдно. Накурилась, а ребенок вдруг и полез сам собой...

— Гордая вы, Серафима Анатольевна. Сказки вот нам, для отводу,— чопорно сказала гостья и черный плат надвинула на глаза, колючие сейчас и холодные.— А зачем сказки? Упорное сердце напоследок потерпит зло. Как бы не запечалиться вам, христарадушка.

— Я, Секлетея, уже все пережила, что на человека отпущено. Мне больше пугаться нечего,— закурила заново, заслонилась дымом.— Худую кошку мыши дерут.

И тут я вмешался против своей воли: мне отчего-то стало жалко Серафиму, ее одиночества, ее слепой неприкаянности и печальной, как мне казалось, веселости. Я понимал, что она в жалости моей не нуждалась, да и весь этот разговор, наверное, возникал не однажды и особого сопротивления в Серафиме не вызывал, он как бы скользил вне ее души, занимая лишь такое долгое одинокое время. Вот пришла старушка, с нею можно занятно поговорить, и тьма как бы отступает и уже не так гнетуща.

— Я не против вашей веры,— вдруг вступил я,— но мне жалко, что и ваша вера неискренна, она на страхе

построена, на крови. У вас там как: страх господен — слава и честь, и веселие, и венец... Полнота премудрости — бояться господа: венец премудрости — страх господен. По-вашему же: где веры нет — все шатко. Но и на страхе веры не построишь... Она к чему ведет? Она ко крови ведет, она к отрицанию человека. А неужели из страха-то нам не вырваться? Что за сети такие? — Но мои, такие высокие слова, почти выкрикнутые в тесной кухоньке и потому заглохшие сразу, лишь Настасьей, наверное, и были услышаны и поняты: она даже встрепенулась, порываясь что-то сказать ответно, но тут же и отвернулась к окну.— Оказывается, характерный факт, бог-то любит боязливых. Он любит, кто боится его. А любит ли он тех, кто просто любит его из самой любви. Иль без страха любить невозможно?

Секлетея взглянула на меня, как на пустое место, и я так решил, обидевшись поначалу, что она едва ли расслышала меня. И я сразу невзлюбил и плат ее шалашиком, скрывающий темно-синий повойник, и сухощекое лицо с ржавчинкой на скулах, и сталистые без отблеска глаза. Но я-то сказал самое сокровенное, что выболело во мне, над чем я мучился последние годы: можно ли любить без жалости и страха, можно ли людям без страха слиться в великую семью, иль он, этот страх, в самой природе человечьей заселен изначала, как вечный и неустанный страж наших прихотей и желаний...

И тут же я устыдился мыслей своих: ну, пусть она староверка, но она же не видит во мне того, отчаявшегося, кому слово священное необходимо позарез, как единственное и спасительное, а значит, ей не о чем со мной говорить, у нас нет общих душевных слов, я как бы чужой для нее пока; да и о чем мне говорить с бабкой, она же — не вещая посланница-ведунья, способная угадать и разобрать по листам всю жизнь мою до смертного края, а простая слободская старуха, вечная труженица, которой без работы тошно, пожившая изрядно и намытарившаяся, поди, у нее руки скрючены от горшков и стирки, и у нее, быть может, одно слабое и туманное утешение в жизни — это найти радость иную, не земную, такую высокую и светлую на горних высотах, что от одних лишь бессловесных мечтаний украшена жизнь ее — так стоит ли отбирать эти мечтания и вносить в утихшую душу странное раздражение? Да и о себе ли одной она думает, сестра Секлетея, а в миру — бабка Анна: ей, поди, сирот-

ливо бы жить в райских кущах одной и есть золоченые плоды, ведь русская женщина не терпит бессловесного сиротства, ей даже в несчастии подай беседу негромкую и неторопливую; но Секлетее, наверное, и жалко всех, кто на миру бок о бок прожил с нею, всех смирных и праведно поживших, ей хочется им тоже радость устроить, и об этой душевной радости она и печется неустанно и, жалеючи ту же Серафиму, надоедно ходит, докучает ей, ведет длинные беседы, в душе боясь обидеть и надоесть.

А я вдруг заговорил из Библии, из книги, о премудрости коей, быть может, она слыхала разве из уст начетчика Евтихия иль видала у него на столе под образом, толстую и тяжелую, одетую в телячий переплет с широкими медными застежками, написанную старовером-скрытником старинным полууставом, изрядно потускневшим от времени. Ей что-то, наверное, наговорил Евтихий о мире и благости в том, ждущем ее мире, куда она придет, о доброте изначальной и кротости, а может, и помог однажды исцеляющим словом, и ей, в миру бабке Анне, жить стало куда терпимее. Может, сказал начетчик Евтихий: помогай, сестра, ближним, вдовым и сирым, и она пошла помогать, ибо это так отвечало ее жалостливой душе...

— Вы думаете, я не верю, а я искренне верю, голубушка, в то, чем жила,— после долгого раздумья сказала Серафима.— Предавший однажды да предаст снова. Я бы не верила, так разве бы жила? А я живу. У меня, голубушка, два ордена и пять медалей за то, что я детишкам на человечью дорогу помогала выйти... Вы думаете, во мне веры нет, я несчастная? Здесь и ошибка. Моя вера — это моя вера, и поздно мне открещиваться, да и не к чему...

— Прости, Серафима Анатольевна. Прости глупую, темную и не обессудь.— Подошла Секлетея, поцеловала хозяйку в лоб, перекрестила слепую и ушла.

— Да за что, Секлетеюшка? За что винишься? Это я тебе в ноги паду,— протянула руки старенькая, словно бы пыталась задержать гостью.— Мне ныне и надо-то слово человечье. Посиди, куда ты?..

Остальной вечер прокатился молча: Настасья решила уложить дочь, а после мы надумали спуститься снова к реке. Июль шел к закату, через неделю ильин день, когда

сива коня под кустом не видно. Вроде бы пока в природе без перемен, лето в самой маковке, но под ночь уже мозгло, и каждый звук, родившийся внезапно, теперь не находит себе отклика и глухо, коротко никнет. Слобода молчала, рано завалившись спать, дома сегодня не серебристо отсвечивали, а сумрачно и неряшливо глыбились, потеряв строгие очертания, и каждый закуток полнился тяжелой тьмой. С городской площадки, из черемуховой необстриженной чащи пробивался фокстротик; под горою звонко смеялись, во дворе Феди Понтонера ворчали свиньи, порою нестерпимо вскрикивали. Меня интерес долил посмотреть в соседний двор, но он был отгорожен от нашего заулка странной стеной, составленной из множества одностворчатых дверей, облезлых, шелушащихся краской. Говорят, на полях когда-то стоял длинный барак для сезонных рабочих, а после за ненадобностью был забыт людьми, осел в землю, прохудился и был незаметно растащен жителями ближнего околотка. Вот тогда-то Феде Понтонеру и достался десяток дверей, которым он нашел столь неожиданное применение. Там, за стеною, вдруг раздался повелительный окрик, скрипнула калитка, я невольно притулился к ограде и сквозь прорешку в рассохшемся полотне увидел Понтонера. Плечи мужика покрывал толстый стеганый жилет из ваты, более похожий на защитные одежды старинных пеших воинов, на голове из ваты же стеганый колпак, на ногах высокие по колено вязаные носки, лицо острое, костяной гладкости, словно бы высушенное изнутри. Вот каков, оказывается, сосед Серафимы, о котором столько чудного было слышано и который собирается жить вечно и потому, спасаясь от солнечного облучения, даже в самую крайнюю жару таскает трехрядную стеганую пальтуху и подобие монашеского куколя. Закуток был забран жердями, весь вымешан свиньями донельзя, изрыт, выброжен и затоптан, и даже в июльские паркие дни посередке загороди свинцовела заиленная лужа, где они и растянулись в томленье. Понтонер вылил в длинную деревянную колоду пойло, кабанчики сразу ожили, встрепенулись, кинулись к еде, зашвыркали хоботами, заверещали, теснясь пятнистыми боками, а хозяин уселся на изгороди и что-то ласково, тягуче выговаривал им. Тяжелый звериный запах порою даже сюда волнами накатывал из загона, там звенели столбы мух, а Федя Понтонер, блестя цепкими глазами, ласково на-

блюдал за своею живностью, о чем-то заискивающе разговаривал с нею иль убеждал в чем, и отсюда, из смородиновой тени, вдруг показался мне безумным... Я, дурной, размышляю о смерти, о движении духа, о любви без страха, а тут человек мечтает вечно жить. Иль насмешливые люди лишь пустили пулю по Слободе о Феде Понтонере, от нечего делать наколоколили о ближнем, чтобы развеять скуку? Но верно одно, что Федя Понтонер ест только манную кашу и пьет кипяченую воду, а свиней сдает живым весом, ибо крови текучей не может видеть он. Сойтись бы с ним поближе и проникнуть в его мечтанье, но страшно. «Чем только люди не украшают свою ровную жизнь, лишь бы разбавить ее»,— утешился я этим предположением.

Тут из сараюшки, уложив дочь, вышла Настасья, позвала меня, и я с какой-то знобкой радостью готовно поспешил навстречу. Она промолчала о соседе, да и я не решился заговорить, чтобы не вызвать суетных лишних слов. В отпотевших лугах, над рекою, куда погрузились мы, было особенно тихо и спокойно, без того щемящего душу радостного надрыва, какой обычно вызывают во мне весна и начало лета: отгремел хмельной травяной праздник, скоро отыграл и отпылал, затомилось, зашершавило клеверное буйство, цвет набряк, свернулся в коробочки, затвердел, вот-вот готовый раскидать по земле последнее семя, и лишь ромашка пока мраморно белела да мохнатый колоколец прятался от глаза у края луга, свернувшись на ночь. Покой жил в июльских лугах над рекой. Тусклое ровное свечение стояло над головой, ни облачка в небе, ни гусиного пера, окрашенного с исподу розовым и зеленым, а только тусклое эмалевое свечение до той поры, куда проникал глаз, и понималось сейчас, что это истинная бездна без конца и краю. Небесная бездна опрокидывалась и в реку, и река тоже воспринималась, как бездна, как ничто, недвижное и покорное, незаметное моему глазу, утекающее в никуда.

«Хоть бы любовника себе завела,— вдруг вспомнил я о жене, сейчас, наверное, одиноко сидящей на краю постели и разбирающей волосы. Ведь там, на краю моря, под ровный накатный гул особенно невыносимо и одиноко смятенному человеку.— Я мучаю ее, она мучает меня. Я мучаю жалостью, она мучает покорством своим, верностью своей. Развестись бы надо, разрешить все... Ведь

жалость моя сейчас хуже преступленья, такой характерный факт. Хоть бы изменила, а то ждет. Как странно: мне легче будет, если жена изменит. Это что, тоже болезнь особого рода?..»

— Господи, как не хочется назад в Город,— вдруг нарушила молчание Настасья и сладко потянулась, вернее, сладостно, по-звериному прогнулась, напрягла высокую грудь, на какое-то мгновение открыв себя, позволила своей замкнутой натуре крохотную свободу, но тут же, наверное, поймала мой тоскливо-кроткий взгляд, замкнулась, посмурнела, скрестила тугие руки. Чем я так чужд, так неприятен ей, что она, на мгновение и случайно выглянув из укрытия, сразу же торопливо спешит обратно. Может, что-то чует во мне изменчивое и неверное? Иль похожее на себя? Иль обличье мое — цыгановатое, с карими злодейскими глазами и развесистыми губами — так отталкивает ее? И, снова заметив такое небрежение к себе, я невольно вспыхнул и подавил в себе стеснительность, сразу стал развязен и волен в словах.

Вечерним спокойно раскинувшимся лугом, полным матового свечения, шли двое людей, чужих и подозрительных, жаждущих своей особой воли.

— Город меня теснит, он меня уничтожает. Мне воздуху мало, дышать нечем.

— Так живите здесь, в Слободе, это почти деревня. И мать старая, слепая, нуждается в помощи. Вы же бросили мать и отца, такой характерный факт. Вы в городе спасаете себя от тягот и неудобств, чего вам еще надо...

— Вы мне отчего-то противны, Тимофей Ильич,— вспыхнула Настасья, но, однако, к дому не повернула, а спустилась к побледневшей реке.— Что вы на меня так смотрите?

— ..?

— Гаденько. Что, вас били часто?

— Вы со всеми так обращаетесь или только со мной?

Мне было горестно и горько, и я невольно задерживал шаг, никак не решаясь повернуть обратно к дому.

А Настасья вдруг обернулась, издали упорно разглядывая меня и близоруко щурясь, и мой неприглядный мешковатый облик, наверное, всколыхнул что-то в женщине, и она неожиданно засмеялась, круто запрокинув голову; она смеялась долго и печально, дожидаясь, а во мне все кипело, и, может, потому слова запеклись в гор-

ле. Но бес точил меня, под грудью горело, все чудилось, что кто-то доглядывает следом, хохочет и строит рожи, радуясь моему позору. «А ты не трусь,— нашептывал бес,— ты в охапку ее, да в траву. Так-то ли сладко».

— Господи, как в Город не хочу,— вдруг снова тоскливо протянула она.— Подумайте, Тимофей Ильич, но жилье свелось к крыше над головой, а любовь — к постели. Не могу я жить в современной квартире. Не переношу все то, что для всех и у всех. Это как ненависть во мне, отвращенье. Общую одинаковую мебель не переношу, одинаковую одежду, одинаковые чувства, одинаковых людей. Это как болезнь — наша всеобщая одинаковость.

— Все, петля,— нарочито горестно сказал я, скоро забывая недавнюю обиду и горечь. Мне вдруг по-иному увиделась Настасья: это постоянный нерв любви трепетал обнаженно и изводил ее сиротскую душу. Я вроде бы в огромном мире вдруг отыскал своего двойника. Вот отчего так томилось мое сердце и влекло к этой женщине. Ей очищенья хотелось, всеобщей доброты и участья, человеческого слиянья и согласного единенья.

— Что за чушь? — споткнулась, недоуменно посмотрела тяжелым взглядом. Удивительно, как менялась Настасья: отсмеялась — и поникла, увяла сразу, как морская рыба, недолго побывшая на берегу. Вот так щепотью придавить язычок светильника, и лицо, до того чеканное и тепло омытое добротой, сразу обретает угрюмость и подозрительность, ему, казалось бы, не свойственную. Хоть бы однажды оттаяли ее угольной черноты глаза, и какая бы, наверное, глубина вдруг обнаружилась в них.

— Намылить веревку, примериться, лучше бечевку взять, круто свитую и тонкую, чтобы не мучила,— я крутнул пальцем у горла.— Слушай, зачем изводить себя и других, простись со всем, что так тягостно тебе.— Над зеркальной светлой рекой низко нарисовалось холмистое облако, с-под низу окрашенное лиловым, а по верху его, словно бы в седловинке, лежала зеленым светильником звезда, искристая, обманчиво округлая, будто чей кормовой фонарь утекал вместе с суденком в безбрежность. «Милая Настя, я над собой смеюсь, прости мое фанфаронство. Я над собой смеюсь, потому что любить хочу. Лю-би-ть хочу! И ты хочешь любить. Мы хотим лю-

бить».— Смотри, вон звезда. Но это нам чудится, будто звезда, и звездный свет струит на нас. Это обман, чары, ересь. Там вовсе и не светило, это лишь отраженье свечи в божьей горнице, куда нам не попасть,— молол я чепуху. Господи, как только язык не отвалится у меня, как не засохнет и не отпадет, как стручок мышиного горошка. Но во мне прорвалась запруда, душа моя разгорелась, чуя близкие слезы, и в это мгновение я был почти счастлив.— Полюбить вам надо, Нас-тя-я.— Я городил огороду, и мне странным казалось, что Настасья терпит меня, не уходит прочь, а слушает, обратясь вплотную ко мне, и глаза ее округлились и диковато вспыхивают.— Знаешь, когда невесту раньше к венцу вели, дружки жениховы ее наставляли: дескать, в горнице у мужа стоит кровать тесова, на кровати тесовой лежит перина пухова, а на перине пуховой есть подушки кисовые, а на стене над кроватью, значит, спичка дубовая, деревянный гвоздь такой, а на спичке дубовой висит плетка шелкова... Слушай, теперь тут самый раз для тебя... Висит плетка шелкова о трех концах: один конец долог и другой — долог, а третий — больно ловок. Как хвостнет, так кровь в потолок сбрызнет...

— И часто жену свою бьешь? — любопытно спросила она и вновь чисто засмеялась, запрокидывая голову, третий раз за нынешний день. Что-то менялось в Настасье, какая-то лихорадка вроде бы овладела ею и не отпускала: словно бы желанное счастье мерещилось ей, но она пугливо отстранялась, остерегаясь поверить.— Я мужу своему говорила: Андрей, ты бей меня чаще, крепче любить буду. А он не бил... Но однажды решился — и я ушла.

— Любишь ты его,— повторил я, внезапно грустнея от ревности, и будто случайно положил ладонь на ее прохладное плечо. Настасья косо глянула на меня, но смолчала, и я сам торопливо убрал руку и отодвинулся чуть.— Вернись к нему, что тебя держит?

— Нет-нет!— испуганно вскрикнула Настасья.— Что ты понимаешь в любви? Ты же ее не признаешь. Давай кончим этот разговор... Исключено, исключено, Тимофей Ильич. Но я каждую ночь его видеть стала и тоскую. Он, как призрак, приходит и стоит в изголовье и шепчет. Знаю, что лживы слова, и расслышать не могу. Утром проснусь и тоскую. О прожитой жизни тоскую, что так сложилась она.

— Значит, любишь, раз тоскуешь. Ведь тоскуют, когда любят. Тоска по родине, любовь по родине...

Настасья от этих слов сморщилась, потемнела, гневно вздрогнули губы, но она сдержалась и ответила печально и покорно:

— Нет, не люблю.

— Значит, не тоскуешь,— болезненно настаивал я: мне отчего-то желалось, чтобы Настасья возражала, словно бы от этих слов что-то могло счастливо разрешиться в моей судьбе.

— Тоскую... Я от жалости тоскую. Мне его жалко, вот и тоскую. Мне всех людей жалко, мне и вас жалко, Тимофей Ильич, и отца с матерью. Всех так жалко, что и жить не хочется... Вот муж, он унижал меня, а мне его жалко,— печально говорила она, видно, долгое молчание угнетало ее.— Все думается, что он страдает, он любит меня, потому и унижал. Хотя знаю, что притворство одно, зло с его стороны, он не любит меня. Он во мне человека не любит — за то, что я собою хочу быть. Не подстилкой, не принадлежностью, а собою. И знаю, что не любит, но возвращалась сколько раз и снова обманывалась, а все одно — жалею... Почему люди не хотят, чтобы каждый оставался самим собою?

— Я не знаю, что тебе ответить. Это и моя боль.

— И не надо. Помолчим лучше.

Но я уже не мог молчать, во мне все сместилось и лихорадочно дрожало: душа повисла на крохотном стебельке, готовая оторваться, она трепетала, будто черемуховый озябший листок, и, предаваясь внезапной сердечной радости, я еще что-то пытался говорить о том, что лишь в природе люди откровенны, ибо природе невозможно лгать, а бес за левым плечом коварно нашептывал: «Решайся, зачем лишние слова».

Настасья стояла вполоборота ко мне, снова скучная и ушедшая в себя. Я торопливо подхватил ее за плечи, жадно привлек к себе и ткнулся в сухие шероховатые губы, внезапно ставшие вовсе узкими и каменными. Настасья не смутилась, не закричала гневно, не отпрянула, она лишь напряглась всем литым чужим телом. Я пробовал еще зарыться в легкий голубой батист, пахнущий огородной зеленью и пряной горечью тела, но Настасья поймала рукою мою ошалелую голову и без особого усилия отстранилась.

— Тревога во мне, Настя. Ты должна меня спасти,—

шептал я воспаленным сухим голосом, мучительно и слезно жалея себя. Все вдруг во мне перевернулось, и я увидел себя обиженным ребенком: мне восемь лет, я один на всем земном белом свете под закуржавленной березой и, с тоскою глядя на освещенное заиндевелое окно, жду странной временной смерти и доброго, прощающего материного оклика... Мне бы сейчас только коснуться Настасьи, приникнуть к ее плечу, услышать ответное согласное слово — и я бы утешился сразу и возродился. Только что я готов был взлететь, и вроде бы даже слышал воздушные студеные токи, обтекающие меня, и вдруг мерзлым придорожным камнем упал, и нет во мне ни жизни, ни желаний. Случаются же такие любовные вихри, которые возникают словно бы ниоткуда, освобождают душу из оцепеневшей кожурины, кидают ее под самое перьевое облако, с лиловой тенью в отрогах. Но боже мой, как тяжко возвращаться душе в тугие грудные крепи, покорить себя и одиноко, надолго замереть там, дожидаясь случая. Я плакал сердцем, хотя глаза пока оставались сухими.— Спаси меня, Настя,— прерывисто повторял.— Я уж думал все... Ходил весной на охоту, загадал: убью глухаря — жить буду. В упор пальнул, а он ушел... Значит, все... Зачем говорю, правда? Смешно. Ты прости, это голову днем напекло. Душа болит... Смешно. Ты-то с какого краю, верно? Вчера увиделись случайно, чужие люди, завтра разминемся. Две звезды в пространстве. Просто поверил, а вдруг? Смешно... Это голову днем напекло... Меж нами стена. Нам не понять друг друга, меж нами стена. Глупо все, глупо...

Что случилось со мною, я не понимал. Может, напряжение последних месяцев извело меня, боренья с самим собой измучили, и я опустошился. Я плакал горестно и надрывно, как пьяный растерзанный мужик, и не мог укрепить волю.

— Слушай, ты плачешь? — удивленно спросила Настя. Она пробовала оторвать ладони от моего лица, но я по-детски упирался, мне было стыдно своих слез.— Слушай, ты плачешь? Ты ведь плачешь, правда? — недоверчиво повторяла Настя, в чем-то убеждая себя, и вдруг поцеловала мою руку.

Я долго приходил в себя, пока плач затихал, смирялся в груди, и Настя покорно стояла рядом: я стыдился повернуть к ней опухшее лицо, но взгляд ее чувствовал постоянно. Сквозь слипшиеся ресницы ночной тусклый

воздух казался живым и студенистым, река угрюмо текла из земной расщелины в небесное пространство, полная багрового свечения. Как быстро все переменилось в природе, сместилось, сторожко примолкло, подстерегая незнаемое утро, и полночное небо сдвинулось, наполнилось сиреневыми дымами, и сквозь эту подвижную смуту проклюнул стершийся незавидный грошик луны.

Вернулись мы неожиданно поздно и, стараясь не шуметь, словно бы в сговор вошли (а может, и возникло меж нами тайное, еще не услышанное согласие), открыли калитку, косо стоящую на пяте, и, как я ни старался, она, однако, досадливо поперхнулась, неохотно впуская нас. Может, действительно мы сговорились? А иначе отчего бы так испуганно переглянулись вдруг, и каждый заметил про себя, что идет крадучись.

Крыльцо заслоняла черемуха, да и мы были так заняты собою, что Серафиму заметили в последнее мгновение: она сидела на ступеньке, как ощипанная куропатка, в белой ночной сорочке до пят, в какой ходила к реке, и мелко дрожала.

— Мама, ты отчего здесь? — испуганно спросила Настасья; она, наверное, уже что-то почуяла в облике матери, потому как поникла разом и постарела.— А ну, пойдем в дом...

— Да все бы ладно, верно? Сигаретки вот нет — беда. Я только спать легла, а он пришел и с заулка закричал: Серафима, выйди на минутку. Ну, я как добрая и вышла, спрашиваю, чего тебе? А он обошел меня кругом да дверь и закрыл на крюк, дьявол такой, хи-хи.— Серафима неожиданно засмеялась иль всхлипнула и тут же мелко закашлялась.— Ты, доча, на него не шуми... Я раньше-то крепко спала, Хрыся придет поздно, стучит, я уж не услышу. Он все говорил: вот заспишь как-нибудь и не проснешься совсем. А я ему: ну и слава богу... Санька-то, сынок, бывало как ревел. Однажды он ревет, а я заснула так ли хорошо, но сама-то думаю во сне: ой, слава богу, что парнишка нынче не ревет, успокоился да и мне дал поспать. Сосед наутро приходит вдруг и спрашивает: Серафима, у тебя ночью ничего не случилось? Я думал, случилось что худое, ведь всю-то ноченьку парень твой выревел. Вот я как, бывало, спала, а нынче хоть пятаками глаза накрывай... Настасья, ты не строжи

батю, ты его не гневи, чего попусту травить: пусть поспит, лешачина, хоть протрезвеет. Вот тоже моду дурную взял: однажды и зимой меня так обманул, часа два раздетой на морозе выдержал, я и слегла в больницу.

Серафима не ругалась, не кляла, а покорно дожидалась своего часа, когда смилостивятся над нею, и это ее поведение окончательно сбило меня с толку, да и что я мог поделать в чужом дому, что рассудить и как, только самому же и перепадет сгоряча, если сунешься напропалую. Настасья же мать свою не слушала вовсе, а нетерпеливо оглядывала избу, видно, не зная, с какого края подступиться к ней, взломать ли дверь иль попытаться уговорить пьяного отца. И тут, решившись, она продралась через смородиновую заросль, угрюмо попросила: «А ну, помоги»,— и я, сколько мог, приподнял ее, упругую, крепко сбитую, ощущая горячую покатость бедра.

Старик, оказывается, не спал, а дурачился у стола с приблудной собачонкой, совал ей в пасть корявый палец, и, наверное, хихикал, потому что видно было, как сладко щерилось его бровастое лицо. Настасья грозно колотнула в раму, махнула рукой, и Хрисанф, неожиданно разглядев дочь, испуганно встрепенулся и кинулся к двери.

— Ты что, совсем с ума?.. Ты что это, издеватель, над мамой, а? Кто позволил...

Но Хрисанф играл со щенком, совал ему в слюнявую пасть толстый искореженный палец и разговаривал:

— Ну ты, злодей... Ах, ты кусать, ну погоди, деревянны деньги. Я из тебя кислу шерсть выбью... Ты послушай, как она с отцом ведет. Она забыла, что я ей отец, я могу и выпороть, запросто выпороть, у меня не заржавеет... Ну, гульнули сегодня, волчонок, знатно гульнули. Шурка-то баба огонь, да и я не сплоховал, не пальцем строен... Ну ты, экий пакостник, дедка обмочил. Поди прочь от меня, заразный небось, а нёбо зверное, черное нёбо-то...

— Замолчал бы хоть, пьяная голова, стыда если нет,— укорила Серафима, жадно накуриваясь за дверью.— Ты что при госте несешь, какую чепуховину порешь. Ведь могут и поверить.

— А я не соврал, с чего мне врать? Мне за вранье деньги не платят,— вскочил Хрисанф, кинул щенка на пол, тот заскулил и поплелся к двери, оставляя темную лужицу.— Я врал когда? — Он дико взглянул на супругу

и вновь ощерился черным беззубым ртом.— Я Шурку-то зажал, стерву, так она и не пискнула... Я ей все по чести, деревянны деньги, я с ее тройной пот спустил. Ну, говорит, ты, Хрисанф, молодец, ты, говорит, и молодым сто очков дашь.

— Скотина ты, а не отец мне,— прошептала Настасья и размашисто, с подскоку влепила старику пощечину, не раздумывая, и с другой стороны добавила. Хрисанф не оборонялся, лишь потерянно ойкал и качал хмельной головой, разом растеряв слова:

— На отца родного руку... Как ты посмела?.. Фима, оборони, милая, она ведь меня убьет.

И чего никак уж не ожидалось, подскочила Серафима к мужу, заслонила его, сама крохотная, будто птенец встопорщенный, промокший под дождем, которого и голодная собака поленится теребить, седые паутинные волосенки, обычно такие ухоженные, выбились из-под гребня, раскосматились: макушкой Серафима не доставала широкой мужней груди, покрытой когда-то по-лисьи рыжей, а ныне длинной седой шерстью, той самой просторной груди, на которой столько ночей было выспано; и руки она выставила, зашарила ими в мутном пространстве, кидаясь на шорохи, все пыталась достать, найти дочь свою:

— Доча, ты не бей его,— умоляла она.— На что он тебе сдался, верно? Он ведь старый, отец твой.

Оторопь у Хрисанфа прошла, он сутулился за спиной супруги, одетой в длинную, словно саван, рубаху, и уже подмигивал мне, и строил над ее тонким плечом всякие фигуры из пальцев и открыто смеялся; вроде бы старый человек, нажившийся, а как ребенок, и все повадки детские, но странно жестокие и обидные.

— Вы, клуши...— горделиво бубнил он, выгибая грудь,— вы обе из моего ребра скроены. Я на вас тьфу... Меня любая баба с руками, деревянны деньги... Если по зверю, кто первый? Я, вот и оно... А насчет рыбы? Я, вот и оно. За мной, как за гранитной стеной, ни одним ветром не прошибет. Вот на меня бабы и зарятся. Я их не хочу, хе-хе. Да они сами мне проходу не дают, заразы, вшивое племя... Не, я за вас возьмусь, вот погодите, я из вас кислу шерсть выбью... А пожалуй, брошу Фимку, верно, Тимофей Ильич, от нее же ныне ни рыбы, ни мяса, в этой бабке, одна становая кость в шкуре, из нее доброго студня-то не выйдет.— Хрисанф сел на порог, а сам

все тянул шею, опасливо высматривал, что делает в горнице Настасья. Та сидела на кровати и, зажав уши ладонями, тупо раскачивалась.— А может, я сына хочу... И что? Я, может, по сыну плачу. Ты мне дашь? Не-е... Ты ныне затычка для жбана.

Я скверно себя чувствовал: мне бы одернуть Хрисанфа, заявить какие-то охлаждающие слова, дескать, если еще так поведете себя, то я уйду средь ночи и больше ноги моей здесь не будет, иль хотя бы упрек высказать для ясности, чтобы старик более не подмигивал мне и знал, на чьей я стороне; но, боже мой, я тоже что-то мямлил ватным языком, становясь похожим на Хрисанфа, и тоже непонятно кривлялся, наверное, пытался мигнуть ответно, потому как часто щурил левый глаз и был противен себе самому. Вместо того чтобы совершить поступок, я гаденько и противно щерился, перенимая все повадки Хрисанфа. И в то же самое время мне хотелось воскликнуть: люди, за что вы мучаете друг друга, ведь вашей-то жизни остался самый кончик с воробьиный шажок, проснулись — встали — заснули, вот и нет уж более вас на свете и не будет, сплошная тьма окутает, куда более глубокая и вечная, чем слепота. Так оставьте же по себе добрую память, которая б шла по долгой череде потомков, никогда не кончалась...

— Ты хочешь меня оскорбить? — с расстановкою спросила Серафима и пальцем проткнула воздух.— Но тебе меня не оскорбить, потому что я твоего оскорбления не слышу.— Она повернулась гордо и ушла в горницу. Хрисанф ответно плюнул, презрительно рассмеялся и выбрел на крыльцо. Я еще не ведал, какая мне предстоит ночь, но, желая скорее забыться и никого более не видеть, вступил в горницу. С хозяйкой, видно, творилось дурное, она как бы сбилась, потерялась умом, сейчас стояла на коленях возле распахнутого сундука и перебирала одежды, плоские, пахнущие нафталином. Сундук был огромный, редкий ныне в домах, с кованой обрешеткой, тусклыми слюдяными зеркальцами и со всякой деревенской росписью, изрядно поблекшей, с высокой пружинной крышкой, на обратной стороне которой были нарисованы маслом целующиеся голубки, больше похожие на тетерок. Помнится, такой же сундук стоял в городском доме моего деда, куда мать таила от меня сахар.

— Ему захотелось меня унизить. Я, ха-ха, не дамся,

я от него скроюсь,— мутно и странно говорила Серафима, часто путаясь и сбиваясь. Порою она озиралась через плечо настороженно, будто оглядывала горенку, вернее, пыльный потолок, глубоко и горько вздыхая. Настасья все так же сидела на кровати, согнувшись до колен, зажала ладонями уши и тупо раскачивалась. Мне хотелось лечь скорее, но и неудобно было подсказывать. «Уезжать надо к чертовой матери — и скорее»,— тоскливо думал я, вспоминая о недавней своей истерике. А старушка бубнила, слепыми руками перебирала платья, юбки, платы, порой встряхивала с шумом и треском и снова укладывала, приминая ладонью, потом со дна добыла узелок и положила его как бы в изголовье. Я рассеянно глядел на эти приготовления, но еще не понимал, что собирается делать Серафима.

— Мне ведь места много не надо,— кротко, обиженно говорила она.— Я же, как пуговка. Мне в люльке-то места, куда-а... За глаза места, я снова в люльку вернулась, хи-хи. Мне отец хорошую люльку состроил из красного дерева, да пухом выстелил.

Серафима, кряхтя и упорно цепляясь за стенки сундука, окованного железными полосами, трудно поднялась, и видно было мне, как прилила к щекам кровь и посинели уши. Она неожиданно занесла левую ногу и ловко закатилась в сундук, поворошилась там, сложилась подковкой и затворила глаза. Словно бы засыпая, о чем-то сладком грезя, Серафима улыбнулась жутко и зашарила вытянутой ручонкой над собою, наверное, искала крышку сундука, чтобы закрыться. Господи, безумье какое-то. Что за день такой пришел, ломающий душу и портящий разум... Тетя Фима, тетя Фима, крылатая Серафима, ангел мой, очнитесь же. Хватит с нас и одного безумца. Я, наверное, вслух бормотал иль воскликнул что, ибо Настасья вдруг очнулась, непонимающе взглянула на мать и, запрокинув голову, всплескивая руками, нервически засмеялась:

— Мама, подвинься, я лягу. Ой не могу...

Серафима обидчиво поджала губы, когда услышала над собою теплое дыхание, и перевернулась на другой бок. Под глазами у матери посинело, нос заострился и побелел. Настасья склонилась еще ниже, громко шепнула на ухо:

— Подурачились — и хватит. Иди в постель.

— Не буду с ним спать...

— Ну не будешь, не будешь,— со слезой в голосе уговаривала Настасья.— Дети, ой дети. Что мне с вами делать? День-то один не могли дожить с радостью. Один, другой.— И она опустилась на колени, заплакала, целуя крохотную ушастую голову матери.— Дети мои, что вы изводите себя...

Серафима, услышав горячие слезы дочери, упавшие на ее лицо, порывисто пыталась сесть, но тут кровь ударила ей в затылок, и старенькая тонко, по-заячьи заверещала.

— Мама, ты что... Ма-ма,— закричала Настасья, по-настоящему вдруг испугавшись.— Тимофей Ильич, ну помогите же. Ослепли? Человек или кто...

Я перенес Серафиму Анатольевну на кровать, старушка была не тяжелее пуховинки, увядшие безвольные руки заломились, иссохшее тельце жестко, деревянно легло в ладони. «Куда же ей еще жить такой? — мелькнуло в уме.— Умерла ведь, поди». Я осторожно поместил ее в постели, и она затерялась в перине, только лицо на твердой подушке выпятилось и мертвенно осунулось: обрезаться можно было о ее нос и впалые щеки. Настасья расщемила плотно сжатые губы, посинелые, траурные, дала валидолу. Я одной рукой держал Серафимину голову, другою — стакан, помогая напиться, и вдруг подумал, что так в природе увядает одуванец. Все красовался, оперялся, расцветал, хвалился средь травяной братвы солнечно расшитой тюбетейкой, а после седо закудрявел и улетел, лишь кожура осталась, посохшая, пониклая вдоль черной хребтины, а после и она поддастся, под ветрами и дождями опадет — и вроде бы не было на свете одуванца. Но весною сквозь эту щепотку праха вдруг проткнется зеленое перо, смешно и радостно растопырится и заспешит под солнце... Нет, вру: ни о чем таком я не думал тогда, я так представил уже после, когда переживал одинокую ночь на морском берегу. А в то мгновение я испугался близкой смерти до холода в сердце, ибо никогда еще не видал, как умирают люди... Я так много думал о смерти еще прошлой весной, она мне казалась тогда прекрасным выходом из жизни, естественным и желанным. Но человек, оказывается, умирает просто и незаметно, словно ему нечего терять и оставлять на этом свете, полном красот: все было буднично, почти безобразно и никому, вне дома, не жалостно. Если бы жалостно кому стало в это мгновение иль нестерпи-

мо, то он должен бы почуять беду и без вести особой, без зова стремиться сюда, чтобы хоть как-то укрепить душу хозяйки и помочь достойно уйти ей. Меня тогда болезненно укололо, что это помирание не соответствовало Серафиминой крылатой душе: так бы должен кончаться какой-нибудь зачумелый от вина бродяга, замерзая во хмелю под забором и заливаясь собственной рвотой, иль какой никчемный человечишка, никогда не умевший работать и любить. Почему же именно в такой неприметной заскорузлой плоти поместилась вдруг, нашла убежище большая Серафимина душа?

Настасья принесла грелку, поцеловала мать, потом губы к ее рту прислонила, ледяному, неслышному, и стала усердно отдавать свое нагретое дыхание. Серафима едва слышно простонала, открыла слепые глаза, испаринка просочилась на впалых висках.

— Если не станет лучше, за врачом надо,— сказала Настасья. Я согласно кивнул головой и поскорей вышел на улицу.

Хрисанф сидел на крыльце, нянчил собачонку: приблудный щенок, толстоголовый, довольно поуркивал. Я опустился возле и пристально вгляделся в старика, стараясь его понять.

— Как она меня любит, Фимка-то, а? — вдруг сказал Хрисанф.— Дочь-то меня бить, а она... Не тронь, говорит, отца. Только через мой труп... Вот любовь-то, деревянны деньги,— наивно бахвалился он.

— Серафиме Анатольевне плохо,— сказал я тускло, уже ничему не удивляясь.

— Восстанет,— спокойно ответил Хрисанф.— Она меня переживет, тьфу-тьфу. У ней умирать нечему. Одна становая кость, завернутая в кожу.— И он снова занялся щенком, злил его, совал корявый палец в слюнявую пасть.

— Это правда, с Шуркой-то? — зачем-то спросил я: вне дома все случившееся на кухне уже казалось смешным и надуманным.— Вы с Шуркой...

— Да не-е,— охотно признался старик и сбил сивые кудри на глаза, но, однако, ощерился сладко, словно бы вспоминая что запретное и забавное.— Я-то ей на какое место... Ее, заразу, трактором пахать.

— Зачем же врали тогда? Что вам от того?

— Вы об чем? — он отвел глаза.— Про то-то? А пусть Фимка не ерепенится. Хвост задрала, я те дам. Сама не

больше копыла, за пазухой влезет, а перья топорщит... Да понять ли вам, Тимофей Ильич? Да и соваться к чему? — он тоскливо посмотрел, упорно, будто бы спрашивал о чем, и я торопливо отвел глаза.— Вот то-то и оно... Доброта не грыжа, ее не наживешь, как ни надрывайся. Иль она есть от рожденья, или ее нет.

Я молчал, прислушивался к дому, постоянно думая о Настасье. Душа истекала обидой и тоской, я сам ее травил непрестанно, и это было хуже всего. Так мерзко было сейчас на сердце, что стыдно и смешно было снова появляться на глаза Настасье: лучше деться куда из этого дома посреди ночи, и самого себя куда-нибудь деть, затерять. Я прислонился к стене, тупо закрыл глаза, странно опустевший весь, с чугунной головой; и меня сразу понесло, закружило, я провалился в мглу, а когда очнулся, то поразился вдруг голосу старика, нежному, плавному. Он все так же обласкивал щенка, теребил его уши, свалившиеся на стороны пельмешком, словно бы от живого собачьего тепла обогревался:

— Вот кто, собака, если полюбит, дак не предаст. Мы дурного человека обзываем собакой, а надо бы хорошего. Собака-то полюбит, дак не продаст, не то что наш брат...

Все-таки под утро врача вызвали, он сделал от сердца укол, и Серафиме полегчало. Но какое-то странное беспокойство вдруг нашло на нее, видно, что-то мнилось, чудилось, даже в коротком сне старушка металась, звала кого-то и плакала. Очнувшись, она попросила поднять ее на подушках и позвать мужа. Хрисанфа долго добуживались, он явился опухший, с натеками под глазами и угрюмый. Встал подле кровати, сердито чесал заросшую шерстью грудь.

— Ну чего тебе, делать больше нечего?

Серафима оставила его слова без внимания, но руки ее беспокойно метались, то оправляли простыни, то подбирали рубашку возле горла, и посиневшие губы шептали что-то, видно, выискивали нужное слово, а может, и скрепляли то единственное, которое трудно было, однако, выпустить.

— Я умираю, Хрыся,— жалобно сказала Серафима; у нее не получилось достойного тона, и голос ее дрогнул.— Надо бы детей известить, чтоб ехали... Я умираю, Хрисанф,— повторила она уже более твердо.— Так знай, что я никогда не любила тебя... Я все сорок девять лет нашей совместной жизни притворялась.

Хрисанф не подавал признаков, он вроде бы и не дышал сейчас, а молча смотрел на супругу, и не то болезненно морщился, не то притворно улыбался и так, не сказав ни слова, убрел в дровяник, тяжело шаркая галошами. После таких Серафиминых слов, казалось бы, должна свершиться кара, хотя бы жиденький возглас иль неземной короткий гром: что-то же должно было случиться сейчас, так, наверное, полагала старенькая. Но тут ни слова в ответ, лишь тяжелое шарканье галош. Убрел, значит, ах ты прости. Может, и не любил? Кабы любил хоть каплю, то закричал бы, затопал ногами... А может, она убила его признанием, дура, ой дура, чего смолола, будто кто за язык тянул. Хотелось испуга его, гнева, может, и слез и тем самым отомстить за вчерашнее, возвеселиться и забыть. А он, как идол.

— Настасья, доченька, что я наделала... Зови старика, он что ли с собой сотворит... Я его знаю... Он, может, и веревку ищет... Он и повеситься может, верно?

Хрисанф только что повалился в дровянике на фуфайки, досадуя на супругу, что вот подняла ни свет ни заря, а ее признания он не понял спросонок. Он только блаженно растянул ноги, как вновь пришла Настасья, а ослушаться дочери старик не посмел бы. Он вновь встал возле кровати, Серафимино лицо напряглось ожиданием, слепо уставилось в потолок. По хлюпающему дыханию она поняла, что муж возле, и вдруг взяла его тяжелую ладонь, расцеловала, положила себе на грудь. Она долго и с нежностью гладила такую знакомую ладонь с набухшими жилами, а старик смотрел в сторону и глупо улыбался. Он взглянул и на меня, думал, не подсматриваю ли, но я поспешно закрыл глаза, притворился спящим.

— Хрисанф, голубчик, встань на колени,— вдруг попросила Серафима. Старик послушно опустился у кровати, а супруга бесплотно гладила его лицо, едва касаясь, вроде бы запоминала, с собою собиралась унести мужний облик.— Вот и все, нажились, как будто и не жили... Через месяц золотая свадьба, а я вот, верно?.. Ну что же я так-то заторопилась,— Серафима смиренно заплакала.

— Ну, брось, брось. Меня переживешь,— гугнил Хрисанф и со стороны, если не вслушиваться, доносилось: бу-бу-бу.— В тебе помирать-то, старуха, нечему. Ты же, как вобла.

— Да, воб-ла-а,— плаксиво возразила Серафима.—

А вот умираю, мучитель мой.— Она спохватилась, прикусила язык, воскликнула печалясь: — Ну что же я-то... Может, и к лучшему... Уж как хорошо-то и разрешилось. Иначе тебе обуза... Прости меня, Хрисанф Алексеевич.

— Ну ладно, пошел спать,— с виду равнодушно ответил Хрисанф.— И больше не зови. Все!

— Умру, а он и не поверит, подумает, соврала,— спокойно сказала Серафима, выждав, когда захлопнется за мужем дверь. И вдруг заворковала горлом — то ли смеялась, то ли плакала. Может, выпала старая из ума иль вернулась в то состояние, откуда начиналась ее жизнь?

Днем, откуда-то прослышав, что умирает Серафима Малыгина, нежданно заявился старовер-начетчик Евтихий. Явился в черном полосатом пиджаке с длинными лацканами, еще послевоенном, и в высоких расписных носках по колено и зеркальных галошах. Он весь был светящийся и тихий, с широко распахнутыми бледно-голубыми глазами, в которых, казалось, жила одна кротость, и серебряным волосом, точно зимним чистым инеем, было окутано все его большелобое лицо. Невесомые волосы подбиты в кружок, макушка желтой репкой слегка обнажилась, борода, текучая, сквозная, колыхалась под его дыханьем, и сквозь проредь ее виделся литой серебряный крест. Откуда пробрался этот человек, из каких пространств? Словно бы из стародавних скитов, от коих одни лишь названия помнятся в народе, явился он сквозь время, незваный и вещий, как охотник за отлетающей душой. Евтихий с глубоким любопытством оглядел меня, видно, понять хотел, из каких я мест и не несу ли с собою угрозы, но, наверное, вид мой, неприметный и затрапезный, успокоил его (так я предположил), и он быстро прошел в горенку.

Серафима вроде бы спала... Настасья сидела в изголовье, но, когда вошел Евтихий, она не удивилась, сама посветлела темным от бессонницы лицом, даже словно бы обрадовалась гостю, и торопливо придвинула ему стул. Евтихий молча смотрел на больную, на ее испитое обличье с пятаками под глазами, на снежные, ровно прибранные волосенки, на странно белые руки, сложенные крестом поверх одеяла, и Серафима, чуя его любопытный проникающий взгляд, долго крепилась, мерцала ресничками, но первой не сдержалась и вроде бы проснулась. Но ей-то, слепой, можно было и не открывать

глаза, ибо, распахнутые, они походили на черные остывшие уголья, потерявшие живую глубину, и свет, падающий от близкого окна, скользил по ним, как по металлу.

— Вот... зовут, Евтихий Павлович.

— Христос с тобою, сестрица. Он всех призовет к себе... Ты не прозрела ли перед смертью?

— Да нет, по запаху чую, что ты.

Они замолчали. Евтихий раздвинул бороду, вызволил наружу литой серебряный крест, как бы призывая себя к скорбному, но и возвышенному полномочью, а рука-то у начетчика мужицкая, лопатистая, великоватая для его худенького тельца.

— Ой, сестрица... Все мы ревем, как медведи, и стонем, будто голуби, ждем великого суда, а его все нет. Но призовут на страшный суд, ой, призовут. А может, сказка-то, вранье? — Он пристально вгляделся в Серафиму, по движению ее лица стараясь уловить состояние души, чтобы узнать, готова ли она обратиться в истинную веру.— Врут, поди-ка? Исуса продали за тридцать сребреников, а мы кайся вечно. Нам-то што? Рассыпемся прахом, удобреньем на мать — сыру землю... Во спокое уходишь, сестра, иль тебя терзают диаволовы когти, грызут грудь? Жаровни-то не боишься, коли жарить начнут? Не завопишь там, на страшном-то суде? — И тут Евтихий спохватился, поймал себя на том, что загорячился уже, и поди зря пугает старушку. Кротостью надо, смирным словом да позовешь за собою.

— Боюсь жаровни-то,— прошептала Серафима, словно бы силы не оказалось воскликнуть.— Как не бояться-то, верно? А если в котел бросят со смолой?.. И чертей боюсь, рогами начнут бодать. Я с детства почто-то рогов боялась. У них рога-то настоящие, поди, иль из железа? — старушка говорила с придыхом и долгими расстановками, незряче уставясь в потолок, словно бы там ей рисовались будущие казни.

— Кто делает правду, тот праведен. Кто делает грех, тот от диавола...

— Если с рогами они, да с железными, то я лучше прахом лягу, а? — чуть громче спросила Серафима, и, видно, уловив по материному голосу ее игру, Настасья прыснула в горстку и отвернулась к окну.— Мне Хрисанф-то наставил рогов за долгую жизнь... Ой, боюсь я рогов.

— Ты, Серафима, на наших глазах жила. Смиреней тебя мы не знаем и не видим, и твою доброту сердечную мы не забудем... У тебя имя-то наше, святое, крылатое, вознестись тебе. Иди к нам, и мы за тебя вечно бога молить будем.

— Я бы пошла, да я табачок курю. С табачком примете?

— Табачок брось. Покайся, и грех этот простится.

— Все одно в землю, там и вонькик принимают.— Серафима вроде бы ожила, в голосе ее проявилась сила, и прежнее любопытство проснулось.

— А дух куда?

— Пока жила, весь дух в детей вышел, верно? Вон, в Настасье мой дух. Бог добрый, принял бы он меня с табачком, я буду в сторонку дышать, я в лицо дышать не буду. Сяду где-нибудь в сторонку и буду золотым яблочком закушивать.

Евтихий давно понимал, что смеется Серафима, но и прощал ее, не осуждал, ибо жаль было уходящую из мира с такою неспокойною душой, в которой все встопорщилось и бунтует. В такой ли час смеяться человеку, не лучше ли задуматься о пути предстоящем и приготовиться к нему.

— Он не вонькой, а грешный, дух твой. Он в огне, не в покое. Тягостно тебе станет там. Отринься от мирского в последние часы и успокойся... Иди к нам, и мы тебе воспоем и вечно поминать станем. Это ли не благо, вечное поминанье? Все забудут тебя, для всех утратишься, испаришься из памяти, как пена на песке, и только в нас ты найдешь прибежище.

— Вы кому-то грехи прощаете, а мне крохотный... Ну что стоит? Одна прихоть была в этой жизни, одна слабость — табачок, и той вы лишить хотите... Если вы лишаете меня, значит, и там, куда посылаете меня, мне тоже насилье будет и у меня табачок отымут и будут говорить: то делай, а то не делай, верно?.. Я своей верой прожила, помогала чем могла, к равенству стремилась, двумя орденами отмечена. Ну ты меня удивил, Евтихий. Значит, брошу табачок — и в рай? Кто-то на жаровне корчится, его рогами железными бодают, а я буду в окошко подглядывать да золотые яблочки кушать? Да они у меня в горле встанут... Не искушай меня, Евтихий, прошу тебя, а то я умирать расхотела, мне страшно умирать. Меня властью однажды искушали, верно? Хе-

хе. Я ведь из баб первым секретарем сельсовета была в Вазице. Баба-секретарь. Маленькая, как пенек, из-за стола не видно, а сразу норов во мне заиграл. Я книг под задницу положила, сижу, как на троне... Один охотник пришел, одноногий, с деревягой, хлеба просил, а я не дала. Где, говорю, тебе хлеба возьму, тут тебе не богадельня. Рассказывали, он после-то лежит в лесной избушке, батогом в пол стучит и повторяет: «Сара, Сара, будь ты проклята». До сих пор помню. И сказала я себе: не возвышайся, Серафима.

— И Христос того заповедал...

— Но как тогда: я яблочки есть, а может, того, с кем всю жизнь бок о бок прожила, хоть и Хрисанфа моего взять, будут рогами бодать?

— Он грешник, но если падет ниц, то простится.

— Не хочу так...

— Но где-то грешники должны пострадать за муки, что принесли,— вдруг вскипел Евтихий, вскочил со стула, затопал ногами, обутыми в зеркальные галоши и расписные шерстяные носки по колена.— Где-то кара должна быть за грехи?

— Пусть на земле им станет туго. Так надо постановить... А табачку верна буду.— Серафима достала из-под подушки пачку сигарет и положила на грудь.

— Ну, Серафима,— воскликнул Евтихий, вздел прорицательски палец и потряс им перед слепым старушьим лицом.— Не умереть тебе просто... Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Оттого и понять ты нас не можешь, что гордыня в тебе, бес в тебе.— И вдруг кротко поклонился, осенил крестом и прошептал, уходя: — А ведь наша ты, ангел ты наш у престола, крылатая Серафима.

Через два дня я уезжал, набив портфель всякими лесхозными инструкциями, как бы окончательно заступив на новую должность. Хрисанф подал по стопке отвального вина и троекратно расцеловал меня, смахнув мизинцем неожиданную скорую слезу. Серафима подозвала ко кровати, велела нагнуться, обжала ласковыми ладонями мою голову, от старушки пахло увядающей кожей: «Как хорошо, что ты навестил нас, верно? Как хорошо, что ты догадался приехать. Мы кузнецы, и дух

наш молод, верно? Матери кланяйся, как увидишь, и скажи: мы кузнецы, и дух наш молод...»

Настасья провожала меня до пристани, грустная, ушедшая в себя. Последние дни мы избегали друг друга и молчали, словно боялись вспомнить случившееся у реки. И сейчас слова больно теснились во мне и умирали в темени. Народ кипел на дебаркадере, усаживался, смеялся, что-то кричал шальное, и в этой суматохе, где крик вился под самое небо, мы вдруг впали в такое состояние, когда нам стало тихо до одуряющей тишины, и мы словно бы услышали, что думает каждый из нас. Двое было в миру, полуотвернувшихся, вроде бы скучающих, с тоской и нетерпением ждущих отвального гудка, но уже и соединенных странной общей виной. Настасья вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб сухими шероховатыми губами, словно бы проводила на смерть. «Будешь в Городе, разыщешь?..» — спросила и, будто боясь ответа, торопливо пошла прочь. Я взбежал по трапу, у борта обернулся и увидел Настасьину сутуловатую спину и длинную надломленную шею. Она шла по берегу в сторону от дома, загребая ногами песок, словно каторжная, и вскоре скрылась за излукой реки, как наваждение. Такой она и осталась в моей растревоженной душе.

А нынче вот пришло известие, что Хрисанф умер. Знать, мучиться теперь Серафиме, как насулил ей того начетчик Евтихий.

Кто застонал, откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал; значит, и мне суждено полюбить? А я уже отчаялся, что все: как сиротливая травина на глухом песке завял.

Может, от герани так душно мне и даже стопорит сердце. Нет воздуха в этом доме, ставленном моими руками и моим потом. Я как был, в трусах и майке, выпрыгнул в окно, калиткой в палисаднике выбрался на волю. Мишка Крень все так же сидел на китовом позвонке, как на стуле, потирал бурую шею и тупо смотрел в море. Я неслышно подошел, песчаная гривка, покрытая белесой осотной травкой, скрала шаги, сбоку взглянул на Креня и вдруг в чугунном его лице, заморщиненном и неряшливо закиданном седой шерстью, неожиданно увидел покорство и покой. Мне показалось неудобным окликивать старика, да и повода не было, но он, заслышав мое сдерживаемое натужное дыхание, испуганно

вскочил, спрятал в землю взгляд и быстро пошел прочь. Его задубевшие пятки простучали по мосткам, как лошадиные копыта.

Три позвонка, как три желтых пенька, остались от кита, от когда-то великанского зверя, полного неукротимого духа. Я сел на позвонок, словно бы в кресло опустился, до того вытерт был он и отглажен, и всмотрелся в море. Зачем, по какой нужде ходит сюда ночами старый Крень, что видит он вдали слезящимися глазами, какие призраки навевает ему сиреневая тьма, встающая над краем моря? Может, мерещится ему вся истекшая жизнь, когда впервые, годовалым, он приковылял на срез моря, споткнулся, упал лицом в прибойную шелестящую пену и тревожно заревел, не в силах подняться. Прибежала на крик мать его Палага, наездила по сморщенной заднюшке и утащила в дом; в пять лет он жил на тоне и обсасывал семужий хрящик, борясь за него с косматой собакой, вьющейся у стола, которой тоже хотелось рыбьего пера; в десять он был отцу за напарника, а дальше уже все повелось-покатилось, как и у всех Креней, поднявшихся из родового семени. Вот и еще один, Хрисанф, кончился; но дрогнуло ли Мишкино сердце в то мгновение, ведь ему, одинокому, живущему в своей баньке хуже зверя, не от кого даже и узнать о том. А может, и дошел слух, и сегодня он, плотнее мостясь на китовом позвонке, по чудному и туманному наитию вспомнил не только того громадного зверя, посланного им чудесной волей, но и братана своего Хрисанфа, с которым достали кита. Как вспоминался ему тот давний день, хмельной и радостный, мне того не знать, но Хрисанфу те обстоятельства были памятны постоянно, и, рассказывая мне, он топорщил толстую бровь, сладко щерился длинным черным ртом и искренне удивлялся своей былой удачливости и нахальству. Ведь взяли задешево зверя, можно сказать, бог дал. Везли на карбасе почту, слышат, чайки орут. Думают, наверное, кто утопнул, дак мертвого выкинуло; подъехали к тому месту, а там кит хвостом качает. Мишка-то Крень и кричит: «Бог нам золото дал». Чайки расклевали зашеек, а пасть у кита — во! Стали из малопульки стрелять, да разве убьешь. Давай топором рубить; рубили-рубили — устали. А вода прибылая идет, кита стопило, вот-вот уйдет. Завязали веревками голову, думали удержать, а он хвостом качнет и мужиков, как щепину, волочит. Тогда

Мишка в воду, в чем был, из города ехал, так в парадном пиджаке, и кита веревкой заарканил за хвост. Как на оленя накинул. Привязали к борту, повезли, так карбас-то зверя короче куда, вот сколь кит длиннющий... Мишка-то, помню, как увидал зверя, в воду кинулся, только голова торчит, и кричит: «Ой, бог золото дал!»

Нет кита того давно, съели его, и Хрисанфа вот не стало; и то золото источилось, кануло даром, не принеся Мишке Креню радостных удовольствий; и на последних заморщиненных позвонках, чудом не замытых штормовыми песками, сижу я. Как странно, что я здесь, а не в Слободе, в разоренной сиротской комнате, где черный креп еще не убран со стола, на котором так недолго стоял гроб. Настасья небось не спит, сидит на улице, на березовом пне, сохраненном у самой двери. Послезавтра ильин день, когда бог кинул в реку льдинку и темь под вечер смывает кусты. Это здесь, на морском берегу, еще пространственно светел воздух, и лишь на дальних закрайках неба свинцовая стена: оттуда грядет осень... Сколько сейчас слов во мне, от них тесно. Эта печаль моя — от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе, от них и томительно мне. Словно бы зачеркнулось все, что было в эти недавние дни. Но что было-то, что? Но такое ощущение во мне, будто все случилось до той самой полной глубины, в которую окунаются и сгорают двое взаимно любящих. И мне уже не чудится, но верится, Настя, что я знаю тебя давно, может, с самого рождения, и никогда не покидал тебя.

Ничего не было, а я новый, и даже странно, что моя невзрачная кожурина осталась прежней. Я новый, я новый... Перед кем исповедаться мне, перед кем излиться, чтобы верно понятым быть? Словно бы наделенный особым проникающим зрением, глядя в набухшее смирное море, я с болезненным воображением через долгие немые пространства вижу сейчас тебя, Настя, горестно ушедшую в себя; и Серафиму Анатольевну вижу на кровати; сидит она в тонких спортивных штанах, свесив ноги, словно бы подросточек, шевелятся далеко выпирающие лопатки, похожие на отрастающие крылья, да и вся-то она от редкой седой макушки до сухо́ньких натоптанных пяток вздрагивает, готовая взлететь над постелью.

1977 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ГЛУБОКАЯ ПАМЯТЬ ЗИМНЕГО БЕРЕГА

Куда забрались люди! Куда? Какой злой рок приманил сюда и, словно бы окружив красными флажками засады, не истребил их, а оставил умирать, но они вот выжили, а привыкнув, уже полюбили все, что их окружало, не ропща на судьбу, порою радуясь, что именно им достались такие пространства и такая большая воля.

В. Личутин. «Вдова Нюра».

Оглянулся однажды посреди спешащей жизни Владимир Личутин, уроженец Мезени, учительский сын, сегодняшний человек, чтобы понять, кто позади и чему он наследник, и с трудом поверил, что его «родовая фамилия уходит в такие глубокие века».

Ни титулов, ни чинов, ни бранной славы, а в глубоких веках не затерялась...

По материнской линии, рассказывал Личутин в «Древе памяти», шли в его роду всё больше землепашцы, хотя и «жили-то от моря километров за шестьдесят», а вот по отцовской — «поморяне, промышленники, ушкуйники».

Оказывается, еще Ломоносов «приглашал Якова Личутина из Мезени кормщиком в первую русскую экспедицию Чичагова».

Имя Михайлы Личутина носит один из островов около Новой Земли.

У Бориса Шергина, знатока и поэта Поморья, есть быль о братьях Личутиных, тоже мезенских. Называется — «Для увеселенья».

Напомним ту быль; она здесь кстати.

Иван и Ондреян Личутины славились на верфях Архангельска как резчики по дереву, украшатели кораблей, а когда вернулись домой, в Мезень, занялись морским промыслом.

Штормовая непогода оставила братьев на каменистом островке

без карбаса и без пищи. Время стояло осеннее, не бойкое, помощи ждать неоткуда, и поняли братья, что не спастись.

По обычаю, следовало дать о себе весть: кто они, откуда, «по какой причине померли».

Пригодилась столешница, на ней чистили рыбу и обедали. Братья вспомнили свое былое искусство и, пока не ушла из рук сила, сказали на той доске все, что хотели сказать.

Годы спустя другие морские странники и добытчики прочли:

Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились
И ждут архангеловой трубы...
Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки...
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенские мещана.
И помяните нас все плывущие
В сих концах моря-океана.

Никакого предсмертного вопля, ни жалоб, ни проклятий судьбе. Они трудились над той доской, врезая в нее слова и прихоть узора: для увеселенья, для уведомленья, для поминанья.

Из осенних дней 1857 года эпитафия поморов окликает живых и плывущих. Слова отрешены от слабости и страдания; они словно предчувствуют ту безмерную даль, где им предстоит скитаться. Они не жалости и слез хотят, а уважения и доброй памяти.

Тоске и неотвязности смерти противостоит увеселенье искусством с его сокровенной целью — желаньем уведомления и поминания.

Верилось поморам, писал об этой были Владимир Личутин, что «слово сказанное существует само по себе и особую силу имеет».

Верилось поморам, верится сегодня и Личутину. Недаром в его повестях можно прочесть: «Слово, выпущенное на волю, уже живет само по себе, и новый смысл несет, и странною властию обладает»; «сказанное вслух уже начинало жить как-то отдельно и не подчинялось человечьей воле».

Странная и независимая власть слова. Не оттого ли она, что в слове передается опыт и спасается память?

В повести «Обработно — время свадеб» есть такой разговор:

«— А какое тебе веселье нужно? — усмехнулся Радюшин.— Ты работой веселись.

— А, глупости все это. Разговоры одни,— небрежно рассмеялся Степушка.— Сейчас начнете говорить, что человек рождается для работы. Труд превратил обезьяну в человека. Но что-то должно же быть после работы?

— Работа, крестник. Ты еще ее не пробовал, ты по-русски-то и плакать не умеешь...»

Обреченные поморы «веселились» работой. Двадцатилетний Степушка не понимает, какое в работе веселье. Он вообще не знает, какого «веселья» хочет, но рассуждает вроде бы складно, как многие. Кажется, он прав, но радюшинское «по-русски плакать» ничего не оставляет от этой кажущейся правоты; Степушкины речи вдруг

воспринимаются как лепет. За словами Радюшина — груз опыта, его тяжесть, и не только своего, личного, а, можно сказать, народного опыта; то есть там, за словами и в самих словах, вдруг открывается даль народной истории, знающей всему подлинную, непреходящую меру...

«На памяти нашей житье стоит»,— думает у Личутина вдова Нюра, старая одинокая поморская крестьянка. Для автора это — дорогая мысль; он возвращается к ней и утверждает ее постоянно, едва ли не всем своим творчеством.

Жизнь и люди, бедные памятью, равнодушные к прошлому, малоинтересны Личутину; в них нет для него серьезности, действительной значительности и глубины. Иногда он пытается изображать такую жизнь и таких людей, добросовестно хочет их понять, разжигает в себе интерес к их заботам и тревогам, но мелкое остается мелким, сколько там ни броди, сколько ни трать талант...

Владимир Личутин назвал то, чем живы, чему обязаны его книги, «древом памяти».

«Удивительно охотно русские люди передают свою память, они словно бы устают от нее или опасаются утаить в себе, чтобы не унести во мрак: они рассказывают, как исповедуются, начистоту и наизнанку, ничего не требуя взамен, и только в мгновенном проверяющем взгляде чувствуется вопрос — не солжешь ли? не утаишь ли? верно ли донесешь до других человечьих уст все услышанное? И вот чужая долгая родовая память становится и моею...»

Чужая долгая родовая память хочет остаться, дать росток? Она надеется на какое-то продолжение, на отклик неведомой души?

Для чего?

Наверное, годится старый ответ: для уведомленья, для поминанья.

Та, чужая память не ведает, что на языке литераторов-профессионалов она отныне — сюжет и материал.

Личутин знает удобство такого языка, но избегает его. Он осознает свое назначение и творчество как продолжение дела жизни. Он надеется через власть высказанного, запечатленного слова сберечь открывшиеся ему людские души и судьбы. Он хочет, чтобы у древа памяти были живые побеги.

Но какое древо без корней? Какая «родовая память», откуда быть родам, поколениям, языку, если нет того места, опоры, опорной земли, где все это взялось, произросло, поднялось?

Есть такое опорное место, и писатель не скрывает, что его можно отыскать на карте.

Личутин никогда не скажет о своих героях: они живут на планете Земля. Возможно, у него недостаточно развито глобальное мышление. Он предпочитает сказать: мои герои живут на Зимнем берегу. Они живут в Поморье. В России.

В «Поморах» Т. А. Бернштам («Наука», Л., 1978) читаем: «Северо-восточный берег Белого моря от Архангельска до мыса Воронов (или до р. Мезени) носит название Зимнего берега (длиной около 395 км). Он в большей своей части низменный, лишь на юге тянутся невысокие Зимние горы, покрытые редким лесом, которые исчезают к северу, уступая место тундре с ее характерной растительностью».

Суровая, требовательная к человеку земля, северная окраина российского пространства, по старым меркам — почти край света... Это-то и есть родина, место жизни, труда и смерти личутинских ге-

роев, тут их земля, и реки, и море, и небо, и где-то здесь стоят их села и деревни: Вазица, Кучема, Слобода, Погорелец, Белогора...

Впрочем, стоят ли они там на самом деле, под этими или иными именами, в некотором смысле не столь и важно; все они отныне существуют в другом, поэтическом, духовном пространстве другого, поэтического Поморья; и там они не на краю, а в самом центре, в самом фокусе, они — мир, никого не повторяющий и не уступающий никому пониманием жизни и хода вещей. Этот мир побуждает верить, что дорог во все стороны по-прежнему много, и можно идти по любой, и всякая — далека... Может быть, через это ощущение бесконечной сложности человеческой судьбы и характера более всего и дает о себе знать в этом личутинском мире его источник и прототип — память и жизнь Зимнего берега и всего Поморья.

В пяти повестях — Вазица, в двух — Кучема... Личутин не спешит раздвигать пространство своего мира; от добра, как говорится, добра не ищут; его манит, ему желаннее глубина; можно постучаться в эту избу, а можно в ту, можно вернуться в пятьдесят третий год, можно — в двадцать девятый или девятисотый, и, кажется, никогда не избыть вазицких сюжетов...

Федор Абрамов рассказывал о своем Пекашине (тоже архангельская, родственная Поморью земля) как современник и свидетель; не нужно было затевать раскопок и расспрашивать стариков; он начал с войны и довел пекашинскую историю до наших дней; она-то и историей становилась на наших глазах, да так до конца и не стала: мало что там, позади, остыло, чтобы не жгло, чтобы касаться бесчувственно, и, кажется, не завершился цикл — ни романов, ни жизни...

Сорокалетний Личутин не о многом из того, о чем пишет, может сказать: это было на моем веку. Даже если и было, то не глазам тринадцатилетнего мальчика увидеть и понять старую, несчастную Нюру с ее горькой памятью и болью в далеком пятьдесят третьем... Похоже, что Личутин чувствует себя, как человек, заставший время жатвы и сбора плодов, а его интересует время посева и первых ростков, и все другие времена, взрастившие такие плоды...

Что за человек — колхозный председатель Радюшин? Что за человек младой муж, ловкий плясун Степушка? Откуда взялись, от чего произошли? Что за человек последний колдун Геласий? Каких таких непостижимых кровей? А его внук Василист? Этот-то свойский парень, мохнатая душа, железный мускул, из какого питомника?

Все объяснения — в глубине. В глубине времени, памяти, мысли. Под покровом обыденности, привычки, заведенного порядка. В глубине дел и делишек. В глубине души.

Жизнь у Личутина обычно медленная, словно движутся какие-то тяжелые массы, она почти всегда отягощена бытом и воспоминаниями, она вообще больше тяготится, чем куда-либо движется. Мается Радюшин, не зная, чем недоволен и чего хочет, колобродит Степушка, запутавшись в своих смутных чувствах, тоскует его мать Параскева, то срывая на близких зло, то доброхотствуя... Глубоко всюду, говорит нам писатель, ой, глубоко! — как любит он говорить. Вроде бы сегодняшним днем полон человек, но так и бродит в нем прожитое и нажитое, не отпускает далеко, так и теснится в нем все унаследованное от близких и дальних — та самая «родовая память»... И все, что осталось в ней незавершенным, недоговоренным, нерассуженным и неясным, стремится к ясности и завершению...

Личутин любит рассказывать о том, что не имеет конца. Вернее, он рассказывает так, что это конца не имеет и остается неоконченным. Как не имеет, собственно, и начала. Точку можно поставить посредине жизни. «Свадьба разгоралась» — так закончена одна повесть. «Свадьба догорала» — так начата другая.

Можно возразить: а что тут удивительного? Речь идет о жизни, а жизнь людей не имеет ни конца, ни начала: уходят одни, приходят другие, и все продолжается своим чередом...

Но искусство так не может, оно избирательно, оно находит начала и замечает концы; оно как бы «перетасовывает колоду», предлагая свой расклад, обнаруживая интригу и законченный смысл.

И все-таки... Кто-то в личутинской повести умрет, кто-то будет убит, кто-то скроется из виду, но можно рассказывать дальше, о других, оставшихся жить, и оборвать историю почти на любом месте. В следующей повести возникнет тот, кто скрылся из виду, и будет доживать свое, и откроется подробная история кого-нибудь из тех, кто давно уже умер или погиб, и появятся какие-нибудь новые люди, и снова все прервется посредине жизни — почти на полуслове.

Великий прототип — жизнь! — не дает покоя. Сколько же вокруг всему прототипов — судеб, характеров, местностей, вещей, закатов и рассветов! Кажется, нечего изобретать и выдумывать; все, что ни изобретешь, ни выдумаешь, уже существует. Какой дорогой ни пойдешь — скучать не будешь, если, конечно, знаешь, как идти и как смотреть... И все дороги ведут в глубину.

«Наше дерево не вывернуть, не-е, оно сквозь землю пронзило. Я-то еще прапрадеда Ваню помню...» — толкует в «Крылатой Серафиме» старый Хрисанф Малыгин, по прозвищу Крень, один из последних отростков крепкого поморского рода Креней.

Читать Личутина, повесть за повестью,— и примешься рисовать эти дерева, которые не вывернуть... Родословные дерева: корнями вверх, кроной вниз... Если читать все повести вазицкого цикла («Белая горница», «Вдова Нюра», «Душа горит», «Золотое дно», «Крылатая Серафима»), то поневоле будешь разбираться, кто от кого произошел, что продолжилось и что прекратилось...

Тут как смотреть: и глубь жизни, и даль человеческого существования, и прихотливое сплетение судеб — узор живого бытия.

Жил-был поморский мужик, охотник Иван Крень, у него были сыновья Проня и Кона, у Прони был сын Евлампий, у Евлампия — Алексей, Федор и еще четверо, у Алексея — сын Хрисанф, у Хрисанфа — дочь Настасья и еще пятеро, у Федора — сыновья Михаил и Аким... И Михаил убил Акима.

Жил-был поморский мужик Парамон Селиверстов по прозвищу Петенбург, были у него сестра Нюра, брат Кона и дочь Юлия, спасенная Мишкой Кренем от смерти и любимая им; у Коны же был сын Мартын...

Жил-был неподалеку от Вазицы сто лет назад отставной подполковник, герой Крымской войны Фантим Ланин, были у него сын Петр и дочь Анна, у Петра — сын Илья, у Ильи и Юлии Селиверстовой — сыновья Арсений и Тимофей...

Все сплелось, пересеклось, все свито-перевито, все тянется издалека. И генетические, и социальные, и другие корни и корешки. Расплести, распутать, обрезать и отбросить то, что не распутывается, и — не станет мира, который строит Личутин. И не почувствовать тогда ни силы поморской породы, ни ее судьбы, как части судьбы общерусской.

Крени, Петенбурги, Ланины из Вазицы, да еще Нечаевы из Кучемы, да Богошковы из Дорогой Горы... Далеко поднимается иногда Личутин вверх по течению: та Дорогая Гора из романа «Долгий отдых» (помните? — «на долгий отдых повалились...») живет и здравствует в тридцатых годах прошлого века.

Почти как в Йокнапатофе Уильяма Фолкнера: Сарторисы, Сноупсы, Маккаслины и многие другие, и — вверх по течению к берегам гражданской войны и дальше.

Это слова Фолкнера: «Я знал, что клочок родной земли величиной с почтовую марку заслуживает, чтобы о нем писать, и что не хватит жизни, чтобы сказать о нем все...»

Уже было, что писали о Личутине и вспоминали Фолкнера, оговариваясь, что в «прямые сравнения» входить не стоит.

Непрямое же, уместное сравнение основано на том, что Личутин однажды тоже поверил, что «клочок родной земли», этот Зимний берег, Поморье, заслуживает того, чтобы о нем писать, и что на самом деле может не хватить жизни, чтобы сказать о нем все.

Легко и приятно говорить о своей любви к родной земле, к милой «малой родине»; неизмеримо труднее рассказывать о ней всю жизнь, потому что для этого ее нужно знать, да и любить нужно иначе.

Один из уроков фолкнеровской судьбы можно понять и так: не мельтешите, вот ваша земля, и возделывайте ее как следует, если можете; «клочок» — это только так говорится; родина не может быть ни больше, ни меньше; достаточно того, что она есть, и уважения ко всем, кто обживал ее и строил, достаточно для того, чтобы не оскорбить их душ и судеб упрощеньем, их общей истории — умиленьем...

Кое-что Личутин усвоил крепко: он рассказывает о своем «клочке земли» так, что видно: этот знает, что говорит, и хочет знать больше; для него в каждом человеке — шанс для восполнения правды, для нового знания, и он использует этот шанс. У Личутина так: мелькнуло чье-то незнакомое имя и лицо, обозначилось и скрылось какое-то ответвление от главного ствола, какая-то пропущенная, непройденная дорога,— ждите, писатель сюда еще вернется. Вполне может вернуться, а если в другом случае покажется, что дошел он только до половины пути, то дайте срок, дойдет и до конца. Есть ли для него что интереснее, необходимее, чем следить, как вьются и сплетаются человеческие судьбы? Через них и в них прежде всего существуют для него и время, и пространство, и история.

«Люди, как вода, текут, и не видно их»,— думает в пору долгой своей печали вдова Нюра. Герои писателя думают, как думается, это естественно; судьба не очень-то с ними церемонилась, и у них довольно оснований для таких или подобных мыслей. Личутин дает волю этой вечной человеческой горечи, но в нем самом нет смирения с тем, что люди, «как вода». Он не то чтобы ищет утешение; вдову Нюру, например, утешить нечем. Но простоте смерти, безымянности людского, отработавшего свое, потока он противополагает сложность жизни и живой человеческой души, их духовную энергию. Эта представленная им жизнь пространна, потому что в ее описании сбережено многое, из чего она состоит, но внутренняя скрепленность всего состава такова, что жизнь эта напоминает крепкую дерновину; как бы ни подмывали ее потоки времени, сцепление остается и удерживает, спасает целое... Потоки уносят людей, но память о них застревает, и они по-прежнему видны. Какие были, такие и видны.

Не простые были люди, говорит нам писатель, не легкие, не гладкие, не мягкая глина, мни, не хочу, таких не сразу поймешь и не скоро забудешь. О них-то и есть смысл «уведомлять», то есть рассказывать.

«Велика ли Кучема, велика ли, да можно шапкой ее прокинуть умельцу. Два порядка развалистых изб, словно бы навечно заговоренных от пожаров, встали тесно — бабам браниться и плакаться ловко, не сходя с крыльца... и главная улица тоже особая, меж огородов петляет кишкой — две телеги едва разминутся, цепляясь ступицами...»

Велика ли Кучема, нет ли, а вся ее жизнь тут, и то ли деревня, то ли эта жизнь сама перепоясалась «натуго гасником из жердья, будто сторожевая крепость, и в эту запутанную улицу стороннему человеку попасть, что ниткой в ушко: везде лазы, перелазы, калитки с хитрым двойным запором, узкие проходы меж загородей, в которых изредка мелькнет чья-то торопливая голова».

Когда Радюшин взялся Кучему распутывать, вышатывать колья, спрямлять дороги, то в ответ услыхал: «Ты у нас спокой не отымай... Не ты первый, не ты последний. Не тобой заведено, не тебе и ломать». И отцово прозвище не преминули напомнить: Разруха!

Так и продолжали плести свою городьбу, точно выдерживали «старинную осаду, с которой свыклись, притерпелись и считают вроде бы необходимой. Но какая осада? Кого неволят и в чем? — а бог его ведает».

«Так как же проникнуть в скрытную кучемскую душу, словно бы двойной огородой обвитую?» — спрашивает автор, не скрывая, что все эти «двойные огороды» ему в отраду, что не осуждать, не разрушать ему хочется, а понимать.

Кучема ли, Вазица ли, у Личутина все одно к одному, единый мир, единый образ: кому — никчемная городьба, бессмыслица, дикость, кому — порядок, смысл и покой.

Этот мир и человек в нем сохраняют для Личутина свою скрытную своевольную силу, свое разумение того, как жить. Он не обманывается и не обманывает нас: «двойная огорода» роднит и соединяет, но за нею можно ждать всякого: и любви-согласия, и мудрого здравомыслия, и старинных песен, и душевной грубости, и жестокости, и злобы. Он хочет, чтобы мы имели дело с жизнью, и, как автор, охотнее пребывает по отношению к ней учеником, чем учителем; лишь иногда он пытается явно брать чью-то сторону, указывая: вот зло, вот добро, но и это он делает осторожно, словно спохватываясь: «не судите — не судимы будете»...

Кажется, что Личутин, как художник, не очень-то стремится прояснять жизнь. Он не склонен изображать ее, как хорошо отстоявшийся раствор. Давняя жизнь в вазицких повестях много яснее, чем нынешняя — в кучемских, но закон личутинский все один и тот же: жизнь должна оставаться собою до конца; это не копия, отбор произошел, времена совместились, души людские открыты, даже неслышимая боль слышна, но не ждите, что мир теперь станет прозрачнее и понятнее. Достаточно того, что вы соприкоснулись с жизнью, а не с ее адаптированными, очищенными вариантами, и если вы задумаетесь над этими повестями, как над жизнью, и даже, может быть, встанете в тупик, как перед жизнью, то автор, пожалуй, возблагодарит судьбу.

Но если Личутин и норовит ходить в учениках, то не в таких, которые учатся без разбору и всему понемногу. Тут ученичество

особое: с идеей и с чувством. Тут отбор, соединение времен, слежение судеб, постижение душ — как наследование самого существенного, что не должно прекратиться и еще долго будет учить людей, как живой опыт других жизней, других обстоятельств. Тут в центре всего — идея души, как главного средоточия человеческой жизни; если происходит что с человеком самым подлинным и откровенным образом, то внутри его; там — начала и концы всему, что делает он и что делается с ним. Так верит Личутин и недаром называет одну повесть — «Душа горит», другую — «Белая горница» («Ведь душа-то, она как белая горница»), третью — «Золотое дно» («Душа-то как озеро многодонное. Одно донышко золотое, где добро лежит...»).

В личутинской Кучеме рядом с «последним колдуном» Геласием Нечаевым доживает свой век и последний тамошний мудрец — слепой учитель Феофан Солнцев. «Все думается отныне,— вписывает он в свое «Жизнеописанье...» — что главную-то жизнь человек проживает не на работе, а в себе. Какая немыслимая та, скрытая в нас жизнь и сколько в ней причуды...» Нагрянувшая слепота лишь убеждает его: «Посох не в руках моих, посох во мне...»

Может быть, душа и есть главное слово в этой книге? Чего только не творят люди на своем веку, но в душах-то их при этом что творится? Да и творится ли что? Или правда, как рассуждает Мартын Петенбург, что душа «как озеро многодонное» и кроме золотого дна там есть и другое, где «тины да грязи» — «увязнуть можно», и еще есть третье, где «коряги по шею», и меж них «зло самое сильное и живет»? И не приведи бог взбаламутить, смешать эту глубину какой-нибудь лихой непогоде...

А что значит — «потерять» душу или «замохнатеть» душою? И почему радости и счастья ждет Феофан Солнцев от постоянства «самой жизни, когда душа не горит нетерпением, когда она в спокое пребывает, не надорванная», и к этому постоянству зовет и сам же полон восхищения перед давним поморским народом, «таким характерным и уверенным в себе», что, «зажав правило в руке и настрополив душу», ринулся вдруг «на утлом суденышке... в страну полуночную, на край земли»! Может, этой «настрополенной» душе был ведом какой-то странный покой желанного беспокойства, и не потому ли вырвалось у Феофана Прокопьича восторженное: «Это ли не смиренье и не взлет духа!»

Но даже самые прекрасные вариации на темы души наскучивают, если они отвлечены от исторически конкретного человека, от его дела и судьбы. Чем больше эта отвлеченность, тем просторней душеспасительной риторике, и вообще быстро становится ясно, что в понятии и образе души не заключены окончательные или достаточные объяснения человека...

Сколько ни толкуй о душе, о ее «тайных закромах», ничего художественно сильного из этого не выйдет, если не будет явлено ее живое реальное бытие, ее действительное существование в не оставляющем ее ни на миг повседневном, тесном мире.

Человек и его душа воспринимаются Личутиным как тайна; во всяком случае, он любит говорить о том, что «тайны» и «тайного» — много. Человека хочется понять, но иногда понимание как бы приостанавливается: душа героя, к примеру, чего-то «восхотела», и всё тут; далее идти вроде бы уже и некуда...

Но в лучших своих повестях Личутин идет дальше. Он хочет понять, как сводят концы с концами ум, чувства и память человека,

как ухитряется он все свое носить с собою — все свои времена, все скопившиеся боли, тревоги и надежды.

Он может рассказать, как человек на лыжах заходит в деревню, встречает знакомых, выслушивает магазинные новости, пьет чай у родни, возвращается домой, в лесное одиночество, болеет, выздоравливает, и рассказ писателя обо всем этом будет щедрым на живые и новые подробности глухого деревенского быта, на зимние пейзажи и т. п. И все-таки не эта внешность и видимость дорогого ему бытия занимает Личутина сама по себе, не эта череда малых житейских фактов, особенно малых и ничтожных, если б кто глянул на них с высоты каких-нибудь исторических холмов... Кажется, весь смысл художнических трудов для него — в изображении и постижении еще вроде бы меньшей величины: невидимой, скрытой от всех на свете глаз, внутренней жизни человека — той самой, «главной», о которой толковал Феофан Солнцев.

...День как день, из начала марта, пора прощальных морозов, и вдова Нюра, или Нюра Питерка, высокая крепкая старуха, «по-мужски размахивая руками», на охотничьих лыжах катит по деревне, и мысли ее просты: о каком-то Гришке, «кобелине» и «изгильнике», о глупой Польке, что палит из-за него горло.

Но день выбивается изо всех дней; весть о смерти вождя, бабьи слезы и пересуды дают особое направление мыслям и воспоминаниям; может, и без того вспомнила бы Нюра Питерка, что сегодня у нее сыну Екимушке «поминка», двадцать четыре года, как его «нетути», но в такой-то приметный день невольно оглянешься и заново подивишься, отчего это всех «бог дал, да не всех уравнял», отчего люди, как вода, текут, отчего многие жили, да немногие зажились, а она вот зажилась, и бродит по пустой избе, и мучительными видениями полна старая ее голова...

Что там было позади у Нюры Питерки, семьдесят два года в даль? В глубине этой — «жили как не были» — свел Личутин судьбы Креней и Петенбургов: поди разберись сразу, кто чей сын и брат, кто кого сокрушал, чья вина больше и чьи слезы горше, что с кем сталось... Сильные люди живут в памяти Нюры Питерки; кажется, других вокруг и нет, кремневая, недробимая порода, и она им под стать, тот же материал, та же кровь. Личутин возвращает своей героине самые страшные часы ее жизни в их отчетливом, жестоком, ничего не пропускающем порядке. Внешняя жизнь, мартовский траур к тому возвращению — повод, но как бы косвенный, отдаленный; сама Нюра никакой связи тут не чувствует, ей в голову не приходит, что такая связь возможна: в ее глазах «великое» и «малое» подравнивает только смерть; лишь невозмутимый покой природы указывает ей на то, что оставивший сей мир «богом» не был... Личутину важно, чтобы вне воли его героев, но через них, через их память и сегодняшнее состояние пробилась, сказалась сама история с ее всеобщей и неустранимой логикой.

Это мы, оказавшись в страшных часах Питерки, когда вломился к ней Мишка Крень, и темные вел речи, и бросил во дворе убитого им Акима, это мы можем подумать: вот они — пути истории. Нюра Питерка не знает, что это может так называться. Это жизнь ее совершается, это смысл всякий уходит, это душу — за какие грехи? — казнят; была Нюра Питерка вдова, теперь полная она «сиротея». Но не будет она искать ни людской справедливости, ни участия, ни помощи; все одна, все сама, даже убийцу карать, да тот ускользнет... Не хочет она мертвого сына ни с кем делить — «мой он и ничей

боле», не хочет отдавать его «на изгиление»; не то даже страшно, что «повалят в избе-читальне на казенном столе и будут толпиться около», а то, что возьмет власть над отобранным уже сыном этот «толстомордый» Афоня Мишуков с «холодными рыбьими глазищами» и отберет еще больше, а ее отодвинет... Какого утешения теперь ждать, какой справедливости? Не к кому прислониться в беде Нюре Питерке, по обе стороны — не к кому; хорошо, что сильная, одна и справится, выживет.

Для Личутина Нюра Питерка, что для Федора Абрамова — Милентьевна из «Деревянных коней», что для Валентина Распутина — старуха Анна из «Последнего срока». Должен же быть в мире кто-то, чья правда надежнее и как бы шире других, корыстных, тесных, соперничающих, спешащих. Или иначе: должна же быть в мире душа, пусть не ангельская, не святая, но любящая и милосердная, несмотря на весь беспощадный опыт жизни. И вовсе не обязательно быть ей приемлемой для всех и приятной всем; быть ей кому-то даже чужой — обличьем, привычками, речью, но тем дороже, если вдруг открывается и осознается родство и неожиданно достает до нас теплый свет этой души, мирящей и спасающей.

Порою Личутину нравится писать так: «Многое было обдумано Нюрой возвышенно и смиренно (разрядка моя.— *И. Д.*), и то отступая от бога, то вновь подступаясь к нему душою, она успокоилась от мысли, что раз жива, то и доживать надо, не гневя судьбу, ибо ничего нет на свете выше жизни, и все, что вокруг нее — в лесу ли, в воде ли, иль в воздухе,— только назначено для ее укрепления и продления».

Лучше бы читатель сам догадывался, что — «возвышенно» и что «смиренно», или называл это как-нибудь иначе, по своему усмотрению. Но Личутин, так же как некоторые другие современные писатели, стремится к «духовности»; ради нее он привносит — и в этом он тоже не одинок — в речь и сознание героини авторский, нарочито высокий лад и слог, почему-то считая, что чем больше торжественной отвлеченности, тем больше духовной силы. Но в таких случаях Нюра Питерка словно бы теряет не в своих словах, не в своей мысли — себя самое; это уже не она думает, не кто-то другой даже, а, кажется, берет верх какое-то безличие умственности, безличие книжности....

Нюра Питерка, «по ее разумению» (разрядка моя.— *И. Д.*), тем, что охотилась, не творила «греха, ибо всевышним разумным желанием поставлено помимо нас и навечно, чтобы каждый имел свой смертельный предел и свою особую смерть... Это и есть величайшая справедливость». Потому-то «ни разу ее дух не замутился скорбью и печальными мыслями... ибо брала Нюра в природе», опять-таки «по ее разумению», «лишь то, что отмерено было ей для питания бренной плоти и поддержания гаснущего духа». «Забыли душу, забыли, сами себя забыли, откровение свое забыли,— думала однажды Нюра.— Ох те мне, куда стремимся, во имя чего страдания сеем и жнем, такую войну вынесли, осиротели так. Ради хлеба насущного или заради смысла какого? А я одна-одиношенька, сирота-сиротея посреди воли, и мне благостно...»

По Нюриному «разумению» чего только не разумеется: тут и «всевышнее разумное желание», и «помимо нас и навечно», и «смертельный предел», и «гаснущий дух», и весомое «ибо» и т. д. И про забытую душу думается ей тоже складно: и «откровение» тут, и «куда стремимся», и «благостно»... Впрочем, про то, что «душу христовень-

кую» забыли, говорят чуть ли не все деревенские старухи в нашей литературе.

К счастью, личутинская дань разным поветриям невелика. И нет ни ему, ни нам нужды спорить, кто первым и лучше сказал про «забытую душу». У Личутина есть свое, сказанное только им и не позволяющее его ни с кем спутать, как есть и свои собственные проблемы — стиля, сюжетного искусства, миропонимания.

Нюра Питерка умеет в повести и думать, и говорить по-своему, и авторский голос знает, как ей не мешать и не брать на себя лишку.

Иначе не сложилось бы ничего путного, никакого образа «сиротеи», и не почувствовать иначе то, что чувствуем: вроде бы все отнято у Нюры Питерки судьбой и людьми, ни продолжения ей никакого, ни утешения; всей радости, что слыла «легкой на ногу бабой», могла восемьсот белок добыть за сезон, но приходит срок — «рука дрожит, и глаз затекает слезой», и, намотавшись по лесу, можно признаться себе: «Устала я... как худа скотина, и ничего мне более не нать»,— и тут же себе самой не поверить; еще не иссякла сила жить и помнить, кормиться — лесом, жить — памятью и, подчиняясь какому-то далекому, молодому, неутихомиренному чувству — промельку чувства! — мешать вдруг бывшее с несбывшимся, искать родного и любимого, почти мужа себе, отца — Екимушке, среди едва знакомых, чужих, но живых, и не самой чтоб спастись, прислониться, а чтоб было кого родного — спасать, было бы на кого тратить неистраченную, словно заглушенную чем тяжелым свою любовь...

Но память Питерки о незабвенном для нее Екимушке остается ясной, и мысль о его судьбе тоже ясная, и не потому ли — горькая: «Всех по справедливости равнял, а люди-то не больно охочи равняться, чтобы под одну гребенку состригали, каждый человек да с норовом, ой-ой, вот и забыли тебя, сынушка, забыли, уж редко кто, из стариков разве, вспомнит: это в тотамком году было, когда Акимко Питеркин Федора Креня зорил. А молодые уж и не вспомнят, у молодых свои заботы...»

Если же все так, если природа от начала такая, и «звери разны, дерева в лесу разны», и люди тоже «одинаково-то» «никогда жить не будут», если так все, то какая сила, какой разум положат предел непомерной жадности и гордыне, хищничеству, властолюбию, подавлению и оскорблению слабых, жестокому закреплению преимуществ одних перед другими, глубочайшей всеобщей разобщенности, отсутствию общего дела и общей идеи? Или во имя «неодинаковости» не должно быть никакого никому предела, и нужно ждать, когда все само собой устроится по-доброму и по совести, и следует запастись умным терпением, и не спешить куда-то подобно Акимке, горячему и безрассудному, даже если вся жизнь ваша на то терпение и уйдет?

Вопросы этого рода неотвязны; кажется, что они уже разрешены вазицкой и кучемской жизнью, но она продолжает нести их глубоко в себе, и тому верный знак не только судьба Нюры Питерки, но и судьбы Федора и Михаила Креней, Ильи Ланина, Парамона и Мартына Петенбурга, Афанасия Мишукова и Ивана Тяпуева, Геласия Нечаева и Николая Радюшина... Завершились уже эти судьбы, оборвались или еще продолжаются, но из них сплетен единый и неделимый личутинский мир, и никакое прошлое не отсекается в нем как нечто законченное и преодоленное...

Жизнь несет в себе те неотвязные вопросы долго, в поколениях, и это, по Личутину, естественно и нормально, потому что исчерпывающие, категорические ответы на вечные, по сути, вопросы бывают чересчур абстрактны, а жизнь человека конкретна и единственна, и ее особенность — твердый камешек для отвлеченной, вроде бы универсальной мысли. Может быть, герои Личутина, дорогие ему своей стойкой здравостью, сходятся более всего на том, что «есть дело ума, а есть дело разума», и хотя трудно порой понять, где то, а где другое, они все-таки отделяют повальную «умность» («такой умный народ пошел...») от разумности, т. е. от самостоятельного уразумения вещей, согласного с народным опытом и народным здравым смыслом. Даже старый, неукротимый Федор Крень, которому новая жизнь до дна чужая, наделен у Личутина способностью понимать, что люди хотят жить «ровно». И не кому-нибудь, а новоявленному «умнику» Афоне Мишукову говорит старый Крень, что «ровно-то жить сам народ не захочет и не сможет через таких, как ты». То есть «через таких, как ты», не захочет, а вообще-то и хочет, и сможет...

Ум без души — вот что для Личутина страшно. Обездушенный ум, и значит — обездушенные глаза, обездушенные руки. Глаза все выдержат, руки все смогут. «Хапалки, давилки, хваталки — вот они, руки без души»,— говорит Мартын Петенбург. Потому-то и небезразлично, какие руки берутся «равнять» людей «по справедливости» в Вазице или еще где.

Благо Вазицы, что есть в ней Петенбурги, Аким Селиверстов, Илья Ланин — разумное или набирающееся разума начало; мало в этих людях одинакового, не такое уж единое это начало, но в их духовной силе и надежности проглядывает бесценное, по личутинской вере, генетическое родство — родство или близость крови, глубокие и здоровые корни... «Каково семя, такой и урожай» — это говорят у Личутина не о земледелии — о людях. На Юлии, дочери Парамона Петенбурга, женится Илья Ланин, внук подполковника Фантима Порядошного, человека «праведной души», и эта «культурная прививка» не повредит старому поморскому древу. В Акиме Селиверстове, вскормленном Нюрой Питеркой, течет кровь Федора Креня и бесстрашной монашки Марии Задориной, и это тоже, по Личутину, крепкий состав, годный для жизни, а не для ранней смерти...

Личутин не скрывает любви к тем своим героям, которые наследуют лучшие качества самобытной поморской породы, и прежде всего — нравственные и духовные. Он явно недолюбливает тех своих героев, в чьих жилах течет как бы разжиженная, замусоренная кровь, и потому бывает к ним несправедлив. Нравится нам это или нет, но многие качества человеческой личности в мире Личутина зависят от того, не пущено ли по ветру, не промотано ли наследство предков, их семя, их дух, не измельчилась ли, не оскудела ли порода. Издержался, износился чей-нибудь род, и мелкий идет человек. И мерой тут — не профессия, не чин, не достаток, а все та же душа — белая ли горница, золотое ли дно? Или все те же на дне коряги неутолимой, ненасытной корысти? То-то старый Геласий Нечаев помнит материнские слова: «И придет мелкий человек, и будет в нем разжигание...» Мелкого-то человека и страшно: не пожалеет, не простит, не поймет; ни старый Геласий, ни писатель не знают, кажется, ничего более опасного, чем это «разжигание»...

Глубокая память поморского мира хранит много тяжкого и

жестокого: гибель зверобоев, убийства, самоубийства, поджоги, но все это позади, далеко; нынче все идет миром, без потрясений, тихо; когда же является, «бухая сапожищами» и надрывая глотку, Гаасиев внучек, Василист Нечаев, человек с «каменным взглядом», и принимается корчевать еще живой дедов дом, то вся Кучема послушно расступается перед этой наглой, беспамятной силой, радуясь «нежданной потехе» и «смоля папироски». Самое и есть «разжигание»: и это можно, и то, оказывается, можно, и наглость уже не наглость, а волевой напор, и беспамятство — закон природы...

Не в первый раз заметит дед Геласий, что у внука бугристый лоб «волчьего покроя», и подумает, что «он, волчина, не отвяжется». Тетке Матрене племянничек кажется «каменным, чужим, непонятным». У Радюшина — «каменный подбородок», для Радюшина Василист — «человек новой жизни», которому «многое дано»...

Живой, чуткой, милосердной душе противостоит у Личутина в кучемских повестях окаменевающая или окаменевшая душа.

«...Не каменейте, люди! Будьте милосердны! Ведь камень о камень — это искра, а от нее какое зло родиться может...» — взывает к односельчанам Феофан Солнцев.

«— Кончай травить похабель,— рыкнул сверху (с крыши разрушаемого дедова дома.— *И. Д.*) Василист.— Блевотиной твоей захлебнуться можно».

Это нормальный язык Василиста. Это язык человека, «от своего всесилия» теряющего разум. Это прямая речь пакостника. Разжигание, травля, убийство чужой души...

Василист в Кучеме вроде бы один такой; но он есть в этом мире, здравствует, дерет горло и твердит всем, что он «не фуфло какоето» и готов сегодня же послать голодающим африканцам белых сухарей, но уж и вы посторонитесь, не становитесь ему на дороге, если он решил, что это его дорога...

Личутину больно оттого, что больно его Геласию, Феофану, тетке Матрене, больно другим, знающим своих Василистов, и он не хочет этой боли таить.

«Потеха» окончится, папироски вдавят каблуками в землю, бездомный дед уйдет к внуку, чтобы умереть на кровати возле нужника, и все разойдутся, чтобы жить дальше. Но как жить без этой боли? Можно ли?..

А Нюры Питерки давно уже нет на свете; время ее смерти указано в повести «Душа горит», случилось это в пятьдесят восьмом, а еще известно из той повести, что год спустя вернулся в Вазицу Мишка Крень.

Был «проклятый богом злодей», теперь — старик, неприступно молчащий, «обугленный лицом», доживающий свое в «гнилой баньке», на дверях которой повесился его отец. И нет к этому странному человеку у Арсения Ланина «ни неприязни, ни ненависти».

Если после «Вдовы Нюры» читать сразу «Крылатую Серафиму», то впору не верить глазам своим: «Мишка Крень по своему обыкновению шел к морю».

Его же нет давно, сгинул в той черной полынье, должна же быть какая-нибудь справедливость!

А он сидит себе на старом китовом позвонке, «как на стуле», потирает «бурую шею» и «тупо» смотрит в море. В его лице, «неряшливо закиданном седой шерстью», Тимофей Ланин неожиданно различает «покорство и покой».

Бывший учитель Тимофей Ланин, брат Арсения,— один из персонажей в повести «Душа горит», а здесь, в «Крылатой Серафиме»,— к тому же и повествователь; это как бы его взгляд, тон, слог, переживания, судьба, но по многим признакам заметно, что все это автору не только не чужое и постороннее, но близкое или даже свое, и он, видимо, таким способом — через исповедальные признания Тимофея Ланина — включает в изображаемый поморский мир свою субъективность, частное свое бытие. Он и создатель этого мира, и его судия, и он в нем — только человек...

По какому-то высшему праведному счету примирение с новым существованием Мишки Креня кажется кощунственным. «Ни неприязни, ни ненависти», «покорство и покой» — это же приятие случившегося, почти прощение, явная человеческая слабость!

Но Личутин, «создатель» и «судия», эту слабость приемлет: в ней нет прощения, но есть милосердие и живое, безотчетное сострадание... Говорит же Мартын Петенбург: «Пожалеть — значит понять, что и ты смертный».

Старый Мишка Крень, «угрюмый и угрозливый сук» креневой породы, словно выброшен на берег после сильной и долгой бури, а могло бы выбросить, вынести и Акима, и это он бы теперь сидел на китовом позвонке и смотрел в море... Еще Нюре Питерке было открыто, сколь сильно раскачали люди жизнь, и беде своей Нюра не удивилась. Братьям Ланиным суждено видеть, как жизнь успокоилась, но от старого обугленного Креня им почему-то трудно отвести взгляд, словно они надеются что-то разгадать и понять там, вдали, откуда его так долго несло к этим пустынным для него берегам...

Настасья, дочь Хрисанфа Креня, рассказывает в «Крылатой Серафиме» притчу о том, как людям было даровано счастье и что из этого вышло.

Бог дал кита, его мяса хватило бы навечно, если б люди согласились жить по совести и по-братски, и был послан о том даре и условии вестник. Старик вестник бегал по деревне, стучался в дома, но люди не открыли засовов, не поверили, а потом убили его, потому что, когда изголодались и опомнились, кита на берегу уже не было...

Тимофей Ланин помнит другую историю, рассказанную самим Хрисанфом. Выпал когда-то вазицким мужикам «хмельной и радостный день»: словно чья-то чудесная воля послала к их берегу огромного кита, и молодые, бесстрашные Хрисанф с Мишкой Кренем того кита «достали», и было то не сказкой, а правдой, праздником и счастьем.

Кит в притче исчезал бесследно. Или померещился он тому старику? От другого, от съеденного кита остались на берегу позвонки. Уже нет на свете Хрисанфа, и, вспугнув невзначай старого Креня с насиженного места, на китовом позвонке сидит и думает свои думы Тимофей Ланин. Он впитывает в себя долгую память этого берега, его мечтания, его историческую быль. «Бог нам золото дал!» — кричал молодой Мишка Крень, завидев того кита. Но «золото источилось, кануло даром»; одни побуревшие от времени позвонки.

Может, и лучше, что кита в притче не съели, и сохраняется надежда, что обещал он нечто большее, чем вечное изобилие еды.

Выслушав притчу, Тимофей корит вестника за то, что «не разбудил» в людях любви и «лишь отдельные страхи объединил в

общий страх». А потом говорит, что есть ли любовь вообще — еще вопрос...

Это серьезное рассуждение; лишь в самом конце к нему примешана логика любовной игры, которой увлечен Тимофей Ланин, но в целом тут все не случайно — не только для героя, но и для всего личутинского мира.

Личутин ищет объективности, он никому не хочет отдавать абсолютной правоты, то есть заведомо кого-то предпочитать, славить, выгораживать, восхищаться. Он хочет быть справедливым ко всем; правда и оправдание каждого должны быть расслышаны, хотя это и трудно и не всегда у него получается. Важно, что он к этому равенству героев и всех сторон жизни перед авторским «судом» стремится и видит в нем одно из главных условий достижения художественной правды.

Иногда в личутинском мире можно почувствовать укор, обращенный к «вестникам», проповедникам «равенства» и «братства», за то, что не разбудили любви. Порою автор берет сторону тех, кто не пошел за вестником, и считает себя не вправе винить «темную массу». Какая «масса», когда видишь живые лица и знаешь судьбы: вдовы ли Нюры, Феколки ли Морошиной... Но такие, бывает, возникают лица, такой сумрак в них и каменная твердь, что не удержать автору этого горького, пусть недолгого, сомнения: да и есть ли она на свете в самом-то деле, эта хвалимая, призываемая всеми вестниками любовь — к близкому, к ближнему, к другому?

И все-таки Личутин любит вестников и проповедников. Не обольщаясь, с открытыми глазами, но любит. Вроде бы все эти «вестники» — доморощенные, той же, что и все вокруг, человеческой породы, дети тех же страстей, заблуждений, увлечений ума, нет, не святые и не рожденные летать, но без них, без Ильи Ланина, Акима Селиверстова, Мартына Петенбурга, Феофана Солнцева, весь мир Вазицы и Кучемы стремительно потускнел бы и утратил всякий порыв к лучшей человеческой доле, к перемене народной судьбы.

«Обработно — время свадеб» — вот повесть, где никаким порывам нет места, кроме любовных; жизнь вроде бы течет широко, полна сил, но свадьба, кажется, единственное событие, которое она хочет и может себе позволить; «высокие материи» ее иногда занимают, но они обременительны и скучны; «если спросить, как дальше жить, сразу головы в скатерть»; работа не захватывает души, и ум от нее свободен; сообщается, что «от чаю животы начало пучить», а «водка пролилась в горло и, чавкнув в животе, улеглась», и это характеризует не только авторский стиль, но и содержание избранной и воспроизводимой жизни.

В другой повести Тимофей Ланин говорит брату: «отца проклинали, пока жил, такой характерный факт, а нынче вспоминают только самое доброе. И прозвище Порядошный. Чуть ли не ангел...»

Конечно, хочется, чтобы в художественных картинах жизни было больше осмысленного бытия и духовного смысла, чтобы мир в них не тускнел без «вестника» и действительного героя, но возможны, как говорит нам писатель, и другие варианты.

Объясняя кучемские повести («Обработно — время свадеб», «Последний колдун»), Личутин мог бы привести слова все того же Тимофея Ланина: «Легко только в памяти любить родину: полати, взвоз, душистое сено, пареное молоко с пенкой. И совсем иное — любить вот такую деревню, какая есть...»

Нет ни тени сомнения: Личутин любит и Параскеву Нечаеву, и

ее Степушку, и Любушку, и гостей их, перепивших чаю и прочего, и всех-всех любит, даже, может быть, Василиста — тоже: однако, свой, да какой самобытный, все ухватки-повадки — одно загляденье...

Он любит всю эту жизнь такой, какая она есть, иначе откуда взяться той поразительной энергии, с какой удерживаются, сберегаются едва ли не все ее мгновения подряд, словно ничего в ней нельзя пропустить и все необходимо увековечить.

Еще немного, кажется, и не останется ничего, не упомянутого, не включенного в описание: ни в избе, ни на дворе, ни в днях, ни в ночах, ни в еде-питье, ни в гуляньях-гостеваньях, ни в томлениях души, ни в ощущениях тела...

Вроде бы такая большая эта жизнь, вместительная, людная, страстная, полная душевных мук и терзаний,— пусть медленная, но какая-то бесконечная река, но вдруг замечаешь: и нет прозрачности, а видно дно, словно она обмелевшая...

«А ты, Люба, ты-то хоть чему народ учишь?.. Может, отказаться тебе от школы? Лучше честно, слышь, тут стыда нет»,— волнуется старый Феофан, не понимает он ни Любушки, ни Степушки, и хочется ему дознаться, что происходит с младыми этими душами. А Любушка не знает, чему народ учить, а Степушке в работе — никакого «веселья», и даже председатель Радюшин свободен от мыслей о том, кому и зачем служит, во имя чего тратится жизнь...

Премудрый Феофан во многом прав, проповедуя, что главную свою жизнь человек проживает не где-то, а в себе, и посох его — внутри его, но проживает-то он, заметим, ее всю, а не выборочно, не очищенно, и еще заметим, что, не будь у человека никакой жизни вовне, и в душе его было бы пусто. И чем беднее, безразличнее для него внешняя жизнь, тем ненадежней посох...

Помните «скрытную кучемскую душу», «двойной огородой обвитую»? Через нее-то, по замыслу писателя, и должна нам открыться кучемская главная жизнь. Она-то и открывается, суровая, упрямая, своевольная, самостоятельная, но она зря не прислушивается к постукиванию Феофанова посоха.

Человеческое своеволие — неумение или нежелание управлять собой — представлено как первейший признак сложности и загадочности души.

Есть безоглядное, безудержное своеволие Параскевы, легкомысленное, вздорное — Степушки, тяжелое, беспощадное своеволие Радюшина...

Смутные желания, ощущения, намерения поводят и овладевают ими, накатывает вдруг какая-то невразумительная темная сила, и нет и в помине любви к другому, а разум сторонится, затихает, словно столбенеет... То норов, по-другому сказать, взыгрывает, и поднимается с последнего дна души вся накопившаяся муть, и тогда тяжело дышать в тех домах...

Личутин любит писать о душе: «душа напряглась», «душа стронулась», «душа успокоенно отдыхает», «душа колыхнулась», «душа пела», «душа начинает тихонечко гудеть», «душа загорится», «душа тихая и многопечальная», «душа повисла на крохотном стебельке, готовая сорваться, она трепетала...», «зачугуневшая душа», «крохотная душа» и т. д.

«Душа» для Личутина — волшебное слово; он ощущает за ним огромный для жизни и человека смысл, но слово всего лишь слово, и пользоваться им можно недостаточно бережно.

«Смятенная душа» лучше «зачугуневшей» или «окаменевшей» души, но радоваться рано, потому что остается вопрос: чем же она смятена, чем взволнована? Всегда остается вопрос: что за душой?

Смятенье Степушки — от затянувшихся игрищ и забав; когда он думает, что «все никчемно, все ненужно», то это трудно воспринимать всерьез; будь это «смятение» написано поэкономнее, без уступок дурному вкусу, и где-нибудь на втором плане куда ни шло, но оно-то хочет казаться чем-то значительным, откровением, событием жизни!

Так, в «Крылатой Серафиме» тщится быть главным «смятение» Тимофея Ланина: он долго и картинно объясняет нам, какая у него мелкая, пустая, никудышная жена, а потом подробно рассказывает, как рождается в нем чувство к Настасье...

Какое благо, что существуют память поморского берега и язык этой памяти! Нужны, необходимы длинные путаные речи Геласия Нечаева и Феофана Солнцева, их прошлое, нужны отступы в глубину радюшинской судьбы, чтобы вернуть кучемской жизни ее подлинную глубину. А без старой Серафимы и ее Хрисанфа с их уходящим миром и чувством сколь банальным был бы ланинский рассказ о превратностях любви...

Единственное действительное событие кучемской жизни — разрушение избы Геласия и его смерть. Свадьба Степушки — событие мнимое, оно собирает людей, но мало что говорит о них. Параскева устраивает свадьбу, Радюшин организует снос дома ненавистного ему старика, и больше ничего не происходит. Души вроде бы «горят», «напрягаются», но это совсем не то «горение» и «напряжение», что в вазицких хрониках. Кажется, что для этих душ нет в мире ничего, что было бы выше их частного сегодняшнего интереса,— ни мечты такой, ни цели, ни веры, ни идеи. В личутинских возвращениях в прошлое содержание жизни уплотнено, быт сокращен, укрупнены столкновения людей, их действия, борьба, ее исход и последствия. Обращаясь к современному человеку, Личутин не изображает его деятельности, дела, борьбы, он сосредоточен на душе, и этот подход не всегда себя оправдывает: душа не горит, а долго разговаривает... Хорошо еще, если ее занимают предметы значительнее Степушкиных...

«Последний колдун» закончен дракой из-за ревности; Параскева падает перед Радюшиным на колени, вымаливая сыну прощение. Вполне возможно, что третью кучемскую повесть Личутин начнет с того, что поднимет Параскеву с колен, и Радюшин неразумного Степушку простит. Ни шатко ни валко, но жизнь движется, что-то начинается, продолжается и заканчивается, и это единственно достойный сюжет; свадьба разгоралась — свадьба догорает... Впрочем, Личутину не сюжет дорог, ему связь жизни дорога, ее непрерывное плетение, не знающее перерыва и конца. Главное в его книгах существует как бы помимо сюжетов; историю из одной повести он может дорассказать между делом в другой, а закончить как бы мимоходом в третьей. Недаром же так странно устроены «Последний колдун» и «Крылатая Серафима»: быт — тщательнейший! — как бы сам по себе; историческая память сама по себе; мысль, обдумывающая смысл жизни, смерти, времени, работы, любви, всего вечного и временного,— сама по себе. Все это соединяется волей автора, а не рамой сюжета. Ему может что-то удаваться больше или меньше, но Личутин, кажется, никогда не забывает, начиная новую книгу, что

он продолжает строить... Не новую постройку затевает, а продолжает возводить старую.

Личутин не романтическое сказание сочиняет о дорогом ему Зимнем береге, о своем Поморье. Он пишет историю людей с этого края света, историю их опыта и духа. Он готов писать ее, доставая из самой последней, наивозможной глубины, и вести из колена в колено, из десятилетия в десятилетие, родословную народа, из которого вышел и которому обязан. Такие истории невозможно писать на языке срединном и всеобщем, упускающем богатство и неповторимое разнообразие народного опыта, и Личутин избрал язык, который уже сам по себе — память и история Поморья.

Разглядывая, как диковину, вернувшегося из небытия Мишку Креня, Тимофей Ланин говорит о том, что не должно же случиться так, чтобы «просто ушел человек», чтобы умер, «не высказавшись...».

Владимир Личутин, кажется, строит свой мир с надеждой, что в нем выскажутся все и никто не канет бесследно. И потому, как знать, не придет ли еще свой черед «высказываться» Анне Ланиной, когда-то ходившей в народ, или ее отцу Фантиму Порядошному, или «крылатой» Серафиме, которая еще только мелькнула на горизонте, только поманила за собой, или тому же угрюмому Мишке Креню... Поистине «во все концы дорога далека...».

Игорь ДЕДКОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Владимирович ЛИЧУТИН

ПОВЕСТИ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1981, 608 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **С. Розенберг**

А06409. Сдано в набор 29/IX-80 г. Подписано в печать 15/I-81 г. Формат 84 × 108 1/32. Бумага печ. № 1. Гарнитура «Латинская». Печать высокая. Печ. л. 19,00. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 34,15. Зак. 63. Тираж 229 000 (2-й завод 100 001—229 000) экз.

Цена 2 руб. 40 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16, на Киевской книжной фабрике Республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, ул. Воровского, 24.

В 1981 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Бакунц. Альпийская фиалка. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

Я. Брыль. Стежки, дороги, простор. Повести. Рассказы. Перевод с белорусского.

В. Гейдеко. Горожане. Роман. Повесть. Рассказы.

П. Загребельный. Евпраксия. Первомост. Романы. Перевод с украинского.

П. Кадыров. Звездные ночи. Роман. Перевод с узбекского.

В. Личутин. Повести.

П. Нилин. Знакомство с Тишковым. Повести.

В. Орлов. Гамаюн.

Молдавские повести.

А. Рыбаков. Тяжелый песок. Роман.

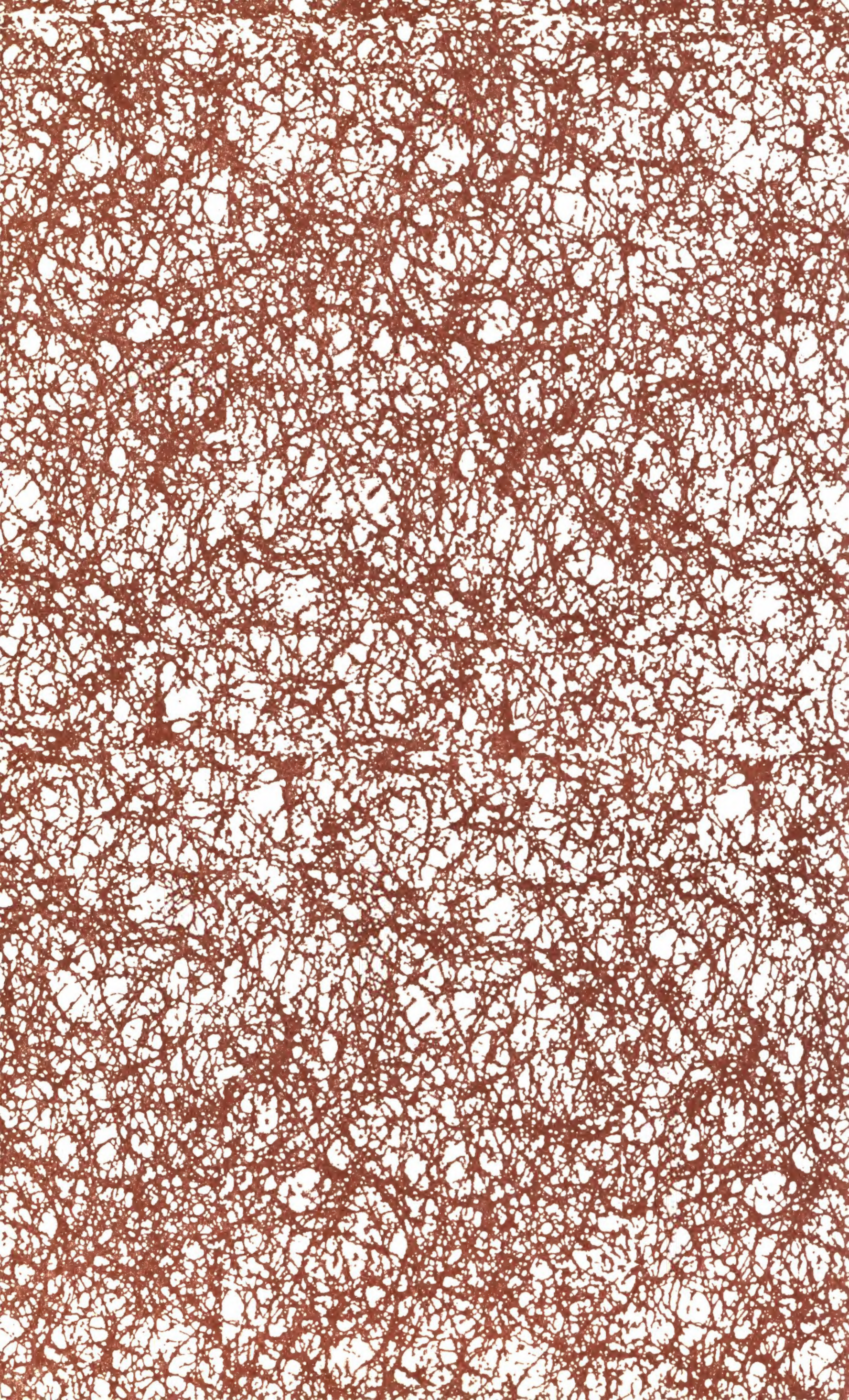
К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том 1.

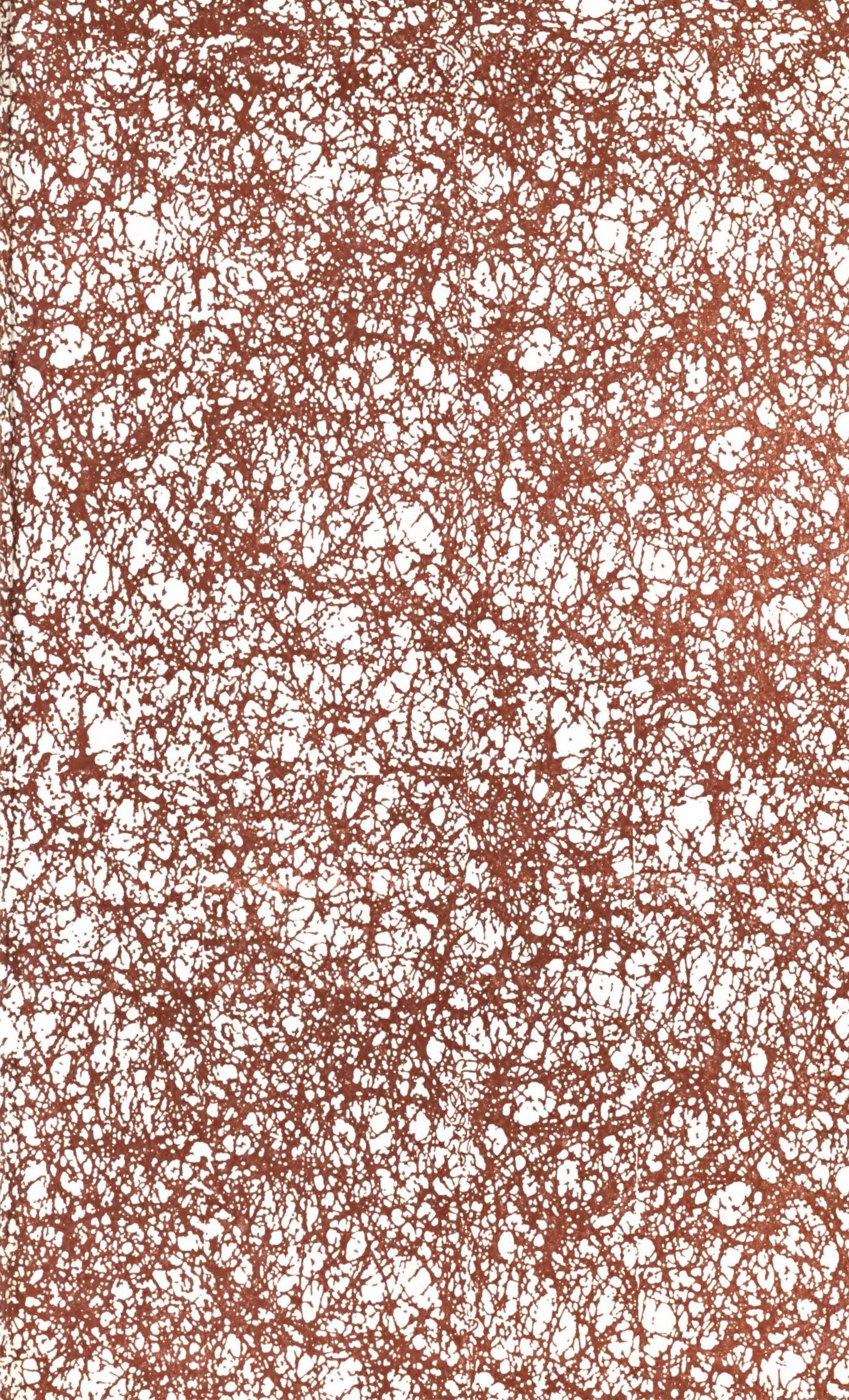
К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Том 2.

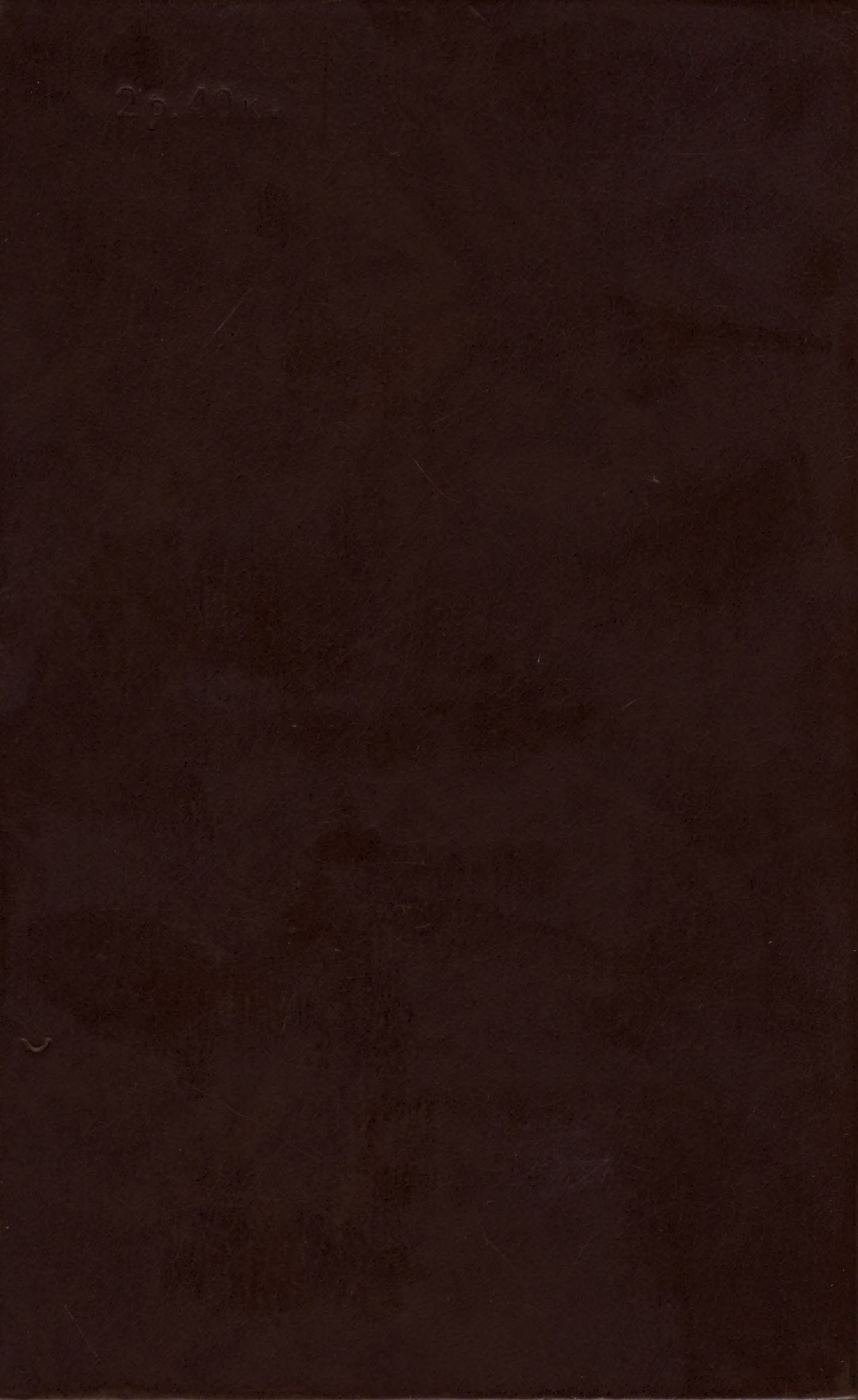
Г. Тютюнник. Холодная мята. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

И. Чигринов. Плач перепелки. Оправдание крови. Романы. Перевод с белорусского.

Эльчин. Смоковница. Повести. Рассказы. Перевод с азербайджанского.






2 р. 40 к.


В. ЛИЧУТИН